МОСКВА В 1812 ГОДУ

МОСКВА В 1812 ГОДУ



ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКВА В 1812 ГОДУ

ПИСЬМА, ДНЕВНИКИ, ЗАПИСКИ, ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ





Издательство Главного архивного управления
города Москвы

Москва 2012

ББК 63.3(2-2М)47
М 82

Утверждено Редакционным советом
Главного архивного управления города Москвы
Председатель В.А. Маныкин

Ответственный редактор
к.и.н. М.Ю. Моруков

Составитель
В.М. Хлёсткин

М 82 **Москва в 1812 году. Письма, дневники, записки, воспоминания современников** / Сост. В.М. Хлёсткин. – М.: Издательство Главного архивного управления города Москвы, 2012. – 560 с.

ISBN 978-5-7228-0211-8

«Москва в 1812 году...» представляет собой наиболее полную на сегодняшний день антологию мемуарно-эпистолярного наследия о Москве 1812 года. Включённые в неё письма, записки, дневники и воспоминания современников воссоздают поистине драматическую судьбу древней русской столицы, которая в Двенадцатом году стала объектом завоевательной политики Наполеона, но опрокинула все его расчёты и «вредом своим купила спасение России». Многие из материалов сборника являются библиографической редкостью и по сей день практически неизвестны широкому кругу читателей.

Настоящая хрестоматия будет интересна всем, кто стремится иметь более полное представление об эпохе 1812 года, составившей славную страницу отечественной истории.

К изданию прилагается компакт-диск (CD) с электронной версией хрестоматии и дополнительными материалами.

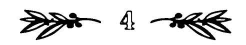
ББК 63.3(2-2М)47

ISBN 978-5-7228-0211-8

СОДЕРЖАНИЕ

III. СВЯЩЕННЫЙ ПЕПЕЛ

IV. ПАМЯТЬ



ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРЕДИСЛОВИЕ

Москва 1812 года отразила в своей судьбе весь драматизм Отечественной войны, всю готовность русского народа к самопожертвованию в борьбе с нашествием «двунадесяти языков» Европы, всю его волю к победе. Московский пожар стал своего рода русским национальным катарсисом, уже не допускающим никакого примирения с противником и обрекающим Наполеона и его армию злой участи в России.

«Мы современники и вполне не понимаем пожара Москвы; мы не можем удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родилось вместе с русскими; мы должны гордиться и оставить удивление потомкам и чужестранцам», – писал Михаил Лермонтов в 4-й сцене драмы «Странный человек».

Этот беспримерный в истории человечества акт национального самопожертвования, каким является пожар Москвы, остаётся и сегодня, спустя 200 лет, как будто эмоционально невместным нам и всё ещё готов оправдывать слова Константина Батюшкова: «Потерю Москвы немногие постигают. Она, как солнце, ослепляет» (в письме к П.А. Вяземскому от 3 октября 1812 г.).

Тем не менее ключ к пониманию той роли, которую сыграла Москва в 1812 году, всё-таки есть, и он – в осознании политического значения Москвы, которое парадоксальным образом никак не даётся историографам Отечественной войны. А между тем именно в нём, политическом значении Москвы, кроется объяснение того, почему Наполеон пошёл на Москву (сакраментальный вопрос российских бонапартистов) и почему Москва сыграла такую роковую роль в его судьбе.

Дело в том, что если значение Москвы как источника сырьевых ресурсов государства сознавалось у нас с самого начала, ещё в период подготовки к войне[1], если, в том числе, сознавалось и нравственное значение Москвы[2], то политическое значение Москвы оказалось нами забыто за те 100 лет, что столица

---

[1] Иллюстрацией чему может служить, например, Записка М.Б. Барклая де Толли «О защите западных пределов России» от марта 1810 г., где говорится: «Москва будет служить главным хранилищем, из которого истекают действительные к войне способы и силы» (цит. по: Отечественная война 1812 г. : Отд. 1. Т. 1 : Ч. 2. – СПб., 1900. – С. 3.

[2] О чём свидетельствуют слова главнокомандующего в Москве графа Ф.В. Растопчина (граф Растопчин писал свою фамилию через «а»): «Я очень хорошо видел, что Москва подает пример всей России. Ей подобало служить регулятором, маяком, источником электрического тока» (цит. по: *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 261).

была перенесена в Санкт-Петербург, и не сознавалось вовсе, даже после того как война началась и стала приближаться к Москве. По существу, Москва осознала угрожающую ей опасность не раньше чем был взят Смоленск, бывший в народном сознании «ключом к Москве».

Сегодня французские авторы пытаются уверить нас в том, что Наполеон не имел намерения идти на Москву (и что, следовательно, мы сами в том виноваты, что Наполеон оказался в Москве, включая, разумеется, и все последствия этого непрошеного «визита»)[3]. Но, думается, что Наполеон вряд ли согласился бы с тем, что оказался в Москве по недоразумению. Во всяком случае, мы его точно в Москву не приглашали, и французским авторам не мешало бы с этим как-то считаться... или даже обратить внимание на то, что говорит сам Наполеон по этому поводу.

«Я иду в Москву и в одно или два сражения все кончу. Император Александр будет на коленях просить мира. Я сожгу Тулу и обезоружу Россию. Меня ждут там. Москва сердце Империи; без России континентальная система есть пустая мечта», – говорит Наполеон французскому посланнику в Варшаве аббату де Прадту накануне вторжения в Россию[4].

А вот что слышит от Наполеона посланец императора Александра I генерал А.Д. Балашов в самом начале войны, в Вильне: «Я пришел, чтобы раз навсегда покончить с колоссом северных варваров [...]. Надо отбросить их во льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы [...]. Мир я подпишу в Москве [...]. Цивилизация отвергает этих обитателей севера. Европа должна устраиваться без них»[5].

А затем в Смоленске генералу П.А. Тучкову, пленённому в сражении при Валутиной горе: «Не лучше ли трактовать о мире прежде потери баталии, чем после? Да и какие последствия будут, если сражение вами проиграно будет? Последствия те, что я займу Москву, и какие б я меры ни принимал к сбережению ее от разорения, никаких достаточно не будет: завоеванная провинция или занятая неприятелем столица похожа на девку, потерявшую честь свою. Что хочешь после делай, но чести возвратить уже невозможно. Я знаю, у вас говорят, что Россия еще не в Москве, но это же самое говорили и австрийцы, когда я шел на Вену, но когда я занял столицу, то совсем другое заговорили. И с вами то же случится. Столица ваша Москва, а не Петербург. Петербург не что иное, как резиденция, настоящая же столица России – Москва»[6].

Отсюда понятно, что захват Москвы имел для Наполеона особый смысл: тем самым он хотел, что называется, показать России её место – за пределами Европы; хотел в буквальном смысле *заставить* нас признать своей настоящей столицей Москву, столицу допетровской Руси, древней Московии, столицу «скифов», расположенную «во льдах Сибири» и чуждую Европе.

По существу, это был антипетровский проект, который имел целью вернуть Россию в допетровское состояние, вытеснить её из европейского политического и культурного пространства и, более того, подчинить её диктату политической системы, созданной Наполеоном. Как таковой, этот проект находился и находится в русле

---

[3] Автор идеи Фернан Бокур (1921–2005).

[4] Цит. по: *Дубровин Н.Ф.* Русская жизнь в начале XIX века. – СПб., 2007. – С. 557–558. Любопытно, что тому же де Прадту довелось первому услышать и знаменитые слова Наполеона, сказанные по возвращении из России: «От великого до смешного – один шаг».

[5] *Коленкур А.* де. Мемуары : Поход Наполеона в Россию. – Смоленск, 1991. – С. 81–82.

[6] Цит. по: Отечественная война 1812 г. : Сб. документов и материалов. – Л.; М., 1941. – С. 52.

исторически сложившегося неприятия России Европой, которое мы наблюдаем и сегодня.

Наконец, со всей определённостью политическая цель «русской кампании» Наполеона выражена в его воззвании к войскам накануне вторжения в Россию: «положить конец пятидесятилетнему кичливому влиянию России на дела Европы»[7]. И эта цель, разумеется, могла быть достигнута только в Москве.

Так почему же, в таком случае, «русская кампания» Наполеону не удалась? Что пошло у него не так и в какой момент? Ведь, как ни крути, а Наполеон достиг-таки Москвы?!

Сам Наполеон, вспоминая впоследствии, уже в ссылке, о «русской кампании», говорил: «Во всей этой войне я находился под влиянием дурного гения, порождавшего в решительные минуты препятствия, которые не могли быть предусмотрены»[8].

Давайте рассмотрим, где же этот «дурной гений» замешался в планы Наполеона и что он такое мог собой представлять? Ведь до самого вступления Наполеона в Москву мы не находим в обстоятельствах военной кампании ничего, что не могло бы быть предусмотрено или ожидаемо завоевателем, – не станем же мы относить к числу неожиданностей сопротивление противника, пусть даже и самое отчаянное?!

Тем не менее, вот цель достигнута – Наполеон в Москве! И что же? Москва сгорает прямо у него на глазах! Такого он, действительно, предположить никак не мог! Вот где только начинается влияние «дурного гения, порождавшего в решительные минуты препятствия, которые не могли быть предусмотрены», – в Москве!

Наполеон сразу понимает значение московского пожара – как свидетельство непримиримости русских, – но не хочет этого принять. Ещё целый месяц он «из упрямства» (выражение М.И. Кутузова) сидит в «спаленной Москве», игнорируя факт её сожжения и пытаясь представляться победителем. Тщетно! С каждым днём его «московское сидение» всё больше сбивается на карикатуру – русские мира не дают и, очевидно, не желают, «великая армия» все больше становится похожа на банду мародёров, сожжённая русскими столица совсем не похожа на трофей победителя, а сам он не знает, что предпринять, чтобы выйти из создавшегося положения, «сохранив лицо».

И вот, пока Наполеон пребывал в такой нерешительности, русские показали, кто же был хозяином положения на самом деле, – 6 октября при Тарутине был разбит авангард «великой армии» под командованием Мюрата. Только теперь у Наполеона открылись глаза. Он вдруг ясно увидел, что Москва была не что иное, как ловушка, в которую заманил его Кутузов, и что, сидя в ней, он только даром потерял время. А ведь он всегда знал: «Потеря времени на войне невозместима»[9]. Он тут же бросается вон из Москвы, гонимый предчувствием грозящей катастрофы... но игра уже сделана. При Малоярославце, где русская армия преграждает Наполеону дорогу, он уже не находит себя способным на сражение. «Этот дьявол Кутузов не получит от меня новой битвы!» – произносит он в сердцах и в первый и единственный раз в своей жизни уклоняется от сражения. Отныне он ищет спасения в бегстве, и хотя лично для себя он его находит, вся его армия на возвратном пути из России погибает.

---

[7] Цит. по: *Савёлов Л.М.* Московское дворянство в 1812 году. – М., 1912. – С. 89.

[8] *Веймарн Ф.В.* Барклай де Толли и Отечественная война 1812 года // Русская старина. – 1912. – № 8. – С. 326.

[9] *Наполеон Бонапарт.* Египетский поход. – СПб., 2000. – С. 176.

А теперь возникает интересный вопрос: как же могло случиться, что та цель, которую Наполеон перед собой ставил, к которой он стремился от самых границ России и которой он таки достиг, то есть захват Москвы, вместо желанного торжества обернулась провалом всей его стратегии? Что здесь, в этом захвате Москвы, было такого, что не укладывалось в ожидаемый им результат, что невозможно было ему предвидеть? Неужели «великодушный пожар», которого «предузнать», говоря словами Пушкина, Наполеон не смог, был всему виною?

Нет, не только. Московский пожар, безусловно, сыграл свою роль: он не мог не иметь нравственного влияния на противника, и в этом прежде всего следует искать причину разложения наполеоновской армии в Москве; и уже по этой причине московский пожар обретает значение нравственной победы русского народа над врагом![10] Но было ещё одно обстоятельство, которое Наполеон также «предузнать не смог» и которое игнорировать теперь никак не получалось (его он также мог бы отнести насчёт «дурного гения»), – *он не смог разбить русскую армию в генеральном сражении при Бородине*. Вот где только сказался настоящий результат Бородинской битвы – в Москве, и сказался не в пользу Наполеона. Вот где только Наполеон мог в полной мере осознать коварство Кутузова при уступке ему Москвы, и вот где Кутузов стратегически уже переиграл Наполеона – в Москве!

Можно сколько угодно отвлечённо спорить о том, кто же победил при Бородине – мы или французы. Спор этот бесплоден, ибо очевидного результата победы на Бородинском поле не было ни у одной из сторон, но результат этого сражения становится очевиден там, где каждая из сторон в нём более всего нуждалась, – в Москве, и Наполеон на своей стороне его не находит.

Так что для Наполеона Бородинское сражение оказалось сражением с отложенным концом, какого ещё не было в его практике, и концом тем более чувствительным, что он осознал его там и тогда, где и когда менее всего был к этому готов, – в Москве.

Это впоследствии, уже в ссылке, Наполеон будет утверждать: «В Москве весь мир уже готовился признать мое превосходство: стихии разрешили этот вопрос»[11]. Но это не более чем слова. Ведь достаточно было только русской армии не признать этого мнимого «превосходства» Наполеона, чтобы его не признал и «весь мир». «Стихии» же отказали Наполеону в признании уже потом, в последнюю очередь.

После Москвы для Наполеона всё перестаёт быть прежним – и он сам, и его армия. Современников поразила и привела в недоумение та перемена, которая обнаружилась в наполеоновской армии сразу же по выходе её из Москвы. «Чем больше размышляю, тем непонятнее кажется мне сие отступление, которое не было следствием потери главного сражения, но предпринято без всякого приготовления; думать надобно, что причиною оного было какое-нибудь непредвиденное приключение. Какое отступление! Не видно, чтоб оно совершаемо было под начальством великого полководца; беспорядок, смятение, недостаток господствуют во французской армии с первого дня сей ретирады»[12].

---

[10] Здесь мы хотели бы прибегнуть к свидетельству современников, которые по поводу мнимого нравственного превосходства французов, превозносимого ими в литературе, замечают, что «нравственное превосходство французского войска над русским состояло только в воображении французских писателей» (цит. по: *Норов В.С.* Записки о походах 1812 и 1813 годов, от Тарутинского сражения до Кульмского боя : В 2 ч. Ч. 1. – СПб., 1834. – С. 157).

[11] Максимы и мысли узника Святой Елены. – СПб., 1995. – С. 72.

[12] Из письма русского офицера от 3 ноября 1812 года // Сын Отечества : Историч., полит. и лит. журнал. – 1812. – № 7. – С. 39.

Чтобы понять, до какой степени спонтанным и неподготовленным было французское отступление из Москвы, достаточно сказать, что за месяц своего сидения в Москве французы даже не удосужились подковать своих лошадей, чтобы подготовить их к зимней кампании. В результате на возвратном пути вся их кавалерия была потеряна, а с ней вместе – и артиллерия, лишённая конной тяги. Невольно задаёшься вопросом, в каком же смятении должен был пребывать полководец, если не озаботился о таких насущных вещах?!

И вот наиболее авторитетное тому подтверждение: «Бонапарте неузнаваем. Порою начинаешь думать, что он уже больше не гений. Сколь беден род человеческий!»[13] Это пишет М.И. Кутузов жене, что любопытно, того же 3 ноября 1812 года, накануне боёв под Красным, где наполеоновская армия потерпела сокрушительное поражение[14] и где её отступление превращается в паническое бегство.

Перемена военного счастья, происходящая после бегства Наполеона из Москвы, производила на современников впечатление чего-то чудесного, достойного благодарения небес. «Оборот, который приняла война, есть неудобопонятный», – пишет в декабре 1812 года дежурный генерал 1-й армии П.А. Кикин государственному секретарю А.С. Шишкову и в том же письме выдвигает идею о сооружении в Москве храма-памятника Христу Спасителю, которая и была поддержана Манифестом от 25 декабря 1812 года[15].

Но если всё-таки оставаться на почве земного объяснения событий, к чему, собственно, и призвана история, то мы должны будем признать, что эта перемена военного счастья связана непосредственно с Москвой. Москва исчерпала весь стратегический ресурс Наполеона, опрокинула все его расчёты. После Москвы «русская кампания» Наполеона уже не имеет военного решения, оставляя ему лишь надежду на спасение, увы, тщетную.

Здесь также становится понятен и стратегический замысел Кутузова – он был основан именно на пожертвовании Москвы. Вспомним слова Кутузова, сказанные на военном совете в Филях полковнику Толю: «Vous craignez la retraite par Moscou et moi je la consldère comme une Providence car cela sauve l'armée. Napoléon est comme un torrent que nous ne pouvons pas encore arrêter. Moscou sera l'éponge qui le recevra»[16].

И замечательно, что сознание этой жертвенной уступки Москвы передалось русскому народу[17]. С.Н. Глинка совершенно прав, когда говорит, что с той минуты, как Наполеон вошёл в Москву, он вступил в бой со всем русским народом. И теперь мы

---

[13] Фельдмаршал Кутузов : Документы. Дневники. Воспоминания. – М., 1995. – С. 251.

[14] Было взято более 26 тысяч пленных, более 200 орудий, 6 полковых знамён, маршальский жезл Даву и личные вещи Наполеона, что, однако, не помешало французам представить бои под Красным как свою победу и даже удостоить её почётного места на триумфальной арке в Париже. Но такова уж французская историография «русской кампании» – она насквозь фантазийна.

[15] Москвитянин : Журнал, изд. М. Погодиным. – 1846. – Ч. 1 : № 1. – С. 160.

[16] «Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на Провидение, ибо оно спасает армию. Наполеон подобен быстрому потоку, который мы сейчас не можем остановить. Москва – это губка, которая всосет его в себя» (цит. по: *Голицын А.Б.* Записка о войне 1812 года князя А.Б. Голицына // *Военский К.А.* Отечественная война 1812 года в записках современников. – СПб., 1911. – С. 70).

[17] «Эта великая жертва принесена была без ропоту, без мятежа и народного негодования в самой Москве и в губерниях, только потому, что повеление шло от Кутузова» (*Бутенев А.П.* Из воспоминаний // Русский архив. – 1881. – Кн. 3 : № 5. – С. 81–83).

можем даже назвать «дурного гения» Наполеона, о котором он говорит как о главном виновнике своей неудачи в «русской кампании», – это были патриотизм русского народа и доблесть русской армии во главе с фельдмаршалом М.И. Кутузовым.

* * *

Как таковая, московская тема в контексте Отечественной войны 1812 года открывается Манифестом государя от 6 июля из Полоцка, известным как Воззвание к Москве. В нём подчеркивалась значимость древней русской столицы как мобилизующего центра государства и содержался призыв к всеобщему ополчению против вражеского вторжения: «Того ради имея в намерении, для надежнейшей обороны, собрать новые внутренние силы, наипервее обращаемся мы к древней столице предков наших, Москве. Она всегда была главою прочих городов российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ее из всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества для защиты оного. Никогда не настояло в том вящей надобности, как ныне. Спасения веры, престола, царства того требуют. И так да распространится в сердцах знаменитого дворянства нашего и во всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляет Бог и православная наша церковь; да составит и ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся оные, начиная с Москвы, во всей обширной России»[18].

Это Воззвание как бы отмечает собой поворотный момент в войне – отказ от принятого нами стратегического плана войны («плана Фуля», провалившегося с выходом русской армии из Дрисского лагеря) и стремление придать войне характер войны народной. Его опубликование московский градоначальник граф Ф.В. Растопчин приурочил к прибытию в Москву государя[19]. С этого момента, можно сказать, и начинается крестный путь Москвы в 1812 году. Из воспоминаний современника:

«Приезд императора Александра I в Москву из армии 12 июля 1812 года был событием незабвенным и принадлежит истории. До сего война, хотя и ворвавшаяся в недра России, казалась вообще войною обыкновенною, похожею на прежние войны, к которым вынуждало нас честолюбие Наполеона. [...] С приезда государя в Москву война приняла характер войны народной. Все колебания, все недоумения исчезли; все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном святом чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторжения неприятеля»[20].

Кульминацией пребывания императора Александра I в Москве была его встреча 15 июля с московским дворянством и купечеством в Слободском дворце. Государь

---

[18] *Апухтин В.Р.* Сердце России первопрестольная столица Москва и Московская губерния в Отечественную войну. – М., 1912. – С. 4.

[19] «Печатный лист» с Воззванием был получен в Москве, согласно С.Н. Глинке, 11 июля в 3 часа утра (см.: *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения.. – СПб., 1836. – С. 2–3). Эта же дата подтверждается и «Дневником Д.М. Волконского» (см.: 1812 год... : Военные дневники. – М., 1990. – С. 137). Граф же Ф.В. Растопчин в своих «Записках о 1812 годе» пишет, что пакет с Воззванием к Москве был доставлен ему вечером 7 июля с прибывшим флигель-адъютантом государя князем В.С. Трубецким (см.: *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 265). Таким образом, графу удалось держать московскую публику в неведении относительно приезда государя вплоть до самого дня его прибытия в Москву (во избежание ненужных волнений).

[20] *Вяземский П.А.* Воспоминание о 1812 годе // Русский архив. 1869. – Кн. 1.– Стлб. 181, 183.



нашёл здесь такую горячую поддержку, такой единодушный отклик на свой «призыв всех и каждого на защиту Отечества против врага», которые даже превзошли его ожидания. Московское дворянство «постановило собрать в Московской губернии для внутреннего ополчения со 100 душ по 10 человек, вооружив их по возможности и снабдив одеждою и провиантом», что в итоге должно было составить до «80 тысяч воинов обмундированных и вооруженных».

В свою очередь московское купечество, «духом общего соревнования движимое, тотчас предположило на потребные для предпринимаемого ополчения издержки сделать со всех гильдий денежный сбор, расчисля оный по капиталам; но, сим не довольствуясь, знатная часть купечества настоятельно изъявляла желание свое на частные, сверх общего сбора, от лица каждого пожертвования, и все просили, чтоб дозволено было им безвыходно приступить к подписке. Оная немедленно была ими начата, и менее нежели в два часа суммы подписной составилось полтора миллиона рублей»[21].

Государь настолько был доволен результатом своего пребывания в Москве, что в тот же день писал председателю Комитета министров графу Н.И. Салтыкову: «Приезд мой в Москву имел настоящую пользу. В Смоленске дворянство мне предложило на вооружение 20 тысяч человек, к чему уже тотчас и приступлено. В Москве одна сия губерния дает мне десятого с каждого имения, что составит до 80 тысяч, кроме поступающих охотно из мещан и разночинцев. Денег дворяне жертвуют до 3 м[иллионов]; купечество же с лишком до 16. Одним словом, нельзя не быть тронуту до слез, видя дух, оживляющий всех, и усердие и готовность каждого содействовать общей пользе»[22].

Но, помимо материальной стороны дела, было здесь и нечто другое, что сумел подметить и выразить князь П.А. Вяземский: «Главное внимание наше обращается на духовную и народную сторону этого события, а не на вещественную. Оно было не мимолетной вспышкой возбужденного патриотизма, не всеподданнейшим угождением воле и требованиям государя. Нет, это было проявление сознательного сочувствия между государем и народом. Оно во всей своей силе и развитости продолжалось не только до изгнания неприятеля из России, но и до самого окончания войны, уже перенесенной далеко за родной рубеж. С каждым шагом вперед яснее обозначалась необходимость расчесться и покончить с Наполеоном не только в России, но и где бы он ни был. Первый шаг на этом пути было вступление Александра в Слободской дворец. Тут невидимо, неведомо для самих действующих провидение начертало свой план: начало его было в Слободском дворце, а окончание в Тюильерийском»[23].

Здесь пора уже сказать о человеке, которому преимущественно император Александр I и обязан был успехом своей московской миссии, – московском военном губернаторе графе Фёдоре Васильевиче Растопчине. Он остаётся в эти дни как будто на втором плане, заслонённый фигурой государя и его блестящим двором, тогда как ему без преувеличения принадлежит ведущая роль в подготовке всех мероприятий в рамках высочайшего визита, равно как и самих его результатов.

Сохранив до времени в тайне известие о приезде императора Александра I в Москву, граф Растопчин тем временем успел подготовить «Доклад о составе

---

[21] Московские ведомости. – 1812. – № 58.

[22] *Щукин П.И.* Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года : В 10 ч. Ч. 9. – М., 1905. – С. 138–139.

[23] *Вяземский П.А.* Воспоминание о 1812 годе // Русский архив. – 1869. – Кн. 1. – Стлб. 184.

Московской военной силы», который определял создание комитетов для формирования Московской военной силы, их состав и обязанности, и был утверждён государем в самый день его прибытия в первопрестольную столицу. Под этим документом первой стоит подпись графа Растопчина, а уже затем имена графа А.А. Аракчеева, А.Д. Балашова и А.С. Шишкова, что и позволяет нам говорить об авторстве московского градоначальника. К тому же трое последних просто по времени не могли участвовать в подготовке данного документа. После этого государь учредил под председательством графа Растопчина (о чём последний пишет в своих Записках[24]) Комитет для установления правил организации Московской военной силы, в который вошли также Аракчеев, Балашов и Шишков. Эти правила были выработаны (под названием «Состав Военной московской силы») и утверждены государем уже 14 июля. Конфигурация имён под этим документом та же, что и под «Докладом о составе Московской военной силы», поэтому не подлежит сомнению, что ведущая роль в столь оперативной его разработке принадлежит графу Растопчину.

Наконец, 18 июля последовал заключительный документ в отношении организации ополчения, ставший итогом всего московского визита государя – Манифест о составлении временного внутреннего ополчения. Им учреждались для дополнительной обороны империи три ополченских округа. В первый, предназначенный для обороны Москвы, входили губернии: Московская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская и Смоленская. Верховное начальство над ополчениями первого округа поручалось главнокомандующему в Москве графу Растопчину[25]. Ополчения первого округа формировались на основе правил, выработанных для организации Московской военной силы, составляли эту Московскую военную силу и получили это общее название[26]. Нет никаких сомнений в том, что и в подготовке данного Манифеста граф Растопчин также принял непосредственное участие.

Время пребывания императора Александра I в Москве было временем наибольшего возвышения графа Растопчина и наибольшего его сближения с государем.

---

[24] *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 268.

[25] Днём ранее, 17 июля, граф Ф.В. Растопчин Высочайшим указом был назначен главнокомандующим в Москве (Московские ведомости. – 1812. – № 64). Это было знаком особой милости и чести, так как звание главнокомандующего среди российских губернаторов носил только военный губернатор Санкт-Петербурга.

[26] В литературе наименование «Московская военная сила» употребляется преимущественно в узком смысле – как дублирующее название Московского ополчения, что не вполне справедливо. По смыслу Манифеста от 18 июля, Московскую военную силу составляли все губернские ополчения 1-го округа, предназначенные для обороны Москвы. В подтверждение приводим выписку из документа: «1812 года, августа 30-го дня, в 1-м Комитете в силу высочайше конфирмованного июля дня доклада о составе земского ополчения под названием Московской военной силы, в присутствии членов: Степана Степановича Апраксина, Ивана Петровича Архарова, Петра Хрисанфовича Обольянинова.
1. Комитет, доведя к окончанию прием и снабжение воинов в Московской губернии, имел рассуждение, может ли заняться распоряжениями по земскому ополчению и в других губерниях, составляющих Московскую военную силу, но как сделалось известным, что губернские начальники прямо от главнокомандующего в Москве получают предписания, и сверх того, при лице Его Императорского Величества учрежден верховный комитет, то уже и не имел права здешний приступить к распоряжению по сему предмету» (цит. по: *Апухтин В.Р.* Народная военная сила: Дворянские ополчения в Отечественную войну : Т. 1: Ч. 2. – [М.], 1912. – С. 43–44. Подчёркнуто мною. – *В.Х.*).

Увы, оно оказалось непродолжительным и более похожим на мимолётный роман, закончившийся, как обыкновенно бывает, разлукой. В ночь на 19 июля император Александр I отбыл в Санкт-Петербург. «Он не захотел, чтобы я проводил его до заставы, сел в свою коляску и уехал, оставив меня полновластным и облеченным его доверием, но в самом критическом положении, как покинутого на произвол судьбы импровизатора, которому поставили темой: "Наполеон и Москва"»[27].

Впоследствии историки подвергнут личность графа Ф.В. Растопчина, как и его деяния, строгому и, увы, по большей части несправедливому разбору, пойдя на поводу у личных пристрастий. Между тем в тех обстоятельствах, в которых находилась Россия в 1812 году, трудно было найти человека, который оказался бы до такой степени на своём месте, как граф Ф.В. Растопчин[28]. Это он сумел мобилизовать Москву и, можно сказать, подготовил её к подвигу самопожертвования. Не случайно Наполеон удостоил графа Растопчина своей личной неприязнью (которую, к слову сказать, сам граф почитал своей лучшей наградой), и об этом следовало бы помнить всем критикам графа Растопчина.

«Я очень хорошо видел, что Москва подает пример всей России, и старался всеми силами приобрести и доверие, и любовь ее жителей. Ей подобало служить регулятором, маяком, источником электрического тока»[29].

И Москва действительно, несмотря на все тревоги войны, являла пример тишины, спокойствия и преданного служения.

По своему политическому кругозору и масштабу своей личности граф Растопчин стоял много выше лиц даже из числа приближённых к государю, что они не могли, конечно, не сознавать и что, разумеется, шло не на пользу графу.

Буквально накануне вторжения Наполеона в Россию граф пишет императору Александру I: «Я полагаю, что известие о заключении мира с турками побудит Наполеона начать войну с Вами, Государь. Ежели не было заключено никакого условия, то он не захочет ждать подкреплений, которые подойдут с Дуная к войскам, которые должны будут сразиться с французами. Я не боюсь неудач. *Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате.* Шестнадцать миллионов людей исповедуют одну веру, говорят на одном языке, их не коснулась бритва, и *бороды будут оплотом России*. Кровь, пролитая солдатами, породит им на смену героев, и даже если бы несчастные обстоятельства вынудили Вас решиться на отступление перед победоносным врагом, и в этом случае *император России всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске*»[30].

Эти слова можно было бы почесть пророческими. А уже после начала войны он рекомендует государю: «Объявление войны Наполеону, а не французам может произвести впечатление на этот великий народ безумцев»[31].

Прислушивался ли император Александр I к его словам? Трудно сказать. Кажется, ничьё влияние не имело над ним (Александром I) власти, хотя он и производил впечатление человека мягкого и доступного. Но несомненно, что Александр I остерегал-

---

[27] *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 278.

[28] Разумеется, мы не можем не назвать ещё и М.И. Кутузова, названного современниками Спасителем России, а также императора Александра I по значению его влияния на дела войны. Их отношения, которые далеко не всегда характеризовались согласием, дают нам пример того, что единодушие в служении Отечеству объединяет дела людей гораздо больше, чем разделяет разномыслие.

[29] *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 261.

[30] Русская старина. – 1893. – Т. 77 : Январь. – С. 179.

[31] Русский архив. – 1892. – Кн. 2 : № 8. – С. 427–428.

ся пылкости графа Растопчина, чему способствовало и его (Александра I) ближайшее окружение, напуганное внезапно возросшим значением московского главнокомандующего. Уже к концу июля 1812 года последовали шаги, ограничивающие полномочия и влияние московского главнокомандующего в делах ополчения, – той области, разработчиком которой он являлся. Граф Растопчин получил Высочайший указ от 28 июля «не касаться во внутреннее формирование» ополчений Тверской и Ярославской губерний, порученных принцу Георгию Ольденбургскому, супругу великой княгини Екатерины Павловны. А затем – Высочайший указ от 31 июля об учреждении «при лице Его Величества» Особого комитета по внутреннему ополчению («для сосредоточения и совокупного соображения дел») и назначении в него генерала от артиллерии графа А.А. Аракчеева, генерал-лейтенанта А.Д. Балашова и вице-адмирала А.С. Шишкова[32].

Так граф Растопчин был поставлен в подчинённое положение к лицам, которые по делам ополчения были до этого ниже него. Он не мог не почувствовать обиды. Несмотря на то, граф Растопчин не дал остыть патриотическому движению, начавшемуся в Москве. Оно охватило собой все губернии Центральной России, составившие первый ополченский округ. Пожертвования потекли рекой. Их оказалось так много, что даже «после произведенных из них расходов на сбор, передвижение, обмундирование и содержание временных ополчений: Московского, Тверского, Ярославского, Владимирского, Рязанского, Тульского, Калужского и Смоленского, призванных для охраны первопрестольной столицы – Москвы и ее окрестностей, оставалось еще к 30 декабря 1812 года 2 355 856 руб. 67½ коп.»[33]

После отъезда государя Москва ещё некоторое время пребывала в возбуждении от его визита: «движение народа было необыкновенное, множество приезжих из деревень наполняли вечерние гулянья на бульварах, так что тесно от них было; все почти были в мундирах Московского ополчения, вооруженные, готовые кровью своею искупить мать русских градов; но мало-помалу эта толпа становилась реже и реже, а недели через три бульвары и вовсе опустели»[34].

В это время большую популярность приобрели афиши, выпускаемые графом Растопчиным. Вот как сам граф объясняет их появление: «Я чувствовал потребность действовать на умы народа, возбуждать в нем негодование и подготовлять его ко всем жертвам для спасения отечества. С этой-то поры я начал обнародовать афиши, чтобы держать город в курсе событий и военных действий»[35].

Написанные нарочито простонародным наречием, они коробили взыскательный вкус образованной публики, находившей их неуместными и неприличествующими званию московского градоначальника, но простому народу они очень нравились и он с жадностью ловил каждое их слово. По свидетельству современника, эти афиши «производили на народ московский огненное, непреоборимое действие!» и «много способствовали к возбуждению народа против Наполеона и французов и к сохранению спокойствия Москвы». Тот же современник называет графа Растопчина «гениальным человеком, понявшим свое время»[36].

---

[32] Журналы Комитета министров. Царствование Императора Александра I : Т. 2. – СПб., 1891. – С. 104.

[33] *Фёдоров В.П.* Москва в эпоху Отечественной войны. – М., 1911. – С. 5.

[34] *Бестужев-Рюмин А.Д.* Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году. – М., 1859. – С. 68–69.

[35] *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 265.

[36] *Дмитриев М.А.* Мелочи из запаса моей памяти // *Дмитриев М.А.* Московские элегии. – М., 1985. – С. 296.

Сходное мнение высказывает и князь П.А. Вяземский: «Так называемые "афиши" графа Ростопчина были новым и довольно знаменательным явлением в нашей гражданской жизни и гражданской литературе»[37].

И на этот вот момент мы хотели бы обратить особое внимание. Граф Растопчин в качестве градоначальника стал первым *говорить* с Москвой, чего никто и никогда из московских градоначальников не делал. Это была новая форма отношений власти с обществом, намного опередившая своё время, и в этом смысле графа Растопчина можно назвать первым *народным* генерал-губернатором, непосредственно опиравшимся в своей деятельности на народную поддержку. И народ московский действительно любил своего градоначальника и доверял ему, называя его «наш граф». Главная причина этой любви и доверия заключалась не в афишах, конечно, а в том, что граф Растопчин внёс в руководство городом то *нравственное начало*, которого в нём прежде не было и которое обыкновенно бывает наиболее ценимо русскими людьми. Доверенность к нему москвичей час от часу увеличивалась, и общественное мнение говорило в пользу графа Растопчина. Фрейлина М.А. Волкова писала своей приятельнице в Санкт-Петербург, что графом Растопчиным «очень довольны в нашей доброй Москве. Он очень деятелен, справедлив, и если не изменится, то его очень полюбят здесь»[38].

«Город, по-видимому, был доволен моим назначением, – вспоминал впоследствии граф Растопчин. – Мне было 47 лет, я пользовался отличным здоровьем и выказал с самого начала большую деятельность, что было новостью; потому что все предшественники мои были старцы. Я сразу сделался популярным, благодаря доступности ко мне. Я сделал объявление, что каждый день, от 11 часов до полудня, принимаю всех и каждого и что те, кто имеет мне сообщить нечто важное, могут являться ко мне во всякий час. [...] Я входил повсюду, говорил со всяким; я узнал много такого, чем потом пользовался. Переодетый в гражданское платье, я загонял две пары лошадей, а в 8 часов утра появлялся у себя, в мундире и готовым приняться за работу»[39].

Москва под его управлением приобрела более строгий вид. С улиц исчезли вывески с изображениями гробов, заменённые именами мастеров; бывшие в городе 392 дома под названием гербергов, рестораций, съестных трактиров и харчевен приведены были «в пристойное положение»; все колокольни были снабжены запорами и закрыты во избежание самовольного набата; строжайше запрещалось курение на улицах.

«Русский вестник» с удовлетворением отмечал: «Кузнецкий мост обрусел, и вместо *Викторины Пеш, Антуанетты Лапотер* и лавок à la Corbeille au temple du bon gout торгуют Карп Майков, Доброхотов, Абрам Григорьев, Иван Пузырев и проч.»[40]

И все же, несмотря на все меры строгости и военные приготовления, мирный вид Москвы не нарушался до самого падения Смоленска. Общий голос считал Смоленск пределом нашего отступления. Тем сокрушительнее оказалась весть о взятии Смоленска. Она «огромила» Москву. «Раздался по улицам и площадям гробовой голос жителей: *отворены ворота к Москве*! Началось переселение из городов, уездов, из сел и деревень. Иные ехали и шли; а куда? Куда Бог поведет»[41].

---

[37] *Вяземский П.А.* Воспоминание о 1812 годе // Русский архив. – 1869. – Кн. 1.– Стлб. 185.

[38] *Каллаш В.В.* (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. – М., 1912. – С. 247.

[39] *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 253.

[40] Русский вестник. – 1813. – Ч. 2 : № 5. – С. 75.

[41] *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения. – СПб., 1836. – С. 32.

С этого времени начинается эвакуация из Москвы государственных учреждений и ценностей и массовый выезд населения. Число берлин[42], карет, бричек, колясок, выезжавших через заставы Ярославскую, Петербургскую, Владимирскую и Рязанскую, доходило до 1320 в один день. И это не считая различного рода повозок, кибиток, телег и прочих самодельных транспортных средств.

Продолжительное отступление наших армий, не получающее удовлетворительного объяснения, наводило всех на мысль об измене и о необходимости смены главнокомандующего. «Москва желает, чтобы командовал Кутузов», – писал граф Растопчин императору Александру I[43]. И такое назначение последовало.

При этом известии – о назначении Кутузова – Москва опьянела от радости; все целовались, поздравляли друг друга, словно с победой; мужчины и женщины – все были в восторге, всех окрылила надежда, что теперь-то уж наши армии пойдут вперед, погонят врага. Граф Растопчин уверял (в афише от 17 августа), что «злодей в Москве не будет». Взахлёб читали и пересказывали друг другу письмо Кутузова, опубликованное графом (от 21 августа), в котором новый главнокомандующий русскими армиями уверял московских жителей «своими сединами», что готовится защищать Москву.

22 августа появилась необыкновенная афиша графа, всех заинтриговавшая: «Здесь мне поручено от Государя было сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят: и по ветру, и против ветра; а что от него будет, узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтоб вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели»[44].

Москвичи гадали, что бы это такое могло быть? Были и такие, которые уверяли, что была «уже сделана проба, и собрано было стадо овец, над которыми поднялся шар с тремя человеками, и стадо истреблено!»[45]

Вообще, в эти дни, говоря словами графа Растопчина, Москва была «измучена ожиданием сражения», пребывала в каком-то лихорадочном возбуждении. Ещё 14 августа были отправлены к армии первые два полка Московского ополчения, 1-й егерский и 1-й пехотный, сформированные на средства Н.Н. Демидова и князя Н.С. Гагарина. В их составе было много молодых людей гражданского ведомства, в том числе поэт В.А. Жуковский, князь П.А. Вяземский.

«Русский вестник» проводил ополченцев стихами:

Ступайте, воины! Сразитесь со врагами!
Не зрели вы врагов; но вашими руками
Бог будет действовать: врагов он поразит,
И верность ваших душ Бог делом подтвердит»[46].

Вся московская молодёжь спешила в это время записаться в ратники, даже мальчики старших классов Воспитательного дома, заявляя себя более взрослыми. Присутственные места запустели. Сенат остался без прокуроров. «В Москве не остается ни одного мужчины: старые и молодые – все поступают на службу», – пишет фрейлина М.А. Волкова своей подруге[47].

---

[42] Экипаж, изобретённый в г. Берлине.

[43] Русский архив. – 1892. – Кн. 2 : № 8. – С. 444.

[44] *Борсук Н.В.* Растопчинские афиши. – СПб., 1912. – С. 87.

[45] *Бестужев-Рюмин А.Д.* Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году. – М., 1859. – С. 69.

[46] Русский вестник. – 1812 : № 10. – С. 93–94.

[47] Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников : Ч. 1. – М., 1911. – С. 41.

И вот грянуло Бородинское сражение. Москва напряженно внимала отдалённому пушечному грому, который был слышен от городских застав. Полученное радостное известие о победе сменилось вдруг горьким известием об отступлении нашей армии с Бородинской позиции. Кутузов писал, что за убылью войск удерживать столь обширную позицию сделалось невозможно и что он намерен дать Наполеону последнюю решительную битву у стен Москвы.

Эти последние дни Москвы более походили на предсмертную муку. «То было видимое зрелище, когда, по мере отступления наших войск, гробовая *равнина Бородинская* вдвигалась в стены Москвы в ужасном, могильном своем объеме! Солнце светило и не светило. Улицы пустели. А кто шел, тот не знал, куда идти. Знакомые, встречаясь друг с другом, молча проходили мимо. В домах редко где мелькали люди. Носились вести, что Мюрат взят в плен. Уверяли, будто бы государь в Сокольниках на даче у графа, где Платов имел с ним свидание. Слушали и не слышали: мысли, души, весь быт московский был в разброде»[48].

В ночь на 31 августа москвичи увидели бивачные огни нашей армии, словно взглянули в лицо страшной будущности. Сражение оставалось последней надеждой Москвы. Граф Растопчин готовился участвовать в нём со своей Московской дружиной. Утром 1 сентября он поехал к Кутузову, чтобы узнать наверняка о его предположениях. Кутузов уверял графа, что «решился на этом самом месте дать сражение Наполеону»[49]. Обнадёженный, граф уехал.

Но в тот же день состоялся военный совет в Филях, на который граф Растопчин приглашён не был, а в 8 часов вечера адъютант Кутузова привёз графу известие об оставлении русской армией Москвы:

«Милостивый государь мой граф Фёдор Васильевич!

Неприятель, отделив колонны свои на Звенигород и Боровск, и невыгодное здешнее местоположение принуждают меня с горестью Москву оставить. Армия идет на Рязанскую дорогу»[50].

Наступило 2 сентября. Наверное, никогда ещё понедельник не был таким тяжёлым. Армия оставляла Москву. Войска двигались в глубоком молчании двумя колоннами: одна под командой генерал-адъютанта Уварова и самого Кутузова – через Драгомиловский мост и заставу; другая под начальством генерала Дохтурова – через Замоскворечье и Каменный мост. Вместе с войсками уходили все те, кто не успел ещё покинуть город, внося в это общее движение нечто беспорядочное и горестное одновременно.

Почти все дома уже стояли пустыми. Лавки являли ужасный беспорядок. Москва напоминала жертву, отдаваемую на заклание. Сознание отказывалось принять происходящее. Ум, чувства – всё глохло.

Два батальона Московского гарнизона покидали город с музыкой. Генерал Милорадович, командовавший арьергардом, подскакал к ним: «Какая каналья велела вам, чтоб играла музыка?» Командир Московского гарнизона отвечал, что, согласно уставу Петра Великого, гарнизон, оставляя крепость по капитуляции, выходит с музыкой. «А разве в уставе Петра Великого сказано о сдаче Москвы?» – гневно возразил Милорадович. Музыка смолкла.

---

[48] *Глинка С.Н.* Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского ополчения. – СПб., 1836. – С. 52.

[49] *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 305–306.

[50] М.И. Кутузов : Сб. документов : Т. 4 : Ч. 1. – М., 1954. – С. 221–222.

В ту минуту как граф Растопчин выехал за Рязанскую заставу, раздались три пушечных выстрела со стороны Москвы. «Выстрелы эти возвещали о занятии столицы и говорили мне, что я уже перестал быть её начальником. Поворотив лошадь, я почтительно поклонился первому городу Российской империи, в котором я родился, которого был блюстителем и где схоронил двух из детей моих. Долг свой я исполнил; совесть моя безмолвствовала, так как мне не в чем было укорить себя и ничто не тяготило моего сердца; но я был подавлен горестью и вынужден завидовать русским, погибшим на полях Бородина. Они умерли, защищая свое отечество, с оружием в руках и не были свидетелями торжества Наполеона»[51].

Граф уже знает, что произойдёт дальше. Своего 17-летнего сына Сергея, который был рядом с ним в эту минуту, он попросит снять шапку и поклониться Москве, прибавив, что в сей же день она загорится.

Впоследствии историки заведут нескончаемый спор о *виновнике* московского пожара. Граф Растопчин откажется от приписываемой ему единолично чести в поджоге Москвы. В 1823 году он даже издаст книгу «Правда о пожаре Москвы», в которой, по выражению С.Н. Глинки, «все неправда».

Сам же граф Растопчин, подсмеиваясь над теми, кто полагал, что «возможно сжечь огромный город, как на театральной сцене сгорает Персеполис от руки Таисы», говорил: «Я поджег дух народа, и этим страшным огнем легко зажечь тысячи факелов»[52].

В этих словах – всё объяснение московского пожара и роли в нём графа Фёдора Васильевича Растопчина.

* * *

То, что последовало потом, после вступления в Москву неприятеля, уже находится за пределами представлений не то что о цивилизованном, но и вообще о человеческом существовании. Никогда, даже в мрачные времена средневековья, русские люди не подвергались такому надругательству над своей свободой, верой и достоинством, как в то время, когда в Москву вошли «наполеонцы», назвавшие себя «избранниками европейской образованности»[53]. Невозможно было вообразить и представить себе, во что превратится Москва – вся красота и слава её – в результате неприятельского вторжения! Невозможно было ожидать, что те, кого мы «почитали за просвещеннейших и за чувствительнейших», на кого мы старались равняться в своём быту, и особенно в воспитании и образовании детей, окажутся на деле хуже лютых зверей, не знающих жалости, не имеющих никакого уважения ни к старости, ни к стыдливости слабого пола, ни к званию и положению людей заслуженных – ни к чему вообще! Потрясение, испытанное москвичами от встречи с европейцами, может быть сравнимо разве что с ужасом, испытываемым человеком, когда на его глазах красавица превращается вдруг в страшную и злую ведьму. Многие записки современников оставили нам следы этого потрясения.

«Потомство с трудом поверит событиям, самовидцами повествуемым, что в наш так называемый просвещенный век народом самым образованным и любезным, под

[51] *Ростопчин Ф.В.* Ох, французы! – М., 1992. – С. 314.

[52] *Борсук Н.В.* Растопчинские афиши. – СПб., 1912. – С. 54–55.

[53] Бородинское сражение (Bataille de la Moscou) : Извлечение из записок генерала Пеле о русской войне 1812 года // Чтения в историческом обществе истории и древностей российских : Кн. 1. – М., 1872. – С. 61.

предводительством великого полководца, соделаны такие пакости, злодеяния и ужасы, каких устыдился бы и сам Атилла со своими свирепыми ордами»[54].

«Какая развратность, какое жестокосердие и злоба в тех людях, которых прежде за просвещеннейших и за чувствительных почитали, изверги, а не французы»[55].

Русские были словно отрезвлены этой своей встречей с народом, в плену очарования которого они столь безрассудно пребывали и который предстал теперь перед ними в таком неприглядном виде.

«Кажется, что Провидению благоугодно показалось пожурить нас за нашу приверженность к отчизне и доказать нам, что народ, столько лет нами безрассудно боготворимый (то есть французы. – *В.Х.*), очень, очень далек от просвещения, благонравия, воинских доблестей и чистой совести прямого россиянина, – пишет современник, переживший оккупацию Москвы. – Быть может, что и между ними есть добрые люди, по крайней мере я не нашел в них ничего, кроме презрения к тем, коих могущество они уже почувствовали, чувствуют и будут чувствовать»[56].

Нельзя не признать справедливости этих слов. Мы до сих пор не встречаем со стороны европейцев (в их многочисленных мемуарах и исследованиях о «русской кампании») не то чтобы раскаяния, но даже сожаления по поводу того разнузданного насилия, которому подверглась наша страна и наши соотечественники, в особенности в оккупированной Москве, во время нашествия «двунадесяти языков» Европы в 1812 году. Напротив, со стороны европейских историков мы видим лишь попытки героизации «русской кампании» и её участников, что не может не свидетельствовать об укоренившейся враждебности европейцев по отношению к России.

Увы, ещё не поставлена точка в Отечественной войне 1812 года, ибо нет примирения на страницах её истории, и нет его не по вине российской стороны. А потому уместным напоминанием звучат для нас слова всенародного объявления, сделанного по Высочайшему повелению после ухода неприятельской армии из Москвы:

«Не долго был здесь неприятель. Один месяц и восемь дней. Но оставил по себе следы зверства и лютости, которые в бытописаниях народов покроют соотечественников и потомков его вечным стыдом и бесчестием. [...]

Мы в просвещенные нынешние времена от народа, славившегося некогда приятностию общежития и который всегда пользовался в земле нашей гостеприимством и дружбою, видим примеры лютости и злобы, каких в бытописаниях самых грубейших африканских и американских обитателей тщетно будем искать.

Одна Москва представит нам плачевный образ неслыханных злодеяний. Неприятель вошёл в неё без всякого от войск наших сопротивления, без обороны от жителей, которые почти все заблаговременно выехали. Никакая текущая кровь его не подавала ему повода к ярости и мщению. [...]

Вот с каким народом имеем мы дело. И посему должны рассуждать, может ли прекращена быть вражда между безбожием и благочестием, между пороком и добродетелью? Долго мы заблуждались, почитая народ сей достойным нашей приязни, содружества и даже подражания. Мы любовались и прижимали к груди нашей змею, которая, терзая собственную утробу свою, проливала к нам яд свой и наконец нас же

---

[54] Из Записок М.И. Маракуева // Пожар Москвы : По воспоминаниям и переписке современников : Ч. 1. – М., 1911. – С. 34.

[55] Отрывок из чернового письма неизвестного лица // *Щукин П.И.* Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года : Ч. 3. – М., 1898. – С. 262.

[56] *Щукин П.И.* Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года : Ч. 1. – М., 1897. – С. 1.

за нашу к ней привязанность и любовь всезлобным жалом своим уязвляет. Не постыдимся признаться в нашей слабости [...]. Очевидный, исполненный мерзостей, пожарами Москвы осиянный, кровию и ранами нашими запечатленный пример напоследок должен нам открыть глаза и уверить нас, что мы одно из двух непременно избрать долженствуем: или, продолжая питать склонность нашу к злочестивому народу, быть злочестивыми его рабами, или, прервав с ним все нравственные связи, возвратиться к чистоте и непорочности наших нравов и быть именем и душою храбрыми и православными россиянами. Должно единожды решиться между злом и добром поставить стену, дабы зло не прикоснулось к нам. Тогда, искусясь кровию и бедами своими, восстанем мы, купим неложную себе славу, доставим спокойствие потомкам нашим и благодать божия пребудет с нами»[57].

* * *

В настоящую хрестоматию включены письма, дневники, записки и воспоминания современников о Москве 1812 года, «вредом своим купившей спасение России». Она представляет собой наиболее полную антологию мемуарно-эпистолярного наследия того времени и заключает в себе около 80 источников (в электронной версии), в подавляющем своём большинстве отечественных. Составитель намеренно не включил в книгу никаких материалов с французской стороны, ибо целью данного издания является отражение прежде всего национального переживания войны[58]. Вместе с тем в него включены также и воспоминания москвичей-иностранцев, проживавших в 1812 году в Москве и застигнутых оккупацией города. Их воспоминания характеризуются уже иным отношением к оккупантам (хотя и в разной степени) и представляют, поэтому, дополнительный интерес, в том числе и как сравнительный материал.

Авторы публикуемых источников различны по своей сословной и профессиональной принадлежности и своему культурному цензу. Среди них мы встречаем представителей дворянства, купечества, духовенства, высокопоставленных чиновников и мелких канцеляристов, офицеров русской армии, врачей, учителей, мещан, актёров, ремесленников, крестьян, ополченцев и др. Объём и характер осведомлённости всех этих свидетелей эпохи, разумеется, различен, но совокупность их свидетельств позволяет нам представить более или менее полную картину того, что происходило в Москве в 1812 году.

Особенное внимание в хрестоматии уделено периоду наполеоновской оккупации Москвы как наиболее значимому в историографическом отношении. Поэтому составитель постарался учесть все известные на сегодня свидетельства современников о времени оккупации Москвы в период со 2 сентября по 10 октября 1812 года. Среди них есть уникальные материалы, по-настоящему ещё не вошедшие в научный оборот. Они передают прямо-таки невыносимую атмосферу насилия, в которой

---

57 М.И. Кутузов : Сб. документов : Т. 4 : Ч. 2. – М., 1955. – С. 149–152.

58 Французские свидетельства о Москве 1812 года наиболее полно представлены в сборнике «Французы в России. 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев», составленным А.М. Васютинским, А.К. Дживелеговым и С.П. Мельгуновым. Он был издан в 1912 г. (Москва, издательство «Задруга») и в 2012 г. переиздан Государственной публичной исторической библиотекой России. К этому источнику мы и отсылаем всех желающих ознакомиться с французской точкой зрения на события, происходившие в 1812 году в оккупированной Москве. Кроме того, материалы сборника практически все выложены в Интернете на исторических сайтах.

суждено было пребывать москвичам, оказавшимся во власти «европейцев», любящих обыкновенно, как тогда, так и теперь, похваляться перед нами своей «просвещённостью» и своим «превосходством». Напротив, представленные в книге материалы красноречиво свидетельствуют о нравственном превосходстве русских людей над оккупантами и со всей очевидностью доказывают, что народ, не приемлющий чуждой власти, победить невозможно и что дни Наполеона, принуждённо сидящего в Москве, уже сочтены.

В структурном отношении хрестоматия делится на четыре части, символически названные «Война», «Жертва», «Священный пепел» и «Память». Каждая из частей включает в себя материалы соответствующего значения. «Война» рассказывает о времени, предшествующем занятию Москвы неприятелем, и о событиях, относящихся к Москве, но происходящих за её пределами; «Жертва» посвящена периоду вражеской оккупации, Москвы; «Священный пепел» повествует о последствиях этой оккупации, и, наконец, «Память» представляет нам осмысление современниками пережитого времени. В целом все эти материалы дают человеческое измерение войны и тем самым дополняют собой собственно военную историю Отечественной войны 1812 года, делая наше знание о ней полнее.

Издание рассчитано прежде всего на учащуюся молодёжь, но, безусловно, будет интересено всем, кто любит отечественную историю и стремится обогатить свои знания об эпохе, составляющей одну из самых славных её страниц.

Хрестоматия представлена сразу в двух версиях – книжной, сокращённой, и электронной, полной (прилагается на CD).

Орфография источников приведена в соответствие с современными требованиями при сохранении стилистических черт времени.

В.М. Хлёсткин





ВОЙНА

Ф.В. РАСТОПЧИН. ЗАПИСКИ О 1812 ГОДЕ

1825 г.
[г. Москва]

Четыре года, протекшие со времени Тильзитского мира, совершенно изгладили те прискорбные впечатления, которыми поражены были умы после последней войны. Перестали уже бояться и верить в возможность новых наступательных действий со стороны Наполеона. Публика, приняв на веру все, что могло льстить ее самолюбию, успокаивалась надеждами на силу империи, на отвагу войск и, в особенности, на отдаленность и климат России – две преграды, через которые Наполеон никогда не осмелится перешагнуть. Каждое отдельное лицо обладало своею системою обороны, своим планом охранения безопасности; в каждой семье имелся собственный герой, созданный чванством, враньем, легковерием и пристрастием к чудесному. Немного было людей, признававших, что все выгоды Тильзитского мира были на стороне Наполеона, так как он вынудил признать себя императором, предписывал законы Европе, возводил в звание королей, оставил прусскому королю один титул и, восторжествовав над второю коалициею, с двойным ореолом славы возвратился во Францию еще более могущественным, нежели ее оставил, питая враждебные замыслы против России, силу которой он испытал. Счастливая звезда спасла его. Он заключил Тильзитский мир в момент истощения своих ресурсов, когда стоял во главе армии силою всего в 70 т. человек и когда вся Европа подстерегала лишь минуту для довершения его гибели. Между тем Россия, полагая конец войне, имела подкрепления, которые в течение трех месяцев довели бы силу ее войск до 150 т. человек. Фридландское сражение разрушило все предположения русских. Император российский хотел мира во что бы то ни стало. Генералы, недовольные своим начальником, утратили доверие к нему; а солдаты, утомленные нерешительной и несчастной войной, дрались неохотно. Сам [Л.Л.] Беннигсен, истомленный усталостью, вздыхал по отдыхе для того, чтобы изготовить историю своих подвигов и приказать выбить медаль с собственным изображением на одной стороне ее, а на другой – с надписью: «победитель непобедимого».

Наполеон, заключив мир в Тильзите, предоставил России нести бремя двух войн: со Швецией и Турцией. Через год после этого он вызвал разрыв с Англией. Шведская война, к большому неудовольствию Наполеона, закончилась миром в Або, отдавшим России всю Финляндию с Аландскими островами и важной крепостью Свеаборг. Война с турками все продолжалась; при каждой кампании назначали нового главнокомандующего, но результатов никаких не достигали. Турецкие армии были разбиваемы всякий раз, когда они рисковали на бой в открытом поле; но по приближении зимы наши опять уходили за Дунай. Каждый новый главнокомандующий составлял новый план кампании, целью которой являлось заключение мира; а между тем в России при конце каждого лета изумлялись, не видя еще наших знамен в Константинополе, – потому что мы любили преувеличивать численность войск и уверять себя в том, что каждый генерал равен Суворову. Война с Англией не стоила нам ничего в отношении потери людей, но она уничтожила торговлю и на 270 процентов понизила цену ассигнаций. Произошло только одно морское сражение, близ Аландских островов, в котором из-за ошибки русского адмирала потерян был один корабль. Он был отрезан от эскадры, ни за что не хотел сдаться и дрался отчаянно. Англичане, забрав в плен немногих оставшихся на нем людей, отослали их к русскому вице-адмиралу, а корабль зажгли.

Между тем обширные передвижения наполеоновских войск и слухи, возвещавшие близкую войну, снова подняли у нас ту тревогу, которую Тильзитский мир передал было государствам, соседним с Францией. Сознание безопасности уступило место беспокойству. Обращались друг к другу с расспросами, требовали известий, говорили: «Что же Наполеон с ума, что ли, сошел? Покорить Россию, что ли, он хочет?» Публика волновалась, старалась проникнуть в будущность. Каждый день ложились спать утомленными, чтобы проснуться в беспокойстве.

В то же время правительство распространяло о наших армиях преувеличенные сведения, судя по коим они должны были с самого начала войны не только дать отпор намерениям противника, но и легко восторжествовать над ним. Старые бабы возопили и стали высказывать опасение, разделяемое и людьми разумными, относительно необеспеченности пребывания в Москве, ввиду могущих возникнуть беспорядков, мятежа и резни дворян. Мотивы этих опасений, несколько преждевременных, указывали на недостаток доверия к правителю города фельдмаршалу [И.В.] Гудовичу. То был честнейший в мире человек, достигший фельдмаршальского звания благодаря тому, что всю жизнь провел на службе, не имевший за собой никакой военной репутации, необразованный, ограниченного ума, кичившийся своим чином и местом, вполне состоявший под властью и влиянием своего брата и своего врача – двух бесстыдных плутов, которые думали лишь об извлечении всевозможных выгод из того влияния, которое они имели на престарелого фельдмаршала.

При таком состоянии России накануне войны, долженствовавшей либо обеспечить за нею торжество, либо сковать ей цепи, я решился поехать в Петербург, чтобы предложить свои услуги государю, – не указывая и не выбирая какого-либо места или какой-нибудь должности, а с тем лишь, чтобы он дозволил мне состоять при его особе. Единственному сыну моему только что исполнилось 17 лет. Государь, приезжая в 1809 г. в Москву, был столь милостив, что назначил его камер-пажем. Я не хотел лишать его счастья служить, защищать свое отечество и гордиться этим весь остаток дней своих, если бы мы остались победителями, – или же погибнуть вместе, если б мы были побеждены и покорены.

Государь принял меня очень хорошо. При первом свидании он мне долго говорил о том, что решился насмерть воевать с Наполеоном, что он полагается на отвагу своих войск и на верность своих подданных. Он принял предложение мое состоять при его особе. Сын мой произведен [был] поручиком в гусары, и я оставался четыре недели в Петербурге, часто видя государя или за его обеденным столом, или в его кабинете.

Через пять дней после моего прибытия гр. [М.М.] Сперанский, к великому изумлению всего общества, был выслан из столицы. Так как он пал жертвою темной интриги, никогда порядком не разъясненной, то исчезновение его подавало право предполагать, что открыта измена. Этот Сперанский был сыном сельского священника и учился в семинарии. Одаренный большим умом и легкостью письменного изложения, он выработал себе такой слог, который обратил на него внимание. Состоя в звании секретаря, последовательно, при нескольких министрах юстиции, он при восшествии на престол императора Александра был возведен в статс-секретари и удостоен высочайшего доверия; ему поручено было редактировать новый кодекс, равно как все акты, указы и рескрипты, исходившие из кабинета государя. Когда его сослали в Нижний Новгород, он был уже тайным советником и кавалером ордена Св. Александра Невского. Общество, которым он себя окружил, и явное покровительство, оказываемое им лицам своего сословия, навлекли на него ненависть дворянства, с удовольствием узнавшего о его падении. Низвержение его приписывали В. К. К. и кн. О.[1] – да и меня заставили играть роль в этой истории, меня, который был одним из наиболее изумленных, когда узнал на другой день о его высылке. Я полагаю до сих пор, что Сперанский был удален по наговорам гг. [А.Д.] Балашова и [Г.М.] Армфельда, пожертвовавших им в удовлетворение мнимого общественного мнения. Оба названные господина, пользовавшиеся в эту эпоху большим доверием, хотели утвердиться еще более в своем положении, удалив соперника, опасного для них по своим способностям и по привычке государя к его работам. Между тем фактическое последствие злоязычия было,

[1] Имеются в виду великая княгиня Екатерина Павловна и её муж принц Георгий Ольденбургский, генерал-губернатор Тверской, Ярославской и Новгородской губерний.

к несчастью, таково, что Сперанский прослыл за преступника, за предателя своего царя и отечества и что люди простого сословия заменяли его именем имя Мазепы, которое есть эпитет изменника.

По прошествии двух недель со времени моего прибытия в Петербург, который я должен был оставить через неделю для отъезда в Москву, а оттуда в Вильну, в Главную квартиру Его Величества, государь, после обеда, позвал меня в свой кабинет и, сказав несколько приветливых слов, предложил мне место московского генерал-губернатора, причем особенно напирал на важность этого поста при настоящих обстоятельствах и на пользу, доставляемую моей службой. Так как я вовсе не ожидал такого предложения, то стал говорить о трудностях, соединенных с этим местом, и, наконец, попросил, перед тем чтобы решиться, дать мне один день на размышление. Государь согласился на это.

В тот же день я видел В. К. К. и кн. О., который сказал мне, что государь накануне приезжал провести с ними вечер и выражал, что затрудняется в выборе преемника фельдмаршалу Гудовичу, которого не хотел оставлять на занимаемом месте по причине его старости и слабости. В. К., относившаяся ко мне всегда весьма добродушно и дружелюбно, назвала ему меня, и государь тотчас же решился и благодарил ее за эту мысль, которую назвал счастливою. Узнав, что я отказываюсь от этого поста, В. К. и кн. О. начали настаивать на принятии мною места, становящегося самым важным в России во время войны. В. К., будучи живого характера, даже немножко рассердилась, когда я заявил, что предпочел бы сопровождать императора в момент, когда всем благородным и честным людям следует быть около его особы. На другой день я отправился к государю, чтобы извиниться перед ним и просить о принятии во внимание причин, по которым я отказываюсь от места московского генерал-губернатора. Государь стал настаивать, наговорил мне кучу комплиментов, прибегнул к ласкательству, как то делают все люди, когда они нуждаются в ком-нибудь или желают чего-либо, а наконец, видя, что я плохо поддаюсь его желанию, прямо сказал: «Я того хочу». Это уже было приказанием, и я, повинуясь ему, уступил. Так как лица, которых считали нужными, в большинстве случаев ломались и, ничего еще не сделав, желали оценки их будущих трудов, просили денежных наград, лент, чинов и т.п., – то я взял на себя смелость потребовать от государя, чтобы мне лично ничего не было дано, так как я желал еще заслужить те милости, которыми августейший его родитель в свое царствование осыпал меня; но, с другой стороны, просил принимать во внимание мои представления в пользу служащих под моим начальством чиновников. Нет надобности говорить, что на просьбу эту последовало милостивое согласие, – так легко ничего не давать и не ломать головы над придумыванием, чем бы можно было удовлетворить того или другого человека, часто для того, чтобы сделать его неблагодарным. В течение последних дней, проведенных мною в Петербурге, я два раза приходил работать с государем. Я представил ему на воззре-

ние несколько имевшихся в виду перемен и проектов. Он все одобрил и ни за что не хотел давать мне особой инструкции. Место генерал-губернатора Москвы почти независимо. В руководство он должен принимать лишь правила управления, установленные в царствование императрицы Екатерины, где его обязанности, обстановка и власть приравнены были к таковым же у всех прочих генерал-губернаторов. Один лишь кн. Волконский, занимавший это место в эпоху Пугачевского бунта, имел неограниченные полномочия, дарованные ему в силу обстоятельств; но при назначении ему преемника привилегия эта была отнята. Во время моего управления Москвою многие лица думали, и до сих пор думают, что у меня были подписанные государем бланки; но они ошибаются, так как государь никогда и никому таковых не давал. И это в нем заслуживает похвалы, потому что сколько людей было, которые злоупотребляли своей властью, не имея на то предварительного согласия, через подпись государя. Между государем и мною условлено было, что назначение мое останется под секретом до смены фельдмаршала Гудовича, хотя об этом ему уже намекали. Министр полиции Балашов с разрешения государя был об этом поставлен в известность. Мне надо было условиться с ним относительно формы сношений.

Перед отъездом своим государь издал указ, которым во время его отсутствия определялся образ управления империей. Он вверял оное Комитету министров, а дела особой важности – другому, Верховному комитету, где должны были заседать фельдмаршал гр. [Н.И.] Салтыков, кн. [П.В.] Лопухин и ген. [С.К.] Вязьмитинов, главнокомандующий петербургский, которому было поручено и Министерство полиции на время отсутствия Балашова, обязанного сопровождать государя в армию.

Набросаю портреты этих лиц, которые по месту, ими занимаемому, должны были управлять Россией в продолжение готовой начаться войны, исхода коей никто не мог предвидеть. Неприятель был грозен, силы у него исполинские, планы колоссальные; но Россия, предоставленная собственным средствам, обладала для борьбы с Наполеоном тремя весьма верными союзниками: то были расстояния, обширность территории и климат.

Фельдмаршал гр. Салтыков – старый, болезненный, существующий лишь при помощи аптечных средств, – пользовался некоторого рода фавором в продолжение трех царствований сряду. При Екатерине он был вице-президентом военной коллегии и военным министром, и она вверила ему воспитание обоих своих внуков: Александра и Константина. При Павле он оставался военным министром. Он сопровождал его во время заграничного путешествия в 1781 и 1782 гг. и был произведен в фельдмаршалы в день восшествия его на престол. При Александре он продолжал сохранять свои воспитательские права и хотя хорошо был известен своему воспитаннику, но постоянно поддерживал свое положение при помощи мелких интриг, из которых умел извлекать пользу. Человек этот, будучи очень умным, обладая большими познаниями и привычкою к делам, оказывался совершенно бес-

полезным вследствие своего малодушия и фальшивости. Ни разу в жизни своей он не сказал «да» или «нет», и мнение его в делах равнялось нулю, так как он никогда оного не высказывал, а выработал себе непонятный образ выражений. Жадный к деньгам и скупой, он составил бы себе громадное состояние, если бы имел немного той энергии, которая нужна как великим героям, так и великим разбойникам.

Кн. Лопухин, дворянин старинного рода, очень бедный, оставил службу с чином полковника и женился где-то в провинции на довольно богатой наследнице. Императрица Екатерина осталась весьма довольна обер-полицеймейстером [И.П.] Архаровым во время своего пребывания в Москве, куда она прибыла в 1775 г. для празднования Кучук-Кайнарджийского мира, и просила Архарова доставить ей кого-либо, кто походил бы на него в смысле усердия и деятельности. Лопухин, друг Архарова, указанный им императрице, тотчас же был опять взят на службу и назначен обер-полицеймейстером в Петербург. По производстве в генерал-майоры он назначен был гражданским губернатором в Москву, а когда достиг генерал-лейтенантского чина, получил место генерал-губернатора ярославского и вологодского, на котором и оставался до восшествия на престол Павла. Должность генерал-губернаторов была упразднена. Кн. Безбородко, сделавшийся помимо своей воли любовником г-жи Лопухиной, устроил назначение ее мужа сенатором в московские департаменты и испросил ему во время коронации орден Св. Александра Невского. Император Павел, заметив одну из дочерей Лопухина, которая кокетничала с ним, вообразил себя влюбленным в нее и, чтобы иметь дочь около себя, вызвал отца в Петербург, назначил его генерал-прокурором, пожаловал ему голубую ленту, а когда прибыла остальная семья его, он подарил ему отличный дом, великолепный сервиз, имение, приносящее 200 000 дохода, возвел его в княжеское достоинство с титулом светлости, украсил его своим портретом, – все это в течение 9 месяцев. Но когда Лопухин замыслил сменить лиц, окружающих Павла, креатурами собственного выбора, то сломал себе шею, подал в отставку и, испытав равнодушие со стороны собственной дочери, стал проживать в Москве. В начале царствования императора Александра он поехал за границу, откуда его вызвали, чтобы снова быть министром юстиции. Это место он занимал в продолжение пяти лет и окончил назначением в председатели Государственного совета. Трудно быть более способным, нежели этот человек. С обширным умом в нем соединяется глубокая прозорливость и уменье легко работать. Он вкрадчив, льстив, притворно простодушен, большой любитель прекрасного пола, который пользуется у него крупным влиянием, ленив и фальшив до крайности. Ум, пороки и терпение этого человека поддерживали его кредит и доставили ему средства привязать к себе множество лиц, которым он оказывал услуги и на поведение которых глядел равнодушно.

Вязьмитинов, сын солдата, пробился в канцелярию фельдмаршала Чернышева, имевшего важную способность находить и формировать та-

лантливых людей. Он сделался его адъютантом, а потом служил в армии. Служба была не блестящая, но почтенная. При восшествии на престол императора Павла он был губернатором в Пензе; но государь поместил его в военную коллегию во главе комиссии, которой поручена была экипировка армии. При императоре Александре I он был военным министром, а потом, во время войны, главнокомандующим в Петербурге, что доставило ему голубую ленту, а наконец, и графский титул, начавшийся и окончившийся в его лице, так как он не оставил после себя детей. Вязьмитинов был человек весьма умный, любитель изящных искусств, приятный музыкальный композитор, хорошо владел русским языком, весьма усидчиво и легко работал, был честен и имел многие качества для того, чтобы оказаться выдающимся государственным человеком; но у него недоставало твердости; манеры и обхождение его отзывались его происхождением. Ему слишком долго приходилось употреблять усилия, чтобы поставить себя на высоту тех важных должностей, которые выпали на его долю тогда, когда он уже состарился.

Состав министерства был следующий:

Граф Николай Румянцев, министр иностранных дел. Он был вторым сыном знаменитого фельдмаршала, получил весьма тщательное воспитание, путешествовал в сопровождении Гримма – литератора и доверенного человека императрицы Екатерины; он был ее посланником во Франкфурте, аккредитованным при находившихся в Кобленце французских принцах. При Павле он был обер-мундшенком[2] и имел голубую ленту. Император Александр назначил его министром иностранных дел и канцлером за Абосский мир. Он находился в Париже после Эрфуртских конференций; сопровождал государя в Вильну, был там поражен параличом и возвратился в Петербург. Румянцев был человек светский, с манерами вельможи. Политика его в отношении Наполеона сводилась к двум пунктам: 1) выигрывать время; 2) избегать войны. Публика, постоянно пребывающая покорнейшим слугою клеветы и послушным эхом глупости, глядела на него как на человека, преданного Наполеону и жертвующего ему интересами России; но для отражения этой клеветы достаточно вспомнить имя, которое он носит, его привязанность к государю и возвышенность его души.

[Д.А.] Гурьев, министр финансов. Человек умный, весьма любезный в тесном кружке, не имеющий другого образования, кроме уменья свободно объясняться по-французски, интриган и честолюбец в высшей степени; относит все к самому себе; обременен делами, которыми занимается в полудремоте; столь же грузен телом, сколько тяжел на работу; великий охотник до лакомых блюд и до новостей в административном мире; легко поддается на проекты; всем жертвует своему желанию удержаться в милости и увеличить свое состояние.

[2] То же, что и чашник: должностное лицо, ведавшее царскими винными погребами, напитками для царского стола.

Граф Алексей Кириллович Разумовский, министр народного просвещения. Человек обширных ума и познаний; эгоист и ленив до крайности; дела его расстроены, несмотря на громадное богатство. Он оставил службу еще при императрице Екатерине и опять вступил в нее в 1811 г., чтобы получить чин и несколько орденов, которых недоставало его честолюбию.

Маркиз де Траверсе, родом из Сен-Доминго; был офицером во время Французской революции; в русскую службу поступил в царствование Екатерины с чином капитана и дошел до вице-адмиральского чина. Он был министром после Чичагова. Человек был ничтожный, не имевший ни собственной воли, ни собственного мнения; занятый сколачиванием себе состояния посредством подрядов; ненавидимый морскими офицерами и терпящий побои от своей жены.

[И.И.] Дмитриев, гвардейский офицер, уволенный в отставку во времена императрицы Екатерины; в начале царствования Павла был обвинен как заговорщик, но, признанный невиновным, определен в гражданскую службу с большими преимуществами. Из московских сенаторов он в 1810 г. был назначен министром юстиции. Человек этот мог бы быть существом более полезным, нежели был на самом деле; но – он поэт и состоит под властью своего воображения; весьма щекотлив; в обществе тяжел и весьма ревниво относится к значению своего сана. Он оставил службу с пенсией в 10 тысяч руб. и принял на себя в Москве обязанности директора тайной полиции.

Генерал-лейтенант кн. [А.И.] Горчаков назначен был временно исправляющим должность военного министра, за отсутствием ген. [М.Б.] Барклая де Толли, который должен был принять главное начальство над армиями. Этот кн. Горчаков, по матери своей племянник великого Суворова, а по жене – фельдмаршала Салтыкова, был человеком ничтожным, воображал себя красавчиком, важничал, предоставлял все дела своему секретарю, проводил время в интригах, для того чтобы снискать благоволение при дворе и подцепить какую-нибудь награду. Он притворялся подражателем своего дяди, генералиссимуса Суворова, держа речи солдатам, рекрутам и больным в госпиталях.

* * *

В конце марта я вернулся в Москву, а в начале апреля государь оставил Петербург, чтобы ехать в Вильну. Гвардия уже находилась там, и теперь ожидали результата обширных приготовлений, слухи о коих еще преувеличивали, для того чтобы успокоить народ и наиболее робких из дворянства. Мне передали записку, в которой наши силы, под начальством Барклая и [П.И.] Багратиона, доводились до 380 тысяч человек; между тем как во время перехода Наполеона через Неман у первого было только 104 тысячи, а у второго 73 тысячи человек. Несмотря на всеобщее беспокойство, все старались заглушать в себе это чувство как могли и бахвальством подавляли размышления. Всего хуже было, что недовольные и трусы обвиняли государя в том, что он причиною близкой гибели России, потому что не хотел предупредить или

избежать третьей войны с противником, который уже дважды побеждал его. Я слышал странные выходки; некоторые господа доходили до такой степени возбуждения, что превозносили до небес добродетели императора Павла и сожалели о времени его царствования. Фельд-маршал Гудович не принимал против этого никаких мер и воображал себе, что успокаивает общество, обнадеживая, что если бы государь поручил ему начальство над войсками, то армия Наполеона была бы уничтожена в один месяц. По его словам, он имел на то средства; но, к сожалению, он унес свой секрет с собою в могилу и во все продолжение войны проживал в своих украинских поместьях. В городе знали, что фельдмаршал просил об увольнении, а так как мое назначение было неизвестно, то каждый указывал генерал-губернатора по своим соображениям и желаниям. Наконец, 6 июня прибыл курьером некий г. Брокер, сопровождавший сына моего до Вильны. Он привез мне известие о приказе, которым я переводился в военную службу с чином генерала от инфантерии и назначался военным губернатором в Москву. Фельдмаршал Гудович призывался к заседанию в Государственный совет и получил, в знак благоволения, портрет государя.

Город, по-видимому, был доволен моим назначением. Мне было 47 лет, я пользовался отличным здоровьем и выказал с самого начала большую деятельность, что было новостью, потому что все предшественники мои были старцы. Я сразу сделался популярным, благодаря доступности ко мне. Я сделал объявление, что каждый день, от 11 часов до полудня, принимаю всех и каждого и что те, кто имеет мне сообщить нечто важное, могут являться ко мне во всякий час.

В день моего водворения в новой должности я приказал отслужить молебны перед всеми иконами, которые считаются чудотворными и пользуются большим уважением у народа. Я выказывал большую учтивость к тем лицам, которым приходилось иметь дело со мною. Я снискал благоволение старых сплетниц и ханжей, приказав убрать гробы, служившие вывесками магазинам, их поставлявшим. Также приказал я снять афишки и объявления, наклеенные на стенах церквей. Два утра были для меня достаточны для того, чтобы пустить пыль в глаза и убедить большинство московских обывателей в том, что я неутомим и что меня видят повсюду. Мне удалось внушить такое мнение о моей деятельности тем, что я в одно и то же утро появлялся в самых отдаленных кварталах и оставлял там следы моей справедливости или моей строгости. В этот же первый день я приказал посадить под арест офицера, приставленного к раздаче пищи в военном госпитале, за то, что не нашел его в кухне в час завтрака. Я восстановил права одного крестьянина, которому вместо 30 фунтов соли отпустили только 25; я отправил в тюрьму чиновника, заведовавшего постройкой моста на судах; я входил повсюду, говорил со всяким; я узнал много такого, чем потом пользовался. Переодетый в гражданское платье, я загонял две пары лошадей, а в 8 часов утра появлялся у себя в мундире и готовым приняться за работу.

Главные из состоявших под моим начальством лица были следующие:

Тайный советник [Н.В.] Обрезков, гражданский губернатор, человек очень умный, тонкий и хорошо знающий общество. Службу оставил еще при императоре Павле и снова вступил в нее, чтобы подвинуться вперед. Хотя он еще был довольно молод, но здоровье его было расстроено бессонными ночами, проведенными за карточной игрой, в которой ему очень везло. Он был чрезвычайно ленив, но критическое положение, в котором мы находились, вырвало его из апатии, и он в течение 1812 и 1813 гг. выказал деятельность, принесшую большую пользу.

Вице-губернатор [А.И.] Арсеньев не лишен был способностей, но отупел от злоупотребления крепкими напитками, и я в конце 1813 г. принужден был сменить его.

[И.Х.] Гессе, военный комендант города, немец темного происхождения. Он поступил унтер-офицером в морские батальоны, которые император Павел, будучи еще великим князем, формировал в Гатчине; а потом, подвигаясь вперед по службе, дошел до чина генерал-лейтенанта и исправлял должность московского коменданта в продолжение 20 лет. Это был человек прекраснейший, честный, беспристрастный и заботившийся главным образом о соблюдении внешних форм; но он был годен для дела лишь до 6 часов вечера, после чего всецело поглощался трубкою и пуншем.

Начальник московского гарнизонного полка [В.И.] Брозин – человек ничтожный, с которым я имел постоянные столкновения вследствие его грабительств и его весьма определенной наклонности брать с полка что только мог.

Начальник полиции генерал-майор [П.А.] Ивашкин – человек честный, но слишком кроткий, состоявший под влиянием жены, боязливый и плохого здоровья, но точный в исполнении приказаний.

Архиепископ Августин – человек, имевший большие познания в греческом и латинском языках. Он обладал крупным ораторским талантом и одарен был красноречием кротким и приятным. Благочестия у него было немного. В обществе он выказывался человеком светским, а духовенство уничижал своей грубостью. Он не был равнодушен к прекрасному полу и обладал большим числом племянниц, которые видались с ним запросто, во всякие часы.

Предводитель дворянства [В.Д.] Арсеньев – толстый, сластолюбивый человек и покорнейший слуга генерал-губернатора.

1-й полицеймейстер полковник Волков – слишком умный для своего места и соскучившийся занятиями; состоял на замечании как член тайных обществ; жизнь вел беспорядочную и очень развратную, все рассчитывал в свою выгоду и не стеснялся относительно средств.

2-м полицеймейстером был Дурасов, гвардии полковник – болезненный, ограниченный, но очень честный человек.

3-м полицеймейстером был полковник [А.Ф.] Брокер, которому я дал это место, чтобы иметь кого-либо надежного. Он имел решительное отвраще-

ние ко всяким интригам, обманам и мошенникам. Он обладал особенной способностью в изыскании средств для того, чтобы открыть или распутать какое-либо дело. Неоднократно доказывал он свое бескорыстие и в течение некоторого времени считался верным и усердным слугой.

Директором канцелярии моей был молодой человек, сын сенатора [А.П.] Рунича. Он был умен, образован и имел привычку к делам; но любил проводить вечера за картами и вином. Я удержал его при себе, как и всех прочих, которых нашел в управлении, ибо мое правило было таково, что переменить всегда успеешь, что бывают люди и похуже и что можно извлекать пользу из человека хотя порочного, но умного, который применяет поведение свое к поведению начальника и нередко изменяет оное из страха, раскаяния или расчета.

К себе лично я взял в качестве секретарей гг. Булгакова и Ильина. Первый получил отличное воспитание и хорошо учился. Он служил в звании секретаря посольства при нескольких дворах. Я оказывал ему сначала доверие, а потом и дружбу. Он был сыном человека высоких достоинств, бывшего при Екатерине посланником в Константинополе и послом в Варшаве.

Ильин был поэт и драматический писатель. У него было больше воображения, нежели ума и здравого смысла, но он прилагал большое усердие к исполнению своих обязанностей и был особенно ко мне привязан.

* * *

Самая Москва с течением времени сделалась городом священным для русских. Все важнейшие вельможи, за старостью делавшиеся неспособными к работе, или разочарованные, или уволенные от службы, приезжали мирно доканчивать свое существование в этом городе, к которому всякого тянуло или по его рождению, или по его воспитанию, или по воспоминаниям молодости, играющим столь сильную роль на склоне жизни. Каждое семейство имело свой дом, а наиболее зажиточные – имение под Москвой. Часть дворянства проводила зиму в Москве, а лето в ее окрестностях. Туда приезжали, чтобы веселиться, чтобы жить со своими близкими, с родственниками и современниками. Детям давали там приличное воспитание и пользовались преимуществами, которые только и представлялись в столице, потому что в губернских городах проживали только чиновники да купцы, а следовательно, и не представляли они никакой приманки для профессоров и учителей. Весной, в конце февраля, беднейшие дворяне, как и самые богатые, оставляли город для деревни – частью по привычке, частью по наклонности, а всего чаще из экономии. Эта эмиграция дворянства оставляла за собой сильную пустоту в городе и уменьшала на одну треть его население, доходившее зимой до 300 тысяч. Ничего не могло быть великолепнее балов в Доме дворянского собрания, где можно было видеть до 2000 персон, богато или нарядно одетых, – но все это окончилось вместе с царствованием Екатерины.

Роскошь, которой окружало себя дворянство, представляло нечто особенное: тут являлось великолепие рядом с нищетой. Так, например, встречались огромные дворцы, одна часть которых блистала богатым убранством, а в другой недоставало мебели; громадные залы, множество гостиных и отсутствие внутренних покоев для хозяина и хозяйки дома. Численность домашней прислуги почти всегда не соответствовала имущественным средствам владельца. Все эти служители помещались в доме с их женами и детьми и представляли собою вид колонии. После смерти гр. Алексея Орлова в палатах его оказалось 370 человек. При всем этом услужение было весьма плохое; часть этих людей была довольно порядочно одета, другая ходила оборванною; безделье располагало их к беспорядочности, и, рассчитывая один на другого, никто из них не хотел заниматься работою. Единственными обязанностями своими они считали: пить, есть и спать. Лакеи, камердинеры, кучера, конюхи, музыканты, певчие, горничные и прачки – все имели свой обед и ужин дома. Жили они приблизительно как на корабле, переполненном войсками. Естественным последствием такого столпления людей был разврат, и барский дом изображал собою одновременно подобие тюрьмы, воспитательного дома, конуры и харчевни. Число лошадей соответствовало числу прислуги; дворянин, имевший не более 20 тысяч дохода, держал на конюшне около 20 лошадей, которых плохо кормили, плохо чистили и которые назначались для того, чтобы возить хозяев, проживавших у них приятелей, гувернеров и гувернанток, состоящих при детях. При отъезде в деревню конюшня эта подкреплялась еще лошадьми, которых приказывали приводить из своего поместья. Штук 20, 30 и даже до 50 лошадей увозили за московские заставы эти караваны, состоявшие из господ и прислуги; причем первые попрекали себя за то, что в четыре месяца промотали весь годовой доход.

Между тем эта же Москва, – таковая, как я только что ее описал, – всегда внушала некоторую к себе отчужденность со стороны своих государей. Петр I, желая преобразовать нацию, удалился из своей древней столицы, дабы не встречать сильной оппозиции в исполнении своих предначертаний. Справедливость требует сказать, что события, происходившие во времена его детства и несовершеннолетия, неизбежно должны были внушить ему отвращение к городу, где жизнь его несколько раз подвергалась опасности и откуда стрельцы принудили его искать спасения в бегстве. Но при каждом вступлении на престол новый государь приезжал короноваться в московский собор, при пышной обстановке, и тут изливал милости на своих подданных. Царица Анна, вызванная из Курляндии царить над Россией, обнаружила явные доказательства своего нерасположения к Москве. Елизавета приезжала туда иногда, но долго там не оставалась. Петр III не успел даже короноваться, так как царствование его продолжалось всего шесть месяцев. Екатерина венчалась там на царство; затем приехала туда в 1765 г., чтобы совершить путешествие водою до Казани; в 1775 г. она оставалась несколько времени

в Москве, чтобы отпраздновать торжество заключения мира с Оттоманскою Портою; в 1785 г., по совершении водной прогулки до Новгорода, она явилась в Москву и 4 дня прожила в загородном, так называемом Петровском дворце, находящемся в расстоянии одного лье от заставы; в 1787 г., возвращаясь из своего путешествия в Крым, она останавливалась тут на десять дней. Император Павел очень любил Москву по причине находящихся в ней исторических воспоминаний и памятников. Кремль был его любимым местом. Он короновался там в 1797 г. и на следующий год опять приехал туда. Император Александр после коронования своего приезжал туда из Твери в 1809 г. вместе с великой княгиней Екатериной и давал великолепные празднества.

Несмотря на жившее в государях чувство отчуждений к их древней столице, они, из политических видов, относились к ней самым внимательным образом. Генерал-губернатором Москвы был всегда кто-нибудь из прежних главнокомандующих, а часто и фельдмаршал. Он имел право сноситься непосредственно с государем; дом, в котором он жил, был лучшим в городе; для домашнего употребления он имел великолепную посуду от двора. В военное время каждый раз, когда надо было извещать о победе, отправлялся из Петербурга курьер с рескриптом генерал-губернатору, заключавшим в себе лестные для Москвы выражения. При каждом восшествии на престол посылался туда кто-либо из выдающихся офицеров, чтобы возвестить об этом событии. Управление городом и губернией требовало немного труда и еще менее бдительности. Изобилие господствовало без малейшего вмешательства администрации. Причиной тому – запасы всякого рода хлеба, которым страна изобилует и который привозят в уверенности, что выиграют на его цене в количестве большем, чем нужно для потребления. Народ вел себя смирно; дворянство было покорно, хотя иногда предавалось болтливости и фрондерству.

* * *

Но Москва в 12 лет совершенно переменилась. Жили там и думали уже по-другому. Войны, которые велись в Италии и Германии, нарушили старинные привычки и ввели новые обычаи. Гостеприимство – одна из русских добродетелей – начало исчезать под предлогом бережливости, а в сущности, вследствие эгоизма. Расплодились трактиры и гостиницы, и число их увеличивалось по мере увеличения трудности являться к обеду незваным, проживать у родственников или приятелей. Эта перемена повлияла и на многочисленных слуг, которых удерживали из чванства или из-за привычки видеть их. Важных бар, подобных Долгоруким, Голицыным, Волконским, Еропкиным, Паниным, Орловым, Чернышевым и Шереметевым, больше уже не было. С ними исчез и тот вельможеский быт, который они сохраняли с начала царствования Екатерины. Она имела много причин, чтобы бережно обращаться с этими господами, которые играли роль в государстве, или по заслугам сво-

им, или по богатству, или по авторитету над всеми членами своей семьи, – что доставляло им множество приверженцев и великий почет.

Когда в 1812 г. я получил свое назначение, важнейшими особами из проживавших в Москве были:

Генерал кн. Г. Долгорукий – человек, занятый увеличением своего состояния всякого рода средствами: он был откупщиком от казны по продаже хлебного вина; содержал, пополам с женою, одного русского актера, общественные бани и пробовал даже производить уплаты фальшивыми наполеоновскими ассигнациями, – чему я, однако, тотчас же положил предел. Он жил домоседом и оказывал протекцию развратным людям, которых часто ссужал деньгами. Дом его обратился в игорный вертеп, содержимый его дочкой, кн. Горчаковой – женщиной с потерянной репутацией. Его щадили отчасти из-за преклонных лет и из-за фельдмаршала Салтыкова, которому он приходился свояком.

Ген. Архаров, великий болтун, подленький и низкопоклонный, но человек добродушный и довольно любимый за ласковый прием, который оказывал всем без разбора. Он не имел собственного мнения и перед властью держался не иначе, как на четвереньках.

Ген. [С.С.] Апраксин, сын фельдмаршала, командовавшего в продолжение одного года русской армией во время 7-летней войны. Молодость его была блестящая; он имел успех у женщин и пользовался преимуществами, доставляемыми ему его наружностью, его богатством и быстрым служебным повышением, так как он произведен в полковники 23 лет от роду, будучи записан гвардии сержантом при самом своем рождении. Он обещал много, но не сдержал обещания. Хвастун, фрондер, характера низкого и трусливого – он служил при трех правительствах и всегда вел себя дурно. Оставив службу, он пустился в разные предприятия для приведения дел своих в порядок. Он женился на кн. Голицыной, мать коей, благодаря своей назойливости, нахальству и притязательности, добилась того, что внушила почтение всей публике, заставила себя бояться и даже сделать кавалерственною дамою, хотя была лишь женой бригадира. Дочь ее охотно подражала своей матери и добивалась своего права на преемство. Ген[ерал] Апраксин основался в Москве, имел там большой дом, скудно обставленный; он много интриговал на всех выборах, откуда, кроме стыда, ничего не выносил. Он являлся постоянным врагом и хулителем всякого московского генерал-губернатора, потому что льстил себя надеждою заменить его.

Г-н [П.Х.] Обольянинов, который при Павле дошел до голубой ленты и до звания генерал-прокурора. Человек без воспитания, без познаний, горлан, имевший смешную жену и державший свой дом открытым для мелкого дворянства.

Гр. Марков, поселившийся в Москве за окончанием своего посланничества в Париже. Он никогда не живал в этом городе и являлся там как бы иностранцем, желающим натурализироваться.

Гр. Кутайсов, родом турок; при Павле достиг из камердинеров до звания обер-шталмейстера и до голубой ленты. Основавшись в Москве, он вел там жизнь мещанина во дворянстве, никак не справляясь с приведением в порядок своего состояния, которое его пугало, и укрываясь под тенью своей связи с кн. Лопухиным, дочь коего была замужем за его сыном.

Г-н [П.С.] Валуев, главный директор Кремлевской экспедиции – самый низкопоклонный из всех льстецов, погрязший в долгах, занимающийся шпионством и прибегающий к обманам и шарлатанству, для того чтобы заставить верить в значение, коим он пользуется. Он с покорностью переносил унижения, которым подвергался; льстиво ползал перед генерал-губернатором, пока тот сидел на своем месте, и становился его заклятым врагом, когда тот сходил с занимаемого им поста.

Кн. [Н.Б.] Юсупов, тогда уже бывший в отставке, – человек умный, любитель искусств, женщин и шутов. Он только и делал, что бегал, чтобы ускользнуть от скуки; обладал большим богатством, имел множество слуг, ненужных любовниц, попугаев и обезьян.

За исключением кн. Долгорукова и ген. Апраксина, я жил в добром согласии с остальными. Я нашел, что кн. Долгоруков заслуживает слишком большого презрения, и перестал бывать у него. Что касается ген. Апраксина, то, после долголетних приятельских отношений, мы с ним ссорились несколько раз. Я нисколько не стеснялся в своей манере держать себя. Я знал, что не подам никакого повода к жалобам, и к тому же я рассчитывал на трех благонадежных помощников, т.е. на гордость, на глупость и на низость. Небольшая награда, данная или обещанная угроза или отличие всегда зажимали рот у недовольных. Когда ожидали государя, тогда и тон переменялся. Начинали спозаранку добиваться какой-либо награды, выставляли на вид свои права действительные или выдуманные, настаивали на поддержании их. Все эти лица стремились утолить свою жажду в источнике милостей. В этом они держались исконного правила, говоря: царь милостив; все только от его воли зависит. Но так как нельзя оказывать милостей всем, то избранных оказывалось мало, а это после каждого пребывания государя в Москве подавало повод к новым неудовольствиям и бесконечным жалобам, прекращавшимся лишь при известии о его возвращении.

* * *

Я очень хорошо видел, что Москва подает пример всей России, и старался всеми силами приобрести и доверие, и любовь ее жителей. Ей подобало служить регулятором, маяком, источником электрического тока. Дабы лучше обеспечить общественное спокойствие, я твердой рукой взялся за исполнение правил относительно гостиниц, трактиров и ресторанов, где люди праздные, развратные и множество лиц темного свойства проводили целые ночи за игрой, попойками, надувательствами, погрязали в разврате и пропадали окончательно. Дворянству и буржуазии очень нравились эти

меры, служившие препятствием против соблазна прислуги, приказчиков и купеческих сынков. Исключив из службы одного квартального надзирателя, заставлявшего мясников ежедневно поставлять ему 60 фунтов говядины, я на целую треть понизил цены на мясо. Я объявил полицейским офицерам, которых было 300 человек, что я ничего не спущу им даром и что они не должны надеяться скрыть от меня свои плутни, так как знают, что я говорю со всяким городским обывателем и что всякому открыт свободный доступ ко мне. Только три раза пришлось мне употребить крутые меры – и это было еще очень счастливо, потому что корпус полицейских офицеров состоял почти целиком из людей испорченных и негодяев, дурно оплачиваемых, презираемых и с малой надеждой на повышение по службе. Было лишь 20 квартальных надзирателей, должность коих состояла больше на виду. Но к этой должности понапрасну стремились мелкие чиновники, так как генерал-губернаторы помещали на нее лишь людей, которым хотели оказать протекцию.

В третью ночь после вступления моего в должность я был очень приятно пробужден курьером, присланным из Вильны. То был адъютант министра полиции. Государь сообщал мне о заключении мира с турками, приказывал объявить об этом по городу, отслужить благодарственные молебны, но празднества, обыкновенно бывающие при таких случаях, до времени отложить. Известие это приняли тем с большею радостью, что Дунайская армия делалась свободною для действий против Наполеона. Должно полагать, что Порта доведена была до последней крайности, если заключила мир, по которому уступала России левый берег Дуная, с Измаилом, Килиею, Аккерманом, Бендерами и Хотином. Новая граница находилась в расстоянии всего 24 верст от Ясс, главного города Молдавии. Нет никакого сомнения в том, что мир мог бы быть заключен гораздо ранее между визирем и ген. [М.И.] Кутузовым, но последний, будучи убежден в том, что ему не дадут ничем командовать, и пренебрегая посылаемыми ему настоятельными приказаниями, счел за лучшее затягивать переговоры; но когда узнал, что на смену его назначен адмирал [П.В.] Чичагов, он не захотел предоставить ему чести окончания войны и в течение трех дней заключил мир.

Народ, повсюду невежественный и более или менее суеверный, счел назначение мое добрым предзнаменованием и прозвал меня счастливцем. Три недели уже стояли жары, заставлявшие опасаться неурожая, подобного прошлогоднему; но в тот самый день, когда весть о моем назначении достигла Москвы, выпал дождь и оживил раскаленную солнцем землю. К дождю присоединилось известие о заключении мира с турками. Благодаря этим двум событиям, на меня очень благоприятно начали смотреть все те, которые верят, что звезда одного человека может влиять даже на атмосферические явления.

Наконец, 7 июня прибыл курьер со всеми воззваниями, манифестами и т.п., относящимися до начавшейся войны. Так как мы пошли навстречу ей и

стояли против неприятеля, то отступать уже было нельзя. Государь требовал от московских дворянства и купечества субсидии в миллион рублей на покупку волов, и сумма эта внесена была немедленно и вполне охотно. Через три дня после этого несколько полковников, отправленных из Главной квартиры в Малороссию для сформирования там уланских полков, распустили слух, будто после перехода через Неман Наполеон тотчас же занял Вильну и что Главную квартиру нашу чуть было не захватили там врасплох. Такое начало было дурно. Известие, к несчастью, оказывалось справедливым, и так как я ничем не мог его опровергнуть, то прибегнул к средству, которого держался и во все продолжение этой войны. Средство состояло в том, чтобы при каждом дурном известии возбуждать сомнения относительно его достоверности. Этим ослаблялось дурное впечатление; а прежде чем успевали собрать доказательства, внимание опять поражалось каким-нибудь событием и снова публика начинала бегать за справками.

Я прекратил деятельность полудюжины шпионов, стоивших довольно дорого, так как признавал ее бесполезной при таких обстоятельствах, когда все выражали страх и все общество пребывало в недоумении. Но мне важно было знать, какое впечатление производилось военными событиями на умы. В этом отношении мне хорошо прислуживали три мелкие агента. Переодевшись, они постоянно таскались по улицам, примешиваясь к толпе, в изобилии собиравшейся по гостиницам и трактирам. Затем они приходили отдавать мне отчет и получали кое-какие наставления, чтобы распространять тот или другой слух по городу или чтобы подбодрять народ и ослаблять впечатление, произведенное каким-либо недобрым известием.

В числе неприятных занятий я должен поставить на первое место тот несчастный аэростат, с которым было столько возни и который играл большую роль в исторических романах, трактовавших о заговоре для сожжения Москвы. Вот в чем состояла история этого воздушного шара, оставшегося на земле, и его негодяя-автора. Русский дипломатический агент Алопеус доложил государю по прибытии его в Вильну, что один офицер виртембергский сообщил ему, Алопеусу, об открытии тайны управления полетом аэростата и что шар, который он предполагает устроить, будет поднимать 50 человек в своей гондоле, под которой можно будет привесить большой ящик, наполненный порохом и горючими веществами; ящик этот можно будет сбросить на избранное для этого место и произвести страшные взрыв и истребление. Офицер этот требовал безусловного соблюдения тайны и предлагал свои услуги имп[ератору] Александру из ненависти, как он говорил, к Наполеону и для того, чтобы уничтожить этого завоевателя. Предложение его было принято, и он под именем Шмидта направлен был к гражданскому губернатору Обрезкову, который поместил его в одном деревенском доме в двух лье от Москвы, пустив слух, что тут будет фабрика для приготовления новых пушечных лафетов. Этот Шмидт привел с собой многих немецких рабочих и просил меня дать ему еще несколько человек, которые бы работали под его начальством. К дому этому пришлось

поставить сильный караул, не столько для поддержания в нем порядка, сколько для того, чтобы прекратить всякое сообщение с городом и препятствовать множеству любопытных праздношатающихся ходить туда. Этот Шмидт уверял меня, что делал опыт над маленьким аэростатом, что опыт этот отлично удался и что это гарантирует несомненный успех большому шару. Когда он объяснил мне теорию конструкции этого удивительного шара, то я возразил ему, что тяжесть груза сломает пружины, – и я не ошибся, потому что при двукратных опытах с маленькими привязными аэростатами пружины не выдержали и сломались при первом движении весла. Он приписал это дурному качеству стали – я достал ему лучшего сорта, английскую, которая тоже сломалась. Наконец, он потребовал такую сталь, из какой делаются математические инструменты. Купили все, что могли найти, а опыт не имел успеха. За сутки до вступления французов в Москву я отправил этого Шмидта в Петербург вместе с его рабочими и с его огромным тафтяным аэростатом. Там хотели было возобновить его затею, делали опыты в Ораниенбауме, но успеха никогда не было. Мне рассказывали, что он вернулся в Германию, где некоторые купцы сделались жертвами его обмана, поверив, что аэростат станет переносить товары. Этот Шмидт стоил нам 320 тысяч руб., а зажигательные материалы, которые найдены французами в занимаемом им доме, были с жадностью захвачены как точное доказательство того, что тут была лаборатория, где изготовлялись ракеты для сожжения Москвы.

Наиболее занимались в городе известиями об укрепленном лагере при Дриссе. Одни видели в нем преграду, которая остановит Наполеона, другие занимались соображениями, как обеспечить существование запертой в нем 300-тысячной армии. Люди, понимавшие дело, ничего в этом не могли постигнуть. Что касается меня, то я не находил никаких причин к тому, чтобы при самом начале войны обречь всю армию на бездействие, запереться и предоставить всю страну неприятелю, который мог направляться куда ему вздумается. Вскоре затем узнали, что Дрисса была оставлена и что мысль о том, чтобы у ней укрепиться, принадлежала некоему Пфулю, пруссаку, бывшему офицером еще при Фридрихе Великом, а затем генерал-лейтенантом русской армии и дававшему уроки тактики императору Александру. Так как московское общество очень склонно к подозрительности и щедро на эпитеты, то бедный Пфуль был первым, которого объявили предателем. В то же время я узнал от одного из служивших под начальством Багратиона, что при начале военных действий в его армии было под ружьем всего 68 тысяч человек, а в армии Барклая 104 тысячи. Зная гениальность Наполеона при действиях большими массами и зная, что мы можем противопоставить ему лишь половину его сил, я льстил себя надеждой, что Смоленск может остановить его и что он первую кампанию остановит на берегах Днепра. Я чувствовал потребность действовать на умы народа, возбуждать в нем негодование и подготовлять его ко всем жертвам для спасения отечества. С этой-то поры я начал обнародовать афиши, чтобы держать город в курсе событий и военных

действий. Я прекратил выпуск ежедневно появлявшихся рассказов и картинок, где французов изображали какими-то карликами, оборванными, дурно вооруженными и позволяющими женщинам и детям убивать себя.

Мною получено было по эстафете письмо от ген. Вязьмитинова, которому государь повелел сообщить мне свою высочайшую волю, чтобы выслан был из Москвы в Пермь под надзор властей доктор фельдмаршала Гудовича по фамилии Сальватор – бывший брадобреем в Риме, шарлатаном в Константинополе, эмпириком в Персии, в свите ген. Гарданова, и справедливо подозреваемый в шпионстве. Доктор этот испросил и уже получил свой паспорт для выезда из страны. Через несколько дней он уже должен был уехать. Арестовали его ночью, на его же квартире, увезли из города и захватили его бумаги, доказывавшие, что с ним поступили слишком снисходительно, ограничившись ссылкой.

Жена моя только что вернулась из Петербурга, куда ездила для свидания с родственниками. Мы поселились на моей даче, вблизи одной из застав, где по наружности вели жизнь довольно спокойную. Так продолжалось до 7 июля. Вечером, садясь в карету, я увидел скачущего во весь опор обер-полицеймейстера, с генерал-адъютантом кн. [В.С.] Трубецким, который был прислан курьером. Он передал мне пакет от государя, заключавший воззвание его к Москве и известие о скором его прибытии в стены ее. Долго расспрашивал я посланца, дабы убедиться, что наши армии не вконец разбиты. Он уверял меня, что даже и сражения не было, но что Багратион, будучи отделен от Барклая, маневрирует для соединения с ним и что это соединение последует, вероятно, под Смоленском. Он послан был из Великих Лук, а государь намеревался выехать оттуда на другой день с небольшой лишь свитой и остановиться только на день в Смоленске, чтобы организовать там сбор ополчения. Засел я за работу, провел ночь без сна, повидал и призывал к себе множество лиц; приказал напечатать воззвание государя, а вместе с тем и афишу для народа в моем вкусе, и на другой день обыватели Москвы узнали, что государь приезжает туда. Слог воззвания был хорошо приноровлен к обстоятельствам; секретарь царский Шишков удачно придумал, сообразил и выразил побуждения, цель и надежды государя, отправляющегося в древнюю столицу своей страны для совещания со своими подданными и изыскания средств к тому, чтобы остановить и победить грозного врага. Дворянство было польщено такой доверенностью и воспламенилось усердием; купеческое сословие изъявило готовность к пожертвованиям; простой же народ казался равнодушным, потому что не допускал и мысли о том, что Наполеону можно будет войти в Москву. Причиной такой неразумной уверенности было то, что в течение 100 лет неприятельская нога не попирала русской почвы и что, по его мнению, Наполеону придется кончить тем же, чем и Карлу XII под Полтавою. Бородачи постоянно повторяли одни и те же слова: «Ему нас не покорить, потому что для этого пришлось бы всех нас перебить».

На следующий день приехали ко мне два курьера: один от государя с предложением мне встретить его на первой станции по Смоленской дороге, куда он рассчитывал прибыть в 3 часа пополудни. Другой курьер, адъютант гр. Аракчеева, привез мне ратификацию мирного трактата с Портою. Я приказал предупредить кн. Трубецкого, что еду встречать государя; он прибыл ко мне, и мы отправились вместе после завтрака. В этот день стояла прекрасная погода, и мы видели множество народа, шедшего на встречу Его Величества. Я ожидал его прибытия на станцию до 5 часов вечера. В одном из домов приготовлена была закуска. Он пробыл со мною целый час с глазу на глаз и очень хвалил меня за те приемы, которых я держался, чтобы внушить доверие всем московским обывателям. Он говорил о войне, не обвинял никого в дурных действиях, казался уверенным в соединении армий Барклая и Багратиона и нисколько не казался унылым, но был спокоен и в хорошем расположении духа. Он осведомлялся о расположении умов и сообщил мне свою мысль относительно обращения к дворянству для набора людей в ополчение. Сначала он хотел поселиться в Слободском дворце, находящемся на одной из окраин города; но потом, вследствие замечания моего, что более подобало бы ему быть в Кремле, во дворце своих предков и в центре Москвы, он изъявил согласие на это. Он поглядел на мои эполеты и сказал, что на них недостает чего-то, а именно его вензеля, – то было отличием, особенно выдающимся, дарованным лишь обоим главнокомандующим. К этому он еще прибавил: «Мне любо быть у вас на плечах».

С ним, государем, приехали гр. Аракчеев, обер-гофмейстер гр. [Н.А.] Толстой, министр полиции Балашов, секретарь [А.С.] Шишков, флигель-адъютанты кн. [П.М.] Волконский, Трубецкой и [Е.Ф.] Комаровский. Узнав, что в свите его находится и барон Штейн, я распорядился так, чтобы последний, под предлогом недостатка в лошадях, прибыл в Москву несколькими часами позже. Сделал я это во внимание к сильно укоренившемуся мнению, что все иностранцы – наши враги и шпионы. Государь повелел мне быть в Москве за час ранее его прибытия и хотел приехать туда около полуночи, чтобы избежать толпы любопытных, ожидавших его у дороги, намеревавшихся отпрячь лошадей и везти на себе его карету в Кремль. Мысль эта перешла от народа и к более высоким классам, и я знал, что некоторые лица, украшенные орденами, намеревались отправиться к заставе и – по усердию ли, по глупости ли – обратиться в четвероногих.

На расстоянии двух лье от города дорога была усеяна с обеих сторон группами мужчин и женщин, вышедших из города встречать царя и отдыхавших, сидя и лежа на берегу канав. Я ехал в дрожках, и дорога эта, постоянно мне памятная, произвела на меня глубокое впечатление. Ночь была чудная, небо ясное, в воздухе никакого колебания, тишина величественная. Луна проливала свой свет на страну многолюдную, богатую и счастливую. В каждом селе, находившемся на дороге, священники в церковных одеяниях, с крестом в руке и в сопровождении людей, несших зажженные свечи, выходили из хра-

мов, чтобы благословить царя на его пути. Эти свечи, эти священники, их появление – все это поражало воображение, волновало чувства и порождало множество мыслей, которые при тогдашних обстоятельствах покрывались как бы черной дымкой. На сердце была тяжесть, в душе смятение, ум в тревоге. Эти процессии напоминали собою похороны; при виде их невольно хотелось поднимать глаза к небу, чтобы прочесть там будущность и грядущую судьбу своего отечества.

Государь около полуночи прибыл в Кремль, где всех уже нашел спящими, так как по недоразумению его ожидали в другом дворце. На другой день, с самого рассвета, большая площадь до такой степени переполнилась любопытными, что сверху видны были одни головы. Московский народ редко наслаждался присутствием своих государей и очень жаждал их видеть. В этот день в главном соборе должно было после литургии совершаться благодарственное молебствие по случаю заключения мира с Оттоманскою Портою. Государь отправился в церковь и встречен был на паперти епископом Августином, викарием митрополита Платона. Последний удалился в небольшой монастырь, построенный им в 60 верстах от Москвы; он имел уже несколько паралличных припадков, так что даже очень плохо владел языком. Болезненное состояние это не помешало ему прислать из своего уединения икону Св. Сергия, с приложением прекрасного послания, в котором он предсказывал государю славное окончание войны, сравнивая его с пастырем Давидом, а Наполеона – с Голиафом. Но то были другие времена. Наполеон не принял бы подобного вызова и не такой был человек, чтобы дать убить себя из пращи. При выходе из собора народ до такой степени столпился и стеснил государя, что он должен был остановиться, чтобы дать толпе возможность отодвинуться и очистить ему место. Такое неудобство было устранено посредством мостков, которые я приказал устроить несколькими футами выше мостовой и которые соединяли дворцовое крыльцо с соборной папертью. Государь сделал прием епископу Августину и украсил его орденом Св. Александра Невского. При дворе был большой обед, к которому приглашены знатнейшие в городе лица, высшее духовенство и сенаторы.

Государь учредил под председательством моим комитет, членами коего были [А.А.] Аракчеев, Балашов и Шишков, для установления правил организации московской милиции, которой дали наименование московского ополчения. Она должна была быть составлена из людей, которых владельцы и помещики представят добровольно. Офицеры, уволенные из службы, могли вступать в ополчение с прежним чином и носить военный мундир. Гражданские чиновники, имевшие классные чины, соответствующие военным, теряли один из них, надевая мундир. Начальник этого ополчения должен был быть избран московским дворянством. Комитетов должно было составиться два: в одном записывались и выдавались квитанции тем, которые представляли ополченцев, в другом же записывались и выдавались квитанции жертвующим деньги, съестные припасы или одежду. Государь одобрил нашу

работу; назначил членами 1-го комитета ген. Архарова, Апраксина и Обольянинова – как наиболее выдающихся, и придал им, кроме того, московского гражданского губернатора Обрезкова и предводителя дворянства Арсеньева. 2-й комитет составлен был из кн. Юсупова, Долгорукова, Голицына. Я в качестве генерал-губернатора был председателем обоих комитетов.

Следующий день был назначен государем для сообщения своих намерений дворянству и купечеству, которые собраны были к полудню в залах Слободского дворца. Ночью я узнал, и это было подтверждено мне и на другой день утром, что некоторые лица, принадлежавшие к обществу мартинистов, сговорились между собой, чтобы, когда государь предложит собранию набор ратников, – поставить ему вопросы: каковы силы нашей армии? как сильна армия неприятельская? какие имеются средства для защиты? и т.п. Намерение было дерзкое, неуместное и опасное при тогдашних обстоятельствах, но насчет исполнения его я вовсе не испугался, зная, что указанные господа столь же храбры у себя дома, сколько трусливы вне его. Я преднамеренно и неоднократно говорил при всех, что надеюсь представить государю зрелище собрания дворянства верного и что я буду в отчаянии, если кто-либо из неблагонамеренных людей нарушит спокойствие и забудется в присутствии своего государя, – потому что такой человек, прежде окончания того, что захотел бы сказать, начнет весьма далекое путешествие. Дабы сообщить более вероятия таким моим речам, я приказал поставить невдалеке от дворца две повозки, запряженные почтовыми лошадьми, и подле них прохаживаться двум полицейским офицерам, одетым по-курьерски. Если кто-либо из любопытных осведомлялся: для кого назначены эти повозки? – они отвечали: «А для тех, кому прикажут ехать». Эти ответы и весть о появлении повозок дошли до собрания, и фанфароны во все продолжение оного не промолвили слова и вели себя как подобает благонравным детям.

До прибытия государя я, в сопровождении Шишкова, пошел сначала в ту галерею, где собралось дворянство, а потом в ту, где находилось купечество. В 1-й галерее было около 1000 человек, поспешивших со всех сторон при известии о прибытии государя. Там все происходило в порядке и спокойствии. Но во 2-й галерее, где собрались купцы, я был поражен тем впечатлением, которое произвело чтение манифеста. Сначала обнаружился гнев, но когда Шишков дошел до того места, где говорится, что враг идет с лестью на устах, но с цепями в руке, – тогда негодование прорвалось наружу и достигло своего апогея: присутствующие ударяли себя по голове, рвали на себе волосы, ломали руки, видно было, как слезы ярости текли по этим лицам, напоминающим лица древних. Я видел человека, скрежетавшего зубами. За шумом не слышно было, что говорили эти люди, но то были угрозы, крики ярости, стоны. Это было единственное в своем роде зрелище, потому что русский человек выражал свои чувства свободно и, забывая, что он раб, приходил в негодование, когда ему угрожали цепями, которые готовил чужеземец, и предпочитал смерть позору быть побежденным. При подобных-то обстоятельствах вновь

выказывали себя прежние русские. Они, купцы, сохранили их одеяние, их характер; бороды придавали им вид почтенный и внушительный. Подобно предкам своим, они не имели других указаний, других правил, кроме четырёх пословиц, в которых заключались побуждения к их хорошим и дурным делам:

«Велик русский Бог».

«Служи царю верой и правдой».

«Двум смертям не бывать – одной не миновать».

«Чему быть, того не миновать».

Вот что делает настоящего русского человека надеющимся на Бога, верным своему государю, равнодушным к смерти и безгранично предприимчивым. Его усердие, мужество и верность обнаружились во всем блеске в продолжение 1812 года. Он действовал по собственному побуждению, руководясь собственным инстинктом. Древняя история представляет мало примеров подобной преданности и подобных жертв, а история нашего времени вовсе их не представляет.

Государь по прибытии в Слободской дворец оставался несколько минут в своих апартаментах, куда и я пришел, чтобы доложить ему обо всем, что происходило. Мы говорили об ополчении; но между тем, как он рассчитывал только на 10 000 человек, я был вполне уверен, что наберется больше. После этого государь пошел в дворцовую церковь, где служили молебствие, а по выходе оттуда направился в залу дворянства. При входе туда он имел вид озабоченный, так как шаг, который ему приходилось делать, должен быть тяжел для всякого властителя. Он милостиво поклонился присутствующим, а затем, собравшись с духом, с лицом воодушевленным, произнес прекрасную речь, полную благородства, величия и откровенности. Действие, ею произведенное, было подобно действию электричества и расположило всех к пожертвованию части своего имущества, чтобы спасти все. Фельдм[аршал] Гудович, как старейший по своему званию, заговорил первый и тоном старого верного слуги отвечал, что государь отнюдь не должен отчаиваться в успехе своего дела, священного для всей России, что все они, дворяне, готовы пожертвовать всем имуществом, пролить последнюю каплю крови, и в конце предложил государю одного человека с 25-ти, снабженного одеждой и месячным продовольствием. Только что успел фельдмаршал окончить свою речь, как несколько голосов закричало: «Нет, не с 25-ти, а с 10-ти по одному человеку, одетому и снабженному провиантом на три месяца». Крик этот подхвачен был большей частью собрания, которое государь благодарил в весьма лестных выражениях, восхваляя щедрость дворянства, а затем, обратясь ко мне, приказал прочесть положение об организации ополчения. Я заметил Его Величеству, что помянутое положение составлено было при иных условиях, – что там шла речь о сформировании отряда лишь из людей, добровольно представленных; но что теперь, когда дворянство само определило численность ратников, которых оно поставит, прежнее положение являлось

уже неподходящим. Государь согласился с моим замечанием, раскланялся с собравшимися дворянами и, пройдя в залу, где находились купцы, сказал им несколько лестных слов, сообщил им о предложении дворянства и, приказав мне прочитать им правила, выработанные 2-ю комиссией, сел в карету и уехал в Кремль. Я не дал купечеству времени остынуть. Бумага, чернила, перья были на столе, подписка началась и менее чем в полчаса времени дала 2 400 000 руб. Городской голова, имевший всего 100 000 капитала, первый подписался на 50 000 руб., причем перекрестился и сказал: «Получил я их от Бога, а отдаю родине».

Я возвратился в Кремль с известием о сборе 2 400 000 руб. и застал государя в его кабинете, с гр. Аракчеевым и с Балашовым. Десятый человек с населения представлял итог в 32 000 человек, снабженных продовольствием на 3 месяца; да сверх того сумма, пожертвованная купцами. Государь заявил мне, что он весьма счастлив, что он поздравляет себя с тем, что посетил Москву и что назначил меня ген[ерал]-губернатором. Затем, когда я уже уходил, он ласково поцеловал меня в обе щеки.

По выходе в другую комнату Аракчеев поздравил меня с получением высшего знака благоволения, т.е. поцелуя от государя. «Я, – прибавил он, – я, который служу ему с тех пор, как он царствует, – никогда этого не получал».

Балашов просил меня быть уверенным, что гр. Аракчеев никогда не забудет и не простит мне этого поцелуя. Тогда я посмеялся этому, но впоследствии получил верное доказательство тому, что министр полиции говорил правду и что он лучше меня знал гр. Аракчеева.

Теперь надо объяснить, почему собрание явилось столь щедрым и столь благородным. Предложение фельдмаршала было правильным и разумным, но два первые голоса, усилившие это предложение до десятого человека, исходили из двух голов, весьма одна от другой отличных. Один из этих господ, человек чрезвычайно умный, предлагал такую меру, которая ему ничего не стоила, потому что он не имел поместий в Московской губернии, – и пустил в ход свое предложение, как пускают какую-нибудь шутку. Другой же господин, обладавший сильными легкими, был человек низкий, глупый, на дурном счету при дворе; он предложил мне свой голос из-за чести быть приглашенным к высочайшему столу. И вот чем столь часто руководятся собрания, вот как действуют они, подавая голоса по увлечению и необдуманно! Газетчики, биографы, сочинители исторических романов превозносили иного человека до небес за какой-либо его поступок или за слово; а между тем он, может быть, совершив этот поступок или сказав это слово, тотчас же в том раскаялся.

Государь пробыл еще четыре дня в Москве. Донесения из армии постоянно сообщали об отступлении к Смоленску, потом о прибытии в этот город и о соединении Багратиона с Барклаем. Неприятель уже занял Минск, Могилёв и Витебск. Страх распространился по Москве, но присутствие государя занимало умы. Приехавший из Петербурга курьер привез

известие, что наследный принц шведский [Жан Батист Жюль] Бернадот готовится приехать в Або, чтобы иметь там совещание с государем, и что новый английский посол лорд Каткарт тоже прибудет туда. Вел. кн. Константин приехал из армии Барклая. Последний, находя его присутствие в Главной квартире бесполезным и стеснительным, послал его курьером к государю, в Москву, под тем предлогом, чтобы он дал словесный отчет о положении наших войск и о планах главнокомандующего. Государь хотел было оставить вел. кн. в Москве для сформирования там конного полка, что великий князь считал возможным исполнить в две недели, забирая подходящих ему людей и лошадей повсюду, где бы такие ни встретились. Предвидя неудобства его пребывания в Москве и дурное впечатление, которое произведет эта манера формирования полка, я просил государя, не благоугодно ли ему будет дать другое назначение великому князю во избежание неприятностей, так как я вынужден был бы нести ответственность за поступки последнего в такой момент, когда мне необходимо было посвящать свое время на бесчисленные и первостатейной важности занятия. Государь согласился со мной, хотел поручить своему брату формирование нижегородского ополчения, но за отказом его и вследствие его просьбы согласился отпустить его в армию.

Я горячо желал отъезда и удаления от Москвы вел. кн. Константина. Партия мартинистов, действовавшая тайно и настойчиво, посевала в умах фрондеров и трусов такую мысль, что император Александр есть причина тех опасностей, которым страна подверглась, что царствование его не могло быть иным, как несчастливым, и что надо бы поставить на его место брата его Константина. План этот, столь же безумный, сколько ужасный, никогда не мог осуществиться, потому что это значило бы прислуживаться Наполеону и губить государство, возбуждая революцию в такую эпоху, когда нельзя было достаточно сообщать устойчивости и силы правительству посредством пожертвований, единодушия и спокойствия, и, конечно, не подрыванием оснований можно было предохранить здание от разрушения. Ни в то время, ни потом я ни слова не говорил об этом государю, чтобы не дать ему новых беспокойств и не посеять в нем семя подозрительности к его брату, который был совершенно чужд коварных происков злых людей и который, при своем живом и лояльном характере, с отвращением отверг бы всякое преступное предложение. Низость тоже примешалась к скрытому предательству; таким образом, в то время, когда великий князь торопился приготовлением к отъезду, Валуев стал говорить ему: «Ваше высочество, оставайтесь здесь, не удаляйтесь от собора, это ваше место». На это великий князь, не понявший смысла его слов, отвечал: «Предоставляю вам молиться там Богу, я же еду в армию, сражаться – там мое место».

Это мартинистское общество образовалось в 1780 г. Некто Шварц, профессор немецкого происхождения, положил первые ему основания и не замедлил приобрести многих прозелитов. После его смерти некий г. Новиков,

генерал-майор в отставке, человек умный, образованный, но совершенно расстроенный в своих делах, сделался главою секты. Он увеличил число посвященных, расширил свои связи, купил большой дом, где поместил типографию для печатания книг мистического содержания, написанных на русском языке или переводных. Он избрал нескольких студентов университета, чтобы сделать их прозелитами, и послал их на счет общества кончать образование в чужих краях. Историограф Карамзин, бывший тогда еще очень молодым человеком, находился в их числе; но по возвращении оттуда он по благоразумию и вследствие своих романических наклонностей отрешился от этого общества, где очень на него за то негодовали. На общество мартинистов не обращали большого внимания, так как они отличались от других лишь раздачей милостыни и делами милосердия, что вместо подозрения навлекало на них благословение и уважение. Но одно из писем известного Вейсгаупта, не знаю каким случаем, дошло до императрицы Екатерины. Оно адресовано было на имя Новикова и заключало в себе несколько фраз, смысл коих был скрыт. Так как планы и цели иллюмината Вейсгаупта стали уже в то время известны, то письмо это возбудило тревогу и заставило прибегнуть к мерам строгости. Послали приказ тогдашнему московскому генерал-губернатору кн. Прозоровскому. Согласно смыслу этого приказа, один из советников правления отправлен был при конвое в деревню Новикова, для того чтобы арестовать его, привезти в Москву и забрать все его бумаги. Советнику не стоило никакого труда исполнить данное ему поручение. Приехав в полночь, он нашел Новикова в кругу нескольких молодых людей, с почтением слушавших его слова. Перед отъездом своим он давал им наставления, как вести себя, и оставил их, обливаясь слезами. Так как он не хотел давать кн. Прозоровскому никаких объяснений, то был отправлен в Петербург и заключен в Шлиссельбургскую крепость, где оставался до восшествия на престол Павла I. Главные члены этой секты – кн. Трубецкой и Лопухин – были высланы из столицы. Секту эту подвергли осмеянию, даже выставляли ее на театральной сцене. Она несколько расстроилась, была обречена на молчание, но не уничтожилась. Агентом ее при Павле, тогда еще великом князе, был Плещеев, человек умный и интересный во многих отношениях, который под личиною искреннего благочестия был в глубине души мартинистом. По воцарении имп[ератора] Павла секта заявила о своем возобновлении гонением, которое возбуждено было ею против Прозоровского. Плещеев тотчас же вызвал из Москвы Лопухина, намереваясь провести его в статс-секретари, и еще одного приходского священника, хорошего проповедника и тоже мартиниста, чтобы сделать его духовником государя. Но это не удалось: Павел охладел к секте и, по-видимому, не обращал на нее внимания; но, допустив ее существование, он дал ей время, в продолжение его царствования, распространиться и расширить свои ветви. При воцарении Александра I в 1801 г. секта начала делаться весьма внушительной, пользуясь покровительством некоего Кошелева – человека упрямого, ограниченного, тщеславного, до-

стигшего преклонных лет и мучимого честолюбивой мечтой: быть при жизни своей государственным человеком, а после смерти маленьким святым. Он совершенно овладел умом одного кн. [А.Н.] Голицына, человека светского, весельчака и шутника; а когда последний сделался министром духовных дел и народного просвещения, то мартинизм, опираясь на этих двух апостолов, открыто поднял голову и, под рукою, стал преследовать всех тех, которые глядели на это духовное общество как на оперную труппу и на толпу одураченных людей. В числе членов своих в Москве они имели несколько сенаторов; но самыми деятельными и влиятельными между ними были: г. [Ф.П.] Ключарев и г. [О.А.] Поздеев. Первый из них, человек низкого происхождения, раз уже исключенный из службы за воровство, сумел дойти до места московского почт-директора и состоял на очень хорошем счету у государя. Это был человек умный, но без всяких нравственных правил, тщеславный, грубый и корыстолюбивый. Подчиненные смертельно его ненавидели.

При самом начале войны меня уведомили о прокламации Наполеона, которая ходила по рукам в Москве и была написана по-русски. Через 24 часа добрались до источника и открыли, что автором этой бумаги был сын одного довольно зажиточного купца Верещагина. Его арестовали, но он никогда не хотел сознаться, от кого получил этот манускрипт, который не мог быть сочинен им. Он говорил, что перевел его из одной польской газеты, а сам не знал польского языка. Я приказал свести его при сопровождении одного из полицеймейстеров в почтовую контору, чтобы видеть, какое впечатление произведено будет там появлением этого молодого человека. К великому удивлению полицеймейстера, г. Ключарев увел юношу в свой кабинет и, выйдя оттуда через четверть часа, весьма расхваливал его, признавая за ним большую легкость в письменном изложении, и, в доказательство сего, просил полицеймейстера передать мне исписанную бумагу, уверяя, что это сочинение, импровизированное Верещагиным на заданную тему. Тема эта была: торжество России. Когда полиция отправилась в дом Верещагина отца, чтобы забрать бумаги сына, то последний, при выходе оттуда, приблизился к своей мачехе и сказал ей что-то на ухо. Женщина эта, допрошенная оберполицеймейстером, объявила, что молодой Верещагин сказал ей, чтобы она на его счет не беспокоилась, так как г. Ключарев берет его под свое покровительство. Из бумаг же его открылось, что он был воспитан каким-то силезским уроженцем, придерживавшимся мистицизма. По прошествии некоторого времени мне принесли несколько листков, которые были рассылаемы по почте во все города, находящиеся на Большой дороге. Манера их изложения вовсе не соответствовала видам правительства. Ополчение называлось в них насильственной рекрутчиной; Москва выставлялась унылой и впавшей в отчаяние; говорилось, что сопротивляться неприятелю есть безрассудство, потому что при гениальности Наполеона и при силах, какие он вел за собой, нужно божественное чудо для того, чтобы восторжествовать над ним, а что всякие человеческие попытки будут бесполезны. Открылось, что листки эти

были продиктованы доверенным секретарем Ключарева, которого я немедленно отослал в Петербург к министру полиции. За самим Ключаревым я учредил надзор и воспретил ему иметь у себя собрания, но так как он вздумал бравировать меня и не слушаться, то я однажды вечером приехал к нему и, опечатав бумаги, самого его отправил с полицейским офицером в Воронеж, за 500 верст от Москвы, под надзор полиции.

Другой глава мартинистов, г. Поздеев, тоже имел у себя собрания в определенные дни, но он был покорнее Ключарева и запер свои двери для гостей. К счастью, вопреки множеству прозелитов, которых он имел даже между купечеством, слухи, распускаемые им, не имели тех результатов, на какие он льстился. Общество было слишком занято, слишком озабочено, для того чтобы хоть на одну минуту увлекаться легковерием и обманами, так что всякий слух, который пытались распространить, встречался с недоверием. Самым ядовитым из этих слухов был, будто Наполеон есть сын императрицы Екатерины, которого она приказала воспитывать в чужих краях, и будто на одре своей смерти она потребовала от имп[ератора] Павла клятвы, что он уступит половину Российской империи своему брату Наполеону, если тот когда-нибудь придет туда.

Дворянству пришлось собраться еще в другой раз, для выбора начальника Московского ополчения. Наибольшее число голосов получил ген. Кутузов, который, уступив начальство над Дунайской армией адмиралу Чичагову, должен был отправиться в Петербург. После него честь выбора оказали мне, хотя и совершенно напрасно, так как, будучи генерал-губернатором московским, я не мог отлучаться из города. Третьим был отставной генерал-лейтенант гр. [И.И.] Морков, проживавший в своих подольских поместьях. Его выбор и был утвержден государем. К нему послали курьера с приглашением явиться.

В собрании этом произошла вещь довольно забавная. Ген. Апраксин, который никогда не может оставаться покойным и убедиться в том, что никто его не желает, поместил себя в список для выбора в начальники Московского ополчения, но, несмотря на все интриги, на все хлопоты, получил при баллотировке 490 голосами всего 13 белых шаров. Перед отъездом из Москвы государь поручил генерал-лейтенанту гр. Толстому (тому самому, который выказал столько благородства и твердости во время своего посольства в Париж, к Наполеону) формировать ополчение в приволжских губерниях. Он должен был отправиться в Нижний Новгород и повести там дело так же, как в Москве, с той разницей, что уже наперед было определено количество людей, которое каждая губерния должна была поставить соответственно своему населению. Это самое ополчение отправилось к армии в 1813 г. и участвовало в блокаде Данцига и осаде Гамбурга.

День отъезда государя весь прошел у меня в занятиях. Я пришел проститься с ним около полуночи, и он предложил мне стать во главе ополчения шести пограничных с Московской губерний. Я просил избавить меня от

этого, и он, по-видимому, на то согласился. Я испрашивал у него повелений и инструкций относительно того, что должен делать при таких или иных обстоятельствах, но не получал другого ответа, кроме следующего: «Предоставляю вам полное право делать то, что сочтете нужным. Кто может предвидеть события? И я совершенно полагаюсь на вас». Он сообщил мне только, что оставил генерал-адъютанта Кутузова при армии, чтобы тот, в случае потерянного сражения, приехал донести ему об этом. Он не захотел, чтобы я проводил его до заставы, сел в свою коляску и уехал, оставив меня полновластным и облеченным его доверием, но в самом критическом положении, как покинутого на произвол судьбы импровизатора, которому поставили темой: «Наполеон и Москва».

* * *

На другой день после отъезда государя я занимался рассылкою орденов и объявлением разных милостей, которые Его Величество даровал по моему ходатайству. Когда министр полиции представлял составленный мною наградной список, то предложил государю дать мне орден Св. Владимира 1-й степени; на это государь сообщил ему о нашем петербургском условии, т.е. чтобы меня лично ничем не награждать, но для придачи мне большей власти я был наименован «главнокомандующим» в городе Москве и его губернии – титул, которым пользовался лишь генерал, начальствующий армией.

В тот же день я поместил оба комитета в генерал-губернаторском доме, и хотя первый из них сделался совершенно бесполезным после предложения дворянства дать десятого человека, однако государь повелел мне предоставить назначенным им лицам собираться в заседание. Они ничем не занимались, а только спорили и противоречили ген. Апраксину, который беспрестанно хотел вмешиваться в дела, его не касающиеся, предлагал меры, которых не принимали, и рассылал приказания, которым не повиновались.

Чтобы свободно располагать послеобеденным временем, я каждое утро, в 8 часов, приезжал в генерал-губернаторский дом. Там был мой рабочий кабинет, где я принимал донесения, просьбы и тех лиц, которым нужно было говорить со мною. Это было удобнее для всех, так как помянутый дом находится в центре города. С июля до 29 августа не было ни одного утра, чтобы я не приезжал туда. Оставался я там до 2 часов пополудни и возвращался к себе на дачу к обеду, после которого все время посвящал занятиям. Около 7 часов я оставлял дом, чтобы объездить некоторые городские кварталы. Часто прогуливался я в Кремле, куда присутствие мое привлекало многих лиц из купечества и простого народа, с которыми я разговаривал запросто, сообщая им какие-нибудь добрые вести, которые они потом шли распространять по городу. Однако надо было быть весьма осторожным с этими людьми, потому что никто не обладает большим запасом здравого смысла, как русский человек, и они часто делали такие замечания и вопросы, которые затруднили бы и дипломата, наиболее искусившегося в словопрениях.

Вечера я проводил всегда у кн. [В.А.] Хованского, который принимал у себя много народа; там происходил обмен новостями, сопровождаемый долгими рассуждениями о военных действиях, о движениях армий, их успехах и т.п. Я возвращался к себе домой около полуночи и, прежде чем лечь, писал и посылал по эстафете донесения государю.

Утренние собрания в генерал-губернаторском доме представляли зрелище очень любопытное: тут сходились лица всех возрастов и чинов, все люди праздные и привлекаемые любопытством узнать что-либо положительное; то было подобие биржи, почтовой конторы, морского порта; для всех этих любопытствующих я был предметом общего наблюдения, и когда я появлялся после прибытия курьера, то все глаза устремлялись на меня, стараясь прочесть на лице моем, какого рода известие мною получено. С наблюдений этих часто возвращались, находя, что выражение мое было веселым и спокойным, а между тем у меня была смертельная скорбь на душе. Большая часть этих случайных Лафатеров не знала, что я был очень силен по части пантомимы и в молодости своей отличался актерским искусством.

Усердием и любовью к родине внушены были весьма благородные и возвышенные намерения четырем лицам: молодые графы Мамонов и Салтыков, обладатели больших имений, предложили сформировать на свой счет по одному конному полку, которых начальниками назначены были они сами. Немедленно приступили они к делу и израсходовали суммы громадные для частного человека. Кн. Николай Гагарин и г. [Н.Н.] Демидов взяли на себя расходы, каждый отдельно, по обмундированию одной дружины Московского ополчения. Так как все молодые люди гражданского ведомства хотели служить в армии, то присутственные места запустели и Сенат остался без прокуроров.

На другой день по отъезде государя из Москвы пришли вечером известить меня о прибытии из Смоленска ген.-адъютанта Кутузова. Это был тот самый, о котором государь сообщил мне, что он должен привезти известие в случае поражения нашей армии. Как ни уверял он меня, что сражения не было, что Наполеон находился в Минске, а наши войска в Смоленске, – я настаивал на том, чтобы он сознался в проигранном сражении, и передал ему то, что государь мне насчет его говорил. Наконец, удостоверенный его честным словом, я дал ему уехать, проведя с ним целый час в сомнениях и тревоге. Потом уже я узнал, что Кутузову было поручено многими выдающимися генералами просить государя о замене Барклая кн. Багратионом по причине несогласий, господствовавших между ними, и недостатка деятельности в нашей армии. Источник этих ссор заключался в том, что кн. Багратион был старше Барклая в чине, но последний опирался на свое звание военного министра и тотчас же после соединения его армии с армией кн. Багратиона взял над нею начальство. Так как оба они очень дорожили мнением Москвы, то часто писали мне письма, полные жалоб друг на друга. Но Барклай, будучи более благоразумным, сохранял и более достоинства; между тем как кн. Багратион говорил

глупости о своем товарище и хотел выставить его то человеком бездарным, то изменником. Барклай был человек благородный, но осмотрительный и методичный; он сделал карьеру благодаря своим личным достоинствам, всегда служил отлично, был покрыт ранами. Забота его состояла лишь в том, чтобы сохранить армию, вести свое отступление в полном порядке. Храбрости он был испытанной и часто изумлял своим хладнокровием в опасности. Багратион же, одаренный многими качествами, присущими хорошему генералу, был слишком необразован для того, чтобы иметь главное начальство над армией. Он очень тщеславился тем, что был учеником и любимцем великого Суворова. Он все хотел сражаться, потому что Барклай избегал сражения, и если бы он командовал армией, то подверг бы ее опасности, а может быть, и погубил, упорствуя в обороне Смоленска.

Во время занятий, не оставлявших мне ни минуты покоя, злая судьба моя привела в Москву г-жу Сталь. Надо было видаться с нею, приглашать ее к обеду и успокаивать насколько возможно. Она прибыла из Швейцарии и проезжала через Россию, чтобы укрыться в Швеции, у наследника принца Бернадота, который, по ее словам, был ей близким другом. В Москве она остановилась на неделю по случаю болезни ее сына. Спутниками ее были: ее корректор, ученый Шлегель и некий г. Ру, которого она выдавала и мне представила под именем барона Лефора, думая, может быть, придать ему более важности. Этот Ру – длинный, истощенный и страдающий одышкой господин – захворал, увлекшись русским напитком, называемым кислые щи. Г-жа Сталь все жаловалась и страшно боялась, как бы Наполеон, занятый единственно ее преследованием и бесясь на то, что она ушла, не послал бы отряда кавалерии, чтобы похитить ее из Москвы. Чтобы более убедить меня в том, она всегда прибавляла: «Вы знаете этого человека, он на все способен!» Так как в то время, когда она опасалась быть похищенной по приказу Наполеона, последний находился еще на расстоянии 800 верст от Москвы, то я не принимал никаких мер для воспрепятствования этому похищению.

Государь, остановясь на несколько часов в Твери, у сестры своей, великой княгини Екатерины, повелел написать приказ, которым ставил меня во главе организации ополчения в 6 губерниях. Тверская и Ярославская должны были выставить по 12 000, а Владимирская, Рязанская, Калужская и Тульская по 15 000, что составляло 84 000 человек, а с московским ополчением 116 000. Приказ этот еще подбавил мне работы. Я отправил курьеров к гражданским губернаторам названных губерний с указаниями правил, которых они должны были придерживаться. Я назначил сборные пункты, и в 24 дня ополчение это было собрано, разделено по дружинам и одето; но так как недостаточно было ружей, то их, ополченцев, вооружили пиками – бесполезными и безвредными. Если б осуществили мою мысль, заявленную в 1811 г., то имели бы 640 000 человек, взяв одного человека из 25, было бы время для их распределения, формирования, а также для того, чтобы обучать их во время пере-

ходов на указанные пункты; они были бы прилично и удобно одеты; следовало бы взять все ружья из арсеналов и усилить деятельность оружейных заводов; в пушках и порохе не было бы недостатка. Ополченцев разделили бы на несколько корпусов, немедленно двинули бы в поход; из самых отдаленных губерний они в 6 месяцев пришли бы на границу, где следовало бы быть театру войны. Предполагая, что четвертая часть их осталась бы позади и не оказалась налицо, все-таки было бы полмиллиона отличных солдат для подкрепления армии, в которой считалось около 300 000 бойцов. Повсюду имелись бы резервы, и неприятелю можно бы было противопоставить двойное, относительно его, число сражающихся. А так как война эта сводилась главным образом к истреблению людей, то кто в сражении имел бы их большое число, тот и одержал бы победу, и я не знаю, решился ли бы Наполеон, сведав об этом, предпринять поход в Россию. Европа была бы спокойнее, а он остался бы императором в Тюльери. Около этого времени прибыл ко мне французский бригадный генерал Сан-Жени, взятый в плен в каком-то деле, происходившем после занятия Вильны. Это был красивый и очень сдержанный человек. Он обедал у меня, а нанимал маленькую квартиру, где и оставался до вступления неприятеля.

Москва была спокойна, пока наши армии, соединившиеся под Смоленском, пребывали в бездействии; обыватели льстили себя надеждою, что кампания окончена. Город между тем наполнялся эмигрантами и беглецами из белорусских провинций, покидавшими свои поместья ввиду приближения неприятеля и стремившимися в столицу, которую считали местом, обеспеченным от опасности. Они рассказывали о злодействах и святотатствах, совершаемых наполеоновскими солдатами. Один из их отрядов прибыл в какую-то деревню и застал там помещика с его семейством. Солдаты эти предались всякого рода насилиям и не пощадили ни дочери, ни племянницы владельца. Первая вследствие этого умерла на другой день, а вторую, при смерти, привезли в Москву. Одновременно с распространением этого известия узнали, что кавалерия неприятельская обращает церкви в конюшни. Я поторопился как можно скорее обнародовать оба эти известия. Первое из них доказало дворянству, что плохо было бы ожидать прибытия противника, и приготовило всех к мысли об отъезде, который и был единодушно решен во всех семействах. Второе известие относительно осквернения церквей возбудило чувство мести и гнева в узнавшем о том народе и было первой причиной умерщвления солдат крестьянами.

Главнокомандующий адресовался ко мне, чтобы получать от Москвы множество разных предметов, нужных для армии. Он испрашивал, между прочим, большое количество хлебного вина, и так как губернские магазины были наполнены запасами оного, то я организовал транспорты, отправлявшиеся каждые три дня на наемных подводах. Эти транспортировки продолжались до половины августа, когда подрядчики отказались продолжать оные, вследствие необеспеченного своего положения среди войск, которые

забирали их лошадей. Впрочем, при отступлении от Смоленска армия проходила через многие мелкие города, оставляемые во власти неприятеля, как, например, Дорогобуж, Вязьма, Гжатск, Можайск, где находились значительные склады водки, которая и забиралась с собою.

* * *

Время от времени полиция забирала кое-каких появлявшихся болтунов, но так как я не желал оглашать подобные истории, то, вместо того чтобы предавать суду этих людей, которые сами по себе не имели значения, я отсылал их в дом умалишенных, где их подвергали последовательному лечению, т.е. всякий день делали им холодные души, а по субботам заставляли глотать микстуру. При вступлении неприятеля в Москву там находились из такого сорта лиц – 3 женщины и 10 мужчин.

Страх, подозрительность к иностранцам и похвальное усердие обращали каждого человека в правительственного агента. Так как опасались шпионства и могли обвинять в нем иностранцев, то я приказал объявить, чтобы тех лиц, которые по каким-либо приметам были заподозреваемы и забираемы, приводили ко мне для допроса. Скоро мне пришлось поздравить самого себя с принятием этой меры, потому что каждый день стали приводить ко мне людей, вовсе не занимавшихся шпионством. Я вразумлял народную толпу, их приводившую, ошибка выяснялась, и тогда заподозренное лицо тотчас же отпускалось на свободу. Однажды ко мне привели русского поваренка, заику и дурачка; так как он не мог довольно быстро ответить на вопрос, из какой он земли, то его и забрали. В другой раз мой сапожник-немец, узнавший между арестантами некоторых своих земляков, купил им белого хлеба и вследствие сего был приведен пред мое судилище. Но народ сам никого не истязал. К захвату этих мнимых шпионов поощрил, между прочим, следующий случай: один немецкий лекарь вздумал проповедовать прислуге того дома, где он жил, и рисовал ей картину счастья, каким бы она пользовалась под властью Наполеона. Один из этих людей призвал на помощь других, и все они донесли на помянутого народного оратора. Я вызвал служителя, верного своей присяге, и при всех вручил ему награду в 1000 руб., лекарь же был посажен в тюрьму.

Другой случай: я взял к себе вторично француза-повара, который был у меня в услужении в Петербурге. Ученики его, работавшие с ним, донесли, что он сманивает их к Наполеону. Я поручил двум полицеймейстерам удостовериться в истине этих показаний, и так как повар оказался сильно увлекающимся в пользу неприятеля, то я приказал арестовать его, предать в руки правосудия и сослать в Пермь.

Но пока в Москве усматривали шпионов там, где их не было, в Главной квартире открыта была измена; но изменника не нашли. Когда ген. Барклай произвел наступательное движение от Смоленска, один из наших конных отрядов захватил коляску ген. Монбрена, и в бумагах его найдена была записка, сообщавшая ему о плане атаки, которую Барклай намеревался произвести.

Подозрения пали на находившихся в нашей службе польских офицеров, которые, будучи адъютантами государя, следовали при нашей Главной квартире. За расследование взялись неумело и не открыли ничего, но с этой минуты Барклай усвоил себе обычай отсылать в Москву тех лиц из армии, которые казались ему подозрительными. Первым прибыл полковник Влодек. Я принял его хорошо, часто с ним виделся и никогда не считал его способным на измену. Вторым был барон Левенштерн, который полагал, что прислан в Москву курьером, и даже выражал нетерпение при его долгой неотсылке назад в армию, но когда я показал ему письмо Барклая, в котором тот просил задержать означенного офицера в Москве, потому что его заподозрили в посещении ночью французских аванпостов, то он поблагодарил меня за то, что я так деликатно с ним поступил, но сообщил мне, что теперь пустит себе пулю в лоб, не будучи в состоянии пережить столь позорящего подозрения. Я объявил ему, что он властен лишить себя жизни, но что самоубийством этим только подтвердит подозрение, вместо того чтобы его уничтожить. Он был поражен моим рассуждением, успокоился, и я на свой страх отослал его обратно в армию. В Бородинской битве он дрался отчаянно и был ранен двумя пулями.

Согласно желанию ген. Барклая, я имел в Главной квартире одного чиновника, доставлявшего мне известия о том, что там происходило. 8 августа, в 6 часов утра, я был разбужен курьером, привезшим мне известие о взятии Смоленска, со всеми подробностями дела. Не теряя ни минуты, я разослал четырех курьеров. Одного к ген. Милорадовичу, находившемуся в Калуге, где был сборный пункт 24-тысячного корпуса, сформированного им в Малороссии. Он имел приказание идти с этим корпусом к Смоленску. Я ему советовал выступить безотлагательно с тем числом войск, какое имелось под рукою, и двинуться на Вязьму. Прочие курьеры с подобным же предложением посланы были: 1) к генералу, командовавшему резервною артиллерией, расположенной по квартирам в разных городах Московской и Тульской губерний, 2) к кн. [Д.И.] Лобанову, сформировавшему 16-тысячный пехотный корпус во Владимире, и 3) к генералу, который тоже сформировал два полка в Клину. Последние должны были сблизиться к Москве, следуя по Большой Петербургской дороге.

По отъезде всех курьеров надо было изготовить мой бюллетень и объявить о взятии Смоленска, который в общественном мнении возведен был в оплот Москвы. Я в объявлении своем превозносил до небес героизм одного корпуса, по моим словам, который защищал Смоленск в продолжении трёх дней и который перешел за Днепр лишь для того, чтобы присоединиться к главной армии и снова остановить врага. Я воспользовался словами бюллетеня Наполеона, где говорилось, что его потери в людях были неисчислимы. Когда, в час завтрака, я спустился вниз, к моей жене, она спросила, что со мною? – и когда я объявил ей о взятии Смоленска, то увидел, как губы ее затряслись и конвульсивное движение пробежало по ее чертам. Я пробовал ее

утешить, не зная, что произошло в ней такое потрясение – потому что потеря Смоленска ее не удивила. Насилу произнося слова, она спросила у меня: «А Сергей? – он, значит, убит?» Она спрашивала о сыне, а я не имел возможности прекратить ее опасений, потому что и сам ничего не знал о судьбе нашего сына, служившего адъютантом при Барклае. К счастью, оказалось, что курьер, которого я к себе призвал, видел его и предупредил, что он будет писать при первой оказии. Беспокойство наше прекратилось, но я был так озабочен с 6 часов до 12, что мысли мои не следили за моим единственным сыном. Я думал лишь о спасении России и о погибели ее врага. Вне этого мне все казалось почти безразличным.

* * *

Сев в карету, я отправился в генерал-губернаторский дом и дорогою старался придать лицу своему подобающее выражение и обдумывал, что надо будет говорить. Около полудня залы дома наполнились народом, и тут впервые беспокойство уступило место страху, который был написан на всех физиономиях. Как ни старался я исчислять подкрепления, которые двинулись вперед и которые через неделю сделают армию нашу многочисленнее неприятельской, – доводы эти мало успокаивали, а чувства обеспеченности вселяли еще меньше. Сам я до следующего утра мучился лишь одной мыслью, что Наполеон остановится в Смоленске до следующей весны; а не надо было иметь много прозорливости, чтобы видеть в подобной мере великие несчастья для России. Но Наполеон не остановился и сделал первый шаг к своей гибели.

Беспокойство мое прекратилось на следующий день, когда я получил известие о деле при Заболотье, которое французы называли при Валутине. В этот же день прибыли в Москву из армии первые раненые и больные: то были пострадавшие во время дел около Витебска и при отступлении к Смоленску. Все было приготовлено для их приема, и я отвел под госпиталь Головинский дворец, обращенный при Павле в казармы. За офицерами был особый уход. Я организовал отдельный корпус врачей и фельдшеров под управлением г. Лодера, и редко проходил день, чтобы я не посещал больных. Поправились они быстро, благодаря спокойствию и хорошей пище. Позднее пришлось учредить особый надзор за тем, чтобы им не давали кушанья нездорового или в слишком большом количестве. Купцы при этом случае следовали принципам человеколюбия и обращались по-братски со своими военными земляками. Часто не знали, что и делать с припасами, приносимыми каждое утро: тут была и говядина, и баранина, и телятина, повозки с белым хлебом и настойками. Помещения больных и раненых офицеров были наполнены сахаром, чаем, кофе, табаком для куренья – так что они не знали, что со всем этим делать, и посылали излишек солдатам. Городские дамы присылали ящики, полные корпии. Многие семейства приняли на свое попечение раненых офицеров, поместили их у себя и ухаживали за ними с самым

нежным вниманием. Вновь ожившее московское гостеприимство вступило в свои права, и великодушие находило свою награду в благодарности тех, которые им пользовались.

После взятия Смоленска разлад между обоими главнокомандующими еще усилился. Багратион писал мне письмо с жалобами на Барклая, уверяя меня, что в том-то и в том-то случае он помешал ему побить Наполеона и что, постоянно отступая перед Наполеоном, он приведет его в Москву – чего, по словам Багратиона, никогда бы не случилось, если бы он начальствовал армией. Барклай с каждого места, где он останавливался хотя на сутки, писал мне, что решился дать сражение; а на другой день я узнавал, что он сделал еще переход к стороне Москвы. Не знаю, чем кончилась бы эта вражда Багратиона с Барклаем, если бы они не получили известия о назначении ген. Кутузова главнокомандующим всех армий, т.е. Барклая, Багратиона, Чичагова и Тормасова. В приказе о том было сказано, что это делалось для того, чтобы подчинить армии старейшему и опытнейшему генералу и чтобы положить конец недостатку согласия между разными предводителями. Те же слова сказаны были в собственноручном письме государя, доставленном мне с курьером. Барклай – образец субординации – молча перенес уничижение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием; Багратион, напротив того, вышел из всяких мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошенником, способным изменить за деньги.

Между тем новый Фабий уже был на пути к армии, и Москва по этому случаю дала новое доказательство недостатка в благоразумии. При вести о его назначении все опьянели от радости, целовались, поздравляли друг друга; мужчины и женщины – все были в восхищении. Можно было подумать, что одно присутствие Кутузова обратит в бегство армию Наполеона или поразит ее, как появление головы Медузы.

Государь хорошо знал ген. Кутузова. По возвращении из Або в Петербург он нашел его там и целых десять дней не принимал его к себе, однако наименовал его князем с титулом светлейшего, в награду за мир, заключенный с Портою. В это же время московское общество, менее удивленное, нежели испуганное отступлением наших войск и начавшее верить в возможность занятия Москвы неприятелем, решилось для своего утешения обозвать бедного Барклая изменником. Эти толки дошли до Петербурга, и государь – главным образом для того, чтобы подчинить все одной власти и придать ей более авторитета, – назначил Кутузова; Москва же приписала это уважению государя перед общественным мнением.

Этот ген. Кутузов, тело которого похоронено в петербургской соборной церкви, которому полагается воздвигнуть памятник, которого рискнули называть спасителем России, – имел в 1812 г. 68 лет от роду. В турецкую войну, когда он был еще майором, неприятельская пуля пробила его череп, позади глаз; рана эта, названная беспримерной, потому что он вылечился и сохра-

нил зрение, сделала его известным с благоприятной стороны. Этот человек был большой краснобай, постоянный дамский угодник, дерзкий лгун и низкопоклонник. Из-за фавора высших он все переносил, всем жертвовал, никогда не жаловался и, благодаря интригам и ухаживанью, всегда добивался того, что его снова употребляли в дело в ту самую минуту, когда он считался навсегда забытым.

Он прибыл в Главную квартиру, в деревню, называемую Царёво Займище, приказал стать войскам под ружье, проехал перед их строем, несколько раз повторяя солдатам, что «с такими храбрыми воинами, каковы они, стыдно все отступать перед неприятелем», потом ушел к себе и отдал приказание армии идти к Вязьме, на 7 лье назад.

Тогда самые усердствовавшие увидели, что Суворов целиком ушел в могилу.

По Москве распространили слух, что во время осмотра войск два орла постоянно парили над головой Кутузова, но когда оказалось, что он все приближается к Москве, подобно своему предместнику, то выдумка об орлах была отброшена и предвестие победы обратилось в ничто.

Я послал к нему курьера, который, приехав, отдал ему мое письмо, где я ничего лучшего не нашел сказать, как то, что московские обыватели будут очень счастливы, если им представится возможность поднести ему лавровый венец и титул их избавителя. Я сообщил ему о положении, в каком находится Москва, об имеющихся в ней средствах, об оружии, находящемся в арсенале, и т.д.; к донесению этому я приложил 13 карт губернии Московской и каждого ее уезда отдельно. Над картами этими я заставлял работать день и ночь с самого начала войны, и работа была окончена.

Он отвечал мне множеством комплиментов, просил о присылке Московского ополчения и продовольственных припасов, так как армия терпела недостаток в оных, и говорил, что, возлагая всю свою надежду на Бога, готов делать то, что его честь, усердие и любовь к отчизне предписывают на том высоком посту, куда его поставили.

* * *

С той минуты, как взятие Смоленска сделалось известным в Москве, многие лица решились уехать оттуда; другие же удовольствовались тем, что держали наготове своих лошадей и экипажи. Благодаря заблаговременно принятым мерам и точному исполнению отданных мною приказаний, я не взял ни одной лошади у частных людей и не говорил кому бы то ни было, что надо уезжать; но я напустил немало страху, давая понять, что опасно оставаться еще долее, и указывая на возможность такого стечения обстоятельств и событий, которое заставит меня реквизировать для армии всех лошадей, находящихся в Москве. Иностранцу покажется невероятным, что 9 уездов Московской губернии, которых неприятель не занимал, доставили с 15 по 30 августа 52 тысячи лошадей, с таким же количеством подвод,

из которых, конечно, и половина не возвратилась к их владельцам. Когда зажиточное население стало выезжать через заставы: Ярославскую, Владимирскую, Рязанскую и Тульскую, то беспокойство и волнение взбудоражили все головы и наполнили их химерами. На этот раз волнение было гораздо посильнее, чем в 1807 г., когда беспокойство жителей выражалось подобным же образом. Город наполнился слухами о чудесных явлениях и о голосах, слышанных на кладбище, а также пророчествами, которые пускали в ход, сопоставляя некоторые выражения или некоторые слова из священного писания. Отыскали в Апокалипсисе пророчество о падении Наполеона и о том, что северная страна, которую страна южная придет покорять, будет избавлена избранником Божиим, имя коему Михаил. На утешение верующим, и Барклай, и Кутузов, и Милорадович были Михаилы. По этому поводу происходили и споры, так как народ, за несостоятельностью Кутузова, желал видеть избавителя в великом князе Михаиле. Каждый день в часы моего приема являлись несколько человек с библиями под мышкой; они с таинственным видом объясняли мне разные тексты, подносили мне молитвы собственного сочинения, просили об учреждении крестных ходов, и архиерей совершил один такой ход, – что занимало народ в течение целых суток. Подозрения относительно иностранцев внезапно обратились в ненависть к ним, и уже двукратно составлялся план истребить их; но для осуществления этого плана ничего не было сделано, потому что иностранцы проживали по разным частям города, а те, которые злобствовали на них, сдерживались полицией, бывшей днем и ночью на ногах, а следовательно, и готовой рассеять малейшие сборища. Иностранцы, особенно французы: коммерсанты, артисты и другие лица, проживавшие в Москве, держали себя очень осторожно, так как я с самого начала войны дал им предупреждение через посредство их священников, которым я по этому предмету разослал циркуляр. Но русский народ всегда глядел на них косо, вследствие преимуществ, доставляемых им званием иностранца, и обвинял их в том, что они отнимают у него барыши от торговли и работы. Однажды утром гражданский губернатор Обрезков пришел ко мне с заявлением, что имеет сообщить об открытии чрезвычайной важности, и при этом привел ко мне своего русского портного, человека отличного поведения, очень зажиточного и уже довольно старого. Человек этот после нескольких вопросов г. Обрезкова, пораженного при свидании с ним его расстроенным лицом, признался, что потерял сон и аппетит, что многие из рабочих так же больны, как и он, и что они хотят французской крови. Обрезков притворился одобряющим такое средство и заставил помянутого человека так разболтаться, что тот открыл ему, что имеет уже наготове 300 человек портных и что надеется на другой день завербовать еще несколько сотен добровольцев, чтобы ночью перебить всех французов, проживавших на Кузнецком мосту. Этот портной и передо мною повторил то же признание и те же подробности. Тогда я арестовал его, приставил к нему полицейского офицера, который не должен

был выпускать его на улицу, и объявил портному, что он будет в ответе за всякое нарушение безопасности иностранцев; затем я послал фельдшера, который пустил ему кровь, – и он успокоился. Люди, завербованные этим портным, видя своего предводителя в заключении, уже не думали предпринимать этой ночной экспедиции, которая кончилась бы страшной резней и мятежом. Получив подобное доказательство тому, до какой степени народ был взволнован, я – для того чтобы успокоить его и усыпить его ярость – приказал полиции представить мне список тех 40 человек иностранцев, которые были замечены по своим неуместным речам и по дурному поведению. Я приказал арестовать их, и они среди белого дня были посажены на барку, отвезшую их в Нижний Новгород под надзор полиции. По Москве я объявил, что то были иностранцы подозрительного свойства, которые удаляются согласно просьбе их соотечественников – людей честных. Мера эта, вынужденная обстоятельствами, спасла жизнь помянутым 40 пловцам, потому что, вероятно, они ушли бы вслед за армией Наполеона и погибли бы во время ее отступления.

Два купца, беседовавшие ночью у открытого окна нижнего этажа, услышали на улице спор между собой каких-то двух людей. Один из спорящих заявлял, что пора поджечь некоторые московские кварталы, ударить в набат и начать грабеж. Другой возражал, что надо обождать известий о сражении, которое должно произойти, и что к тому же теперь полная луна. Купцы, услыхав такие речи, выскочили из окна, бросились за заговорщиками и успели схватить одного из них. Его привели ко мне в полночь: то был мелкий московский мещанин, торговавший по деревням вразнос. Сначала он заперся во всем и даже жаловался на произведенное над ним насилие. Тогда я ввел его в мой кабинет и там, без свидетелей, отсчитав 500 руб. ассигнациями, положил их на стол. Потом я поклялся этому человеку перед образом, что ничего дурного ему не сделаю, кроме разве высылки из города, и что он получит эти 500 руб., если откроет мне заговор и назовет соучастников. Он держал меня в недоумении битых два часа. Он хотел сознаться, но не доверял мне, постоянно повторяя: «Хорошо, я-то скажу, да вы мне денег этих не дадите, и я тогда пропал». Наконец, я объявил ему, что если он не хочет быть спасенным и получить обещанную сумму, то я предам его в руки полиции и что через четверть часа его подвергнут пытке. Он сдался и объявил, что их всех с дюжину человек, что они намеревались сделать поджог, ударить в набат и во время общего переполоха и суматохи пойти грабить самые богатые магазины. Товарищ, говоривший с ним на улице, был вольноотпущенный дворовый человек. Напали и на его следы и успели его поймать на некотором расстоянии от города; но он успел предупредить других своих товарищей, которые и убежали. Успели захватить лишь троих. Они были посажены в острог, а затем усланы вместе с другими преступниками. Что касается того человека, который открыл заговор, то он получил 500 руб. и уехал в Оренбург, где, однако, был оставлен под наблю-

дением. Так как в замыслах о поджоге играл роль и набат, то надо было лишить злонамеренных людей такого средства распространять тревогу. Ранним утром отправился я к архиерею для совещания о принятии необходимых мер. Он послал строгое приказание священникам: хранить ключи от колоколен у себя и снять веревки, протянутые к их домам от колокольни, чтобы звонить к утрене и вечерне; но так как двери у многих колоколен были в плохом состоянии, то я и поручил это дело всем моим квартальным надзирателям, и в течение дня 93 такие двери были исправлены и снабжены запорами. Я был доволен, а город остался спокоен, потому что не знал о заговоре поджигателей и не понимал причин моей заботливости о дверях и запорах московских колоколен.

За три дня до вступления неприятеля в Москву мне дали знать, что некий Наумов, из мелких дворян, занимавшийся хождением по делам и справедливо пользовавшийся дурной репутацией, подговаривал дворовых людей и указывал им, куда следует собираться, когда настанет время грабить. Он записал уже более 600 человек. Когда я приступил к расследованию дела, мне, между прочим, сообщили, что он хвалился, что сам убьет меня. Этот господин был дурно ко мне расположен, потому что я не хотел дать ему места при директоре моей канцелярии. Я послал арестовать его, но он бежал, оставив меня в живых и обладателем списка негодяев, которые должны были грабить город под его начальством.

Был, однако, один случай, который уже под самый конец чуть было не испортил всего, что было мною сделано для поддержания спокойствия в Москве. Два немецких ремесленника, очень плохо говорившие по-русски, заспорили с одним менялой и имели глупость сказать ему: «Полно торговаться! через несколько дней мы у вас заберем эти деньги даром». От ругательств дело перешло к драке, и оба немца поплатились бы жизнью за свои неосторожные слова, но, на их счастье, нашелся там полицейский офицер, который взял этих иностранцев под свою защиту. Он остановил наиболее озлившихся из черни и хотел вести обоих немцев ко мне, но народная толпа противилась этому и кричала: «Наш граф (так они звали меня) оправдает их, и они не будут наказаны; пусть лучше нам дадут расправиться со шпионами!» Полицейский дал знать об этом событии обер-полицеймейстеру, который счел за более верное и более для себя удобное доложить об этом мне. Я был дома и тотчас же решился отправиться на место беспорядка. Я держался правила – никогда не поблажать толпе, иначе она мгновенно теряет к вам уважение. В ее глазах добродушие есть слабость, а потому при поблажке делаешься рабом такого господина, который сам никогда не знает, что делать, и очень редко понимает, что требует. Прибыв к въезду в улицу, ведшую к лавкам, где происходила помянутая сцена, я нашел ее наполненной народом. Я остановился, а затем пошел вперед один, приказав полицеймейстеру и обоим ординарцам оставаться на месте. Мне очистили дорогу, и я свободно дошел до места свалки, где увидел обоих немцев, си-

дящих на тротуаре перед лавками и, по-видимому, сильно помятых. Полицейский офицер стоял впереди, заграждая их собственным телом. Крик был сильный. Но по данному мною знаку толпа замолкла. Я принял строгий вид и, обратясь к народу, спросил, по какому праву они творят самосуд и убивают людей, которые по-русски объясняться не умеют? Никто не отвечал; все стояли сняв шапки. Как вдруг какой-то молодой человек, по костюму судя – мелкий торгаш, стал очень резко говорить мне: «Да пора уж народу самому расправляться, так как вы отдаете его на жертву мошенникам-иностранцам». Так как он стоял очень близко от меня, то ответом моим была здоровенная зуботычина. Он зашатался, а я крикнул: «Живей привести ко мне штукатура с известкой, чтобы он замазал этот богохульный рот!» Толпа раздвинулась, и человек, ко мне обращавшийся, поспешно ушел. Тогда я приказал полицейскому отвезти обоих немцев на извозчике в больницу, что и было исполнено без малейшей помехи. Оставшись господином поля битвы, я прочел внушительное наставление народной толпе, которая сознавалась, что виновата, прибавляя, что не знает, кто так разбуянился, и прося меня помиловать того парня, которого я ударил. Я простил его, но сам при этом превозносил мое великодушие и прекратил все дело, оставшись весьма довольным, что оно разрешилось таким образом.

* * *

Так как государь император при отъезде своем говорил мне, а потом и писал, что не замедлит возвратиться в Москву, то я осмелился отсоветовать ему предпринимать это путешествие, поставляя ему на вид, что только выигранное сражение, которое заставило бы неприятеля отступить, может спасти Москву от вражеского нашествия, что кн. Кутузов приближается к ней с каждым днем и вскоре не будет в состоянии защитить ее и что в этом случае присутствие государя было бы в ней неуместным и обрекло бы его на то, чтобы быть свидетелем занятия своей столицы, не имея средств воспрепятствовать этому. Совета моего послушались. Я считал и продолжаю считать, что поступил как подобает верному слуге, ибо надо признаться откровенно, что с самого начала этой войны чем более неприятель занимал областей, тем сильнее возрастали мои опасения насчет того, как бы не согласились заключить мир и с одним почерком пера утратить доверие России, а вместе с тем и самую Россию. Можно предполагать, что если бы государь находился при армии, то после Бородинского сражения, желая спасти столицу, он оказался бы склонным к выслушиванию предложений врага, замышлявшего его гибель. Потому что враг отнял бы у него значение в Европе сначала предписанием постыдного мира, а потом возбуждением смут и раздоров в стране. Через несколько лет тот же враг пришел бы довершить свое дело и разделить остатки России, подвергнув ее той же позорной участи, какая постигла Польшу. Притом Наполеон, может быть, восстановил бы удельных князей или же поделил бы провинции между своими генералами или какими-нибудь знат-

ными лицами русского происхождения, в виде награды за их предательство и подлость. Хотя нарушение присяги на верность своему государю, переход в ряды противника и содействие его интересам считаются верхом гнусности, но тот же человек, который станет резаться с другим за обозвание его лжецом, оказывается часто глухим к голосу чести и нарушает свои священнейшие обязанности, как только гнусная приманка материальных интересов ослепит его. Однако, предполагая даже возможность всех таких событий, я убежден, что и в лоскутьях Русской империи Наполеон встретил бы не одну Испанию. Дворянство притворялось бы перед ним, духовенство ненавидело бы его, а народ посвятил бы себя смерти и уничтожению своих врагов. Народ этот – лучший и отважнейший в мире – нашел бы бесконечные ресурсы в обширности страны, им обитаемой, в ее климате и даже в ее бедности. Удалось бы покорить часть страны, но никогда не удалось бы укротить ее, и в конце концов эта разрушительная борьба опрокинула бы могущество Наполеона и Россия вышла бы цельною из своих развалин.

Кн. Кутузов, прибыв в Гжатск, потребовал у меня продовольствия для армии, которая теперь находилась в стране, где не было заготовленных магазинов и где даже лучший урожай не может прокормить жителей в течение полугода. Хлеб уже созрел, но какая же была возможность заниматься его уборкой в присутствии двух армий, которые все опустошали: одна – для того чтобы существовать, другая – для того чтобы отнять у противника средства к существованию. Однако в губернских магазинах была мука. Я скупил все, что имелось в Москве, и учредил комиссию, которая на другой же день начала свою деятельность. Хлебопеки пекли хлеба, другие разрезали его на кусочки, высушиваемые в печах, нанятых и употреблявшихся исключительно для этого дела беспрерывно, в течение дня и ночи. Каждое утро обоз в 600 телег отвозил сухари и крупу в армию, и такого рода продовольствование 116 тысяч человек продолжалось до дня, предшествовавшего вступлению неприятеля в Москву.

Мною было решено, что прибытие нашей отступающей армии в Гжатск должно служить сигналом к вывозу из Москвы всего, что должно было быть оттуда увезено. Не понимаю до сих пор, каким образом все это дошло в указанные места и как не встретилось препятствий в недостатке переменных лошадей! Кроме дел судебных, сенатских, военных комиссий и архива Министерства иностранных дел, пришлось увозить заведения ведомства императрицы-матери, государственную казну, патриаршую ризницу, сокровища соборов, Троицкого и Воскресенского монастырей да еще 96 пушек 6-фунтового калибра. Все это вывезено в течение двух дней и направлено в Нижний, Казань и Вологду.

Приходилось глядеть сквозь пальцы на совершавшиеся при этом злоупотребления. Чиновники требовали тройное число лошадей и повозок. Я встретил несколько таких обозов при их выезде из города и видел телеги, нагруженные дрянной мебелью, неизвестно кому принадлежавшей, но которую хотели спасти. Открыто было, что многие из мелких чиновников отдавали

внаймы повозки, назначенные для их собственного употребления. Каждое утро я поднимал шум и достиг-таки того, что уменьшил наполовину число требуемых повозок. Необходимо было, чтобы все совершалось правильно, потому что по окончании распределения подвод и назначения дней отъезда давалось о том сообщение нижегородскому и владимирскому гражданским губернаторам, дабы они своевременно распорядились выставлением на границе своих губерний достаточного для каждого транспорта числа лошадей. Независимо от лошадей, я велел приготовить в Коломне такое количество больших судов, какое только можно было собрать для перевозки водою в Нижний Новгород Государственного казначейства и сумм приказа Общественного призрения, принадлежавших Воспитательному дому. Из числа этих больших судов 10 были мною оставлены для перевозки раненых, находившихся в трех больших московских госпиталях. Все прибыло в порядке, ничего не потерялось. Только военная комиссия и главная аптека ничего не спасли, по глупости генерал-лейтенанта Татищева, который, теряя время и предоставляя распоряжаться чиновникам, дождался того, что несколько барок с холстом были захвачены неприятелем; а потом он послал в военную коллегию рапорт, куда вписали на 2 миллиона вещей, которые даже не были еще сданы и которых обозначили попавшими в руки неприятеля по причине спада вод.

По мере приближения кризиса, т.е. сражения, о котором Кутузов продолжал возвещать, эмиграция дворянства все усиливалась. Я велел представить себе список экипажей, выезжавших через заставы: Ярославскую, Петербургскую, Владимирскую и Рязанскую, и оказалось, что число берлин, карет, бричек, колясок доходило до 1320 в один день, причем в исчисление это не входили туземные повозки, называемые кибитками и запрягаемые тремя лошадьми в ряд. Купцы еще держались, и им более тяжело было покидать город, где находились их дома, имущество и торговля. Те, у которых товар был небольшого веса, платили до 8 руб. с пуда при перевозке в Ярославль или в Муром – два города, отстоящие на 240 верст от Москвы. Но торговцы железом и медью принуждены были оставлять весь свой товар в лавках, так как стоимость его была ниже стоимости перевозки. Многие из знакомых мне богатых купцов приезжали ко мне на дачу, чтобы справиться, там ли еще моя жена и мои дети, и присутствие оных успокаивало этих купцов относительно приближения опасности. В последние четыре дня перед занятием Москвы платили до 800 руб., вместо 30–40, за переезд на 250 верст во внутренность страны. Цена непомерная! – но ее приходилось платить, чтобы избавиться от позора и спасти жизнь ценою имущества.

* * *

Проснувшись утром 24 августа, я получил уведомление, что атаман [М.И.] Платов остановился у меня. От него я узнал, что он прибыл в Москву, дабы иметь более средств для посылки приказаний казакам, от которых тре-

бовалось поголовное вооружение. Он принимал и отправлял многих курьеров, а после обеда представился купцам и мещанам, которые в числе около 1000 человек пришли посмотреть на него. Он им наболтал с три короба; объявил, что, по своим знаниям астрологии, уверен в победе, что приехал помолиться московским угодникам, но что вечером опять уедет в армию. Эти люди считали его знахарем и имели высокое понятие о его способностях и отваге. Они называли его настоящим «патриотическим патриотом». Вечером, когда я сошел вниз к чаю, прибыл ко мне нашей службы подполковник барон, или граф, Лезер, вручивший мне письмо от генерала Барклая. Это тоже был господин из числа подозрительных, которого меня просили услать куда-нибудь подальше в глубь страны. Пока я писал письмо гражданскому губернатору Оренбурга, куда отправлял этого г. Лезера, он, находясь в соседней комнате, завязал ссору с атаманом Платовым. Последний упрекал его за поведение и спрашивал, известно ли ему приказание, которое он отдал на его счет по казачьим аванпостам, где, если бы он показался, его велено убить. Я положил конец этой скандальной сцене, объявив г. Лезеру, что он должен сию же минуту ехать в Пермь в сопровождении полицейского драгуна. Он разгорячился и стал меня спрашивать, по какому праву я его отсылаю. Тогда я дал ему прочесть письмо ген. Барклая, а чтобы убедить его в том, что его путешествие не есть шутка и что он напрасно передо мною забывается, я приказал моему адъютанту взять у него шпагу, и через пять минут после этого он уже скакал по большой дороге.

Прибыв к Колоцкому монастырю, Кутузов оставался там два дня и избрал позицию позади села Бородина, чтобы там дать сражение Наполеону. Он вступил уже в пределы Московской губернии и находился от столицы в расстоянии всего 112 верст. Он уступил настояниям генералов и раздражению солдат, которые в разговорах своих обвиняли его в том, что он хочет отдать неприятелю Москву без боя.

Не стану распространяться об этом сражении, где обе стороны дрались с одинаковым ожесточением: русские, чтобы защитить свою столицу, а солдаты Наполеона, чтобы овладеть ею. Не берусь решать, был ли Наполеон в этот день великим или малым, или непохожим на самого себя, но – оба главнокомандующие могли бы избавить род человеческий от этой бойни и сохранить в своих рядах более 90 000 человек, выбывших из строя. Наполеон, следуя по старой Калужской дороге, вступил бы в Москву неделею позже, но с армией более сильной на 52 000 человек, которые были убиты или переранены под Бородиным; а Кутузов, с 116 000 (из коих потерял 30–40 тысяч), стал бы на новой Калужской дороге и не подвергся бы три или четыре раза опасности быть раздавленным. Единственными двумя выгодами, которые Россия извлекла из этого сражения, были: 1) почти окончательное уничтожение французской кавалерии, сильно уже расстроенной походом и недостатками в фураже, и 2) впечатление, произведенное прибытием и рассказами раненых офицеров, разъехавшихся по всем губерниям, где у них были имения или

родственники. Это примирило с военными народ, зараженный столичными сплетнями, которые приписывали измене отступление наших войск и обвиняли их в трусости.

Люди, раненные при взятии Смоленска, ежедневно прибывали ко мне тысячами. Уход за ними был хороший. Однажды утром, когда я посетил госпиталь, один из хирургов просил меня уговорить какого-то гренадера, раненного в ногу так, что только ампутация могла спасти его. Этот гренадер – человек 36 лет, с мужественною и благородною наружностью – не хотел слушать моих советов и увещаний. Он отвечал мне: «Зачем вы хотите, чтобы я жил? Мне надо умереть, потому что мы не могли отстоять Смоленска». Он так твердо решился умереть, что мои настояния не имели удачи; но я поручил одному весьма красноречивому священнику поговорить с ним – и тому удалось уговорить его. Ему отрезали ногу, я его видел потом два или три раза, и он поправлялся.

Во время сражения при Бородине Кутузов прислал мне курьера, отправленного в 4 часа пополудни с письмом, по которому казалось, что он доволен успехами нашего оружия. Курьер сообщил мне, что король Неаполитанский Мюрат взят в плен, что очень порадовало московских обывателей. Впоследствии оказалось, что то был генерал Лами[3], который назвал себя Мюратом, когда его брали в плен. Сам Кутузов находился в заблуждении до тех пор, пока Лами, приведенный к нему с почетом, подобающим пленному величеству, не сознался в истине. На другой день, в 8 часов утра, я получил от Кутузова второе письмо, где, слегка упомянув о сражении, будто бы выигранном накануне, он говорил о своей решимости возобновить бой и умолял меня прислать как можно более повозок для перевозки раненых, а также сколь возможно более пушечных зарядов и ружейных патронов. Все это было отправлено к нему в продолжение двух часов времени. Я написал краткую записку министру полиции, в которой говорил, что ничего не постигаю в этой победе, так как армия наша была на пути в Можайск. Я узнал об этом от курьера, который, торопя меня отпустить его, имел неосторожность сболтнуть, что наши войска находятся в Можайске, т.е. в 10 верстах позади поля сражения. Кутузов рассчитывал, что курьер при быстром переезде прибудет в Петербург 30 августа, т.е. в день тезоименитства государя, и реляция его поднесется в виде букета. В этой реляции, напечатанной и обнародованной, он говорил, что позиции наши были атакованы безуспешно, что неприятель был отброшен и преследуем атаманом Платовым с его казаками на расстоянии 11 верст до Колоцкого монастыря и что с рассветом он снова двинется в атаку со всей армией. Обман этот так хорошо удался ему, что он был произведен в фельдмаршалы; всем родственникам его оказаны высочайшие милости, а солдаты получили по 5 руб. на человека. Я уверен, что не так сильно радовались бы этой победе, если б государь тотчас же уз-

[3] Точнее, Бонами, взятый в плен на батарее Раевского.

нал о записке моей к министру полиции; но курьер под предлогом, что его долго задержали во дворце, передал мою записку по назначению уже гораздо позже полудня, и я имею основание думать, что он на этот предмет имел маленькую инструкцию от кн. Кутузова. Делая его фельдмаршалом, думали этим наградить храбрость армии, потому что он сам по себе даже не имел возможности видеть того, что совершалось, так как находился за холмом, на расстоянии одного лье от поля сражения. Он полагал, может статься, что от сохранения его персоны зависит спасение России.

День сражения, 26 августа ст[арого] ст[иля], проведен был Москвою в сильном беспокойстве. У городских застав можно было слышать пушечный гром, а в окрестностях, с подветренной стороны, гром этот разносился на расстояние 30 лье.

На другой день после сражения я получил множество известий и мог теперь вполне знать, в чем дело. Эта важная победа над Наполеоном сводилась к одной из самых геройских оборон. Генералы, офицеры и солдаты дрались как львы. Но неприятель, имевший значительное превосходство в числе войск и сильные резервы у Колоцкого монастыря, к вечеру занял некоторые из наших батарей на крайнем левом крыле и удержался на них […]. Армия наша, ослабленная на одну треть, с рассветом другого дня стала отступать, оставив на поле сражения своих убитых и раненых.

Я узнал имена убитых и раненых генералов. Более всех интересовал меня генерал-майор гр. Воронцов; пуля пробила ему ляжку, и, если бы не сила и здоровье его организма, он умер бы вследствие своей раны. Деятельность и способности его как в военное, так и в мирное время хорошо доказали впоследствии, что Россия много потеряла бы в этом молодом человеке, единственном сыне почтенного отца, который играл важную роль в военной службе и в дипломатии, оказывал выдающиеся услуги своим государям и часто преподавал им уроки. Я с молодых лет привязан был к нему с чувством глубокой благодарности, а смерть сына свела бы и отца в могилу. Свояк мой, генерал-майор [И.В.] Васильчиков, вышел счастливо из этого боя. Три лошади под ним было убито, одна ранена пятью пулями, картечь попала в его одежду, но сам он получил лишь легкую контузию в ногу. Мой сын, – один из трех адъютантов ген. Барклая, не выбывших из строя, – был довольно сильно контужен ядром в руку. Девять его товарищей были убиты или ранены.

Многие из моих знакомых являлись ко мне просить карет для перевозки в Москву их близких родственников, раненных в сражении. Часть их прибыла на 3-й день, и в том числе кн. Багратион. Я поспешил к нему: он был в полном сознании, страдал ужасно, но судьба Москвы не давала ему ни минуты покоя. Кость его ноги была разбита повыше щиколотки, но сделать ему немедленную ампутацию не рискнули, так как ему было уже около 50 лет и кровь у него была испорченная. Когда утром того дня, в который Москва впала во власть неприятеля, я приказал объявить ему, что надо уезжать, он написал

мне следующую записку: «Прощай, мой почтенный друг. Я больше не увижу тебя. Я умру не от раны моей, а от Москвы».

Однажды утром мне доложили, что подполковник нашей службы принц Гессен-Филипстальский, который был ранен под Можайском и которому отрезали ногу, находится у меня на дворе. Он лежал в коляске и не хотел, чтобы его перенесли в комнату. На другой день, согласно его желанию, он отправился в Ярославль, чтобы воспользоваться заботливостью находившегося там принца Георгия Ольденбургского.

Кутузов умолял меня добыть ему 500 лошадей для перевозки артиллерии. Приказано было привести всех лошадей с извозчичьих дворов и от барышников, и в присутствии экспертов из их же числа и из купцов выбрано было 500 лошадей, за которых требуемая цена тотчас же была уплачена. Лошади эти обошлись в 132 тысячи руб., а по прибытии в Главную квартиру – более половины их сделалась добычей тех, кому они были нужны.

В это же самое время случилось одно происшествие, доказывавшее, что надежда никогда не покидает человека и располагает народ к легковерию. Пришли мне доложить о большом столплении людей около одной очень высокой колокольни, находившейся на краю города, и что повиснувший на кресте оной сокол привлекает внимание всего народа. Я отправился туда не столько из любопытства, сколько для того, чтобы разогнать народ, который всегда склонен выкинуть какую-нибудь глупость, когда соберется толпою. Я застал сборище человек в 1000, глазевшее на несчастного сокола, который, имея путы на ногах, как все соколы, которых дрессируют для охоты, опустился на крест и не мог от него отцепиться. Какой-то прохожий его заметил, обратил на него внимание других, – и вот тысяча зевак остановилась тут, чтобы насладиться зрелищем, которое, по объяснению самых ученых между ними, предрекало торжество над неприятелем; потому что, – говорили они, – сокол преобразует Наполеона, погибающего на кресте. Я стал поддакивать этой бедной толпе, и, таким образом, сокол явился лучом надежды для дураковых людей, которые никогда не обретаются в меньшинстве.

После Бородинского боя я уже перестал прибегать к разным маленьким средствам для занятия и развлечения умов в народе; да и надо признаться, что все средства уже были истощены. Тяжелая работа для ума придумывать, чем бы можно произвести впечатление на массы, тем более что и успех сомнителен. Тончайшие соображения часто оставались бесплодными, между тем как самые пошлые выдумки оказывали действие необычайное. Наиболее распространилась по России, среди простого народа, сказочка в моем вкусе, которой в одно утро я приказал напечатать 5 тысяч экземпляров и продавать по грошу штуку. В ней я описывал встречу митрополита Платона с престарелым иноком, который почтительно приблизился к нему за благословением и, сказав, что возвратился сражаться в русских рядах, исчез в глазах всех присутствовавших, оставив по себе сияющий след. И надо заметить, что св. Сергий, бывший монахом в Троицком монастыре, где и покоятся его мощи, сра-

жался в войсках Дмитрия Донского[4] против орды татарина Мамая и остался победителем.

Курьеры с письмами от кн. Кутузова приезжали ко мне по несколько раз в день. Он всякий раз чего-нибудь требовал, и требуемое посылалось ему без потери времени. Он желал, между прочим, чтобы я употребил мой единственный и плохой гарнизонный полк для захвата мародеров и дезертиров и для воспрепятствования им входа в город, забывая, что город этот был без рвов, без стен и имел в окружности 42 версты. Сделан был еще опыт с небольшим пробным аэростатом, но у него тоже пружины не выдержали. Тогда я велел шарлатану Шмидту убрать свой большой тафтяной шар и отправить его вместе с рабочими в Нижний Новгород, сам же он остался еще в Москве.

* * *

29 августа Москва была поражена ужасом, когда ночью увидела отблеск наших бивачных огней в расстоянии 40 верст от города. Этот свет открыл и остальным жителям глаза на ту участь, которая их ожидала. Простонародье собралось в путь, оставляло город, куда вскоре готовились вступить враги. Проявилось тут и несколько комичных патриотических выходок: одна дама явилась ко мне с предложением составить эскадрон амазонок; актеры русской труппы хотели собственными силами защищать столицу и пришли к ген. Апраксину, отдавая в его распоряжение силу своих мышц и свое доброе намерение. Однако он отказался от этого почетного поста и не пожелал обессмертить себя с 20 театральными героями в римских костюмах.

Однажды, встав от обеда, мы наткнулись в одной из наших гостиных на зрелище, которого никто не ожидал. Там собралось человек 20 раненных при Бородине офицеров, пришедших ко мне за получением денег. Они намеревались отправиться в разные места, довольно отдаленные, чтобы там лечиться. Большая часть их не могла держаться на ногах; одежда их была испещрена кровавыми пятнами; одни опирались на костыли, у других рука была подвязана. Один молодой поручик привлек на себя общее внимание: воротник его был измят; он был контужен так сильно, что ежеминутно харкал кровью. Я снабдил их необходимыми для путешествия деньгами и от души пожелал им выздоровления. Я заметил и дал заметить другим, что, несмотря на страдания, все они держали себя с полным достоинством и жалели лишь о необходимости оставить армию.

30 августа я приказал закрыть судебные учреждения и чиновникам отправиться в Нижний Новгород. Оставался еще Сенат, где продолжались заседания сенаторов, бывших налицо. Трое из сенаторов принадлежали к обществу мартинистов: 1) Лопухин, тот самый, который был сослан при императрице Екатерине в эпоху рассеяния названной секты. Этот Лопухин, че-

[4] Не совсем так. Св. Сергий Радонежский, о котором здесь идёт речь, послал с Дмитрием Донским двух иноков – Ослябю и Пересвета; оба пали на Куликовском поле.

ловек малоспособный, но образованный, сделался пьяницей; он задолжал всем и никому не платил, а в то же время все доходы свои употреблял на раздачу милостыни – не из любви к ближнему, а из тщеславия; 2) Рунич, весьма сильно увлеченный мартинизмом и человек умный; 3) Кутузов, племянник фельдмаршала, – личность крайне пошлая, стихотворец, пьяница, погрязший в долгах, доносчик и склонный, по личным вкусам, быть шпионом и говоруном своей секты. Эти три господина сговорились между собой послать депутацию в Главную квартиру армии, чтобы узнать от главнокомандующего, не находится ли Москва в опасности, а также чтобы пригласить в Сенат меня для получения сведений относительно средств обороны и относительно тех мер, которые я полагаю предпринять в настоящих обстоятельствах. Все это было игрою самолюбия, при которой Московский Сенат претендовал на присвоение себе верховных прав. О планах их я узнал в тот же день, а также и о том, что помянутые три сенатора-мартиниста намеревались уговорить своих товарищей не покидать Москвы, окрашивая такой поступок в чувство долга и в самопожертвование для отечества по примеру римских сенаторов во время вступления галлов в Рим. Но намерение их состояло в том, чтобы, оставшись, играть роль при Наполеоне, который воспользовался бы ими для своих целей. А к несчастью, Сенат, который есть не более как верховное судилище, играет важную роль в умах народа, как по древности, так и по названию «правительствующий», – хотя состав его далек от того, чем был прежде, вследствие слишком большого числа сенаторов, также выбора их, потому что назначают в их число или плохих генералов, или людей, с которыми не знают, что делать; так что сенаторское кресло служит переходным местом от действительной службы к чистой отставке. Я считал очень важным не оставлять в городе ни одного сенатора, дабы лишить Наполеона возможности действовать на внутренность страны посредством указов или прокламаций, исходящих от Сената. Я решился поэтому на меру, которую в то время, да и потом, находили поступком самовластным. 30-го числа, когда сенаторы, – как честные, так и мартинисты, – совещались, ничего не решая, относительно сообщений, которые следует послать мне, и о депутации, предполагаемой к отправлению в Главную квартиру, – один из моих адъютантов принес им от меня послание, в котором я, именем государя, предлагал им прекратить заседание, избрать который-либо из губернских городов, куда им отправиться, и уезжать безотлагательно. Приходилось повиноваться, так как не осталось выбора между послушанием и мятежом. Большая часть сенаторов была довольна таким распоряжением, так как оно открывало свободный выезд и полагало конец их затруднительному положению. Так как мои три мартиниста не имели в себе ничего древнеримского, то и они повиновались, и на другой день последний из них выехал за московскую заставу. Таким-то образом я отнимал у Наполеона страшное орудие, которое в его руках могло бы возбудить нерешительность и парализовать энергию во внутренних областях империи, поставить их в такое положение, что они не знали бы, кого

слушаться. Из предосторожности относительно сенаторов-мартинистов я говорил нескольким лицам – с тем чтобы это дошло и до них, – что в случае неповиновения я отошлю в Петербург под надежным конвоем того из сенаторов, который будет упорствовать и оставаться в Москве.

В те же сутки я был разбужен ночью гонцом от Кутузова, с которым сообщалось мне, что Наполеон выслал от своей армии отряд, который направился к Звенигороду; при этом он выражал в своем письме надежду, что одних обывателей Москвы будет достаточно, чтобы наказать неприятеля в случае, если бы тот захотел забраться в столицу. Это походило на дурную шутку, так как Кутузов очень хорошо знал, что Москва почти пуста и что в стенах ее оставалось не более 50 тысяч человек. Я ничего не отвечал ему и, в первый еще раз, озаботился о спасении своего семейства. Я велел все приготовить для отъезда, и при пробуждении моей семьи кареты уже были запряжены, а в 11 часов моя жена и три дочери уехали в Ярославль. Прощание наше было страшно тягостно: мы расставались, может быть, навсегда, а представлявшаяся нам страшная будущность отравляла даже самую мысль о счастии вновь соединиться.

Призвав к себе поутру главного управляющего винными магазинами откупа, я объявил ему, чтобы он прекратил отпуск водки по кабакам и что если я на другой день найду хоть один стакан водки, то повешу его у дверей кабака. Приказание это было в точности выполнено, так как управляющий был более чем кто-нибудь заинтересован в том. Полиции я приказал запереть вечером все кабаки и выгнать целовальников[5]. К мере этой я должен был прибегнуть вследствие появления огромного числа мародеров, дезертиров и мнимораненых, которые со всех сторон прибывали в город; а одна уже приманка выпивки привлекла бы часть армии, которая и без того уже была слишком дезорганизована, и тысячи солдат, которых нельзя было сдержать силой, начали бы грабить город и, может быть, даже зажгли бы его прежде прохода нашей армии.

В эту ночь, как и в предшествовавшую, можно было очень хорошо видеть отблеск бивачных огней, как наших, так и неприятельских. Огни эти наполняли смущением сердца тех, которые оставались в Москве, и освещали безмолвное шествие выходивших оттуда людей.

После отъезда моей семьи я перебрался в свой городской дом. На другой день я выехал из Москвы в 6 часов утра, чтобы повидаться с кн. Кутузовым и посовещаться с ним. Для меня важно было знать, что хочет делать этот человек, потому что в письмах своих он мне говорил лишь о том, что ген. Беннигсен объезжает местность для избрания выгодной позиции, на которой можно было бы дать еще одно генеральное сражение. Я проехал две улицы, и на протяжении ½ лье мне пришлось пробираться промеж двух рядов повозок, переполненных ранеными, и еще огромная толпа таковых же шла пешком,

[5] То есть торговцев вином в питейном заведении, кабаке.

направляясь к главному госпиталю. Это было чрезмерное приумножение раненых, потому что в этот же самый день, по рапорту коменданта, число их превышало 36 тысяч.

Наша армия только что прибыла на гору, называемую Поклонной, и остановилась на Большой Смоленской дороге, в расстоянии одного лье от заставы. С первого же взгляда я заметил большое смятение. Я нашел кн. Кутузова сидящим и греющимся около костра; он был окружен генералами, офицерами генерального штаба и адъютантами, прибывшими со всех сторон и испрашивавшими приказаний. Он отсылал тех и других то к ген. Барклаю, то к Беннигсену, а иногда к квартирмейстеру, полк[овнику] Толю, бывшему его фаворитом и достойным его покровительства. Кутузов встретил меня чрезвычайно вежливо и отвел в сторону, так что мы оставались наедине, по крайней мере, с полчаса. Тут-то мне впервые случилось беседовать с этим человеком. Беседа оказалась весьма любопытная, в отношении низости, нерешительности и трусливости начальника наших армий, который должен был быть спасителем отечества, никогда ничего не сделал и, несмотря на то, был почтен этим славным прозвищем.

Он объявил мне, что решился на этом самом месте дать сражение Наполеону. Я заметил ему, что местность позади позиции представляет довольно крутой спуск к городу, – что если несколько потеснят линию наших войск, то они вперемежку с неприятелем войдут в улицы Москвы, – что вывести оттуда нашу армию не будет никаких средств и что он рискует потерять ее всю целиком. Он все продолжал уверять меня, что его не заставят сойти с этой позиции, но что если бы по какому-либо случаю должен был отступить, то направится на Тверь. На замечание мое, что там не хватит продовольствия и что найти его можно лишь в Белой (пристань в ...верстах[6] от Москвы, от которой отправляют хлеб в Петербург), у Кутузова вырвались слова: «Но ведь надо прежде всего позаботиться о севере и прикрыть его». Он имел в виду резиденцию императора и не обращал внимания на две вещи: 1) что если бы гр. [П.Х.] Витгенштейн был разбит, то Сен-Сир достиг бы Петербурга ранее, чем Кутузов, и 2) что Наполеон не мог иметь намерения, заняв Москву, предпринимать в сентябре шестинедельный поход для того, чтобы овладеть Петербургом в конце октября, и что, следуя по Тверской дороге, Кутузов оставлял бы все подкрепления позади и делал бы неприятеля хозяином всей страны до самого Черного моря. Я спросил, не думает ли он стать на Калужской дороге, по которой направляются все подвозы из внутренних губерний? Он отвечал мне уклончиво, и причиною тому было, что корпус Неаполитанского короля после Бородинского боя двинулся в означенном направлении, а он избегал встречи с ним. Он стал разговаривать о битве, которую готовится дать, прося, чтобы я через день приехал к нему с архиереем и обеими чудотворными иконами Богомате-

[6] Пропуск в рукописи.

ри, которые он хотел пронести перед строем войск; впереди должны были идти священники, читать молитвы и кропить воинов святой водой. Затем он просил меня прислать ему несколько дюжин бутылок вина и предупредил, что завтра еще ничего не будет. «Потому что, – прибавил он, – я знаю методу Наполеона: сегодня вечером он остановится, даст своим войскам день для отдыха, послезавтра произведет рекогносцировку, а на следующий день начнет против меня атаку».

Мы вернулись с ним к костру, где собравшиеся генералы спорили между собою. [Д.С.] Дохтуров, который должен был командовать левым крылом, пришел объявить, что нет возможности провезти артиллерию по причине обрывистых речных берегов и крутой горы. Я заговорил с Барклаем, и он сказал мне: «Вы видите, что хотят делать; единственное, чего я желаю, это – быть убитым, если сотворят такое безумие и станут драться там, где мы теперь стоим». Беннигсен, которого я не видал со дня смерти императора Павла, тоже подошел, чтобы поговорить со мною. Я преодолел отвращение, внушаемое мне Беннигсеном, и узнал от него, что он не верит в сражение, возвещаемое Кутузовым, что они сами не знают, сколько у них людей под ружьем, и что за отступлением, которое являлось необходимым, последует занятие Москвы неприятелем. Солдаты глядели угрюмо, офицеры – уныло; бестолковщина была повсюду, всякий совался со своим мнением или спорил со всеми.

Накануне вечером Кутузов просил у меня присылки шанцевого[7] инструмента; я послал ему полные 10 телег, но офицер, имевший поручение сдать их, пришел доложить мне, что никто не хочет их принимать. Через полчаса он опять явился испрашивать моих приказаний, так как нашел телеги без лошадей, отобранных силой. Не зная, к кому обратиться, чтобы просить о возвращении лошадей, я приказал офицеру бросить и телеги, и инструменты и вернуться со своими людьми в Москву пешком.

Я просил у Барклая позволить моему сыну проводить меня в город. Я надеялся доставить ему один день отдыха. Он страдал от контузии, полученной в руку и, по-видимому, был одним из числа тех, которые тоже не верили в сражение.

Я отправился к архиерею, чтобы сообщить ему о желании Кутузова, т.е. чтобы он отправился к войскам крестным ходом с образами Богоматери, чтобы священники пели молитвы и кропили войска святой водой перед сражением. Сообщение это пришлось не по вкусу владыке.

– Но куда же я пойду после молебна? – спросил он меня.

– К вашему экипажу, – отвечал я, – в котором вы отъедете от города, ожидая исхода битвы.

– А если она начнется прежде, нежели я кончу? Я ведь могу попасть в эту сумятицу, и меня могут убить.

---

[7] То есть сапёрного.

Чтобы его успокоить, я ему высказал мое убеждение, что сражения не будет; но советовал быть готовым на всякий случай.

Когда я сел за стол, то заметил, что у меня одного был кусок белого хлеба. Причиной тому было то, что все булочники оставили Москву. В 4 часа кн. Кутузов прислал мне письмо, которым предписывал послать к нему на соединение кратчайшей дорогой оба вновь сформированные пехотные полка, которые в ожидании своего назначения прибыли в одну из деревень, лежащую в 7 верстах от Москвы, на Петербургской дороге.

В этот же день Кутузов, пообедав и отдохнув по обыкновению, собрал военный совет, на который пригласил своих генералов для совещания о том, какое решение принять, т.е. защищать ли Москву или оставить ее неприятелю? Из 8 или 9 генералов, присутствовавших на совете, только один предложил немедленно идти вперед и атаковать Наполеона, которого полагал ослабленным наполовину, вследствие отделения двух корпусов: Мюрата на Калужскую дорогу, а принца Евгения на Звенигород. Прочие генералы поставили на вид настоящее печальное состояние нашей армии и подали голос за отступление. Кутузов был того же мнения и объявил, что пройдет через город ночью и направится на Рязанскую дорогу. При этом случае он оказал мне большую услугу, не пригласив меня на неожиданный военный совет, потому что я тоже высказался бы за отступление, а он стал бы впоследствии ссылаться на мое мнение для оправдания себя от нареканий за отдачу Москвы неприятелю. Он написал мне письмо, которое один из его адъютантов, по фамилии Монтрезор, привез мне около 8 часов вечера.

Я тотчас призвал обер-полицеймейстера, чтобы приказать ему отправить к кн. Кутузову всех свободных полицейских офицеров, так как тот просил провожатых для направления войск кратчайшим путем на Рязанскую дорогу; самому же обер-полицеймейстеру велел, собрав всех находившихся под его начальством людей, на самом рассвете выйти из Москвы, увозя с собою все 64 пожарные трубы, с их принадлежностями, и отправиться во Владимир. Коменданту и начальнику Московского гарнизонного полка я тоже отдал приказание уходить. Адъютанта моего я послал к архиерею с повелением от имени государя: уехать в ту же ночь и увезти с собою обе иконы Богоматери. Он стал беспокоиться, каким образом их взять. Одна икона, называемая Владимирскою, находилась в кафедральном соборе, другая, Иверская, в часовне, носившей ее имя. Он справедливо опасался, как бы остававшаяся в Москве чернь не вздумала препятствовать отъезду двух покровительниц Москвы и как бы сам он не подвергся опасности. Опасение это внушалось ему мерой, принятой самим народом в последние три-четыре дня. Мера эта состояла в высылании ночных дозоров для удостоверения в том, что не могли снять и уложить большую серебряную люстру, висевшую в соборе, так как для сего потребовалось бы, по крайней мере, дня три.

Но более всего озабочивал меня увоз раненых и больных. Еще за пять дней я приказал выставить у одной из городских застав около 5000 повозок, с их упряжкой, и при них довольно сильный караул, для того чтобы крестьяне ночью не убежали. Начальнику транспорта было предписано не отпускать ни одной подводы без приказания, подписанного моей рукой. После письма Кутузова, сообщавшего мне об отступлении, я тотчас же отправил туда к транспорту надежного человека, который немедленно приказал запрягать телеги и направил их к госпиталю. Там уже отданы были мои приказания: положить на телеги по стольку больных, по скольку могло поместиться, и объявить остальным, что неприятель скоро вступает в Москву и что они должны потихоньку идти за транспортом, везущим самых слабых в Коломну, за 90 верст от Москвы, где уже ожидают их речные суда и медицинская помощь. Более 20 000 человек успело поместиться на подводы, хотя и не без суматохи и споров; прочие последовали за ними пешком. Весь транспорт двинулся с места около 6 часов утра, но около 2000 больных и тяжелораненых остались на своих кроватях, в ожидании неприятеля и смерти. Из них, по возвращении моем, я только 300 человек застал в живых.

Этот караван, беспримерный в истории чрезвычайных событий, прибыл в Коломну на четвертые сутки. Больных переместили на суда и спустили по Оке до губернского города Рязани, где они были размещены, накормлены и пользовались хорошим уходом благодаря заботливости и деятельности профессора [Х.И.] Лодера, которого я назначил начальником всех госпиталей и которому его просвещенное и человеколюбивое рвение доставило лучшую из всех наград: возможность сказать, что «из такого-то числа больных и раненых я спас стольких-то и стольких-то».

Хотя Наполеон в одном из своих бюллетеней укоряет меня за то, что я обрек верной смерти несколько тысяч раненых и больных солдат, покинутых в госпиталях, но если бы он захотел быть справедливым, то поблагодарил бы меня за то, что я выпроводил 25 000 человек, которые все погибли бы от голода и лишений, если бы остались в Москве.

История и человечество обвинили бы самого Наполеона в смерти этих несчастных, впавших в его власть как военнопленные.

* * *

Около полуночи я отправил к государю курьера с печальным известием, что неприятель готовится стать господином его столицы. В то же время я выслал шарлатана Шмидта, и они отправились по Ярославской дороге. Когда несколько строк моего донесения было уже написано, я заметил, что лист, на котором я писал, разорван; я взял другой, а первый остался на моем бюро, и это подало повод к тому, что в одном из бюллетеней Наполеона говорится, будто при смятении, в каком я находился, я даже забыл окончить мое письмо государю.

В 11 часов вечера мне доложили о прибытии принца Виртембергского и герцога Ольденбургского. Один был генерал-аншефом, другой – генерал-

лейтенантом, состоявшим в армии. Оба они приехали приглашать меня отправиться к кн. Кутузову и уговорить его не оставлять Москвы и дать сражение. Объяснение мое было непродолжительно. Когда на вопрос мой: настаивали ли они в военном совете на необходимости драться? они отвечали, что даже и не были на нем, – то я заметил их высочествам, что один из них приходится дядей, а другой двоюродным братом государю и что потому они гораздо более меня имеют прав советами своими заставить кн. Кутузова переменить свое мнение и что к тому же у меня еще столько дела остается до утра, что я не хочу пожертвовать 4 или 5 часами на поездку, бесполезность которой предвижу. Принцы сообщили мне, что они ходили к кн. Кутузову, но что он спал и их не впустили. После многих сожалений и строгих осуждений кн. Кутузова они ушли, оставив меня проникнутого горестью и пораженного оставлением Москвы.

Сейчас же после них явилось ко мне пять или шесть молодых людей из хороших фамилий, пришедших в отчаяние при виде отступления армии и считавших себя опозоренными, так как Москва отдавалась неприятелю. Они умоляли меня со слезами на глазах ехать к кн. Кутузову и понудить его к отмене приказа об отступлении, которое уже совершалось, так как артиллерия следовала по внешним бульварам. Я, насколько мог, успокоил эту похвальную ревность юношей, которые ушли от меня настолько же недовольные мною за то, что я не воспрепятствовал кн. Кутузову отступить, насколько последний должен был быть доволен, что мог уйти, не дав Наполеону доконать себя.

Я послал камердинера на свою дачу, чтобы взять там два портрета, которыми я очень дорожил: один – жены моей, а другой – императора Павла. Надо тут заметить, что в обоих домах моих оставлена была мною полная обстановка: картины, книги, мраморные вещи, бронза, фарфор, все экипажи и погреб с винами. Хотя я и наперед был уверен, что все это будет разграблено, но хотел понести те же потери, какие понесены были другими, и стать на один уровень с жителями, имевшими в Москве свои дома. Каких-нибудь двадцать телег могли бы увезти всю эту обстановку, стоившую полмиллиона; в распоряжении моем находились тысячи лошадей, да кроме того еще лошадей 500 могли бы быть доставлены из поместья моего Воронова, – но таковы уже были побудительные причины моего пожертвования. На него в то время не обратили внимания, впоследствии над ним издевались, и со мною повторилось то же, что часто бывает, т.е. что благородные, необдуманные порывы приписываются или глупости, или корыстному расчету.

В то время как я укладывал в мою шкатулку те бумаги, которые хотел взять с собой, я услышал рядом с моим кабинетом вопли и рыдания. Я вышел и увидел трех грузин, которые бросились к моим ногам, объявляя мне, что обе царевны, обе княжны и экзарх Грузии забыты в Москве г. Валуевым, попечению которого они были поручены. Не знаю уж, как и где, но им достали

штук 15 лошадей, и все эти потомки грузинских царей отправились в путь – царевны в каретах, а их дворня пешком.

Я не имел ни минуты свободной. Беспрестанно приходили ко мне люди всяких сословий; одни просили повозку, другие – денег, так как не имели средств выбраться из города; один известный мне полицейский офицер пришел весь в слезах, ведя за собою своего трехлетнего ребенка, о котором мать при отъезде забыла. Я делал все что мог для удовлетворения просьб этих несчастных. Что касается денег, я роздал их столько, что выехал из Москвы человеком одновременно самым богатым и самым бедным, так как увозил с собою 130 тысяч руб., оставшиеся у меня из экстраординарных сумм, и 630 руб., собственно мне принадлежавших. Мысль о том, откуда добыть денег впоследствии, не приходила мне в голову.

Я приказал спросить у полицейских офицеров, не найдется ли между ними желающих остаться в городе, переодетыми, и доставлять мне донесения в Главную квартиру посредством казачьих аванпостов, до которых они могли пробираться через Сокольницкий лес. Таких надо было мне шесть человек, но явилось охотниками только пять, а одного я назначил по собственному выбору. Поручение мое они исполняли разумно, усердно и с большой сметливостью. По счастью, присутствия их в Москве даже и не подозревали. По возвращении моем я всех их там встретил, и они были щедро награждены государем.

Под утро явился ко мне некий Загряжский, состоявший в должности шталмейстера при имп[ераторе] Павле. Это был человек очень пошлый, враль и барышник. Он заявил мне, что так как жена его не прислала ему лошадей из деревни и так как все имущество свое он зарыл в своем саду, то хочет остаться в Москве, чтобы оберегать оное. Я дал ему почувствовать, что он рискует подвергнуться многим неприятностям, но что мне не приходится давать ему ни приказаний, ни дозволений. У человека этого уже был готов свой план. Он остался в Москве и представился герцогу Виченцкому (Коленкуру), который знал его, потому что покупал у него лошадей во время своего посланничества в России. Он заботился устройством конюшни Наполеона и фабрики для починки седел французской кавалерии.

Наконец, в 10 часов утра все было готово для моего отъезда. Я послал за моим сыном, который спокойно проспал до 6 часов и, только проснувшись, узнал о судьбе Москвы. Так как он не являлся, то я сам отправился его искать. Я встретил его выходящим со слезами на глазах из спальни моей жены, и он сказал мне, что ходил прощаться и взглянуть в последний раз на мать и сестер. В этой комнате находились их изображения и прочие фамильные портреты. Я понимал горесть сына моего. Он покидал отеческий дом, и в этот раз, может быть, с тем, чтобы уж туда более не возвращаться; он прощался со своей матерью, служившей ему и учителем, и воспитателем, и советником; не застав ее в Москве, он обращался с прощальным приветом к портрету ее; он собирался прибыть в армию, на которую не следовало много рассчиты-

вать, и вследствие последних событий, имея всего 17 лет от роду, поставлен был в положение человека, желающего встретить смерть, дабы избегнуть позора быть покоренным.

* * *

Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел там с десяток людей, уезжавших со мною. Улица перед моим домом была полна людьми простого звания, желавшими присутствовать при моем отъезде. Все они при моем появлении обнажили головы. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций, и еще одного французского фехтовального учителя, по фамилии Мутон, который за свои революционные речи был предан суду и уже более трех недель тому назад приговорен уголовной палатой к телесному наказанию и к ссылке в Сибирь; но я отсрочил исполнение этого приговора. Оба они содержались в тюрьме для неисправных должников, и их забыли отправить с 730 преступниками как Московской губернии, так и всех тех, которые были заняты неприятелем. Преступники эти, которыми наполнили главную московскую тюрьму, ушли три дня тому назад под конвоем одного батальона гарнизонного полка и направились к Нижнему Новгороду. Человек 20 заключенных за долги в особой тюрьме были, по моему приказанию, объявлены свободными, и им растворили двери; кредиторов их в городе не было, и обстоятельства не благоприятствовали уплате долгов. Как же был я удивлен, когда впервые узнал, что эти должники превратились – в одном из наполеоновских бюллетеней – в легион из 500 человек, исполнивших мой план сожжения Москвы.

Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен Сенатом к смертной казни и должен понести ее, – и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова.

Тогда, обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитвы, я сказал ему: «Дарую вам жизнь; ступайте к своим и скажите им, что негодяй, которого я только что наказал, был единственным русским, изменившим своему отечеству». Я провел его к воротам и подал знак народу, чтобы пропустили его. Толпа раздвинулась, и Мутон пустился опрометью бежать, не обращая на себя ничьего внимания, хотя заметить его было бы можно: он бежал в поношенном своем сюртучишке, испачканном белой краской, простоволосый и с молитвенником в руках.

Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться тем, что прошло. Глаза закрывались, чтобы не видеть ужасной действительности, и приходилось отступать назад перед страшной будущностью.

* * *

Я остановился на одном из бульваров, выжидая, когда один из ординарцев моих приедет с донесением, что неприятель уже в городе. Я был поражен пустотой, господствовавшей повсюду: на протяжении одного лье увидел я только одну женщину с ребенком, стоявшую у окна, да еще толстого старика, сидевшего в халате перед своим домом. На мой вопрос: «Разве не можешь ты уйти?» – он отвечал: «Да зачем же, сударь? – в мои года не стоит уходить в другое место. Я остаюсь и не тревожусь о том, что меня ожидает. Пусть будет, что будет». Расставаясь с этим человеком, я внутренне сознавал, что он был прав и являлся настоящим философом, сам того не сознавая.

Ординарец мой возвратился с донесением, что Милорадович с нашим арьергардом уже прошел через Арбатскую улицу и что неприятельский авангард непосредственно за ним следует. Я направил мою лошадь к Рязанской заставе и у моста через Яузу, думая обогнать один из наших конных отрядов, увидел, что это кн. Кутузов со своим конвоем. Я поклонился ему, но не хотел говорить с ним; однако он сам, пожелав мне доброго дня, что можно было бы принять за сарказм, сказал: «Могу вас уверить, что я не удалюсь от Москвы, не дав сражения». Я ничего не ответил ему, так как ответом на нелепость может быть только какая-нибудь глупость.

Не доезжая до моста, я был остановлен кучкою раненых офицеров, человек в десять, идущих пешком. Они уходили из города и остановили меня, чтобы попросить денег, так как у них ничего не было. Я опорожнил свои карманы; но пожертвование мое не соответствовало моему желанию дать им побольше. Они благодарили меня со слезами на глазах; да и у меня текли слезы сострадания и горести при виде искалеченных офицеров, доведенных до испрашивания милостыни, чтобы не умереть с голоду.

По прибытии к заставе мне с трудом лишь удалось пробраться через нее, по причине множества войск и повозок, торопившихся выходом из города. В ту минуту, когда я очутился по ту сторону заставы, раздались три пушечных выстрела в Кремле: то разгоняли народ, там собравшийся. Выстрелы эти возвещали о занятии столицы и говорили мне, что я уже перестал быть ее начальником. Поворотив лошадь, я почтительно поклонился первому городу Российской империи, в котором я родился, которого был блюстителем и где схоронил двух из детей моих. Долг свой я исполнил; совесть моя безмолвствовала, так как мне не в чем было укорить себя и ничто не тяготило моего сердца; но я был подавлен горестью и вынужден завидовать русским, погибшим на полях Бородина. Они умерли, защищая свое отечество с оружием в руках, и не были свидетелями торжества Наполеона.

Ростопчин Ф.В. Ох, французы! 1992

Примечание к «Запискам графа Ф.В. Растопчина о 1812 годе»

В недавно появившейся на французском языке биографии графа Растопчина, написанной его внуком, графом Сегюром, рассказано, что в эту минуту возле несчастного московского главнокомандующего находился старший сын его, граф Сергей Федорович; отец приказал ему снять шапку и поклониться Москве, прибавив, что она в тот же день загорится. Растопчин был уверен в таком исходе событий не потому только, что пожарные трубы и все огнегасительные орудия (как и другое казенное имущество) были вывезены по его приказанию, но и потому, что ему вполне известно было настроение умов: коли нельзя спасти, так лучше сжечь, чем предоставить неприятелю. Эта мысль естественно приходила в голову не успевшим выехать москвичам, как скоро последняя надежда пропала. Так, известный в то время книгопродавец И.В. Попов доложил графу Растопчину, что в печи принадлежавшего ему дома положено им пороху. Покойный граф В.А. Перовский рассказывал, что за обедом в Филях он сидел рядом с московским квартальным, который на вопрос, что говорят в Москве, вместо ответа вынул из кармана кусок пакли со смолою. В известной своей «Правде о пожаре Москвы» граф Растопчин вовсе не думает оправдываться в сожжении Москвы, как провозгласили иностранцы (а со слов их и русские, не прочитавшие этой книжки): он говорит только, что не следует ему одному приписывать честь героического подвига, принадлежащего всему московскому населению.

П.И. Бартенев

Девятнадцатый век. Кн. 2. 1872



ИЗ ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА Д.И. ЗАВАЛИШИНА

В 1811 году случилось событие, которое привлекло общее внимание и принято всеми было за предвозвестника 1812 года.

Раз я шел с дядькою в церковь Жен Мироносиц ко всенощной. Это было в августе, и, следовательно, когда шли в церковь, то было светло. Но вот к концу всенощной, но ранее еще того времени, как народ обыкновенно расходится, сделалось на паперти, у дверей церкви, необычайное движение. Люди что-то выходили и опять входили и, входя, как-то тяжело вздыхали и начинали усердно молиться. Пришло, наконец, время выходить из церкви, но первые выходившие остановились, и толпа сгустилась так, что нельзя было протискаться чрез нее. И вот, стоявшие позади, потеряв терпение, стали громко спрашивать: «Да что там такое? Отчего не идут?» И вот, послышалось: «Звезда». Мало-помалу, толпа, однако, рассеялась так, что и мы могли выйти чуть не позади всех и прямо против себя увидели знаменитую комету 1811 года. На другой день, еще до захождения солнца, люди стали выходить на улицу и смотреть на то место, где вчера видели восхождение «звезды». В сумерки наша площадь была почти вся уже запружена народом, так что не только экипажам проезжать, но и пешком проталкиваться было очень трудно. На месте вчерашнего появления звезды было, однако же, черное облако. При всем том, народ не уходил, а упорствовал в ожидании. В других частях неба было ясно и появились уже небольшие звезды. Но вот едва пробило 9 часов, как облако как бы осело под горизонт и вчерашняя звезда появилась еще в более грозном виде.

Как бы по сигналу, все сняли шапки и перекрестились. Послышались тяжелые, где подавленные, где громкие вздохи. Долго стояли в молчании, но вот одна женщина впала в истерику, другие зарыдали, начался говор, затем громкие восклицания. «Верно, прогневался Господь на Россию». – «Согрешили не путем, ну, вот и дождались» и т.п. Начались сравнения: кто говорил, что хвост кометы – это пучок розог, кто уподоблял метле, чтобы вымести всю неправду из России, и т.п.

С тех пор народ постоянно толпился на улицах каждый вечер, а звезда становилась все грознее и грознее. Начались толки о преставлении света, о

том, что Наполеон есть предреченный антихрист, указанный прямо в Апокалипсисе под именем Апполиона. С этим совпадали и грозные политические вести: туча все сильней и сильней надвигалась с запада. Все это коснулось органических основ общественных. Дело шло не о временных уже выгодах, а о самом существовании веры, отечества, общества. Слухи одни страннее других разносились повсюду – стали рассказывать о видениях, знамениях, но более всего наводила страх какая-то предполагаемая измена, это слово было у всех на языке.

Доверие к высшим лицам, к правительству совершенно потерялось.

Все это производило необычайное впечатление на меня и возводило из тесного круга обыденной жизни к мировым событиям. Во все это я жадно вслушивался, расспрашивал у всех, даже стал читать газеты, усиливаясь постигнуть ход событий.

Завалишин Д.И. Записки декабриста. 1906



ИЗ ЗАПИСОК ГРАФА Е.Ф. КОМАРОВСКОГО

[…] Между тем мы никакого сведения не имели о неприятеле. Корпусы, приходившие в соединение, не были при отступлении им обеспокоиваемы. При нашей армии казаков, кроме гвардейских, почти вовсе не было. Решились командировать генерала Корфа с регулярной кавалерией сделать сильное рекогносцирование, чтобы открыть неприятеля, но он возвратился без успеха. Граф Мишо служил тогда полковником в свите Его Величества; он составил записку о бедственном положений армии и предлагал, чтобы немедленно оставить лагерь [Дрисский] и идти по левому берегу реки Десны к Полоцку. Сия записка через князя Волконского представлена была Государю; учрежден был совет, чтобы рассмотреть мнение графа Мишо. При Государе находился комитет для отправления государственных дел, состоящий из графа Аракчеева, Шишкова, государственного секретаря, и Балашова. Совет согласился с мнением графа Мишо, и отступление армии было решено. Граф Витгенштейн оставлен был со своим корпусом, чтобы обеспечивать ретираду армии. Шишков и Балашов, с которыми я жил вместе, сказывали мне, что решено сделать воззвание к Москве и ко всей России, чтобы собрать добровольное ополчение, что они насилу могли убедить графа Аракчеева, чтобы он упросил Государя оставить армию, а самому императору ехать в Москву, где присутствие Его Величества произведет большое действие в сию критическую минуту. Когда Шишков и Балашов предлагали графу Аракчееву, что необходимо нужно Государю, в теперешнем ее положении, оставить армию и ехать в Москву и что сие одно средство, чтобы спасти отечество, – граф Аракчеев возразил на сие:

– Что мне до отечества! Скажите мне, не в опасности ли Государь, оставаясь при армии. Они ему отвечали:

– Конечно, ибо если Наполеон атакует нашу армию и разобьет ее, что тогда будет с Государем? А если он победит Барклая, то беда еще не велика.

Сие заставило Аракчеева идти к Государю и упросить Его Величество на отъезд из армии. Можно сказать, что душа и чувства графа Аракчеева, совершенного царедворца, были чужды любви к отечеству. С нами жил также генерал-адъютант Винцингероде; он просился с несколькими гусарами сде-

лать поиски на неприятеля, но тоже никого не открыл. Император следовал с армиею до Полоцка, но еще из лагеря под Дриссой послан был генерал-адъютант князь Трубецкой с воззванием в Москву. Государь на другой день по прибытии в Полоцк изволил отправиться в Москву. В свите Его Величества находились: обер-гофмаршал граф Толстой, граф Аракчеев, князь П.М. Волконский, А.С. Шишков, А.Д. Балашов и я. Главную свою квартиру император поручил генерал-адъютанту П.В. Кутузову.

Тогда главнокомандующим в Москве был граф Ф.В. Растопчин. Государь повелел ему, чтобы никакой встречи для Его Величества делано не было, и нарочно приехал в Москву ночью; но от последней станции к Москве вся дорога была наполнена таким множеством народа, что от бывших у сих желающих видеть своего Государя фонарей было так почти светло, как днем. В следующий день, поутру, император назначить изволил быть молебну в Успенском соборе. Стечение народа на всей Кремлевской площади было так велико, что находившиеся при Государе генерал-адъютанты принуждены были составить из себя род оплота, чтобы довести императора с Красного крыльца до собора; всех нас можно было уподобить судну, без мачт и кормила, обуреваемому на море волнами; мы очутились почти у гауптвахты и оттуда уже кое-как добрались до церкви. Между тем громогласное «ура!» заглушало почти колокольный звон. Сие шествие продолжалось очень долго, и мы едва совершенно не выбились из сил. Я никогда не видывал такого энтузиазма в народе, как в это время. На другой день приказано было сделать из досок мостки с перилами от Красного крыльца до собора. Архиепископ Августин встретил Государя с крестом и с св. водою и произнес весьма трогательное и красноречивое слово.

В пространных залах Слободского дворца назначены были собрания для дворянства и купечества; император сам поехал в Слободской дворец. Войдя в залу, где собрано было все московское дворянство, коего губернским предводителем был В.Д. Арсеньев, Государь сказал:

– Вам известна, знаменитое дворянство, причина моего приезда. Император французов вероломным образом, без объявления войны, с многочисленною армиею, составленною из порабощенных им народов, вторгнулся в нашу границу. Все средства истощены были, – сохраняя, однако же, достоинство империи, – к отвращению сего бедствия; но властолюбивый дух Наполеона, не имеющий пределов, не внимал никаким предложениям. Настало время для России показать свету ее могущество и силу. Я в полной уверенности взываю к вам: вы, подобно предкам вашим, не потерпите ига чуждого, и неприятель да не восторжествует в своих дерзких замыслах; сего ожидает от вас ваше отечество и Государь.

Все зало огласилось словами:

– Готовы умереть скорее, Государь, нежели покориться врагу! Все, что мы имеем, отдаем тебе; на первый случай десятого человека со ста душ крестьян наших на службу.

Все бывшие в зале не могли воздержаться от слез. Государь сам был чрезмерно тронут и добавил:

– Я многого ожидал от московского дворянства, но оно превзошло мое ожидание[1].

Потом император изволил войти в залу, где находилось московское купечество. Государь встречен был с радостным восклицанием, и они объявили Его Величеству, что на несколько миллионов рублей, которые они приносят в дар отечеству, уже сделаны подписки. Император, окруженный толпой народа, который отовсюду стремился навстречу Его Величеству с беспрестанным криком «ура!», – возвратился в Кремлевский дворец.

Многие из первейших московских чиновников и мы все в тот день были приглашены к обеденному столу Государя. Император несколько раз изволил повторять, что он этого дня никогда не забудет. После обеда послан был орден 1-го класса св. Анны губернскому московскому предводителю В.Д. Арсеньеву. Многие из моих знакомых, московских дворян, мне говорили: одни, что отдадут всех своих музыкантов, другие – актеров, третьи – дворовых людей, псарей в ратники, ибо их скорее образовать можно для военного ремесла, нежели крестьян. Начальником московского ополчения избран был дворянством М.Л. Кутузов, а в помощь ему граф Ираклий Иванович Морков [...].

Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского. 1990



[1] Весь сей разговор остался у меня в совершенной памяти.

ИЗ ЗАПИСКИ О ВОЙНЕ 1812 ГОДА КНЯЗЯ А.Б. ГОЛИЦЫНА

Без особых происшествий отступление было до Москвы. Платова сменил Раевский, который командовал арьергардом один только день; на место его назначен был Милорадович, который уже, как передовой страж армии, нес звание сие до открытия кампании в 1813 году.

Кутузов, всегда довольный им, звал его «ma maîtresse»[1].

Первое свидание графа Растопчина было в 25 верстах от Москвы, в деревне Малсонове; после разных обоюдных комплиментов говорено о защите Москвы и решено драться под стенами ее; резерв должен был состоять из дружины московских жителей с крестами и хоругвями. Растопчин уехал с восхищением и в восторге своем, как ни был умен, но не разобрал, что в этих уверениях и распоряжениях Кутузова был потаенный смысл. Теперь ясно, что Кутузову нельзя было обнаружить прежде времени, под стенами Москвы, что ее оставят, хотя он намекал в разговоре Растопчину: «Au reste, la perte de Smolensk entraine celle de Moscou»[2].

Наступила роковая минута: Совет в Филях. Известно, чем он окончился. Но когда Толь подал мысль стать на Воробьевых горах параллельно дороге Калужской, чтобы избегнуть отступления городом, предполагая в том более трудностей, нежели их быть могло. Кутузов, опровергая его, сказал достопамятные слова: «Vous craignez la retraite par Moscou et moi je la consldère comme une Providence car cela sauve l'armée. Napoléon est comme un torrent que nous ne pouvons pas encore arrêter. Moscou sera l'éponge qui le recevra»[3]. (Эту губку трудно будет ему выжать.) После Совета был призван военный полицмейстер армии Шульгин и дано ему повеление всех гнать на Рязань. Другое еще лицо было вытребовано: генерал-интендант Ланской (В.С.) «Распорядись продовольствием», – были слова Кутузова. – «Но куда мы пойдем? На Рязань трудно,

---

[1] *Фр.* – любовница; здесь используется в переносном значении – как фаворит. Тем самым Кутузов в шутливой форме даёт почувствовать своё особое расположение к генералу Милорадовичу.

[2] Потеря Смоленска повлечёт за собою потерю Москвы.

[3] Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на провидение, ибо оно спасает армию. Наполеон подобен быстрому потоку, который мы сейчас не можем остановить. Москва – это губка, которая всосёт его в себя.

ибо все запасы наши – по другому направлению, около Калуги, которая, по всему, есть центральный пункт». – «А разве тут на Рязань ничего нет?» – «Быть – будет, если прикажете, но жалко и опасно, как бы то не пропало и долго до нас не дойдет». – «Подумаю, ты приди ко мне завтра, когда мы придем на место». – К этому краткому разговору и к мысли, изъявленной еще на Бородинской позиции, нужно отнести весь концепт флангового марша на Подольск и дальнейшие действия.

Это одно поставляет Кутузова наряду первейших полководцев: ибо соображения и исполнение оных превосходны. Армия потянулась по Москве, Кутузов, въехав в город, обратясь к свите своей, сказал: «Кто из вас знает Москву?» – Я один явился. – «Проводи меня так, чтоб, сколько можно, ни с кем не встретились». – Он ехал верхом от Арбатских ворот вдоль по бульварам до Яузского моста. Итак, во все время его проезда до моста никто его не видал и он ни от кого не получил ни одного донесения.

Приехавши к Яузскому мосту, суматоха была невероятная. Мы застали тут графа Растопчина, который в мундирном сюртуке, в эполетах, с нагайкой в руках, прогонял всех и старался очистить мост: ибо и жители, и часть армии – все должно было переходить этим дефилеем. Свидание было сухое. Растопчин начинал говорить, но Кутузов не отвечал, а приказывал скорее очищать мост для прохода войск. От Яузского моста до Коломенской заставы движение народа, смешанного с войском, произвело некоторые беспорядки: ломали кабаки и лавки. Народ русский пьет и от горя и от радости одинаково. Но все было тут же приведено в порядок и город очищался понемногу. Народ и армия походили на морскую волну, ибо все теснилось за нами. Выехав за заставу, некоторые корпуса уже были расположены на привале по обеим сторонам большой дороги, около старообрядческого кладбища. На самой же большой дороге избрал себе место Кутузов. Сел на скамейку в ожидании донесения от Милорадовича. Прискакивает от него адъютант с известием, что он должен будет драться в городе, если сделанные им предложения Мюрату не будут приняты; в случае таком он просил подкрепления. Это встревожило старика, но в продолжение не более ¼ часа прислан полковник Потемкин (Яков Алексеевич) с донесением о выговоренных условиях. Тут же Кутузов велел армии продолжать ретироваться, и в этот день она дошла до [деревни] Панки.

Длинный переход от Кулакова до Подольска продолжался в течение целого дня. Будучи отправлен к Милорадовичу, я догнал Главную квартиру на привале, под вечер, уже в деревне Ломе. Первый раз зарево Москвы было нам так видно; Кутузов сидел и пил чай, окруженный мужиками, с которыми говорил. Он давал им наставления, и когда с ужасом говорили они о пылающей Москве, то, ударив себя по шапке, сказал: «Жалко, это правда, но подождите, я ему голову проломаю».

Военский К.А. Отечественная война 1812 года
в записках современников. 1911

ИЗ ПАМЯТНЫХ ЗАПИСОК ГРАФА ПАВЛА ХРИСТОФОРОВИЧА ГРАББЕ

[...] Сколько живо и ясно перед памятью моей предстал бородинский день, столько же смешанно, туманно, как томительный сон, припоминаю себе первые дни отступления. Бесконечный ряд повозок, заваленных ранеными, огромная нить артиллерии, вышедшей из соразмерности с остатками армии, отдельные люди разных воротников[1], отыскивавшие свои полки, какое-то общее уныние после обманутых надежд, оглушение после такого громового дня, отупение после таких потрясающих и торжественных ощущений, – все это вместе навело на меня какое-то онемение всех чувств, почти бессмысленность.

Не завидна в подобные дни судьба главнокомандующего, к тому же обязанного скрывать под личиной бесстрастия все, в душе его происходящее! *Кутузов, между Бородиным и Москвой, должен был выстрадать века целые.*

1 сентября Главная квартира была в Филях, армия – на позиции на Поклонной горе, над Москвой. На разных точках позиции производились работы для ее укрепления. Ермолов, с иностранцем Кроссаром, посланный Кутузовым для подробного ее осмотра, взял меня с собой. Позиция никуда не годилась. Мы, наверное, были бы не только разбиты, но, по чрезвычайной трудности путей отступления и по глубоким оврагам, разделявшим корпуса, не избежали бы истребления. На военном совете, а главное – в мыслях Кутузова, решено было принести для спасения России новую, великую жертву – отдать Москву. Растопчин решил в душе своей отдать один пепел ее. Говорю это по убеждению, а не по догадкам. Вопрос о том, кто зажег Москву, странным образом затемнен сперва самим Растопчиным (которого брошюра, напечатанная им позже в Париже[2], принята за отречение им от своего подвига), а потом в описании Данилевского[3] в сомнении оставлен. Вот что я сам видел

---

[1] То есть разных полков; в то время цветом мундирных воротников обозначалась принадлежность к тем или иным полкам.

[2] «La vérité sur l'incendie de Moscou», 1823, в том же году книга была опубликована в Москве под заглавием «Правда о Московском пожаре».

[3] Имеется в виду книга Г.П. Данилевского «Сожжённая Москва» (1866).

и слышал. Я ходил с Ермоловым вдвоем, когда решено было отступление. Граф Растопчин, приехавший для узнания о судьбе Москвы, подошел к Ермолову, а я отошел из приличия и продолжал ходить в нескольких шагах от них. Разговор был живой, голоса возвышались, и наконец Растопчин, наклонясь к уху Ермолова, сказал, однако, вслух: «Если вы Москву оставите, она запылает за вами». Выражения, быть может, не совершенно те самые, но сущность их, предвещание пожара Москвы, была высказана.

Не бывав до того никогда в Москве, расстилавшейся на необозримом пространстве перед глазами, я возымел неодолимое желание взглянуть на прекрасную перед концом ее. Я въехал в нее верхом с Петром Николаевичем Ермоловым через Дорогомиловский мост. Улицы ее были уже пусты, бесчисленные колокола безмолвны; кое-где в окнах, на балконах показывались любопытствующие взглянуть на проезжие лица нерусского облика; мало-помалу грусть тяжкая, свинцовая так тяжело налегла мне на душу, что я почти ничего уже не видел или видел бессознательно, куда-то заезжал, вслед за товарищем, кажется, в его дом, какими улицами, как и когда воротился в лагерь, ничего не помнил и теперь не вспомню.

2 сентября наступил для Москвы в продолжение веков и для Кутузова на пределах жизни самый страшный их день. Кутузов оставлял Москву на жертву ослепленному завоевателю, на его гибель, и сам в слепоте человечества, в глубокой горести не видел парящего над собой гения России, с венком бессмертия за подвиг великой решимости. Конечно, легче было, уступая общему порыву, дать под Москвой сражение и погибнуть с ней вместе. И тут была слава!

Когда глядишь на это мировое событие с высоты протекших после того лет, сколько представляется дум, указующих на промысел Божий, непреложный в своих вечных законах, начертанных от века для народов и отдельных лиц, в черте свободы действий своих, более или менее постигающих глубокий и неумолимый их смысл. Как осторожен и смирен должен быть человек в радости и печали! Кто знает, кто разберет, что обещают та и другая?

Когда Наполеон на восклицания своих передовых: «Москва! Москва!» – выскакал на гребень Поклонной горы и очарованному взгляду его представилась она в панораме необъятной, блистая золотом своих бесчисленных куполов, колоколен, башен и дворцов, дух гордыни, без сомнения, должен был ему шепнуть: «Кто мне равен теперь? Кто противостоит мне?» И в самое это мгновение нога его невидимо стала на первую ступень той крутой лестницы, с которой он так быстро, неудержимо должен был обрушиться сперва на скалы Эльбы, а потом на одинокий утес Св. Елены при громе распадавшейся империи, им воздвигнутой, в удивление и урок векам грядущим!

При выходе из Москвы я остановился у Коломенской заставы; войска и обозы, пешие всяких званий тянулись мимо, уходя за армией. Наконец толпы стали редеть; потом дорога опустела. Сколько времени я простоял, бросив повода на шею лошади, какие мысли, какие ощущения сменялись и смеши-

вались одни с другими, не могу сказать. Но если бы могли они остаться навсегда присутственны на всем пути жизни, то не только дурной или двусмысленный поступок, но даже помышление были бы невозможны.

Неприятным образом был я пробужден от этих грез наяву голосом Фигнера, незаметно ко мне подъехавшего. В бурные времена, каковы были в нашей молодости, души обнажаются смелее, более чем в другие, спокойные. Я не любил этого человека: в нем было что-то демонское. Он, напротив, привязывался ко мне. «Я не переживу Москвы, – сказал он, – я возвращусь в нее и убью Наполеона. Радуюсь, что тебя встретил. Скажи это А.П. Ермолову и что судьбу моего семейства поручаю его предстательству». Не отвечая ни слова ему, я поворотил лошадь и оставил его у заставы. У Панкова догнал я армию и отыскал квартиру Ермолова, но под крышей не мог остаться. Вышедши на дорогу, я не сводил глаз с Москвы; только тринадцать верст разделяли нас от нее. День склонялся к вечеру, когда первый клуб дыму поднялся внезапно над нею. Несколько других последовали одни за другими. Это были пороховые взрывы, неслышные для нас, но возвестившие начало истребления Москвы. Будто прикованный к одному месту, до наступившей ночи следил я за успехами пожара; зарево от него загорелось на ночном небе. Потомство не забудет этого завещания нашего поколения, как должно принимать зашедшего в нашу любимую столицу ослепленного провидением врага. На дороге от Москвы показался передо мной конный офицер. Всмотревшись в него, я узнал Фигнера. Молча я отвернулся от него и ушел. Этот человек по примечательным своим дарованиям и злодействам заслуживает и внимания, и омерзения. Хитрый до коварства, неустрашимый, вкрадчивый, умный, он скоро сделался партизаном замечательным и в следующем году кончил свою страшную жизнь в волнах Эльбы от неприятельской пули. Его лучшей и частой забавой было, внушив ласковым разговором с пленными офицерами веселость и доверие к себе, убивать их неожиданно из пистолета и смотреть на предсмертные их мучения. Это делалось вдали от армии, куда доходили о том только темные слухи, которым не верили или забывали в шуме военном. Это был скорее разбойничий атаман, чем партизан благоустроенной армии.

4 сентября армия прошла по Рязанской дороге до Боровского перевоза и переправилась за Москву-реку.

5-го совершен переход до Подольска на Тульской дороге, и вечер этого дня осветили кровавым заревом охваченной общим пожаром Москвы.

6-го армия перешла на старую Калужскую дорогу и стала при Красной Пахре. Отсюда Дорохов с отрядом, отправленный на Можайскую дорогу (главный путь сообщения неприятеля), захватил много пленных; фуражиры нашей главной армии также захватили много французов на грабеже, не ожидавших нас с этой стороны. Плоды этого хорошо обдуманного, искусного и беспрепятственно исполненного движения с каждым днем стали обнаруживаться. 15-го наша армия отошла еще за переход до Мочи и закрылась рекой

того же названия. Арьергардом начальствовал Михаил Андреевич Милорадович. По желанию его Ермолов отпустил меня к нему, и до самого Калиша состоял я безотлучно при нем.

В день моего приезда мы имели жаркое арьергардное дело с Мюратом под Чириковом, в котором взят был начальник его штаба, генерал Феррие. [...]

Мы продолжали отступление к Тарутину в порядке и отражая Мюрата. 22 сентября, подошедши к Винкову, в виду Тарутинской позиции, надобно было вовсе оставить преследование, и здесь загорелось дело, в котором все усилия Мюрата сделать еще шаг вперед были победительно уничтожены. [...]

Здесь был перелом войны. Все успехи, следствие первоначального преимущества неприятеля над нами, были им приобретены, но с тем вместе и истощены. С нашей стороны все неизбежные жертвы были принесены: грозное и твердое отступление, бессмертными битвами ознаменованное, возвысило дух армии; новые подкрепления спешили к ней, отовсюду подвозы всякого рода водворяли и поддерживали изобилие, даже самую роскошь, в лагере, доставившем давно желанный и надежный отдых войскам. Тлевшая уже народная война вспыхнула и объяла истребительным своим малым огнем французскую армию. Партизаны начали свое дело. Каждый день стоит французам не менее трехсот человек при фуражировках, с каждым днем более трудных и убийственных. Цель перед Наполеоном убегала недостижимая. Мир – было слово для нас забытое и непроизносимое, непоколебима надежда на твердость [императора] Александра. Русский октябрь тешил и обманывал лучшими своими днями сынов Запада и Юга Европы, в сердце раздраженной и поднявшейся России проникших. Попытки вступить с Кутузовым в переговоры обращены в новую для врага сеть хитрым полководцем-дипломатом, которого, по слову Суворова, и Рибас не обманет. [...]

Поражение Мюрата[4] разрушило все мечты, прекратило все недоумения медлившего в кремлевских стенах Наполеона. Как бы в отмщение им за тайные свои страдания, за столько обманутых надежд в продолжение своего в них пребывания он приказал подорвать их – бессильное мщение, омрачившее еще одним пятном грозную драму великой его жизни!

7 октября армия французская оставила Москву и устремилась на Калугу в надежде обойти слева наш Тарутинский лагерь и успеть прежде нас занять ее. Но Кутузов, вовремя извещенный, благодаря в особенности бесстрашному Сеславину, оставил 11 октября свой навсегда знаменитый лагерь при Тарутине и 12-го пришел с армией к Малоярославцу, где уже с рассвета кипел кровавый бой у Дохтурова с вице-королем Итальянским. Этим уничтожено последнее покушение Наполеона приготовить себе отступление путем, от войны еще не потерпевшим. Гений России строгим, неумолимым перстом указал ему на опустошенные, собственные следы его нашествия, где голод и

[4] При Тарутине.

отчаяние ожидали его расстроенные полчища; а зима, русская зима, готовилась сковать морозами и саваном снегов окутать их.

С новым ожесточением полилась кровь на улицах и в домах Малоярославца, тем жесточее, что весь бой сосредоточен был на одной точке необозримого пространства обоих берегов реки Лужи, более и более черневших от подходивших с обеих сторон армий. Кажется, что здесь для Наполеона сражение не имело уже никаких целей и он следовал только одному увлечению упорства и отчаяния. С той минуты, что у Малоярославца показались сперва значительные силы и потом вся русская армия, движение которой было совершенно видно французам, ясно было, что план достигнуть Калуги разрушен и занятие Малоярославца бесполезно, особливо ценой такого страшного пролития крови. Между тем как Наполеон употреблял новые усилия, бесцельные, безнадежные, вероятно, душевные тревоги только в нем заглушавшие и умом не оправдываемые, – Кутузов, исполнив свой долг главнокомандующего, поставив быстрым и искусным переходом армию свою перед ним как щит твердый, непроницаемый, сам под шумом гремевшего боя, почти под ядрами, спокойно заснул на бурке, под открытым небом. Я видел его, приехав к нему от Милорадовича, почтительно ожидавшего его пробуждения. Старость взяла свое неодолимое право. Ему шел тяжкий семидесятый год. Сделав свое главное дело, он смело мог в остальном положиться на своих сотрудников. Эта сцена осталась у меня в свежей памяти, ничем не описанная…

[…] А Москва? Москва, из своего бессмертного пепла восставшая, прекрасная, богатая, новой, вечной славой великой жертвы озаренная, конечно, всегда будет помнить, вместе с целой Россией, свои дни скорби и запустения, но помнить с тем, чтобы гордиться ими: ибо пожар ее, над головой вторгнувшегося в нее врага зажженный, если был делом немногих, то был мыслью всех. И с ней вместе обратились в прах и все надежды завоевателя на мир и на победу […].

Граббе П.Х. Из Памятных записок графа
Павла Христофоровича Граббе. 1873



ЗАПИСКИ НЕИЗВЕСТНОГО О СДАЧЕ МОСКВЫ

Всякое происшествие лишается от времени политической важности, которую оно имело в продолжение своего существования; тогда оно входит в состав истории, начинают его исследовать и подвергают суждению, а сие бывает тем справедливее, когда оно основано на описаниях самовидцев. В сем положении находится Отечественная война: освободив Европу, она принадлежит ныне к истории почти во всех своих отношениях. Поэтому ничто не должно препятствовать обнаруживать того, что в нашем присутствии случалось, тем более что многие из генералов, принимавших в сей войне участие, прекратили уже жизнь. Обратим внимание на 2 сентября 1812 г. – самый горестный день похода.

От границы избегали генерального дела сперва по причине, что армии не соединились, а после – по недостатку выгодного места, на котором с меньшим числом, но можно бы было противиться неприятелям, превосходным в силах. Смоленск, Дорогобуж, Вязьма, Гжатск оставлены под сим предлогом; Бородино избрано для окончательного сражения. В течение восемнадцати часов усилия почти всех держав Европы и искуснейших полководцев нашего времени были тщетны; они были отбиты, и мы полагали, что 27 августа, возобновив дело, решит нашу участь. В ночь приказания готовиться на другое утро к сражению были разосланы, но вскоре велено отступить. Неприятель едва сему поверил; с рассветом он не появлялся на поле битвы и показался в самом малом числе поутру, около десяти часов, чтобы удостовериться, действительно ли мы удалились и позволено ли им будет подвинуться вперед. Наши войска заглянули с сокрушенным сердцем на поле, на котором чаяли искупить отечество и впервые в них поселилась мысль, что может быть до самой Москвы не дадут неприятелю отпору.

Мы шли пять дней сряду по Большой Московской дороге; нас оставалось немного более пятидесяти тысяч: на сей-то горсти людей опочила безопасность Империи. Сверх того, потеря в начальниках была приметна. Более тысячи офицеров пали с оружием в руках: иными полками командовали поручики; полковники – бригадами и дивизиями. Неприятель сильно наступал, близость Москвы удваивала их стремление, для нас пагубное, потому что не позволяло

нам устроиться. Опытный начальник арьергарда мог один, удерживая неприятеля далеко от армии, подать нам к сему средство; а посему арьергард, два дня после Бородинского сражения, поручили Милорадовичу. Он на каждом шагу останавливал короля Неаполитанского[1] и 29 августа принудил его даже отступить после кровопролитного дела, продолжавшегося во весь день. Он вообще столь искусно действовал, что однажды находился от Главной квартиры в сорока верстах. Наконец, мы приблизились к Москве. Неизъяснимые чувства волновали души, потому что сердца русских не могли постигнуть, чтобы враги могли быть вблизи матери городов наших. Первого сентября рано поутру светлейший князь прибыл на Поклонную гору, откуда столица представилась со всеми своими прелестными окрестностями и бесчисленными колокольнями. Он сел, по своему обыкновению, на небольшую скамью; пехота, конница, артиллерия и ополчения медленно и в безмолвии тянулись по дороге, покрывали поля и выходили из лесов. Почетнейшие из генералов окружили главнокомандующего. Это была торжественная минута. Мы увидели здесь графа Растопчина, который в первый раз приехал в армию. Многие из офицеров отыскивали позиции для сражения, потому что были еще в уверениях в скором времени встретиться с неприятелем и на некоторых возвышениях вдоль Поклонной горы начали рыть укрепления. Но по обозрении местного положения оказалось, что оно пересекаемо глубокими и крутыми рвами, которые во время дела воспрепятствовали бы переводить войска с одного места на другое, подкреплять резервами ослабевшие отряды и употреблять конницу. Позиция простиралась на четыре версты; пространство сие было слишком велико для армии, обессиленной Бородинским днем; позади оной находились столица и Москва-река, имеющая крутые берега. Таким образом, в случае неудачи армия была бы уничтожена и в невыгодном месте своего расположения, и во время переправы чрез Москву-реку, и при отступлении по пространнейшему городу в Европе. Однако же мысль пережить отдачу Москвы еще более была ужасна, хотя с отступлением от оной предвиделись великие выгоды, потому что приспевало время, в которое ежедневно должны были присоединиться к нам свежие войска. От разных соображений, колебавших генералов, начертывалась нерешимость на лицах их; они постигали важность последствий, которые должны были произойти от всякого предприятия, на каковое бы они ни покусились. Иногда столетия не переменяют порядка существующих вещей, а в другое время час решает участь отечества.

В сем положении светлейший князь пригласил первенствующих генералов, из коих некоторые находились еще при войсках, ими предводимых, на совещание в Главную его квартиру, в деревню Фили, в 4-м часу пополудни. Кажется, что намерение его отступить от Москвы было уже твердо принято: он не обязан был по власти своей спрашивать чьего-либо совета, но грядущие времена налагали на него долг узнать мнения генералов в таком слу-

[1] Мюрату, командовавшему авангардом наполеоновской армии.

чае, которого последствия долженствовали распространиться и на поздних потомков. Может быть, способствовала к сему и мысль о превратности счастья и о возможности неудачного продолжения войны.

В Совете находились, кроме главнокомандующего, генералы Беннигсен, Барклай де Толли, Платов, Дохтуров, Уваров, Раевский, Остерман, Коновницын, Ермолов, полковник Толь и генерал-интендант Ланской. Милорадович не присутствовал, потому что был в арьергарде. Светлейший князь, открыв заседание вопросом: «Принять ли сражение перед Москвою или отступить за оную», изложил мнение свое о неудобствах позиции и о выгодах, кои могут произойти от отступления, он присовокупил, что «доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну; но когда уничтожится армия, – погибнет Москва и Россия». Беннигсен сказал: «Мы спасем армию и Москву, когда сами пойдем атаковать неприятеля. Нам сие потому можно исполнить, что Наполеон отрядил корпус вице-короля Итальянского обойти нас справа и другой корпус, чтобы обойти нас слева – от сего силы его гораздо уменьшились; сверх того, многие тысячи мародеров расстраивают его армию: а посему если мы пойдем прямо на него, то он будет неминуемо разбит, а оба корпуса, посланные, чтобы нас обойти, будут сами отрезаны. Если вы сего мнения не примете, то я предлагаю стянуть все наши силы к левому крылу, стать к стороне дорог Смоленской и Калужской, имея позади нас Воробьевы горы, и тут ожидать, что неприятель предпримет». Барклай де Толли: «Если бы мы были намерены атаковать, то сие надлежало бы прежде; не надобно подходить близко к Москве, потому что гибель наша неизбежна в случае несчастия, т.е. отступления через оную». Приняв потом в уважение невыгоду позиции, он предложил идти назад. С ним согласились все, за исключением Беннигсена, Дохтурова, Уварова и Коновницына, которые говорили, чтобы перед Москвою сражаться. «Теперь надобно решиться, – сказал главнокомандующий, – в которую сторону нам направиться». Барклай де Толли предложил идти к Волге, куда в течение лета посланы были офицеры для осматривания мест. «Сверх того, – присовокупил он, – Волга, протекая по плодоноснейшим губерниям, кормит Россию». – «Но мы должны помышлять теперь, – отвечал фельдмаршал, – не о краях, продовольствующих Россию, но о тех, которые снабжают армию, а посему нам следует взять направление на полуденные губернии». В заключение положено идти по Рязанской дороге. Совещание продолжалось с небольшим час. Светлейший князь закрыл оное словами: «Что бы ни случилось, я принимаю на себя ответственность пред Государем, отечеством и армиею».

Протокола или журнала сего заседания не существует. Имея честь беседовать неоднократно со многими генералами, бывшими в оном, как-то: Беннигсеном, Дохтуровым, Коновницыным и Толем, я вменил себе в обязанность записывать то, что каждый из них мне сказывал, но здесь сообщаю не подробности прений, а только ход их и сущность, предоставляя себе до дальнейшего времени издать полное описание мнений, изложенных в Военном совете.

Можно себе представить, с каким нетерпением ожидали в лагере определения Совета. Генералы, заседавшие в оном, прибыли в сумерках к войскам своим. Уныние было повсеместно, когда узнали о сдаче Москвы, хотя сего ожидали и были уверены в необходимости сей меры. Немедленно сообщено о сем Милорадовичу, с тем чтобы он на другой день старался, сколь можно более, удерживать неприятеля своим арьергардом, дабы дать время армии, казенным и частным обозам пройти чрез Москву и, буде нужно, *«почтил бы сражением древние стены столицы»*. В то же время известили о сем графа Растопчина, который не был в Совете. Военным запретили без особенного позволения отлучаться из лагеря в город, где ночью было все спокойно: но тишина сия уподоблялась безветрию, предшествующему буре.

На другой день, 2 сентября, армия выступила из лагеря, когда первые лучи солнца возвестили прекраснейшую погоду и осветили необыкновенным блеском вершины столицы, в коей родились герои наши и монархи, классическую страну, увековеченную важнейшими происшествиями и воспетую бессмертными певцами. Армия проходила в порядке, поутру, по разным улицам города, а за нею следовали толпы жителей всех состояний и лет, спрашивая, куда им спасаться. Многие не верили, что неприятель идет за нами; надлежало их убеждать в сем честным словом. Иные из офицеров оставляли на некоторое время ряды свои, чтобы навестить дома родных своих, ныне опустелые, другие спешили к церкви, чтобы в молитвах почерпнуть новые силы. В сие время возобновились явления, описываемые греками, когда афиняне бежали из отчизны при нашествии варваров; настоящая война по опустошениям была подобна войнам древних, с тою разницею, что ныне вели ее в несравненно большем размере.

По выезде из Москвы светлейший князь велел оборотить лицом к городу дрожки свои и, облокотя на руку голову, поседевшую в боях, смотрел с хладнокровием на столицу и на войска, проходившие мимо его, с потупленным взором; они в первый раз, видя его, не кричали «ура». Посвятив пятьдесят лет на служение отечеству в поле, в советах и в посольствах, он ценил, конечно, более всех потерю Москвы, потому что кто лучше его мог знать, сколь она необходима для славы России, для красы ее и благоденствия. Оттуда, где он остановился, видны были многие из любопытных мест, но село Коломенское обращало преимущественно внимание некоторых из нас. Вот возвышение, думали мы, где Петр Великий играл в детстве, где он учил первые войска; на этих полях чувствовал он вдохновение к преобразованию Империи; мебель, ему служившая, разные произведения рук его и самая колыбель его – должны сделаться добычею неприятеля.

Пройдя несколько верст, армия сделала привал; ожидали с нетерпением известий из арьергарда, вслушивались, раздаются ли пушечные выстрелы, спрашивали у прибывавших из Москвы, далеко ли неприятель и не вступил ли уже в оную? Милорадович получил поутру письмо на французском языке от фельдмаршала для доставления оного к начальствующему неприятельскою армиею, в котором, по обыкновению, принятому на войне, русские больные и раненые,

находящиеся в Москве, поручались его покровительству. Он письма сего вдруг не отправил, а расположил войска в боевой порядок, чтобы дать упорнейшее сражение, выслав небольшой отряд на Воробьевы горы, дабы показать, что он намерен их защищать. Но в непродолжительном времени неприятельские колонны появились во множестве и обходили со всех сторон и даже с Воробьевых гор арьергард, который в сие время находился в шести верстах от столицы и движениями сими был от нее отрезан. В сем затруднительном положении иные думали атаковать, другие – на позиции принять сражение, а третьи – идти назад, сколь можно поспешнее. Сими средствами не достигнута была бы главная цель, и тем временем, как арьергард сражался или отступал, обошедшие его неприятели ворвались бы в Москву, завладели бы обозами, стесненными в улицах, и воспрепятствовали бы некоторой части армии выйти за город, а самый арьергард сделался бы неминуемо жертвою превосходного числом неприятеля. Милорадович не принял предложенных ему мнений, но потребовал офицера, знающего хорошо французский язык, и когда сей прибыл, то он сказал ему, с торжественным видом, отдавая ему помянутое письмо фельдмаршала к неприятельскому генералу о пощаде раненых и больных: «Отправьтесь к королю Неаполитанскому, командующему неприятельскими войсками против меня, вручите ему сие письмо и скажите моим именем, что я уговорил жителей Москвы не зажигать города, если неприятель не войдет в оный, доколе все обозы из оного отправлены не будут и не пройдет мой арьергард. Если король на сие согласен, то чтобы он остановил сейчас следование колонн, которые обошли меня с Воробьевых гор, которые из других застав должны сию минуту вступить в Москву. Но когда он откажет, то объявите ему, что я сам зажгу Москву, буду сражаться перед нею и в стенах ее и погребу себя под ее развалинами. Слова сии изумили предстоящих, и один из них сказал ему: «Généŕal, on ne brave pas ainsi l'armée française». – «C'est a moi à la braver et à vous à mourir», – отвечал Милорадович[2]. Посланный в скором времени возвратился с известием, что не токмо король Неаполитанский принимает сделанное ему предложение и приказал войскам своим не входить в Москву, доколе тяжести и арьергард наш чрез оную не пройдут, но что он склонит жителей не зажигать столицу. Милорадович отрядил двух генералов для учреждения порядка в улицах Москвы, а сам, пробыв несколько времени на позиции, начал мало-помалу отступать, прошел через город часу в пятом пополудни, способствуя жителям спасать себя и имущество свое. Едва он расположился за городом, в ближайшей деревне, как поспешил к нему генерал Панчулидзев[3] с донесением, что не успел выйти за заставу с дву-

---

[2] Генерал, перед французской армией не надо бравировать. – Это моё дело бравировать, а ваше – умирать – (…) (*фр.*). Для исторической точности я помещаю слова сии на французском языке, на котором они были произнесены. – *Прим. авт.*

[3] Генерал-майор Иван Давидович Панчулидзев 1-й, командовавший бригадою из Харьковского и Черниговского драгунских полков в 4-м кавалерийском корпусе графа Сиверса. Брат его, Семён Давидович Панчулидзев 2-й, командовал бригадою из Каргопольского и Ингерманландского драгунских полков во 2-м кавалерийском корпусе барона Корфа. – *Прим. авт.*

мя командуемыми им драгунскими полками, как неприятель их окружил, и что сии полки находятся теперь в цепи их. Послав к французскому генералу требовать освобождения их, Милорадович сел верхом, опередил своего посланного, проскакал без трубача и без всякого сопровождения чрез неприятельские посты, к великому их удивлению, и требовал громко начальствующего генерала. Явился Себастиани и начал говорить, что Россия и Франция, не имея причины к ссоре, должны жить в согласии. «Можно ли нам думать о мире, – сказал Милорадович – видя Москву в ваших руках?» и, окончив сии слова, скомандовал упомянутым двум драгунским полкам: «По три направо», – вывел их из неприятельской цепи, уговорив Себастиани освободить множество казенных и частных обозов, которые тут же были задержаны. Арьергард расположился в самой близи от столицы, а армия – при деревне Панки.

Таким образом кончился сей для России незабвенный день сдачи Москвы.

Военский К.А. Отечественная война 1812 года
в записках современников. 1911



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ф.В. АКИНФОВА

2 сентября арьергард под командою генерала от инфантерии Милорадовича, впоследствии графа, находился у Фарфоровых Заводов, в 10 верстах от Москвы, которую армия уже оставила; а когда неприятель стал наступать, арьергард начал медленное отступление и пришел около полудня к Поклонной горе.

Милорадович, опасаясь быть отрезан от Москвы корпусами французских войск, подходившими к ней другими дорогами, хотел без кровопролития слабого своего арьергарда остановить неприятеля. Воспользовавшись присланною из Главной квартиры запискою за подписанием полковника Кайсарова, что 9000 оставленных в Москве раненых и больных поручаются великодушному попечению французских войск, приказал мне[1] везти эту записку к королю Неаполитанскому и сказать, что если французы хотят занять Москву целою, то должны, не наступая сильно, дать нам спокойно выйти из нее с артиллерией и обозом; иначе генерал Милорадович перед Москвою и в Москве будет драться до последнего человека и вместо Москвы оставит развалины. Между тем поручил мне, чтобы я всячески старался как можно долее оставаться у французов.

Взявши из его конвоя трубача Черниговского драгунского полка, поехал я к передовой цепи, состоящей из конных егерей, которая по сигналу моего трубача остановилась, и ко мне подъехал полковник 1-го конно-егерского полка. На вопрос его я отвечал, что имею поручение от начальника нашего авангарда генерала Милорадовича к королю Неаполитанскому.

Меня проводили к командовавшему аванпостами генералу Себастиани, который спросил, чего я желаю. Услышав, что имею поручение к королю Неаполитанскому, отвечал, что все равно могу ему сообщить. На отзыв мой, что не имею приказания адресоваться к нему и не смею никому передавать моего поручения, кроме короля Неаполитанского, к которому послан, генерал Себастиани приказал вести меня к Мюрату.

---

[1] Я служил тогда в лейб-гвардии гусарском полку штабс-ротмистром и с Бородинского сражения командовал эскадроном полкового командира. – *Прим. авт.*

Проехав мимо 5 кавалерийских полков, стоявших развернутым фронтом «ан эшикьэ», перед пехотными колоннами увидел я Мюрата, блестяще одетого, с блестящею свитою.

По приближении моем приподнял он свою шитую золотом с перьями шляпу, и, когда подъехал к нему я, был окружен его свитою. Тут он закричал, чтобы нас оставили, и, по удалении свиты, положа руку на шею моей лошади, сказал мне: «Господин капитан, что вы мне скажете?» – вероятно в ожидании, что я имею гораздо важное поручение.

Подавши ему записку, присланную из Главной квартиры, я сказал, что генерал Милорадович, будучи уверен, что ему приятно будет занять столицу своих неприятелей целою, требует, чтобы, не беспокоя наш арьергард, он дал нам пройти, иначе генерал Милорадович решился драться в Москве и перед Москвой до последнего человека и вместо Москвы уступит развалины, не оставя камня на камне; для того бы король приказал остановиться французской колонне, готовой вступить в Москву, кажется, чрез Калужскую заставу.

На первое Мюрат лишь отвечал, что «напрасно поручать больных и раненых великодушию французских войск; французы в пленных неприятелях не видят уже врагов», а на второе сказал, что ничего не может решить без Наполеона, к которому и был я тотчас отправлен с адъютантом его; но, проехавши около 200 шагов, прискакал за мною офицер свиты Мюрата с приказанием воротиться к нему. А увидев меня, сказал, что, желая сохранить Москву, решается сам согласиться на предложение генерала Милорадовича и пойдет так тихо, как нам угодно, с тем только, чтобы Москва занята была французами в тот же день. А когда я отвечал, что генерал Милорадович будет на это согласен, тогда он послал приказ всем передовым цепям остановиться и прекратить перестрелку; меня же спросил, знаю ли я Москву, и на ответ мой, что я уроженец московский, просил сказать жителям Москвы, чтобы они были покойны, что им не только никакого вреда не сделают, но никакой контрибуции не возьмется и всячески будут стараться об их безопасности.

Спрашивал также, не оставили ли Москвы жители, где граф Растопчин? Я отвечал, что, быв беспрерывно в авангарде и в делах, ничего ни о Москве, ни о графе не знаю. На вопрос же, где теперь наш император, о котором по службе моей в гвардии я должен знать, ответ мой был, что хотя я служу в гвардии, но как бригада наша все время от Вильны в авангарде, то мне неизвестно местопребывание императора, который часто бывает при армии (я не смел сказать, что император в Петербурге, не знавши расположения нашей армии и опасаясь, по молодости лет и неопытности своей, что французы могут послать корпус на Санкт-Петербург). Потом он спросил, где великий князь Константин Павлович, на что я отвечал, что его нет, кажется, теперь при армии. Тут Мюрат мне рассказывал, что уважает императора Александра, бывши даже связан дружбою с великим князем, и очень жалеет, что по обстоятельствам должен воевать против них.

Спросил также, много ли наш полк потерял? Я отвечал: «Не может быть без потери, находясь почти ежедневно в сражении». – «Тяжелая война!» – говорит мне. «Мы деремся, – сказал я, – за отечество и не примечаем тягости войны». – «Отчего не делают мира?» – прибавя тут по своей привычке солдатское выражение. Я отвечал, что это должно быть ему известнее, что, по моему мнению, никоторая армия еще не разбита и никоторая не может похвалиться совершенно победою. Он улыбнулся и, сказав: «Пора мириться», предложил, не хочу ли я закусить? Поблагодарив его, я отвечал, что мы в совершенном избытке всего и что они так поздно начинают день, когда мы пообедали. Повторя мне еще уверение о старании, которое приложит к сбережению Москвы, и о почтении к генералу Милорадовичу, поручил ему сказать, что если согласился на его предложение, то единственно из уважения только к нему. Потом отпустил меня.

В сопровождении того же полковника 1-го конно-егерского полка я ехал маленьким галопом и, чтобы более продлить время, просил позволить мне полюбоваться двумя польскими гусарскими полками. Провожавший меня полковник согласился проехать со мною по фронту этих полков. Но, заметив, что я тихо галопирую и что мы много теряем времени, просил меня пустить лошадь в полный галоп. Я должен был согласиться на это и, проехавши французскую цепь, подъехал к командующему нашей цепью, лейб-гвардии Казачьего полка полковнику Ефремову. Объявив ему, что Мюрат согласен тихо идти за нашими казаками, поскакал к Милорадовичу, который подходил уже к Яузе.

Когда я рассказал Милорадовичу разговор мой и ответ Мюрата, сказав: «Видно, они очень рады занять Москву», – он послал меня опять предложить Мюрату, в дополнение условия его, заключить перемирие до 7 часов следующего утра, чтобы могли свободно из Москвы выйти все наши обозы и остальные, в противном случае он останется при своем прежнем решении, будет драться в Москве.

Воротясь, я нашел близ Драгомиловской заставы Мюрата, который ехал вслед за своей передовой цепью, смешавшейся с нашими казаками. Приняв меня очень ласково, он беспрекословно согласился на это предложение, но с тем, что все не принадлежащее армии будет оставлено; потом спросил меня, сообщал ли я жителям Москвы, что они могут быть в совершенной безопасности? Хотя, поистине, я не думал, и не с кем было в Москве говорить об этом, но должен был уверить Мюрата, что исполнил его поручение.

Возвратясь к Милорадовичу и передав ему согласие Мюрата, когда мы совсем вышли из опустевшей Москвы, где только в церквах толпился народ, и, отойдя 4 версты по Рязанской дороге, остановились, Милорадович послал меня к Его светлости, главнокомандующему князю Кутузову, с донесением, что при отступлении из Москвы потери не было.

Дорога и поля были загромождены экипажами. Тысячи карет, колясок, фур, телег теснили друг друга, спеша от неприятеля. Между полковыми обо-

зами и подводами с нашими ранеными, партиями пленных я с трудом мог добраться до Главной квартиры, расположившейся по Рязанской дороге в селении Панки, и приехал туда уже в сумерки.

Полковник Кайсаров, к которому явился я, пошел сперва доложить обо мне Светлейшему и потом представил ему. Я нашел его в крестьянской избе, в сюртуке, сидящим за длинным столом, на конце которого сидел генерал Беннигсен. Когда я донес об отступлении нашем через Москву, он расспрашивал меня о Мюрате, что он говорил и даже подробностях его истинно театральной одежды; удостоил благодарить меня как за исполнение поручения, так и за ответы мои Мюрату, велел записать мое имя, генералу Милорадовичу объявить его благодарность, сказав, что он остается тут дневать завтра и потому бы Милорадович держался с арьергардом.

Возвратясь очень поздно к последнему, я разбудил его и сообщил ему благодарность и приказание главнокомандующего. Милорадович был, казалось, в затруднении держаться слабым арьергардом, если бы неприятель вздумал на нас напирать.

По исполнении, таким образом, моего поручения возвратился я к своему эскадрону. Но слышал, что наш герой нашелся еще раз исполнить приказание главнокомандующего без кровопролития. Узнав от меня, что аванпостами командует Себастиани, которого Милорадович знал по случаю проезда его из Константинополя чрез Бухарест, он сам поехал к неприятельским аванпостам, спросил генерала Себастиани и, обрадовавшись друг другу, предложил ему не проливать крови в день их свидания и что он так отступит 4 версты. Не смею утверждать справедливости этого, быв тогда во фронте, а не при Милорадовиче, но знаю, что мы точно отступили с арьергардом 4 версты, продневали без сражения и даже целый день не садились на лошадей, а на следующее утро начали опять отступление с бою.

Харкевич В.И. 1812 год в дневниках, записках
и воспоминаниях современников. 1900



ПИСЬМО ГРАФА А.Ф. МИШО К ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТУ А.И. МИХАЙЛОВСКОМУ-ДАНИЛЕВСКОМУ О РАЗГОВОРЕ С ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ В 1812 ГОДУ

30 июля 1819 г.

Мой дорогой полковник!

После нашего вчерашнего разговора о событиях войны 12-го года, я думаю, мой дорогой, что доставлю Вам удовольствие передачей небольшого разговора, который я имел честь вести с Его Величеством, нашим всемилостивейшим Императором 8 сентября 1812 года. Он должен был бы составить эпоху в истории, показывая силу души нашего Монарха, плохо понятого теми, кто думал, что он готов заключить мир после потери Москвы.

Вы знаете, мой дорогой рыцарь, что я был послан маршалом Кутузовым отвезти известие Его Величеству об оставлении Москвы, огни которой освещали мне путь вплоть до самого Мурома; никогда сердце путешественника не было затронуто ощутительнее, чем мое в этот раз; русский сердцем и душою, хотя и иностранец, вестник одного из печальнейших событий лучшему из Монархов, проезжающий через страну среди более полумиллиона жителей всех классов, которые выселяются, унося с собой только любовь к отечеству, надежду на отмщение и безграничную преданность своему уважаемому Монарху, поражаемый поочередно то тягостью своей миссии и скорбью обо всем, что я видел, то радостью, испытываемою мной при виде повсюду вокруг себя народного энтузиазма, я прибыл 8-го утром в столицу, исполненный скорби о тех печальных известиях, которые мне предстоит передать. Приняв меня тотчас же по моем прибытии в своем кабинете, Его Величество уже по моему виду понял, что я не привез ничего утешительного…

«Вы привезли мне печальные известия, полковник?» – сказал он мне. – «Очень печальные, – ответил я ему. – Оставление Москвы». – «Неужели же отдали мою древнюю столицу без боя?» – «Ваше Величество, окрестности Москвы не представляют никакой позиции, чтобы можно было отважиться на сражение, имея военные силы в меньшем числе, чем у неприятеля; маршал рассчитывал сделать лучше, сохраняя Вашему Величеству армию,

потеря которой без спасения Москвы могла бы быть ужасным результатом сражения, но которая, благодаря только что доставленным Вашим Величеством подкреплениям, встречаемым мною со всех сторон, вскоре окажется даже переходящею в наступление и заставит неприятеля раскаяться в том, что он проник в недра ее государства»... – «Неприятель вошел в город?» – «Да, Ваше Величество, и город обратился в пепел тотчас по его входе туда; я оставил его весь в пламени». При этих словах глаза Монарха поведали мне о состоянии его души, которое меня так взволновало, что я еле сдерживался... – «Я вижу, полковник, по всему, происходящему с нами, что Провидение требует от нас великих жертв; я вполне готов всецело подчиниться Его воле. Но скажите мне, Мишо, каким вы оставили дух армии, видящей мою древнюю столицу, покидаемую без кровопролития: разве это не повлияло на умы солдат? Не заметили ли вы упадка духа?» – «Ваше Величество, вы мне позволите, – ответил я ему, – говорить с Вами откровенно, как подобает военному человеку»... – «Полковник, я этого требую всегда, а в настоящий момент в особенности, я прошу вас говорить со мной так, как вы делали это в другое время; не скрывайте от меня ничего, я хочу знать безусловно все то, что есть». – «Ваше Величество, я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата включительно, в ужасном, чрезвычайном страхе»... – «Как это? – возразил Монарх с негодующим видом. – Откуда могут рождаться страхи? Разве когда-либо мои русские позволяли каким-либо несчастиям сломить себя?»... – «Никогда, Ваше Величество, они боятся только, как бы Ваше Величество по доброте сердечной не решились бы заключить мир; они сгорают от нетерпения вступить в бой и доказать Монарху свое мужество и преданность ему ценою своей жизни»... – «Ах, вы меня успокаиваете, полковник (при этом он меня похлопал по плечу); итак, возвращайтесь в армию, скажите нашим храбрецам, всем моим верноподданным, всюду, где только вы будете проезжать, что, если у меня не останется ни одного солдата, я сам стану во главе моего дорогого дворянства, моих дорогих крестьян и употреблю все до последнего средства моей империи; она мне предлагает их еще больше, чем рассчитывают мои враги; но, если только Судьбы Божии предопределили моей династии прекращение царствования на престоле моих предков, то я, истощив все до последнего средства, находящиеся в моей власти, отращу себе бороду до сих пор (при этом он показал рукой по пояс) и пойду есть картофель с последним из моих крестьян скорее, чем подпишу мир, позорный для моего отечества и для моего дорогого народа, все жертвы которого, приносимые для меня, я умею ценить»... Затем, ушедши в глубину кабинета и вновь возвратившись быстрыми шагами с оживленным лицом, он сказал мне, сжимая мою руку в своей: «Полковник Мишо, не забывайте того, что я вам здесь говорил; может быть, мы когда-либо вспомним об этом с удовольствием. Наполеон или я, но вместе – он и я – мы царствовать не можем; я уже выучился понимать его; он меня больше не обманет»... Мне не удалось, мой дорогой, описать

вам здесь состояние моей души при мысли о том счастье, которое я готовился возвестить армии.

«Ваше Величество! – ответил я ему, восхищенный всем, что только что слышал. – Ваше Величество в настоящий момент возвещаете славу своего народа и спасение Европы».

Россия и Наполеон. 1913



ИЗ ЗАПИСОК А.Я. БУЛГАКОВА

В сию столь горестную, а вместе с ним и славную для России эпоху я имел честь служить при знаменитом муже и главнокомандующем в Москве графе Федоре Васильевиче Растопчине. Император Александр Павлович, прибыв в июле месяце в Москву, особенным именным собственноручным указом повелел, чтобы я откомандирован был из Государственной Коллегии иностранных дел к московскому главнокомандующему для употребления им по делам службы. Происшествия шли тогда быстро. Настало достопамятное 26 августа. О Бородинской сече говорили в Москве, как предки наши говаривали о Мамаевом побоище. Казалось, что кровь, в Бородине пролитая, протекала к нам в Белокаменную, дабы наполнять сердца наши ужасом и призывать оные к мести.

С утра другого дня был я у графа, жившего тогда в Сокольничьей роще, на даче своей (пред сим графу Брюсу принадлежавшей). Он был бледен; на лице его изображалось волнение души его, особенно когда приходили ему докладывать (а это случалось весьма часто), что привезена еще партия раненых из армии[1]. Передняя Растопчина и зала перед кабинетом его были наполнены всякого рода людьми, а особенно любопытными, приходившими узнавать что-нибудь нового. Много также приезжало к графу особ почти с самого Бородинского поля сражения, как-то: атаман М.И. Платов, генерал-адъютант И.В. Васильчиков, действительный тайный советник граф Никита Петрович Панин, генерал-лейтенант князь Сергей Николаевич Долгоруков, тайный советник Анштет и многие другие; все они тотчас были допускаемы к графу; иные были еще в дорожных своих платьях. Когда кончились все посещения и приемы и распущена была канцелярия, я вошел к графу и остался с ним, по обыкновению, до той минуты, что надобно было сойти вниз к обеденному столу. Взглянув на него, я был поражен расстройством, которое нашел во всех чертах его лица. «Eh bien, mon

[1] Графом Растопчиным устроена была на всякий случай в Екатерининских казармах больница для 3000 раненых, а их привезено было в Москву до 11 тысяч. – *Прим. авт.*

cher! – сказал мне граф печально, – que dites vous de tout cela?» (Ну! что, как вам[2] это все кажется?)

Нельзя было не разделять общих пасмурных предчувствий и опасений, но, желая несколько рассеять графа, я стал ему рассказывать все, что слышал от уланского полковника Шульгина[3], присланного в Москву цесаревичем великим князем Константином Павловичем с каким-то препоручением. Шульгин, между прочим, уверял, что Мюрат был взят казаком нашим в плен и что его повезли под конвоем в Москву. Граф, усмехнувшись, возразил мне следующими словами: «Покуда Шульгин полонит у Наполеона королей, французы берут у нас города, один за другим!.. Кутузов называет это победою... Дай бог, чтобы так было; но в этом кровавом потоке (граф, говоря по-французски, употребил слово boucherie) поглощены наравне победители с побежденными. Они свое отделали! Жестоко дрались; теперь моя очередь... доходить до Москвы. Но Москва не Можайск... Москва – Россия! Все это ужасное бремя ляжет на меня. Что я буду делать?..» Граф при сих словах обе руки закинул себе в затылок; казалось, что он как бы хотел рвать на себе волосы.

«Что вы делать будете? – сказал я графу. – Ограждать внутреннее спокойствие Москвы... Все в руках предводителя армии, и весьма естественно, что вы одни столицу спасти не можете...» – «Так не будет никто судить, – отвечал Растопчин. – Я буду виноват... я буду за все и всем отвечать... меня станут проклинать, сперва барыни, а там купцы, мещане, подьячие, а там и все умники, и православный народ... Я знаю Москву!..»

В эту минуту отворилась дверь кабинета, и к нам вошли Николай Михайлович Карамзин[4] и сенатор Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Граф их обоих отлично любил и уважал, и они имели во всякое время свободный к нему доступ. Разговор продолжался еще более получаса о том же предмете. Я никогда не забуду пророческих изречений нашего историографа, который предугадывал уже тогда начало очищения России от неприятеля и освобождение целой Европы от несносного ига Наполеона. Карамзин скорбел о Багратионе, Тучковых, Кутайсове, об ужасных наших потерях в Бородине и, наконец, прибавил: «Ну! Мы испили до дна горькую чашу... но за то наступает начало его и конец наших бедствий. Поверьте, граф: обязан будучи всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет». Казалось, что прозорливый глаз Карамзина открывал уже вдали убийственную скалу Св. Елены. В Карамзине было что-то вдохновенного,

[2] Граф Растопчин соблюдал всегда чрезмерную вежливость в обхождении и разговорах. Несмотря ни на какое лицо, ни на самое короткое знакомство, он никогда или весьма редко употреблял слово «ты». – *Прим. авт.*

[3] Александр Сергеевич Шульгин, впоследствии об[ер]-полицеймейстер в Москве. – *Прим. авт.*

[4] Карамзин жил тогда у графа Растопчина (жена которого была родная племянница первой жены Карамзина) и готов был принять участие в сражении под Москвою, как видно из писем его к его брату Василию Михайловичу в Симбирскую деревню. – *Прим. авт.*

увлекательного и вместе с тем отрадного. Он возвышал свой приятный мужественный голос; прекрасные его глаза, исполненные выражения, сверкали как две звезды в тихую ясную ночь. В жару разговора он часто вставал вдруг с места, ходил по комнате, все говоря, и опять садился. Мы слушали молча. Нелединский так был тронут, что я не один раз замечал слезы на его глазах.

Граф Растопчин тоже слушал, не возражая ничего; но как скоро ненавистное для него имя Наполеона поразило слух его, лицо его тотчас переменилось, покраснело, и он сказал Карамзину с досадою: «Вы увидите, что он... вывернется!» Разговор так был серьезен, что лестный титул, коим граф возвеличил Наполеона, не заставил никого из нас даже усмехнуться, и Карамзин, как бы не вслушавшись в оный, с каким-то твердым убеждением возразил: «Нет, граф! Тучи, накопляющиеся над главою его, вряд ли разойдутся... У Наполеона все движется страхом, насилием, отчаянием; у нас все дышит преданностью, любовью, единодушием... Там сбор народов, им угнетаемых и в душе его ненавидящих; здесь одни Русские... Мы дома, он как бы от Франции отрезан. Сегодня союзники Наполеона за него, а завтра они все будут за нас... Можно ли думать, чтобы австрийцы, пруссаки охотно дрались против нас? Зачем будут они кровь свою проливать? Для того ли, чтобы утвердить еще более гибельное, гнусное могущество всеобщего врага? Нет, не может долго продолжиться положение, соделавшееся для всех нестерпимым». Карамзин был в большом волнении: он остановился, задумался и прибавил: «Одного можно бояться». Все молчали и искали угадать смысл сих последних таинственных слов, как Растопчин вдруг воскликнул: «Вы боитесь, чтобы государь не заключил мира?»

«Вот одно, чего бояться можно, – отвечал Карамзин. – Но этот страх не имеет основания: все политические уважения, все посторонние происки уступят прозорливости государя нашего. Впрочем, не дал ли он нам и целому свету торжественный залог в манифесте своем?.. Он меча не положит... не возьмет пера, покуда Россия будет осквернена присутствием новых вандалов».

В Карамзине тоже начинал развиваться жар, волновавший Растопчина; разговор его продолжался не с прежним уже хладнокровием, и он начал проклинать Наполеона, яко бич, Богом ниспосланный.

Достопамятное сие утро останется всегда в памяти моей. Я тогда же слова Карамзина передал немедленно на бумагу, но уверен, что они и без того глубоко бы врезались в душу мою. Продолжая разговор свой, он делал прекрасное, истинно поэтическое сравнение между положением и душевными качествами императора Александра и Наполеона, как в ту минуту, к сожалению, пришли доложить, что нас ждут к обеду. Мы сошли вниз. Граф был довольно покоен за столом и любезен, по обыкновению своему; разговаривал долго во время кофе с витебским помещиком Гуркою, который

вынужден был удалиться от разоренных неприятелем поместьев своих. Растопчин выхвалял здравые рассуждения этого почтенного старика.

Когда гости разъехались, то граф пошел со мною в свой кабинет и начал разговор сими словами: «Comment avez-vous trouve Karamzine tantot? N'est-ce pas qu'il y avait beaucoup d'extaise poetique dans ce qu'il disait?» (Как вам показался давеча Карамзин? Не правда ли, что в его речах много было поэтического восторга?)

«Конечно, будущее сокрыто от всех, – отвечал я, – но Карамзин излагает мысли свои и чувства убедительно, пламенно, и желательно было бы, чтобы все русские одинаково с ним мыслили».

«Как ни убедительны, а может быть, и справедливы рассуждения Карамзина, – возразил граф, – но я более дам веры словам и мнению военных: Платов и Васильчиков боятся за Москву. Не известно, станут ли ее отстаивать! Другого Бородина ожидать нельзя; а ежели падет Москва... что будет после? Мысль эта не дает мне минуты покоя! Последствий нельзя исчислить. Я бы вам советовал подумать о своем семействе. Отвезите оное куда-нибудь в безопасное место, а там воротитесь ко мне... Куда? Где? Не знаю! Это Богу одному известно».

Как ни тяжела была для меня разлука с начальником, с коим желал я разделять все заботы и опасности, но, дабы скорее возвратиться, я отправился в тот же день в подмосковную свою деревню, с. Семердино, выпроводил оттуда жену и детей к тетке ее, княгине Наталье Петровне Куракиной, имевшей вотчину Владимирской губернии в Шуйском уезде, и возвратился поспешно в Москву в самый день занятия оной неприятелем, был им захвачен на улице и особенным промыслом всевышнего спасся от смерти[5]. Москва уже пылала, когда я из оной выезжал. Я нашел графа Растопчина во Владимире, куда приехал он, больной.

В верстах 30 от сего города имел пребывание в селе своем Андреевском генерал-адъютант граф Михаил Семенович Воронцов. Он был ранен пулею в ляжку под Бородином и приехал в вотчину свою лечиться. Андреевское сделалось сборным местом большого числа раненых, и вот по какому случаю. Привезен, будучи раненный, в Москву, граф Воронцов нашел в доме своем, в Немецкой слободе, множество подвод, высланных из подмосковной его для отвоза в дальние деревни всех бывших в доме пожитков, как-то: картин, библиотеки, бронз и других драгоценностей. Узнав, что в соседстве дома его находилось в больницах и в партикулярных домах множество раненых офицеров и солдат, кои, за большим их количеством, не могли все получать нужную помощь, он приказал, чтобы все вещи, в доме его находившиеся, были там оставлены на жертву неприятелю; подводы же сии приказал употребить на перевозку раненых воинов в село Андреевское. Препоручение сие возложено было графом на адъютантов его, Николая Васильевича Арсеньева и Дмитрия Васильевича

[5] Сведения об этом в Записках А.Я. Булгакова отсутствуют.

Нарышкина, коим приказал также, чтобы они предлагали всем раненым, коих найдут на Владимирской дороге, отправиться также в село Андреевское, превратившееся в госпиталь, в коем впоследствии находилось до 50 раненых генералов, штаб- и обер-офицеров и более 300 человек рядовых.

Между прочими ранеными находились тут генералы: начальник штаба 2-[ой] армии граф Сен-При, шеф Екатеринославского кирасирского полка Николай Васильевич Кретов, командир Орденского кирасирского полка полковник граф Андрей Иванович Гудович; лейб-гвардии егерского полка полковник Делагард; полковой командир Нарвского пехотного полка подполковник Андрей Васильевич Богдановский; Новоингерманландского пехотного полка майор Врангель; старший адъютант сводной гренадерской дивизии капитан Александр Иванович Дунаев; Софийского пехотного полка капитан Юрьев; адъютанты Орденского кирасирского полка поручики Лизогуб и Почацкий; лейб-гвардии егерского полка поручики Федоров и Петин, офицер Нарвского пехотного полка капитан Роган; поручики Мищенко, Иванов, Змеев, подпоручик Романов и многие другие, обагрившие кровью своею Бородинское поле.

Все сии храбрые воины были размещены в обширных Андреевских палатах самым выгодным образом. Графские люди имели особенное попечение за теми, у коих не было собственной прислуги. Нижние чины размещены были по квартирам в деревнях и получали продовольствие хлебом, мясом и овощами, разумеется, не от крестьян, а на счет графа Михаила Семеновича; кроме сего, было с офицерами до ста человек денщиков, пользовавшихся тем же содержанием, и до 300 лошадей, принадлежавших офицерам; а как деревни графа были оброчные, то все сии припасы и фураж покупались из собственных его денег.

Стол был общий для всех, но всякий мог по желанию своему обедать с графом или в своей комнате. Два доктора и несколько фельдшеров имели беспрестанное наблюдение за ранеными; впоследствии был приглашен графом в Андреевское искусный оператор Гильдебрант. Излишне прибавлять здесь, что так, как и все прочее содержание, покупка медикаментов и всего нужного для перевязки раненых производились на счет графа. Мне сделалось известным от одного из домашних, что сие человеколюбие и столь внезапно устроившееся в Андреевском заведение стоило графу ежедневно до 800 р[уб.][6] Издержки сии начались с 10 сентября и продолжались около четырех месяцев, то есть до совершенного выздоровления всех раненых и больных. Надобно принять с уважением, что заслуженный и достопочтенный старец граф Семен Романович Воронцов был тогда еще жив: сыну его надлежало отнимать

[6] При сем долгом моим почитаю изъявить чувствительнейшую мою благодарность особе, сообщившей мне многие подробности, здесь помещенные. Имя сего заслуженного воина находится в списке вышеименованном. Он вступил впоследствии в гражданское поприще и ныне занимает высокий сан в Московских департаментах Правительствующего сената. (Вероятно, граф А.И. Гудович.)

значительную часть собственного необходимого дохода, чтобы прикрывать все потребности и обеспечивать лечение столь значительного числа храбрых воинов.

О сем достохвальном, человеколюбивом подвиге графа Воронцова никогда не было ни говорено, ни писано. Я радуюсь, что представился мне ныне столь неожиданный случай сделать оный гласным. Не довольствуясь одним призрением и лечением столь большого числа воинов, граф Воронцов снабжал всякого выздоровевшего рядового бельем, обувью, тулупом и 10 рублями и, по сформировании небольших команд, при унтер-офицере отправлял их в армию на новые подвиги. Боясь заслужить нарекания от графа Воронцова, я не присовокуплю к сему, как было поступаемо с офицерами, кои по выздоровлении своем оставляли Андреевское. Он, может быть, недоволен будет и тем, что я сообщаю читателям моим все сии подробности. Быть может также, что он лучшую награду за свой человеколюбивый подвиг полагает в том, что оный оставался до сих пор в безызвестности. Душевная доброта сопряжена бывает обыкновенно со скромностью; но не могу я, однако же, в заключение не сказать, что сколь ни были значительны все сии пожертвования, они, однако же, равняться не могут с нежными, утонченными попечениями графа о товарищах, с коими он на поле чести защищал отечество и славу русского оружия, а дома братски разделял все, что имел[7].

По старинной моей связи с графом я часто его навещал. Прекрасный обширный, убранный по древнему вкусу замок его напоминал владения германских владетельных принцев на Рейне. Тут все было: сады, рощи, парки, портретная галерея великих мужей в России, библиотека и пр. Гости роскошествовали. Ласка, добродушие, ум и любезность хозяина соделывали общество его для всех отрадным. Несмотря на то что он не мог еще ходить без помощи костылей, он всякое утро навещал всех своих гостей, желая знать о состоянии здоровья всякого и лично удостовериться, все ли довольны. Всякому предоставлено было (как сказано выше) обедать в своей комнате одному или за общим столом у графа; но все те, коим раны позволяли отлучаться от себя, предпочитали обедать с ним. После обеда и вечером занимались все разговорами, курением, чтением, бильярдом или музыкой. Общество людей совершенно здоровых не могло бы быть веселее всех сих собравшихся раненых. Нас особенно забавлял один французский эмигрант, служивший у нас в армии, большой болтун и спорщик, не всегда основательно, но зато весьма скоро и решительно разрешавший все прения, кои возникали в разговорах наших. Когда разнеслась под Бородиным радостная весть, что будет дано

[7] Прибавить надо, что по распоряжению графа Воронцова соседние помещики часто получали от него успокоительные уведомления о ходе военных дел: тогда неизвестно еще было, в какую сторону направился из Москвы неприятель (слышано от покойного Д.Д. Казакова, отец которого был помещиком Владимирской губернии). Трехэтажный дом в селе Андреевском (ныне принадлежащем правнуку Воронцова, князю Михаилу Андреевичу Воронцову – графу Шувалову) так обширен, что в нём могли с удобствами расположиться раненые генералы и офицеры.

сражение Наполеону, то Ж... воскликнул с восхищением: «Наконец настигнули мы Бонапарта и дадим ему маленький урок!» Ж... был уверен, что русская армия преследовала французскую от самого Немана и что наконец принудила оную к сражению под Бородиным.

В смутное это время поездки мои в Андреевское были истинною для меня отрадою. Любопытны и приятны были рассказы всех сих раненых воинов. Сколько геройских подвигов, доказывающих неустрашимость, самоотвержение и великодушие русских, останутся сокрытыми для потомства; но тогда не было досугов для воспевания славных дел: всякий старался токмо совершать оные, сколько усердие, силы и знание то позволяли.

Живши с графом Федором Васильевичем в одном доме[8], я почти весь день проводил с ним. [...] Разговор с ним никогда не истощался: он переходил нечувствительно от одного предмета к другому, имея особенный дар всякое происшествие рассказывать занимательно и остро. Он был, как всем известно, словоохотен, обладал особенным даром красноречия, чуждого всякого педантства, натяжек и принужденности. Роль собеседника с ним была весьма нетрудна: ему надлежало только слушать. У графа была на это особенная догадка и навык: он умел всегда соразмерять рассказы свои уму и понятиям того, с кем разговаривал. Нельзя было не удивляться обширной его памяти, любезности, остроте и особенному дару слова, коим одарен он был от природы.

В то самое время посетил его бывший главнокомандующий армиями граф Михаил Богданович Барклай де Толли[9]. Он нарочно приехал к нему из армии, думал провести с ним около часа и вместо того просидел у него от восьми часов утра до трех пополудни. Оба сии знаменитые мужа имели свои участки забот, свою долю огорчений, своих недоброжелателей, и обстоятельство сие немало способствовало к сближению их и утверждению между ними истинной приязни. Растопчин отдавал всегда должную справедливость достоинствам графа Барклая де Толли, и в то время, когда вся почти Россия единогласно обвиняла его за отступление от границы империи до Можайска без боя, в то время как в огорченном отечестве нашем многие осмеливались даже подозревать преданность его к России, Растопчин всегда его защищал. Подкрепляемый совестью своей, движимый любовью к престолу, усердием к службе, Барклай де Толли в 1813 и 1814 годах оправдал себя в глазах всех тех, кои обвиняли действия его в 1812 году. Участвуя во всех славных битвах в Германии и Франции, он наконец ввел победоносные российские войска в Париж и приуготовил себе памятник, воздвигнутый ему пред Казанским собором.

Минина и Пожарского славные подвиги были токмо чрез двести лет торжественно и гласно признаны благословенным Александром I[10]; может

---

[8] То есть во Владимире.

[9] С адъютантом своим А.А. Закревским.

[10] Воздвижением памятника им на Красной площади в Москве в феврале 1818 г. Мысль об этом памятнике возникла ещё в 1807 г., когда Наполеон грозил вторжением в Россию.

быть, позднейшему потомству предоставлено воздать также справедливую честь современникам нашим, Еропкину и Растопчину. Но ежели первый укротил бунт в древней столице, то последний большую указал еще услугу отечеству своему, предупредив в оной безначалие благоразумными своими распоряжениями. В 1812 году глаза целой России обращены были на Москву: от отчаяния до возмущения и кровопролития один токмо шаг. Как исчислить все несчастия, кои постигли бы отечество наше, ежели Москва не показала бы и в сем случае обыкновенной своей пламенной любви и непоколебимой преданности к царю своему? Тишина, порядок и повиновение к верховной власти, кои царствовали в древней столице до самого вступления неприятеля в оную, имели спасительное влияние на все прочие города России и дали отечеству пример, достойный подражания.

На другой день после посещения графа Барклая де Толли, вошедши, по обыкновению моему, поутру к графу, я нашел его в болезненном состоянии. Он всю ночь провел без сна и, увидя меня, сказал слабым голосом: «Я весь болен; с час назад был у меня сильный обморок. Шнауберт (доктор графа) прописал мне лекарство и велел остаться весь день в постели. Мне нужен покой. Я понимаю скуку быть с больным: вы бы съездили к Воронцову. Эта поездка вас рассеет; может быть, есть вести из армии или из Москвы; вы мне их сообщите; сверх того, желаю я иметь известие о здоровье Михаила Семеновича».

Сколь ни находил я удовольствия разделять уединение человека, коему был душевно предан, но должен был ему повиноваться и отправился в Андреевское.

Граф Воронцов, по обширным своим связям и знакомствам в армии, был в частой переписке со многими генералами. Он посылал часто адъютантов своих переодетых или же выбирал проворнейших и смелейших между дворовыми своими людьми и крестьянами, кои проникали в самую Москву (французы строго наблюдали за тремя токмо заставами), разведывали, что там происходит, узнавали о действиях неприятеля и доносили все графу. Я составлял обыкновенно из сведений сих записки, кои граф Федор Васильевич часто отсылал к государю. Таким образом узнали мы, например, о приуготовлениях, кои делались французами в Кремле для подорвания оного перед выходом их из Москвы. Первое известие о Тарутинском сражении дошло до нас также из Андреевского.

Мы сидели в тот день около камина, как вдруг вошел к нам граф Михаил Семенович и сказал: «Я получил сейчас известие из армии; кажется, скоро дойдет дело до драки; с обеих сторон делаются приготовления к тому. Мюрат и Милорадович встретились нечаянно, объезжая передовые свои посты. Узнавши друг друга, они перекланялись очень учтиво и обменялись несколькими фразами. Я воображаю, – прибавил граф смеючись, – как они пускали друг другу пыль в глаза. Мюрат успел на что-то пожаловаться, как пишут мне, а Милорадович отвечал ему: “O, ma foi vous en verrez bien d’autres, sir!” (То ли вы еще увидите, государь!)»

Все общество начало смеяться, и у всякого явился анекдот о Милорадовиче. Тут, разумеется, не было забыто красноречие его на французском языке, на котором он очень любил изъясняться, и тогда питомец Суворова не говорил, а ораторствовал, потребляя пышные и отборные фразы. На русском же языке любимая его поговорка была: мой бог!

Погостив в Андреевском до самого вечера, я возвратился во Владимир с головою, набитою свиданием и разговором французского героя с русским храбрецом. Граф Растопчин уже почивал, мне спать не хотелось, деваться было некуда, читать нечего, – что делать, как время убить? Я взял перо и начал себе вымышлять разговор между любимцем Наполеона и любимцем Суворова: сюжет, достойный и лучшего, может быть, пера, нежели мое. Желая позабавить больного моего графа, я переправил мое маранье, переписал набело и явился к нему поутру. Я нашел его гораздо бодрее и в довольно веселом расположении духа.

«Ну, что привезли вы нам хорошего?» – спросил граф.

«Многое, многое! Михаил Семенович приказал кланяться Вашему сиятельству и сказать, что на будущей неделе надеется бросить свои костыли и Вас навестить».

«Спасибо за добрую весть! Нет ли чего из армии, из Москвы?»

«Михаил Семенович получил свежее письмо из армии, кажется, от графа Остермана. Дело идет к стычке неминуемой. Мюрат встретился нечаянно на аванпостах с графом Милорадовичем и имел с ним довольно продолжительный разговор».

«Ого! Вот бы подслушал! Я воображаю, что они друг другу напевали! Кто-то кого перещеголял? Да о чем речь была?»

«О разных предметах. Разговор этот положили в армии на бумагу. Михаил Семенович давал мне его читать, и я списал оный наскоро для вас...»

«Вот спасибо! Дайте, дайте скорее! О, мой бог! я умираю от нетерпения».

«Позвольте, я прочту сам, ибо писал очень связно, спешил».

«Читайте, читайте!»

Я начал чтение. В те времена желание узнать что-нибудь нового о политических, но паче о военных происшествиях, было единственное и всеобщее чувство, всеми обладавшее. Граф слушал со вниманием, часто усмехался и прибавил: «Но полно, так ли было дело? Положим, что это мысли и рассуждения Милорадовича; но он, верно, иначе выделывал фразы свои, и сверх того, не при вас ли граф Барклай сказывал, что государю не угодно, чтобы наши генералы и офицеры имели малейшее сообщение с французами, а еще менее, чтобы вступали с ними в какие-либо переговоры?»

«Это так; но разве вы не знаете спасителя Бухареста? Ему все позволено, или, говоря правильнее, он сам все себе позволяет. Милорадович всем правилам исключение».

Растопчин имел минуты, в которые физиономия его озарялась каким-то особенным выражением. Это бывало, когда он, понюхивая весьма медленно

табак и желая проникнуть в душу того, с кем говорил, смотрел ему весьма пристально в глаза и закидывал какой-нибудь неожиданный и хитрый вопрос, дабы по ответу делать свои заключения. Граф слушал чтение разговора, как будто какого-нибудь официального документа, не оказывая ни малейшего сомнения; он делал, однако же, иной раз свои замечания, смеялся, подшучивал над Мюратом; но когда чтение мое кончилось, то он, потупя огромные свои глаза на меня и грозя мне полусерьезно и полу со смехом пальцем, сказал: «Покайтесь!» Одного этого слова было достаточно, и я, отвечая ему также одним словом, произнес откровенное: «Виноват!»

Я рассказал ему, как все это было. «Выдумка эта хороша, – прибавил граф. – Знаете ли, что мы сделаем? Пошлите это в Петербург: пусть басенка эта ходит по рукам; пусть читают ее; у нас и у французов она произведет действие хорошее. Переписывайте и отправляйте».

Я так и сделал и на другой день послал манускрипт к старому приятелю моему, Алек. Ив. Т...ву, яко новость, только что из армии полученную.

Не прошло двух недель, как разговор короля Мюрата с графом Милорадовичем был напечатан в «Сыне отечества», журнале, который только что начинал выходить и был всеми читан с жадностью, ибо дышал ненавистью к французам и наполнялся преимущественно колкими статьями против них и Наполеона. В нем помещалось множество анекдотов (часто и выдуманных), кои мы, москвичи, сообщали нашим С[анкт]-Петербургским приятелям. Такую статейку не могли издатели «Сына отечества» принять иначе, как с удовольствием.

Москвитянин. 1843. № 2



ИЗ ЗАПИСОК С.Г. ВОЛКОНСКОГО

Наш отряд[1] без всяких стычек с неприятелем продолжал свое движение отступательное, и 26 августа, в знаменитый день битвы Бородинской, хотя мы были в недальнем расстоянии от этой местности, а именно в бывшем имении графа Льва Разумовского (а ныне графа Алексея Сергеевича Уварова), гром выстрелов пушечных, которых гул доходил до Москвы по течению реки, нам, в лесной местности, без водяных сообщений, вовсе не был слышен. Но вскоре весть о битве Бородинской и об отступлении главной армии к Москве стала нам известна[2]. Генерал Винцингероде, дав назначение, куда следовать отряду, сам взял меня с собой и поскакал на перекладных в Можайск, чтоб узнать о точных военных обстоятельствах и принять приказание о действии и направлении командуемого им отряда. По неотдаленности нашего отряда от коммуникационной линии мы скоро доехали до Можайска, где была Главная квартира, и Винцингероде явился к Михаилу Илларионовичу Кутузову, который уже перед Бородинской битвой прибыл в главную армию и принял командование всей армией[3]. Главнокомандующий и ко мне обратил свое милостивое внимание, зная меня по нахождению при нем в Дунайской армии, во время кампании против турок в 1811 г., куда я прибыл, как выше сказано было, в конце августа того года. Хотя мы под Бородиным и понесли великую убыль в рядах армии, как генералов, штаб- и обер-офицеров, так и рядовых, но дух армии, во всех слоях ее, нимало не упал и все пылали желанием вновь сразиться с французской армией[4]. Винцингероде пробыл в Главной квартире

[1] Речь идёт об Обсервационном корпусе под командованием Ф.Ф. Винцингероде, в составе которого сражался С.Г. Волконский.

[2] 27 августа, когда отряд Винцингероде достиг села Сорочнево (на половине дороги между Можайском и Волоколамском). – *Прим. авт.*

[3] 17 августа в Царёво-Займище. – *Прим. авт.*

[4] Кутузов в своем донесении императору Александру I о Бородинском сражении, 26 августа, писал, что оно «*кончилось* тем, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами». Затем Кутузов присовокупил, что, *ночевав на поле сражения*, он, ввиду громадных потерь, понесенных армией, отступил за Можайск. Потеря с каждой стороны простиралась до 40 000 человек. По меткому выражению Ермолова, «французская армия

армии менее суток, и отряд его, подкрепленный одним егерским полком и шестью конными орудиями, получил назначение как можно поспешнее занять Звенигород и затруднять по дороге от этого города к Москве те войска, которые будут направлены по этому тракту от неприятеля[5]. Винцингероде, в сопутствии моем, опять поскакал на перекладной к отряду, и на пути чуть мы не попались в плен: мы выезжали из одной деревни, когда с другой стороны входил отряд французов. Прибыли к отряду и пошли к Рузе, городу, где уже застали назначенное нашему отряду подкрепление. Из Рузы мы ретировались по пути, слабо преследуемые французами, и так прошли до Звенигорода; тут довольно выгодная местность дала возможность генералу попытать сделать маленький отпор; это было тем более удобно, что близ Саввинского монастыря, в ущелье, можно было устроить засаду казачью, скрытную от глаз неприятеля. Когда они подошли на уровень этого монастыря, казаки из засады гикнули, причинив расстройство в авангарде французском, и положили некоторых на месте, а некоторых взяли в плен. Все же отряд стал в позицию и тем приостановил на несколько часов натиск неприятеля. Но нашему отряду не было по силам принять сражение, и мы перед рассветом отступили, делая возможный, по малочисленности нашего отряда, отпор в наступательном движении неприятельских, по этому тракту, колонн; и, таким образом, сообразуясь с мерами отступления главной армии, подошли к святой и милой для каждого русского, и в особенности в то время, белокаменной Москве.

Не буду говорить о всем, что в эту годину происходило в Главной квартире, и о решении главнокомандующего в последующих военных действиях, – это гораздо лучше объяснено многими как официальными донесениями, так и частными повествованиями; но должен сказать, что общий дух армии не пал даже тогда, как известно стало, что Москву передаем без защиты неприятелю. Всякий постигал, что защищать Москву на Воробьевых горах – это было подвергнуть полному поражению армию, что великая жертва, приносимая благу отечества, необходима. Грозный день отступления за Москву настал, и наш отряд также прошел через Москву и стал на денек близ деревни,

---

расшиблась о русскую». Между тем Кутузов, отступая шаг за шагом, привел армию к Москве и 1 сентября собрал в деревне Фили военный совет. Здесь решилась участь первопрестольной столицы. После продолжительных прений Кутузов заключил совещание, сказав: «Je sens que je paierai les pots cases, mais je sacrifie pour le bien de ma patrie. J'ordonne la retraite» (Я чувствую, что мне придется поплатиться за все, но я жертвую собою для блага отечества. Приказываю отступать). Только 7 сентября император Александр I получил чрез Ярославль краткое донесение графа Растопчина о том, что Кутузов решился оставить Москву. На другой день, 8 сентября, роковая весть о занятии Наполеоном первопрестольной столицы подтвердилась донесением Кутузова (см.: *Шильдер Н.К.* Император Александр I, его жизнь и царствование : В 4 т. Т. 3. – СПб., 1897. – С. 108–111). – *Прим. авт.*

[5] После Бородинского сражения, и в особенности после арьергардного дела при Крымском, 29 августа, французы преследовали так слабо, что возникло опасение, как бы вице-король не обошел нашего правого фланга, чтобы занять Москву, в тылу нашей армии. Для противодействия такому обходу и был назначен отряд Винцингероде. – *Прим. авт.*

занимаемой Главной квартирой. Кровь кипела во мне, когда я проходил через Москву с двумя моими знакомыми.

Помню, что билось сердце за Москву, но и билось также надеждою, что Россия не в одной Москве и что с ожидаемыми подкреплениями, с твердостью духа армии и простого народа русского отмстим сторицею французам, которых каждый шаг во внутрь России отделял от всех их запасов и подкреплений. Винцингероде получил приказание со своим отрядом окруж Москвы идти и, став на Петербургский из Москвы тракт, охранять его по возможности, держать через отряды летучие сообщения с главной армией, иметь отряды по тракту Ярославскому и Рязанскому и быть, так сказать, вестником в Петербург о движении неприятеля по Московскому тракту[6].

Из Главной квартиры наш отряд принял назначенный путь, и мы шли, кружив около Москвы, двое суток. Зарево пылающей Москвы было так сильно, что ночью можно было без затруднения читать донесения от оставленных по разным путям частей отряда.

Кружили мы от Москвы в 10- или 15-верстном расстоянии, посылали в самую Москву разъезды привозить нам оттуда пленных и, наконец, прибыли во Всесвятское, но, при сделанном на нас движении, отступили до Черной Грязи, оставив на половине дороги авангард под командой Василия Дмитриевича Иловайского, известного тогда под № 12, отличного штаб-офицера и по храбрости, и по распорядительности. Винцингероде из Черной Грязи послал донесение государю о горестном событии передачи Москвы в руки неприятеля, и, таким образом, вопреки пристрастному повествованию Данилевского[7], государь чрез Винцингероде был извещен о судьбе Москвы. Послан был лейб-казачьего полка поручик граф Орлов-Денисов.

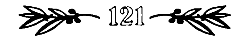
Наш отряд был случайно подкреплен Изюмским гусарским полком и несколькими сотнями лейб-казаков, которые, быв в арьергарде армии, были отрезаны и не могли, по занятии французами сообщений, присоединиться к главной армии и присоединились к нашему отряду и потом, по распоряжению главнокомандующего, вошли в состав нашего отряда.

Посланный от Винцингероде граф Орлов-Денисов, прибыв в Петербург, был при казаке направлен к графу Аракчееву; по извещении, что Москва занята французами, граф взял депеши, его запер в собственном своем кабинете и, в скором времени возвратясь к своему пленному, вручил ему конверт с наставлением, которое и от Винцингероде было ему дано: о сдаче Москвы никому не сообщать; затем его, Орлова-Денисова, посадили на

---

[6] Ввиду малочисленности отряда Винцингероде, Высочайше повелено было поступить под команду генерал-адъютанта Винцингероде Тверскому ополчению и восьми резервным батальонам из Твери. Для прикрытия доступов к Петербургу со стороны Двины на этой реке был оставлен корпус (23 тыс.) Витгенштейна, который 20 июля разбил Удино под Клястицами. – *Прим. авт.*

[7] Речь идёт о Г.П. Данилевском, авторе романа «Сожжённая Москва» (1866).



приготовленную тройку и опять, за конвоем казака, отправили к заставе и потом в даль к нам.

Ответ государя преисполнен был чувством и твердостью духа. Винцингероде, прочитавши его, обратился к присутствующим, а именно к А.Х. Бенкендорфу, к Льву Александровичу Нарышкину и ко мне, и сказал нам, передавая это письмо: «Regardez quel Empereur a la Russie et nous»[8]. Боюсь умалить содержание письма государя и чувства его при столь неожиданной вести, но оно так резко запечатлелось в моей памяти, что я полагаю, что я довольно верно его передам; вот оно: «Général! Je ne puis concevoir ce qui a porté le général! Koutouzoff a livrer Moscou à l'ennemi, après la victoire qu'il a remportée à Borodino, mais tout ce que je puis vous dire, c'est que dussé-je à la sueur de mon front cultiver un coin de terre dans le fin fond de la Sibérie, jamais je ne consentirai à faire la paix avec l'implacable ennemi de la Russie et le mien». Le général Danilefsky rapporte le contenu de cette lettre, comme écrite au général Koutouzoff; je puis abbirmer qu'elle a été écrite au général Vintzengerode, et cet autographe a été entre mes mains[9].

Военные действия нашего отряда ограничивались только аванпостными делами и смелыми поисками отрядов Иловайского, бравших то с бою, то удачными набегами в местах, куда разбрелись хищные к грабежу французы. Главная цель действий нашего отряда была сторожевое дело по трактам Ярославскому и Рязанскому для извещений в главную армию и связи с ней, а в особенности наше дело было сторожить Петербургский тракт и давать об всяком движении весть в Петербург и в Главную квартиру.

С Петербургом наши сообщения были чрез фельдъегерей, чрез сутки, как в Питер, так и из Питера к нам отправляемых, а с Главною квартирою – чрез казачью летучую почту.

Движение наступательное французов заставило наш отряд отступать постепенно в Подсолнечное, в Чашники и, наконец, в Клин, но арьергард наш не отступал далее, сколько упомню, Чашников; и при каждом отступательном движении мы старались истреблять все то, что могло способствовать к снабжению продовольствием неприятеля. Наш авангард не вступал, даже избегал заводить стычки с неприятелем, а ограничивался разъездами, чтоб иметь сведения о его движении, и поэтому нет повода мне описывать действия оного, хотя должен отдать справедливость безусыпной распорядительности начальника оного, бывшего тогда в чине полковника, Иловайского 12-го, и командующего всеми постами связи нашей с главной армией, под-

---

[8] Посмотрите, какого императора имеет Россия и мы (*фр.*).

[9] Генерал, я не могу постичь, что заставило генерала Кутузова отдать Москву врагу после победы, которую он одержал при Бородине, но всё, что я могу вам сказать, – это то, что, хотя бы мне пришлось в поте лица обрабатывать землю в глубине Сибири, я никогда не соглашусь помириться с непримиримым врагом России и моим (*фр.*). Генерал Данилевский приводит содержание этого письма, как бы написанного генералу Кутузову. Я же могу утверждать, что оно было написано генералу Винцингероде и этот автограф был в моих руках. – *Прим. авт.*

полковника Донского войска Победнова; как я сказал выше, по причине некоторых движений наступательных неприятеля, по мере отступления нашего авангарда, и наша отрядная главная квартира также отступала и, наконец, была переведена в город Клин. Во время нашего пребывания в Клину были происшествия не в прямой связи с военными действиями, но заслуживающие повествования.

На наши аванпосты явился из Москвы, переодетый в платье купчика, тогдашнего Литовского гвардейского полка обер-офицер Оде де Сион (Audé de Sion), воспитанный в Пажеском корпусе и сын надзирателя классов в этом заведении. Этот молодой человек мне хорошо был знаком и из нашего авангарда был препровожден к Винцингероде. При явке его он объяснил, что он был захвачен в плен и нашел возможность, переодевшись купчиком, бежать из Москвы и просил быть доставленным в Главную квартиру армии, так как состоял до плена в бессменных ординарцах при генерале, бывшем главнокомандующем Барклае де Толли. По прежнему знакомству с ним, я его до отправления, куда он желал, приютил к себе, но и теперь помню, что костюм его в виде купчика как-то щегольством своим обратил мое внимание, и про себя я думал, что для удобства побега скорее и удобнее бы было, для избежания подозрения от французов, переодеться просто в мужицкое платье. Он так щеголевато был переодет, что казалось, что он готовится играть роль купчика на театре. Молодой Оде де Сион был отправлен в Главную квартиру всей армии, и вскоре мы узнали обстоятельство, весьма невыгодное для него: пойманный французский шпион, уличенный в этом, был осужден быть расстрелянным и, при шествии на смертную казнь, он, увидев Оде де Сиона, из расчета ли или по другим неизвестным мне причинам, сказал: «Вы ведете меня на казнь, но вот, – указывая на Оде де Сиона, – также шпион, как и я, но еще вдобавок и в русском мундире». Само собою разумеется, что эти слова должны были навести подозрения на молодого человека. Он был подвержен следствию; уличен он не был, но, однако ж, были поводы к подозрению и он был выслан из армии в Петербург к отцу своему под надзор. Сказывали мне потом, что много ему помогло заступничество Барклая де Толли, сын которого тогда воспитывался в Пажеском корпусе и был поручен отцом отцу Оде де Сиона; его виновности не утверждаю, но рассказываю то, что слышал.

Другое обстоятельство, и довольно замечательное, – это прибытие на наши аванпосты, под парламентерским от французов флагом, действительного статского советника Яковлева[10]. Прибыв и явясь к Иловайскому, он требовал немедленной отсылки к генералу Винцингероде, имея, как он говорил, важное сообщение ему для передачи государю.

Прежде, нежели объяснять то, что случилось, надо объяснить, что Яковлев был тесно знаком с Винцингероде: оба они были во время Суворовской кампании в Италии при великом князе Константине Павловиче; и еще объяснить

[10] Речь идёт о И.А. Яковлеве, отце А.И. Герцена.

надо, что Винцингероде, по созвучию имен Вейроде, тогдашнего генер[ал]-квартир[мейстера] австрийской армии при Аустерлице, неправильно был подозреваем в передаче Наполеону плана, предпринятого для Аустерлицкого сражения. Не последнее обстоятельство в деле, принимающем какой-то тайный вид, – охранить себя гласностью свидания, как мерою осторожности, и поэтому, дав знать Иловайскому, чтоб Яковлев был представлен в Клин, Винцингероде приказал приближенным при нем, в том числе и мне, быть свидетелями его свидания с Яковлевым. По прибытии сего последнего, нас несколько человек было в комнате, занимаемой Винцингероде.

Яковлев, вошедши, по обыкновению приветствовал, как знакомый, коротко и сказал Винцингероде, что он имеет необходимость переговорить с ним глаз на глаз; но Винцингероде ему отвечал, что все присутствующие так близки ему и так пользуются полным его доверием, что ему нечего опасаться говорить при нас и что даже он требует, чтоб тайна, которую он имеет сообщить ему, была высказана при нас.

Тогда Яковлев объявил ему, что оставался больным в Москве при занятии города французами. Наполеон, имевший о нем сведение, как о брате бывшего русского посланника при короле Вестфальском в Касселе, вызвал его к себе и поручил ему для передачи русскому императору от себя письмо, и вместе с тем выразил, что он, Наполеон, желает войти в переговоры о замирении с императором Александром и что передачу письма и этого поручения передал ему, Яковлеву, как известному ему дипломату.

Едва только кончил это сообщение Яковлев, Винцингероде ему сказал: «Хотя мы и старые знакомые, но должен я вам сказать, что объявленное вами заставляет меня действовать с вами не как старый знакомый, но как лицо, обязанное служебным долгом. Мое одно присутствие охраняет вас от заслуженного вами поругания присутствующих господ. Предложение к миру не может прилечь к сердцу ни государю, ни кому из его верноподданных, и поэтому письмо, вам врученное, перешлю к государю, но вместе и вас арестованным. Вот все, что я могу вам сказать на ваше извещение и, как старый ваш знакомый, сожалею, что вы приняли таковое поручение».

Как я заведовал письменными делами при Винцингероде, исправляя должность дежурного штаб-офицера по отряду, то Винцингероде приказал мне приготовить к безотлагательному отъезду фельдъегеря, послав собственноручное донесение государю императору, и вместе с тем велел назначить офицера и конвойных для отправки арестованным Яковлева также на курьерских.

Впоследствии я узнал, что государь отправил, не распечатавши, письмо Наполеона к Кутузову для возвращения в том же виде на французские аванпосты, а по прибытии Яковлева в Петербург его прямо повезли в Петропавловскую крепость, где подвергли его следствию тайному, после которого Яковлев был отправлен в свои деревни под надзор местной полиции и запрещен ему был въезд в обе столицы.

По прошествии некоторого времени донесено было с наших аванпостов, что довольно сильный французский отряд двинулся к городу Дмитровску и занял этот город. Как это движение угрожало, что французы имеют, может быть, намерение из Дмитровска идти на Тверь, и имея сведения, что этот отряд равносилен нашему отряду, Винцингероде, собрав почти весь свой отряд и оставив только наш арьергард в занимаемой им местности, двинулся к Дмитровску с намерением сделать внезапное нападение на отряд, по известиям, довольно оплошно там стоящий. Мы двинулись форсированным маршем из Клина и прибыли к Дмитровску, еще не рассвело, – думали там застать неприятеля, но он уже прежде отступил к Москве, забравши продовольственные способы. Нашли еще теплый бивак неприятеля, в биваке захватили несколько пленных, чрез которых узнали, что уже французский отряд нам достигнуть нельзя.

Вместе с движением на Дмитровск получено было из нашего авангарда донесение, что его теснит неприятель и, ожидая, что при превосходстве его мы должны будем оставить Клин и отступить в направлении на Тверь, где сформировалось уже ополчение, данное под начальство Винцингероде, и как общей нашей целью было при каждом отступлении истреблять всякие запасы продовольственные, то поручил мне Винцингероде истребить винный подвал заранее, чтоб, в случае с бою оставления Клина, не дать повод отступающему отряду к беспорядку. Я взял несколько казаков, взошел в подвал, отколотил все втулки бочек, по штофам – сабельными ударами, и признаюсь, все это делал с восторгом, ненавидя с давнего времени, как теперь, это поползновение к разврату продажею питей народу. Тут так удачно все было исполнено, что просто было вина в подвале по колено, а вместе с тем и капли никому не попало в рот. Я упоминаю об этом антикабацком подвиге, потому что в 1817 году, то есть пять лет по истечении события, получил я запрос из Московской казенной палаты, чтобы дать отчет, почему я решился на такой поступок, принесший столь значительный убыток казне, и имел ли я в оправдание письменное на то повеление, которое и обязывали меня представить в оригинале. Само собою разумеется, что я отвечал, что я за действия в пользу тогдашних обстоятельств не обязан никаким отчетом; что этого требовали военные обстоятельства; что в военное время исполняешь и словесные приказания, а письменных не имел, и что ежели мой ответ для палаты неудовлетворительный, то пусть снесутся с господином корпусным ныне командиром, ген. от кавалерии бароном Винцингероде, который не только не будет им отвечать, но представит государю императору неуместное требование Московской казенной палаты. Не знаю, чем это все кончилось, но, по крайней мере, меня уже не тревожили.

* * *

Я не раз уже подтверждал, что правилом, нами принятым, было беречь продовольственные способы, в тылу у нас находящиеся, употребляя то, что находилось в черте расположения наших войск, и это производилось

реквизиционным способом самими командирами отдельных частей в силу даваемых ежедневно из дежурства сведений, что таких-то продуктов выдать из таких-то мест и таким-то начальством для войск, в их команде состоящих, столько-то. Когда вся Россия жертвовала последней копейкой и, можно сказать, последним взрослым человеком, что тут было беречь барские выгоды, доходы, – тем более что, по вероятностям того времени и малозначительности нашего отряда, надо было брать то, чтоб оное не поступило назавтра в пользу неприятеля.

В один день получил я от подполковника Розенберга извещение, что по назначенной реквизиции фуража и людского продовольствия командуемого им Изюмского гусарского полка из имений генерал-адъютанта Балашова управляющий этим имением не только что отказал в выдаче по ассигновке, но выгнал фуражировавшую команду и отправил нарочного в Тверь, чтоб оттуда послать эстафету с жалобой на действия военного управления. Розенберг был, по содержанию его записки ко мне, видимо, испуган и просил моего совета.

Я, зная образ суждения Винцингероде в отношении общих тогдашних обстоятельств, понес прямо записку Розенберга к Винцингероде, доложил о содержании оной и получил приказание передать Розенбергу, чтоб он, если не хотят ему дать назначенное мирным путем, взял бы вдвое силою. К этому же Винцингероде еще сказал, что впоследствии от царя зависит платить за забранное, но теперь, когда правительству на защиту отечества нужна каждая копейка, нечего заботиться о выгодах помещичьих и что грустно будет, если приближенные к царю не будут давать примера пожертвованиями, и особенно в предстоящих обстоятельствах, потому что зачем было беречь теперь русским то, что завтра, если сохранено будет, может быть взято французами.

Но вопль чиновников, которым препятствовал Винцингероде делать закупы по фабулезным ценам, и таковой же вопль господ помещиков, которые, как тогда, так и теперь, и всегда будут это делать, кричат об их патриотизме, но из того, что может поступить в их кошелек, не дадут ни алтына, – этот вопль нашел приют в Питере, и на эти жалобы, хотя в выражениях весьма учтивых, от графа Аракчеева был прислан Винцингероде запрос.

Имея рыцарские чувства, Винцингероде, получив это, вспылил, не отвечал графу, но, написав письмо прямо государю, приказал мне немедленно отправиться с этим письмом в Петербург и дал мне собственноручную записку, в чем объясниться с царем, как по предмету нанесенной на него жалобы, так и по многим другим обстоятельствам.

Сборы мои не были долги; занимаемую мною должность передал я Нарышкину, сел на тройку и помчался в Питер.

По тогдашнему заведенному порядку, приезжие курьеры прямо привозили к графу Аракчееву, и оттоль, смотря по лицам и обстоятельствам, он, или один, взявши депеши, или с прибывшим, ехал во дворец, и тогда прибывший допускался до царя. Граф Аракчеев повез меня во дворец, и я лично и без

него был допущен к государю. Подав ему депешу, доложил, что имею записку о личном докладе ему содержания оной. Он и ту взял и, переговорив со мною о содержании всего врученного, сказал мне: «Ты немного отдохнешь, а потом получишь отправление от графа». Тут он мне сделал следующие вопросы:

1) – Каков дух армии? – Я ему отвечал: «Государь! От главнокомандующего до всякого солдата, все готовы положить свою жизнь к защите отечества и Вашего Императорского Величества».

2) – А дух народный? – На это я ему отвечал: «Государь! Вы должны гордиться им: каждый крестьянин – герой, преданный отечеству и Вам».

3) – А дворянство? – «Государь! – сказал я ему, – стыжусь, что принадлежу к нему, – было много слов, а на деле ничего».

Государь тогда взял меня за руки и сказал: «Рад, что вижу в тебе эти чувства; спасибо, много спасибо». И кончил разговор тем: «Перед отправлением я с тобою увижусь и передам тебе поручение к Винцингероде от меня прямо к нему», прибавив: «Nous nous comprenous avec lui»[11]. Этот разговор так мне памятен, что заверяю, что просто слово в слово передаю его теперь моим пером.

Жду день, жду два, жду три моего отправления, жду четыре, пятый, все нет о том вести; живу приятно, лелеян всеми старыми знакомыми и даже незнакомыми; в военное время, и особенно тогда, всякий, привезенный из армии, обращал на себя внимание. Провожу время приятно, но совестно было оставаться в мирном быте, когда другие под пулями, да и боялся, чтоб Винцингероде не подумал, что я попался в новую Капую. Зная, с каким нетерпением он ждет моего возвращения, я решился, чтоб выйти из этого положения, воспользоваться дружеской связью Марии Антоновны Нарышкиной с Винцингероде и просить ее, чтоб она мне помогла в безотлагательном отправлении к нему; объяснив ей и мой долг, и мои опасения, я просил ее доложить о том государю. «Нынче же скажу», – ответила она мне. Я поблагодарил ее и пустился по городу.

Вечером был у Марии Антоновны Нарышкиной, которая еще более прежнего была расположена ко мне, как нынешнему сослуживцу ее сына Льва. Уже около полночи мне докладывают, что фельдъегерь, присланный от государя, имеет надобность меня видеть. Я вышел, и он мне сказал: «Государь приказал вам завтра в 6 часов утра быть во дворце, но приказал мне подтвердить вам, чтоб вы не опоздали».

Разумеется, я еще ранее шести часов был во дворце и известил камердинера государя, что я тут и чтоб он, когда можно будет, доложил обо мне государю. Недолго я подождал и был призван в кабинет государя; приняв очень благосклонно меня, он мне сказал: «Вот тебе письмо к Винцингероде; он поймет меня и убедится, что имею полное уважение и доверие к нему, но в ходе дел административных надо им давать общий ход, и поэтому, как те

[11] Мы с ним понимаем друг друга (*фр.*).

бумаги, которыми он был недоволен, так и те, которые вперед могут быть ему не по мыслям и сердцу, пусть его не тревожат и пусть он кладет их под красное сукно и не дает исполнения. Он и я, мы друг друга понимаем, и ему нечего тревожиться. Поблагодари его от меня за преданность и службу. Через несколько часов потребует тебя для отправления граф Алексей Андреевич, *ты не говори, что я тебя требовал к себе и что ты получил от меня конверт для вручения Винцингероде*». Я указываю на эти последние слова, как странный факт того, что государь себя подчинял какой-то двуличной игре с Аракчеевым, и как доказательство силы Аракчеева у государя.

Вскоре я был потребован к Аракчееву, получил отправление и приготовился к отъезду несколько часов после.

Спутником моим напросился вступивший тогда в русскую службу из австрийской подполковник барон Тетенборн, офицер, приобретший уже известность в Австрийской Ульмской кампании содействием своим принцу Фердинанду Австрийскому с небольшим отрядом не принять капитуляцию Макка и совершивший сквозь полчища французские, можно сказать, не отступление, но пробой.

Прибыв проездом на станцию Вышневолоцкую, мы встретили там фельдъегеря, едущего из-под Москвы к государю, и, по спросе у него, что делается в отряде, получил я горестное известие, что Винцингероде был взят в плен французами и что той же участи подвергнулся и товарищ мой, Лев Александрович Нарышкин. Эта весть была для меня громовым ударом как в отношении военных действий, ибо тут же я узнал, что французы отступают из Москвы, так и по преданности моей к доброму для меня начальнику.

Плен Винцингероде – событие общего интереса, а для меня столь близкое моему сердцу по чувствам моим к нему, что я прерву повествование общих событий и расскажу в точном виде об этом происшествии то, что я слышал от Винцингероде и Нарышкина, когда с ними впоследствии виделся, и от других очевидцев оного.

Рассказ этот не ограничится одним событием захвата Винцингероде и Нарышкина в плен, но коснется и всего, что с ними случилось до отбытия их из плена и самого этого освобождения их из плена. Предварительно надо объяснить, что во время поездки моей в Петербург положительно дознано было, что неприятель сбирается отступательным движением оставить Москву, и наш отряд, в течение времени моего отсутствия, из Клина уже перешел в Черную Грязь; а Иловайский с авангардом нашим уже стоял влево и даже подался к Петровскому парку и Бутырской заставе; этот авангард был подкреплен частью казачьих полков нашего отряда, другая часть которых была послана, под начальством полковника А.Х. Бенкендорфа к Можайской дороге, чтоб следить за движением и отступлением неприятеля по этой Смоленской дороге и по возможности наносить вред неприятелю. Посланный в подкрепление Иловайскому 12-му с частью казачьих полков генералмайор Иловайский 4-й (Иван Дмитриевич, старший чином в отряде после

Винцингероде) донес, что французы выступили из Москвы и что он занял город, кроме Кремля. Винцингероде тогда был с главными силами еще в Черной Грязи. Он приказал регулярному войску своего отряда идти к Москве, а сам с Нарышкиным сел на перекладную и поскакал к авангарду, из которого получил такое важное известие, чтоб лично распорядиться последующими движениями и занятием города. Он был тем более встревожен, что был извещен лазутчиками нашими в Москве, что французы сделали подкопы (des mines) в некоторых частях Кремля, и хотел заключить суточное перемирие с французами для спокойного выхода их, буде согласятся не приступать к взрыву подкопов, ими учиненных. Винцингероде, прибыв с Нарышкиным и сев оба на лошадей, данных им крымско-татарско-казачьего полка князем Хункаловым, хотел лично с малым конвоем въехать в город, чтобы, не нанося опасения французам, занимавшим еще Кремль, взойти с начальниками в переговоры и охранить Москву от замышленного поругания. В то время как Винцингероде хотел въехать в город, Иловайский 4-й сказал ему: «Генерал, вам опасно въезжать». – «Почему? – возразил ему с негодованием Винцингероде, – разве вы не донесли мне, что вы заняли уже Москву?» – «Точно так, – отвечал ему Иван Дмитриевич Иловайский, – но только разъездами удостоверились, что французы отступают, а не то чтоб вовсе занял город до Кремля». Тут Винцингероде, по характеру очень вспыльчивый, ему возразил уже в запальчивости: «Так ты меня обманывал ложным донесением! Ты, к этому, я вижу, трус!» И, взяв малый конвой, вступил в город[12]. Достигнув Тверских ворот, или, лучше сказать, бульвара, наименованного Тверским, он приказал конвою остановиться и, взяв одного казака, велел навязать на пику белый свой платок и сказал ему ехать вперед, а сам с Нарышкиным от бульвара поехал вперед до генерал-губернаторского дома. Тут, у самого Газетного переулка, увидал он пост офицера французского и, как белый флаг означал, что парламентер, и как у казака тогда не было трубача, то офицер французский и Винцингероде уже один друг к другу подошли вперед; Винцингероде объяснил ему, что он прислан парламентером от начальника русского отряда (скрыв, что он сам этот начальник), и был французским офицером, как парламентер, принят, и о прибытии парламентера дано было знать начальствующим в Кремле; но вдруг внезапно наскакал из переулка другой французский офицер с разъездом и прямо на Винцингероде, и сказал ему: «Vous êtes mon prisonnier»[13]. Первый, принявший Винцингероде, французский офицер сказал своему товарищу: «Que faitesvous, camarade! C'est un parlementaire». Mais celui-là lui répond: «Quel diable de parlementaire! Il vous trompe. Cet officier s'est égaré, et craignant d'être pris, il joue le parlementaire»[14].

---

[12] 10 (22) октября. – *Прим. авт.*

[13] Я вас беру в плен (*фр.*).

[14] «Что ты, брат, делаешь? Ведь он парламентер». Но этот ему отвечает: «Что за парламентер, он тебя обманывает. Этот офицер заблудился и, чтобы не быть взятым, морочит тебя, будто он парламентер» (*фр.*).

Винцингероде, взбешенный этим поступком против всех принятых вообще прав военных и по обычному своему пылкому характеру, еще более во вред себе сказал: «Дайте знать вашему начальнику, что начальник русского отряда, стоящего перед Москвой, желает иметь переговоры с командующим французскими войсками в Кремле».

Фельдмаршал Мортье, начальствующий в Кремле, получив донесение о захвате в плен Винцингероде, несмотря на противозаконный этот захват, приказал, чтоб его представили к нему, и вместе с ним был также представлен и Нарышкин, который, не видя возврата Винцингероде, приказавшего ему остаться поодаль, примкнул к нему и также был взят в плен. Когда русские пленные были представлены к фельдмаршалу, Винцингероде сильно восставал против захвата его в противность всяких военных прав, но фельдмаршал ему возразил: «Генерал! Я очень жалею обо всем происшедшем, но сами обсудите положение дела: вы фактически доставлены ко мне как пленный, вы начальник русского отряда, следящего за войсками, находящимися под моим начальством, вы лично видите приготовление их к выступлению из Москвы, – я не могу решить сам об вашем освобождении и поэтому должен донести императору о всем происшедшем и ждать его приказаний».

Итак, Винцингероде и Нарышкин, как пленные, вместе с выступающими из Москвы французскими войсками вывезены были из Москвы по тракту к Верее. В этой местности Наполеон, уже начавший полное отступление вспять, делал смотр всей своей армии и, после обзора оной, поскакал к местности, где находился за конвоем Винцингероде с Нарышкиным, и вот что произошло: Наполеон подскакал к Винцингероде и сказал ему: «Je vous rencontrerai donc partout où il y a guerre contre moi!? Qu'est ce que c'que cette mimitié pesonnelle? C'est à des misérables comme vous qu'est dû tant de sang verse. C'est à vous qu'on doit toutes les cruautés commises par une population déchaênée contre nous. Avez-vous oublié que vous êtes mon sujet? Vous êtes sujet de la confédération du Rhin, vous êtes donc mon sujet. Qu'on le fusille! Qu'on le fusille! Croyez-vous que je ne sais pas que vous avez éte à la recontre de l'empereur Alexandre lors de l'entrevue d'Erfurt pour agir contre moi?»[15] На это Винцингероде ему с бойкостью отвечал: «Je m'attendais depuis longtemps à être tué par une balle française. Quant à ma femme et à mes enfants, je suis tranquille: ils sont sous la protection de L'Empereur Alexandre»[16]. Тут опять Наполеон закричал:

[15] Неужели я буду вас встречать везде, где война против меня? Что это за личная вражда? Это таким бездельникам, как вы, мы обязаны тем, что пролито столько крови. Вам мы обязаны всеми жестокостями, совершенными раздраженным против нас населением. Разве вы забыли, что вы мой подданный? Вы подданный Рейнской конфедерации, следовательно, вы мой подданный. Расстрелять его, расстрелять его! Вы думаете, что я не знаю, что вы встретили императора Александра во время Эрфуртского свидания, чтобы действовать против меня? (*фр.*)

[16] Я уже давно ожидал быть убитым французской пулей. Что же касается моей жены и детей – я спокоен: они находятся под покровительством императора Александра (*фр.*).

«Qu'on le fusille! Qu'on le fusille! Ou plutôt qu'on fasse son procéss et que dans les 24 heures il soit fusille»[17].

Потом Наполеон, обратившись к Нарышкину, сказал ему: «Vous êtes le fils du grand chambellan?» – «Oui, Sire», – отвечал тот ему[18]. На что опять Наполеон уже Нарышкину сказал: «Pourquoi serves-vous ces étrangers? Vous autres, russes, vous êtes de braves gens; je vous estime; mais des misérables comme celuilà! – указывая на Винцингероде – serves vos russes, mais non pas des misérables comme lui»[19], опять указывая на Винценгероде. Военный суд над Винцингероде был немедленно учрежден, и на предложенные ему пункты, в которых главное ему было поставлено в вину, что он *подданный Рейнской конфедерации*, Винцингероде отвечал, что он родился в Магдебурге от отца, служившего в прусском войске. Этот ответ, а может быть, и сообщение, сделанное Кутузовым, когда он узнал, что Винцингероде был взят в плен, «что за покушение на жизнь Винцингероде отвечают жизнью все генералы французские, у нас в плену находящиеся», были причиной того, что Наполеон, по настоянию своих приближенных, отменил производство суда над Винцингероде; но назначен был для отправки его маршрут не на Эрфурт, на который была военная дорога, французский тракт сообщения с Францией, а на Кассель – вероятно, и даже впоследствии узнано было, для того, чтоб король Вестфальский, в королевстве которого вся фамилия Винцингероде числилась, мог бы распорядиться с Винцингероде как с поднявшим оружие против отчизны своей.

Хотя здесь должно бы мне прервать рассказ о плене Винцингероде и повествовать о современных событиях, но полагаю удобным, чтоб не прервать связь того, что относится до Винцингероде, рассказать освобождение его от плена.

Из Вереи Винцингероде был отправлен за конвоем в карете, еще взятой в Москве, вместе с Нарышкиным; к ним присоединили захваченного также, неизвестно мне где, в плен, числящегося по ополчению генерал-майора Солчана. От Вереи до Смоленска их везли за конвоем малыми этапами, но при прибытии в Смоленск уже отправили их в той же карете на почтовых лошадях. В Дубровне или в Тихочине в карете сделалось повреждение, и поправка задержала их. По исправлении пустились они опять в путь. Из каждого пункта им давались в виде конвоя три жандарма, сидящих вне кареты. Но на половине дороги из Тихочина к Минску днем вдали показались казаки. К счастью везомых, хотя их прежде встречали или обгоняли отряды французские, в настоящую минуту на глазомерную дистанцию и далее в протяжение не видно было их. Казаки более и более показывались, и, наконец, человек

---

[17] Расстрелять его! Расстрелять его! Или пусть лучше произведут над ним суд и потом в 24 часа расстреляют (*фр.*).

[18] Вы сын обер-камергера? – Да, государь (*фр.*).

[19] Зачем вы служите этим иностранцам? Вы русские – хорошие люди; я вас уважаю; но бездельники, как этот... – указывая на Винцингероде, – служите своим русским, а не бездельникам, подобным ему (*фр.*).

тридцать гикнуло прямо на карету. Жандармы закричали «пардон», и наши пленники освобождены, тогда как не чуяли об этом счастливом для них событии, потому что были вне той местности, где могли предполагать присутствие русских войск.

Вот как это произошло. Тогдашний флигель-адъютант ротмистр Чернышев (впоследствии князь, генерал-адъютант, военный министр и председатель Государственного совета и бог весть за какие услуги и способности) из армии Чичагова был послан открыть проход через тыл французской армии, чтоб достигнуть корпуса графа Витгенштейна и условиться об общем движении при известном уже обстоятельстве отступления французской армии. Он имел под своею командою казачий полк Пантелеева, недавно пришедший с Дону, и поэтому довольно сильный. Чернышев, по обычному своему, как прежде, так и впоследствии, самохранению, сам с отрядом не входил в стычки с неприятелем, даже избегал их, и перешел через большую дорогу; между Тихочином и Минском, в отдалении от оной, он расположился для отдыха людям и лошадям. Судьба, всегда к нему благоволившая, внушила ему послать разъезд пошарить на большой дороге и тем чужими руками на авось, может быть, удачный сделать набег и иметь случай сделать реляцию, что впоследствии, в 1813 и 1815 году, он и сделал: в 13-м – занятием без выстрела и без всякой обороны Касселя, а в 15-м – Шалона, о чем будет рассказано в свое время. Чернышев, призвав к себе Пантелеева, спросил его, нет ли возможности набрать несколько доброконных казаков и с надежным урядником послать пошарить на большой дороге. Полковник Пантелеев сказал, что можно и что пошлет надежного урядника Дудкина. Сказано – сделано, и этот урядник Дудкин не только освободил Винцингероде с его спутниками, но еще захватил курьера, ехавшего из Парижа с известием о заговоре Mallet, и другого – от Наполеона с известным двадцать девятым бюллетенем de la grande armée, так что впоследствии как Наполеону, так и Европе оба эти события сделались известными чрез сообщение от русского правительства. Счастливый подвиг, хоть без всякого отражения, делающий честь Дудкину, между тем, как вся слава или, лучше сказать, выгода от события была Чернышеву; он произведен в генерал-майоры, назначен генерал-адъютантом; за что? за то, что, сложа руки, преспокойно чужими руками, без всякой с его стороны распорядительности, совершил удачный подвиг; а делец оного – хотя за это и произведен в хорунжие, но, вероятно, ни в каких записках о войне 12-го года его имя не упомянуто. Винцингероде и Нарышкин поскакали в Петербург; первый был принят с восторгом царем, который в нем считал себе друга, – и оба были произведены в следующие чины.

* * *

Теперь обращаюсь к Москве и тому времени, как французы выступили и вслед за ними опять русские взошли в Белокаменную, оскверненную пятою французов.

Выше я обозначил, что весть о плене Винцингероде дошла до меня во время моего проезда из Питера в Москву. Как мне ни грустно было это обстоятельство, но по долгу службы я еще более спешил прибыть в отряд и с твердым намерением вступить в должность чисто боевую, а не в письменную должность штаб-офицера при отряде.

Прибыв в Москву, я явился к командующему временно отрядом, как старшему генерал-майору, Иловайскому 4-му, человеку нераспорядительному, даже скажу, трусоватому, и поэтому если какие-либо и были сделаны распоряжения о преследовании неприятеля, то они были сделаны по настоянию и указанию полковника Бенкендорфа (А.Х.). Но если Иловайский 4-й не заботился о распоряжениях по военной части и о внутренних первых мерах устройства Москвы и поруганной святыни, то об этом сейчас озаботился Бенкендорф, и, чтобы скрыть все неистовство учиненных в соборе Кремлевском пакостей, он, Бенкендорф, совместно со мною наложил печати на все входы вовнутрь, чтобы скрыть от глаз православных эти поругания до приведения в должное устройство, по распоряжению митрополита и духовной части.

Но зато Иван Дмитриевич Иловайский с попечительным вниманием рассматривал отбиваемые обозы у французов, которые, без исключения, препровождались к нему на личный осмотр. Он тогда имел свое пребывание на Тверской, в теперешнем доме Белосельского. Все вносилось на личное его обозрение, и как церковная утварь и образа в ризах были главной добычей, увозимой французами, то на них более обращал внимание Иловайский и делил все это на два отдела: что побогаче – в один, что победнее – в другой. Эта сортировка Бенкендорфу и мне показалась странным действием, и Александр Христофорович спросил его: «Зачем этот дележ? Ведь все это следует отдать духовному начальству как вещи, ограбленные из церквей Московских и следующие обратно в оные». Но на это Иловайский отвечал: «Нельзя, батюшка, я дал обет, если Бог сподобит меня к занятию Москвы от рук вражьих, все, но побогаче, все ценное, доставшееся моим казакам, отправить в храмы Божьи на Дон, а данный обет надо свято исполнить, чтоб не разгневать Бога». Попало ли все это в церкви на Дон или в кладовые Иловайского – мне неизвестно, но верно то, что ни убеждения Бенкендорфа, ни мои увещания не отклонили Иловайского от принятого им распорядительного решения.

Вид погоревшей Москвы, поругание, сделанное французами в храмах Божьих и над стеною Кремля, были горькие впечатления и, как само собою разумеется, утверждали в каждом русском, с тем и во мне, горячее желание изгнать врага из отечества. Развалины обгорелых домов, поруганные соборы и церкви, в которых большей частью были конюшни или казармы, ободранные иконостасы и в соборах мощи православных наших угодников, вынутые из рак, брошенные посреди околевших лошадей или умерших трупов, – вот какое зрелище открылось перед нами; но при этом с каким благоговением взирал я на образ святителя Николая над Никольскими воротами. Близ самых ворот устроен был пороховой взрыв, который при действии косвенным

направлением над образом произвел взрыв стены. Стекло образа было покрыто пылью, и как оно осталось невредимо от взрыва, почти коснувшегося до изображения угодника, – это просто чудо.

Наше присутствие в Москве долго не продолжалось. По распоряжению Иловайского, или, лучше сказать, Бенкендорфа, уже многие отряды следили за движением французов и отбивали обозы и брали пленных. Начальником всего нашего отряда назначен был Государем генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, который и принял командование оным. Прибывший со мной Тетенборн, прибывший после Константина Бенкендорфа[20], оба в чине подполковников, а я уже получивший за отличие чин полковника, каждый получили от нового отрядного командира особенный легкий отряд и были отправлены в разные направления для преследования французов...

Волконский С.Г. Записки С.Г. Волконского (декабриста). 1902



[20] Родной брат графа А.Х. Бенкендорфа.

ПИСЬМА М.А. ВОЛКОВОЙ К В.И. ЛАНСКОЙ

1 июня 1812 г.

Соллогуб родила в день нашего отъезда из Москвы. Желая иметь известия о ее здоровье, я писала ей после девяти дней. Сегодня получила от нее письмо, в котором она говорит мне, что она и сынок ее здоровы и что московские обитатели ломают себе голову, стараясь отгадать, кого назначат на место друга твоего Гудовича[1], который, получив отставку, отправляется в имение свое в Малороссию, где и намерен поселиться.

Ты, верно, уже слышала, что соседка наша Соковнина умерла от последствий апоплексического удара. Муж ее в отчаянии. Она оставила трех дочерей, из которых старшей четыре года.

7 июня

Вообрази, Растопчин – наш московский властелин! Мне любопытно взглянуть на него, потому что я уверена, что он сам не свой от радости. То-то он будет гордо выступать теперь!

Курьёзно бы мне было знать, намерен ли он сохранить нежные расположения, которые он выказывал с некоторых пор. Вот почти десять лет, как его постоянно видят влюбленным, и, заметь, глупо влюбленным. Для меня всегда было непонятно твое высокое о нем мнение, которого я вовсе не разделяю. Теперь все его качества и достоинства обнаружатся.

Но пока я не думаю, чтобы у него было много друзей в Москве. Надо признаться, что он и не искал их, делая вид, что ему нет дела ни до кого на свете. Извини, что я на него нападаю; но ведь тебе известно, что он никогда для меня не был героем ни в каком отношении. Я не признаю в нем даже и авторского таланта. Помнишь, как мы вместе читали его знаменитые творения?

[1] Речь идёт о фельдмаршале графе И.В. Гудовиче, московском генерал-губернаторе, получившем отставку в конце мая 1812 г. На его место был назначен граф Ф.В. Растопчин.

14 июня

Приезд дяди расстроил порядок моих занятий. Знаешь ли, что я начинаю привыкать к дяде; я даже не раз пускалась с ним спорить. В будущую среду мы должны быть в Москве, чтобы свидеться с семейством Виельгорских.

Мне интересно знать подробности перевода «Дмитрия Донского»[2] на французский язык. Признаюсь, я не высокого мнения об этом произведении.

Москва, 24 июня

Вот я снова в Москве, мой милый друг. Я познакомилась с моей невесткой[3] и со всем ее семейством. Они все очень приятные люди. Жена Михаила Виельгорского[4] более дитя, нежели обыкновенно бывают в ее годы; но она так мила, так старается всем угодить, что невольно находишь прелесть в ее наивности. Пока я еще не могу произнести определенного суждения о моей будущей невестке Даше. Она исключительно занята моим братом. Впрочем, из всего, что замечаю, я вывожу заключение, обещающее много хорошего в будущем. Надеюсь, что я близко сойдусь с нею.

Мы дожили до такой минуты, когда, исключая детей, никто не знает радости, даже самые веселые люди. Нас, быть может, ожидает страшная будущность, милый друг! Безграничная покорность воле Господней, совершенное слепое подчинение Его неисповедимым приговорам – единственные чувства, могущие успокоить нас в такое время, когда страх весьма основателен. Будем молиться, милый друг! Предстоящая война причиняет мне много беспокойств. Нынче писали к Сен-При, прося его взять к себе брата моего Николая в адъютанты. С минуты приезда моего сюда я не слышу другого разговора как о войне.

Я каждый день видаюсь с семейством Виельгорских, даже с Иосифом, который перестал дичиться и решился появляться в обществе. Я также часто видала Софью Оболенскую, но теперь она на неделю уехала в деревню. Третьего дня вечером у нас был Растопчин и просидел несколько часов. Мундир его не украсил, и он ужасно уродлив без пудры. Громадный лоб его весь открыт. До сих пор им довольны, быть может потому, что все новое нравится; впрочем, я никогда не сомневалась, что у него в тысячу раз более ума и деятельности, чем у бывшего нашего фельдмаршала. Остается знать, как он будет действовать. Вчера я провела день в Царицыне. В субботу я опять отправляюсь туда, так как это будет день именин дяди Валуева, и, по всей вероятности, там соберется весь город. Мне также предстоит ехать в Петровское к гр. Разумовскому, чтобы быть представленной сестре его, г-же Загряжской.

Дядя мой Кошелев не любит долго сидеть по вечерам, и потому мы вечером никого не принимаем, кроме Виельгорских.

---

[2] Речь идёт о трагедии В.А. Озерова «Дмитрий Донской» (1807).

[3] Сестра гр. Виельгорских, Дарья Юрьевна, вышла за Сергея Аполлоновича Волкова, брата писавшей эти письма.

[4] Луиза Карловна, урождённая принцесса Бирон.

Поговорю с тобой о трех жалких парочках: о Гагариных и Соллогуб. Князь N[5], в то время как мы были в деревне, давал ужины, на которые истратил 120 тысяч рублей. Жена его ужасно безумствует, но нельзя не пожалеть о ней, видя, как мало муж обращает на нее внимания. Правда, что сама-то она мало это замечает и совершенно бывает довольна, говоря о своей беременности и о 70 тысячах мужнина дохода. Но ежели муж ее будет продолжать играть, то она лишится удовольствия хвастать своим богатством. Гагарины тоже достойны сожаления. Кн. Андрей решается отправиться в поход и предоставляет жене справиться с родами, как знает. Он да П. развратили Соллогуба, который, будучи недальнего ума, быть может, не вдался бы в излишества, если бы эти господа не увлекли его. О жене его жалеешь более, чем о других, так как с ее умом, тактом и вообще умением держать себя ей должно казаться невыносимым все, что ей приходится видеть.

Это общество мужей-холостяков устроило за городом пикники, на которые дам не приглашают, а на место их берут цыганок, карты и вообще не стесняются. Спрашиваю тебя, каково видеть это женщине, у которой есть хотя сколько-нибудь чувства? N. слишком глупа и безалаберна, а Гагарина слишком молода, чтобы видеть вещи в надлежащем свете. Одна Соллогуб все понимает. Я ее застала с опухшими глазами; она призналась мне, что плакала, не говоря причины, но я готова пари держать, что толстый граф – причина ее слез. Меня приводят в негодование подобные вещи. Спрашивается, как же не бояться замужества, имея подобные примеры перед глазами?

Свадьба моего брата назначена на 5 июля.

Москва. 1 июля

Ты, вероятно, тревожишься о своем брате и потому не пишешь мне, милый друг.

Мы здесь все грустны и приуныли. Я нахожусь в постоянном страхе. До сих пор до нас доходят лишь ложные слухи. В Москве говорят, что французов побили раз пять или шесть. Хорошо бы, если бы мы в действительности одержали хотя одну победу, тогда бы мы скоро отделались от жестокого врага человечества. Следует желать, чтобы в настоящем случае оправдалась русская пословица: «Глас народа – глас Божий». В настоящее время я чувствую более чем когда-либо, какое счастие не быть лишенною веры в Провидение: она не дает впадать в отчаяние, что непременно случилось бы, если бы полагались на силы и гений жалкого человечества.

В пятницу вечером мы были в гостях у гр. Растопчиной, которая пленила меня. До сих пор я видала ее лишь вскользь, и потому не могла о ней судить. На этот раз, застав ее одну, мы с мама просидели у нее довольно долго, и я была в восторге от ее беседы. Она мне нравится в миллион раз более мужа своего, который тоже выходил к нам; он ужасно теряет при сравнении

[5] П.А. Вяземский?

с женою. Впрочем, до сих пор им очень довольны в нашей доброй Москве. Он очень деятелен, справедлив, и если не изменится, то его очень полюбят здесь.

В субботу, в Петров день, дядя Валуев был именинник и я обедала у него в Царицыне. Было множество гостей. Вчера я ужинала в Петровском у Разумовских. Кроме нас, гостей никого не было, так что я свободно могла наблюдать за сестрой графа, г-жой Загряжской, о которой я постоянно слышала разговоры, с тех пор как себя помню, и которую мне вчера пришлось видеть в первый раз. Недоставало четвертого партнера, и меня усадили играть в бостон с ней, с Апраксиной и с самим графом Львом. Это три особы, нисколько непохожие друг на друга, но все они так любезны, что я с удовольствием играла с ними в скучнейшую игру, которую я очень плохо знаю.

8 июля

Тебе интересно знать мое мнение о семействе Виельгорских. Вот три недели как я вижусь с ними с утра до вечера, и потому могу судить о них. Жена В. – премилый ребенок, но не более, как ребенок, которым необходимо руководить; ей нужно давать советы, сдерживать ее подчас, так как у нее довольно упрямый характерец; я замечаю, что в семействе о ней имеют мнение, одинаковое с моим. Муж ее добрейший из людей, но бесхарактерный; ему не справиться с ней, тем более что он дает вертеть собой как угодно, почти всегда исполняет волю Катиши, и я ему предсказываю, что через два или три года он постоянно будет плясать по ее дудке. Впрочем, она очень мила и в обществе весьма приятна. Что же касается до ее ребячества, не могу дать тебе лучшего образчика его, как рассказав, что она понять не может, почему настоящая война всех интересует. Я из сил бьюсь, объясняя ей, что от этого зависит общее спокойствие; слова мои даром пропадают: она гораздо более думает о кружевах и тряпках, нежели о судьбе страны, в которой живет. На первых порах я приметила в ней желание разыгрывать петербургскую барыню (впрочем, со мной она всегда очень вежлива) в отношении некоторых особ, которых она даже оттолкнула своим обращением. Третьего дня, оставшись одна с ней и Дашей, я начала разговор о том, какое неприятное впечатление производит важничанье особ, приезжающих из Петербурга. Я говорила вообще, никого не называя, и потому свободно могла высказывать, до чего это кажется смешно нам, москвичам. Я прибавила, что такие особы обыкновенно бывают всеми покинуты, так как у нас не любят тех, кто высоко задирает нос. Мы очень хорошо знаем, что говорится про нас в Питере; но так как это не мешает ни нашему счастью, ни спокойствию, ни удовольствиям, то мы мало обращаем внимания на то, что о нас говорят. Но, коль скоро попадают в наше общество, мы хотим, чтобы действовали по-нашему. Катиша разделила мое мнение, и до сих пор мы с ней большие друзья. Что касается Даши, она так кротка, так добра, что такого рода мысли ей и в голову не приходят. Из младших братьев я больше всех люблю Матвея. Иосиф слишком дик. Впро-

чем, теперь он более общителен; прежде, говорят, он, кроме как со своей сестрой, ни с одной женщиной не разговаривал. Самый младший – премилый. Вообще все семейство преприятное; они все дружны между собою, что так редко встречаешь в нашем веке.

Мари Гагарина уже приехала. Я не берусь ее вразумлять: пусть над этим потрудится ее муж. Он, говорят, собирается увезти ее на некоторое время в дальнее имение к матери своей. Сердца, ум и глаза устремлены у всех на берега Двины. Только об этом и говорят.

15 июля

В течение прошлой недели я столько видела, слышала и перечувствовала, что при всем моем желании, милый друг, я не могу передать тебе словами всего мной испытанного в последнее время. Я всегда была того мнения, что не должно слишком заботиться о будущем; нам сказано: довольно для каждого дня своей заботы. Никогда я так живо не чувствовала справедливости сих слов, как в настоящее время. Что Богу угодно, то и случится, говорю я себе, не делаю никаких предположений и лишь стараюсь как можно полезнее проводить время, которым могу располагать. В понедельник была свадьба брата. Во вторник и среду у нас были семейные обеды, и в среду же вечером дядя и брат Николай отправились в имение в Смоленскую губернию. Через два часа по их отъезде мы получили известие о прибытии Государя Императора. Его ожидали в четверг вечером, и все дворянство собралось в Кремле. Его Величество прибыл ночью. Его высочество великий князь тоже здесь со вчерашнего дня. Никто, наверное, не знает, сколько времени они пробудут и куда отправятся отсюда. Я ни разу не была ни при дворе, ни в соборе, и никуда мне не хочется: много охотниц и без меня. Собор всегда набит здешними барынями. Пусть так, а мне дома покойнее. Государю я искренно, от души желаю всякого счастья и молиться за него всегда и везде готова, что и могу сделать и в других церквах, но толкаться, лезть в толпу и духоту не вижу никакой нужды. Матвей Виельгорский вступил в казачий полк, сформированный кн. Оболенским; туда в качестве офицеров принимают лишь молодых людей, имеющих какой-либо гражданский чин. Все семейство Архаровых здесь, но я еще с ними не видалась. Не до визитов.

22 июля

Спокойствие покинуло наш милый город. Мы живем со дня на день, не зная, что ждет нас впереди. Нынче мы здесь, завтра будем Бог знает где. Я много ожидаю от враждебного настроения умов. Третьего дня чернь чуть не побила камнями одного немца, приняв его за француза. Здесь принимают важные меры для сопротивления в случае необходимости; но до чего будем мы несчастны в ту пору, когда нам придется прибегнуть к этим мерам. Все в руках Божиих, следовательно, пока зло не совершилось, мы не должны отчаиваться и сомневаться в Божьем милосердии.

В Москве не остается ни одного мужчины: старые и молодые – все поступают на службу. Везде видно движение, приготовления. Видя все это, приходишь в ужас. Сколько трауров, слез! Бедная Муханова, рожденная Олсуфьева, лишилась мужа. Несчастный молодой человек уцелел в деле Раевского, выказал храбрость, так что о нем представляли кн. Багратиону; но в тот же вечер он отправился на рекогносцировку, одетый во французский мундир, и был смертельно ранен казаком, принявшим его за неприятеля. После этого он прожил несколько дней и скончался на руках шурина, который прибыл сюда два дня тому назад, чтобы сообщить грустное известие матери и сестре. Последняя лишилась также дочери, которую сама хоронила.

29 июля

Мы все тревожимся. Лишь чуть оживит нас приятное известие, как снова услышим что-либо устрашающее. Признаюсь, что ежели в некотором отношении безопаснее жить в большом городе, зато нигде не распускают столько ложных слухов, как в больших городах. Дней пять тому назад рассказывали, что Остерман одержал большую победу. Оказалось, что это выдумка. Нынче утром дошла до нас весть о блестящей победе, одержанной Витгенштейном. Известие это пришло из верного источника, так как о победе этой рассказывает гр. Растопчин, и между тем никто не смеет верить. К тому же победа эта может быть полезна вам, жителям Петербурга, мы же, москвичи, остаемся по-прежнему в неведении касательно нашей участи. Что относится до выборов и приготовлений всякого рода, скажу тебе, что здесь происходят такие же нелепости, как и у вас. Я нахожу, что всех одолел дух заблуждения. Все, что мы видим, что ежедневно происходит перед нашими глазами, а также и положение, в котором мы находимся, может послужить нам хорошим уроком, лишь бы мы захотели им воспользоваться. Но, к несчастью, этого же желания я ни в ком не вижу, и признаюсь тебе, что расположение к постоянному ослеплению устрашает меня более, нежели сами неприятели. Богу все возможно. Он может сделать, чтобы мы ясно видели; об этом-то и должны молиться из глубины души, так как сумасбродство и разврат, которые господствуют у нас, сделают нам в тысячу раз более вреда, чем легионы французов.

5 августа

Мы с *мама* причащались нынче. По моему мнению, теперь самая пора для покаяния, потому что лишь искренним раскаянием в грехах можем мы умилостивить Бога. Мне вполне понятно твое беспокойство о нашем родном городе. Будем надеяться, что в нем есть люди, коих молитвы дойдут до Всевышнего и спасут всех нас. Народ ведет себя прекрасно. Уверяю тебя, что недостало бы журналов, если бы описывать все доказательства преданности Отечеству и Государю, о которых беспрестанно слышишь и которые повторяются не только в самом городе, но и в окрестностях и даже в разных губерниях.

Узнав, что наше войско идет вперед, а французы отступают, москвичи поуспокоились. Теперь реже приходится слышать об отъездах. А между тем вести не слишком утешительны, особенно как вспомнишь, что мы три недели жили среди волнений и в постоянном страхе. В прошлый вторник пришло известие о победе, одержанной Витгенштейном, и об удачах, которые имели Платов и граф Пален. Мы отложили нашу поездку в деревню, узнав, что там происходит набор ратников. Тяжелое время в деревнях, даже когда на 100 человек одного берут в солдаты, и в ту пору, когда окончены полевые работы. Представь же, что это должно быть теперь, когда такое множество несчастных отрывается от сохи. Мужики не ропщут, напротив, говорят, что они все охотно пойдут на врагов и что во время такой опасности всех их следовало бы брать в солдаты. Но бабы в отчаянии, страшно стонут и вопят, так что многие помещики уехали из деревень, чтобы не быть свидетелями сцен, раздирающих душу. Мама получила ответ от Сен-При: он с удовольствием принимает на службу брата моего Николая. Придется расстаться с милым братом: еще прибавится горе и новое беспокойство!

Каждый день к нам привозят раненых. Андрей Ефимович опасно ранен, так что не будет владеть одной рукой. У Татищева, который служит в комиссариате и, следовательно, находится во главе всех гошпиталей, недостало корпии, и он просил всех своих знакомых наготовить ему корпию. Меня первую засадили за работу, так как я ближайшая его родственница, и я работаю целые дни. Маслов искал смерти и был убит в одной из первых стычек, люди его вернулись. Здесь также несколько гусарских офицеров, два или три пехотных полковника, все они изуродованы. Сердце обливается кровью, когда только и видишь раненых, только и слышишь что об них. Как часто ни повторяются подобные слухи и сцены, а все нельзя с ними свыкнуться.

Соллогубы совершенно разорены. Все имения графа находятся в Белоруссии, между Могилевом и Витебском. Сама посуди, в каком виде они должны быть теперь! Бедную Соллогуб ужасно жалко. Она выдана замуж в расчете, что у мужа ее будет 6000 душ крестьян, и вот теперь у них у обоих всего 6000 рублей дохода; правда, ей еще кое-что достанется, но лишь по смерти матери. У Толстого, женатого на Кутузовой, восемь человек детей, и вообрази, что из 6000 душ у него осталось всего 300 душ в Рязанской губернии, так как его имения тоже в Белоруссии. Как ни вооружайся храбростью, а слыша с утра до вечера лишь о траурах да разорении, невозможно не огорчаться и не принимать к сердцу все, что видишь и слышишь.

12 августа

Душевно рада, милый друг, что вы отчасти успокоились, что же касается до нас, то мы тревожимся более, чем когда-либо, и готовы решиться на все, лишь бы избежать ужасной участи, которую нам готовят. Моли Бога, милый друг, чтобы Он простил тех несчастных, которые продают свое Отечество. Вот все, что могу сказать тебе касательно положения, в котором мы находимся.

Я не смею сказать тебе, что мы предвидим в будущем, ежели Господь не сжалится над нами и не пошлет нам неожиданной помощи.

Нынче утром я пошла в церковь, где мы были с тобой в прошлом году; она была полна народу, хотя сегодня нет праздника. Все молились с усердием, какого мне не приходилось еще видеть, почти все обливались слезами. Не могу выразить тебе, до чего я радовалась этому усердию, потому что я твердо убеждена, что лишь искренними молитвами можем мы снискать милосердие Божие. После обедни одна женщина с мужем своим служили молебен Божией Матери. Муж, одетый в военный мундир, по-видимому, готовился поступить на службу. Он и жена оба плакали. У меня болезненно сжалось сердце при виде горьких слез бедной женщины! Я сама теперь ежеминутно готова плакать, с трудом удерживаю слезы и иногда поддаюсь этой слабости человеческой. Если через неделю ты не получишь от меня другого письма, значит, меня уже не будет в Москве. Куда мы поедем, не знаю, а равно не ведаю, каким образом буду получать твои письма и сама писать тебе.

Объявляю тебе, что я вполне разделяю мнение твоего мужа о г-же Сталь. Она неделю пробыла в Москве, бывала в знакомых мне домах, и я не имела ни малейшего желания видеть ее и ничуть не искала встретиться с нею. Что же она сделала такого прекрасного, чтобы возбуждать восторг? Сочинения ее безбожны и безнравственны и безалаберны, последние, по-моему, лучше, по крайней мере они никого не совратят с истинного пути. Свет погиб именно потому, что люди думали и чувствовали так, как эта женщина. Я почти того же мнения о Коцебу. Правда, они оба известные писатели, но, признаюсь, не стоят того, чтобы ими восхищались.

Сию минуту узнала, что Кутузов назначен главнокомандующим. Поблагодарим Бога за Его милосердие и будем усердно молиться о будущем.

15 августа

По всему видно, что нам придется поплатиться за безрассудство двух наших главнокомандующих и за несогласие, возникшее между ними вследствие нового порядка, отменившего старшинство по службе и уничтожившего всякое подчинение между генералами. Платов, старший из них по службе, находится под командою у двух главнокомандующих, а Барклай, который по службе моложе Платова, Багратиона и двенадцати генерал-лейтенантов, которые у него под командою, заведует всем войском и так себя ведет, что возбудил к себе общую ненависть. Если так легко было нашему доброму царю уничтожить порядок, существовавший испокон веку, с другой стороны, нелегко будет нашим генералам свыкнуться с порядком, по которому вчерашний начальник сегодня поступает под команду к своему подчиненному. Такие правила невыносимы для нас, русских, тем более что они взяты у французов. Негодяи, продавшие себя Наполеону, не имеют у нас влияния над войском, и потому неудивительно, что оно отвергает нововведения тех злодеев, которые исключительно овладели умом нашего бедного монарха. Дело в том, что,

так как отдельные корпуса действовали несогласно и каждый хотел делать по-своему, мы и потерпели страшное поражение под Смоленском. Французы провели наших как простаков. Была бы возможность поправить дело, если бы друг другу помогали или нашелся человек, который, заботясь обо всех, никого не обрекал бы на неизбежную жертву. Но дело вели таким образом, что город, который в состоянии был сопротивляться шесть месяцев, взят в три дня, и вот теперь наше войско и французы в 300 верстах от Москвы и оба войска на расстоянии 7 верст друг от друга. Теперь тебе должно быть ясно, почему мы так радуемся назначению Кутузова. Он один будет начальствовать, и в его интересах заставить всех одинаково хорошо действовать. В последнем деле очень обвиняют Багратиона, который, желая присвоить себе славу освобождения Могилева, отнял защиту у Смоленска с одной стороны, а Барклай сделал то же с другой стороны города, так как ему нужно было вести войско на Витебск. Французы воспользовались оплошностью и ударили в центр. Их было 100 000 под начальством Наполеона против 30 000 наших, которые три дня сопротивлялись и разбили бы их, если бы получили поддержку. Но так как у нас в войске принято действовать по русской пословице: «Каждый за себя, а Бог за всех», то этих несчастных кинули на произвол судьбы. Когда французы подожгли Смоленск, наши принуждены были удалиться; по крайней мере, они могут смело сказать (таково общее мнение), что заслужили бессмертную славу. И точно, они выказали геройскую храбрость. Грустнее всего для нас убеждение, что причиною несчастия была измена одного известного бездельника, служащего у Барклая. Отряд корпуса сего последнего отбил багаж маршала Нея, и в его бумагах нашелся новый план, который уже был представлен Наполеону. Еще никого не называют, но подозрение падает на адъютанта государева Вольцогена. Вот тебе все новости из армии. Ты можешь их считать достоверными, так как я с утра до вечера вижусь с людьми, находящимися в служебных сношениях с армией. К тому же и Главная квартира близко от нас, в Дорогобуже, в 20 верстах от огромного имения дяди Кошелева. Вчера утром приехала прислуга дяди, а также и крестьяне этого имения. Несчастные бросились к нему в ноги, прося о помощи. Как будто он может помочь им и оградить их от разорения в случае, ежели по глупости или вследствие измены их предадут огню и мечу. Надо видеть уважение этих бедных людей к верховной власти. Один из мужичков объяснял мне, что они бы бежали, чтобы спастись, но указ царский не позволяет им бросать свои избы, пока французы не сменят наших войск. Посуди, до чего больно видеть, что злодеи вроде Балашова и Аракчеева продают такой прекрасный народ. Но уверяю тебя, что ежели сих последних ненавидят в Петербурге так же, как и в Москве, то им несдобровать впоследствии. Растопчин очищает Москву от подобных исчадий. Он выслал отсюда Ключарева, почт-директора, и одного из его помощников – Дружинина, которые находились в близких сношениях со Сперанским. Растопчин перехватил переписку Ключарева весьма подозрительного свойства. Кроме того, ежедневно ловят французских шпионов. Народ

так раздражен, что мы не осмеливаемся говорить по-французски на улице. Двух офицеров арестовали: они на улице вздумали говорить по-французски; народ принял их за переодетых шпионов и хотел поколотить, так как не раз уже ловили французов, одетых крестьянами или в женскую одежду, снимавших планы, занимавшихся поджогами и предрекавших прибытие Наполеона, словом, смущавших народ.

Вчера мы простились с братом и его женой. Они поспешили уехать, пока еще есть возможность достать лошадей, так как у них нет своих. Чтобы проехать 30 верст до имения Виельгорских, им пришлось заплатить 450 рублей за девять лошадей. В городе почти не осталось лошадей, и окрестности Москвы могли бы послужить живописцу образцом для изображения бегства Египетского. Ежедневно тысячи карет выезжают во все заставы и направляются одни в Рязань, другие – в Нижний и Ярославль. Как мне ни горько оставить Москву с мыслию, что, быть может, никогда более не увижу ее, но я рада буду уехать, чтобы не слыхать и не видать всего, что здесь происходит.

Рязань, 20 августа

Почти два часа как мы приехали в Рязань. Я узнала, что завтра идет почта в Москву, и пользуюсь случаем, чтобы написать тебе, дорогой друг. Скрепя сердце, переезжаю я из одной губернии в другую, ничего не хочу ни видеть, ни слышать. 16-го числа нынешнего месяца выехала я из родного, милого города нашего. Сутки пробыли мы в Коломне, думаем пробыть здесь завтрашний день, а потом отправимся в Тамбов, где поселимся в ожидании исхода настоящих событий. Мы едем благополучно, но ужасно медленно двигаемся, так как не переменяем лошадей. Везде по дороге встречаем мы только что набранных солдат, настоящих рекрутов, и города в центре страны имеют совершенно военный вид. Не могу выразить тебе, какое неприятное впечатление все это производит на меня. В особенности беспокоит нас, что, отдаляясь от Москвы, мы лишаемся возможности получать известия. С пятницы мы решительно ничего не слыхали и не знаем, что делается в армии. Нам предстоит пробыть в неведении еще с неделю. Хорошо бы услышать добрые вести! Я смертельно тоскую, но здорова. Из четырех ночей я лишь одну спала как следует и, несмотря на то, не чувствую усталости. Не буду рассказывать тебе, как мы расставались с матушкой-Москвой. Дай Бог, чтобы никогда не пришлось мне испытать что-либо подобное. Бывают до того горькие минуты, что о них тяжело вспоминать. Прощай, мой милый друг, в настоящее время я не желаю другого счастья, как только снова увидеть московские стены.

Тамбов, 27 августа

Вот уже шесть часов, как я в Тамбове, милый друг. Пятидневное путешествие наше было весьма неприятное, наконец мы дотащились сюда и намерены здесь ожидать решения нашей участи. Если матушка-Москва счастливо вывернется из когтей чудовища, мы вернемся, а ежели погибнет родимый

город, то отправимся в саратовское наше имение. Не могу выразить тебе, до чего у меня сжимается сердце при этой мысли. В Рязани мы нашли семейство Кологривых, они третью неделю живут там по делам. Хотя мы никогда с ними не были дружны, а в нынешнем году у нас даже много было причин для ссоры, но, узнав, что мы приехали из Москвы, они явились узнать, что нового, любопытство взяло верх; сами же они высказали нам такое множество грустных новостей, что у нас чуть голова не закружилась. Под этим впечатлением мы выехали из Рязани. Погода была дурная; ехав все на одних лошадях, мы принуждены были останавливаться в течение пяти с половиной дней. Не можешь себе представить, чего мы натерпелись на грязных станциях! Самая плохая лачужка в окрестностях Москвы – дворец в сравнении со здешними избами. Нам приходилось сидеть среди кошек, свиней, телят, кур, мы задыхались от дыма; блохи, тараканы и всевозможные насекомые не давали нам покою. Все это, конечно, не могло нас развеселить. Мы только отдохнули в Козлове, красивом городе Тамбовской губернии. Тут услыхали мы приятные вести, впоследствии они оказались ложными, но на минуту они нас успокоили и нам даже захотелось осмотреть городок. Он наполнен пленными турками, которые, завидев красивые дорожные кареты наши, пришли на них полюбоваться и уверяли, что они никогда не видывали таких экипажей. В четверть часа нас окружило до 50 мусульман; все они проклинали французов и с радостными возгласами повторяли, что теперь они наши друзья, так как мир с ними заключен. Двое из них влюбились в Полину Валуеву и в меня и пришли предложить мама обменять нас на двух полковников. Матушка заметила, что дружба их зашла слишком далеко, и отослала нас.

Наконец нынче утром мы приехали сюда, где нам подтвердили известия, сообщенные Кологривыми еще с некоторыми прибавлениями. Мама выбрала Тамбов для местопребывания потому, что здесь в суде служит бывший адъютант отца, преданный душой и сердцем всей нашей семье. Этот добрый человек немедля посылает нам все известия, получаемые по почте из Москвы. Вести не радостны, но можно надеяться, что, когда удалят подлых начальников, ход дела изменится. Впрочем, будет что Богу угодно. Вся наша надежда на Его милосердие. Растопчин отлично действует, за это я его полюбила более, чем ты когда-либо любила его. Не можешь вообразить, как все и везде презирают Барклая. Да простит ему Бог и даст ему сознать и раскаяться во всем зле, которое он сделал. Вот три недели, что я не имею о тебе известий, жду будущей почты и приезда Сержа; в пятницу или субботу он должен быть здесь, авось он привезет мне от тебя весточку.

3 сентября

Здесь мы узнали, что Кутузов застал нашу армию отступающей и остановил ее между Можайском и Гжатском, то есть в ста верстах от Москвы. Из этого прямо видно, что Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам все, что мог, и если бы имел время, то привел бы Наполеона прямо в Москву.

Да простит ему Бог, а мы долго не забудем его измены. До сегодняшнего дня мы были в постоянной тревоге, не имея верных известий и не смея верить слухам. У нас дыбом стали волосы от вестей 26 и 27 августа. Прочитав их, я не успела опомниться, выхожу из гостиной, мне навстречу попался человек, которого мы посылали к губернатору, чтобы узнать все подробности. Первую весть, которую я услыхала, была о смерти братца Петра Валуева, убитого 26-го. У меня совсем закружилась голова: удивляюсь, как из соседней комнаты не услыхали моих рыданий несчастные двоюродные сестры. Дом наш невелик, я выбежала во двор, у меня сделался лихорадочный припадок, дрожь продолжалась с полчаса. Наконец, совладав с собой, я вернулась, жалуясь на головную боль, чтобы не поразить кузин своих грустным лицом. У меня защемило сердце, когда я взглянула на несчастных моих кузин. Они не получали известий от матери, ясно почему. Каждую минуту жду, что кто-нибудь из семьи приедет с горестным известием; больно видеть, как они тревожатся о матери и поминутно молятся на брата. Я не умею притворяться. Для меня невыносимо казаться веселой, когда я смертельно тоскую.

В моем грустном настроении я далеко не благосклонно встретила твои размышления о г-же Сталь. Скажи, что сталось с твоим умом, если можешь ты так интересоваться ею в минуты, когда нам грозит бедствие? Ведь ежели Москва погибнет, все пропало! Бонапарту это хорошо известно, он никогда не считал равными наши обе столицы. Он знает, что в России огромное значение имеет древний город Москва, а блестящий, нарядный Петербург почти то же, что все другие города в государстве. Это неоспоримая истина. Во время всего путешествия нашего, даже здесь, вдалеке от театра войны, нас постоянно окружают крестьяне, спрашивая известий о матушке-Москве. Могу тебя уверить, что ни один из них не поминал о Питере. Жители Петербурга, вместо того чтобы интересоваться общественными делами, занимаются г-жою Сталь; им я извиняю это заблуждение, они давным-давно впадают из одной ошибки в другую, доказательство – приверженность ваших дам к католицизму. Но ведь твоим, милый друг, редким умом я всегда восхищалась, а ты поддаешься влиянию атмосферы, среди которой живешь! Это меня крайне огорчает. Я этого от тебя не ожидала. Да что же такого сделала дрянная Сталь, чтобы возбудить такой восторг? Ее бы следовало посадить в дом умалишенных за ее сумасбродство и за бегание по Европе пешком с капюшоном на голове в намерении отыскать своего дурака Освальда. Последний – такая личность, которой я не могу себя вообразить; он меня бесит, я не терплю этих нерешительных характеров, которые вечно колеблются, в мужчине это более чем нестерпимо. Дельфина, по-моему, в тысячу раз хуже Корины. Этот отвратительный роман представляет смесь беззаконий и сумасбродства, его и нельзя читать хладнокровно. Можно ли восхищаться женщиной, осмелившейся изобразить такую скверную сцену в церкви, а именно: женатый Леонос требует от Дельфины клятвы перед алтарем, что она будет принадлежать ему? Разве это не отвратительно?

И ты восторгаешься автором этой гадости? Меня это крайне огорчает; я понимаю, что муж твой должен радоваться, что ты против собственной воли излечилась от этого восторга! Если Бог даст нам встретиться в более счастливую пору, я обещаю доказать тебе, что роман этот с начала до конца представляет собрание самых ужасных идей, в нем все никуда не годится, даже слог, которым он написан. Сделай милость, поверь мне, что не обстоятельства мешают мне восторгаться г-жою Сталь. Во всякую другую пору я была бы настолько же справедлива в отношении к ней. Я не уподоблю ее Вольтеру. Как он ни был дурен, все же он гениален, он гадости говорил и проповедовал прелестным слогом; но и этого достоинства нет у г-жи Сталь. Я сделала усилие над собой, чтобы толковать с тобой о постороннем предмете: лишь одно занимает меня, я не знаю ни минуты покоя, и если бы не вера в Божие милосердие и убеждение, что Богу все возможно, я бы сошла с ума, как Зинаида.

17 сентября

Что сказать тебе, с чего начать? Надо придумать новые выражения, чтобы изобразить, что мы выстрадали в последние две недели. Мне известны твои чувства, что судьба Москвы произвела на тебя глубокое впечатление; но не могут твои чувства равняться с чувствами лиц, живших в нашем родном городе в последнее время перед его падением, видевших его постоянное разрушение и наконец гибель от адского могущества чудовищ, наполнивших наше несчастное отечество. Как я ни ободряла себя, как ни старалась сохранить твердость посреди несчастий, ища прибежища в Боге, но горе взяло верх: узнав о судьбе Москвы, я пролежала три дня в постели, не будучи в состоянии ни о чем думать и ничем заниматься. Окружающие не могли поддержать меня, как я предвидела: удар на всех одинаково подействовал, на лица всех сословий, всех возрастов, всевозможных губерний произвел ужасное впечатление. Известие о битве под Можайском окончательно сразило нас, и с этих пор ни одна радостная весть не оживляла нас.

До сих пор нам еще не известны жертвы 26 августа. Нам назвали Валуева, Корсакова-старшего и Кутайсова. Пока не предвижу возможности получать здесь новости и прошу тебя, если получишь мое письмо, сообщи мне как можно более сведений об убитых и раненых. Сообщения с Москвой прерваны, не знаем, откуда получать известия, к кому обратиться; события так быстро сменяются, мы даже не знаем, что сталось с лицами, которых мы оставили в Москве. Надо полагать, что вам известно более, чем нам, вы должны знать хотя бы число убитых. В положении, в котором мы находимся, смерть не есть большое зло, и если не должно желать ее ни себе, ни другим, по крайней мере, не следует слишком сожалеть о тех, кого Бог к Себе призывает: они умирают, исполняя самый священный долг, защищая свое Отечество и правое дело, чем заслуживают благословение Божие. Я стараюсь проникнуться этим чувством, а равно и внушить его моим бедным кузинам Валуевым.

Тамбов битком набит. Каждый день прибывают новые лица. Несмотря на это, жизнь здесь очень дешева. Если не случится непредвиденных событий и обстоятельства нам позволят сидеть спокойно, мы проведем зиму в теплом и чистом домике, в прежнее время мы бы нашли его очень жалким, а теперь довольствуемся им. Кроме нашего семейства, здесь находятся Разумовские, Щукины, кн. Меншикова и Каверины. Есть много других москвичей, которых мы мало или вовсе не знаем. Все такие грустные и убитые, что я стараюсь ни с кем не видаться: с меня достаточно и своего горя.

Меня тревожит участь прислуги, оставшейся в доме нашем в Москве, дабы сберечь хотя что-нибудь из вещей, которых там тысяч на тридцать. Никто из нас не заботится о денежных потерях, как бы велики они ни были, но мы не будем покойны, пока не узнаем, что люди наши, как в Москве, так и в Высоком, остались целы и невредимы. Когда я думаю серьезно о бедствиях, причиненных нам этой несчастной французской нацией, я вижу во всем Божию справедливость. Французам обязаны мы развратом; подражая им, мы приняли их пороки, заблуждения, в скверных книгах их почерпнули мы все дурное. Они отвергли веру в Бога, не признают власти, и мы, рабски подражая им, приняли их ужасные правила, чванясь нашим сходством с ними, а они и себя и всех своих последователей влекут в бездну. Не справедливо ли, что, где нашли мы соблазн, там претерпим и наказание? Одно пугает меня – это то, что несчастия не служат нам уроком: несмотря на все, что делает Господь, чтобы обратить нас к Себе, мы противимся и пребываем в ожесточении сердечном.

23 сентября

От времени до времени сюда приезжают курьеры из армии: то за провиантом, то за лошадьми. Нам от этого не легче, потому что они или ничего не говорят, или слова их, повторяемые одним лицом другому, доходят до нас совершенно искаженными. Да и что могут знать провиантские или комиссариатские офицерики? Итак, мы пробиваемся слухами, распускаемыми в народе, которые большею частию не что иное, как выдумки. Судьба Москвы и армии нам одинаково неведома. Каждый день слышишь новый рассказ.

Тамбов наполнен московскими купцами, многих из них я знаю, разговаривала с ними, ни один ничего не ведает. Дня два повторяют, что следует ожидать чего-то важного. Да избавит нас Бог от известий вроде всех предыдущих!

В числе других приятностей мы имеем удовольствие жить под одним небом с 3000 французских пленных, с которыми не знают что делать: за ними некому смотреть. На днях их отправят далее, чему я очень рада. Все солдаты – поляки, немцы, итальянцы и испанцы. Больше всего поляков, они дерзки, многих побили за шалости. Офицеров – человек сорок и один генерал. Последний – француз, равно и человек десять офицеров. Нельзя шагу сделать на улице, чтобы не встретиться с этими бешеными. Его высочество принц

Гогенлое[6] тоже здесь содержится. Нынче утром я его встретила – бежит по улице, а за ним гонится солдат. Впрочем, самые многочисленные отряды пленных отправили в Нижний, там их умирает по сотне ежедневно; одетые кое-как, они не выносят нашего климата. Несмотря на все зло, которое они нам сделали, я не могу хладнокровно подумать, что этим несчастным не оказывают никакой помощи и они умирают на больших дорогах как бессловесные животные.

Я совсем глупа стала. Ум, понятие, все, все на свете в милой Москве оставила.

30 сентября

Наш милый, родимый город, некогда приют мира и счастия, представляет лишь груды пепла! Два или три купца, бежавшие из Москвы 15, 17 и 19-го числа нынешнего месяца, сообщили нам подробности, способные растрогать каменное сердце. Не успевшие бежать из города до вступления врагов постоянно подвергаются ужасным пыткам. Они лишены способов существования, одежду у них отобрали и беспрестанно заставляют их трудиться, обращаясь с ними варварски. Несчастные умирают от голода. На их глазах жгут и разоряют дома господ, для спасения коих многие из них остались. Все наши церкви обращены в конюшни. Наполеон, иначе сатана, начал с того, что сжег дома со службами, а лошадей поставил в церкви. Знаешь ли, что, несмотря на отвращение, которое я чувствую к нему, мне становится страшно за него в виду совершаемых им святотатств. Нельзя было вообразить ничего подобного, нигде в истории не встретишь похожее на то, что совершается в наше время. Про армию мы ничего не знаем. В Тамбове все тихо, и если бы не вести московских беглецов да не французские пленные, мы бы забыли, что живем во время войны. До нас доходит лишь шум, производимый рекрутами. Мы живем против рекрутского присутствия, каждое утро нас будят тысячи крестьян: они плачут, пока им не забреют лба, а сделавшись рекрутами, начинают петь и плясать, говоря, что не о чем горевать, видно, такова воля Божия. Чем ближе я знакомлюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего, и отдаю ему полную справедливость. Здесь климат гораздо теплее московского. До сих пор мы проводим полдня с открытыми окнами. Каждое утро ходим пешком к обедне в монастырь, который находится в версте от города; я ничего не беру с собой, кроме шали, и той почти никогда не надеваю.

Мы готовим корпию и повязки для раненых, их множество в губерниях Рязанской и Владимирской и даже здесь в близких городах. Губернатор посылает наши запасы в места, где в них наиболее нуждаются. Так провожу я время, друг мой, даю даже уроки Мишелю. Признаюсь, в состоянии, в котором нахожусь, я

[6] Принц Гогенлое и с ним тридцать нижних чинов были взяты в плен казаками 23 июня (5 июля) 1812 г. в бою при Довгелишках.

не способна к большой умственной деятельности. Дом наших Пушкиных был одним из первых сгоревших домов.

7 октября

С третьего дня мы подверглись нового рода мучению: нам приходится смотреть на несчастных, разоренных войной, которые ищут прибежища в хлебородных губерниях, чтобы не умереть с голоду. Вчера прибыло сюда из деревни, находившейся в 50 верстах от Москвы (по Можайской дороге), целых девять семейств: тут и женщины, и дети, и старики, и молодые люди. Все помещики, имевшие земли в этой стране, позаботились вовремя о спасении своих крестьян, дав им способы к существованию. Государственные же крестьяне принуждены были дождаться, покуда у них все отнимут, сожгут их избы, и тогда уже отправлялись, по русской пословице, «куда глаза глядят». Крестьяне, виденные нами вчера, были разорены нашими же войсками; мне их стало еще жальче оттого, что, рассказывая обо всем с ними случившемся, они не жаловались и не роптали. В такие минуты желала бы я владеть миллионами, чтобы возвратить счастье миллиону людей – им же так мало нужно! Право, смотря на этих несчастных, забываешь все свои горести и потери и благодаришь Бога, давшего нам возможность жить в довольстве посреди всех этих бедствий и даже думать об излишнем, между тем как столько бедных людей лишены насущного хлеба. Пребывание мое в Тамбове при теперешних обстоятельствах открыло мне глаза насчет многого. Находись я здесь в другом положении, думай лишь об удовольствиях и приятностях жизни, мне здешние добрые люди непременно показались бы глупыми и очень смешными. Но, прибыв сюда с разбитым сердцем и с душевным горем, не могу тебе объяснить, как благодарны были мы им за ласковые к нам поступки. Все наперерыв стараются оказать нам услуги, и нам остается лишь благодарить этих добрых соотечественников, которых мы так мало знаем. Правда, здесь не встретишь молодых людей, которых все достоинство заключается в изящной осанке, которые украшают своим присутствием гостиные, занимают общество остроумным разговором, но, послушав их, через пять минут забудешь об их существовании. Вместо них сталкиваешься с людьми, быть может, неуклюжими, речи коих не цветисты и не игривы, но которые умеют управлять своим домом и состоянием, здраво судят о делах и лучше знают свое отечество, нежели многие министры. Сначала, привыкшие к светской болтовне, мы их не могли понять, но мало-помалу мы свыклись с их разговором, и теперь я с удовольствием слушаю их рассуждения о самых серьезных предметах. Здесь есть один дорогой в этом отношении человек, как и мы, он несчастный эмигрант. Это г-н Мертваго, некогда занимавший довольно значительные посты и вынужденный оставить службу. Я редко встречала такой возвышенный ум и светлый разум, беседа его приятна и занимательна. Он часто нас посещает и вполне очаровал меня. Разумовские тоже поселились здесь на всю зиму. Граф – премилый, жена далеко не стоит

его. Каждый раз, когда мы встречаемся, она выводит меня из терпения. Они занимают самый большой дом в городе, и, несмотря на это, графиня вечно недовольна и все ворчит. Богатство избаловало голубушку.

15 октября

Ты и не подозреваешь, добрый друг мой, что в настоящую минуту я нахожусь под одним кровом с Шаховским. Признаюсь тебе, я не воображала, что меня может ожидать что-либо приятное, и потому вся эта неделя исполнена радости для меня. Шесть недель не имели мы известий от сестры, и наконец в прошлый вторник я получила от нее длинное письмо, которому очень обрадовалась. Теперь мы убедились, что есть возможность переписываться с близкими людьми, в чем мы уже начинали отчаиваться. В среду мы получили письмо от нашего толстого дворецкого, о котором мы ужасно тревожились. Этот честный человек дождался последней минуты, и 2 сентября в 11 часов утра, когда войска наши, возвращаясь с Бородинского поля, проходили через Москву, в которую должны были вступить французы, он оставил город и отправился вслед за войском. На улицах была такая давка, тут шли полки, везли пушки, бежали жители, тащились раненые, так что от нашего дома до Владимирской заставы он пробирался целых шесть часов. Перед выходом из города он услышал первый выстрел французской пушки на Кремлевской площади. Письмо его раздирает душу, он описывает чувства свои; в эту минуту, верно, у него совсем закружилась голова, потому что, находясь на Тамбовской дороге, он сбился с пути и попал во Владимир 10 сентября. Часть дороги прошел он пешком, неся с собою бумаги и деньги. Во Владимире он заболел, и потому мы долго не имели о нем известий. Все-таки в нашем доме еще остались двое или трое старых служителей с женами, они говорят, что слишком стары, потому французы не возьмут их в солдаты, а они все же хотя что-нибудь да сберегут в доме. Имение наше, говорят, уцелело, а все находившееся в Москве сожжено, потому я надеюсь, что люди наши перебрались в Высокое. Я в жизнь свою не утешусь, ежели один из них погибнет от рук бешеных злодеев. С Москвой же надо навеки проститься, милый друг. Не выскажешь всего, что там творится. Ежедневно сюда являются беглецы, последние из них оставили Москву 26 сентября. Своими глазами видели они, как французы обращали церкви в кухни и конюшни, иконы употребляли на дрова или бросали в ретирады, оборвав все украшения. Они обедают и ужинают на престолах и всячески святотатствуют. Легко вообразить, чему подвергаются наши соотечественники, попавшие в руки этих злодеев. Шаховские еще остаются здесь на сегодняшний день, следовательно, мы все будем вместе. Завтра они едут к сестре во Владимирскую губернию, а зиму еще не знаю где проведут. Валуевы все с нами. Тетка пишет из Владимира и не говорит им о брате; по слогу я вижу, что она знает о смерти сына, но дочерям желает сообщить как можно позднее это грустное известие. Нам говорят, что, между тем как вся Россия в трауре и слезах, у вас дают представления в театре и что в Петербурге в

Русский театр ездят более чем когда-либо. Нечего вам делать. Не знаю, как русский, где бы он ни был теперь, хоть в Перу, может потешаться театром. Не так смотрят на вещи в других местах. Шаховские, прибывшие издалека, рассказывают, что взятие Москвы привело всех в крайнее отчаяние в самых отдаленных местах. Говорят, что в какой-то газете пишут, что Москву сдали опустелую, увезя из нее все до последней нитки. Видно, что, кто эти газеты пишет, у того в Москве волосу нет. Французы, несмотря на то что они негодяи, не так судят. Поймали несколько курьеров, отправленных во Францию, между прочим, одного, посланного до вступления французов в Москву. Он вез письма, в которых эти подлецы обещали своим соотечественникам описать подробно все удовольствия, ожидавшие их в столице России, воображая, что они будут там танцевать и веселиться. Они говорят о своем нетерпении увидеть самых хорошеньких женщин. Другой же курьер, отправленный уже из Москвы, вез известия иного рода. Они писали, что не видывали более варварского народа, что он все покидает, лишь бы не преклонить колени перед неприятелем, что легче покорить легион демонов, чем русских, если бы даже вместо одного было десять Бонапартов. Когда слышишь это и читаешь петербургские вести вроде вышеупомянутой, руки упадают. Но не угодно ли подивиться этим негодяям-французам, называющим нас варварами, потому что мы не принимаем ни их любезностей, ни их законов. Можно ли завираться до такой степени? Как осмеливаются они называть варварами народ, сидящий тихо и спокойно у своего очага, но который защищается отчаянно, когда на него нападают, и скорее соглашается всего лишиться, чем быть в порабощении. Образованными они зовут орду бродяг, вырвавшихся из ада, чтобы все жечь, разорять и проливать кровь. Что они ни говори, а быть русским или испанцем есть величайшее счастье; хотя бы мне пришлось остаться в одной рубашке, я бы ничем иным быть не желала вопреки всему. Знаешь ли, что наш генерал, у которого в Турецкую кампанию ноги были в параличе, окончательно лишился одной из них в битве 26 сентября. Брат его, женатый на Нарышкиной, был контужен в голову и оглох. Понемногу узнаем о судьбе знакомых, но далеко не всех. Мы часто видимся с Разумовскими. Граф теперь неоценимый собеседник. Везде ему рады, куда он ни придет. Двое или трое людей из его прислуги, оставившие Москву по вступлении французов, привезли известие, что дома его в городе и Петровском истреблены со всем, что в них находилось, то есть миллиона на два вещей. Это нисколько не омрачило его. Он по-прежнему всегда добродушно любезен, за что все и любят его. Скажи мне, видела ли ты Растопчина. Каков он? Его потери тоже значительны.

22 октября

Французы оставили Москву. Растопчин пишет из Владимира, что вместо того, чтобы ехать в Петербург, он намерен вернуться в Москву. Хотя я убеждена, что остался лишь пепел от дорогого города, но я дышу свободнее при мысли, что французы не ходят по милому праху и не оскверняют своим

дыханием воздуха, которым мы дышали. Единодушие общее. Хотя и говорят, что французы ушли добровольно и что за их удалением не последовали ожидаемые успехи, все-таки с этой поры всем мы ободрились, как будто тяжкое бремя свалилось с плеч. Намедни три беглые крестьянки, разоренные, как и мы, пристали ко мне на улице и не дали мне покою, пока я не подтвердила им, что истинно в Москве не осталось ни одного француза. В церквах снова молятся усердно и произносят особые молитвы за нашу милую Москву, которой участь заботит каждого русского. Не выразишь чувства, испытанного нами нынче, когда после обедни начали молиться о восстановлении города, прося Бога ниспослать благословение на древнюю столицу нашего несчастного Отечества. Купцы, бежавшие из Москвы, собираются вернуться туда по первому санному пути, посмотреть, что с ней сталось, и по мере сил восстановить потерянное. Можно надеяться взглянуть на дорогие места, полагая, что приходится навеки отказаться от счастия вновь увидать их. О, как дорога и священна родная земля! Как глубока и сильна наша привязанность к ней! Как может человек за горсть золота продать благосостояние Отечества, могилы предков, кровь братьев, словом, все, что так дорого каждому существу, одаренному душой и разумом? Растопчин пишет Разумовскому, что каким-то чудом дом его уцелел, зато в нем все вдребезги разбито до последнего стула. Письмо это привез Ипполит[7], которого ты, верно, встречала у графа Льва в Москве. Он сказал нам также, что Наполеон обещает три миллиона тому, кто принесет ему голову Растопчина. Это лучшая похвала, величайшая честь Растопчину; не то что отличие, оказанное некоторым личностям, которых дома остались неприкосновенными потому, что у дверей расставлены были часовые, лишь только французы вступили в Москву. Не знаю, известна ли тебе прокламация Растопчина, вывешенная у его церкви в Воронове. Перед тем как удалиться нашим войскам, в ожидании приближения французов граф сжег все, что ему так дорого стоило, все избы крестьянские, отправил крестьян в воронежское имение и напечатал лист, в котором высказывает французам свое удивление тому, что они повинуются негодяю и насильнику, каков Наполеон, и что он сам сжег все ему принадлежащее, чтобы этот ужасный человек не мог похвастаться, что сидел на его стуле. По-видимому, Наполеону не по вкусу пришелся комплимент, и с этой поры, надо полагать, ему захотелось достать голову человека, который так верно его ценит. Шаховские уехали в среду утром. Михайло Виельгорский уже три дня как здесь и нынче едет в пензенское свое имение, где оставил жену, и намерен пробыть там до зимы. Вероятно, по первому снежному пути вернется в Тамбов. Катиша, Даша, Валуевы и я вздумали своими трудами обуться и прилежно вяжем. В нынешнее переходное время надо ко всему привыкать.

Теперь это служит нам развлечением, а со временем, быть может, станет необходимостью. Вообрази, что дом Разумовских со всем, что в нем находи-

[7] Подчасский.

лось, остался нетронутым; так как его начали разламывать для постройки, то французы вообразили, что в доме без окон, верно, ничего нет, и не совали туда носу. Это удивительное счастье, что он и не сгорел – все цело, даже вино в погребах. Зато Петровское все разорено, шуточка эта стоит миллион. О нашем доме мы не ведаем, Бог с ним, лишь бы французов истребили.

28 октября

Ни от чего я так не страдаю, как от холода. Как нарочно, я попала в Тамбов в такие холода, которым сами старожилы дивятся. Все дома насквозь проморожены. Наш – как погреб. Мы все сидим в одной комнате и льнем к печкам. Вот каково наше житье, дружок. Все это – испытания, их надо переносить терпеливо и покорно, ожидая лучшего в будущем. Наконец Валуевы узнали о смерти брата, их жалко особенно потому, что он умер вдалеке от семьи.

Со времени сражения под Малоярославцем мы ничего не слыхали о нашей армии.

Несколько дней тому назад я ужинала у губернаторши, там я слышала прекрасную музыку, которая, напомнив прошлое, причинила мне страдание. Наполеону мы обязаны тем, что страдаем оттого, чем прежде наслаждались. Впрочем, все, что нам суждено испытать, не от нас зависит, а назначено свыше.

11 ноября

Я чувствую, что с июня месяца состарилась на десять лет. Все, что вижу, до сих пор не таково, чтобы мне помолодеть. Письма твои принесли мне большую пользу: они вывели меня из глубокой грусти, в которую я была погружена. Увы, милый друг, как и ты, я в постоянной сердечной тревоге. Брата Николая назначили адъютантом в 6-й саперный батальон, которым командует храбрый Эммануил Сен-При. 29 октября получили мы известие об этом назначении. Брат наскоро экипировался, что стоило ему большого труда, ибо здесь, в степях, ничего нельзя достать, и уехал третьего дня вечером. Сначала он отправился в Москву, оттуда на три или четыре часа съездит в Высокое, потом поедет вслед за армией, которая, вероятно, очень уже далеко ушла, потому что 26 октября она находилась в окрестностях Смоленска, а с той поры она не переставала идти усиленным шагом.

Двоюродные братья мои Валуевы теперь у родителей. Мы ежедневно ожидаем Александра, который должен приехать за сестрами. С 30 октября тетка моя в Москве, лишь по прибытии ее в разоренный город объявили ей о смерти сына, и впечатление, произведенное этим известием, было тем ужаснее, что она окружена была развалинами, письмо ее полно отчаяния. От дома ее остались лишь стены, службы все сгорели, и ей пришлось остановиться в Запасном дворце у Красных Ворот: это единственное казенное здание, оставшееся неповрежденным. Поэтому все городские власти, как высшие, так и низшие, поместились в этом дворце; всех их там человек до 500. Тетке при-

шлось перейти в дом Яковлева, в Леонтьевский переулок. Сыновья ее должны будут отправиться в окрестности Ярославля. Когда началось всеобщее вооружение, они поступили в полк, который Мамонов начал организовывать на свой счет; тут случилась московская катастрофа, полк этот был отправлен в Ярославль, где должен был найти все способы для окончательного формирования.

При воззвании Растопчина двоюродные братья мои, равно Лукин и Баранов, просили о переводе их в армию. Им было отказано, потому что, будучи придворными, они были не подвластны ни Растопчину, ни кому другому. Тогда они поодиночке вышли в отставку, а потом снова вступили в свой полк. Потому я и полагаю, что им придется тоже последовать за армией, что приводит сестер в отчаяние, то есть Анету и Полину, потому что София ничего не чувствует: пока другие плачут, она позвала к себе парикмахера, бежавшего из Москвы, как и мы, велела обрезать себе волосы и завивается. Мне кажется, что она кончит тем, что сойдет с ума, как ее старшая сестра. Что касается двух других – на них жалко смотреть. Они так и убиваются, страшно исхудали. Кстати, о полке Мамонова: в нем находится большая часть известной московской молодежи, тут Левашов, Гусятников и кн. Вяземский. Сей последний возымел дерзкую отвагу участвовать в качестве зрителя в Бородинском сражении. Под ним убили двух лошадей, и сам не раз рисковал быть убитым, потому что Валуев пал возле него. По окончании сражения он вернулся в Москву. Не слыхав никогда пистолетного выстрела, он затесался в такое адское дело, которому, как все говорят, не было подобного. Не помню, как это несчастное сражение могло хотя на минуту обрадовать вас. Хотя по словам лиц, в нем участвовавших (некоторых я встречала), это не потерянное сражение, однако же на другой день всем ясны были его последствия. В Москве напечатали известия, дошедшие до нас, в которых говорилось, что после ужасного кровопролития с обеих сторон ослабевший неприятель отступил на восемь верст, но, что для окончательного решения битвы в пользу русских на следующий день, 27-го, сделают нападение на французов, дабы принудить их к окончательному отступлению. Таково было официальное письмо Кутузова к Растопчину, которое и поместили в печатном известии. Вместо всего этого 27-го наши войска стали отступать, и доселе неизвестна причина этого неожиданного отступления. Тут кроется тайна. Быть может, мы ее когда-нибудь узнаем, а может, и никогда; но что верно и в чем мы не можем сомневаться, это в существовании важной причины, по которой Кутузов изменил план касательно 27-го числа, торжественно им объявленный вечером 26-го числа.

Как бы то ни было, мы не имели даже и тени надежды на блестящую победу; и три дня спустя по прочтении вышеупомянутого известия мы узнали, что войско находится в 15 верстах от Москвы, а 7 сентября получили ужасное известие о гибели дорогого города. В течение шести недель мы постоянно находились в тревоге и глубокой горести, не получая ни единой отрадной вести.

После сражения под Малоярославцем мы стали получать более удовлетворительные новости, неприятель не мог идти на Калугу и должен был возвращаться по той же дороге, по которой пришел, теснимый со всех сторон. В Белоруссии французов ожидают наши войска, так что вряд ли они ускользнут от нас. Надо надеяться, что они будут окончательно разбиты. Я не прихожу в отчаяние насчет нашей будущности, надеясь на Божье милосердие. Не тревожься и ты о будущей весне, милый друг.

Я не сержусь на Растопчина, хотя знаю, что многие недовольны им. Помоему, Россия должна быть благодарна ему. Мы лишились мебели, вещей, зато сохранили некоторого рода внутреннее спокойствие. Ты не знаешь, что было в Москве с конца июля. Лишь человек, подобный Растопчину, мог разумно управлять умами, находившимися в брожении, и тем предупредить вредные и непоправимые поступки. Москва действовала на всю страну, и будь уверена, что при малейшем беспорядке между жителями ее все бы всполошилось. Нам всем известно, с какими вероломными намерениями явился Наполеон. Надо было их уничтожить, восстановить умы против негодяя и тем охранить чернь, которая везде легкомысленна. Растопчин прекрасно распорядился. Чтобы успеть в необходимом, пришлось пожертвовать богатствами. Притом, как ему было объяснить о близкой опасности, когда Кутузов, едва прибыв в армию, писал к жителям Москвы и клялся, что он не подпустит врагов к стенам древней столицы. Письмо это было напечатано, всеми читалось и без сомнения имело более весу, нежели могли иметь слова Растопчина, который, однако, никого не удерживал и радовался, видя, что господа и прислуга уезжают из города. Он напечатал объявление, которое я читала и в котором он говорит, что его удивляют слухи, будто он препятствует выезду жителей из Москвы, что ему это и в голову не приходило, напротив, он рад был, что уезжают люди, опасавшиеся остаться. Между тем он знал то, чего вы не ведали, а именно, что крестьяне во всей Московской губернии, удивленные и испуганные множеством людей всех сословий, бегущих из Москвы, говорили дерзости проезжающим и могли бы зайти далее, если бы за ними не было бдительного присмотра. Ты знаешь, что я никогда не была ослеплена Растопчиным, потому не можешь упрекать меня в лицеприятии. Но уверяю тебя, что я чувствую к нему величайшую благодарность и вижу Божие милосердие в том, что во главе Москвы в тяжелые минуты находился Растопчин. Будь у нас прежний начальник, Бог знает, что бы с нами было теперь: всех бы пугала не столько гибель Москвы, сколько ее последствия. Наполеон это хорошо знал и обратился не к Петербургу, а ударил в сердце России.

Я бы желала, чтобы ты послушала, как говорят здесь о Москве, то есть в губерниях, составляющих коренную Россию, где почти не подозревают о существовании иной столицы, кроме Москвы, к которой питают какое-то священное благоговение. Что касается недовольства Растопчиным, оно меня нисколько не удивляет; к несчастию, люди никогда не видят вещи в настоя-

щем их свете. Мы досадуем на свои потери и ищем, кого бы за это обвинить, нисколько не руководствуясь справедливостью в обвинениях наших.

Наш московский дом сгорел в ночь с 4 на 5 сентября, сгорел также дом Шаховских и все смежные дома. 2-го числа вечером несколько голодных негодяев пришли просить хлеба у наших людей и у дворецкого. Утолив голод, они ушли. Точно та же история повторилась на другой день, причем они украли вещи дворецкого, который имел глупость разложить их перед их глазами. День прошел довольно спокойно. Ночью подожгли Немецкую слободу и лавки. 4-го числа пришли требовать вина; у нас в погребах было много вин и варенья, потому угощенье долго продолжалось и гостей было много. Потом они обобрали людей и велели открыть кладовые; не найдя в них ничего съедобного, они ничего не взяли, хотя тут находилось тысяч на тридцать вещей. В этот вечер подожгли Большую Никитскую, Арбат, Пречистенку, Остоженку и все смежные кварталы. Наш дом все держался. Наконец в час толпа негодяев ворвалась в дом, сломав двери; они поднялись в мои комнаты, где я оставила книги, фарфор и множество других вещей. Они начали все рвать, ломать, люди внизу слышали адский шум, потом эти каннибалы подожгли мои комнаты и ушли, ничего не взяв. Так как соседние здания уже были в огне, то наш дом сгорел вскоре со всем в нем заключавшимся (чему я очень рада, ибо, по-моему, лучше, что все наше добро сгорело, нежели сделалось бы добычею адских чудовищ). Тогда люди наши, полунагие, отправились в Высокое, куда, однако, прибыли здоровыми. Это милое убежище благодаря Богу осталось в целости, хотя его положение было небезопасно, так как оно находится между Клином, где расположены наши войска, селом Пятницей, наполненным казаками, порядочными грабителями, Волоколамском, Рузой, городами, разоренными французами, и, наконец, вблизи Можайска, так что пушечные выстрелы 26-го числа слышны были в Высоком. Мы полагали, что имение это погибнет ранее Москвы, и потому я велела перевезти множество вещей в Москву. Ты видишь, как ошибочны человеческие предположения. Москва почти не существует, а Высокое – целехонько. В деревнях, находящихся верстах в 12 и 14 от Высокого, ежедневно убивали сотни мародеров, а в Высоком не видали ни одного солдата, как будто война велась в Америке. Урожай был прекрасный, хлеб убрали, как по обыкновению, скот процветает, так что люди наши нашли и убежище, и обильное пропитание в нашем милом имении, которым мы все дорожим, потому что батюшка сам занимался его устройством. Мы многим обязаны нашему управляющему. Будучи вполне свободен, он добровольно остался на месте и своею твердостью и присутствием духа сберег нам все до последней нитки. Во всей Московской губернии вряд ли найдутся два имения, уцелевшие подобно нашему.

С Божиею помощью на будущее лето мы намерены посетить эти милые места, бывшие некогда свидетелями нашего благоденствия. Зиму мы проведем здесь. Квартира наша невыносима, печи дымят, и по крайней мере два дня я лежу с головной болью. Собираемся искать другую квартиру. Виельгорские

и не думают ехать в Петербург. Очень может быть, что Катиша сюда приедет родить, так как вскоре здесь собирается вся их семья. Пребывание здесь не представляет ровно никаких приятностей, да кто о них и думает в настоящее время! Я желала бы побывать в Петербурге, чтобы повидаться с тобой, вообще же, я предпочитаю места самые удаленные от шума.

Все наши московские знакомые – в Нижнем, исключая Пушкиных и г-жи Лобковой с матерью, живущих в Ярославле. Никто не думает ехать в Питер, в начале волнения все бросились в Нижний, считая его безопасным убежищем, а теперь, поуспокоившись, стараются забраться в отдаленные места, где можно жить с маленькими средствами, не делая долгов и стараясь поправить свои финансы. На прошлой неделе меня закидали письмами из Нижнего. Лица, ежедневно посещавшие нас в Москве, узнав, где я нахожусь, все написали мне. Меня очень тронуло их внимание, но я пугаюсь при виде множества писем, на которые нужно отвечать. Гагарина благополучно родила в деревне, не имея другой помощницы, кроме своей горничной; она сама пишет мне, равно и все Оболенские, Соллогуб, Небольсина и др. Не ведаю, где Вяземские, полагаю, он в полку. Мы знаем, что были бессовестные негодяи, услужившие Наполеону в Москве. Не знаю, с чего ты взяла, что Визапур – русский дворянин; он не что иное, как мулат, явившийся Бог знает откуда и годный только стоять на запятках у кареты вместо негра. Загряжский давно с ума сошел; не знаю, кто такой Бестужев; довольно верно то, что большая часть изменников – купцы, иностранцы всех наций, вообще люди ничего не значащие, дворян же весьма немного.

18 ноября

Мы остались в одиночестве. Валуевы уехали вчера со своим братом. Большая часть наших знакомых уехали в Москву или в ее окрестности. Осталась наша семья, состоящая из пяти лиц, считая и Мишеля, да Разумовские. Общество сих последних весьма удовлетворительно для матушки, но не для меня. Предстоящая зима кажется мне весьма жалкою в сравнении с прошлыми зимами. Однако я не отчаиваюсь и уверена, что с Божиею помощью не буду слишком тосковать. Я так распределила свои занятия, что не имею ни минуты свободной и не вижу, как идет время. Пока мне не приходилось страдать от холода в нашей гадкой квартире, я смотрела равнодушно на изодранные драпировки, парусиновую мебель, кривые столы, теперь же все это кажется мне невыносимым. Впрочем, над нами сжалился один здешний помещик и велел нам привести мебель из своего имения. Я достала себе теплые ботинки, которые не снимаю с ног; эта обувь, равно и весь мой наряд, придает мне вид пятидесятилетней старухи. Я никогда не была щеголихой, и потому мне ничего не значит обойтись без щегольства. Но я не могу с такой же философией отказаться от талантов, которые развивала с самого детства и коими забавляла тех, кому желала доставить удовольствие. Я более не буду в состоянии позабавить тебя пением, потому что я совершенно потеряла голос. Вчера я

попробовала спеть и решительно не могла взять ни одной ноты. Прощайте, все мои романсы, арии, дуэты, которыми я потешала моих добрых друзей! Помнишь ли ты наши ужины у дяди? Где-то он теперь, милый дядя! Говорят, дом его сгорел. Кстати, я отказываюсь от многого сказанного мной о Растопчине; говорят, он вовсе не так безукоризнен, как я полагала. Судя по последним верным сведениям обо всем случившемся до и по отдаче Москвы, я вижу, что есть причины сердиться на графа. Ему особенно повредила его полиция, которая, выйдя из города в беспорядке, грабила во всех деревнях, лежащих между Москвой и Владимиром. Много есть других мелочей, не делающих ему чести. Он с Кутузовым – как кошка с собакой. Беннигсен одно время не в ладу был с Кутузовым, но они скоро помирились и теперь друг с другом в прекрасных отношениях. Я обещала тебе сообщить подробности о старике Кульмане, вот они. Не будучи извещен полицией о сдаче Москвы, он остался в городе. В первые же три дня по вступлении французов его ограбили, сожгли его дом, словом, он всего лишился. В лохмотьях, питаясь тем, что французы выбрасывали на улицу, в отчаянии, он просил принять его в лекари в один из наполеоновских гошпиталей. Это доставило ему способ существования в течение шести ужасных недель, которых не забудет ни один русский. Когда французы удалились и наши власти вернулись в город, Кульмана схватили и посадили в тюрьму. Оттуда он написал матушке письмо, раздирающее душу. Этот несчастный человек, служивший нашему отечеству сорок лет, на которых он мог разжиться в течение года, не взял ни гроша. Уезжая из Москвы, мы оставили его в довольно жалком положении. Несмотря на свою честность и бескорыстие, он попал в такое положение, из которого лишь Бог может его вывести, и все это благодаря ветрености и неразумию, столь странным в старике и столь нам известным. Немец нашего Мишеля, бедный Кленсен, сгорел в нашем доме, где остался после нашего отъезда. С отчаяния он начал пить, и в тот роковой день, когда подожгли Никитскую, он так был пьян, что его никакими силами не могли вытащить из угла, в котором он спрятался, и таким образом он стал жертвою своей глупости и адского неистовства нации, считаемой за самую образованную во всей Европе.

Ежедневно сюда приводят пленных, они крайне дерзки, так что губернатор, человек очень порядочный, обращается с ними как с собаками.

23 ноября

Сколько приятных новостей, милый друг! Сколько причин надеяться, что Господь сжалится над нашими страданиями и что мы будем иметь счастье отмстить за гибель милой столицы, унизив и окончательно уничтожив тирана, бывшего причиною всех наших мук!

Ныне мы получили известия от 8 ноября, настолько удовлетворительные, что можем себе позволить предаться чувству, похожему на радость! Я говорю, что чувство наше похоже на радость, ибо мы так давно не радовались, что даже забыли, что значит радоваться. Как бы то ни было, дышится свободнее и мож-

но надеяться, что снова настанут мир и спокойствие, которых мы так жестоко были лишены. Если бы не попал брат Николай в тот омут, от которого зависит наша общая участь, мне кажется, мне бы нечего было желать. Однако скажи мне кто-либо в прошлый год, как проведу я зиму 12-го года, я, наверное, стала бы жаловаться на горькую участь, меня ожидающую. Вообрази, что я нахожусь посреди трех старцев (один из них от меня без ума), под носом у меня колода карт для игры в бостон, в вечер я проигрываю два или три рубля. Чтобы разнообразить удовольствия, я и мой старый поклонник играем в пикет по пятаку за очко. Затем взгляни в мое прошлое, сравни обстановку, в которой ты меня знала, и теперешнюю мою жизнь и скажи, что ты думаешь об этом сравнении.

Каждый день я катаюсь в санях и потом вышиваю без устали. Это, признаюсь, мне служит отдыхом и составляет любимейшее занятие.

Ты желаешь знать, не приведут ли нас в Питер общие несчастия и потеря дома в Москве. На это я скажу тебе, что ваш блестящий город увидит нас лишь в одном случае, а именно: ежели служба Николеньки принудит его поселиться в Питере. Тогда матушка все бросит, чтобы последовать за милым сыном, дабы своим присутствием охранить его от соблазнов, словом, от бесчисленных пороков, коими богата ваша сторона и которым 17-летний юноша не в силах противостоять. Николай так добр, так доверчив, что более других нуждается в руководителе, что он и сам сознает. До сих пор он радует всех нас своим хорошим поведением, прекрасным характером; ты понимаешь, что мы все забудем, коль скоро явится случай быть ему полезными.

Еще, быть может, встретимся мы на берегах Невы, ежели дядя Кошелев потребует нас, но я надеюсь, что он этого не сделает. Он так несчастлив во многих отношениях, что матушка не в силах будет долго противиться его просьбе, ежели он серьезно того пожелает; иначе лишь служба Николая может нас вызвать в Питер. Мы – москвичи более, чем когда-либо.

Странно, что со времени несчастья Москва стала еще милее для всех, кто к ней был привязан. Многие лица, между прочим Апраксины, предполагая, что мы можем перебраться в Петербург, написали матушке, советуя ей не покидать Москвы, говоря, что должно стараться сгладить следы бедствий, которые потерпела милая столица, жертвуя собой для общего блага. Вот наши планы. Зиму мы проведем здесь, и старый Немчинов будет за мной ухаживать сколько ему угодно. Весной мы намереваемся посетить принадлежащее нам имение в Саратовской губернии, которого никто из нас не знает. Потом отправимся в наше милое Высокое, пробудем там до зимы и тогда вернемся в дорогую Москву, где уже строятся несколько зданий и на будущую зиму можно будет нанять дом. Москва, говорят, полна народу – в нее съезжаются из всех соседних губерний.

Я одного боюсь, что весной житье в Москве не сделалось бы опасным, так как во время шестинедельного пребывания в городе французы перебили множество народа. Не только город, но и окрестности усеяны трупами, заражающими воздух. Представь, что будет весной, когда растает снег. Николай

пишет, что за пятнадцать верст от Москвы уже становится тяжело дышать: колодцы, овраги и рвы вокруг Кремля – все наполнено мертвыми телами, их даже трудно отыскивать, и потому меры, принимаемые против зла, недостаточны. К тому надо прибавить, что в начале ноября еще не похоронены были убитые 26 августа, Бог знает, схоронены ли они теперь. За 25 верст слышно было зловоние, и, ежели не примут решительных мер, весною запах слышен будет в Высоком, находящемся не более как в пятидесяти верстах от несчастного Бородина. Это разрушило бы наши планы, и я не знаю, куда бы мы делись летом в таком случае. Невестка моя беременна, и к июню нам необходимо где-нибудь устроиться, чтобы она могла спокойно родить.

Впрочем, я стараюсь как можно менее думать о будущем. Господь чудесным образом вывел всех нас из тяжкого кризиса; было бы неблагодарностью с нашей стороны, ежели бы мы слепо не положились на Его волю с полной уверенностью, что тогда все пойдет хорошо.

Кто мог предположить, что события примут такой оборот? Кто мог осмелиться обозначить предел зла, которое в состоянии были сделать нам французы до и по вступлении своем в Москву? Во всем виден перст Божий и особенно безграничное милосердие Провидения, которое, наказав нас, по правосудию своему не допустило, однако, до крайней гибели. Опасались худшего, нежели то, что случилось. Божия благость спасла нас от горя, которое для нас было бы тяжелее многих других. Ты помнишь, что при отъезде моем из Москвы мне пришла ужасная мысль: я боялась, чтобы каннибалы не оскорбили гробниц наших отцов. Меня еще сильнее стала тревожить эта мысль, когда нам рассказали, что чудовища эти откапывали мертвецов, чтобы грабить могилы. Я с отчаянием вспоминала о Девичьем монастыре, где покоится лучший и любимейший из отцов. Николай по прибытии в Москву тотчас отправился в монастырь и пишет нам, что памятник батюшки, равно и все другие памятники остались в целости. У нас как камень с сердца свалился. В женских монастырях совершались мерзости, но что для нас наиважнейшее, то цело, благодаря Бога.

В реляции Кутузова сказано, что в деле 8-го числа Финляндский полк отличился храбростью. В этом полку находился брат Даши Ухтомской; потрудись, милый друг, узнать, не в числе ли раненых или убитых значится князь Ухтомский? После Бородинского дела в этом полку осталось в живых семь офицеров, в числе их был и Ухтомский. Бог знает, посчастливилось ли ему и на этот раз. Бедная сестра его, которую я люблю с детства, в ужасном страхе. Я получила от нее письмо и, судя по нему, вижу, что она страшно тревожится. Письмо ее от 16 октября, ей еще, значит, не было известно, что произошло сражение под Малоярославцем.

27 ноября

Мы снова подверглись всем ужасам степной вьюги, это страшная мука, особенно когда живешь в картонном домике. Невольно вспомнишь о нашем

теплом уютном московском доме, который был известен своим удобством в самых дальних частях города. Очень благодарю тебя за известие, что отыскан крест Ивана Великого. Я повторяю с восторгом, что он не будет служить трофеем чудовищу. Однако я не могу удержать своего негодования касательно спектаклей и лиц, их посещающих. Что же такое Петербург? Русский ли это город или иноземный? Как это понимать, ежели вы – русские? Как можете вы посещать театры, когда Россия в трауре, горе, развалинах и находилась на шаг от гибели? И на кого смотрите вы? На французов, из которых каждый радуется нашим несчастиям?

Я знаю, что в Москве до 31 августа открыты были театры, но с первых чисел июня, то есть со времени объявления войны, у подъездов их виднелись две кареты, не более. Дирекция была в отчаянии, она разорялась и ничего не выручала. Играли русские и в более спокойную пору, но зала наполнена была лишь купцами. Чем более я думаю, тем более убеждаюсь, что Петербург вправе ненавидеть Москву и не терпеть всего в ней происходящего. Эти два народа слишком различны по чувству, по уму, по преданности общему благу, для того чтобы сносить друг друга. Когда началась война, многие особы, будучи не хуже ваших красивых дам, начали часто посещать церкви и посвятили себя делам милосердия, чтобы умилостивить Бога за себя и своих соотечественников. Ежели у нас несли вздор, то по крайней мере все мы, русские, за исключением Петербурга, разумеется, одинаково заблуждались.

Здесь, в Тамбове, месте более безопасном, чем другие места, балы, начинающиеся обыкновенно с сентября, открыты были лишь после сражения под Вязьмой. До сих пор ни одна дама не показывалась на бале, так что балы превратились в мужские собрания, где играют в карты. Французский язык изгнан, крестьяне лишь только услышат, что говорят на иностранном языке, сейчас же скорчат грозную гримасу. В Москве с августа месяца французы не осмеливались показываться на улицах – их побивали камнями. Мыслимо ли было, чтобы пошли смотреть на них в театре? Шаховские рассказывали мне, что во всю дорогу от Кавказа досюда они были как на иголках; если, забывшись, по привычке начинали говорить по-французски, мужики сейчас спрашивали их: не из тех ли они негодяев, которые грабят Россию и Москву?

Я забыла рассказать тебе о перемене моих отношений к двоюродному брату Валуеву. Из заклятого врага он сделался моим поклонником. Я получила от него такое послание из Рязани, в конце коего недостает лишь предложения; в последнем случае оно было бы вполне трогательно. Во время трехдневного пребывания своего у нас он преследовал меня комплиментами и ласками, стараясь оправдаться передо мною в своих прежних ошибках в отношении меня и зная, что они мне известны. Я не избегала объяснения и вечером накануне его отъезда высказала ему откровенно мое мнение о разных вещах. Он весьма покорно выслушал мои замечания, сознавался, что был невыносим, говорил, что исправился и т.д. В заключение всего этого я получила

вышеупомянутое письмо. Эта перемена мне кажется чудом вроде переворота в судьбе Наполеона... Настал год чудес.

Если бы не твое великодушие, мы решительно не ведали бы, что на свете происходит. Нынче получили мы известие, что Николай с Ипполитом отправились в армию 19-го числа, теперь они уже доехали.

Знаешь ли, что сделали французы из гостиных Разумовских, о которых ты упоминаешь в письмах твоих (надеюсь, что мы когда-нибудь в них встретимся)? В третьем этаже, в кабинете графа, они устроили бойню; по уходе их, там нашли зарезанных коров и телят. В нижнем этаже были конюшни, в среднем, на убранство которого граф прошлым летом положил огромные деньги, они все истребили.

Петровское исчезло; там происходили ужасы, от которых дыбом становятся волосы. Московские кладовые были в целости до октября; в эту пору одна из служанок влюбилась в какого-то негодяя поляка, открыла их разбойникам, равно и погреба, словом, места, где что-либо хранилось. Потеря Разумовских простирается почти до двух миллионов.

Ежели желаешь составить себе понятие об образованнейшем народе, называющем нас варварами, прими к сведению, что во всех домах, где жили французские генералы и высшие чины, спальни их служили также чуланами, конюшнями и даже кое-чем хуже. У Валуевых в этом отношении так дом отделали, что в нем дышать нельзя и все ломать надобно, а эти свиньи тут жили.

2 декабря

Вчера в первый раз с тех пор как я в Тамбове, была я на обеде, данном для матушки одним из богатейших здешних помещиков. Здесь для меня все ново и есть что изучать. Я заметила, что есть возможность составить кружок из мужчин; они не щеголи и не отличаются любезностью, но зато разумные и даже приятные собеседники. Что касается женщин, только губернаторша милая особа, остальные нестерпимы. Все с претензиями крайне смешными. У них изысканные, но нелепые туалеты, странный разговор, манеры как у кухарок; притом они ужасно жеманятся, и ни у одной нет порядочного лица. Вот каков прекрасный пол в Тамбове. Ты понимаешь, что я как можно реже буду видаться со всеми этими лицами, разве в случае необходимости. Мы каждый день видимся с Разумовскими: она по-прежнему безалаберна, а муж ее любезнее, чем когда-либо. Нынче мы у них будем ужинать. Щукина не слишком приятная особа, я с ней мало знаюсь, мы только вместе играем в карты; муж ее претошный. У них живет племянница, которая замужем за каким-то Ивановым, глупым и невыносимым существом, как раз под пару здешним чопорным дамам, он уже успел с ними подружиться. Все это общество мне не по вкусу, я бы его себе не избрала, но, за неимением лучшего, приходится им довольствоваться.

Вчера я видела приехавшего из армии, он оставил Главную квартиру 19 ноября. Известия, им привезенные, так хороши, что, будучи русским,

нельзя не забыть о своих потерях и не радоваться, думая о бессмертной славе, которую приобретает наше милое отечество. Французы, особенно злодей Наполеон и его приверженцы, растерялись. Я согласна, пусть эти дураки называют Россию варварской страной, коль скоро их цивилизация привела их к добровольному подчинению гнуснейшему тирану. Слава Богу, что мы варвары, если считаются образованными Австрия, Пруссия и Франция.

Сюда прислали четверых пленных французских генералов. Князь Кутузов особенно рекомендовал одного из них здешнему губернатору, родственнику своему, присовокупляя, что, слышавши, что с пленными обращаются сурово, он желает, чтобы изменили эту систему, ибо жестокое обращение с обезоруженным врагом не согласно с русским характером. Потому с большими генералами будут обращаться, как обращались в Москве с Клерфельтом и Лавенгеймом. Доброго старика Кутузова армия обожает, везде его встречают с восторженными приветствиями. Растопчину с ним тягаться не под силу.

Знаешь ли, у меня бывали минуты, когда меня так мучило все, что я видела, слышала и чувствовала, что мне приходила мысль идти в здешний монастырь для избежания всех горестей, которые мы испытываем, живя в свете.

10 декабря

Ты удивишься, узнав, что я собираюсь на бал. Да, послезавтра я буду выплясывать с тамбовскими щеголями. 12 декабря, как тебе известно, празднуется во всей России. Вот и здешний губернатор[8], добрейший человек, вздумал потешить общество и дает бал, к которому готовятся все наши франтихи.

Признаюсь, меня удивляет, что мне приходится явиться на бал после всех тревог и скорбей, испытанных мною в течение шести месяцев, однако я не прочь взглянуть на провинциальные собрания. С тех пор как известия из армии сделались утешительнее, в России снова начали веселиться. Вот уже три недели, как здесь пляшут по воскресеньям в жалком, уродливом доме, в котором жители Тамбова веселятся более, нежели веселились мы в прекрасном московском здании.

Наше Московское собрание только что собирались отделать и украсить на нынешнюю зиму, а негодяи французы превратили его в пепел.

Ты, верно, видала г-жу Болгавскую, урожденную Салтыкову, у нее было большое имение в Смоленской губернии. Жила она открыто, пользуясь всеми удобствами жизни. Теперь же с пятью детьми, из которых один меньше другого, она принуждена продавать платья и белье, чтобы не умереть с голоду. И сколько таких случаев!

Я часто получаю послания от Валуевых; они так привязались ко мне в течение трех месяцев, проведенных с нами, что при всяком удобном случае посылают мне дружеские письма. Подробности, которые они сообщают мне о Москве, крайне интересны для человека, любящего этот город, как я его люб-

---

[8] Статский советник Пётр Андреевич Нилов.

лю. Меня радует привязанность народа, вообще всей нации русской к древней и почтенной столице нашего милого отечества. Москва теперь как муравейник. В нее стекаются отовсюду. Туда идут транспорты даже из здешних мест – поэтому там жизнь дешевле прежнего. В Москве теперь можно все достать, даже предметы роскоши: шелковые материи, вина, овощи и т.д., даже общество, говорит Аннета, лучше прежнего. Все лица, которых дома уцелели, занимаются их устройством.

Кстати, я тебе не упоминала о великолепном проекте благотворительности, составленном нашими дамами. Каково твое мнение о нем? Право, женское судилище с председательницей во главе напоминает мне сенат фей Уржели, во главе коего находилась королева Берта. Не знаю, видела ли ты эту пьесу, но уверяю тебя, что предполагаемый комитет мне ее напоминает. Откровенно говоря, если хотят делать добро и благотворить, то можно обойтись без гласности. В предприятии же этих дам я вижу желание выказаться. Это признак тщеславия и в мужчине, и он вовсе не нравится мне в женщине, назначение коей держаться в стороне.

У нас в гостиной с десяток помещиков, явившихся сообщить нам известие о победе Витгенштейна.

17 декабря

Я ездила на бал, чтобы не обидеть тамбовских обитателей, старалась быть веселой и до четырех часов утра танцевала. Праздник был блестящий, даже в столице он бы имел успех. Никогда не встречала я такой коллекции оригиналов, какую пришлось мне видеть в этот день.

Тамбов теперь в полном блеске. Все дворянство собралось на выборы, от бедняка до богача. Пора выборов самая веселая в губернских городах. На балу граф Лев[9] насчитал до двадцати мундиров, один другого оригинальнее. Тут, судя по мундирам, находились представители четырех царствований, были некоторые и в сюртуках. Целых три дня после бала мне нездоровилось. Я отвыкла поздно ложиться, устала и вообще неохотно ехала на бал. Вести московские неутешительны. Там свирепствуют повальные болезни, как в городе, так и в окрестностях. Несчастная столица переходит от одного бедствия к другому. Надо надеяться, что приняты будут строгие меры к отвращению зла и что в стенах милого города снова водворится здоровье, мир и счастье, которыми он пользовался в течение веков.

Наш старый майор, которого ты знаешь, умер вследствие неприятностей, перенесенных им во время пребывания в Москве извергов. Однако мы очень счастливы: из наших никто не погиб, кроме Клемана и майора. У Разумовских же умер лучший из управляющих, похоронив в течение недели жену, трех детей и имев несчастье видеть зверские поступки извергов в отношении к его одиннадцатилетней дочери. Несчастная тоже при смерти. Много подобных

[9] Разумовский.

случаев; в Голицынской больнице, в церкви на алтаре, нашли мертвую девочку одиннадцати лет, бывшую жертвою самого гнусного злодейства. Сначала от подобных новостей меня била лихорадка, но мы обязаны французам привычкою к самым неприятным ощущениям: они так часто повторяются, что не могут производить постоянно сильного впечатления.

Сумарокова в Москве и пишет мне, что она объездила весь город и преимущественно ту сторону, где мы жили. С трудом отыскала она развалины нашего милого дома[10]. Она говорит, что не видевший настоящего положения Москвы еще не может вполне ненавидеть злодеев. Я не хочу ненавидеть их, прошу Бога простить им их злодейства, но положительно можно сказать, что с тех пор, как мир существует, ни в древней, ни в новой истории не найдешь поступков, подобных преступным действиям их в нашем отечестве.

Графиня Орлова, Лобкова с племянницей, гр. Апраксина и многие другие намерены провести зиму в Москве.

Я решительно отказываюсь от моих похвал Растопчину вследствие последней его выходки, о которой мне сообщили. Ты, верно, слышала, что мадам Обер-Шальме, бросив свой магазин, в котором находилось на 600 000 рублей товара, последовала за французской армией. Государь приказал продать весь этот товар в пользу бедных. Именитый же граф нашел более удобным поделиться им с полицией. Младшему из чиновников досталось на 5000 рублей вещей; сообрази, сколько пришлось на долю графа и Ивашкина. Это скверно до невероятности. Мой двоюродный брат Волков отказался от своей доли. Спиридов, московский комендант, и князь Борис Андреевич Голицын, которые также были приглашены к дележу, тоже не захотели в нем участвовать; неизвестно, чем кончится эта история, но она отвратительна.

Я еще не говорила тебе, что я достала дрянное фортепьяно и ноты; матушка заставляет меня петь. Если у тебя есть какие-нибудь хорошенькие пьесы, пришли их мне, дружок. Здесь подобные вещи нужнее, чем где-либо. Трудно веселиться в Тамбове; благодаря всем моим усилиям я дошла до того, что не скучаю. Слава Богу, у меня характер, которому скука неведома.

О Николае не имеем известий с тех пор, как он в походе. Сестра тоже не может часто писать, потому что следует за Чичаговской армией. Последнее ее письмо было из Минска, от 2 ноября. Что делать, надо терпеть: горю ничем не поможешь.

Не стыдно ли вам отнимать у нас Виельгорских? Впрочем, берите их. Катиш непременно хочет ехать, вопреки всему семейству и своему бесхарактерному мужу.

24 декабря

Пленные, рассеянные во всей России, заносят всюду заразу, потому что сами они почти что чумные. Прислуга наша, приехавшая из Высокого, рас-

[10] В Леонтьевском пер., позднее принадлежал графине Закревской.

сказывает, что по большой дороге во многих деревнях есть дома, в которые никто не смеет входить: находящиеся в них умирают или оживают, будучи оставлены на произвол судьбы. Принц Ольденбургский умер на третьи сутки.

Не могу выразить тебе, до чего меня растрогали нынче утром рассказы нашей бедной прислуги обо всем, что она вытерпела с конца августа до конца октября. Московские пожары и пожары в деревнях, лежащих по Можайской дороге, освещали Высокое в течение трех недель так, что ночью там было светло, как в полдень. В течение месяца наши и крестьянские вещи лежали в телегах. Люди насушили сухарей и собирались скрыться в лесу, единственном надежном убежище от французов. Неприятели были в пятнадцати верстах от Высокого. Решительно чудом спасся этот милый уголок!

С истинной радостью думаю я, милый друг, что нам остается всего неделя до Нового года. Уповаю на милосердие Божие и надеюсь, что наступающий год не похож будет на тот, с которым мы расстаемся.

Тамбов наполнен пленными. Французы считают понесенный ими разгром за поправимую неудачу. Поляки, зная, как их ненавидят у нас, выдают себя за голландцев или за немцев. Жалки испанцы и португальцы: они на свободе и ежедневно приходят просить милостыню. Я с ними говорила. Они Россию превозносят до небес, а Наполеона ненавидят и радуются его падению. Между прочими тут есть один португальский генерал, с ним было два сына: одного убили у нас на глазах, другой пропал без вести; да дома осталась у него семья, о которой он в продолжение двух лет не имел известий. Несчастный старик слова не может сказать без слез. Сама я ни одного генерала не видала и сержусь на тех, кто заговаривает с французами, от которых дождешься лишь дерзостей. Когда их отщелкают, они тотчас осядут и становятся низкопоклонными. Прелестный характер, нечего сказать!

31 декабря

Ты не поняла меня относительно взгляда моего на монашескую жизнь, милый друг. Если бы монашеская жизнь была такова, какой ей следует быть, то, живя в уединении, мы приближались бы к величайшему блаженству, которое лишь возможно на земле. Но лучшие учреждения искажаются под рукой человеческой. Многое достойно осуждения в жизни монахов, однако некоторые из них приносят пользу. В свете же, посреди развлечений, мы забываем ближнего. Что бы ты мне ни говорила, я все-таки остаюсь при моем убеждении, что уединением мы ограждаемся от многих скорбей. В свете мы напускаем на себя неестественную чувствительность, напрашиваемся на разного рода неприятности и подвергаемся искушениям. Чем меньше нитей, привязывающих нас к жизни, тем менее ощутительна потеря их. Ты ошибаешься, думая, что я хочу избавиться от всех привязанностей. Между ними есть такие, которые сам Бог внушает нам: следует каждому исполнять свой долг. Хотя Господь запрещает любить кого-либо более, чем Его Самого, но повелевает любить ближнего, а чувство это следует хранить и в монастыре.

Впрочем, не бойся: пока я нужна кому-либо на свете, я не решусь идти в монастырь. Теперь я имею счастье посвящать матушке все мое время.

Целую неделю мы возились с крестьянами из саратовского имения, посланными из сельского мира. Весною отправимся в Саратов, оттуда в Сарепту к Гернгутерам. Они всего в 150 верстах от нас. Нынче утром получили мы два письма от сестры из Минска. Она говорит, что у них все гошпитали переполнены, дороги полны больными, так что крестьяне убегают в леса и мертвых оставляют без погребения. Это может иметь ужасные последствия. Да сохранит нас Господь от чумы! В Москве и ее окрестностях тоже свирепствуют болезни, равно и в Казани, где умер бедный князь Петр Салтыков. Сегодня отправили к вам партию пленных испанцев и португальцев. Берегись, чтобы они вас не замучили. У нас остались поляки, французы и немцы.

Вообрази: теперь открывается, что величайшие неистовства совершены были в Москве немцами и поляками, а не французами. Так говорят очевидцы, бывшие в Москве в течение шести ужасных недель.

Я теперь ненавижу Растопчина, и имею на то причины. О! Ежели мы с тобой когда-нибудь увидимся, сколько мне придется рассказать тебе. Мне кажется, в месяц всего не передашь. [...]

Каллаш В.В. (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях
и переписке современников. 1912





ЖЕРТВА

ФРАНЦУЗЫ В МОСКВЕ

Рассказ Ф.И. Корбелецкого, чиновника, бывшего в плену и на невольной службе у неприятеля

По прибытии Наполеона в 2 часа пополудни к Поклонной горе, отстоящей от Москвы в трех верстах, авангард, перед оною горою, по распоряжению короля Неаполитанского, был уже построен в боевой порядок. Наполеон с планом в руках, поданным ему тут же неизвестным чиновником, и некоторые из сопровождавших его генералов сходят с лошадей, и в ту же минуту начинается движение, показывающее приготовление к сражению. При самом начале сего движения внезапно показывается из-за леса, с правой стороны на Воробьевых горах, сильная конница, которую, увидев первоначально, шассеры (стрелки), составлявшие императорский конвой, закричали в один голос: «Казаки! Казаки!» – и весь генералитет с приметным беспокойством устремляет глаза свои в ту сторону. Наполеон тотчас приказывает подать себе зрительную трубу, которую всегда особый паж за ним возил, смотрит и, узнав, что то были его драгуны, успокаивается и, опять обратясь к авангарду, продолжает делать свои распоряжения; но, прождав тут с полчаса и не видя со стороны Москвы никакого вызова, приказывает сделать сигнал выстрелом из пушки, после чего, спустя минут пять, садятся все на лошадей и скачут во весь опор к Москве.

В то же мгновение вместе с ними двинулся как авангард, так и часть стоявшей позади оного центральной армии с невероятным стремлением; конница и артиллерия равномерно скакали во весь опор, а пехота бежала бегом. Топот лошадей, скрип колес, треск оружий, смешавшийся вместе с шумом бегущих солдат, составляли дикий и ужасный гул. Свет померк от поднявшейся густым столбом пыли. Казалось, что вся земля в сие мгновение восколебалась и застонала от такого страшного движения, и не более как через 12 минут все очутилось у Дорогомиловской заставы.

Здесь гордый повелитель французов, упоенный надеждой своего успеха, останавливается и при охриплых восклицаниях покрытых пылью и

проголодавшихся солдат: «Vive Napoleon»[1], сошед с лошади, занимает позицию на левой стороне заставы у самого Камер-коллежского вала и начинает расхаживать взад и вперед в спокойном расположении духа, точно так, как бы ожидал из Москвы депутации или выноса городских ключей; между тем пехота и артиллерия, при играний музыки, открыли шествие свое в город.

Но спустя десять минут подошел к Наполеону с левой стороны у городского вала какой-то молодой человек в синей шинели и в круглой шляпе и, говоря с ним с минуту, пошел в заставу. Думать надобно, что сей молодец уведомил Наполеона о том, что из Москвы, как российская армия, так и жители все выехали и оставили оную в пустоте, что подтверждается следующим обстоятельством.

Едва кончил оный молодой человек свою с французским императором аудиенцию, подбегает к русским арестантам, стоявшим от Наполеона поодаль, саженях в шести, адъютант Вельсович, тот самый, который вчера со свойственною поляку надменностью предсказывал сегодняшние насчет Москвы и всей России события, и спрашивает у меня голосом, неудовольствия преисполненным: «Г. секретарь! Что это значит, что в Москве ни армии вашей, ни жителей нет?» На сие я ответствовал ему: «Не знаю». Слух сей распространился между французскими солдатами, и первые шассеры, ближе к императору своему стоявшие, поглядывая один на другого исполненными недоумения глазами, спрашивали друг друга весьма значительным тоном: что это такое, что за дьявольщина. – И с сей минуты гордый дух французов начал во всем войске постепенно упадать; а напротив того, оказалось в нем приметное уныние и огорчение, которое впоследствии, возрастая мало-помалу, обратилось в явный ропот, ослушание и своевольство.

Такая нечаянная весть, казалось, поразила и самого Наполеона, как громовым ударом. Он приведен был ею в чрезвычайное изумление, мгновенно произведшее в нем некоторый род исступления или забвения самого себя. Ровные и спокойные шаги его в ту же минуту переменяются в скорые и беспорядочные. Он оглядывается в разные стороны, оправляется, останавливается, трясется, цепенеет, щиплет себя за нос, снимает с руки перчатку и опять надевает, выдергивает из кармана платок, мнет его в руках и как бы ошибкою кладет в другой карман; потом снова вынимает и снова кладет; далее, сдернув опять с руки перчатку, надевает оную торопливо и повторяет то же несколько раз, короче сказать: он представлял человека беснующегося или мучимого жестокими конвульсиями, что продолжалось битый час: и во все то время окружавшие его генералы стояли пред ним неподвижно, как бездушные истуканы, и ни один из них не смел пошевелиться.

В продолжение такого явления открылось в армии новое движение. Авангард безостановочно шел в город, а подходящие из-за горы централь-

[1] Да здравствует Наполеон (*фр.*).

ные войска, разделяясь в некотором расстоянии от заставы на две части, начали уклоняться вправо и влево и, поворотя около Камер-коллежского вала, потянулись в обход города, в который вступали уже другими заставами. Потом Наполеон, пришедши несколько в себя, садится на лошадь и въезжает в Москву, в которую последовала за ним и конница, стоявшая до того вне заставы; но, проехав Дорогомиловскую Ямскую слободу и приближаясь к берегу Москвы-реки, останавливается паки у оной в правой стороне улицы на береговом косогоре, сходит с лошади и опять расхаживает взад и вперед, но токмо уже покойнее. Тогда авангард продолжает следовать далее за Москву-реку; пехота и артиллерия тянулись по мосту, а конница шла через реку вброд и все вообще, разделяясь по ту сторону реки на несколько малых отрядов, занимали постепенно караулы по берегу, по главным улицам и по переулкам.

Положение Кремля

Перед выходом нашим на волю Кремль находился в следующем положении: Никольские, Троицкие и Тайницкие ворота были отперты и охраняемы каждые сначала четырьмя, потом двумя человеками, внутри и вне оных стоявшими, а прочие были заперты. Также стояли часовые инде по одному, а инде по два, на Кремлевской стене у башен, у дворцовых подъездов внизу и вверху дворца, у Архангельского, Благовещенского и Успенского соборов, кои были тогда заперты и, по-видимому, вовсе неприкосновенны. Караул держали пешая и конная французская гвардия и польские уланы, коих сперва наряжалось по батальону, а конных каждого по эскадрону, и переменялись через три часа, как днем, так и ночью; но после убавлено тех и других наполовину, из армейских же полков не токмо солдаты, но даже и офицеры ни под каким видом не могли входить в Кремль инако, как с письменными пропусками от обер-коменданта либо от главнокомандующего тогда в Москве. Несчастен государь, который боится собственных своих подданных.

Всякое утро был в Кремле развод, и приезжали во дворец: принц Невшательский, вице-король Итальянский и многие неизвестные маршалы и генералы. Нередко приходили и иностранцы, жившие до нашествия французов в Москве, и члены муниципального суда или Коммуни-Комитета. На косогоре близ церкви Николы Гостунского стояло до 10 полевых орудий. Впрочем, подкопов и никаких других работ внутри Кремля тогда не примечено. В Кремле, так же как и везде в Москве, валялось в то время довольное уже число издохших лошадей и несколько палых коров.

Въезд Бонапарта в Москву и начальное в ней пребывание

Наполеон, тщетно ожидавший за городом депутатов с ключами московскими, решился, наконец, ехать сам их взять. Он въехал в город во вторник,

3-го числа, в половине одиннадцатого часа утра в Дорогомиловскую заставу. Арбат был совершенно пуст. Первые и единственные лица, которые видел на большой сей улице Наполеон, были у окна арбатской аптеки содержатель оной со своею семьею и раненый французский генерал, накануне к ним поставленный постоем. Подъехав ближе, Наполеон посмотрел на них вверх весьма злобно, окинув быстро глазами весь дом, и, взглянув опять на бывших у окна, продолжал путь. Он сидел на маленькой арабской лошади, в сером сюртуке, в простой треугольной шляпе, без всякого знака отличия. В расстоянии ста сажен ехали перед ним два эскадрона конной гвардии. Свита маршала и других чиновников, окружавших Наполеона, была весьма многочисленна. Пестрота мундиров, богатство оных, орденские ленты различных цветов – все сие делало картину прекрасною, а простоту Наполеонова убранства еще разительнейшею. Таким образом победитель Москвы доехал до Боровицких ворот, не увидя ни единого почти жителя. Негодование написано было на всех чертах Наполеонова лица. Он не брал даже на себя труда скрывать то, что происходило в душе его; однако же, сходя с лошади и посмотря на Кремлевские стены, он сказал с насмешкою: «Voilá de fieres murailles!» (Какие страшные стены!) Удивительно, что он пренебрег обыкновенною своею комедиею и что не приказал поднести себе московских ключей, кем бы то ни было, для провозглашения потом пышной церемонии сей в «Мониторе»; но он так же торжественно и великолепно встречен был, как и Мюрат и Себастиани.

Ожесточенный до крайности, видя ненависть и пренебрежение, оказываемые ему правительством и народом российским, решившимся лучше уступить древнюю свою столицу его ненасытному честолюбию и алчности его орд, нежели преклонить перед ним выю, Наполеон повелевает, чтобы во всех полках, по очереди к грабежу назначенных, употреблять отборных солдат вместе с офицерами для доставления в Кремль съестных припасов всякого рода и чтобы русских обоего пола, не разбирая ни состояния, ни лет, употреблять для сего вместо лошадей. В церквах, более изобилующих богатством, приставить велено было для караула жандармов, которые долженствовали впускать одних только членов святотатственной комиссии, установленной по повелению его, под ведением генерал-интенданта и других членов. Наполеон, окруженный своими сообщниками в Кремле, взирает равнодушно на огонь, истребляющий мгновенно многие части города. Везде французы кричат: «Это Растопчин жжет Москву, а не мы». Везде изрыгались на него тьмы ругательств.

Почтенный Иван Акинфиевич Тутолмин, начальством оставленный в Москве и беспримерной своею ревностью, деятельностью и неустрашимостью спасший многим жизнь и сохранивший обширное здание Воспитательного дома со всем его богоугодным заведением, призван был к Наполеону, который не только имел бесстыдство уверять его, что Москва жжется по приказанию графа Растопчина, а отнюдь не французами, но и препоручил ему

донести о том своему начальству, желая таким образом честного человека мгновенно преобразить в клеветника. Он притворно прибавил потом: «Я желал бы все здания здешней столицы видеть в такой же сохранности, как ваш Воспитательный дом».

Казалось, что со въездом Наполеона в Москву самый огонь паче ожесточился и, соединясь с сильным ветром (неразлучным своим спутником), истреблял вдруг то, что веками сооружаемо было. Пламя и ужасный ветер усугубляли свои силы (особенно 4-го числа, в среду) для поглощения всего того, что только могло служить пищею или добычей неистовым врагам.

Корбелецкий Ф.И. Краткое повествование
о вторжении французов в Москву
и о пребывании их в оной. 1813



А.Д. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯМ В СТОЛИЦЕ МОСКВЕ В 1812 ГОДУ

Вступление

Прежде, нежели приступлю к описанию происшествий в столице Москве в 1812 году, которых я был очевидным свидетелем, я должен сказать несколько слов о том положении, в каком находилась Москва с 1 января 1812 года, то есть о бывших в это время начальниках в ней и о себе самом, как о человеке, игравшем некоторую роль во время пребывания в ней неприятеля, и показать причины, почему я остался в его власти.

В начале 1812 года был главнокомандующим в Москве генерал-фельдмаршал граф Иван Васильевич Гудович; гражданским губернатором – Николай Васильевич Обресков; обер-полицмейстером – Петр Алексеевич Ивашкин, а полицмейстерами – Александр Александрович Волков и Егор Александрович Дурасов (что ныне сенатор). С 1806 года я жил постоянно в Москве, числясь при Герольдии к определению к делам.

С половины еще 1811 года стали поговаривать в Москве о разрыве мира, который заключен был в 1807 году с французами в Тильзите; однако же ничего не было приметно и все оставалось спокойно; напротив, еще в С.-Петербургских и Московских ведомостях величали Наполеона великим. Я часто ходил в греческие гостиницы читать иностранные газеты, и хотя из многих листов видел, что «что-то неладно между нами и французами», но все это большого вероятия не заслуживало, потому что газеты иностранные часто наполняются всякими неосновательными слухами единственно для того, чтобы только что-нибудь печатать; но когда многие листы иностранных ведомостей были задержаны, то стали догадываться, что «что-нибудь да есть», а движение войск наших, которые отовсюду стремились к западным границам, делали догадки вероятными. В конце же 1811 года явно уже говорили, что с французами будет война, и война жестокая; однако же 1812 год начался весьма спокойно и, благодаря Бога, Москва ничем возмущена не была: масленицу провели очень весело, не подозревая никаких опасностей, и не думали даже об них.

Так как статс-секретарь Петр Степанович Молчанов еще в прошедшем 1811 году объявил бывшему тогда министром юстиции Ивану Ивановичу

Дмитриеву, что Его Императорское Величество Высочайше повелеть изволил определить меня к должности, то, вследствие сего Высочайшего повеления, в половине февраля месяца 1812 года директор департамента юстиции граф Сергей Петрович Салтыков уведомил меня письмом, что открылась вакансия, в губернском городе Вологде, губернского стряпчего, и предлагал мне это место, но я от него отказался.

В конце марта месяца я опять получаю письмо от директора департамента юстиции графа Салтыкова, в котором он уведомил меня, что открылась вакансия в Москве, в Вотчинном департаменте, и я охотно принял оное.

По изъявлении моего согласия на принятие службы в Вотчинном департаменте, 2 мая, Указом Правительствующего сената, я определен вторым членом, а 20 того же мая, присягнув на службу, вступил в отправление моей должности.

Место, которое я занял в Вотчинном департаменте, принадлежало до сего коллежскому асессору Дмитрию Ивановичу Дмитриеву (родному братцу бывшему тогда министром юстиции Ивану Ивановичу Дмитриеву): сей Дмитрий Иванович Дмитриев, место которого я занял, вступил в Вотчинный департамент в ноябре месяце 1811 года из отставных майоров, а в марте месяце 1812 года, по представлению министра юстиции, родного своего братца, за отличное служение пожалован в надворные советники и посажен в Сенат за обер-прокурорской стол с жалованьем по тысячи рублей в год. Таким образом сие место и очистилось для меня. Провидение избрало меня, чтоб сохранить архиву сего департамента от совершенного истребления оной неприятелем. Сия архива необходима для общего спокойствия.

Вотчинный департамент с его четырьмя архивами находился, как и ныне находится, в 5-м этаже Сенатского здания, что в Кремле, и имеет из окон своих вид в три стороны города.

Присутствующими в Вотчинном департаменте были: 1-й член или председатель оного, г. статский советник Адриан Федорович Аничков, имевший тогда около 70 лет, если не более; 2-й член был я; 5-й член был надворный советник Матвей Кузьмич Иванов, из приказнослужителей сего департамента, имевший тогда более 75 лет, и в личном его ведении были деньги, принадлежавшие департаменту. Вотчинный департамент по производству дел своих состоял под непосредственным главным надзором Правительствующего сената г. обер-прокурора графа Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова. При департаменте служили: экзекутор, четыре секретаря да 138 чиновников и приказнослужителей; караул состоял из инвалидов, которых департамент нанимал.

Вот все, что я нужным поставил сказать в сем Вступлении.

* * *

ОТДЕЛЕНИЕ 1-е

Происшествия в столице Москве до вторжения в оную неприятеля

Мая 15 дня. По прошению главнокомандовавшего в Москве генерал-фельдмаршала графа Гудовича, Государь Император Всемилостивейше

дозволил ему сложить с себя звание сие для поправления расстроенного его здоровья.

Мая 29 дня. Действительный тайный советник и Двора Его Императорского Величества обер-камергер граф Растопчин Всемилостивейше переименовывается в генералы от инфантерии и назначается военным губернатором в Москву[1].

Я не имел чести знать лично графа Гудовича, не видывав его никогда, но в достоинствах его нисколько не мог сомневаться, ибо он и в царствование Великой Екатерины занимал важные места, а потому заслуги его должны быть известны Отечеству; но графа Растопчина я очень хорошо знал по многим отношениям, а особливо по несправедливому поступку его с приятелем моим Петром Петровичем Дубровским, который 25 лет находился вне пределов Отечества при разных посольствах и служил всегда с честью и похвалою. Граф Растопчин не знал даже лица его, но при вступлении в звание вице-канцлера, в царствование императора Павла 1-го, исключил его, Дубровского, из службы, единственно потому, что он не был никому знаком из приближенных к графу, и такою несправедливостью ввергнул его в самое затруднительное положение возвратиться в отечество; и потом, когда он, Дубровский, «кой-как» возвратился и явился к нему, Растопчину, он оболгал его пред Государем, и Дубровский выслан был из С.-Петербурга. Признаюсь откровенно: лишь только я узнал о сей перемене начальства, сердце облилось у меня кровью, как будто я ожидал «чего-то» очень неприятного.

Июня 13 дня. Напечатан был в Московских ведомостях, № 50, Высочайший рескрипт на имя председателя Государственного совета генерал-фельдмаршала графа Николая Ивановича Салтыкова, коим Государь Император уведомляет, что французские войска вошли в пределы нашей Российской Империи. Рескрипт сей служил объявлением войны с французами, и с 54-го номера сих же Московских ведомостей начали печатать известия о военных действиях.

Июля 3 дня. Выдано в Москве следующее печатное объявление: «Московский военный губернатор граф Растопчин сим извещает, что в Москве показалась дерзкая бумага, где между прочим вздором сказано, что французский император Наполеон обещается чрез шесть месяцев быть в обоих российских столицах. В 14 часов полиция отыскала и сочинителя, и от кого вышла бумага. Он есть сын московского второй гильдии купца Верещагина, воспитанный иностранным и развращенный трактирною беседою. Граф Растопчин признает нужным обнародовать о сем, полагая возможным, что списки с сего мерзкого сочинения могли дойти до сведения и легковерных, и наклонных верить невозможному. Верещагин же, сочинитель, и губернской секретарь Мешков, переписчик, по признанию их, преданы суду и получат должное наказание за их преступление».

[1] Неточность: граф Ф.В. Растопчин был назначен военным губернатором Москвы 24 мая 1812 г.

Я нужным поставляю приложить при сем точные копии с сих двух дерзких бумаг.

1.

Письмо Наполеона к Прусскому королю

«Ваше Величество! Краткость времени не позволила мне известить Вас о последовавшем занятии Ваших областей. Я для соблюдения порядка определил в них моего принца. Будьте уверены, Ваше Величество, в моих к Вам искренних чувствованиях дружбы. Очень радуюсь, что Вы, как курфюрст Бранденбургский, заглаживаете недостойный Вас союз с потомками Чингисхана желанием присоединиться к огромной массе Рейнской монархии. Мой статс-секретарь пространно объявит Вам мою волю и желание, которое, надеюсь, Вы с великим рвением исполните. Дела моих ополчений зовут теперь меня в мой воинский стан. Пребываю Вам благосклонный

Наполеон».

2.

Обращение Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене

«Венценосные друзья Франции! Дела в Европе взяли другой оборот. Повелеваю, как глава Рейнского союза, для общей пользы удвоить свои ополчения, приведя их в готовность пожинать лавры под моим начальством на поле чести. Вам объявляю мои намерения: желаю восстановления Польши. Хочу исторгнуть ее из неполитического существования на степень могущественного королевства. Хочу наказать варваров, презирающих мою дружбу. Уже берега Прегеля и Вислы покрыты орлами Франции. Мои народы! Мои союзники! Мои друзья! Думайте со мною одинаково. Я хочу и поражу древних тиранов Европы. Я держал свое слово, и теперь говорю: прежде шести месяцев две северные столицы Европы будут видеть в стенах своих победителей Европы».

Читая эти бумаги, с первых строк можно было заметить, что двадцатилетний купеческий сын Верещагин, от какого бы иностранца образование свое ни получил и какою бы трактирною беседою развращен ни был, таких бумаг не напишет, а потому и объявление это главнокомандующего Москвою всем показалось ложью, что, конечно, не могло поселить к нему ни доверия, ни искреннего уважения.

Я люблю правду, и всякий гражданин, приверженный не одними словами, но душою и сердцем к престолу законного Монарха и Отечеству, должен любить правду, ибо Помазанник Божий, Государь, изрекает суд по правде и тогда уже не подвергает себя Божескому суду. Итак, я объясню дело о Верещагине следующею истиною. Дня за четыре до напечатанного объявления графом Растопчиным с пришедшею из С.-Петербурга почтою были получены и иностранные ведомости, и в Усть-Эльбских эти, так названные, дерзкие две бумаги были напечатаны; каким же образом Верещагин прочел те газеты и успел перевести из них речь Наполеона на русский язык, я не знаю; но списки его перевода скоро разошлись по рукам; я сам видел их у многих моих чиновников в департаменте и списал для себя копии, но, прочитав в Московских

ведомостях объявление графа Растопчина и чтоб не подвергнуть себя неприятностям, сжег их у себя тогда же и потом уже, в 1814 году, списал их вновь из печатной русской книги, заглавие которой не запомню.

Между тем главный московский почт-директор тайный советник Федор Петрович Ключарев, человек с большими достоинствами, обремененный летами и дряхлостью, но личный враг графу Растопчину, был в ночь арестован новым третьим полицмейстером столицы Москвы г. Брокером.

Для пояснения тогдашних отношений считаю нужным сказать несколько слов о г. Брокере. Адам Фомич Брокер, с давних лет приверженный к графу Растопчину и самый короткий человек в его доме, служил в главном Московском почтамте экзекутором и по назначении графа Растопчина военным губернатором Москвы, по покровительству его, получил место третьего московского полицмейстера, с переименованием его в военный чин; и этому-то чиновнику граф Растопчин поручил арестовать Ключарева, чиновнику, который за две недели назад находился под непосредственным его, Ключарева, начальством! Арестованный старец под стражею выслан в город Воронеж, а оставшееся имение его соделалось пищею пламени и расхищено в неприятельское нашествие.

Поступок сей с Ключаревым еще более утвердил ложь Растопчина относительно Верещагина, потому что если бумаги писал Верещагин, то не было никакого повода так беззаконно поступать с заслуженным старцем, генералом; если же, напротив, Верещагин перевел сии списки из иностранных ведомостей, то не следовало объявлять, что Верещагин сочинил их: ложь была очевидна в обоих случаях.

Впрочем, бумаги сии и сами по себе не сделали особенного впечатления в народе. Народ говорил: «Мы, де, русские и должны держаться русской пословицы: «Бог не выдаст, свинья не съест», и не знали, чему дивиться: дерзости ли Наполеона, которую оказывал к венценосным друзьям своим, или кротости и снисхождению сих венценосных его друзей».

В самое это же время слух прошел в Москве, что будто в С.-Петербурге открыта измена в особах Государственного совета: секретаре Михайле Михайловиче Сперанском и Михайле Леонтьевиче Магнитском, что они уже арестованы министром полиции Балашовым и что их везут под стражею чрез Москву в определенные им города для жительства; говорили притом, что лишь только они в Москву въедут, то будут истерзаны народом; но, слава Богу, они с Твери поворотили в другую сторону и в Москве не были.

Июля 5 дня. Первый член Вотчинного департамента статский советник Аничков, по случаю вакансии, уволен был от должности на 28 дней: ему дан был паспорт, и он из Москвы выехал, а я остался начальником департамента.

Июля 11 дня. Государь Император изволил прибыть в столицу Москву, с Его Величеством прибыли гг. обер-гофмаршал граф Толстой, генерал от артиллерии граф Аракчеев, генерал-адъютант, министр полиции Балашов, ви-

це-адмирал, государственный секретарь Шишков, генерал-адъютант князь Волконский, генерал-адъютант граф Комаровский.

В сей же день рано утром читали мы следующий печатный Манифест:

ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ СТОЛИЦЕ НАШЕЙ МОСКВЕ

Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное Наше Отечество. Хотя пылающее мужеством ополченное Российское воинство готово встретить и низложить дерзость его и зломыслие, однако же, по отеческому сердоболию и попечению Нашему о всех верных Наших подданных, не можем Мы оставить без предварения их о сей угрожающей им опасности: да не возникнет из неосторожности Нашей преимущество врагу. Того ради, имея в намерении, для надежнейшей обороны, собрать новые внутренние силы, наипервее обращаемся Мы к древней столице предков Наших, Москве. Она всегда была главою прочих городов российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ее из всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества для защиты оного. Никогда не настояло в том вящей надобности, как ныне. Спасение веры, престола, царства того требуют. И так да распространится в сердцах знаменитого дворянства Нашего и во всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляет Бог и Православная Наша Церковь; да составит и ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся оные, начиная с Москвы, во всей обширной России! Мы не умедлим Сами стать посреди народа Своего в сей Столице и в других государства Нашего местах для совещания и руководствования всеми Нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую мнит он низринуть Нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»

На подлинном: «Александр».

В лагере близ Полоцка, 6 июля 1812 г.

Всякий, кто читал это воззвание к столице Москве, был тронут до глубины сердца, всякий готов был жертвовать собою для защиты Престола и Отечества. Я в сей день, со многими другими, обедал у начальника моего графа Дмитриева-Мамонова. Сей вельможа Российского государства, истинный сын Отечества, без лицемерного притворства, приверженный к Престолу Монарха, при своем состоянии решился сформировать пехотный полк из крепостных своих крестьян и на свой счет; он приглашал меня способствовать ему и вместе служить в оном полку с ним. Я охотно согласился и подал прошение об увольнении меня из Вотчинного департамента, но, к сожалению, дней чрез шесть граф Дмитриев-Мамонов переменил свое намерение и, вместо пехотного полка, вздумал сформировать конный полк; а так как я не только не умею ездить верхом, но, откровенно говорю, боюсь даже сесть на лошадь, и потому поданную мною просьбу об

увольнении меня из Вотчинного департамента взял обратно, изорвал и остался при своем месте.

Июля 15 дня. В сей день собраны были и дворянское и купеческое сословия в залах Слободского дворца. Я сам был там лично. По прибытии Государя Императора в залу, в которой собралось дворянство, и по прочтении воззвания к первопрестольной столице Москве, оное общим согласием положило обмундировать и вооружить с одной Московской губернии, для отражения врага, восемьдесят тысяч воинов. Государь принял сие пожертвование с душевным умилением, изрек дворянству: «Иного я не ожидал, и не мог от вас не ожидать. Вы оправдали мое о вас мнение». Потом Государь Император вошел в залу, в которой ожидало его купечество и мещанство, и я туда пошел, чтобы слышать, что они будут говорить; и по прочтении того же воззвания, они общим голосом отвечали: «Мы готовы жертвовать тебе, отец наш, не только своим имуществом, но и собою». И тут же началась подписка денежного пожертвования. Я возвратился в квартиру свою.

С чувством истинного прискорбия, невольно делаю некоторое замечание, совершенно, однако же, справедливое. Оно может показаться весьма неприятно, но правда всегда священна. До воззвания к первопрестольной столице Москве Государем Императором в лавках купеческих сабля и шпага продавались по 6 руб., и дешевле; пара пистолетов Тульского мастерства – 8 и 7 руб.; ружье, карабин того же мастерства – 11, 12 и 15 руб., дороже не продавали; но когда прочтено было воззвание Императора и учреждено ополчение противу врага, то та же самая сабля или шпага стоила уже 30 и 40 руб.; пара пистолетов – 35 и даже 50 руб.; ружье, карабин не продавали ниже 80 руб. и проч. Купцы видели, что с голыми руками отразить неприятеля нельзя, и бессовестно воспользовались этим случаем для своего обогащения. Мастеровые, как-то: портные, сапожники и другие утроили, или учетверили, цену работы своей, словом, все необходимо нужное, даже съестные припасы высоко вздорожали; и граф Растопчин, главнокомандующий в Москве, мог бы легко такое беззаконное лихоимство властью своею остановить и предать виновных суду, но он смотрел на это зло равнодушно, и за неделю только до входа неприятеля в Москву публиковал в ведомостях следующее: «Дабы остановить преступное лихоимство купцов московских, которые берут непомерную цену за оружие, необходимое для вступивших в ополчение противу врага, он, главнокомандующий, открыл государственный цейхгауз, в котором будет продаваться всякое оружие дешевою ценою».

Действительно, цена продаваемому оружию из арсенала или цейхгауза была очень дешева, ибо ружье или карабин стоил 2 и 3 руб.; сабля 1 руб., кортик, пики и проч. – все очень дешево; но, к сожалению, все это оружие к употреблению не годилось, ибо ружья или карабины были или без замков, или без прикладов, или стволы у них согнутые, или измятые, сабли без эфесов, у других клинки сломаны, зазубрены, и лучшее, что было в цейхгаузе, то скуп-

лено уже было купцами; но, невзирая на негодность оставшегося оружия, покупали еще оное, и арсенал или цейхгауз был полон народу.

Итак, пожертвования дворянства были гораздо действительнее и полезнее для отечества, чем пожертвования купцов, мещан, мастеровых. Первые шли на защиту отечества сами, с детьми своими, несколько возмужалыми, жертвуя не только имуществом, но и жизнью, для отражения врага, брали с собою еще дружину из крепостных своих дворовых людей и крестьян от 10 душ одного или и двух; а вторые приносили в жертву одни только деньги в ассигнациях, которые в то время никакой цены не имели, и тот еще излишек денег своих, которые они лихоимственно получили от действительных защитников отечества за оружие и прочие необходимые вещи; сами же они со своими поверенными, приказчиками и сидельцами удалились заблаговременно из Москвы на нескольких сотнях троек лошадей, чтоб не быть свидетелями ужасов нашествия неприятеля, оставя в домах своих только то, чего увезти с собою не могли.

Повторю, что я с большим прискорбием сделал сие замечание.

Вот еще одно обстоятельство, которое случилось во время пребывания Государя в Москве и о котором умолчать я почел бы преступлением.

Дворянство Рязанской губернии, в которой имел я небольшую деревню, узнав о воззвании Императора к первопрестольной столице Москве, немедленно выслало своих депутатов, состоящих из уездных предводителей дворянства, с тем чтобы они, по приезде в Москву, повергнув себя к стопам Государя, донесли Его Величеству, что Рязанское дворянство готово поставить на защиту отечеству шестьдесят тысяч воинов, вооруженных и обмундированных. Сам же губернский предводитель сего дворянства Лев Дмитриевич Измайлов в числе депутатов, по болезни своей, не был.

Депутаты, частью мне знакомые люди, по приезде в Москву остановились в доме губернского своего предводителя Измайлова, что у Мясницких ворот, и на другой день явились к министру полиции, генерал-адъютанту Балашову, прося его, чтоб он доложил об них Государю Императору.

Генерал Балашов принял их самым неблагосклонным образом, кричал на них, говоря, как смели они отлучиться от должностей своих; и когда депутаты отвечали, что они это сделали по общему приговору дворянства и с личного дозволения г-на рязанского гражданского губернатора Бухарина, тогда Балашов сказал, что он сделает строгое взыскание, и почти выгнал их от себя.

Хотя депутаты Рязанской губернии чрезвычайно оскорбились и огорчились таким неделикатным поступком с ними генерала Балашова, однако же не отчаивались и обратились к главнокомандующему в Москве графу Растопчину, который и принял их очень вежливо и ласково. Они объяснили ему причину своего приезда в Москву, не умолчали о поступке с ними генерала Балашова, и граф Растопчин, порицая поступок Балашова, обещал в тот же день доложить об них Государю Императору; на другой день рано чрез московскую полицию приказано им было выехать немедленно из столицы.

Они с сердцем, преисполненным горести, что не видели Государя и не выполнили на них возложенного препоручения рязанским дворянством, возвратились восвояси. Что должно думать о генерал-адъютанте, министре полиции Балашове? Искренно ли он любил благодетеля своего, Государя Императора, и истинный ли был сын Отечества? По поступку его можно усомниться.

Июля 18 дня. Обнародован состав военной Московской силы, и Государь Император изволил выехать из Москвы в С.-Петербург.

С отъездом Государя Императора движение народа было необыкновенное, множество приезжих из деревень наполняли вечерние гулянья на бульварах, так что тесно от них было; все почти были в мундирах Московского ополчения, вооруженные, готовые кровью своею искупить мать русских градов; но мало-помалу эта толпа становилась реже и реже, а недели через три бульвары и вовсе опустели.

Граф Растопчин по отъезде Государя Императора редкий день не выдавал печатных афишек, как о действии армий наших, так особенно и от себя в народное известие, писанных особенным слогом, который некоторые находили соответствующим времени и обстоятельствам, но большая часть – пошлым и площадным. Он писал, что глаз у него болел, а теперь глядит в оба; что француз не тяжелее хлебного снопа, и мы его на вилы, де, подымем; чтобы народ не пугался, когда увидит шар воздушный и на нем 50 человек; этот шар истребит армию неприятельскую, и проч., и проч. Однако же, смеясь над шаром, я должен упомянуть, что многие этому верили от души. Я говорил о воздушном шаре с одним вельможею, сенатором, которого имени не хочу назвать; он был точно уверен, что воздушный шар истребит неприятельскую армию, и доказывал, уверяя честью своею, что уже сделана проба, и собрано было стадо овец, над которыми поднялся шар с тремя человеками, и стадо истреблено!

Августа 9 дня. Первый член Вотчинного департамента Аничков возвратился из отпуска к должности своей, и так как вакантные дни еще продолжались, то испросил и я себе увольнение на 28 дней. Мне дан был на сей срок законный паспорт, и я не присутствовал уже в Вотчинном департаменте.

В день, в который дан был мне паспорт, нисколько еще не помышляли, чтоб неприятель мог овладеть Москвою; а как срок моему увольнению должен был окончиться около 9 числа сентября, а неприятель овладел Москвою 2 сентября, следовательно, без малейшей ответственности для меня и подозрения, что я будто в духе труса бежал от неприятеля, не заботясь нимало о сохранении сокровищ отечественных, которые заключаются в архиве Вотчинного департамента, мог с семейством свободно уже удалиться, без потери моего имущества, и не быть притом свидетелем ужасного нашествия врага, в оном достаточно оправдывало меня данное мне законное увольнение.

Августа 18 дня. Главнокомандующий в Москве граф Растопчин предложил письменно Вотчинному департаменту следующее: «Вотчинный департамент должен уложить все дела свои и иметь оные в готовности к отвозу

в безопасное место, если необходимость может того потребовать; а нужное количество лошадей на отвоз сих дел чтобы департамент сам уже от себя испросил от московского гражданского губернатора».

Так как я не совершенно еще воспользовался данным мне отпуском и из Москвы не выезжал, то первый член Вотчинного департамента Аничков, получивший выше прописанное предложение графа Растопчина, прислал ко мне в оригинале оное и вместе с сим прислал сегодня же, то есть 18 августа, вышедшее печатное объявление от него же, графа Растопчина, следующего содержания:

От главнокомандующего в Москве

«Здесь есть слух, и есть люди, кои ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы и по несколько тысяч карет, колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньше новостей; но нельзя похвалить и мужей, и братьев, и родню, которые при женщинах "в будущих" отправились "без возврату". Если по их есть опасность, то "непристойно", а если нет ее, "то стыдно". Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 тысяч войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно Государев избранный воевода Русских сил и надо всеми начальник; у него сзади неприятеля генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 тысяч славного войска; генерал Милорадович из Калуги пришел в Можайск с 36 тысячами пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками пешей и конной артиллерии. Граф Марков чрез три дня придет в Можайск с 24 тысячами нашей военной силы, а остальные 7 тысяч вслед за ним. В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 14 тысяч пехоты. А если этого мало для погибели злодея, тогда уж я скажу: "Ну, дружина Московская! Пойдем и мы!" И выйдем сто тысяч молодцов, возьмем Иверскую Божию Матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих и сволочи 150 000 человек; кормятся пареною рожью и лошадиным мясом. Вот, что я думаю и вам объявляю, чтоб иные радовались, а другие успокоились, а больше еще тем, что и Государь Император на днях изволит прибыть в верную свою столицу. Прочитайте: понять можно, а толковать нечего».

Я не смею делать никакого замечания на это объявление, но спрошу только: как надобно было понимать оное?

Сей день 18 августа был черный день для меня: я поздно узнал, что не надобно мне было возвращать паспорта, а идти по указанию случая. Нас всегда губит мудрование! Прочитав, с большим вниманием, как предложение графа Растопчина Вотчинному департаменту, так и объявление его к жителям Москвы, помещенные в сем последнем слова: «непристойно, стыдно», меня как громом поразили: я думал, что сделаю постыдное преступление, если воспользуюсь счастливым случаем, данным мне законным увольнением, и удалюсь из Москвы. Я страшился, чтоб удаление мое в такое время, когда самим

Провидением испытуется усердие служащего чиновника и сына Отечества, не постановлено бы мне было поступком, близким к измене, или предательству, и полагал: чем кто имеет именитее происхождение свое, тем более обязан служить Престолу и Отечеству по правде. И в таковых-то мыслях решился я возвратить данный мне паспорт и остаться при своей должности. Сего же 18 августа граф Растопчин дал письменное приказание Московскому магистрату, чтобы он «людям купеческого и мещанского сословия не давал уже паспортов о выезде их из Москвы, кроме жен их и малолетних детей».

Вышедшее вышеписанное от графа Растопчина печатное объявление, равно как и приказание его магистрату, чрезвычайно скоро разошлось по уезду, и толковали слова «непристойно, стыдно» всякий по-своему; запрещение же магистрату давать купцам и мещанам паспорта о выезде из Москвы совершенно вложило в голову, что сие запрещение есть всем вообще, и потому те люди, которые не имели нужды просить особенных паспортов, удаляясь из Москвы, находили в пути своем большие неприятности, или, лучше сказать, были в величайшей опасности от подмосковных крестьян, чрез селения которых должны были ехать. Они называли удалявшихся трусами, изменниками и бесстрашно кричали вслед тем, которые мимо селений ехали: «Куда, бояре, бежите вы с холопами своими? Али невзгодье и на вас пришло? И Москва в опасности вам не мила уже?» И которые из удалявшихся по необходимости должны были останавливаться в селениях для отдохновения и корму лошадей, то таковые вынуждаемы были хозяевами дворов, у которых останавливались, платить себе за овес и сено втридорога, и сверх того просто за постой не по пяти копеек с человека, как то обыкновенно платили, но по рублю и более, и беспрекословно должны были повиноваться сему закону, если не хотели сделаться жертвою негодования против своего побегу освирепевшего народа. Многие из удалявшихся из Москвы на своих собственных лошадях возвратились опять в Москву пешими, лишившись дорогою и лошадей своих с экипажем, и имущества. Я свидетельствуюсь в истине сих происшествий теми, кои удалялись в то время из Москвы и сами рассказывали со слезами о горестном своем положении. Между тем в самой Москве так вздорожал наем извозчичьих и даже крестьянских лошадей, что за 50 верст просили с нанимающего на три лошади триста рублей и более, потому что богатые господа и купцы всех лошадей забрали, следовательно, обремененный семейством человек в недостатках своих поневоле должен был остаться во власти неприятеля, тогда в скором времени овладевшего Москвою.

Августа 19 дня. Возвратив данный мне паспорт или свидетельство об увольнении меня от должности на 28 дней, я присутствовал в Вотчинном департаменте с прочими членами оного. Мы имели рассуждение относительно предложения графа Растопчина, «чтоб были дела наши в готовности к отправлению оных в безопасное место», и по предмету сего заключили определением, всеми тремя членами подписанным и за скрепою секретаря следующего содержания: «Так как по справке оказалось, что при Вотчинном

департаменте, кроме текущих дел, которых оставить можно на произвол судьбы, находится еще самых нужных документов к разрешению споров тяжущихся между собою по вотчинным делам, и документы сии состоят частью в огромных книгах в переплете, частью в связках и в свертках, всего числом 42 160; и по математической истине сделанному вычислению, полагая на каждую крестьянскую лошадь 18 пуд, то потребно будет до тысячи лошадей», и проч. и проч. Мы представили это наше определение на рассмотрение главному нашему начальнику графу Дмитриеву-Мамонову, который, со своей стороны, немедленно, с приложением этого нашего определения в оригинале, отнесся к графу Растопчину, и просил меня, чтоб я конверт его лично доставил в собственные руки графа, дабы избегнуть дальнейшей переписки и проволочки по сему предмету, ибо я, как член департамента, мог дать ему нужные сведения и объяснения.

Граф Растопчин в сие время жил вне Москвы, в загородном своем доме, и потому доставил я конверт графа Дмитриева-Мамонова на другой уже день и отдал оный, как приказано мне было, в собственные руки Его сиятельства; но граф, спросив меня только: «От кого?» – не удостоил более разговором и не оказал большого внимания к отношению графа Дмитриева-Мамонова, даже не распечатал конверта, а кинул оный на стол. (Надобно знать, что граф Растопчин был личный враг графу Дмитриеву-Мамонову.) После двух часов ожидания ответа Правитель Канцелярии его мне объявил, что граф Растопчин сам будет в Правительствующем сенате трактовать о делах и архиве Вотчинного департамента; с таковым ответом и возвратился я к графу Дмитриеву-Мамонову.

Августа 27 дня. В Москве узнали о кровопролитном сражении при селе Бородине, расстоянием от Москвы 120 верст.

Первый член департамента Аничков испросил себе от графа Дмитриева-Мамонова опять увольнение от должности на 8 дней и просил меня не только убедительно, но даже униженно, чтоб не сделал я ему препятствия в получении паспорта, поелику он видел, что я сам имел полное право на отпуск. И я, снисходя тому жалкому положению, в котором он тогда находился, и не могши ожидать от него никакой помощи себе в сохранении архива Вотчинного департамента, буде нужда того потребует, да и казалось мне, что он прежде времени умер; ибо был бледен и говорил дрожащим языком, так что понять нельзя было, что он говорил, и потому не препятствовал ему получить паспорт, который я сам и подписал. Таким образом я опять остался старшим членом Вотчинного департамента.

В сей же день, 27 августа, получено из С.-Петербурга от министра юстиции Дмитриева предписание, чтобы главный надзор над Вотчинным департаментом, вместо графа Дмитриева-Мамонова, поступившего с полком, им формированным, в состав армии, имел обер-прокурор Озеров.

Августа 28 дня. Привезли в Москву раненых при селе Бородине и поместили их в разных казенных и партикулярных домах.

В ночь с 29 на 30 августа господа обер-прокуроры Правительствующего сената всех департаментов имели необыкновенное свое ночное заседание, и от обер-прокурора Озерова, принявшего главный надзор над Вотчинным департаментом, приказано было, чтобы и я с чиновниками моими в это время находились при своем месте. Я воздерживаюсь делать какие-нибудь замечания о сем ночном заседании, но должен сказать, что господа обер-прокуроры после многого рассуждения относительно к представшей опасности столице Москве, ибо и «главная, де, квартира неприятеля», говорили они, «не далее уже сорока верст», не приняли, однако же, никаких мер к сохранению архива Вотчинного департамента, равно как и небольшой суммы денег, частью в медной монете прежнего чекана, при оном состоящей, и ночное свое заседание заключили определением, которое и мне объявили: «Послать нарочного курьера в С.-Петербург и, с прописанием обстоятельств, в которых находится Москва, испросить от министра юстиции приказание, что делать с архивом Вотчинного департамента!» И курьер с таковым донесением отправлен на другой уже день, поздно, то есть 31 августа.

Сие ночное заседание составляли господа обер-прокуроры: граф Кутайсов, Озеров, Засецкий и Лужин. Оное продолжалось с 10 часов вечера до 3 часов следующего утра.

Августа 30 дня. Выдано в народ следующее печатное объявление:

«Светлейший князь, чтоб скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет; к нему идут отсюда 48 пушек с нарядами; а светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли; дела прибрать надобно, а мы своим судом со злодеем разберемся. Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских; я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу! Хорошо с топором, не дурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки; француз не тяжелее снопа ржаного. Завтра после обеда я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь к раненым; там воду освятим; они скоро выздоровеют, и я теперь здоров; у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба!

30 августа 1812 года

Подписал: граф Растопчин»

Это объявление в народ, которое, казалось бы, само по себе ничего не значило, причинило, однако же, ужасное волнение в народе, волнение самое убийственное: стали разбивать кабаки, питейная контора на улице Поварской разграблена, на улицах крик, драка, останавливали прохожих, спрашивая, «где неприятель?» Трудно было отойти от них. В Серебряном ряду двое немцев, живших в России несколько десятков уже лет, желали разменять ассигнации на серебро, и когда они не хотели дать промен, который менялы требовали, то силою отняли у них деньги, а самих их избили до полусмерти под предлогом, будто они шпионы; словом, Москва в этот день как будто вовсе была без начальства.

Я, проходя в 10 часов утра из дому в Вотчинный департамент, встретил в городе, у Лобного места, что близ Кремлевских Спасских ворот, огромное стечение народа, большею частью пьяных, готовых на всякое буйство. В толпе сей говорили, что граф Растопчин сзывает уже сынов Отечества на Три Горы, куда и сам явится предводительствовать народом для отражения врага от Москвы, и что завтрашний день с восходом солнца народ должен сбираться, кто с чем может, в назначенное им место.

В Вотчинном департаменте я нашел все в порядке: дежурные чиновники были при своих местах; однако же многие удалились уже из Москвы без ведома моего.

В сей же день, по вечеру, приехали за мною от графа Алексея Григорьевича Бобринского шесть лошадей в двух повозках, а супруга его, графиня Анна Володимировна, прислала мне 400 рублей ассигнациями, которые я от аптекаря Ауербаха и получил. Сверх того, граф Бобринский прислал мне, при особой записке своей, с человеком, приехавшим с лошадьми за мною, 240 голландских червонцев и просил меня, чтоб я поспешил к нему приездом.

Это частность, и я упомянул об оном только для того, чтобы доказать, что я все способы имел удалиться от неприятеля: имел и деньги, и лошадей, но не имел ни от какого начальства приказания оставить мое место, а самому собою нарушить присягу и в духе труса, спасая себя, кинув архив Вотчинного департамента на произвол судьбы, я не думал иметь право; и если впоследствии сей подвиг усердия моего поставлен мне был в преступление и без суда еще совершены на мне жестокости наказания, то все-таки преступление мое было похвальное, а подвиг истинно патриотический, коим я имею полное право гордиться и хвалиться; по крайней мере, сохранением архива Вотчинного департамента я заплатил любезному отечеству за воспитание мое.

Августа 31 дня. Я рано вышел из дому моего, желая посмотреть, что делается в городе, и прошел до Пресненской заставы, из которой дорога на Три Горы. Боже мой! С каким сердечным умилением взирал я на православный русский народ, моих соотечественников, которые стремились с оружием в руках, дорого от корыстолюбивых торговцев купленным; другие шли с пиками, вилами, топорами в предместье Три Горы, чтоб спасти от наступающего врага Москву, колыбель Православия и гробы праотцев, и с духом истинного патриотизма в один голос кричали: «Да здравствует батюшка наш, Александр!» Малейшая поддержка этого патриотического взрыва, и Бог знает, взошел ли бы неприятель в Москву? Народ в числе нескольких десятков тысяч, так что трудно было, как говорится, яблоку упасть, на пространстве 4 или 5 верст квадратных, кои с восхождением солнца до захождения не расходились, в ожидании графа Растопчина, как он сам обещал предводительствовать ими; но полководец не явился, и все с горестным унынием разошлись по домам.

Сентября 1 дня. Рано утром разбужен я был приходом ко мне третьего члена Вотчинного департамента Иванова. Он принес мне конверт, содержащий в себе предложение обер-прокурора Озерова, которому препоручен

главный надзор над Вотчинным департаментом. Распечатав конверт, прочитал я следующее:

«Вотчинному департаменту:

Так как обер-прокурор Сената (г. Озеров) отправляется с Правительствующим сенатом в город Казань, то и передает власть свою над департаментом старшему по себе».

Но какое удивление мое было: лишь прочитал я сии строки, увидел у ног моих его, Иванова, бледного, трепещущего, умоляющего меня подписать ему паспорт о выезде из Москвы, который он уже держал в руках своих. Я подписал сей паспорт, в противном случае он уехал бы и без паспорта моего, а может быть, еще и того хуже, умер бы от страху, и причину смерти его приписали бы мне.

Так как я оставался старший в Вотчинном департаменте, или, лучше сказать, оставался один с несколькими чиновниками, то по уходе от меня Иванова поспешил в дом обер-прокурора Озерова, чтобы узнать от него, в чем власть его над Вотчинным департаментом, которую он передает мне, и принять наставление, что мне самому делать в опасностях, от которых он удаляется; но Его превосходительства я не мог видеть: он уже далеко был от Москвы.

Возвратясь на квартиру, я рассуждал, что трусость, которую обнаружу подлым бегством от неприятеля, кинув сокровища отечественные, которые заключают в себе архивы Вотчинного департамента, на произвол судьбы, будет со стороны моей подлым нарушением присяги; я возложил все упование мое на Всемогущего Творца, оставил квартиру свою со всем моим в оной имуществом, приказал людям моим не оставлять квартиры до самой уже невозможности быть в оной, отпустил лошадей графа Бобринского, присланных за мною, и, взяв жену и малолетних моих детей, пошел с ними в Кремль, и я сделал самого себя стражем Вотчинного департамента.

После полудня ходил я к Дорогомиловской заставе, в которую должен входить неприятель передовыми своими войсками, и на Арбатской улице встретил генерала от артиллерии Левенштерна, адъютанта его Фадеева, с которым я давным-давно знаком, но около девяти лет не видался с ним. Мы оба обрадовались свиданию нашему: я узнал от него, что неприятель непременно войдет в Москву, потому что наша армия почти погибла и осталась не в большом числе, но что еще дня два, как кажется, сказал он, простоим около Москвы. Фадеев имел какое-то препоручение, и мы скоро расстались. Когда стало смеркаться, то с берегу Москвы-реки, у самого Дорогомилова моста, видно было, что осветились бивуаки нашей армии, расположенной у Поклонной Горы, версты 3 от заставы Дорогомиловской. Народное буйство в Москве, бывшее в этот вечер, описать нельзя. Возвратясь в Вотчинный департамент, я нашел там все благополучно: семейство мое уже покоилось; караул, стоявший на круглом дворе Сенатского здания, бил, по обыкновению, вечернюю зарю, и я, осмотрев обе двери в Вотчинный департамент, запер их и ключ взял к себе.

Сентября 2 дня. Я почти совсем не спал, а дремал только, и, к удивлению моему, стоявший караул на внутреннем круглом дворе Сенатского здания и бивший вчерашнего вечера еще зорю, ночью снят был со своего места. Я предоставляю отцам семейства посудить о положении, в котором должен я был находиться.

В 8 часов утра стали сходиться в Вотчинный департамент чиновники и приказнослужители. Я имел, как начальник их, справедливую причину выговаривать некоторым, почему они, быв дежурные и дневальные, не находились в сию ночь при своих местах, и за такое их нерадение и пренебрежение к службе угрожал послать их к наказанию г-ну московскому коменданту; но бывший секретарем сего департамента, а потом и действительным членом оного, Рыбников язвительно мне отвечал: «Ни коменданта, ни главнокомандующего Москвою, ни обер-полицмейстера, ни полицейских чиновников, никого уже нет в Москве, а вы хотите, чтобы мы были при своих местах». И в самое это время вошедший в департамент чиновник (не помню имени его) сказал: «Ах, Алексей Дмитриевич, какой ужас я видел, проходя мимо дома графа Растопчина, которого двор был полон людьми, большею частью пьяными, кричавшими, чтобы шел с ними на Три Горы предводительствовать ими к отражению неприятеля от Москвы. Вскоре, продолжал чиновник, на таковой зов вышел и сам граф на крыльцо и громогласно сказал: «Подождите, братцы! Мне надобно еще управиться с изменником!» И тут представлен ему несчастный купеческий сын 20 лет, Верещагин, приведенный уже с утра из временной тюрьмы (ямы), в тулупе на лисьем меху, и Растопчин, взяв его за руку, вскричал народу: «Вот изменник! От него погибает Москва!» Несчастный Верещагин, бледный, только успел громко сказать: «Грех, вашему сиятельству, будет!» Растопчин махнул рукою и стоявший близ Верещагина ординарец графа, по имени Бурдаев (ныне он в Москве полицейский чиновник, квартальным надзирателем), ударил его саблею в лицо; несчастный пал, испуская стоны, народ стал терзать его и таскает по улицам. Сам же граф Растопчин, воспользовавшись этим смятением, сошел с крыльца и в задние ворота дома своего выехал из Москвы на дрожках.

Слушая чиновника, рассказывавшего сие ужасное происшествие, я душевно страдал и, не продолжая более выговоров моих виновным моим чиновникам, приказал протоколисту Бородину сделать журнал следующего содержания: «Так как я один целого присутствия Вотчинного департамента составлять не могу, а потому и закрываю присутствие. Но как чиновники и приказнослужители сего департамента за истекший август месяц не получали следуемого им жалованья, и Правительствующего сената 6-го департамента, от которого должен я требовать разрешения о выдаче оного, в Москве уже не находится, то и определяю выдать сие жалованье, кому сколько следует, а по раздаче оного, выдать еще вперед за два месяца на собственную мою ответственность начальству». Подписав сей журнал, приказал я расходчику Рудакову, вместе с экзекутором департамента Гириным и двумя чиновника-

ми при них, принести из кладовой ящик с ассигнациями, а медную монету в мешках перевести в присутственную камору, оставив кладовую незапертою уже. Выдал я расходчику Рудакову нужную сумму для раздачи чиновникам и приказнослужителям, на лицо состоящим по списку, определенное им жалованье за один только месяц истекший август.

Надобно знать, что я в личном ведении моем никакой суммы денег не имел, а находившаяся при Вотчинном департаменте состояла под ведением 3-го члена департамента Иванова, который вчерашнего числа выехал из Москвы, не сдав оной никому; а также и секретарь, при сей сумме находившийся, титулярный советник Воробьев (из господских людей), уехал из Москвы дней пять тому назад, как сказывал мне приказнослужитель, с ним вместе живший, не испрося, однако же, ни от кого позволения. Сей денежной казны, при Вотчинном департаменте состоящей, 1 сентября свидетельства по обыкновению делаемо не было, потому что 1 сентября было воскресенье, а более по смутным обстоятельствам.

Экзекутору департамента, коллежскому асессору Гавриле Петровичу Гирину, восьмидесятилетнему старику, приказал я со всем его семейством перебраться в Вотчинный департамент и находиться при мне. Он и вышел из департамента в свой дом, но я его уже более не видел.

Расходчик Рудаков раздавал жалованье чиновникам и приказнослужителям, а я пошел посмотреть, что делается в городе. На Лобном месте, что близ Кремлевских Спасских Ворот, площадь была полна народу, так что тесно было; в воздухе же был нестерпимый смрад от того, что лавки Москательного ряда были уже зажжены, и, как говорили, зажигал лавки сам частный пристав городской части, какой-то князь. Тут, на Лобном месте, встретил я графа Дмитриева-Мамонова: он был на коне и, увидя меня, соскочил с лошади и спросил: «Что ты тут делаешь, Бестужев? Неприятель входит уже в Москву!» Я отвечал: «Любезный граф! Я не имею особенного повеления оставить моего места, а самому собою нарушить присягу и в духе труса, кинув на произвол судьбы архив Вотчинного департамента, от неприятеля бежать не думаю быть в праве, а потому и остаюсь при своем месте; что будет, то и будет». – «Ну! Прощай», – сказал граф и, поцеловавшись со мною, примолвил: «Да сохранит тебя Господь Бог!» Поехал.

Возвратясь в Вотчинный департамент, я подписал многим чиновникам и приказнослужителям паспорта о свободном им выезде из Москвы; расходчик Рудаков еще продолжал раздачу жалованья. Было 3 часа пополудни, и я распустил чиновников и приказнослужителей по квартирам их, приказав часа через два возвратиться в Вотчинный департамент, а оставил при себе одних только дежурных и дневальных.

Любопытствуя узнать, что делается на большой Арбатской улице, по которой, как я думал, неприятель должен входить, а он, напротив, вошел во все заставы, которые на стороне к городу Смоленску, то есть в Дорогомиловскую, Пресненскую, Тверскую, Миусскую и другие, я взял с собою чиновника и вы-

шел из Кремля. В сие время на Ивановской колокольне ударил колокол к вечерней молитве.

Лишь только я с чиновником вышли из Кремля, то встретили пьяного господского человека, у которого в одной руке было ружье со штыком, а в другой – карабин. Сей человек был в самом безобразном виде и, покачиваясь то в ту, то в другую сторону, что-то бормотал про себя. Я, усмехнувшись, сказал бывшему со мною чиновнику довольно громко: «Вот видишь, что значит безначалие», – и отошел уже от сего пьяного несколько шагов, как кинул он в меня ружье со штыком, которым, слава Богу, не попал, но вслед за оным кинул и карабин, которым ушиб меня крепко в ногу. Почувствовав чрезвычайную боль в ноге, я воротился и кое-как дотащился до Вотчинного департамента.

В 4 часа пополудни пушечные выстрелы холостыми зарядами по Арбатской и другим улицам возвестили вход неприятеля в Московские заставы. Я считал выстрелы: их было 18; звон на Ивановской колокольне утих, и вскоре Троицкие ворота в Кремле, которые были наглухо заколочены и только одна калитка для проходу оставлена, выломаны и несколько польских уланов въехало в Кремль чрез оные.

Место это из окон Вотчинного департамента видно, ибо некоторые окна прямо против Троицких ворот. Я вскричал: «Верно, это неприятель!» – «Э! нет, – отвечал мой знакомый, пришедший в департамент со мною проститься. – Это наш арьергард отступающий». Но увидели мы, что въехавшие уланы стали рубить стоящих у Арсенала несколько человек с оружием, которое из оного только что взяли, и уже человек десять пали окровавленные, а остальные, отбросив оружие и став на колени, просили помилования. Уланы сошли с коней своих, отбили приклады у ружей, и без того к употреблению не годящихся, забрали людей и засадили их в новостроющуюся Оружейную палату. Я запер вход и выход в Вотчинный департамент, взял ключи к себе и приставил к дверям к каждой по одному инвалиду, при департаменте служащих, приказав тотчас уведомить меня, коль скоро кто будет стучаться.

Вскоре за передовыми польскими уланами стала входить и неприятельская конница: впереди ехал генерал, и музыка гремела. Когда сие войско входило в Кремль, то на стенных часах, которые в департаменте, показывало 4½ часа. Это войско входило в Троицкие и Боровицкие ворота, проходило мимо Сенатского здания и вышло в Китай-город чрез Спасские ворота; шествие этой конницы продолжалось до глубоких сумерек беспрерывно. Ввезена в Кремль пушка и сделан выстрел к Никольским воротам холостым зарядом; вероятно, сей выстрел служил сигналом.

Один из инвалидных солдат, которых я поставил у входа дверей в департамент, пришел ко мне и сказал, что кто-то стучится крепко в двери. Я отпер. Это были люди мои, которые оставались на квартире. Они сказали, что неприятель овладел уже совершенно Москвою и что в дом, в котором я жил, взошло около 40 человек, но что им никакой обиды сделано не было. Когда

стало смеркаться, то пламя зажженного утром Москательного ряда осветило комнаты департамента так, что никакой надобности не было в свечах. Круглый в Сенатском здании двор занят неприятельскими солдатами, и видно было из окон департамента, что несколько человек бегали с огнем по комнатам, в которых присутствовали сенаторы, выкидывали столы и стулья на двор для биваков своих. Хотя ночь эта и была ужасная ночь для меня, но, слава Богу, никто из неприятелей не входил в Вотчинный департамент, и как я сам, так и все бывшие при мне, оставались спокойны. По сю пору мы не видали еще крови, кроме крови несчастного Верещагина и часа два тому назад неприятельскими уланами избитых у Арсенала.

Сим кончаю описание происшествий в 1812 году в Москве, до входа неприятельских войск в сию столицу. Я описал и причины, почему я остался во власти неприятеля. И если таковой примерный подвиг усердия моего, который бы должен был заслужить внимание, уважение и награду, но несправедливостью бывшего тогда министром юстиции Дмитриева и главнокомандовавшего Москвою графа Растопчина почитается преступлением и наказывается жесточайшим образом, в таком случае надобно дать новую форму клятвенному нашему обещанию и положить в оной пределы, до которых пор служащий чиновник должен сохранять присягу свою, и буде только до того времени, покуда чиновнику личная опасность не представится, то не вероятно, чтоб царствующий Монарх имел бы истинно приверженных к Престолу своему, а Отечество останется без пламенных сынов, и несправедливость, мне оказанная, может устрашить всякого служить по правде и прямым путем службы искать себе чести.

Второе отделение сего описания будет заключать в себе ужасные происшествия в Москве в шестинедельное пребывание в ней неприятеля. Я говорю ужасные, потому что с детства жил под благотворными и кроткими законами возлюбленных наших Монархов и подобных деяний не видел.

Сведение о сочинителе «Краткого описания происшествиям в Москве в 1812 году»

Надворный советник А.Д. Бестужев-Рюмин в 1812 г. служил в бывшем Вотчинном департаменте асессором. В начале 1813 г. возникло о нем дело, производившееся, вследствие предписания г. министра юстиции, в особо учрежденной для того Комиссии. Почему заведовавший в то время департаментом обер-прокурор Огарев сделал распоряжение, чтобы он к присутствованию в департаменте допускаем не был. А 17 марта того же года указом Правительствующего сената Бестужев-Рюмин от занимаемой им должности уволен, с причислением к Герольдии.

Этим и ограничиваются все официальные известия о нем, сохранившиеся в делах бывшего Вотчинного департамента. Но вот некоторые подробности о жизни его в Москве во время неприятельского нашествия в 1812 году, переданные сослуживцем его Н.С. Налетовым, жившим тогда также в Москве.

Пред вступлением французов в Москву, как известно, все жители искали спасения от угрожавших им бедствий. Увлеченный общим примером, Бестужев-Рюмин с женою и двумя малолетними сыновьями из квартиры своей перебрался в Вотчинный департамент, надеясь быть там более безопасным. Это было в воскресенье утром, 1 сентября, а на следующий день неприятели уже овладели Москвою и в Троицкие ворота вторгнулись в Кремль. Разогнав холостым пушечным выстрелом народ, толпившийся около Арсенала для взятия оттуда сабель и ружей, они рассыпались по всему Кремлю, вломились в здание Сената и наконец достигли Вотчинного департамента. В это время находились там многие чиновники, еще с утра пришедшие за получением жалованья. Французы загородили им ружьями все входы и выходы, обобрали их всех до одного, в том числе и Бестужева-Рюмина, и выгнали вон, а сами остались для помещения в архивах департамента.

Тогда Бестужев с семейством своим побрел опять на прежнюю квартиру, где, кроме голых стен, не нашел уже ничего: все было разграблено, а вскоре огонь лишил его и самого крова: дом, в котором он помещался, сделался жертвою пожара.

После того жил он несколько времени в здании Медико-хирургической академии. Средств к жизни никаких у него не было, нужда была крайняя; оставалась одна надежда на человеколюбие. Но куда и к кому обратиться? Наконец пришла ему счастливая мысль пойти поискать своих знакомых. С этою целью он отправился на Петровку, в дом князя Одоевского: здесь укрывался знакомый ему чиновник М.И. К нему-то Бестужев и решился прибегнуть с просьбою о помощи. Этот сжалился над ним, накормил его с женою и детьми и дал у себя пристанище.

Оставив здесь семейство, пошел он на Тверскую с намерением отыскать дом одного своего благодетеля (фамилии которого передающий этот рассказ не помнит) – и вдруг был окружен французами. Видя, что он умеет говорить по-французски, они схватили его и представили к Наполеону. На предложение Наполеона вступить к нему в службу Бестужев отвечал, что считает противным долгу чести и присяги служить двум Императорам. Наполеон приказал отпустить его.

На возвратном пути ожидало Бестужева новое несчастье: на Тверском бульваре он был ограблен поляками. И в этот раз М.И. выручил его из беды, снабдив старою фризовою шинелью.

Москва давно уже горела. Пожар стал угрожать и дому князя Одоевского. Бестужев должен был искать нового убежища, и вот он, с женою и детьми, решился идти в ту сторону, где находился Полевой двор[2]. Там на огородах стояла изба, в которой он и расположился провести ночь вместе со многими другими несчастными и бесприютными; но и это единственное

---

[2] Надо заметить, что огонь по ветру шёл в направлении к Полевому двору; здесь, не встречая на пути своём ничего, кроме огородов, он прекратился.

убежище вздумал кто-то поджечь. Проведя остаток ночи под открытым небом, на огородах, между капустными грядами, рано утром воротился он в дом князя Одоевского, но благодетеля своего М.И. уже не нашел там: пожар заставил и его удалиться в другое место.

Таким образом, положение Бестужева сделалось снова безвыходным: ни пристанища, ни хлеба не было; дети страдали от холода и голода; это беспокоило его больше всего. Чтобы хотя сколько-нибудь обогреть малюток, он повел их на Самотеку в бани, но бань уже не было – они также сгорели.

Нужно было достать для них, по крайней мере, хлеба. Судьба помогла ему в этом. Бродя с ними по улицам, он встретил старого хромого солдата и вздумал попросить у него хлеба. Солдат отвечал ему: «Хлеба нет у меня; сам питаюсь разводимою в воде мукою; муки, пожалуй, дам». И действительно поделился.

Тогда Бестужев, успокоенный несколько тем, что может, наконец, накормить детей, поспешил в уцелевший, к счастью, дом князя Одоевского. М.И. был опять уже там. Жену и детей Бестужев оставил у него, а сам пошел к Москве-реке, где, как он слышал, можно было брать подмоченную на барках пшеницу; но едва вышел из дома, как был схвачен французами и снова приведен к Наполеону. На этот раз Бестужеву не удалось отделаться от Наполеона; он должен был вступить в его службу и сделан членом Муниципального совета[3], а в отличие от прочих велено ему носить голубую ленту на левом рукаве, выше локтя.

В это время нижние французские чины считали Бестужева городским начальником. Он умел пользоваться этим как нельзя лучше: брал у французов хлеб и раздавал беднейшим из своих соотечественников, в особенности семейным, и таким образом облегчал участь многих несчастных.

К чести его должно также сказать, что он заботился о сохранении в целости Вотчинного департамента. Так, бывши однажды в Кремле, он увидел, что французы из окон архива выкидывали книги и дела в вязках; тотчас же отправился к Наполеону, как член Муниципального совета был допущен к нему и донес ему об этом. Наполеон, по просьбе его, приказал к архиву приставить караул.

Сообщил П.И. Иванов[4].

Нижеследующее донесение А.Д. Бестужева-Рюмина министру юстиции И.И. Дмитриеву восполняет отсутствующую в его «Краткой записке...» ин-

---

[3] Этот Муниципальный совет помещался на Покровке, в доме Румянцева. По выходе неприятеля из Москвы найден здесь графом Растопчиным список всех русских чиновников, находившихся в службе у французов; в нём упомянут и Бестужев-Рюмин. Вскоре Бестужев был вызван в С.-Петербург. На проезд и путевые издержки высланы ему деньги от одного сенатора.

[4] *Бестужев-Рюмин А.Д.* Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году. М., 1859. С. 57–84.

формацию об обстоятельствах его пребывания в Москве в период французской оккупации.

Его превосходительству, господину тайному советнику, министру юстиции и разных орденов кавалеру Ивану Ивановичу Дмитриеву от надворного советника Бестужева-Рюмина доношение.

2 мая прошедшего 1812 года указом Правительствующего сената, по предложению Вашего превосходительства, определен я членом Вотчинного департамента. 2 сентября того же 1812 года неприятель овладел Москвою и дела Вотчинного департамента, при которых я был из членов в наличности один, остались во власти его, в которой и находились по 11-е число октября месяца: в сей день неприятель совершенно очистил Москву, оставя в Воспитательном доме одних больных и раненых. Вскоре потом учреждена, по именному Его Императорского Величества повелению, комиссия о рассмотрении, виновны ли те, кои при нахождении французов в сей столице имели должности? Комиссия заседания свои уже кончила; а как и я был под следствием оной и известился при том, что Ваше превосходительство предписанием г. статскому советнику Огареву (пребывающему ныне в Москве по делам службы) приказали запретить мне присутствовать в Вотчинном департаменте: а потому, окончив таким образом служение мое под начальством Вашим, поставляю, однако же, долгом сделать Вашему превосходительству полное донесение об обстоятельствах, почему дела Вотчинного департамента оставались не вывезенными по примеру прочих мест, а равно и о моих усилиях к сохранению сих дел во время пребывания неприятеля в Москве и, наконец, о всех происшествиях, которые могут оправдывать мои действия в сие время безначалия на пользу Отечества и несчастных соотечественников моих, находившихся со мною в плену.

В начале июля советник департамента г. статский советник Аничков, по предложению главного директора графа Дмитриева-Мамонова, уволен, по надобностям его, на 28 дней, а управление департаментом препоручил мне. А как он, г. Аничков, явился на срок к должности своей, то есть в первых числах августа месяца, тогда изъявил я желание быть уволену на 28 дней по моим необходимостям в Тульскую губернию, в город Богородск. Присутствие Вотчинного департамента входило с представлением о сем моем увольнении к главному директору графу Дмитриеву-Мамонову, которой и изъявил на оное свое согласие предложением, и потому 9 августа, получа паспорт, я кончил присутствие мое в департаменте, однако же по причине болезненного состояния жены моей из Москвы не выехал.

18 августа получено отношение на имя департамента от г. главнокомандующего в Москве графа Федора Васильевича Растопчина. В сем отношении Его сиятельство предлагал департаменту уложить дела оного и иметь их в готовности к отвозу, буде нужда того потребует, а о нужном количестве на то лошадей предоставил департаменту самому требовать от г. гражданского

губернатора. В рассуждении таковых обстоятельств я почитал преступлением оставить департамент, когда нужно было действовать к спасению его общими силами; и если я, по новости служения моего в оном месте, не могу равнять себя против сотоварищей моих в знании дел, принадлежащих оному департаменту, то могу сказать, что я более их чувствовал всю необходимость к внутреннему спокойствию Отечества сохранением архива и дел оного, и потому, возвратя данный мне паспорт, остался при должности моей. Позвольте мне, Ваше превосходительство, в сем месте сделать некоторое замечание. В предписании Вашем г. статскому советнику Огареву касательно меня сказано: «который не успел выехать». Сие несправедливо вам донесено. Я не «не успел выехать» из Москвы, узнав об опасности, а не хотел без особого повеления ни под каким предлогом оставить своего места. В понятии моем большая разница в сих словах и в отношении присяги, и в отношении усердного сына Отечества.

19 августа присутствие Вотчинного департамента, по справкам оказавшимся, что в архивах оного находится книг в переплете, в связках и в свертках всего числом 42 160, кроме текущих дел, заключило определением, всеми тремя членами подписанным, что на укладку и обвертку оных к сбережению потребно около 10 000 руб., а на отвоз – до 1000 лошадей, полагая на каждую лошадь по 18 пуд. С сего определения представлена копия на разрешение главному департамента директору графу Дмитриеву-Мамонову, который со своей стороны сделал немедленно отношение, с приложением сей копии, к главнокомандующему графу Растопчину и просил меня, чтоб оное доставил я лично в руки Его сиятельства, с тем, что если нужны могут быть дальнейшие объяснения, то я, как член департамента, могу оными удовлетворить, не входя в переписку. Я на другой день по жительству графа Растопчина в загородном его доме отвез сие графа Дмитриева-Мамонова отношение; с 9 часов утра ждал свободного времени ему оное вручить и в 2 часа пополудни уже вручил. В ответ правитель канцелярии Его сиятельства г. Рунич мне объявил, что граф Растопчин сам будет ответствовать графу Дмитриеву-Мамонову; с сим разрешением и вышел я из дому его.

29 августа, по предписанию Вашего превосходительства, вместо графа Дмитриева-Мамонова особенный надзор за Вотчинным департаментом вы препоручить изволили 7-го Правительствующего сената департамента г. обер-прокурору и кавалеру Озерову, который в сей же день и присутствовал в Вотчинном департаменте. Рассуждением были: отношение в оный графа Растопчина касательно укладки дел и заключение на сие департамента, которое остается без разрешения. Его превосходительство Озеров обещал лично говорить о сем с графом Растопчиным и приказал в сей же день по вечеру быть мне с чиновниками в департаменте по случаю особенного заседания Сената господ обер-прокуроров. Я приказание его выполнил и с чиновниками моими находился до полуночи в департаменте; однако настоящего разрешения никакого не получил о вывозе оного дел; а г. обер-прокурор Озе-

ров объявил, что, говоря о сем с графом Растопчиным, Его сиятельство хотел сделать сношение с Вашим превосходительством.

31 августа при выдаваемых «Московских Ведомостях» была печатная прокламация (афишка), в коей граф Растопчин уверял честью своею и клялся сединами главнокомандующего армиями светлейшего князя Кутузова, что французские войска не будут в Москве; а буде до того дойдет, то он, граф Растопчин, созовет 100 тысяч молодцов и сам с оными и с образом Иверской Божией Матери встретит неприятеля на Поклонной горе (за Дорогомиловскою заставою, 3 версты от Москвы). В сей день ввечеру началось волнение в народе и многие дома разбиты и разграблены.

1 сентября, поутру, в 8 часов, пришел ко мне на квартиру третий член департамента г. надворной советник Иванов и просил моего согласия на отъезд его из Москвы на 8 дней. Я не могу описать Вашему превосходительству положения, в котором г. Иванов в то время был: бледен, трепещущ, едва может выговаривать слова, пал с сею просьбою к ногам моим. Я не полагал, глядя на него, жить ему более получаса на свете, следовательно, в таком его положении никакой помощи ожидать не мог к спасению департамента дел, если нужда к тому будет, и потому согласился на отъезд его. В 9 часов утра был я в департаменте, но ни дежурных, ни дневальных в оном не было, а находилось только тут человек пять инвалидных солдат, при департаменте служащих, из коих двое были пьяны. Я приказал вахмистру Гурилову призвать тех чиновников и приказнослужителей, коим следовало в сей день быть безотлучно в департаменте, а сам я пошел в Успенский собор. Божественную литургию отправлял викарный архиерей, и служение с необыкновенною торопливостью производилось; по окончании оного пришел я опять в департамент, и как вахмистр Гурилов мне донес, что никого из дежурных не отыскал, то я рассудил сделать самого себя стражем департамента и избрал к жительству своему пустую камору близ 4-й части архива; его же, Гурилова, послал на квартиру свою привести ко мне жену и малолетних детей моих, а при том, чтоб он людям приказал не оставлять дому до самого крайнего часа. В 4 часа пополудни явились в департамент некоторые дневальные, извиняясь естественной надобностью отлучки их. Я, во избежание подобных отговорок, приказал отколотить одно нужное место, заделанное прежде сего Кремлевскою Экспедициею, в надеянии, что дежурные чиновники не будут под видом естественных нужд своих отлучаться из департаментских камор. Между тем ходил я в город и видел некоторых знакомых мне из армии офицеров, от коих и узнал, что брат мой родной, командующий Либавским мушкетерским полком, жив и обещался на другой день вместе с ними посетить меня. Волнение в народе было уже очень сильное, грабили даже дома; пьянство и озорничество оставались без всякого опасения быть наказану. В 9 часов вечера караул, стоящий на круглом дворе Сената, бил вечернюю зорю, и я с семейством моим ночевал в департаменте.

2 сентября стоящий караул на дворе Сената ночью снят. В 8 часов начали сбираться в департамент чиновники и приказнослужители; я некоторым имел

справедливую причину выговаривать за неисправление их обязанностей, обещевая послать к Его превосходительству г. коменданту для наказания; но секретарь Рыбников с язвительною усмешкою мне ответствовал на сии угрозы: «Ни коменданта, ни главнокомандующего, ни обер-полицеймейстера, ни квартальных уже в Москве не находится»; а другой, тут же стоявший, не помню кто, сказал: «Я сейчас видел, что по улицам пьяные таскают мертвое тело» (тело Верещагина). Не продолжая далее моих выговоров, приказал я протоколисту Бородину написать журнал, в коем определил: «Поелику я один составить целого присутствия Вотчинного департамента не могу, и потому закрываю оное; а как истечением августа месяца чиновники и приказнослужители не получали за оный следуемого им жалованья и Сената шестого департамента, от которого должен я требовать о выдаче оного разрешения, в Москве не находится, а потому и определяю: выдать кому сколько следует, а равно, по раздаче оного, выдать еще за два месяца вперед, на собственный мой отчет начальству». Подписав сей журнал, приказал я расходчику Рудакову, вместе с г. к. ассес. и Вотчинного департамента экзекутором Гириным (оный г. Гирин, с семейством своим, во время пребывания французов в Москве жил в погорелом каменном доме под сводами и падением оных окончил жизнь свою), принести из кладовой ящик с ассигнациями в присутственную камору. В оном находилось наличными 8125 руб., сверх того должно числить наличными же взятые под расписки в счет жалованья чиновниками 250 руб., медной же монеты сколько было, не могу заподлинно сказать, ибо я оной не видал.

Я должен известить Ваше превосходительство, что по приходу и расходу денежной казны в департаменте заведовал сию часть третий член надворный советник, который, не отдав отчету накануне, из Москвы уехал; также и секретарь по оной части Воробьев (из господских людей) уехал без спросу еще 30 августа, и обыкновенного денежной казны свидетельства за август месяц делано не было, и ведомость присутствию об остатке суммы к сентябрю месяцу не представлена.

По принесении ящика с деньгами я выдал расходчику Рудакову, для раздачи за август месяц чиновникам жалованья, 1500 руб., затем остальные 6625 руб., не отдавая уже в кладовую, оставил при себе, а медную монету, сколько оной в кладовой находилось, приказал перенести в присутственную камору.

Я сие учинил потому, что после раздачи за август месяц должен я был выдать, в согласность журнала моего, за два месяца вперед, а еще более и потому, чтоб в случае какого несчастия самому мне, как начальнику департамента, за оную сумму ответствовать, не объявляя и не ссылаясь, в растрате или похищении оной, быть причиною кому из подчиненных мне.

До двух часов пополудни расходчик Рудаков не кончил еще раздачи жалованья за август месяц, и чиновники разошлись по домам, а остались одни только дежурные. В три часа неприятель взошел в Кремль конницею под командою короля Неаполитанского (Murat). Я запер двери департамента, при-

казав никого не выпускать и не впускать. Люди мои, оставшиеся на квартире, прибежали в четыре часа, сказывая, что французские войска по всем улицам рассеялись. В восемь часов вечера сильное пламя показалось в Китай-городе, в Москательном ряду. Я ночевал с семейством моим в департаменте.

Позвольте мне, Ваше превосходительство, при сем просить Вашего начальнического защищения против клеветы, которую расходчик Рудаков в рапорте своем, до сведения Вашего дошедшем, показал, будто я до вторжения французов в Москву за несколько часов медную монету, в департаменте находящуюся, приказал перевезти на свою квартиру.

Я не только не отвозил на квартиру свою медной монеты, но на квартире уже и не был, как оставил оную накануне дня, то есть 1 сентября, в чем и сам Рудаков сознался в комиссии; а потому покорнейше прошу Ваше превосходительство приказать наказать его в пример, чтобы не клеветали на своих начальников. Я, кроме чувствительного огорчения, что такая клевета могла дать Вам обо мне худое мнение, имел еще ту неприятность, что с сим клеветником должен был в комиссии стать на одну доску и себя оправдывать. Равным образом прошу Ваше превосходительство приказать предать суждению по законам и бывшего в департаменте по части денежной казны секретарем Воробьева, которой оставил свое место 30 августа без спросу и не отдав в имеющейся наличной сумме отчету; я бы нимало не задержал его, ибо по закрытии присутствия многим чиновникам, меня просившим, подписал билеты для свободного выезду из Москвы.

В продолжение ночи сей никто из неприятелей в департамент не ходил; но видимо было, что множество мародеров бегали в комнатах Сената со свечами и с обнаженными саблями, выкидывали из окон на круглой Сената двор столы и стулья, где и разложен был огонь.

3 сентября, в 9 часов утра, явился я в Кремлевский дворец и просил Наполеона о покровительстве в сохранении архивов департамента, коих я, как сказал ему, был начальник. Послан со мною секретарь его, г. Делорн де Девилль, освидетельствовать оные, который, посмотрев их, повел меня обратно во дворец. По сей час никто из неприятелей в департамент не входил. Пришед во дворец маршал герцог Фриульский[5] объявил мне благоволение своего императора, а вместе с оным и обещание, что архивы останутся в целости, и вследствие сего приказал одному полковнику дать 4-х часовых, для каждой галереи по одному. С сим полковником и часовыми пошел я в департамент, а пришед в оный, нашел каморы департамента уже занятыми старой гвардии солдатами; кладовая, в которой ничего не было, взломана; семейство мое, совершенно обобранное маршала герцога Истрийского[6] штабом в присутствии самого его; они накинулись на кое-что, бывшее у меня съестное, как голодные волки, и отняли притом ларчик с бумагами,

[5] Обер-гофмаршал Дюрок.
[6] Маршал Бессьер.

в котором находилось 3500 руб. ассигнациями казенных денег и 800 руб. моих собственных.

Когда неприятель взошел в Кремль, в то время, дабы сохранить оставшиеся у меня казенные деньги, всего 6625 руб. ассигнациями, я разделил, к лучшему сбережению сей суммы, на участки: 3500 руб. положил в ларчик с бумагами, в коем находилось и мне собственно принадлежащих 800 руб., 3000 руб. спрятал в боковой карман фрака малолетнего сына моего (12 лет), уповая, что младенчество его избегнет грабежа, 125 руб. спрятал у себя под чулки к подошвам. Сверх оных денег было еще у меня моих собственных червонных и серебряной монеты, кои я спрятал... но благопристойность не позволяет назвать места. Медную же монету я оставил в комнате департамента.

В самом жалком состоянии нашел я семейство мое, взошед с полковником и часовыми в комнату, в которой они находились. Из архива департамента, однако, высланы были все солдаты, и к дверям оных поставлены часовые; ко мне же в комнату поставлен офицер голландской гвардии со своими тремя денщиками. Моей команды солдаты, при департаменте служащие, напились пьяны и вышли ко мне из повиновения, а вахмистр Гурилов из окна упал на двор и убился до смерти. В 9 часов вечера сильный дым показался на Арбате (комнаты Вотчинного департамента имеют вид в три стороны города).

4 сентября огонь сильно действовал круг Кремля и Троицкая башня с часами уже выгорела, в рассуждении чего все Старой гвардии солдаты, квартирующие в Сенатском доме, коих было около 5000 человек (о числе оных они сами сказывали), высланы были к потушению огня. Наполеон выехал из Кремля в Петровский дворец. Русским же, кои находились в Кремле, велено было всем оставить оный, и я, выходя со всеми, при мне бывшими, из департамента, в котором должен был оставить имущество мое и медную монету, казне принадлежащую, был на площади, что против Сената, совершенно обнажен: у меня отняли сюртук и капот, в присутствии самого командующего генерала Ле Гросса[7], который был на сей раз пьян; а один солдат едва меня не проколол штыком ружья своего, называя нас зажигателями. С сына моего 12 лет, к которому в карман кафтана положил я 3000 руб., сорвали кафтан и фрак, и оставлен он в одной рубашке; у младенца же семи недель, при мне с матерью находившегося и которого мать от испуга не могла кормить грудью, отняли полбутылки молока; а двух приказнослужителей, тут же при мне бывших, Бутурлова и Пищулина, взяли в работу к себе. В таком горестном положении, по усильной просьбе моей, дал маршал, герцог Фриульский, до квартиры мне провожатого. Сему провожатому по имени Сабле я и мое семейство обязаны жизнью. Он довел нас до Сухаревой башни благополучно, и в знак благодарности моей я отдал ему образ Божией Матери, сохраненный мною на груди и коего золотая оправа стоила 80 червонных. Я не описываю Вашему превосходительству ужасов, которым я дорогою был свидетель: оные

[7] Очевидно, речь идёт о бригадном генерале Гро (Gros), принадлежавшем к Старой гвардии.

не принадлежат к сохранению дел департамента. Таким образом ночевали мы в доме Познанского, что у Сухаревой башни.

5 сентября. Я не распространяюсь в описании и сего ужасного дня, ибо намерение мое уведомить Ваше превосходительство о делах вверенного мне департамента, а я, вышед уже из оного, не могу знать, что там происходило. В сей день горели Сретенская часть, что у Сухаревой башни, и самый тот дом, в котором я ночевал; обе Басманные улицы и Немецкая слобода. Я с семейством моим и другими приставшими ко мне людьми укрывались от мародеров, везде грабивших, в одном огороде, близ церкви Спаса что в Спасском, которая в два часа пополудни загорелась. Среди сего огорода был пруд, и мы овощами утолили несколько голод, нас мучивший, но не избегли, однако же, прозорливости мародеров; двое из них пришли нас грабить; в виду же оных было более ста человек. Бедные творения! И они были без сапог, без рубашек, платье едва наготу их прикрывало: они, обнажив тесаки, требовали наши сапоги и другие вещи, в которых самую необходимость имели. Безумное дело, казалось, сопротивляться, и потому отдавали им, что надобно. Ваше превосходительство, может быть, не имеете точного понятая, что такое за люди передовые войска французской армии, вторгнувшейся в Москву, а потому позвольте мне сделать описание случившемуся со мною в огороде приключению. Нас было в оном около 50 человек; большая часть были женщины. Пришедшие два мародера, видя, что мы ни малейшего сопротивления их нахальным требованиям не делаем, вздумали раздевать женщин и искать сокровищ в таком месте, где только алжирские корсеры[8] ищут. [...] Вот «герои», овладевшие Москвой!!

Я оставил огород по причине, что забор и деревья в оном уже загорелись, и вышел в поле между Троицкою заставою и Сокольниками, где и ночевал.

6 сентября. Находя большие препятствия, или лучше сказать никакой возможности не предвидя, чтобы мог оставить город Москву с семейством моим и другими приставшими ко мне людьми, я решился войти в Москву; мы три дня уже не видали куска хлеба, и бедные дети мои, истощив себя, плакали. Глас и чувство природы требовали моего об них попечения. Я пришел на Тверскую улицу и у самых Воскресенских ворот встретил Наполеона с его штабом верхами. Я скинул шляпу, и уповательно Наполеон узнал меня, хотя был я наг и бос и имел только лакейскую шинель на себе; ибо, посмотрев на меня, что-то сказал бывшему сзади его чиновнику, который тотчас и подъехал ко мне; в сем чиновнике узнал я секретаря его г. Делорна де Девилля [...]. И на глазах его слезы показались. Из многих окружавших нас приказал он одному полковнику штаба маршала принца Невшательского (Bertier)[9], по имени г. Фон Зейден Нивельту, именем императора своего, взять меня под покровительство. Г-н полковник избрал дом для

[8] То есть «корсары» – пираты, морские разбойники.

[9] Маршал Бертье, начальник главного штаба наполеоновской армии.

жительства на Петровке, близ Петровского монастыря, бывший князя Одоевского, а ныне губернской секретарши Дурновой. Управитель сего дома Иван Александров, оставшийся в Москве накануне дня, заколот польскими грабителями. Чрез два дня потом вступили в оный же дом для квартирования 50 человек молодой гвардии с 3 офицерами. Под покровительством оных жил я со всеми при мне бывшими безопасно и до 16 сентября не выходил из комнат.

Сей день, 16 сентября, был самый ужаснейший в жизни моей; описание оного не принадлежит к предмету моего донесения.

16 сентября, сыскан будучи французскою полицией, по приказу 9 числа, представлен я к графу Мило. Он за подписанием своим дал мне записку, с которою должен я был явиться к маршалу герцогу Тревизо. Я не могу довольно нахвалиться приветствием и ласкою сего маршала. Он спросил меня: «Я ли тот надворный советник Бестужев, которому препоручены были архивы в Кремле?» Мой ответ был, что Его превосходительство не ошибается: «Я самый тот». Он изъявил искреннее сожаление к моему несчастному положению и предлагал не только одежду мне, но даже денежное вспомоществование, которых, однако же, я не принял. Он объявил притом, что учреждается Отеческое Градское правление (Munucipalité Paternelle), в котором, по особенной воле его императора, и я должен присутствовать. Я на первый раз сделал было отрицание мое об участвовании в оном; но маршал, герцог Тревизо, сказал, что его муниципалитет учреждается не в пользу французов, а напротив, учреждением оного находят единое средство защитить несчастных соотечественников моих от грабежа, насилий и обид; следовательно, и отказываться мне от участвования в сем намерении будет с моей стороны несправедливо, и находит в принятии моего отрицания затруднения в том еще, что должен донести об оном своему императору, а чтоб я не имел сомнения, что оное учреждение для пользы моих сограждан, показал и инструкцию сему предполагаемому муниципалитету. Я, не находя в оной ничего противного совести моей, ни нарушения присяги, изъявил свое согласие. Вследствие сего и дал он мне, маршал, свидетельство (род патента), с которого при сем прилагаю копию под № 1[10]. А дабы в новом сем звании лично обезопасить меня от обид неприятельских войск, а равно, чтоб я мог на улицах, в случае нужды, защитить соотечественников моих, приказано носить мне на левой руке красную узкую ленту и с правого плеча на левое перевязь красную же. Я узкой ленточки на руке не носил, потому только, что не мог нигде достать оной, а когда выходил со двора, тогда имел на себе под шинелью перевязь красную по камзолу (фрака не было); сию перевязь сделал я из ленты ордена Святого Алек-

[10] А.Д. Бестужев-Рюмин был назначен товарищем городского головы 21 сентября 1812 г., в чём и получил тогда же свидетельство за подписью военного губернатора города и провинции Московской маршала Мортье (герцога Тревизского) и интенданта города и провинции Московской Лессепса.

сандра Невского, доставшейся мне по наследству от деда моего и служившей по рождении мне в пеленах свивальником. Действительно, французские войска оказывали большое уважение к сему знаку, и я имел счастье человек пять на улице защитить от грабежа, а при том все, прибегавшие под защиту в дом, который я с г. полковником Фон Зейден Нивельтом занимал, были, по крайней мере, уже безопасны; и таковых пришельцев было более 50 человек, коим я отчасти и хлеба давал. Впрочем, в учрежденном муниципалитете я имел две экспедиции под моим особенным надзором, но по обоим сим предметам оставался в действиях моих бесполезен, потому что не имел к тому способов: в хлебе сам очень нуждался, а денежных пособий не делал, потому что денег у меня не было.

Ежели поставить мне в преступление, что я до вторжения в Москву не имел о выезде повеления, сам собою не догадался бежать из города, и с нарушением присяги оставил бы дела Вотчинного департамента на произвол, в таком случае я в оправдание свое ничего сказать не могу и заслуживаю наказания по законам, буде на таковой мой проступок есть постановление; если же, напротив, поступок мой, что я бесстрашно сохранил место свое, невзирая на разглашения о всех жестокостях, производимых неприятелем, имея в виду единое спасение дел, надзору моему вверенных, не вменяется мне в преступление; следовательно, оставшись, таким образом, во власти неприятеля, по долгу службы моему Отечеству, не в другом чем можно от меня требовать и отчета, как только: не нарушил ли я присяги законному моему Государю? Не сделал ли я предательства или измены Отечеству, открытием тайны моего правительства? Или, возгордясь некоторым оказанным мне отличием, не делал ли я какие насилия несчастным соотечественникам моим, терпевшим равную участь со мною? Присяги законному моему Государю я ни в каком смысле не нарушил, ибо особу Его Императорского Величества я люблю, как россиянин; предательства или измены Отечеству открытием тайн правительства не учинил; да и что может знать чиновник, роющийся в Москве в архивах Вотчинного департамента, о делах Комитета министров в С.-Петербурге? Касательно же до притеснения или обид сотоварищам общего со мною несчастья, на меня жалоб ни от кого нет, и оных быть не может, ибо я поступал со всеми по собственной воле сердца своего. Между 50 000 человек обоего пола людей, оставшихся в Москве во власти неприятеля, многие, в почетных чинах состоявшие, рубили французам дрова, носили воду или другие имели ноши (butin, как они называют), и иногда путешествие их с оными было от Москвы до Всесвятского, а от Всесвятского до Коломенского; а я не только не делал подобных послуг им, но, охраняя по должности своей дела Вотчинного департамента, был еще защитником соотечественников моих от обид, сохранил и присягу к Государю, и любовь к Отечеству; отказаться же от возложенной на меня должности заседания в муниципалитете значило воспротивиться воле императора Наполеона безумным упрямством, коего следствием, в пример другим, была бы мне

смерть постыдная. Я взирал бы и на оную равнодушно; ибо чувствую, что есть что-то выше человека; и бестрепетно предстану на суд к сему существу, которого не постигаю; совесть моя чиста! Но осмеливаюсь спросить: могла ли быть смерть моя в то время полезна для Отечества! Нет, нет, Ваше превосходительство. Теперь недостает самой малой только части дел, к Вотчинному департаменту принадлежащих, а со смертью моею, может быть, ни одного бы не было, и если дела Вотчинного департамента нужны для блага Отечества, то и жизнь моя нужна была; ибо сохранение оных дел сопряжено было с моим усердием.

18 сентября, с соизволения маршала, герцога Тревизо, который мне письмо дал к маршалу, герцогу Данцигскому (Le Febre)[11], командующему в Кремле, входил я в Вотчинный департамент в сопровождении адъютанта сего последнего и, к великой радости моей и удивлению, увидел, что все дела были совершенно в том же порядке, в котором я оные оставил; и часовые, тут стоявшие, сказали, что имеют повеление никого не впускать в галерею архива, но напротив, в присутственной каморе, в моей бывшей комнате, и в других комнатах, к которым не поставлены были часовые, все вещи в оных обобраны и все переломано; ибо занимали оные солдаты постоем, и я всего имущества лишился; из числа же медных денег, казне принадлежащих и которые я, выходя 4 сентября оставил, находилось еще семь мешков.

23 сентября был я опять с его же, маршала, герцога Тревизо, позволения в Вотчинном департаменте и, по случаю вступивших в Кремль к квартированию новых двух полков, галереи смотреть, чтоб дел не расхищали; однако же я приметил, что они книги употребляли на постилку вместо кроватей, и потому рассудил, к лучшему сбережению, подать письменную просьбу на имя Наполеона, которую сам и сочинил.

25 сентября подал оную просьбу маршалу, герцогу Тревизо, на рассмотрение.

В сей день, пополудни в 6 часов, подав просьбу мою маршалу, он просил меня остаться у него. Между разговорами я объявил, что при вшествии французских войск в Москву имел при себе казенных денег 6625 руб. ассигнациями, кои у меня отняты, невзирая, что Наполеоном обещано мне покровительство. Он отвечал, улыбаясь: «Справедливее бы было вам просить о своей собственности, которую вы потеряли; а что касается до казенного, то оное правом войны (butin, droit de la guerre) принадлежит им, победителям». Впрочем, Бога поставляю во свидетели, что сей маршал, сколь часто ни был я у него, но он не только со мною, но при мне и с другими никогда насчет правительства нашего не говорил.

29 сентября маршал, герцог Тревизо, возвратил мне просьбу мою на имя Наполеона, с некоторыми поправками в этикете.

---

[11] Маршал Лефевр (Lefebvre), герцог Данцигский.

4 октября, пополудни в 6 часов, подал оную я лично в Кремлевском дворце (копию, каковую подал, здесь прилагаю под № 2) и ответу на тот час не имел.

5 октября, поутру в 6 часов, был я у графа Нарбонна, и он мне сказал, что император его находит просьбу мою совершенно справедливою и, похваляя притом усердие мое на пользу Отечества, обнадеживал, что сокровища сии от войска его останутся невредимы; а как просил я повеление оные собрать в одну залу, то о сем приказание дано маршалу, герцогу Тревизо, не только к сему допустить, но и оказать в оном вспомоществование.

В полдень видел я знакомого уже мне секретаря, г. Делорна де Девилля, который сказал, что он читал мою просьбу к его императору и что Наполеон в первых словах своих сказал: «Этот чиновник со своею архивою мне уже наскучил», – и потом дал приказание графу Нарбонну.

6 октября. Хотя в сей день и ничего такого не воспоследовало, что касалось бы до предмета моего донесения Вашему превосходительству, однако же я не могу умолчать о таком обстоятельстве, которое в великие хлопоты меня ввело. В 8 часов вечера, когда я готовился уже ложиться спать, пришел ко мне из Кремля солдат Старой гвардии по имени Сабле, самый тот, который провожал меня 4 сентября из Кремля до Сухаревой башни. Он пожелал со мною проститься, как сам сказывал, и пожелать мне всякого благополучия; ибо завтрашний день, с восходом солнца, отдан приказ им выступить в поход; и после получаса разговора ничего незначащего, распрощавшись со мною, просил меня, чтоб я проводил его десять шагов только, и когда я сие учинил, оставшись с ним один, то, взяв он меня за руку, сказал: «Sauvez vous, mon cher, si vous pouvez; le Kremlin va sauter en pair, aussi bien qu'une autre place, tout près de votre cy-devant» (он разумел пушечный двор, что близ Сокольников). Я оставляю судить Вашему превосходительству, в каком положении должен я был находиться, имея в глазах моих детей, соделывающихся жертвою смерти, и Бог знает какой еще смерти!

7 октября, в 6 часов утра, Наполеон со Старою гвардией оставил Москву. Молодая гвардия под командою герцога Тревизо вступила на квартиры в Кремль. Сам маршал переехал в Кремлевский дворец. Я по поводу поданной просьбы моей Наполеону говорил с маршалом, который в ответ сказал, что в теперешнем обстоятельстве сие излишне будет, ибо и остальные войска скоро оставят Москву; а между тем приказал при мне полковнику, командующему тем полком, который занял комнаты Вотчинного департамента, чтоб дел не расхищали и, таким образом, я простился с маршалом и более его уже не видал. Кордон передовых французских войск стоял по бульвару.

8 октября, в два часа пополудни, взорваны ящики с порохом на пушечном дворе. Кордон был еще по бульвару, перестреливаясь часто с нашими мужиками.

9 октября, не находя себя уже в безопасности в доме г. Дурновой, ибо солдаты молодой гвардии с их офицерами перешли в Кремль, я рассудил также

с семейством моим искать спасения в Воспитательном доме, и Его превосходительство Иван Акинфиевич Тутолмин дал мне, по милости своей, в оном комнату, в которой я поместился.

10 октября, около 4 часов пополудни, услышали мы, что командующий корпусом российских войск барон Винцингероде взят в полон близ Тверских ворот и приведен в Кремль. В 8 часов вечера зажгли французы винный двор и вскоре потом дом главного кригс-комиссариата. В 11 часов зажжен Кремлевский дворец, и французские войска, под командою маршала, герцога Тревизо, оставшиеся, вышли из Москвы чрез Каменный мост по Калужской дороге.

11 октября, в два часа пополуночи, взорван Кремль в пяти местах. В 7 часов входил я в оный, и стечение русского народа было несказанно; Вотчинный же департамент, в каморах которого французы оставили бочек с двадцать вина и в архивах картофелю и сукна, был полон мужиков, и ужаснейшего буйства от оных в пьянстве их описать нельзя. В три часа пополудни пришли казаки.

12 октября, в 10 часов утра, поставлен был вокруг Кремля караул, и никого в оный не впускали, а в пять часов пополудни я оставил Москву, ибо был совершенно наг и со всем семейством, в чем засвидетельствовать может Его превосходительство Иван Акинфиевич Тутолмин, с которым я простился, поблагодаря его за квартиру. Пребывание мое было в деревне братьев моих и в волостях графа Бобринского, к которого великодушию прибегнул я, прося о вспомоществовании.

Я не знаю, почему г. генерал-майор Иловайской 4-й в рапорте своем к Государю Императору написал касательно меня «скрылся»; равно не знаю, почему о себе написал, что он «вытеснил неприятеля из Кремля». Донесение совсем несправедливое, и разница большая в последствиях его рапортов; спросить надобно тех, кои были в то время в Москве, тогда и справедливость его донесения усмотреть можно будет, которого бы и следствия были совершенно противны.

22 ноября, узнав о донесении г. генерал-майора Иловайского 4-го из газет, я нимало не мешкал явиться в Москву к г. главнокомандующему графу Федору Васильевичу Растопчину, и вскоре потом учреждена комиссия по именному Его Императорского Высочества повелению о разобрании, виновны ли те, кои при нахождении французов в Москве имели должности? А как сия комиссия для нас уже кончилась, то вместе с окончанием оной и донесение мое о сих обстоятельствах честь имею Вашему превосходительству представить.

Сим и оканчиваю мое донесение. Жалею, что не могу оное покончить уведомлением, сколько осталось в Вотчинном департаменте дел в совершенной целости; ибо, известившись, что Вы запретили мне присутствовать в оном, я более уже и не домогался узнать, в каком состоянии находятся там дела. Само Провидение к сохранению большей части оных внушило Вашему превосходительству дать мне сие место, и я смело могу сказать, что ни

один из сочленов моих не делал бы таких усилий к спасению сих дел, и с таким притом пожертвованием, с которым я старался исполнить долг присяги моей. А не стану искать дальних доказательств в разности служения, которую предполагаю иметь в рассуждении сотоварищей моих; ибо я, невзирая на все неистовые поступки неприятеля с побежденными, оставаясь, жертвовал не только своею жизнью, но и жизнью семейства моего и малолетних детей; глас природы умолк при исполнении моих обязанностей, обязанностей сына Отечества (свидетель может судить о моих поступках); а товарищи мои, напротив, оставя в Москве только то, что вывезть не могли, сами удалились и возвратились опять в Москву в половине февраля, и неприятель очистил оную 11-го числа октября, и возвратились не с тем, чтоб сделать опись оставшимся делам, хотя имеют в отчете оных равное участие со мною, но в срок подать объявления о потере своей, которую могли претерпеть с разрушением Москвы. Поверьте, Ваше превосходительство, что я не менее их потерял, но сию потерю я приношу в дань любезному моему Отечеству.

Я уведомился от приехавшего из С.-Петербурга, что Ваше превосходительство в большом негодовании на меня в рассуждении несбережения суммы денег, оставшейся в Вотчинном департаменте. Я оными не покорыстовался; сия сумма очень недостаточна усыпить совесть мою, если бы, к несчастью, и имел ее сонливою. Из донесения моего Вы видеть можете, каким случаем и в какое время оная у меня похищена, и я еще всего собственного лишился; впрочем, почему товарищи мои не увезли ее с собою? Не скрою, однако же, от Вашего превосходительства, что я имел случай во время пребывания французов в Москве оную потерю пополнить, ибо они за 10 руб. серебром давали мешок медной монеты; а как я несколько червонных и серебряной монеты имел счастие сберечь, то по такому курсу и легко мог вознаградить. И если б я в глазах Ваших мог получить таким способом какую-нибудь цену ревности служения моего, то, напротив, сам себя возгнушался бы; ибо сия медная монета принадлежала бы Казенной палате и Банку, коей оставлено было до несколько сот тысяч; или принадлежала бы частным людям, которую они грабежом доставали, и притом последствие показало, что и оное не могло быть твердо, не имея места, где бы сию сумму в медной монете сохранять, а потому вошедшие казаки и мужики все бы разграбили, когда уже не пощадили они Воспитательного дома, которого и жестокие неприятели не трогали.

Я откровенно должен признаться Вашему превосходительству, что нимало не дорожу местом, членом быть Вотчинного департамента, и истина уже навсегда оставит усердию моему память в оном; но не могу скрыть чувствительного моего огорчения, что лишаюсь начальника, которого в душе моей уважаю; и в мыслях моих, кто мог в сказке дать правило воспитанию льва, тот конечно не по наследству и не хитрыми происками получил блистательное звание министра юстиции, но по достоинствам своим занимает, и

подчиненный такому начальнику имеет уже в предмете справедливую награду своему усердию.

В заключение сего осмеливаюсь просить Ваше превосходительство назначить время, с которого Вы мне дали отставку; ибо я, получая от щедрот монарших пенсион, который со вступлением моим в Вотчинный департамент прекратился, мог бы вновь просить о выдаче оного с числа сей отставки, потому что в самой крайней бедности нахожусь.

Москва, 27 февраля 1813 года
Надворный советник А. Бестужев-Рюмин

Русский архив. 1896. № 7



ДНЕВНИК, ВЕДЁННЫЙ В МОСКВЕ В СЕНТЯБРЕ И ОКТЯБРЕ 1812 ГОДА

Понедельник, 2 сентября. Поутру, с самой зари, началось шествие из-за Дорогомилова мосту чрез Москву российской армии; сперва шла артиллерия, потом попеременно то пехота, то конница, и беспрерывно шла до исходу четвертого часа пополудни; и как только кончилась, то за пятами оной вступать начала неприятельская конница (чему зрители не скоро верили и называли вспомогательною какой-либо союзной державы, как о том слух в народе носился), которой сперва прошло не более как полка два; тут пошла пехота с музыкою и с распущенными знаменами. Тут я оцепенел, смотреть более не мог, побежал в дом, где сказал о том домашним. Жена, дети, внучаты и прислужницы затрепетали от ужаса и плакали горько, иные проводили время в обмороках, и так сидели все почти как полумертвые. Не прошло двух часов, как против дому моего неприятельские уланы ограбили на мостовой мужчину и женщину, отняв у последней бывшие на кресте в сумке ассигнации и серебро до полутораста рублей. А как только наставать начала ночь, сделался пожар в Китай-городе, а после услышали, что зажжена, идучи от Спасских ворот, за лобным местом правая сторона лавок, и пожар увеличился, простер пламя к Москворецкому мосту и к Яузе и за оную, и продолжался во всю ночь. В сие время было в Москве так светло, что хочешь делай! И те ж уланы неприятельские стали по соседству у господских домов ломать ворота, иные им были отперты, другие сами разломали; по входе в покои начался стук, ломка и крик русских, и продолжался часа два или в самую полночь, а после все умолкло, кроме пожара. В оное время мы в доме никто не спали. На другой день от соседей услышали, что и у моего дому злодеи стучали; однако мы не слыхали, да и собаки не лаяли, и были точно сонные или больные.

Вторник, 3-е число. С утра до 3-го часа особливого ничего видно не было, но в третьем часу виден был за Каменным мостом вдоль Болота чрезвычайный пожар и дым клубился кверху страшным образом, и продолжался как тот день, так и ночь, и зарево видно было к Таганке. А между тем мимо двора моего часу в 4-м проехало конногвардейцев человек до пятидесяти. Потом вскоре принес диакон объявление к московским обывателям, печатанное на

французском языке с переводом русским, чтоб обыватели подали поутру, т.е. в среду, к генералу Дюронелю рапорты: во-первых, у кого есть хлеб всякого рода; во-вторых, кто вещи, принадлежащие казне, вывез из Москвы и куды; в-третьих, у кого какое есть воинское оружие – приносили бы все без изъятия к тому же генералу; в-четвертых, где казенные и партикулярные мучные магазины; и напоследок, в-пятых, нет ли у кого из обывателей русских военнослужащих, коих представить к тому же генералу. И в то время все было спокойно, но только слышан был звон при некоторых церквах, а ночью часу в 10-м пошли неприятели разбивать дома напротив моего. У госпож Хомяковой выломили ворота, а у Лукиной по необычайному стуку их отворены; вытащили они из обоих домов по женщине или девке – неизвестно, били их палашами, сняли с них верхнее платье, таскали за волосы, а потом стащили и самые рубахи, поволокли – куда неизвестно; крик, стон наполняли тщетно воздух, но пособия ниоткуда не было и быть не могло, поелику такое неприятелей было множество, что беспрестанно часу до 1-го пополуночи ходили, кричали, стучались и у моего двора, но мало и так, что я не слыхал по случаю от домашних вопля и стенания; а делать было нечего: объяты были страхом.

Среда, 4-е. В первом часу пополуночи зажгли неприятели поблизости моего дому, и именно двора за три во многих местах, и пламя так скоро распространилось, что уже искры показались падающими к моему дому. Тут что было делать? Неприятели бегали по улицам взад и вперед и русским даже у своих домов быть запрещали, отгоняли, а кольми паче гасить пожар. В сие время я с семейством моим, состоящим в 14 человеках, где жена моя, дочь замужняя были крайне больны, зачем и из Москвы выехать не могли, да тут же были малолетние: одному было 6 недель, другому – другой год, а третьему – 7-й год, все сии спали; забравши только их и больных, а больше ничего, из дому выбежали и бежали в беспамятстве чрез Пречистенку, Остоженку к Зачатейскому монастырю и вниз близ оного к Москве-реке, дабы избавиться от огня и от неприятелей. Но еще к горшему мучению попались к объездным неприятелям беспардонным под караул, из коих один, коего хотя со слезами просили оставить нас на месте том, но он взял и повел наше семейство по другому переулку на Остоженку, прибавя к нам еще набранных таким же образом человек до пятнадцати. Повели по Остоженке; в числе нашей толпы (был) нашего квартала квартальной офицер Василий Егоров, а по прозванию не упомню, с двумя женщинами, а прочих никого не знаю; и лишь только ведомые поверстались против дому генерала Кнорринга, тут стоявшие дворовые его люди тотчас покликали провожавшего нас беспардонного переднего, объявив ему, что у них пива и хлеба довольно, то он тотчас, будучи на лошади, бросился к ним в дом. Семейство мое, разделясь в беспамятстве надвое: зять, дочь с детьми, регистратор Яков Цветков с моим сыном побежали по Остоженке к Успенской церкви и за нею там скрылись; я с женою, дочерью-девицею, двумя девками побежали в переулок к Зачатейскому монастырю, и жену больную тащили уже волоком. В переулке увидели у одного дому дворника,

стоявшего на крыльце, просили для Бога пустить нас к себе, который к себе и пустил и дал нам окончить ночь. Итак, мы от сильного пожара поблизости сего дома были под огнем, и прошедшие дни понедельник и вторник не пили, не ели ничего. Как скоро рассвело, пошел я тут в дом Астафьева к губернскому секретарю Петру Ильичу, который с семейством своим был ночью, когда нас взяли под караул, с нами же, но как-то поускользнул и был в том доме. У него думали о своем спасении со вздохами и стенаниями и не знали, что делать. Время в том прошло немного: враги поехали мимо двора, грабили, били, мучили, стали стучаться у ворот; нам не оставалось ничего делать, и за лучшее сочли укрыться в Зачатейский девичий монастырь, перелезли чрез ограду; там побывши часа два, услышали у передних ворот монастыря стук. Мы бросились опять чрез ограду в дом Астафьева, но в какой пришли страх! Увидели в том доме неприятелей, грабящих, что им ни попало, пустились через ограду опять в монастырь. И таскал я жену свою все на руках, потому что она и по болезни и от страху сама ходить не могла. Но попали из огня в полымя: в монастыре неприятели отломали задние вороты и ворвались, начали грабить всех, и, к счастью, из семейства моего с меня только один снял с шеи золотой крест, перекуся шнурок зубами, взял еще из кармана два перочинных ножика и серебра три гривенничка, а медные деньги положил мне в карман обратно. После сего, будучи очень настращены, перебрались паки через ограду на двор Астафьева; все желая найти спокойное место, пошли из дому к Благовещенью на Бережки, и лишь только прошли чрез Остоженку и Пречистенку и проходя к Покрову в Левшино, – тут жид[1] с пребольшою бородою, в высокой медвежьей шапке, подбежавши, сорвал с меня шинель суконную, а проходя в Ружейную улицу – тут, остановя, посадили меня, сняли сапоги; у Благовещенья же на Бережках на погосте баварец, назвавши меня франтом, приказал снимать мне суконные панталоны, и, как я для удобного снятия отошел от него на два или на три шага к строению, он вынул палаш, приставил в горло, ругал немилосердно. Я, снявши панталоны, ему отдал, а другой тут же снял с шеи саржевый черный платок. Итак, я остался без шинели, сапог и панталонов, в одном фраке. Тут наш приказной дал мне свой фризовый капот, а если бы сего не случилось, то остался бы полунагой; на дворе же в то время было очень сиверко[2]. В сие время и с жены и с дочери моей сняли платки. Видя в таковом нас положении, коллежский секретарь Василий Савельич Уткин, коего совсем я не знал, позвал меня к себе, привел в квартиру в дом серебренника, где мы остаток дня и препровели. Но в том доме был страх к страху: неприятели грабили, били безо всякого милосердия, а пожары были видны во всех местах Москвы; и как ночь наступила, неприятелей прибавилось, мы принуждены были оставить этот дом, побежали

[1] Так называли москвичи гвардейцев Наполеона, устроивших в городе торговлю награбленным имуществом.
[2] *Нар.-разг.* О холодной ветреной погоде.

в ров, а потом пошли на гору к Воздвижению на Пометный вражек, остановились у пустой кухни князя Долгорукова. Тут пошел дождь и сделалась великая буря, а внизу в соседних дворах – ломка окон, ворот, крик, вопль обывателей. А к нам подъехали объездные неприятели поляки, коих офицер, видя меня уже полумертвого ото всего происшедшего, по просьбе моей, позволил мне с семейством ночевать в кухне; туда взошли, но какое спокойствие! боялись, как бы тут не перерезали, да и нечего было ждать, ибо поминутно злодеи и в окна, и в кухню с огнем приходили, будучи вооружены, но, может быть, им то мешало, что мы были почти наги и взять было нечего. И пробыли мы в кухне до рассвету, обливаясь слезами о несчастии нашем, и что дети наши от нас отшиблись и живы ли были – мы оставались в неизвестии, а девка наша Аксинья каким-то образом от нас отстала.

Четверток, 5-е. С рассветом вдруг пошли из кухни на свое пепелище, но где к переулкам ни подходили – везде еще горело. Наконец пошли на Девичье поле и оным к Зубову и Зубовскою улицею, где везде дым, смрад, даже едва дух переводить было можно; наконец пришли к погорелому своему дому, нашли своих соседей ограбленных, избитых и едва живых, и как дождались часу девятого – принесли квасу и соленых огурцов, коими только что промочили горло. Тут опять пошли неприятели, начали грабить и обирали последнее. Тут и зять мой с дочерью и детьми пришли все ободранные. Не было сил терпеть варварства, пошли мы по приглашению к Пречистенской улице, чрез два двора от моего, в дом г. Рахмановой, где тот день и пробыли, и неприятелей в этот день перебывало в доме человек до ста; по два и по три человека грабили и господское, и у дворовых, и сами неприятели в награбленном между собою дрались немилосердно. Итак день и ночь прожили в том Рахмановой доме в крайнем от неприятелей беспокойстве, а ночь в страхе.

Пятница, 6-е. Бывши в том же г. Рахмановой доме, купили у дворовых горелых гречневых круп с восьмушку, сварили каши, но ели не все, а я и нечего. Неприятели же не оставляли навещать нас во многом количестве. Тут с меня, зятя, квартального и еще с какого-то человека сняли рубахи, приказали дворовым женщинам выстирать, и при разделе рубах дрались двое немилосердно; и вечером приходили, и мы из того покоя, где прежде ночевали, перебрались ночевать в кухню, но и в оной были всю ночь почти без сна, ибо улицею и переулками злодеи и ездили и ходили почти во всю ночь без умолку.

Суббота, 7-е. Препроводя ночь, встали очень рано; думали, куда бы нам еще бежать, однако помышление наше скоро пресеклось. Начали опять неприятели посещать нас и переискивали не только в кладовых, но уже в печах и в подпечках и брали то, что прежним злодеям не нравилось. И продолжался сей разбой часу до четвертого пополудни. В сие время трафилось мне стоять у окна; увидел я свою девку Аксютку, идущую мимо, отставшую от нас из дому серебряника, что на Бережках, в середу. Я подумал, что она

одна, выбежал в коридор, кликнул ее; она объявила, что ищет нас и желает проститься с нами, ибо де капитан неприятельской армии везет ее с собою в Калугу. Она вошла к нам в покой, а за нею тот капитан из поляков, сказал мне, что он полку генерала Сокольницкого. Я от него требовал своей девки, так как она крепостная, а он мне на то выразил, что у них только лошадь и собака покупная, а человек всегда волен, и еще спросил: есть ли у нас водка, вино и пиво; но как услышал, что у нас и воды нет, то он, взявши девку, лошадей с повозкой, поехали, а куда – не знаю; а немного помешкав, привезли пива и рыбы и дворовому человеку г. Рахмановой велели варить кашицу и набирать ужинать на дворе у самого подъезду; и как чрез несколько времени было готово, то, пришед ко мне в покой, звал ужинать меня и с семьею. Однако пошел я только с зятем, опасаясь, чтоб отговорка моя от того не послужила бы мне во вред; сели за стол, а с нами он, другой француз, итальянец и пруссак, о чем я от него же, называющегося капитаном, услышал. В то время поели мы кашицы с рыбою и сухарями. Капитан приказал квартальному нашему подавать пиво, который, налив большой стакан, подал ему. Он, примолвя: виват Наполеон, приказал подать мне, и как я стакан только принял, – заставлял и меня говорить тоже: виват Наполеон! Я ему сказал, что я его не знаю, а с усердием сказал: виват Александр! Он посмотрел на меня, промолчал, и как все очередовались, говоря, как и капитан: виват Наполеон! – приветствовал; пришел черед опять до меня, то и паки заставлял меня говорить тоже, но я, имея к такому имени сильное отвращение и злобу, особливо будучи разорен, наг, остался при своем, говоря по-прежнему: виват любезнейший наш император Александр! В сие время мы поужинали и начали собирать со стола, и как только третья очередь пошла пить пива, я отговаривался, но, быв принужден, тогда я сказал по-прежнему. Тут француз вынул палаш, положил на стол, за ним итальянец, да и другие, т.е. пруссак и капитан, может быть, последовали же бы; но в то самое время взошли на двор два француза и принесли бочоночек с каким-то виноградным вином. Капитан, вставши с места, спросил, что стоит; они сказали цену пятьдесят франков. Он давал им двадцать, и потом начали торговаться. И француз с итальянцем из-за стола встали к тем же продавцам; я в то время вышел из-за стола, с зятем ушли в свой покой; а капитан, побывши со своими товарищами на дворе с час, взявши мою девку, уехали, и на дворе уже началось смеркаться.

Потом пруссак пришел в покой, просил дворовых людей пустить его и отвесть место ночевать, и остался в приспешной. За ним пришли те француз и итальянец, требовали от людей, а чего – никто не знал, и с час тут бунтовали, однако ушли, и мы ту ночь в крайнем были страхе и беспокойстве, не знали, куды нам деваться. Между тем дождались утренней зари, и в то время пошел дождь.

Воскресенье, 8-е. Поутру рано собрались, т.е. все мое семейство: я, жена, две дочери, сын, зять, двое внучат, наемная работница, квартальный сам

друг, межевой канцелярии губернский секретарь Егор Иванов с дочерью, а всего 13 человек, пошли за Крымский мост, где нашей русской братии шалашей было довольно и спокойны. На дороге туда пристали к нам три мальчика башмачники, а чьи – неизвестно, просили со слезами взять их с собою. Я хотя и отзывался, что мне не только их кормить нечем, но и у самого для своего семейства не более пропитания, как на один день; однако они убедили, обещаясь пропитание промышлять по возможности. Я их взял. Пришедши на Орловской луг, принялись делать шалаш, промысля кольев, рогож, кульков и кое-чего; сделали тут, пошли они за картофелем, капустою, редькою и зеленью, (и) принесли, ибо неприятели малых ребят сперва не брали и у них ничего не отнимали. Потом промыслили горшков, приготовили кушанье и, благодарение Богу, поели, а с тем вместе и день тот препровели безо всякого притеснения. И начали привыкать к новой жизни; однако дождь на нас лил и перемочил последние остатки нашего одеяния. Я ту ночь от мокроты так перезяб, что не думал дожить до утра; однако Бог милостью своею дал жизнь, и я пред рассветом согрелся у огня, раскладенного близ моего шалаша.

Понедельник, 9-е. Поутру нарядил я ребят идти за провизиею, а квартальный пошел промышлять хлеба, зять с Егором Ивановым тоже пошли на таковой же промысел, а я пошел к новым соседям что-нибудь купить, ибо у многих и рыбы, и икры было довольно. Ребята принесли картофеля, капусты, редьки, квартальный – муки ржаной пуда с полтора, зять – горшков и сковород, Егор Иванов – ничего, а мне штатные чудовские дали безденежно засольной рыбы полсеврюжки. Итак, начали готовить кушанье к обеду, слава Богу, дров было премножество. Пообедавши, увиделись со знакомыми, пересказывали один другому свои несчастия. А как неприятели и тут навещать нас стали, то сперва защищал всех живущий в доме мещанина неприятельский генерал; потом оный скоро выехал, а остался капитан, но сей таковаго защищения не делал, то я с прочими знакомыми сделали совет и положили выбрать капитана своего, которой бы, в случае приходу неприятелей, кликал из шалашей мужчин, а сии бы по количеству людей собирались на показанное место, где у нас огонь был разведен, по два, по три и более с кольями, а в ночное время обходили бы все шалаши. Итак, тот день сделали только это, и хотя французы и приходили и по два, и по три, но того числа ничего притеснительного не сделали, а спрашивали портных, сапожников и швей, но из мужчин никто не ходил, а швеи многие к ним отправились. В сей день видели пожар во многих местах, но не в Москве. Окончив день, препроводили ночь в страхе и беспокойствии, поелику французы везде стояли по несгорелым домам и в казармах в превеликом множестве и по ночам поздно и по утрам рано трубили на трубах. Но, к удивлению, малые наши дети, как бы зная страх, не плакали и ничего кушать не просили. Поужинавши, ночевали благополучно; а я обе прошедшие ночи ни на час не уснул; к тому же случился в животе рез, так и в покойное время заснуть бы было нельзя.

Вторник, 10-е. Началось вёдро. Я ребят послал за провизией, а сам купил лапти. Ребята, разделясь врозь, иной принес картофеля, иной свеклы, редьки

и несколько моркови, а третий две говяжьи ноги и требушины, которые дали ему французы на бойне. После обеда те же ребята принесли бочоночек масла конопляного, штоф орехового, а к вечеру – меду в кульке и в крестьянской шляпе с вощинами. Тут началась работа, зачали мед переваривать, вощины отнимать, и начался у нас сбитень, коим мы и пользовались более недели. И от неприятелей несколько было спокойнее, или уже сделали к ним привычку. И сей день препроводили спокойнее прежнего, да и ночью, кроме меня, спали хорошо, а я при множайших размышлениях и по болезни больше часа не уснул; да и заснуть было нельзя, потому что везде шум и крик, как от проезжающих неприятелей, так и от живущих в шалашах.

Среда, 11-е. Поутру был ветер холодной. Матвей Макеич с ребятами пошел за картофелем; а я так перезяб, что едва мог выйти из шалаша, однако пообогревшись у огня, ходил к коллежскому секретарю Ивану Ивличу Соколову, с коим в одном шалаше был и тайный советник А.В. Повалишин, который, видя меня, яко мертвого, поднес мне рюмочку водки и дал кусочек ржаного хлеба; я заплакал, этот кусок есть не стал, а принес внучке, которую и покормили. Пред обедом был я у Мароновского священника Семена Григорьича, угощаем был яшною лепешкою. После, дома пообедав, отдыхал. Ребята в сие время принесли в корчаге огурцов прекрасных соленых, две сковороды, два сковородника, а в вечеру неизвестно какой старик принес граненых сальных свеч фунтов с пять; итак, мы начали ужинать уже с огнем. Сей день в вечеру живущие в шалашах женщины начали болтать, будто завтра в Москве будет кровопролитное сражение, ибо де российская армия близко подошла к Москве. День и ночь препроводили спокойнее прежней, и дозор около шалашей ходил с рычагами человек до двадцати, а дрова горели во всю ночь местах в пятидесяти.

Четверток, 12-е. Поутру стало несколько потеплее, и я пошел на место сгоревшего моего дома, однако только дошел до Крымского мосту и, увидя идущий на мост полк поляков, воротился в шалаш. В сие время хлеба у нас уже не было ни крохи, и хотя я искал по шалашам, чтоб купить, однако не продали ни за какие деньги. К ночи стал накрапывать дождь и потом во всю ночь шел беспрестанно, перемочил всех до крайности, и я сидел в крестьянской шляпе, нимало не ложась во всю ночь.

Пятница, 15. Поутру, хотя дождь и перестал и погода паки сделалась хороша, но между шалашей и около было грязно. В сие утро квартальный и зять мой по выходе из шалашей взяты были неприятелями в работу и таскали им полпиво; и нам принесли с ведерку. В этот день квартальный к утру собрался в поход в Володимир и в наступающую ночь под утро ушел. Да и мальчик один из троих ушел или захвачен к французам работать. Итак, из моего шалаша вдруг убыло двое. Ночь прошла хорошо, и я уснул несколько спокойно.

Суббота, 14 – то есть Вздвиженьев день. Погода с утра была пасмурная, а около полудни попрочистилось; к вечеру паки стало моросить и дул ветер. В ночи сначала были видны на небе два огненные столба очень вы-

сокие, тонкие и светлые, да и пожары видны были в разных местах; потом небо прочистилось. Тут я потерял свой карандаш, нечем было и записывать. На берегу Москвы-реки чрезвычайный был крик, но расслышать было невозможно, и потом чинили неприятели ночью с фонарями Крымской мост, и потому ночь я от страху почти не спал.

В воскресенье, 15-го числа, поутру разгулялось. День был очень хорош. В обеденное время в Новодевичьем монастыре был благовест и звон, о коем после услышали, что началась в монастыре служба. Пообедавши чем Бог благословил, Танюша ходила на пепелище, пересказывала, что от страху едва назад воротилась. И ребята принесли с бойни говяжьего легкого, капусты и редьки. Французы, как прежде, так и в сей день, прихаживали беспрестанно и в соседнем шалаше у одного старика разрубили руку в двух местах за то, что он не отдавал с чем-то своего мешка; однако французы недешево заплатили за это, и, как я слышал, что его русские тут же вскорости укокали. Под вечер был я у Ивана Ивлича, и еще какой-то пришел и пересказывал, что французы будут в Москве зимовать. Сие слово поразило до крайности меня, ибо и так уже в пище мы нуждались чрезвычайно, особливо без хлеба, а холод еще усугублял наше страдание.

Понедельник, 16-е. Поутру вставши, усмотрели, что с нашего шалаша стали красть кульки и рогожки, а возле оного что-то из поклажи, посуды унесено. Тут по принесении кольев принялись за работу для распространения шалаша; кончивши работу и ухитя[3] шалаш, поставили в оном все наши посудины, горшки и ухваты. В нынешний день в первой раз принесли нам самого дрянного табаку, который по давнему неупотреблению показался за наилучший; и в сей же день русские отбивали у неприятелей гонимых баранов, но отбили ли – неизвестно, а думать надобно, что добыча была, потому что видели жарящих баранину; а (чтоб) ели – никто не видал, ибо всякой что имел или промыслил, таил в свою пользу. Под вечер французы ездили по реке в лодках, ловили дворовых уток; однако оных поймали русские. А ввечеру французы на берегу двоих мужчин и одну женщину били палашами немилосердно; ввечеру и к шалашам приходили человек с семь, приметно для грабежа, но видя, что наш капитан закричал, что французы, тотчас явилась и наша армия. Французы, видя неудачу, от шалашей ушли. И ночь препроводили и так и сяк, думая, чтоб неприятели не пришли на сонных.

Вторник, 17-е. День был и ясен и тепел. Ходил я на Пречистенку наведаться, нет ли у кого в доме Рахманова продажного хлеба, или не промыслят ли где. Тут повстречались обстоятельства: лишь только я в преднамереваемый путь пошел и взошел на мост, тут со мной поравнялся один из неприятелей, остановил меня, проговоря: *пан, пан!* и я сказал тоже. Он, взявши имевшуюся у него при боке фляжку, поднеся мне ко рту, говорил... Я счел, да и не ошибся, что он меня подчивает; прихлебнул два раза; он

---

[3] *Здесь*: в значении закончив.

приказывал мне еще, я прихлебнул и в третий. И как он, заткнувши фляжку пробкою, опустил, достал из кармана ржаную лепешку, называя бисквитом, отломил мне кусок, и потом разошлись. Да и в Рахмановом доме трое неприятелей, жившие в доме, подчивали и водкою и крупичатою лепешкою, а по усердию ли их или видя меня нагого – не знаю; а хлеба нигде найти я не мог. Возвращаясь в шалаши, в крайнем был страхе, потому что поблизости Зачатейскаго монастыря четверых русских гнали и били неприятели безо всякого милосердия, и я в то время был поблизости их, не знал вперед ли мне идти, или воротиться, однако немного помедлил, они прошли. По приходе же на мост еще случилось новое: ехали французы с капустою, и двое из них, указывая на меня, говорили: капот, капот, который был на мне, и я думал, что они хотят и оный с меня снять и обнажить совсем; однако не тронули. Итак, пришел к своим, но видя, что провизия и картофельная в истощании, но и та доставаема с нуждою, поелику и у ребят начали неприятели отнимать, купил я рыбы белуги на 15 коп. серебром, но и оную есть было не с чем. Поплакавши довольно, пообедали. Мне тут домашние пересказывали, что французы приехали верхами и намеревались отнять у одного русского телегу, однако наша *армия* до того их не допустила, и сих так в рычаги припопонили, что они уже кое-как на лошадей пали, уехали, и потому мы как остаток дня, так и ночь препроводили неспокойно, думая, чтоб оные изверги нам ночью не отомстили; однако не бывали.

Среда, 18-е. День был прекрасный; в оный, часу в третьем, пришедшие французы, спрашивавшие шнейдеров[4], увидели едущих к нам между шалашей пятерых верхами, начали прятаться. Мы смотрели на сих верховых, из коих впереди трое очень хорошо одетых и на прекраснейших лошадях, особливо середний, а двое позади приметно их прислужащие; и как все они проехали, то те французы сказывали нам, что это сам Наполеон. Я вышел на поле, смотрел, как они лугом ехали к дороге, ведущей к Калужским воротам; на дороге ожидал их большой конвой конных гвардейцев в латах, с коими они, соединяясь, уехали из виду. Мы толковали об этом до ночи и кончили оную в различных размышлениях.

Четверег, 19-е. День был очень хорош. Около обеда было близ шалашей на берегу у русских с французами сражение: они взяли одного мальчишку, вышедшего из шалашей за водой, и принуждали его нести ношу, однако русские их проводили путным образом. К вечеру приходили французы человек с пятнадцать к шалашам для грабежа, однако наши русские не допустили, и обошлось без драки, и неприятели лугом пошли безо всего; однако сильно грозили всех перестрелять, и потому взята предосторожность: многие ночь не спали, сидели у огней. В ночи в Хамовниках, а в чьем доме – неизвестно, была огромная музыка. Под утро был знатной мороз, и даже вода в чугунах замерзла, и я сильно перезяб.

---

[4] Шнейдер – *нем.* портной.

Пятница, 20-е. День был прекрасный. Ребята поутру принесли провизии и кишок говяжьих; работница Антоновна перемывала их в небольшом гробике. После обеда ребята принесли войлоков. Я ходил в лаптях и по непривычке припутал на ноги нехорошо, и они пречасто сваливались с ног. В сей же день принесен печатный для неприятельских армий приказ на русском и французском языках, в коем объявлено прекращение грабежа. Но французы навещать шалаши не преставали; у одного жителя, надеясь найти покушать послаще, горшки со щами пролили на огонь, да и его хотели потормошить, но он ушел; и ко мне в шалаш заглядывали, но у нас и самим есть было нечего. Однако сей день и ночь препроводили, кажется, всех прошедших лучше и спокойнее, и я спал во всю ночь.

Суббота, 21-е. Погода была хороша; пошел я в прежний свой приход в надежде, не увижу ли знакомых, а больше думал о хлебе; однако найтить было негде. Посмотрел я в свою приходскую церковь, где были и неприятели и лошади их, пошел назад не видавши никого. Пришедши в шалаш, пообедал, отдохнул, пошел на берег, ибо без дела, особливо без хлеба и без нижнего платья, крайне было скучно. К вечеру в шалашах купил я невыделанных заячьих 20 шкурок, заплатил полтора рубля, из коих под жилет мне, зятю и сыну подшили мех, и стало несколько потеплее. Ввечеру услышали, что пришли три полка поляков, которым и грабеж позволен, снова; и сии негодные поступали в то же время и везде так же, как и французы, варварски драли с русских все до нага, даже и то, что никуда не годилось. Итак, паки все приуныли, и в шалашах слышны были только вздохи, слезы и стенания; отнимали кто бы что ни нёс, а ежели у кого и ничего не находили – били и мучили жестоко. Я совсем отчаялся, ожидал смерти, поелику моя обязанность была о пропитании и призрении семейства моего. Ночь препроводили в беспокойстве и от мороза, который был знатной, так что трава вся снегом покрылась.

Воскресенье, 22-е. Погода прекрасная, день теплый; я ничего не ел, да почти ничего и не было. Поплакавшись печали, едва ходил. Проходя шалашами, попался мне московской купец, назвавший меня по имени и отечеству, но я его не знал; отозвавши меня от шалашей, советовал мне с ним в ночь из Москвы выбираться, ибо де неприятели сильно на русских грозятся, и, вынувши небольшую склянку французской водки, подчивал ею меня изо всей. Я немного выпил; он мне дал небольшой сухарик хлеба, усердно просил сопутствовать; но как я ему сказал, что у меня семейство большое, притом и малые ребята, да и жена занемогла очень, что и действительно было, после сего он со мною простился, сказав, что он пойдет в Троицкую лавру. И так расстался. Ввечеру вдали видны были пожары. Ночь всю я не спал, сидел у огня, потому что было холодно.

Понедельник, 23-е. Утро было хотя и с морозом, но погода хороша. Поутру мужик с женщиною принесли на продажу яблок и слив; я до них хотя и не охотник, однако для детей купил. Дети обрадовались, скушали всякий свою долю. В полдни навещали нас и французы и поляки, и в то же время по бе-

регу Москвы-реки неприятельские солдаты пронесли на носилках какого-то раненого своего чиновника в Голицынскую больницу, а откуда его несли – неизвестно. После того и наших раненых пленных, человек с 15, провели в Хамовнические казармы. Препроводили мы сей день в таком же страхе, как и прежде, особливо видевши своих русских пленных; ночь провел я без сна, да и другие со мною не спали.

Вторник, 24-е. Погода хороша, и день был ясный. Я с утра до обеда просидел у Ивана Ивлича, разговаривали о наших несчастиях; он меня потчевал сбитнем с самым лучшим белым медом. После обеда ходили по лугу возле шалашей, рассуждали, что нам предпринимать, ибо настают морозы, одежды, обуви и хлеба нет, но как делать было нечего, то и остались всякий при своем. Сего дня сшили мне из какого-то мешка панталоны, кои с удовольствием надевши носил. Ввечеру ничего чрезвычайного не было, только вдали слабо слышна была пушечная пальба, а где – неизвестно. Ночь прошла спокойнее прежней, а мороз тоже был довольно хорош.

Среда, 25-е. Утро и весь день был хорош и ясен. Никуда из шалаша я не ходил. Пополудни, часу в третьем, приходили в шалаши французы – трое, входили в шалаши, и в одном один мужик потчевал их вином и водкою; а в полночь пришло их человек 20, или боле, с фонарями и с ружьями и приступили к шалашу того же мужика. Все перепугались и [не] знали, что делать. Однако наш избранный капитан тотчас всем подал голос, что пришли французы, вдруг со всех шалашей поднялась наша армия и в один миг неприятелей атаковала; неприятели, видя то, спинами стали вместе, а ружья обратили против русских. Начался шум, крик, а вскоре и сражение. Русские рычагами ударили и по ружьям, и по фонарям, и так с места сбили, погнали злодеев к Москве-реке и прогнали под Андреевский монастырь. Однако же злодеи ни одного выстрела не сделали, – я думаю потому, что они из квартир своих в шалаши в ночное время пошли без ведома начальника своего, а то бы они не умолчали. Все в шалашах, особливо женщины и малолетние, так перепугались, что почти везде не спали; думали, не придут ли опять, и потому зажгли везде дрова и осветили шалаши; а мы в ту ночь уговорились идти поутру на Пречистенку, оставя свой шалаш. И так кончили ночь.

Четверток, 26-е. Утро было хорошо. Я отправился на Пречистенку, в дом г-жи Рахмановой, просить людей, чтоб меня с семейством пустили; и на мою просьбу не только не было отказано, но еще с усердием сами приглашали, дали место в кладовой, где у окон ставни и двери железные, но поклажи уже никакой не было. Итак, пообедавши в шалашах, начали перебираться со всеми горшками и сковородниками, и кое-что переносили. А я, сидя в шалаше с Петром Ильичем, который часто ко мне хаживал, дожидался возврату зятя и ребят, чтоб взять хоть рогожки две с шалаша для стланья постели; но однако, прождавши до вечера, пошли с Петром Ильичем, оставя навсегда шалаш. Пришедши в дом г-жи Рахмановой, и там зятя не нашли, и не знали, что придумать. И так ночь провели в беспокойстве.

Пятница, 27-е. Поутру пришли в показанный дом французы для печения хлебов, а за ними переехал к нам Иван Ивлич со слугою своим, которой нам сказал, что зять взят в Хамовнические казармы в работу, с коим и он работал, но оттуда бежал. Под вечер и зять явился. И так препроводили день и ночь порядочно.

Суббота, 28-е. Поутру вставши, отправил ребят за провизией, а в Новодевичий монастырь работницу за тем же. Первые привезли на лошадях капусты и картофелю, а последняя от К. принесла кувшин молока и говядины фунтов с 12. Как я тот день был обрадован, что меня ссудили пищею! В сей день пополудни, часу в четвертом, услышали в Кремле благовест в большой колокол, и ударили не более как раза три или четыре и начали снимать с Ивановской колокольни крест. Какая жалость, Боже мой! Мы почти плакали: что такое делается? Повечеру приходили французы и чего-то у меня просили, но я их просьбы не разумел. Один из них потчевал табаком, и табак очень хорош, а вскоре затем ушли. А поляки во весь день ходили по пожарищам с железными щупами, искали зарытого, и у меня, на моем пепелище, оказался в погребной яме убитый француз в синих панталонах и в рубахе. А в ночь был пожар за Драгомиловым мостом. Ночь препроводили спокойно.

Воскресенье, 29-е. День был пасмурный. Поутру по Пречистенке из-под Девичьего прошли три полка на смотр к маршалу на Тверскую, перед каждым полком шли жиды (guides) в два ряда, росту большого, с бородами большими, в высоких мохнатых шапках, в длинных кожаных фартуках, с топорами и пилами; и музыка огромная, но барабаны в полках негодные и малые, а разводы ходили нельзя хуже: первое без музыки, а второе не строем, а кто как хотел – иной ружье нес на плече, другой под пазухой, а руки в кармане; неприятельские женки ездили большею частью верхом, как мужчины, и на лошадях навьючено и узлов, и мешков, и неведомо что. Для меня было все гадко. Руки у французов вообще у всех были замаранные, и они все никакой опрятности не имели. В полдни приходили поляков двое, просили милостинки, воздевши руки к небу, проговаривая: «Иезус Христус! мы за штатом, ни провианту, ни денег от Наполеона не получаем». Но подать было нечего. И так день и ночь были спокойны.

Понедельник, 30-е. Поутру шел снег и дождь, а к полудни стало вёдро. Хозяйка с зятем пошли в город и по нечаянности зашли в Богоявленский монастырь, откуда принесли от казначея иеромонаха Аарона мне полукафтанье, чулки, бутылку вина и полхлеба. Я был в сие время от радости вне себя, потому что надеть было нечего, а было уже холодно; а на другой день и мне придти приказывал. Я с семейством, благодаря всемогущего Бога, пообедали, и был у нас как праздник. И день тот были препокойны, уповая впредь на власть всемогущего Бога. Пред вечером слух от женщин пронесся, что завтра в Москве будет сражение, ибо де к Москве прибыло множество гусаров и казаков; однако я по-прежнему не верил несправедливому их прорицанию, оставил безо всякого внимания. Однако в Кремле слышны были два или три

пушечных выстрела – только слабо, или из малых пушек, или ветер был не на нас, а может быть, и не в Кремле, а в другом месте.

Вторник, 1 октября. К крайнему прискорбию, что день Покрова Божией Матери, а церковь во имя Ее в Левшине, но службы нет и быть не могло, ибо как и все церкви были почти без службы, то уже с крайним прискорбием (особливо что и снег начал падать на те места, откуда пропитание имели) плакали все, которое еще было увеличено, потому что в то время пришел какой-то незнакомый, однако русский человек, говорил, что беда, русских хотят колоть. Я с прочими спрашивали, что то значит? Он объявил, что он был в работе у неприятелей недели с две, слышал от них, кои де и зимовать непременно будут. Тут почти все оцепенели, не зная, что предпринять. Одни говорили, чтоб идти из Москвы, другие советовались – куды, поелику все пути заперты. Я с немалым семейством не знал, что делать; притом, быв очень слаб от холоду, голоду и бессонницы, намеревался следовать совету прочих. Но тут помешали пришедшие французы, заставляли живших с нами людей шить им шемизы[5], уверяли, что они скоро Москву оставят, представляя, что им провианту не достанет, ежели не будет подвозу, коего ожидали, что привезут русские.

Среда, 2-е. Утро такое же, как и вчерась; к полудню стало разгуливаться. Мои прислужники привели две лошади деревенские, однако хвосты резанные, привезли капусты и редьки. Стало за водой, у колодца кто-то унес веревку; кой-как достали, сварили щи, довольно хорошо поели, но хлеба нет. Я у французов хлебников выпросил маленький хлебец, вчерашний, а то бы не дал; другой француз принес другой хлебец и зятю дал в руки по примечанию попробовать: поспел ли, а он положил его в стол. Француз хлебник захохотал и вышел. И так мы ныне хоть хлеба отведали. После того трафилось мне быть у них, т.е. у французов, которые чистили свои ружья. Я спросил их, на что они чистят? Из них один амстердамец плохо сказал мне по незнанию по-русски: этими ружьями колоть русских. А более не говорили ничего. Препроводили день порядочно; ночью был дождь и было холодно. Да жаль, что у меня один малой занемог очень сильно.

Четверток, 3-е. Ходил ныне я с зятем в город. Промыслили муки в Богоявленском монастыре, пообедали, поели икорки с домашним белым хлебом, похлебали кашицы со свининой очень приятно и винца выпили. Дали нам муки ржаной с пуд. Вышедши на Никольскую улицу, не знали, где лучше идти; надумались идти по набережной к Каменному мосту, но как испугались, что у Николы у Москворецких ворот остановили нас часовые, спрашивали: что несем, т.е. не товары ли какие, но как сказано им было, что муку на хлеб, то пропустили; да и у Тайницких ворот работавшие рвы около ворот нам кричали, и двое подбежали и что-то бормотали, однако офицер воротил их назад. И так мы благополучно прошли. Но по Пречистенке не пошли, боясь, чтоб не отняли, а все по пожарищам, и домой муку донесли. А часу во втором увидел

[5] *Фр.* chemise – ночная рубашка, сорочка.

я, что идет драгун в синем мундире с саблею и за ним идущих трех деревенских баб, меня удивило. Он, подошед ко мне, сказал по-русски: вы, я думаю, удивляетесь, что я во всей амуниции. Я сказал: конечно, да и как ты знаешь по-русски? – Я служу во французской службе, а природою здешний, Московской губернии из села Шубина крестьянин, а бабы – мои родственницы, веду их на квартиру; я у них был и погостил. А после того день препроводили порядочно.

Пятница, 4-е. День был пасмурный, и шла сверху какая-то мокрая обледица. Случилось быть в это время на дворе с хлебником, а на улице Пречистенке остановились едущих под Девичий двое в шинелях, а оттуда – в синем с красными обшлагами, в кивере с позументом, на серой лошади. Остановились те двое, сняв шляпы, что-то говорили приметно с каким-то уважением. Хлебник говорил мне, что это Наполеон в синем и без плаща, он никогда в своем мундире не ездит, и взял за руку, поскорее поворотил меня в сени, о чем и товарищам своим сказывал. А я его еще спросил: почему же ты узнал? Он мне сказал, что я его очень знаю, когда с ним был в Египте, и оттуда на корабле и в Марселе, то там я его многократно и каждый день видал, видал и в Тулоне. После того те разъехались, а тут вскоре из Зубова прошли один за другим три полка пехотных в Кремль, но оттуда не возвращались, и после слышали, что они пойдут наскоро по Калужской дороге, куда и другие уже вчерась вышли. Также приходили к нам французы, просили вина, пива, хлеба, но им отказали. Тут после их в сумерки пришел генерал лет уже пожилых, с ним фельдфебель и еще какой-то офицер, спрашивали у нас: какие мы люди; и хотя мы им отвечали, но, однако, они, кроме что не разумеют, ничего не говорили, и после, сожалея об нас, ушли, и только что генерал плакал. А хлебникам сказали, чтоб они скорее собирались и с ними же шли. Они оставили нам муки и готового теста в корыте.

Библиографические записки. 1858. № 18



1812 ГОД. РАССКАЗ СВЯЩЕННИКА УСПЕНСКОГО СОБОРА И.С. БОЖАНОВА[1]

1812 года сентября 2-го дня, в 4 часа пополудни, я был захвачен в Кремле во время благовеста к вечерне, ибо я был чередной при Большом Успенском соборе. Благовест продолжался долее обыкновенного времени; но как из братии никого не являлось, то с находящимися при мне диаконом Иваном Андреевым и некоторыми из нижних чинов служителями в собор взойти и начать службу не посмели; а посему и приказано было мною унять благовест. Но едва сие учинить успели, как услышали выстрел из пушки. Таковая нечаянность побудила нас выйти из комнаты и узнать сему причину. Но, о ужас!.. зрим со всех сторон вступающих галлов, в страшных волосатых своих касках и в странных мундирах, из коих несколько человек бросились, как гладные львы, на нас. Сотоварищи мои рассеялись и скрылись; а я не успел на себя возложить верхние одежды, как враги вбежали в покой и, во-первых, всего меня обнажили; потом требовали хлеба, вина, денег. Но как я знаками отвечал им, что ничего из требуемого ими не имею, то они настоятельно истязывали, бия меня плашмя палашами и дали несколько не так тяжелых ран; потом чрез знаки же допрашивали, где ключи от собора; на ответ мой, что они увезены, один из них ранил меня по голове и половину отрубил другим ударом уха. Неминуемою бы жертвою их свирепости был я, ежели бы не взошел, к счастью моему, их офицер. Он, видя что я духовный, спрашивал меня по-латыни о причине, за что я так терзаем. Услышав знаемый мне язык, весьма я был обрадован, что имею такого человека, с которым могу объясниться. Открыл ему причину и притом сказал: потому требуемого ими не имею, что не живу здесь, что это есть такое место, куда священноцерковнослужители собираются для принесения Господу жертв и молитв, по чиноположению нашего вероисповедания, в соборе, по окончании коих каждый из нас возвращается в свой дом. Он вопросил меня еще: имею ли я дом, есть ли в нем все требуемое солдатами и далеко ли живу? Узнав из моего ответа, что все имею и жительствую близко, то, переговорив со

[1] Рассказ был записан в 1813 г. и посвящён тогдашнему министру духовных дел князю А.Н. Голицыну. Об авторе известно только то, что он сам о себе сообщает в рассказе.

своими по-французски, коего языка я не разумею, повели меня обнаженного и окровавленного, окружив, яко уголовного преступника, в мой дом. И как вели меня по Никитской улице, в которой я жил двадцать лет, а посему всеми жителями коротко был знаем, то они, видя меня в таком состоянии, разгласили, что меня неприятели умертвили.

По пришествии в дом, вспомнил я слова премудрого Сираха: «Аще враг твой алчет – ухлеби его; аще жаждет – напой его». Первое мое попечение было, чтоб угостить их. Почему оставшейся со мною старушке приказал подать все то, что токмо имелось лучшего, думая гостеприимством приласкать их и укротить свирепство. В сем я на несколько времени и не обманулся. И они, донеле же вкушали предложенные брашна[2] и пития, казалось, были снисходительны и благосклонны, и на лицах их ни малой свирепости не приметно было; тем только скуку наводили, что принуждали, дабы я сам прежде ел и пил. Но как скоро утолили глад и жажду, то приказали отворять сундуки и комоды. Я с прискорбием зрел, что они все лучшее выбирали; но без всякого противоречия принужден был отдать все то, что им угодно было и нужно. Таким образом, собранное несколькими летами в един час погибло. Забрав все, как мое, так и женино и заготовленное в замужество дочери платье и белье и завязав в простыни, требуют денег. Без всякого прекословия отдал им все, сколько имел я (а было очень немного оставлено для непредвиденных случаев; прочие же деньги, сколько случилось в сие время, отпустил с женою, которую с семерыми детями того же утра на одной тележке выпроводил за заставу, а потому из имения ничего вывезти было невозможно).

Начальник грабежа или офицер их, судя по порядочному имуществу и видя толь малое количество денег, думая, что я скрыл, грубым и строгим голосом сказал мне: неужели ты только имеешь? Я клялся ему всем тем, что токмо он за священное почитает, что больше не имею; но он мне в ответ: у меня священного ничего нет, а ты должен отдать все деньги непременно. Иначе угрожал мне неизбежною смертью, ударив меня по щеке. В то самое время один из его солдат, следуя достохвальному примеру своего начальника, учинил мне штыком в бок значущую рану. Погиб бы я от сего удара, ежели б, узрев его размах, несколько не уклонился. От страха и ужаса пал я без чувств на пол и лежал в таковом состоянии до другого дня.

Никто не смел выходить из своего дома, а потому никто не знал бы о бедственной моей участи, ежели бы соседа моего, московского купца Ивана Яковлева Зеленина, не разрешилась от бремени жена. Он, зная, что я остался в Москве, пришел наудачу отыскивать меня в мой дом, дабы с новорожденным дитею учинить по закону. Нашед меня едва жива, обмыл мою кровь, обвязал раны и привел меня в чувство. И что же первое представилось моему взору?.. Все ограблено, изломано и перебито, даже самые книги изорваны и разбросаны на полу и валяются на дворе. С сердечным прискорбием

---

[2] *Устар.* пища, яства, кушанья.

вздохнув, пошел я с Зелениным в его дом и, исполнив с младенцем должное, остался у него до того времени, как дома ближние начали пылать огнем.

Убегая таковой опасности, принуждены по примеру других идти в поле. Дорогою множеством народа мы разлучены были, и я с некоторыми из знакомых прошел к Лазареву кладбищу, где собралось множество людей обоего пола, плачущих и рыдающих.

И подлинно нигде мы убежища обресть не могли. Вступили поляки, сии присяжные и присные враги России, которые всегда нам погибели искали. О, да угаснет сия древняя злоба и вражда! Да благословит и утвердит Господь отныне соединение их с Россиею вовеки! Время, давно было время придти им в себя и соединиться с единоплеменным российским народом и с предками и с праотцами своими. Не претерпели бы они толико гибельных и страшных перемен и разорений под защитою и кротким правлением Всероссийских монархов. Они были яко овцы, не имеющие пастыря. Но, се ныне любезнейший наш император Александр Первый, с отеческою любовью, отторгшийся от древнего своего отечества и паки к нему обратившийся народ польский, яко блудного сына, восприял в сильное свое покровительство. Да будет отныне он с нами едино стадо, а Первый Александр един император, царь и пастырь!

Итак, поляки, говорю, будучи тогда наги и гладны, не давали нам и в поле покоя, но последние одежды и все, что кто имел, грабили и отнимали. Почему я решился удалиться в институт Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны. Здесь меня приняли находящиеся при должности старой службы унтер-офицеры; но поляки вытеснили нас и отселе; а меня, узнав, что я духовный, намеревались изрубить. Наши служивые успели меня выпроводить тайно в сад, и я укрывался в аллеях, повсюду ища убежища; но везде казалось опасно. Наконец, узрев во устии пруда островок, густою осокою обросший, прибег в его защиту, опустился в воду и прикрыл осокою главу. Сидел я таким образом до того времени, как искавшие меня поляки скрылись. Они неоднократно мимо островка пробегали, и я слышал, коль язвительно меня поносили и с каким остервенением моей жизни искали; однако меня увидеть не могли. Бог, защитник невинности, как бы ослепил их. Он чудесно меня сохранил и невидимою дланью прикрыл от их взора.

При всем том не посмел я возвратиться в институт, слыша раздающиеся в саду вопли и плач россиян. Почему, перешед на другой берег пруда, спешил сокрыться в роще и наконец достиг дома покойного генерал-фельдмаршала графа Ивана Петровича Салтыкова. Но каким неизъяснимым ужасом объят я был, узрев стоящих его людей, которые, опасаясь, может быть, врагов, очень неопрятно были одеты. Я мнил от страха, что то враги России, почему пал на колени и впервые произнес сие ненавистное слово «пардон» и, поникнув главою к земле, ожидал, что со мною будет... Один из них, подошедши ко мне, тихо и ласково вопросил, кто я и чего от них требую? Познавши родственный язык, из необычайного ужаса перешел я в неизъяснимую радость.

Так вы русские, с поспешностью и с чувствительным движением возопил я, о любезные други!.. Потом объявил им, кто я, открыл все, что со мною случилось, и просил их вспомоществовать мне. Они с величайшим удовольствием и любовью меня приняли, переменили обмокшее и измаранное мое одеяние, угостили с ласкою изобильно и обогрели оледеневшее мое тело. Россияне всегда и ко всем гостеприимны, а наипаче в сие несчастное время и притом к своим единоземным. К славе их сказать пред целым светом по праву можно, что они все любят жить в согласии, друг другу помогать и оказывать услуги. Итак, настоящую ночь и будущий день у гостеприимных и человеколюбивых соотчичей препроводил я покойно. В сие время все мое одеяние было вымыто и вычищено.

Между тем не токмо Никитская, но Тверская, Дмитровка и Петровская улицы выгорели; следовательно, не опасаясь пламени, можно было возвратиться на свое жилище. Почему, принеся своим гостеприимцам особенную благодарность со слезами, чем и у них взаимно исторгнул слезы, с ними распростился. Они меня снабдили притом кое-чем нужным; но на дороге все то отнято врагами было.

Пришед на место, где был мой дом, и видя единый пепел, сердце мое вострепетав сжалось, окаменело, облилось кровью, и я, падши на теплый еще пепел, впервые желал себе смерти и могилы на милой сей земле, на которой двадцать лет жил в изобилии и покое со своим семейством, но теперь избит и изранен, разлучен с женою и детьми, лишен всего имения и дома, остался, как бы некоторый пришлец в чуждой и неизвестной земле. Злодеи, шедши мимо и узрев меня лежаща, принудили меня встать, бия плашмя тесаками, и что награбили возложить на плеча. Истощен от ран, бос и почти наг, гладен и жажден, можно ли было несть тягость? Но, чтоб избежать мучительных ударов, собрав последние силы, с величайшею трудностью донес до Тверской; тут уже совершенно изнемогши, я пал под тяжестью ноши. Враги мои с большим усилием меня поднимали, повторяя удары палашами; но я как бы уже их не чувствовал и недвижим оставался. Они же выдумали новое мучение: били тесаками по пятам и голеням. От роду не чувствовал я подобной боли, однако встать не мог. Не помню, как меня оставили; но, пришед в себя на рассвете дня, едва-едва мог дойтить до своего пепелища. Люди Петра Алексеевича Наумова, видя меня в таком изнеможении, с усердием исполненным почитания, яко бывшие мои прихожане, приняли к себе в подвал и, сколько можно было, в сем и во всяком случае мне оказывали свои услуги. Да наградит их Господь Бог сторицею!..

Помощью их и особенным рачением мало-помалу начал я поправляться. В сие же время Вражко-воскресенская просвирница Настасья Тимофеева и московская мещанка Екатерина Кирилова много мне помогали, принося пищу и обязуя раны. Когда же я мог выходить, то уже, чтоб не отяготить толь ревностных моих попечителей, посещал упомянутого купца Зеленина, то Гнезднического иерея Петра Афанасьева и диакона его Александра Семе-

нова, то московского купца Николая Иванова Рюмина и мещанина Дмитрия Иванова; то ходил в дом Его сиятельства князя Юрия Владимировича Долгорукого к его людям, а наипаче к Андрею Прохорову, которые все последний укруг хлеба со мною разделяли. Ясно я видел, что у всех в хлебе недостаток; а потому, дабы частым своим хождением не навести кому-либо скуки и неудовольствия («не учащай бо», сказано, «друга, да не возненавидит тя»), чередовал их поденно, и они, яко по долгу меня пришедшего, как бы имеющего на сие некое право, без всякого отрицания и огорчения питали. Се блистательная черта и доказательство гостеприимства и человеколюбия россиян!.. Наконец, все мои благодетели сами обнищали и начали терпеть голод, ибо враги не переставали ходить по всем тем местам, где токмо пристанище русские имели; и хотя грабить было уже нечего, но будучи гладны, как и мы, требовали и искали хлеба, и где что-либо находили, все отнимали. Таким образом, все лишены насущного хлеба были, последнего средства к продолжению жизни. Но коль мучительно от глада умереть! Лучше претерпеть смерть от штыка или тесака, по словам пророка Иеремии, который говорит: «Лучше быша язвленнии мечем, нежели погублени гладом». Но пословица русская говорит:

Что брюхо не гудок;
Нельзя, коль хочешь есть,
Повесить на гвоздок.

В Тверской-Ямской, по истреблении мучных лавок от пламени, осталось много горелой пшеницы. С сердечным прискорбием пошли здоровые на толь плачевный и необыкновенный им промысел, пшеницы принесли, сварили сии зерна; но они крепки, и притом весьма неприятный, горелый запах от себя издавали, так что самые здоровые с великим трудом и принуждением могли их вкушать. Что ж принадлежит до меня, то, будучи лишен всех почти зубов, не мог разжевать ни единого зерна. Признаюсь, что по легкомыслию своему от прискорбия охотно желал принять от неприятеля смерть. Согрешихом ко Господу!

Рождественского девичьего монастыря монахини Павла, Надежда и Паисия, которые не токмо мне были знакомы, но одна из них и родственница, узнавши, что я хотя и много пострадал от неприятеля, но еще жив и брожу, яко некий странник по обгорелым домам для куска хлеба, прислали ко мне с приглашением, чтобы я пришел в смиренную их обитель; приказали притом уверить меня, что у них очень покойно и что они имеют все нужное к продолжению жизни, ибо остановившийся в их монастыре неприятельский начальник столь был человеколюбив и снисходителен, что, видя их смиренную, убогую и святую жизнь, дал твердое и верное обещание, что он не допустит сожигать их келиев, производить грабеж и чинить какое-либо оскорбление. К великой чести достойного сего воина служит, что он свято и верно выполнил свое обещание, и сей слабый, немощный и беззащитный преподобных дев лик во все его пребывание в обители ни малейшего не терпел притеснения.

С великим восторгом внимал я сию благовестницу; каждое ее слово возрождало во мне надежду к жизни. И я, выслушавши все со вниманием, первее с крайним усердием, от чистого сердца и духа, особенного благоволения исполненного, воспрославил Господа толико милостивно на меня призревшего; потом немедленно, в чем токмо находился, почти наг и бос, следовал с полною радостью за своею путеводительницею. И как пришел к ним, то сии самаряныни ужаснулись, видя меня в толь странном одеянии и всего окровавленна. Потом, иные омывают кровь, иные возливают елей на мои раны, иные к ним пластыри и мази прилагают, иные предлагают пищу для подкрепления ослабших сил, иные же приготовляют убогое, но пристойное моему сану одеяние. И коль покойно после столь сильного обуревания, толь превратных, страшных и томительных происшествий, со мною повстречавшихся, препроводил я у них несколько дней!

Но Бог, как я несомненно уже сему верю, восхотел еще испытать мое терпение и наказать за сомнения попечительного Его промысла. Родственник мой, причетник с Даниловского кладбища, Петр Иванов, удостоверясь, что слухи о моей смерти несправедливы, презрев все опасности, отыскал меня в монастыре, извлек из сего мирного и тихого жилища и вызвал к себе. Не согласился бы я на его предложение, ежели бы причины его вызова не были столь важны и не касались моей должности. От мучения врагов скончалась его сестра, а священник их от болезни был при смерти. Обязанность моя и христианская любовь к ближним убедили меня к исполнению его просьбы. Воздав достодолжное благодарение сим мудрым девам, их же светильники, будучи возжены елеем милосердия, никогда не угасают, а всегда готовы суть ко сретению возлюбленного своего жениха Иисуса Христа, – расстался я с ними.

Таким образом вышли мы из обители и достигли Охотного ряда. Здесь встретились с неприятелями, которые шли из города с добычей (ибо в погребах под лавками много еще находили). Товарищ мой успел укрыться, а я по слабости сего учинить не мог; и как одежда моя показывает уже меня быти духовного человека, то я думал, что меня не коснутся; но они, несмотря ни на что и не внемля никаким отзывам, возложили на меня тягость, и я с великим трудом донес ее до Смоленской заставы.

Шедши с ношей, заметил я, что принуждали паки брать тягости тех, которые, донесши до места, возвращались праздны. Почему не посмел я идти обратно чрез мост большой мостовой, ибо по улице и по переулкам расставлены были везде их кордоны, а потому уклониться куда-либо никак невозможно; следовательно, неминуемо должно попасться в руки врагам. Для избежания сей опасности я решился перейти чрез реку к Благовещению на Бережки, зная твердо и совершенно, что река в сем месте очень мелка. Итак, пользуясь темнотою нощи, инде мимо домов тихим шагом крался, инде полем бежал сколько было сил и наконец достиг реки. Не снимая одежды, я перешел на другой берег. Немалого труда мне стоило взойтить на гору, ибо очень крута и

глиниста; а притом ноги и одежда, будучи мокры, весьма много мне препятствовали. Но труд мой довольно был награжден, хоть не лакомым, но сытным ужином и покойным ночлегом у священника Симеона Стефанова помянутой Благовещенской церкви.

Мог бы я несколько дней препроводить здесь; но тщательное рвение по своей должности и сострадательная любовь к ближним убеждали меня и усильно влекли к кладбищу. Сии чувствования меня воодушевляли, бывшу мне еще в изнеможении от ран и живущу в подвале на пепелище, подобные отправлять служения и похоронять при церкви Воскресенской[3], чему свидетели быть могут все соседи, а паче купец Иван Зеленин, яко достоверный и известный в купеческом обществе человек.

Итак, рано встал я и чрез Крымский мост мимо Донского монастыря пришел на помянутое кладбище благополучно: ибо враги по утрам предавались крепкому сну и по улицам очень, очень редко бродили. Здесь по пришествии первее исповедовал священника Василия Яковлева, потом отпел по чиноположению нашего вероисповедания усопшую и предал общей нашей матери-земле, которая всех нас единого по единому в лоно свое восприять имеет.

Друзья приятели и родственники милы!
Ударит час, и мы не избежим могилы.
О други, близкие толь сердцу моему!
Ах, время ближит нас к концу всех одному.
Живите ж правдою, счастливы все вы будьте,
Сего единого, прошу вас, не забудьте:
Без веры в Господа, а к ближним без любви,
Никто рай в небесах обресть себе не мни.
Любовию одной, смиреньем, простотою
Блаженство снищет всяк и верою святою;
А смерти никому из нас не избежать:
Равно мы будем все в сырой земле лежать
До страшна того дня, как Бог нас воззовет
В деяниях своих вернейший дать отчет.

Так я в сие ужасное время размышлял, взирая на памятники и монументы, поставленные на гробах умерших по всему кладбищу и на убедительное доказательство, вернейший опыт: усопшее тело, предлежащее моему взору.

Таким образом окончив дела, касающиеся до моей должности, и пожив несколько дней на кладбище, я намеревался возвратиться на выжженное старое свое жилище, как увидел представшую мне старушку, присланную от моей жены. Она, узнавши, что уже вхождение в Москву и исхождение от врага не возбранено было, прислала упомянутую старушку, чтобы она разыскала обо мне обстоятельно; ибо различные слухи о жизни и смерти моей до нее

[3] То есть у Воскресенья на Овражке, что между Большой Никитской и Тверской улиц. – *Прим. П.И. Бартенева.*

доходили. Сам бы я давно пошел к ней, но не знал верно, где ее отыскать. Какою радостью был восхищен дух мой, когда услышал от посла, что жена и друг мой со всеми детьми жива и благополучна, и притом не так далеко, верстах в тридцати от Москвы, находится!

Давно стремительное и пылкое желание, но за невозможностью таящееся в моей мысли, видеть жену и детей, при сем благополучном случае как бы вспыхнуло в моем сердце. Не теряя нимало времени, пошел я на Никитскую к соседям и открыл им о своем намерении выйти из Москвы. Отставной землемер Александр Иванов Панов со своею сестрою и людьми ко мне присоединились; также дворовые люди соседа Ивана Яковлева, сына Яковлева, и других собралось человек пятнадцать. Все мы вышли близ Семеновской заставы из Москвы к зверинцу; потом один по единому совращались с большой дороги в сторону, избирая ближайшую и известную себе дорогу к своему жилищу, а я с Пановым и его семейством мало-помалу достигли обиталища моей жены. И что сказать, как мы друг друга увидали?.. Восприяв в супружеские объятья друг друга, мы как бы окаменели и безмолвны надолго оба были, изливая только на грудь друг другу горькие, но приятные слезы, и едва-едва наконец я мог произнести: здорово!.. Тут же притекли семеро детей, из коих каждый, упреждая один другого, лобызают мне во слезах руки и радостные восклицания произносят, воссылая благодарение Господу, что сохранил мою жизнь.

Я надеялся, что здесь с любезной мне семьею буду уже препровождать время покойно; но сверх нашего чаяния совсем противное повстречалось. Враги как бы вслед за мною (целая дивизия со всеми военными орудиями) вступили в Купавну, которая от нашего жилища отстоит не более трех верст. Она была назначена, как говорят, зимовать здесь. Неприятели начали делать всюду по окрестностям разъезды для добычи провианта и фуража. Страх от сих беспокойных и опасных соседей принудил нас из селения перебраться в леса, которые были непроходимы и в которые враги вступать очень опасались. В них мы жили, претерпевая частью голод, частью холод, до того времени, как неприятели выступили из Купавны в Москву, что было 10-го числа октября.

На 12-е число слышали удары с чувствительным потрясением земли; после узнали, что сие происходило от взорвания Кремля, хотя селение наше отстояло от Москвы за двадцать восемь верст. Узнали также и о сем, что злодей со всею своею сволочью бежал со стыдом от глада и страха из Москвы. С сего времени я начал отправлять, за болезнью приходского священника, божественную службу и свободно исполнять все таинства православного нашего вероисповедания.

Несколько дней занимался я должностью своею; потом услыхал, что полиция и казаки в Москву давно вступили и привели все в первый порядок, то решился я к должности явиться. Итак, 20 октября отправился в Москву и пришел к означенному купцу Зеленину, от коего узнал, что диакон нашего со-

бора, со мной вместе полоненный, Иван Андреев, живет в доме князя Сергея Михайловича Голицына, отыскал его и, увидевшись с ним, оплакали общее бедствие горькими слезами. Но как в Кремль никого еще не допускали, а в пустой и выжженной Москве прибежища для жительства со своим семейством нигде сыскать не мог; то, пожив у отца диакона дня три, возвратился обратно в село Бисерово, к жене и детям.

Сердечное прискорбие и скука в кругу моего семейства не давали мне покоя; а паче дороговизна съестных припасов (ибо пуд ржаной муки продавался по четыре рубля) принудила меня идти в Москву с тем намерением, чтоб просить у правительства пристанища и дневного пропитания, ибо двенадцать человек содержать совсем я был не в состоянии, отчего вторично приходил в совершенное уныние.

Прихожу, наконец, к вышеозначенному диакону, который уже не со слезами, но с лицом исполненным веселья меня встречает. Вопрошаю о причине таковой его перемены; но он одно сие повторяет, чтоб я шел немедленно в Никитский дом Его сиятельства князя Юрия Володимировича Долгорукого, к его приехавшему из Воронежа домоправителю, который давно тебя ищет. Пошел – и что слышу и вижу?.. Не могу без слез вспомянуть. Его сиятельство предписал управителю, чтобы он непременно и верно разыскал поскорее: во-первых, жив ли я; во-вторых, цел ли мой дом и имею ли нужное к продолжению жизни, и ежели я не в числе убитых или хотя и жив, но ничего не имею, то дать мне лучшие какие токмо найдутся способными к жительству комнаты, хлеб и деньги на обзаведение домашних вещей. Предписание золотыми литерами начертано быть достойно... Какое неожиданное благодеяние!.. Да воздаст ему Господь сторицею и исполнит все желания по сердцу его! В таком будучи отдалении, о мне памятовать!.. Какое прямо христианское сердолюбие к ближним! В такое критическое и смутное время заниматься мною! Нет! – милость сия и по смерти моей, и по ту сторону гроба моего незабвенна будет пред Отцом Небесным, а здесь тем паче я должен чувствовать, что пять лет по милости Его сиятельства всем пользовался и жил покойно в его доме.

Истинность и справедливость сего описания свидетельствую всеми теми, о которых в нем упоминается. Благодарение Господу, они все в живых находятся. Любопытный или сомневающийся да благоволит справиться и узнать от них.

Русский архив. 1899. № 10



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.С. НОРОВА

[…] При въезде в Москву нас обступил народ; женщины бросали нам деньги в карету, и мы с трудом могли их убедить, что деньги нам не нужны, тем более что тяжелые пятаки могли нас зашибить. Баранов, который не отставал от нас, предлагал нам остановиться в доме его отца, сенатора. У Таубе был в Москве какой-то родственник, а я согласился на предложение Баранова. Таубе завез меня к нему, и тут мы расстались с ним навеки. Он отправился, как я узнал после, в Ярославль, где вскоре умер. Гостеприимный дом Баранова был совершенно пуст: мы пробыли здесь два дня; трудно было иметь медицинские пособия, и меня перевезли по тяжести раны в Голицынскую больницу. Тут прислала узнать обо мне не выехавшая еще из Москвы моя добрая знакомая Дарья Николаевна Лопухина[1], племянница княгини В.В. Голицыной, у которой я жил в Петербурге. Не знаю, как она проведала обо мне; она предлагала взять меня с собою и писала, что будет ожидать меня за Ярославскою заставою; при ней были две дочери; но я не мог решиться обременить ее собою. На другой день явился ко мне в больницу какой-то крестьянин и подал мне адресованную на мое имя записку, писанную карандашом. Эта записка была от моего друга штабс-капитана Ладыгина следующего содержания: «Пишу тебе, мой друг, на пушке; мы оставляем Москву; неприятель выступает за нами; спасайся, если можешь, и заяви товарищам». Больно легли мне на сердце слова: «…мы оставляем Москву…» – но истина являлась во всей наготе. При мне были мои два человека и одна больничная женщина; я немедленно послал обоих людей отыскивать какой-нибудь экипаж и лошадей; к вечеру нашли какую-то бричку, но лошадей еще не было.

Пришла ночь, страшное пожарное зарево освещало комнату, люди мои исчезли, а потом и женщина; я был весь день один. На другой день вошел в комнату кавалерист: это был уже французский мародер. Он начал шарить по всей комнате, подошел ко мне, безжалостно раскрыл меня, шарил под подуш-

---

[1] Эта Д.Н. Лопухина была женщина достопамятная. На свои средства она воспитывала множество молодых своих родственников и бедных девиц. Её совершенно частное учебное заведение существовало много лет сряду. – *Прим. П.И. Бартенева.*

ками и под тюфяком и ушел, пробормотав: «Il n'a done rien»[2], в другие комнаты. Через несколько часов после вошел старый солдат и также приблизился ко мне. «Vous etes un Russe?» – «Oui, je le suis». – «Vous paraissez bien soufrir?» Я молчал. «N'avez-vous pas besoin de quelque chose?» – «Je meurs de soif»[3].

Он вышел, появилась и женщина; он принес какие-то белые бисквиты и воды, обмочил их в воде, дал мне сам напиться, подал бисквит и, пожав дружелюбно руку, сказал: «Cette dame vous aidera»[4]. Я узнал от этой женщины, что все, что было в доме, попряталось или разбежалось от мародеров; о людях моих не было ни слуху ни духу.

Следующий день был уже не таков: французы обрадовались, найдя уцелевший от пожара госпиталь с нужнейшими принадлежностями. В мою комнату вошел со свитою некто почтенных уже лет, в генеральском мундире, остриженный спереди, как стриглись прежде наши кучера, прямо под гребенку, но со спущенными до плеч волосами. Это был барон Ларрей, знаменитый генерал-штаб-доктор Наполеона, находившийся при армии со времени Итальянской и Египетской кампаний. Он подошел прямо ко мне. Вот наш разговор. «De quelle arme etes-vous, monsieur?» – «Officier de Partillerie de la garde». – «C'est a la grande bataille, que vous avez ete blesse?» – «Oui, general». – «Quand est ce qu'on vous a leve le premier appareil?» – «On ne m'a pas touche». – «Comment! depuis la grande bataille?» – «Oui, general»[5]. Он пожал плечами и, обернувшись, сказал что-то стоящему возле него доктору, взял стул, сел подле моей кровати и начал расспрашивать окружающих о положении, в каком найден госпиталь. Минут через десять внесли ящик с инструментами, тазы, рукомойники, бинты, корпию и проч. Ларрей встал, сбросил с себя свой мундир, засучил рукава и, приближаясь ко мне, сказал: «Allons, jeune homme, je vais m'occuper de vous»[6]. Около получаса провозился он со мною и несколько помучил меня – на ране был уже антонов огонь – сам перевязал меня и, передавая помогавшему ему доктору, сказал: «M-r Beaufils, vous me repondres de la vie de ce jeune homme!»[7]. Я был тронут до глубины души и высказал все что мог нежного этому великодушному человеку. Недаром Наполеон прозвал его le vertueux Larrey[8]. Доктор Beaufils, которому я был поручен Ларреем, был уже человек лет под сорок, плешивый, самой доброй наружности и весьма живой во всех своих приемах. Еще через день приехал посетить госпиталь граф Лористон, бывший у нас послом в Петербурге и которого

---

[2] Однако нет ничего! (*фр.*)

[3] Вы русский? – Да. – Вы, кажется, сильно пострадали?.. (...) Не нуждаетесь ли вы в чём-нибудь? – Я умираю от жажды (*фр.*).

[4] Эта дама вам поможет (*фр.*).

[5] В каком войске вы находитесь? – Я офицер гвардейской артиллерии. – Вы ранены в большом сражении? – Да, генерал. – Когда вам делали первую перевязку? – Её вовсе не делали. – Как, со времени большого сражения? – Да, генерал (*фр.*).

[6] Итак, молодой человек, я займусь вами (*фр.*).

[7] Г-н Бофис, вы мне будете отвечать за жизнь этого молодого человека (*фр.*).

[8] виртуозный Ларрей (*фр.*).

я так недавно видел в кругу нашего столичного общества; он поместился после пожара, поглотившего Москву, в уцелевшем роскошном доме графини Орловой-Чесменской близ нашего Голицынского госпиталя. Он оказал мне самое теплое участие, заявив, чтоб я относился к нему во всем, что будет мне нужно, и обещал присылать наведываться обо мне, что и исполнил, а в тот же день прислал мне миску с бульоном. Вскоре кровати моей комнаты начали наполняться. Первый, которого принесли, был адъютант Барклая, Клингер, у которого была отнята нога выше колена: он был в бреду; за ним принесли Тимофеева, капитана одного из егерских полков армии князя Багратиона, простреленного насквозь; потом поручика Обольянинова, батальонного адъютанта Преображенского полка; затем майора орденского кирасирского полка Вульфа; у обоих было отнято по ноге. Вульфу делал операцию барон Ларрей.

До этой поры сюда помещали одних русских. В следующий день поступил к нам адъютант французского дивизионного кавалерийского генерала Пажоля драгунский капитан d'Aubanton, тяжело раненный осколком гранаты в бок и в руку. Мы с ним скоро обменялись с наших кроватей дружелюбными словами; это был человек серьезный, которого беседа не была пустословная. Меж тем все комнаты госпиталя переполнились ранеными. Таким образом, наша судьба казалась на это время несколько обеспеченною среди терзаемых со всех сторон грабителями остатков обгорелой Москвы. Наконец явились ко мне мои два человека, совершенно оборванные, но обрадованные, что нашли меня живым; они рассказали мне, что французы отняли у них все мое имущество, даже мое окровавленное под Бородиным платье, и что их заставляли все эти дни, как лошадей, таскать грабимые вещи, держа ночью под караулом. Из всего, что я имел, у меня остался только находившийся на моей груди маленький образок Божьей Матери, которым меня благословила в поход благотворительная Д.Н. Лопухина и который меня и доселе не оставляет. Я узнал впоследствии, что она едва ускакала от французских разъездов, ожидая меня у Ярославской заставы. Такие дела не изглаживаются из памяти сердца. Бедный Клингер, не выходивший из бреда, поминая часто о Георгиевском кресте, который он, конечно, заслужил, скоро простился с нами навек, и его вынесли от нас на простыне.

Граф Лористон не забыл меня: дня через два после его посещения приехал ко мне от его имени и, вероятно, навещавший своих раненых товарищей молодой офицер, его однофамилец и родственник, один из ординарцев Наполеона. Несмотря на мою сердечную благодарность графу Лористону, я, признаюсь, с какою-то злобною радостию услышал от него: «Moscou n'existe plus pour nous – tout est devore par les flammes» (pour vous, – хотелось мне сказать ему, – mais pas pour nous)[9] и что Наполеон должен был на некоторое время оставить ce brasier[10] и переехать из Кремля за город. Он же рас-

---

[9] Москва более не существует для нас: всё пожрано пламенем. (...) (для вас (...), а не для нас) (*фр.*).

[10] этот костёр (*фр.*).

сказывал мне (как офицеру гвардейской артиллерии), что, объезжая с Наполеоном поле сражения, они нашли одного из офицеров нашей гвардейской артиллерии без обеих ног, замертво оставленного: я признал тотчас в этом офицере несчастного Ковалевского, об участи которого я знал от Ладыгина, посетившего нас, когда мы были в доме Баранова. Теперь я узнал, что он был перевезен с французскими ранеными в Колоцкий монастырь, где, конечно, и умер. Осведомляясь о положении, в котором находились наши дела, мой собеседник, не опасаясь нескромности с моей стороны по причине положения, в котором я находился, сообщил мне очень важное известие: «Je ne puis vous rien dire de votre armee; car nous ne savons pas ce qu'elle est devenue, et nous sommes a sa recherche»[11].

Он мне даже довольно подробно рассказал, как Мюрат в продолжение трех дней, думая следить нашу армию, давно уже имел перед собою только несколько сотен казаков, которые на ночь разводили бивуачные огни на далекое пространство, якобы принадлежавшее большой армии; что в одно прекрасное утро самые эти казаки перед ним исчезли, и он остался один перед пустым полем. «La piste de l'ennemi est perdue!»[12] – сказал Наполеон во всеуслышание.

Задуманное знаменитое фланговое движение Кутузова с Рязанской дороги на Калужскую до приведения его в исполнение хранилось только в голове Кутузова, и только со второго перехода по Рязанской дороге, когда французы уже убедились, что он идет на Коломну, он под строгою тайною открыл одним корпусным командирам (которые долго не понимали этого движения) весь свой план. Дойдя до Боровского перевоза у Москвы-реки, Кутузов быстро повернул со всею армиею по проселочной дороге к Подольску, к ночи вышел форсированным маршем на большую Тульскую дорогу и расположился у Подольска. Темная ночь освещалась по всему небосклону заревом пылающей Москвы: это зрелище красноречивее всяких воззваний закаляло в сердцах солдат мщение. Тут армия имела дневку, и на другую ночь та же Москва продолжала ей светить своим пожаром. 7 сентября армия довершила свое фланговое движение, ступив у Красной Пахры на старую Калужскую дорогу. Надобно заметить, что, когда Кутузов сошел с Рязанской дороги, он велел арьергарду Милорадовича пробыть еще день на Рязанской дороге, а потом, оставя вместо себя на этой дороге два казачьих полка Ефремова, самому своротить по проселочной дороге, параллельной той, по которой следовала армия. При всех пересекаемых Милорадовичем дорогах он оставлял отряды с приказанием, если б с ними встретился неприятель, не следовать за общим движением армии, дабы не обличать оного, а отступать по той дороге, на которой был поставлен отряд; между тем полковник Ефремов вел Мюрата по Рязанской дороге до самых Бронниц, где и последовало разочарование

---

[11] Ничего не могу сказать вам о вашей армии, потому что мы не знаем, что с нею сталось, и мы её разыскиваем (*фр.*).

[12] След неприятеля потерян! (*фр.*)

этого венценосного наездника. Гениальный Пушкин прекрасно сказал, что один только Кутузов (при том доверии, которое имела к нему Россия) мог отдать Москву неприятелю и стать в бездействии на равнинах Тарутинских, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты. Эта роковая минута уже настала... Мы знали о посылке Лористона к Кутузову с мирными предложениями; но сердца наши знали и помнили слова манифеста, что наш меч не войдет в ножны, доколе хотя один неприятельский солдат будет оставаться на почве русской.

Нам даже говорили о возможности возвратить нас в нашу армию, если мы для проформы дадим расписку, что в продолжение кампании не поступим опять в ряды; не знаю, было ли это нам сказано по распоряжению высшего начальства или для нашего утешения, но никто из нас не согласился на эту проформу. Мне сказали, что обо мне справлялись из нашей армии. Я узнал впоследствии, что я этим обязан Алексею Петровичу Ермолову, по просьбе моего брата, только что выпущенного из пажеского корпуса офицером в л[ейб]-гв[ардии] егерский полк. Между тем я был неожиданно удивлен появлением в один день перед собою крестьянина Дмитрия Семенова, поместья моих родителей Рязанской губернии села Екимца, который вызвался проникнуть в Москву и доставить им известие обо мне. Неописанно утешенный, я написал с ним несколько строк, которые прошли через французскую цензуру и благополучно достигли до моих обрадованных родителей.

Слухи о выступлении французов начали распространяться. Уже более недели не посещал меня адъютант графа Лористона. Французский капитан d'Aubanton, только что начинавший поправляться, внезапно простился с нами и заявил, что кавалерийская дивизия его генерала выступает; наконец и добрый доктор Beaufils после утренней перевязки просил нас записать в его альбом наши имена и вслед за тем прямо объявил нам, что вся армия на другой день оставляет Москву. При прощании он немало смутил нас словами: «Je regrette, que seront peut-etre perdus tous mes soins pres de vous»[13]. Мы хотели, чтоб он разъяснил нам эти слова, но он взволнованно обнял нас и, не сказав более ни слова, быстро удалился. Разгадка была та, что Наполеон, выступая из Москвы, велел маршалу Мортье остаться в ней еще несколько дней с двумя дивизиями молодой гвардии и оставить Москву не иначе, как взорвавши Кремль и предав пламени остатки города!.. Эта гнусная, зверская злоба отбросила Наполеона в скрижалях истории далеко из разряда великих людей, и уже этим самым он признал победу за Россиею.

Тишина, окружавшая наш отдаленный квартал, Калужский, внезапно заменилась неумолкающим шумом обозов; наконец, 7 октября рано поутру началось движение войск. Из построившихся рядов Итальянской гвардии против самых ворот нашей Голицынской больницы несколько офицеров в ожидании прибытия Наполеона зашли к нам в комнаты проститься с некоторыми из сво-

---

[13] Жалею, что, может быть, пропадут все мои заботы о вас (*фр.*).

их товарищей раненых. С одним из этих офицеров, подошедшим к моей кровати, я имел случай обменяться несколькими словами. Он мне сказал: «Vous etes plus heureux en restant ici, voyes, – и с этим словом поднял одну ногу и показал мне протоптанную подошву своего сапога, – voir dans etat nous allons querroyez»[14]. Это не помешало, однако, несчастным итальянцам выдержать отчаянный бой под Малоярославцем, где они почти все полегли. Зрелище бедственно отступавшей неприятельской армии радостно волновало наши сердца; я просил придвинуть мою кровать ближе к окну. Вся улица была покрыта войсками, и не более как через полчаса командные возгласы возвестили приближение Наполеона. Окруженный свитою, он остановился против нашего госпиталя и, как бы осмотревшись, стал в самых воротах и начал пропускать мимо себя взводы полков. Хотя мне указывали на него, но я и без того не мог бы не узнать его по оригинальному типу, коротко уже мне известному. Раненые французы дали мне бинокль; однако я с необыкновенным злым равнодушием, взглянув раза два, возвратил бинокль, видя и без того довольно хорошо. Наполеон раза два слезал с лошади и опять садился на нее. Нельзя было не заметить, что войска нехотя бормотали, а не кричали ему: «Vive L'Empereur!»[15] Это зрелище продолжалось более часа, и я, не дождавшись конца, улегся в своей постели, как бы упрекая себя за излишнее внимание к этому лицу.

Долго, однако, не прекращался шум на нашей улице. Около пополудни растворились двери соседней с нами палаты и целая процессия французов в халатах и на костылях, кто только мог сойти с кровати, явилась перед нами. Один из них вышел впереди и сказал нам: «Messieurs, jusgu'a present vous eties nos prisonniers; nous allons bientot devenir les votres. Vous n'avez pas sans doute, messieurs, a vous plaindre du traitement que vous avez essuye; permettez-nous d'esperer la meme chose de votre part»[16].

Хотя мы не были еще совершенно уверены, что мы вышли из плена, но поспешили их успокоить, прося их сказать нам, когда действительно мы будем свободны, что они и обещали сделать. Прошло почти три дня: ни мы, ни французы не знали, в чьих руках мы находимся. Мародеры шмыгали повсюду, – и даже поджигатели, – как мы узнали после; но сами французы, которые только были несколько в силах, охраняли госпиталь с помощью госпитальных людей. В ночь с 10 на 11 октября мы были пробуждены страшным громом; оконные стекла в соседней комнате посыпались... Это был взрыв Кремля... Взрывы повторялись еще несколько раз. Сон уже оставил нас на всю ночь... Мы не знали, что нас самих ожидает. Слова доброго Beaufilsa невольно приходили нам на ум. Французы продолжали, как могли, стеречь нашу больницу от поджигателей. Наконец, поутру французские раненые офицеры известили нас, что наши

---

[14] Вы счастливее, оставаясь здесь: поглядите (...) в каком виде нам воевать (*фр.*).

[15] Да здравствует император! (*фр.*)

[16] Господа, до сих пор вы были нашими пленниками, скоро мы будем вашими. Вам, конечно, нельзя на нас пожаловаться, позвольте же надеяться на взаимство (*фр.*).

казаки показались в Москве, и повторили нам свою просьбу; мы предложили им, будучи недвижимы на наших кроватях, принести нам свои ценные вещи и деньги и положить их к нам под тюфяки и под подушки, что они и сделали. Действительно, часа через три вошел к нам казацкий урядник с несколькими казаками; радость наша была неописанная. Мы несколько раз жарко с ними обнялись. Это были казаки Иловайского; они стерегли выход французской армии близ Калужской заставы и явились вслед за ними. Мы заявили, что в соседней палате лежат раненые французы, что мы были более месяца у них в плену, что они нас лечили и сберегли, что за это нельзя уже их обижать, что лежачего не бьют и тому подобное... Урядник слушал меня, закинув руки за спину. «Это все правда, ваше благородие; да посмотрите-ка, что они, душегубцы, наделали! Истинно поганцы, ваше благородие!» – «Так, так, ребята, да все-таки храбрый русский солдат лежачего не бьет, и мы от вас требуем не обижать!» – «Да слушаем, ваше благородие, слушаем!» – и направились в растворенные к французам двери. Сколько можно мне было видеть, казаки проходили мимо кроватей, косясь на притаивших дух французов. Несколько времени было тихо, но вдруг послышался шум и явился к нам взволнованный в распахнутом халате офицер: «Messieurs, messieurs! on m'a ote mon sabre d'honneur! De grace, de grace!..»[17] Мы насилу его вразумили, что, будучи пленным, он не может сохранять при себе оружие, что если он дорожит своею саблею, то зачем же он нам не отдал ее под сохранение вместе с другими вещами; что с нашей стороны было бы весьма неловко требовать возврата того, чего не следует возвращать, и притом от войска иррегулярного... Вскоре прибыли сотник и один штаб-офицер, весьма обходительный. Мы ему объяснили все обстоятельства; он занялся составлением списка пленных французов, и при нем мы выдавали им по рукам все их вещи и деньги, также по записке. Он знал несколько по-французски и успокоил в их судьбе как их самих, так и нас. На другой день я совещался с моим товарищем Обольяниновым (наши кровати были смежны) о том, что нам делать с собою. Я ему сказал, что у моих родителей есть подмосковное поместье в 75 верстах от Москвы, за Дмитровым, и предлагал ехать туда; а он мне заявил, что имение его дяди находится только в 50 верстах от Москвы по Клинской дороге и что там есть больница и аптека. Мы решились отправиться туда. Вульф и Тимофеев остались в Москве. Не знаю, кто и как снарядил нас; у нас не было ни у кого ни денег, ни платья; люди наши достали какую-то ветхую бричку и привели какого-то мужичка с тремя исхудалыми лошаденками; приискивали платья и ничего не находили; наконец, добыли где-то женские, и притом ваточные, салопы[18], что было истинною находкою. В таких костюмах, обернувшись вместо плащей фланелевыми одеялами, мы, помолясь, двинулись с Обольяниновым в путь.

---

[17] Господа, господа! У меня отняли мою почётную саблю. Сжальтесь, сжальтесь! (*фр.*)

[18] *Фр.* salope – верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами; скреплялась лентами или шнурами.

Нельзя вообразить себе те ужасные картины, которые развертывались перед нами по мере того, как мы подвигались от Калужских ворот к Москве-реке. Один только наш квартал от Калужской заставы до Калужских ворот уцелел от пожара (но не совсем от грабежа), и, конечно, благодаря графу Лористону, занимавшему, как мы сказали, дом графини Орловой. Таким образом был пощажен Донской монастырь. Все, что видно было перед нами, сколько мог обнять глаз, было черно; высокие трубы домов торчали из груд развалин; полизанные пламенем дома, закопченные снизу доверху высокие церкви были как бы подернуты крепом, и лики святых, написанные на их стенах, проглядывали со своими золотыми венцами из-за черных полос дыма; несколько трупов людских и лошадиных были разбросаны по сторонам. Замоскворечье было нам мало знакомо; но тяжкое впечатление такого зрелища навело на всех нас глубокое молчание, и, проезжая мимо поруганных святых церквей, мы творили крестное знамение. В некоторых церквах, несколько уцелевших, двери были распахнуты настежь и груды хлама и разных снадобий и мебели наполняли их. Но как выразить то чувство, которое объяло нас при виде Кремля! Когда мы въехали на Каменный мост, картина разрушения представилась нам во всем ужасе... Мы всплеснули руками; Иван Великий без креста, как бы с размозженною золотою главою, стоял одинок, не как храм, а как столб, потому что вся его великолепная боковая пристройка с двумя куполами и с огромными колоколами была взорвана и лежала в груде. Когда мы проезжали ближе, то видели с набережной у подошвы его, там, где он соединялся с пристройкою, глубокую продольную трещину. Башня с Боровицкими воротами была взорвана; средина Кремлевской стены также, и мы едва могли пробраться среди груд развалин. Грановитая палата, пощаженная пламенем, стояла без крыши, с закоптелыми стенами и с полосами дыма, выходящими из окон. На куполах соборов многие листы были оторваны. Огибая Кремль, по дороге к Василию Блаженному, мы увидели, что угловая башня со стеною была взорвана. Спасские ворота с башнею уцелели. Башня Никольских ворот от верха вплоть до образного киота, наискось, была обрушена; но самый киот с образом Николая Чудотворца и даже со стеклом, – что мы ясно видели, – остались невредимы. Угловая стена, примыкавшая к этой башне, и арсенал, обращенный к бульвару, что теперь Кремлевский сад, были взорваны... С теми же чувствами, как Неемия после плена Вавилонского объезжал вокруг обрушенных стен Иерусалима, мы обозревали обрушенные стены Кремля. Наполеон хотел бы всю местность ненавистной ему Москвы, сделавшуюся гробницею его славы, вспахать и посыпать солью, как сделал Адриан с Иерусалимом, и изгладить ее имя с лица земли. Но Иерусалим остался святынею мира, а обновленная новым блеском Москва осталась святынею России.

Павловск, 8 сентября 1868 г.

Русский архив. 1881. № 6

НЕСЧАСТИЯ ГАВРИЛЫ ИВАНОВА, КОМИССАРА МОСКОВСКОЙ СЕНАТСКОЙ ТИПОГРАФИИ, ВО ВРЕМЯ ЗЛОДЕЯНИЙ ФРАНЦУЗОВ В МОСКВЕ

2 сентября 1812 года вошли в Москву кровожадные полчища ненасытимого Наполеона. В 5-м часу пополудни, сделав в Кремле три выстрела из пушки, изверги рассыпались по всем улицам для грабежа и злодеяния. Какой вид имели сии рабы Наполеоновы! Большая часть из них были босы, полунаги. В этот же день пришло их несколько в *Сенатскую типографию*. Быв смотрителем оной, я запер двери: они разбили окно и вскочили в оное; схватили меня, раздели, разули, взяли все деньги, более 2000 рублей, и часы – словом, все, что у меня было; сорвали с моей шеи даже крест; потом, угрожая мне штыками и нанесши прикладами несколько ударов в плечи, в спину и в голову, пошли все разбивать и грабить.

Ограбив все, что им приглянулось, они потребовали ужина. Хватали и жрали все съестное. По всем их поступкам казались они не людьми, но дикими алчными зверями. При всем бедствии моем, не мог я без презрения смотреть на сих извергов, наглых и отвратительных. Приметя мое омерзение к ним, вдруг несколько из них бросились на меня. От нестерпимых побоев я лишился и памяти, и чувств.

Опомнясь около полуночи, увидел я необыкновенный свет. Это было пламя, пожиравшее Китай-город; пламя, которое никакое перо не опишет! В это время пришел ко мне один из типографских служителей: я обнял его, как родного. Он крайне обрадовался, что я остался жив. «Где же были вы?» – спросил я. «Виноваты! – отвечал он. – Мы скрылись по приближении злодеев на чердаке, куда они, по счастью, не входили». Надобно заметить, что злодеи на чердаки нигде почти не входили, даже во многих домах топили печи, не смея открыть верхних вьюшек, и коптились в дыму. Робость, страх и подозрение свойственны злодеям!

Я приказал тот же час собраться всем типографским служителям, велел часть казенных букв снести в нижнее жилье, имеющее надежные своды, ворота завалить бревнами. Лестница, ведущая вниз, потаенная и темная, почему злодеи и не находили нас. В среду, поутру, загорелся Охотный ряд, и вскоре дошло пламя и до типографии.

Спасти оную от жестокого пламени было невозможно. Истощив все средства и силы, я должен был оную оставить и вышел из дому со всеми служителями, взяв с собою многие казенные типографические вещи. Не успели шагнуть на улицу, как напали на нас злодеи, и мы лишились всего последнего, оставя на нас одни только рубашки. «Но куда идти?» – спрашивали мы друг друга. Кругом свирепствовало пламя; на улицах рыскали изверги. С помощью Божией горящими домами пробрались мы на Москву-реку и близ оной пошли к Новоспасскому монастырю. Вместе с нами и за нами бежало множество ограбленных страдальцев обоего пола жителей столицы.

Между тем пожар увеличивался по обе стороны реки. Вопль и стон народа раздавался; шумел порывистый ветер. Все прощались друг с другом и ожидали смертного часа; многие были в беспамятстве и в исступлении. Враги каждого останавливали, каждого обыскивали и часто, не находя уже ничего, или снимали последнюю одежду до рубашки, или злодейски оскорбляли ругательствами и побоями. Последнее неоднократно я испытал на себе самом. В Новоспасском монастыре надеялся я найти убежище у знакомого священника. Уже мы дошли до Святых ворот, как вдруг навстречу к нам кинулся один из злодеев; видя, что мы обобраны дочиста, отогнал нас от ворот побоями. Весь монастырь был занят грабителями; мы предались отчаянию и, не смея пробираться к заставе, принуждены были почивать на четверг на берегу Москвы-реки.

Опасаясь долго быть на одном месте, мы решились возвратиться в типографский дом; добрели кое-как. Злодеи, заметя, что я пришел с людьми, сочли меня хозяином дома, а типографских служителей – крепостными моими людьми. Пьяная и беснующаяся шайка меня окружила; оправдания мои привели их в ярость: они бросились на служителей, многих избили, изранили и разогнали; потом напали на меня, и один из них ударил меня обухом топора, произнеся по-русски: «Доброе твое на земле; кажи!» Обезумев от удара, я в бешенстве бросился на шайку пьяных разбойников. Не могу описать, что в сии бедственные минуты происходило; помню только, что от истечения крови и от ран упал близ типографского дома. Извергов не смягчило мое положение. Снова принялись они меня бить палашами и прикладами; проломили мне во многих местах голову, изувечили ногу и оставили меня замертво.

На другой уже день я опомнился и увидел одного знакомого согражданина, который во время беспамятства моего омыл мои раны, перевязал их и, при помощи других людей, внес меня в типографский дом и дожидался моего опамятования с состраданием. Бог да воздаст ему за его человеколюбие!

В пятницу пришли стоять постоем в типографский дом два голландца. Сии добрые люди, увидя меня при последнем почти издыхании, взяли в судьбе моей живейшее участие: они остригли на израненных местах головы моей волосы, приложили к оным корпию, намазанную пластырем, и голову искусным образом перевязали. На другой день переменили корпию, пластырь и делали то же самое каждый день в течение трех недель. Таким чудесным образом, по благости Провидения, спасена мне жизнь и восстанов-

лено мое здоровье. По стремлению благодарного сердца восклицаю: «Боже, освободи добрых голландцев от изверга Наполеона!»

В исходе сентября у благотворителей моих не стало хлеба, они объяснили мне кое-как знаками, что все рабы Наполеона терпят в Москве крайний во всем недостаток.

Хотя еще был я весьма слаб, но решился 30 сентября с типографскими служителями выбраться из Москвы. Темнота ночи и добрые голландцы бегству нашему способствовали. Перебравшись через вал близ Симонова монастыря, мы шли лесами и болотами, не зная куда, до самого полудня. Усердные служители типографские вели меня под руки или почти несли на себе. Наконец вышли мы на Коломенскую дорогу и встретили доброго извозчика, который из жалости к моей слабости довез меня до самой Коломны без всякой платы. При прощании с добрым извозчиком я извинялся, что мне нечего ему дать. «Сам бы я был злодей, – сказал он, – если бы от тебя что-нибудь потребовал».

В Коломне отыскал я одного купца, Пантелея Симонина. Хотя не коротко был он со мною знаком, но принял меня и успокоил, как родственника. У него получил я, можно сказать, другую жизнь. Восстановя свои силы и совестясь тяготить собою благодетеля, я уверил его, что имею в Зарайске родственников и должен туда ехать непременно. Благотворительный Симонин насилу отпустил меня, снабдил на дорогу деньгами без всякой моей просьбы.

В Зарайске нашел я благодетельнейшего помещика господина Алексея Яковлевича Благовского. Сей почтенный россиянин принял меня милостиво и содержал целые два месяца до тех пор, покуда надлежало мне возвратиться к своей должности.

Почитаю обязанностью сказать всем моим соотечественникам, что у сего доброго русского помещика во время занятия Москвы злодеями многие несчастные граждане сей столицы имели пристанище, прокормление и покров.

Казенные матрицы, довольно дорогой цены, и букв до 50 пудов удалось мне сохранить. Вот вся услуга, оказанная мною месту, при коем служу. Более сего сделать я не имел возможности.

Я описал мои несчастия просто и по справедливости, не для того, чтобы возбудить к себе особенное сожаление, но для того единственно, чтобы показать злодейство извергов и сострадание добрых сердец.

Г.И.
Москва. Июня 1813 г.

Русский вестник. 1813. № 12



ЗАПИСКА ИЕРОМОНАХА ИОНЫ О ПРЕБЫВАНИИ ФРАНЦУЗОВ В МОСКВЕ В 1812 ГОДУ

В октябре 1817 года министр духовных дел князь А.Н. Голицын сообщил архиепископу Московскому Августину, что Государю угодно было потребовать от настоятелей московских монастырей и церквей обстоятельные и на сущей истине основанные описания того, что происходило в монастырях, соборах и церквах во время занятия Москвы неприятелем. Государь, по словам князя Голицына, требует этих сведений единственно в намерении узнать короче бывшие происшествия, причем не предполагается ни обследований, ни суждений о лицах, а чистосердечное объявление примется во благо; только бы сведения изложены были просто, кратко, удовлетворительно.

Вот побудительная причина составления предлагаемой записки настоятелем Университетской церкви иеромонахом Ионою о своем, вместе со священником Архиерейского дома Иоанном, пребывании в Савинском, что на Тверской улице, подворье во время занятия Москвы неприятелем. Записка эта известна мне в копии, сохранившейся в одной рукописи собрания Ундольского, № 1383, хранящейся в Московском Публичном музее. Подписана она одним иеромонахом Ионою и помечена декабрем месяцем 1817 года. В рукописи она несколько странно озаглавлена: «Описание Савинского на Тверской улице подворья, которое именуется Архиерейским домом Московского викария, Московского Императорского университета Татиановской церкви настоятелем иеромонахом Ионою и оного дома священником Иоанном, что ныне эконом иеромонах Иннокентий».

Мы, выше именованные иеромонах и священник, жившие в одной келье оного дома, первый потому, что хотя и определен был в университет, но до сего бывши при доме Его Преосвященства эконом, за неочищением при университете иеромонашеского покоя, не переходил, а другой поступил только в число братства Савина монастыря.

Преосвященный Августин, на Савинском подворье пребывание свое имевший, в нашествие неприятеля к царствующему граду Москве выехал

из оного в два часа пополуночи на второе число сентября, а куда, нам тогда было неизвестно.

Оставшись по отбытии Преосвященного, пошли осмотреть покои и, нашед в кабинете на столике горящую свечу, погасили и все кельи надлежащим образом заперли. Дождавшись дня, увидели, что московские жители несут из арсенала ружья, пистолеты, сабли, и, слыша в народе молву, что будет перед Москвою решительное сражение и на защиту оной жители должны быть все готовы, в сих мыслях и мы расположились ждать оного.

И сверх нашего чаяния того же числа пополудни в четыре часа неожиданно вошел в Москву и неприятель. В московских жителях восстало великое смятение, необычайный вопль и плач. От сего будучи поражены и мы страхом и отчаянием, за нужное тогда почли со служителями завалить подворские ворота, и едва успели, как артиллерия, конница и пехота неприятельская Тверскою улицею шли все вместе в неисчислимом количестве и кричали: пардон, пардон. И тем народ несколько усмиряли.

Первую ночь на 3-е число сентября неприятели ночевали в Москве почти все по улицам. На другой день поутру рано начали разбивать с домов ворота. Почему и мы отвалили подворские, и тотчас въехали повозки какого-то французского принца. Военные и служители оного, голодные, обобрав прежде печеный хлеб, крепко нас истязовали требованием вин, коих в доме не имелось. Потом собрав находившиеся годовые в доме все жизненные припасы: муку, крупу, овес и сено на свои повозки и несколько себя пищею укрепя, чрез двое суток с подворья съехали.

5-го числа появились от неприятеля все неистовства, грабежи и насилия. И первая партия, пришед прямо к нам в келью, бесчеловечно нас тесаками мучили, приставляя к груди штыки и пистолеты, а саблями колоть угрожали, говоря: аржион, аржион. Мы, пораженные необычайным страхом и отчаянием, вне себя были, падая на землю тем только и отвечали, ибо ни мы, что они говорят, ни они нас не разумели. И таковое насилие две недели день и ночь продолжалось, а паче у нас, ибо на Тверской тогда против градоначальникова дома была их главная обвахта. И всегда являлись новые, так что почти все это время пребыли стоя на ногах. Ибо не успеет одна партия минуть со двора, как другая уже с горящими церковными свечами приходила с таковым же истязанием. И имеющееся у нас имущество все ограбили.

При сих жестокостях производили везде великий пожар, который 7-го числа в ночь дошел и до Савинского подворья. В сем случае штатные служители, простясь с нами, и прочие подворские жители все бежали кто куда попал. И мы, омрачившись умом, перешли на соседний двор князя Адуевского, где был русский народ и пламя казалось не столь опасно. И как скоро на подворской конюшне кровля обвалилась, то по обгорелым каменным развалинам решились на оное перейти обратно. Мне, иеромонаху, посчастливилось перебраться безвредно, а священник попал тогда в ретирадное место, из коего с трудом освободился. Я, видя, как в домовой церкви, так и в нижнем этаже

горевшие рамы, при всей опасности, сколько было возможно, водою залить успел, и тем весь тот большой корпус сохранить от пожара, а как вокруг его окружающего пламени мог уцелеть он, это явное чудо. Прочее же строение того подворья все сгорело. О чем узнавши, служители с женами и детьми своими и прочие жители паки собрались в оный уцелевший корпус, а неприятели еще жесточайшее тиранство свое продолжали, и чем далее, тем беднее одни других являлись, иные почти полунагие. Сии-то и последние посняли с нас сапоги и рубашки, а со священника и крест, носимый на теле, саблей отрезали, ибо был серебряный и позлащен.

19-го числа пришед два французские чиновника и с ними третий, рядовой, наичувствительнейше терзали нас: волочили за волосы, таскали за бороды, и приведя к дверям домовой ризницы, в которой никто еще из неприятелей не был, требовали ключа, коего у нас не имелось, наступая ногами на наши головы, били по хребту тесаками без всякой пощады, представляя, что могу отпереть ризницу. И, если бы рядовой солдат не успел выбить в окне железную решетку, смерть предстояла нам неизбежна. Где водравшись, искали с великим усилием серебра и золота и, разметав все священные одежды, надели на себя две оставшиеся архиерейские митры, в коих и пошли, и, нас с собою захватя в рубищах, босых, с открытою главою, довели только до передних ворот[1]. К счастью нашему, встретился в оных какой-то отличный их чиновник и, поговоря с ними на своем языке, по-видимому с большим гневом и негодованием, а на нас с удивлением посмотря и плечами пожав, отпустил в дом обратно.

Возвратясь от ворот в свое жилище, ни мало не мешкав, пошли к ризнице и то разломанное окно доскою заложили, а дверь как была заперта, так не разломана и осталась, и тем вся ризница в целости сохранилась.

20-го числа въехали стоять в архиерейские покои три майора и четвертый комендант и жили до самого выхода. Служащие при них в домовой церкви с престола, жертвенника и одежды, и от царских дверей завесу поснимали, со святых икон венцы ободрав, на пол побросали, ибо были аплике, а нас отнятием всякой пищи так теснили, что едва не умерли с голоду. Только и питались одною капустою, а хлеба редко кто из служителей или жильцов, где-либо добыв самым малым количеством, и то с великим опаством проносить мог, и тем по сухарю ту минуту делились. Словом, во все то горестное состояние, каковым были изнуряемы голодом, страхом и отчаянием самой жизни, всего того объяснить невозможно. Явно сила Божия в наших немощах совершалась.

Октября с 1-го числа неприятели, как было приметно, не так дерзки и веселы показывались, а несколько и приуныли.

---

[1] Над сими воротами имевшийся образ преподобного Саввы Сторожевского, в полуциркульном деревянном окружии, во время пожара чудесно цел сохранился. Ибо тогда в сие отверстие пламя с Тверской улицы при великой буре и кругообращательном вихре неслось огненною рекою: ворота сгорели, а он на том же стоя брусе, как ныне есть видим, тот самый существует.

С 6-го числа начали выходить из Москвы паратом и с музыкою, и час от часу уменьшаться.

9-го числа стоявшие в доме вышесказанные чиновники, услышав чрез своих служащих, что российские казаки в Москве появились, тотчас ушли наверх и под железную кровлю спрятались. А нам слух пал, что всех оставшихся в Москве жителей велено переколоть, да уж де и колют. И мы со служителями для укрытия вбежали туда же и, в слуховые окна обозревая, между собою говорили: никого и ничего не видать такого. Они, вслушась в разговор наш, один за другим ползком из-под кровли вылазя, самым робким голосом спрашивали: есть казаки или еще нет казаки. Мы совсем об них не знав, и тут же их сверх чаяния нашего видя, своим страхом содрогаемые, отвечали: нет, не видать казаков. И, немедленно сбежав они на низ, сами собою оседлали своих лошадей, подвязав круглые свои чемоданы, захватя при том имевшиеся у них с вареньем стеклянные большие банки, – уехали в Кремль.

10-го числа поутру и служащие их со своими повозками туда же отправились. Мы по выходе неприятелей не медля со штатными служителями архиерейские покои отовсюду заперли, и все, что в них было, и в каком виде осталось, до приезда Его Преосвященства, в том самом и соблюдали.

Освободясь всех вышеозначенных острых искушений и расстройств, утомленность наша паче всего требовала покоя, мы со всеми живущими в доме под 11-е число самым тонким сном забылись, и около полуночи или за полночь, верно знать время было не по чему, внезапно сделался столь сильный удар, что как бы вся Москва разрушилась: ибо во всем доме в одно мгновение ока почти ни единого стекла не осталось, все вон вылетели. Отчего едва могли очувствоваться и вразумить себя. И того же числа, к обрадованию нашему и ободрению, услышали, что и войско наше вступило в Москву, чем, восхищаясь, как бы воскресли.

12-го числа утром весьма рано генерал-майор Иловайский четвертый прислал к нам на подворье чиновника, чтобы мы явились к нему в квартиру, состоящую на Тверской улице, против церкви Димитрия Селунского, с тем, чтобы и приготовились служить литургию и благодарный молебен об избавлении Москвы от неприятеля. Но как я иеромонах ничего не имел, даже сорочки и сапог (кроме ветхих, нанкового халата, шерстяной рясы и камилавки с клобуком, неприятелям неудобных), то в таком чрезвычайном случае снабдили меня: живущий при домовой канцелярии Преосвященного отставной сержант Михайлов дал сорочку, университетский солдат Волков – сапоги. А священник имел шубу и сорочку, штофную рясу, за ветхостью неприятелями оставленную, и худые сапоги. И, готовя себя к священнослужению, явились к генералу Иловайскому, который лично просил нас отслужить литургию и молебен в Страстном монастыре. И как только в оный мы пришли, вскоре прибыл и генерал Иловайский с воинством. Где собором совершая божественную литургию, пели по клиросам люди всякого звания с великим восхищением. Потом начали благодарный молебен с коленопреклонением при

толь многочисленном стечении народа, что, кажется, все жители, кои оставались в Москве, при том были, и при неизреченной радости с пролитием слез воссылали моления Всеблагому и Милосердому Богу. По окончании оного был надлежащий звон, воины и народ кричали «ура»...

Литургию совершал я, иеромонах Иона, с двумя только священниками – с вышеозначенным Иоанном и другим монастыря того. С ними же и молебен исправлял. Были при том и еще: Чудова монастыря казначей иеромонах Иоанникий, Новодевичья монастыря протопоп и другие священники и диаконы, а от каких церквей, нам неизвестно.

Сверх же сего других каковых-либо особенных происшествий при толь тесных обстоятельствах заметить не могли, а многого и не припомним. Декабря, дня 1817-го года.

Университетской церкви настоятель иеромонах Иона

Старина и новизна. Кн. 10. 1905



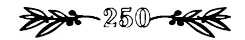
ПИСЬМО МОСКВИЧА[1], ОЧЕВИДЦА СОБЫТИЙ 1812 ГОДА

Милостивый государь Иван Николаевич!

Радуемся от всего и чистого и нелицемерного сердца, что Всемогущий Вас сохранил и сохраняет от всякого зла преходяща. Возвратясь, так сказать, из изгнания, из постыдного, неожидаемого плену, утешительно слышать, что наши родные были счастливее, спокойнее, довольнее нас своею судьбою. Вы упрекаете меня некоторым образом за мою непредвиденность будущего – под именем – с позволения доложить – вздора. Но я вам отвечаю: Единый Бог предведущ; но ни сиятельные, ни превосходительные не могут ручаться за счастие медика и воина. Самые неприятели сознаются в непреодолимой храбрости войск наших, дивятся их мужеству, любви к отечеству; но не им довлеет проникать в причины, по которым жители нашей столицы разбрелись и рассеялись по разным местам. Несчастие велико; потеря стоит дорого; но я все стою твердо в том, что в самом крайнем бедствии доверенность к начальству спасительна; что ежели бы я в тысячу раз претерпел более, то все восхищаться не перестану, представляя себе, что Отечество мое спасено! Вы вскоре уверитесь, что я говорю правду. Обширна, богата была Москва; но Москва не есть целая Россия. Кажется, что Провидению благоугодно показалось пожурить нас за нашу приверженность к отчизне и доказать нам, что народ, столько лет нами безрассудно боготворимый, очень, очень далек от просвещения, благонравия, воинских доблестей и чистой совести прямого россиянина. Будучи ежедневно между и около врагов наших, мог я удобно сравнивать характер их и наших; у них злодей, варвар, убийца без причины; у нас злодею – вилы, доброму, кроткому – гостеприимство. Я сам был свидетелем, сколь сострадательны были наши мужички, когда голодный, по 14, 15 и 16

---

[1] Автором письма является Сокольский Андрей Анисимович, коллежский асессор, преподаватель Екатерининского института (см.: Список лиц, живших в Запасном дворце во время бытности неприятеля в Москвею // *Щукин П.И.* Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года : Ч. 2. – М., 1897. – С. 17–18). В этом же списке находим и фамилию губернского секретаря А. Петрова, о котором пишет Сокольский.



дней не видавший сухаря и картофеля француз просил учтиво себе пропитания у них; сам видел, как отважно мстили они бесчеловечным грабителям. При моих глазах зарыто несколько французских трупов в земле или затоплено в болоте. Короче: я желаю, чтобы имя француза в нашем отечестве было навеки забыто. Быть может, что и между ними есть добрые люди, по крайней мере, я не нашел в них ничего, кроме презрения к тем, коих могущество они уже почувствовали, чувствуют и будут чувствовать. А что они трусы, то могу уверить Вас, что 2–3 казака одним слухом о своем прибытии, разгоняли большие отряды конной гвардии и жандармов. При слове «казак» цепенел каждый парижанин. Грубость нижних чинов неописуема; подчиненности не бывало; уважения к начальству нет никакого. Пришли к Лессепсу жаловаться на грабежи: как де мне одному унять армию; а ее не было и 20 000 человек. Вот как отвечал генерал-интендант, командующий Москвою и Московскою провинциею. Этот Лессепс думал, что когда фуражиры осмеливались выезжать инде на 15, 20, а инде только на 4 и 5 верст далее заставы, то уже в его правлении заключалась вся Московская провинция. Словом, глупы и немцы, но таких невежд, таких варваров, неопрятных скотов вы не сыщете и между нашими остяками. Их офицеры не брезговали месить хлебы в том корыте, в коем только что вымыта была исподница его рядового, хотя русские и уверяли, что корыто погано.

Спросите Вы об их опрятности и щегольстве: я видел некоторых, кои не умывали хари своей от самого выходу из Парижа. А что от них терпят их союзники: немцы, итальянцы и поляки, того описать невозможно. Нас величали они: les barbares, les diables! а тех – проклятая собака! и дразнили или ругали их прямо по-собачьи. Бедные союзники, опасаясь сабли или нагайки, брели, оглядываясь назад с трепетом. Немцы и поляки не получали ни фуражу, ни хлеба, ни мяса, ни вина, а зажиточнейшие из итальянцев должны были платить по талеру на день Императору. Вообще, гости московские жили между собою так дружно, что ежели рядовой 2-й роты обкрадывал у офицера 1-й роты ковшик муки, то офицер, догнавши рядового, разрубал ему крестец надвое саблею. Это было на нашей улице. Ежели камраду разрубили пузо надвое, то другой камрад искать его не ворочался. Это была саранча сама себя пожирающая. Самые французы упрекали недовольных, что они перед Можайском кушали ветчину кобылью. Теперь я познакомил вас с нашими гостями.

Наш отъезд из Москвы

В последнюю середу получено повеление, чтобы нам за институтами ехать в Казань. В четверток я спешил и проститься с Вами и посоветоваться. Мне встречаются, прошед Меншикову башню, Ваши: подхожу поздороваться – меня не узнают. На вопрос: куда путь держат – не отвечают. Как учтивый кавалер, ну провожать их или – признаюсь – гнаться за ними. Приходим к Петрову, и там ни слова. Вот все наше прощанье. – Могу уверить Вас, что, ей

Богу, не с тем я шел, чтобы увязаться, ехать с Вами, а истинно с тем, чтобы спросить у Вас: ехать в Казань или нет. – Мы ждали прогонов от Тутолмина; но в субботу ввечеру получили отказ. Сказано нам, что будем вознаграждены! В воскресенье поутру, имея кобылу, жеребенка и нанявши клячонку за 10 руб., потащились до Измайлова. Наша свита состояла из 13 человек. Лизанька, предоставленная Арефью, была послана Любушкою в мой дом; а Его высокоблагородие – adieu в Нижний! Он уговаривал всех, что нечего опасаться неприятеля до тех пор, пока не подъехала к его воротам кибитка. Все ходили на поклон к Богдыхану, кроме, разумеется, меня. Потом Петров и Заборовской отправились для покупки лошадей; но это было уже поздно; на них начали вывозить остававшихся раненых в Москве. Наступил 1-й час; но их не бывало; мы призадумались; грабеж был во всей силе. Я вышел за вороты; мой Ангел-хранитель указал мне повозку, которую и нанял я до Измайлова за 10 руб. Тут прибыли наши и привели 2-летнего жеребенка с телегою. Надежда оживилась: две телеги, лошадь, кобыла с жеребенком. Тут составились 2 воза, и мы, вооружась, поехали в Измайлово. У Покровского мосту встретили около 5000 раненых, кои разбивали кабаки; нам многие грозили страшною опасностью; но при помощи Провидения, сжавши сердца, мы проехали Семеновскую заставу и с захождением солнца вступили в дом священника. Отпустя нанятую лошадь, расположились перекусить и уснуть покрепче; наши дамы утомились. Но нам не дали покою – пальба из ружей по селу, зверинцу и приходящие из города в нашу квартиру знакомые и незнакомые с полными мешками, заряженными ружьями и саблями. Все то, что взяли с собою, решились оставить на дворе на случай опасности. На другой день мои свояки на оставшейся тележке и паре рысаков – без хомутов и шор – поехали в город. Лишь успели купить мяса, то увидели скачущих через Охотной ряд казаков. Подавай Бог ноги! И наши воротились в 3 часа не с добрыми вестями. Народ бежал мимо нас толпами; грабительство производилось и за нами, и перед нами. На одной тележке ехать было некуда – итак, перекрестясь, остались в Измайлове. Ввечеру видели казаков, кучу попов и много проходящих, кои все подтверждали, что неприятель в 3 часа вошел в город, откуда около 4 часов слышали выстрелы; а в 6 часов возле зверинца так стукнули, что мы присели. Поляки сделали кордон почти около всей Москвы. В этот день пристал к нам отставной офицер Борзянков. В самую полночь человек 10 раненых начали ломить наши ворота; мы вскочили и решились сражаться. Но его мундир защитил нас. В эту ночь загорелись Гостиной двор и Смоленская. Поутру, около 10 часов, запылали фабрики около Новой деревни; запылало Покровское и так далее – около Яузы, Гошпиталя, Немецкий рынок; но в середу сделался пожар всеобщий. Страшное зарево видно за 100 верст. Тут число пришедших в нашей квартире умножилось – и мы для безопасности – оба пока – решились стоять на карауле. Две ночи проводили в ужасе, смотря на разительную картину пылающей Москвы. Ничто и никогда в свете не представляло такой картины! Ветер ломил нашу хижину. В четверг начали в селе появляться фу-

ражиры, по 2, по 3. Крестьяне били их и зарывали. Мы решились переехать в село. В пятницу и субботу начали грабить село; но не так сильно. Наши дамы забились под крышку. Крестьяне разбежались, и мы в 28 домах остались только одни, да прокурор 8-го департамента Петр Иванович Дмитриев. Между фуражирами были беспардонные – т.е. в латах. Воскресенье прошло для нас благополучно, и мы имели случай согласить эскорту французов с крестьянами. Дело обошлось без ссоры. Но – о ужасный день! Понедельник – лишь проснулись; застучали в наши ворота; отняли лошаденек и начали грабить нас нещадно. Офицер Борзянков нашел случай накануне перебраться в город. Не ожидая великой опасности, рано поутру случился я на улице, возвратясь от уехавшей эскорты. Вдруг наскакал на меня поляк, приставил к сердцу пистолет и упрекал меня, будто я кричал накануне: ура! и строго спрашивал: где их кирасиры? (т.е. убитые). Я туда-сюда – смерть перед глазами! Но, благодаря Господа, не совсем струсил и начал его униженно уверять, что не знаю, не видал и кирасиров. 25 минут шельма ругал меня и готов был застрелить; но удалось мне отговориться неведением, и он меня оставил. Наши дамы видели всю эту сцену; а кавалеры – помнится, стояли у ворот. Тут, чтобы избавиться сабли и пули, отворили мы ворота и к нам начали приходить гости, по 6, по 5 и по 3 человека. Они сделали честь нашим сапогам, платкам, капотам, тулупам, подтяжкам и так далее. Даже не устыдились искать у нас серебра и пониже поясницы. Словом я надел лапти и с дырами серый кафтан; Заборовской нарядился не лучше меня; а у Петрова более уцелело; потому что и сапоги и другое одеяние было им не в пору. Нас грабили 2-го и 4-го полку гусары и один – шельма – верно жид – приходил по два дня и с товарищами все у нас повытаскал – даже перочинные ножички, бритвы, с рук кольцы; нашедши пули бросили нам с ругательством в рожи. Во вторник мы сделали из остального имущества род лавки и предлагали, что им нравилось. Это спасало нас от жестоких грубостей. Под вечер пришли трое; я случился на крыльце; двое ухватили меня за руки, а третий, развязавши все бывшее на шее, положил на нее вострую саблю и требовал шуб, серебра, денег и проч.

Постный вид, немецкие клятвы и двугривенный избавили меня и от сей беды. В этот же день прострелили 2 пулями живот господину Дмитриеву, и он на другой день в госпитале скончался, оставя 5 детей. Наши дамы все сидели закупоренные. Хлеба у нас не было; и мы, купивши ржи, посылали молоть ее в полночь. Все – до последнего зерна – было вырываемо. Мужик один показывал. В среду, поймавши курицу, задумали мы спозаранку сварить суп. Приходят 6 человек. Трое полезли в печь; трое пошли грабить и были столь жестоки, что начинали саблями разводить доски на том потолке, над коим сидели наши дамы. Евшие суп начали поприсматриваться к нашим девушкам, шутить – но мне удалось и тех и других избавить от опасности. Евшие суп стали наконец уверять грабивших, что у русских изб не делается ходу на чердак, хотя последние и начинали теребить солому и ломать крышку. Слава Богу! Они нас с покоем оставили, и мы заключенным подали супу. Видимая

опасность, особливо появление пьяных французов, разбивших пивоварню Брыкина, наконец сострадание одного из неприятелей, который советовал мне идти к дивизионному генералу и просить пощады, – вложили в меня мысль решиться и идти в лагерь к неприятелю. Жалеющих, спасибо, было немного, и я в 3 часа после обеда пустился на волю Божью. Дорогою увидел я вдалеке наших грабителей и рассудил идти в город. Был у 2 или 3 генералов; но их не нашел дома. Наконец прибрел к маршалу Мортьё, и его адъютант велел мне идти к коменданту Мило; там нашел я Виллерса, полицмейстера французского; я его знавал, и он мне через ½ часа дал сертификат, в коем было прописано: по указу де Императора оный комендант повелевает всем французским войскам асессору Сокольскому и его фамилии отдавать надлежащий респект и хранить его собственность. Поутру прибил я к воротам копию с сертификата и заложил оные бревном; бросились опять грабить, но, увидя бумагу, иные проходили мимо, иные жестоко ругали, а не умевшие читать грозили саблею и пистолетом в окошки, от коих я не отходил многие дни: как скоро, говорил я, осмелится кто ломать вороты, то я имею приказание от коменданта Мило прямо рапортовать к дивизионному генералу Бауерману (коего я и в глаза не видывал). В пятницу Петров отправился с письмом к Виллерсу, коего я просил, чтобы очистили половину моего дому от постоя, что действительно исполнено через неделю, – чтобы дан был и Петрову сертификат. В тот же четверг разломали задние вороты, но и там удалось мне уверить и отогнать. Таким образом жили в великой опасности до 16-го числа сентября. Сертификаты везде рвали, коменданта ругали, жены наши по-прежнему под крышкою пребывали, но мы вообще большой опасности не видали и спокойнее прежнего спали. С 16-го на 17-е в самую полночь отворили у нас окошко и закричали: вы горите! Я почти два месяца не раздевался, выбежав, увидел, что действительно 4 дома пылают вдруг на той улице, где мы жили. Лошадей не было; какая худая тележонка попалась нам, ну ее починивать и выбираться. Лишь успели вынести что подле нас было, как вдруг являются беспардонные. Прощай все! – но и тут сам Бог удержал их руки от грабительства, и они спрашивали меня, кто зажег? Зажгли сами. В 2½ часа притащились опять ко священнику, который, не могши всего перенести, вынесен был мертвый в церкву, лежавши непогребенный 4 или 5 дней. Здесь опять должно было вооружиться новым терпением, сносить новые грубости; но для погребения старика привезен поп из запасного дворца под французским караулом, которому должно было заплатить; а через несколько дней Петров там же выпросил лошадей и караул, с коим мы и перетащились в запасной дворец.

Как мы тут жили, о том перескажу вам словесно после. 7 октября 4 взрывами поднят на воздух и сожжен полевой двор; а с 10-го на 11-е в 1¾ пополуночи – половина цейхгауза, галерея с большими колоколами, в двух местах стена и Алексеевская башня изволили приподняться со своего места. От первого взрыва протянул я и ручки и ножки, а жена моя закудахтала. Уехали

неприятели, и мы дней через 5 перебрались в дом свой. Тут является Арефий и умножает наше семейство двумя особами, т.е. Настькою и Машкою: первая пожаловала с шолудями[2]; и в нашей кухне начали жить 9 или 10 особ. К Арефью Алексеевичу почтение у всех оказалось велико, но не у меня. И мы после жесточайшей и самой фабричной брани с Петровым расстались. Он почел меня за беглого рекрута и сильными доводами доказал, что он в тысячу раз достойнее и умнее меня. Все этому аплодировали, и я, грешный, прожил 5 дней в бане. О, как жестоки чувства в Казенной палате!

Благодарю Бога, что Он послал мне случай иметь понятие о языках. Заговорил всеми глаголами – а то бы Бог весть что с нами было.

Щукин П.И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. Ч. 1. 1897



---

[2] Шёлуди – длительная (не острая) сыпь по телу, струпья, короста.

ОТРЫВОК ИЗ РУКОПИСИ «ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ» ОТСТАВНОГО ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МОСОЛОВА

В сем году (1812) поехал я пожить в деревню к Степану Александровичу генерал-майору Талызину по просьбе его – поглядеть его завод сахарный, что он завел в своей деревни Денежникове. Выехал я из Москвы в начале июня месяца 1812 года и жил у него два месяца с половиною, где услышал, что французы, не объявя России войны, под начальством своего императора, изверга Наполеона, уже перешли в разных колоннах нашу границу, а армия наша от них ретируется, ибо у него очень много разных наций войска собралось и с ним идут Москву брать. Из столицы же сей все господа, купцы и мещане там, я услышал, выехали в дальние места, но некоторые еще держатся в Москве для защиты своего отечества, а притом там же услышал, что мещанам и боярским людям раздаются из арсеналу ружья, пистолеты, сабли и прочее, кои готовятся на помощь к армии, уже командуемой генералом князем Кутузовым Голенищевым. Почему я за стыд себе почитал остаться праздным в Денежникове, оттуда выехал в Москву и августа 23-го дня приехал в оную – увидел афишки, розданные от военного губернатора графа Растопчина, что будет набрана дружина с разным оружием; я тому и поверил, принял то за истинную правду, думая, что и мне придется с тою дружиною служить, – и так в сей надежде живу дома, дожидаюсь позыву и сбору той дружины, как слышу вдруг, что военный губернатор, комендант Гессе, обер-полицмейстер Ивашкин, полицмейстеры Волков и Дурасов из Москвы уехали и увезли с собою всю полицию с инструментами пожарными, и со всеми ее чинами; сему очень удивился и тут-то узнал обманы тех афишек. Поехал к Петру Крисанфовичу[1], управляющему тогда главным комитетом, – и тот из Москвы выехал неведомо куда; везде нахожу пустые дома; наконец встретился мне офицер, скачет от Кутузова к графу Растопчину. Я его спросил, где армия? Отвечал мне, что «армия ретируется чрез Москву, а может быть, после жестокой баталии Бородинской еще наш предводитель Кутузов даст баталию на Поклонной горе». Слышав сие, приехал домой, велел что мож-

[1] Обольянинов Пётр Хрисанфович, член 1-го Комитета по формированию Московской военной силы.

но забрать из дому, укладывать в коляску и в дрожки, ибо у меня только 4 лошади тогда было; и стали дожидаться в доме своем той баталии решительной, о которой мне офицер сказывал; сие было 30-го дня августа. Жалею и теперь, что не спросил я его, которого он полку и его фамилию; он же прибавил мне и увеличил мою надежду, что «в Бородинской баталии больше потеряли французы, нежели российские войска, и что Наполеон на другой день не осмелился больше нас тревожить, и потому мы спокойно маршируем до Поклонной горы, где и остановимся еще поражать неприятеля». В таких мыслях сидел я дома спокойно до самого 2 сентября, которое число было в понедельник поехал я верхом узнать, что в Кремле делается и не найду ли кого из военных чинов; и подлинно нашел, но только не команды коменданта Гессе, а из арьергарда ген. Милорадовича последних казаков с командиром их штаб-офицером до 300, который собирает их из лавок, чтоб скорей выйти из Москвы; и ко мне подъехал, сказав, что «армия наша в минувшую ночь прошла чрез Москву, а я де последний ретируюсь», и мне советовал «скорей вон из Москвы уехать».

Признаюсь, досадно было мне сие от него услышать, что без бою Москву оставляем неприятелям на разорение; итак я, поворотя от него свою лошадь, поехал домой со своим человеком Василием, который также был верхом за мною. И доехавши лишь до своей улицы Малой Дмитровки, как уже встретили меня два драгуна французской службы и едут, как будто в свой город, не обнаживши свои сабли; поравнявшись со мною, спрашивают меня по-французски, «которой я партии?» Я отвечал также по-французски, что я ни к какой партии не принадлежу, а российский генерал, давно живу в отставке в своем доме; спросили, «а где твой дом?» Отвечал, что отсюда недалеко; потом сказали мне, чтоб я приказал своему человеку с лошади слезть, а ту лошадь им отдать. «Я не дам вам лошадь и думаю, что вам не велено грабить тех обывателей, которые смирно жили в домах своих, а когда вы насильно будете брать, я поеду на вас жаловаться вашему генералу». Они, видно, оробели сего смелого моего отзыва или потому, что я был в мундире и при шпаге: только при первой встрече неприятельской я от них остался с выигрышем и домой приехал здоров и цел; велел расседлать скорей лошадей и запереть ворота; потом в тот же час увидел едущих по той же улице неприятельские эскадроны, марширующие взводами настоящим порядком и со своими командирами; но ниже ни у одного не вынута сабля; а иные и пели песни, а как приходили переулки, то разделялись по взводам в разные ж улицы разъезжались. Как обыкновенно, входя в город и занимая оный, фланкеры[2] делать должны[3].

---

[2] Фланкёр (*воен. устар.*) – тот, кто выслан на фланкировку, на прикрытие флангов.

[3] Сии передовые войска вошли в Москву, все были авангарда под командою Мюрата, Неапольского короля; а император их Наполеон въехал с своею гвардиею 4-го числа сентября ж с барабанным боем верхом и жил в Кремле во дворце; после отбытия его остался главным начальником над войском маршал Мортье, под ним в Москве определен комендантом генерал дивизионный граф Мильио, а интендантом в городе и провинции московской был Лессепс, от которого печатаны были народу прокламации. – *Прим. авт.*

Потом, как все прошли, помянутые два драгуна, возвратившись к моему дому, еще привели с собою четырех драгун и просятся на двор, кричат, чтоб ворота были отперты. Я велел их пустить, дабы не изломали чего; стали просить ту лошадь, что на улице под человеком видели. Я упрямился долго и стращал их, что буду жаловаться на них, но дело доходило до сабель; закричали: nous massacrons tous, то есть всех перерубим; принужден был отдать ту лошадь им; взявши оную, тотчас уехали со двора, первый день сим и кончился. Никто не заезжал и не приходил на двор, а ехали и шли по улице довольно много, и ночь прошла благополучно. На другой день, часу в девятом, то есть 3-го числа, пришли два французские офицера к вратам, ибо оные были заперты, просились на двор, я велел отпереть и сам их встретил, спросил, что им надобно? Отвечали, что «мы хотим здесь квартировать»; я подумал, что лучше офицеров иметь постоем, нежели нижних чинов, согласился. Они вышли и скоро потом приехали с бричкой. Один объявил о себе, что он инспектор квартир, а другие два офицера, один из них был болен, расположились в тех комнатах, где Фонвизин нанимал, ничего у меня не требовали, кроме кастрюль и посуды, все к ужину изготовили из своего припасу, слуга у них был один француз. И так провели ночь спокойно, даже сена и овса лошадям, коих было 5, у меня не взяли, а привезли откуда-то не знаю. Ужасно как я обрадовался таким постояльцам отменно добрым и думал, что они у меня долго квартировать будут, но на другой день, т.е. 4-го числа, они, собравшись в бричке своей, в 10-м часу со двора поехали, сказав мне, что они авангардного войска, команды Неапольского короля Мюрата. После их тотчас явились и на двор пришли тушельщики огня, при унтер-офицере, и саперы. Ибо наша сторона уже горит, я им сказал, что помощь ваша мне не нужна, увидев, что они уже побывали в верхних комнатах, но там нечего было взять; что ж они сделали? Пошли около моего дому ближайшие дома купеческие не охранять, а зажигать, и меня тем огнем выгнать из дому, чтоб лучше грабить. И так увидевши я сие злодейство, велел скорей нужные вещи и книги в коляску класть и на дрожки для уходу от пожару, ибо уже у дому моего загорелась крышка, вышел со двора и с людьми моими со слезами, запряжа в коляску одну лошадь, а в дрожки – две, потому что одну лошадь прежде сего увели, всех было четыре. После сего набежало на двор мой тех тушельщиков и саперов много и зачали грабить. А я с людьми своими и повозками поворотил в переулок, увидев дом пустой, уже также ограбленный, туда на двор заехал в мыслях тех, что уже в ограбленной дом никто не придет, а сам вышел я за врата; но те же саперы, или, лучше сказать, бродяги, увидев меня, обступили, просили денег, я им дал три рубля серебром, – ушли; а потом и драгуны на тот двор с ними пришли и начали грабить, что в коляске было и на дрожках, а два жандарма пошли в конюшню, нашли там лошадей, увели, потом зажгли и дом тот с его строением и съезжею, против ворот того дома бывшею, так что мне выйти в ворота не можно было, ибо все пламенем обхватило. Велел людям искать лестницу, чтоб перелезть чрез стену каменную, спасти себя и людей, и так,

приставивши лестницу к стене, которая окружала сад купца Шевалдышева, к нему в сад и полезли. Лишь только лучшие вещи туда спустили, как прибежал французский драгун и начал грабить: разломав эфесом шкатулку, взял из нее лучшее в глазах людей моих – бриллиантовый перстень, табакерки золотые, деньги и прочее, что в ней было, наполнил карман, ушел. Я думал в саду чужом укрыться и найти себе спасение от этих злодеев, но там уже давно шатаются те грабители и зажигатели, ибо купец был очень богатый. В саду я спознакомился с хозяином того дома и саду, просил у него извинения, что без позволения очутился я в его саду, хотя совсем не был знаком, сказав ему о своем несчастии и что огонь меня сюда пригнал. А он мне отвечал, что уже другой день как его дом грабят и везде роются в саду и ищут, а у ворот приставили караул, чтоб никто выйти не мог. Тогда-то я крепко вздохнул: ушел от огня, а попался в руки к злодеям, весь день сей 4-го числа беспрестанно то те, то другие приходили, обыскивали всех нас, мужчин и женщин, раздевали даже до рубашки и грабили.

Как-то другая моя шкатулка уцелела, люди ее спрятали в густой куст еще во время как перелезли чрез стену. Но лишь как легли мы спать на траве, вдруг услышали мы крик от женщин, ибо у Шевалдышева их было довольно, а сей сделался от сего, что набежали те грабители и начали грабить, а потом и к нам пришли с обнаженными саблями, приставляют каждому к груди, кричат «ларжан, ларжан», т.е. деньги, и ко мне один прибежал, также просит денег, а как я уже скрыл себя от генеральства и был так же по-мужицки одет, отвечал ему – нема, нету, будто не знаю, что он говорит. Ударил меня саблею плашмя, а потом велит последние сапоги с ног скидать, а как у меня сил на то не было, ибо и ноги уже опухли, рассердился бестия, думал, что я не хочу отдавать, взмахнул саблю и хотел разрубить голову, которую я защитил левою рукою, дал большую рану, кровь потекла, меня оставил, рассмеявшись, сказал: voila quelle folie il a voulu perdre la tête pour les bottes, то есть «вот какое дурачество, хотел потерять голову за сапоги». К другим пошел грабить, был бестия немного пьян. Кабы не тулуп толстый овчинный, которой дал мне купец, в другом бы платье совсем бы перерубил руку; насилу кровь уняли, догадался я, велел земли горсть принесть и смешать с водой, сделалась лепешка, и к ране приложил, и лишь высохнет оная от чрезмерного жара, переменял другую, сделалась большая опухоль в руке и лом от удару, боялся, чтоб не сделался антонов огонь, ибо опухоль увеличилась. Вспомнил я, что в шкатулке, которую у стены разбил француз, в ней была бутылочка с апопольдоком[4], послал туда искать, и подлинно оную нашли в траве, принесли ко мне. Апопольдоком стал я мазать около раны, опухоль стала уменьшаться, а рана засохла в крови вместе с землею, и так далее, слава Богу, чрез 21 день рука зажила, и я по-прежнему ею владею. В саду у купца Шевалдышева Тимофея пробыл я, больной от простуды и

[4] Возможно, польдоксин – противоинфекционный препарат.

раненый, до 12-го числа того ж месяца. Каждый день и в ночь приходили французы и других наций, и грабили то в доме у него и в подвалах, то к нам в сад придут, и каждому грабителю раздевались до рубашки, везде ищут и роют; а дом зажгли его 5-го числа, и, к несчастию нашему, все искры от пламени из дому и от всего строения с головнями на нас несло, ибо ветер так был; 10 суток мы были под пламенным небом. День и ночь покрыты были несящими искрами и с дымом, ибо тогда ветры были сильные. Потом Шевалдышев, хозяин, как его прибили, ушел, а остался после его сын Александра с женою и людьми, коих у него довольно было; и я думаю, что и они так же грабили, ибо вот что случилось. Сказал я выше сего, что другая шкатулка моя спрятана была в кусту; вдруг несет ее ко мне хозяйский иконописец целую и в ней с ключом, но уже пустую, будто нашел он ее у ворот брошенною. Я спросил, где французы взяли ключ, им некогда, да и негде подбирать ключи, они бы, как и первую, разломали; но, видно, ее очистили свои, как во второй день в саду француз снял с меня последний жилет, то ключи были в нем от сей шкатулки, и, видно, оные выронил, а свои приметили и подобрали; шкатулку же принес в пятый день после того. Впрочем, Бог знает правду и ложь. Он сердцевидец и помышления человеческие знает. Только с этим иконописцем последовало хуже моего. Будучи я с людьми моими уже в подвалах дома сгоревшего госпожи Березниковой, куда я перешел жить 12-го числа того ж месяца. Так же перелезли мы из саду по лестнице чрез стену ночью. Вышел я оттуда единственно для того, что каждый день и ночью встревожены были от французов, ибо купец был очень богатый, не могли скоро его ограбить; пришел его ко мне сын, сказал, что сего иконописца французы закололи и суд о шкатулке кончился. В подвалах я жил одиннадцать дней и сделался больше болен, почувствовал в левом боку от жестоких ветров колику, т.е. воспаление от простуды, или по-французски pleuresie. Лекарей нет, помочь некому, и лекарства не бывало, жар престрашный чувствую, а пить нечего, как сырую воду, и за той пошлешь человека, попадётся французам, берут насильно на свою работу до самого вечера носить грабленное в лагерь. Признаюсь, согрешил пред Богом! Желал смерти, нежели мучиться в таком положении, а притом ожидая еще больше от злодеев тиранства; где-то люди достали соленых огурцов, оные от жару и жажды ел и пил рассол несколько дней, а французы так же и туда в подвал нас посещали днем и ночью, но уже нечего было грабить, только тревожили напрасно. Ночью ж приходили с обнаженными шпагами, имев в руках толстые большие восковые свечи, зажженные, видно, от образов из церквей набрали. Шевалдышева купца сын Александра пришел ко мне сказать, что он видел на вратах подпись по-русски «Здесь принимаются просьбы». Я, собрав последние свои силы, написать туда, чтоб мне прислали охранительный лист, дабы меня как полумертвого не тревожили грабители, изъяснив в оном обо всем, и чтоб прислали меня освидетельствовать, в каком я положении есть и болен, однако ж никто прислан не был; а человеку моему Ва-

силию дан *лист печатный,* и приказывается оным меня почитать как русского генерала и больного, а притом и до имения моего не касаться, которое уже огнем истреблено и французами ограблено, то есть от всего имущества осталось на мне сертук старый, красный камзол, штаны старые, чулки и сапоги; а часы с цепочкою и 75 рублей денег потому остались целыми, что их не нашли. Оный лист у меня сберегается для памяти моих бедствий; сей лист некоторые уважали и тотчас вон уходили, а другие и глядеть на него не хотели, а делали свое, ибо много нашло сбродного войска больше на грабеж, нежели на войну, – швейцарцы, голландцы, далматцы, итальянцы, гишпанцы, португальцы, вестфальцы, баварцы и поляки; эти пуще всех грабили и больше проводниками и переводчиками были при грабежах; а французов настоящих как слышно в войске не очень много было. В подвалах жить мне стало очень трудно, и сделался смрад, велел искать, нет ли где дому жилого и целого, нашли у дьячка в приходе церкви Николая чудотворца в Столпах; туда привели меня почти на руках 23-го числа в пустые же две избы; а дьячок ушел из дому в чужой; ибо у него ж был постоялец, у которого квартировали гишпанцы и португальцы с полковником, прямо добрые люди, они почти каждый день давали мне по куску хлеба; а людям – простого вина; в этом доме мы начали только есть хлеб; а то люди мои питались одною пареною пшеницею, а мы кашицу варили пустую, иногда кусок рыбы соленой туда клали, и то было не в пользу в рассуждении моей болезни. Боже мой! что человек не перетерпит! В дьячковом доме ко мне принесли образ Спасителя Нерукотворенного. Там же я узнал, что Воспитательной дом цел и Тутолмин Иван Акинфович оставлен при нем главным начальником. Послал к нему письмо, в котором прошу, чтобы он прислал ко мне хлеба и кусок сахару; подлинно скоро и прислал фунт сахару, вина белого бутылку и белого хлеба, до слез была радость! что я это получил; не пивши чаю, которого мне немного дал дьячок, почти целый месяц, а особливо в болезни желал сего; благодарил Бога, что из крайности начал выходить! А потом Тутолмин и есть присылывал, наконец, и сам меня посетил, удивился, в каком состоянии я нахожусь, узнавши от меня, в каких я был опасностях. В дьячковом доме уже никто не приходил грабить: может быть, были сыты или оттого, что тут португальцы стояли, о том наверное не могу решительно сказать. Тут я взял у постояльца русского две прокламации от интенданта Лессепса, напечатанные по повелению императора Наполеона на русском и французском языках, к народу российскому. Содержание оных больше клонится к их пользе, нежели обывателям. Хотели прельстить словами, чтоб привозили хлеб и фураж в Москву на продажу, но, спасибо, не оказалось таких дураков. В Немецкой слободе и зачали было продавать мясники мясо, но на другой день у них все даром поотымали французы, и после оных прокламаций как же верить их словам? А мясники насилу ушли из Москвы. Кофий же, сахар и чай, и вино продавали одни французинки, приехавшие с ними, и то только за серебряные деньги, потому и не можно было мне ку-

пить ничего, хотя и осталось от всех денег у меня в книжке памятной 75 руб. ассигнациями, которая у меня была зашита в подушке, там же и часы золотые с цепочкою бриллиантовою спрятаны были, уцелели, и то удивительно, ибо и перины иные растрясывали. Патенты на чины и рескрипты, присланные с орденами от государыни Екатерины Алексеевны, блаженныя памяти Второй, и прочие бумаги, собранные мною в одно место и в портфель положены, и то было ими унесено, но как там денег не нашли, в саду у Шевалдышева их и бросили; уже нашли оные после меня, принес ко мне Шевалдышева сын Александр, все мокрые, насилу мог высушить; обрадован был очень, что они не пропали, еще Бог! до меня милостив, а ордена можно и купить, когда деньги будут; у дьячка в доме еще сделался я больше болен, так что, с позволения сказать, меня на судно подымали, ибо сделался большой понос, а прежде были все запоры и жар. Однако ж я был сему рад, что всю гнилость, которая завелась у меня в желудке от худого кушанья, очищаться тем началась, и счастие было мое, что изба была теплая. Жил вместе с людьми и мещанином Михаилом Николаевичем Поповым, что у меня дом берег, как я иногда из Москвы выезжал. Дьячок Григорий Иванович был его дядя, за то заплатил ему 25 руб. денег и за то, что мне он давал иногда чайку и меду. А потом живописец Иван Иванович, фамилии его не помню, увидел моего человека Василия у ворот стоящего и, узнавши от него, что я пребываю здесь в доме, ко мне пришел, ибо мы прежде сего с ним знакомы были, и, сжалясь над моим состоянием, побежал к французскому генералу ордонатеру, фамилия его Неовевиль (Neuveville), у которого он был поневоле переводчиком, хотя немец, но знал по-французски, объяснив мое состояние ему и что я в дурной квартире лежу, болен, без малейшей пищи. Сей ордонатер, видно, был доброго сердца, тронулся моим состоянием или для того, что он из дому выезжает жить в Кремль, тотчас прислал сего живописца просить меня жить в тот дом, где он стоял. Сей дом г-на Веневитинова, каменный о двух этажах, однако ж в осторожность свою, я велел позвать к себе того дома управителя, его зовут Иван Григорьев, согласен ли будет он на сие? Пришел он ко мне и просил усердно, говорил: «При вас де мы все дворовые люди спокойнее будем, да и люди меня лучше слушаться будут, а то многие французам помогают». Итак, меня в тот дом перенесли 8-го числа октября и дали мне пустые две комнаты, где прежде французский офицер жил, уже все ограбленное; правду сказать, подлинно сей ордонатер добрый велел своему повару мне варить суп мясной и дал мне полторы головы сахару, кофию больше 5 фунтов, 7 бутылок вина белого, полторы штуки фризу, которым я одел себя и людей всех, даже и из Кремля присылал со своим человеком мясо; и потом перед выходом из Москвы мне выпросил у Лессепса сто рублей денег и прислал с тем же переводчиком, – стало [быть], и у французов есть добрые люди и жалостливы над несчастными; дай Бог ему здоровья; даже и в солдатах есть много добрых людей; как я был в саду у Шевалдышева? уже больной и раненый, то иные французы приходили

только посидеть с нами и с собою вино разного сорту приносили, потчевали и нас им, и детям давали коринки, без сумнения, что все было награбленное; а иные были даже босы и наги, видно голые ноги; однако же ничего не брали и сапог ни с кого не снимали, уходили от нас, ничего не сделавши злого; разговоры иногда слышал на французском языке, между ими, похожие на ропот: «Завел нас Наполеон далеко, как-то и когда увидим свое отечество, ведь еще не всю Россию взяли». Видно, много недовольных есть в армии, а большая часть служит из страху. Как французы оставили Москву, довольно разоренную, но и хотели подорвать весь Кремль, так было слышно, но, видно, не было уже время им каналы для пороху подкапывать или не было таких инженеров знающих, только часть стены к арсеналу взорвали да караульню с колокольнею, а дворец зажгли; по выходе их вступили казаки и прочие войска российские под командою генерал-майора Ивана Дмитриевича Еловальскаго[5]. Французы вышли из Москвы под командою маршала Мортье 11 октября до свету, пошли по Калужской дороге, так было слышно. В доме Веневитинова жил я до 23-го числа октября, уже немного выздоровел, ходил пешком, направлял ноги слабые, ибо время сделалось теплое и дни прекрасные, как бывает весною. Иногда заходил обедать к Тутолмину – спасибо ему, человек добрый, рад был, когда приду, у него нашел я живущего тайного советника Повалишина и приходящего также обедать генерала Сипягина, также ограбленных французами. А как приказчик Степана Степановича Апраксина Бизбаум уведомился обо мне, что я болен и нахожусь с людьми моими в доме Веневитинова, пришед ко мне, я просил его, чтобы он перевез меня с людьми моими в село Ольгово Степ. Степановича, рад был, что он послушался, и то сделал; и так приехал в Ольгово 24 октября 1812 года, в четверг; а там что будет со мною – на милосердие Божие! и Его волю отдаюсь.

В сем моем страдании удивительного случилось, к замечанию, следующее.

1. В чужом доме, куда пришел, коляска и дрожки еще не были разграбленные и дом еще не был французами зажжен, велел я людям поскорей из коляски и дрожек взять что лучшее и спрятать, а особливо белье и шкатулки; человек белье вынимавши из чемодана, из которого в то ж время выпала на землю одна книжка, которых там было положено до 60 лучших. Я увидел сие, что за книга сама собою выпала, и велел поднять, принес ко мне: *Жизнь и страдания Иисуса Христа* на французском языке, par Sinte Realle. Я подумал: видно, и мне страдать и терпеть от злодеев.

2. Образ Казанской Богоматери! Благословение отца моего, артиллерии капитана Ивана Григорьевича, данный мне из рук его при конце его жизни, когда мне еще было только 10 лет, грабителями французами два раза был с меня снят у купца Шевалдышева Тимофея в саду: ибо на сих складнях есть

[5] Точнее, Иловайского.

цка[6] серебряная и вызолоченная. Сей образ на другой день обратно ко мне приносили, в первый раз баба, а во второй раз – мальчик того купца, и находили его в саду, благодарю Бога! весь цел и теперь у меня есть.

3. Как лежал в избе у дьячка и был очень болен, откуда-то принес мальчик образ Спасителя Нерукотвореннаго, сказав мне, что он на улице его поднял; а в тот день ко мне и переводчик от французского ордонатера пришел, Иван Иванович, и выпросил у того генерала мне комнату, есть и пить, а то бы не столько от болезни, а больше бы с голоду умер, не видавши хлеба 29 дней, и пил только сырую воду, с того дня как образ сей я получил, с того дня и болезнь моя зачала уменьшаться; сей образ и поныне у меня есть в целости.

Щукин П.И. Бумаги, относящиеся
до Отечественной войны 1812 года. Ч. 8. 1904



[6] Дощечка.

РАССКАЗ МОСКВИЧА О МОСКВЕ ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В НЕЙ ФРАНЦУЗОВ В ПЕРВЫЕ ТРИ НЕДЕЛИ СЕНТЯБРЯ 1812 ГОДА

Дщерь несчастия! Богиня плача и рыдания, прииди и устрой глас мой, подкрепи меня слабого и пораженного печалью, да я, при помощи твоей, разительнее могу описать несчастия свои, со мною встречающиеся во время пребывания моего у неприятелей в Москве; да в плаче и сетовании изображу внутреннее возмущение души моей и воздыхания, со слезами вырывающиеся из сердца моего! До вступления неприятеля еще в град наш я уже готовил пить себе чашу горести; разлука с женою и малолетними детьми моими была первым для меня несчастием; хотя я и льстился тою надеждою, что буду иметь скорое свидание с ними, однако ж обманулся: нечаянное и внезапное вступление неприятелей в Москву послужили мне препятствием; оставленный один с престарелою моею родительницею для сохранения дому своего, беспокоился и возмущался духом своим; дни сии для меня были самыми скучными, жестокими и мучительными. Тогда-то я представлял в мыслях своих перемены настоящие сей жизни; размышлял о непостоянстве счастья, рассуждал, как Фортуна и озаренных счастьем низвергает в бездну злоключения во всякое время. Видел я приходивших ко мне неприятелей, которые грабили и уносили все из имения, в доме моем находящееся. Ни одного не проходило дня, в который бы жизнь моя не подвергалась опасностям; ужасы смерти никогда не были разлучны с душою моею; самые безопасности становились для меня крайностью и навлекали на меня страх и возмущение; от взору неприятелей, мною вдали видимых и могущих со мною встретиться, трепетал я и ужасался. Что уже сказать о том, когда я попадался в руки самих неприятелей и когда от них был отягощаем великим бременем трудов? Ах! Сего изобразить не в состоянии слабым пером моим! Ни ум, ни язык мой великость сих несчастий изъяснить не может! Единое сердце, ты, единое сердце, могло чувствовать в то время висящие над главою моею опасности, могло чувствовать, да и теперь еще чувствуешь, и теперь не изгладилось из внутренности твоей тягчайшее бремя злополучия, коим ты было поражено! Рабство, коим меня обременяли торжествующие враги, едва не подвергло меня вечной погибели. Если чем сохранял я свою жизнь, которая всего дороже для малолетних моих

детей, то именно одним повиновением, покорностью и послушанием, оказываемым мною под предлогом всегда неприятелям. Неприятели возносили гордую свою выю надо мною слабым, а я кротостью своею умягчал их надменность. Они мне оказывали суровость, дышали злобою и жестокосердием, а я покорностью своею, от страха происходящею, привлекал к себе иных сожаление и любовь. Видел я обнаженные мечи неприятелей, над главою моею потрясающиеся; смотрел я на оружия, ко груди моей приставляемые, и льющимися из очей моих слезами, вздохами, из сердца вырывающимися, совлечением с себя последнего моего одеяния, спасал я самого себя. Чувствовал в самом себе иногда великое рвение, ярость и гнев от причиняемых мне неприятелями жестоких ударов, но и при таком возмущении удерживал дух мой в пределах умеренности, не давал ему быть обнаруженным к неприятелям в сильных страстях сих, повинуясь, яко пленник, воле неприятельской. Полагался только я на одного Всевышнего Творца; препровождал в глубоких воздыханиях долгие ночи, сном мирным не посещаемые; препоруча себя власти и промыслу Провидения Божия, облеченный в разодранное рубище, дрожал я от холода, бури и ненастья, но десницей Божьей был избавлен жестоких болезней, могущих произойти от простуды. Сердце мое хотя погружалось в кровавых слезах и сетовании, но, подкрепляемое рукою Божьею, непричастно было уныния и отчаяния, сих страстей, могущих погубить совсем человека. Вздыхал и проливал слезы, видя развалины огромных зданий; ходил в глубокой задумчивости по пространным местам, покрытым прахом и пеплом, ходил и ничего более не слышал, кроме стонов и воплей несчастных наших соотечественников, кроме пылающего пламени и тлеющегося над развалинами домов пепла. Освобождаясь от ига и рабства неприятелей, по причине слез и плача своего, неоднократно приходил я к развалинам дома моего и, взирая на пепел, лил горестные из очей моих слезы. Обиталище и местопребывание мое, как во время ночи, так и во время дня, был иногда самый пепел, теплотою своею меня согревающий от стужи в рубище, а иногда хладная земля, покрытая лугами, иногда были жилищем нашим те дома, в коих не успевали еще пронзенное холодом тело наше согреть, как видели уже загорающимися от огня; не было для меня постоянного и не переменяемого места, в коем бы я мог довольно времени быть. Храмы, самые священные храмы, в коих я видел великое множество несчастных наших московских жителей, недолго были нашим жилищем: взаимная связь, дружелюбие, общие вспомоществования, кои я имел с некоторыми семействами, были расторгаемы то неприятелями, то ветреными нашими людьми. Не упоминаю я уже о болезнях, коими видел я многих удрученных здесь; могу только сказать о лишении сил своих и утомлении. Хотя я несколько употреблял пищи, смешивая оную со слезами моими, однако и при самом моем изнеможении сил, при самом гладе, меня поражающем, чувствовал я неприятность от вкуса ее. Вот те несчастия, вот та чаша горести, которую я испил! Все сие пространнее видеть можно из нижеследующего моего описания.

Описание моего пребывания в Москве во время французов с 1 по 21 сентября 1812 года

1 сентября, по счастию моему, успел я отправить из Москвы жену мою и малолетних детей, назнача им пребывание в деревни Новой, что по Троицкой дороге, где б они дожидались меня. Но ах! Сего не случилось: судьба приуготовляла мне пить чашу горестей, я поражен был несчастьем, совсем мною неожиданным.

2-го числа воспоследовала со мною величайшая перемена: желания, намерения, кои имел я в мыслях своих, остались тщетными и бесполезными. Я видел уже в Москву входящих французов, от коих пришел в беспамятство. Не зная, за что взяться и что убирать, копал яму для сундука с величайшим напряжением сил моих; в замешательстве и расстройстве мыслей укладывал в него самое лучшее из имения; наконец, вдруг увидел входящего в дом мой одного француза, который бегал, как бешеный, смотрел на ту и другую сторону и говорил мне на своем французском языке; а как я не знал оного, то делал ему рукою знак, чтобы он вошел в комнаты мои. Описывая горестное свое состояние, должен я упомянуть и о несчастных женщинах, не имеющих никакого пристанища, коих было семь человек: мать с дочерью больною, умевшею говорить на французском языке, посредством коей и ответствовал я на вопросы оному французу. Упомянутый неприятель, войдя в комнаты мои, стремительно обегал их, удивлялся вопросам девицы, говорившей ему по-французски и, подумав несколько, отвечал ей, что он смотрит, нет ли здесь солдат российских и оружия, потом просил хлеба. Я велел дать оного и, сверх сего, еще полштофа сладкой водки, коей у меня только и было. Он, наливши рюмку, приказывал мне наперед выпить. Я, увидя его сомневающегося, принял рюмку и пил; потом, по приказанию его, подал ему масла коровьего и еще мяса, и он столько ел жадно, что ничего поставленного мною не оставил. Во время сие хвалил он своего Императора и обнадеживал нас, что с нами ничего не будет: «Домы ваши будут целы и имения ваши не будут разграблены; если же кто осмелится тронуть, то объявите офицеру, и грабители будут наказаны». Я хотел продолжать с ним разговор чрез сию девицу, но увидев, что она слаба, да и не понимает смыслу французского языка, оставил их и пошел в другую половину комнаты, где б дать волю течь слезам моим. С коленопреклонением просил Бога о прощении наших согрешений, потом опять вошел к ним и увидел, что он вышел вон, довольно укрепивши себя пищею. В сие-то время я начал колебаться в мыслях своих: если мне бежать из Москвы, то мне нанесут беспокойство, бывшие со мною. Говорил я родительнице своей, чтоб она со мною ушла тайным образом, но она отговаривалась от сего, представляя мне ту причину, что никакой еще нет опасности; при крайности же можем уйти и в следующий день. Наступила ночь, в которую я хотя и беспокоился, однако с нами ничего не случилось. Часто выходил на двор, где слышал стоны в соседних домах, стоны, означающие разбойнический грабеж. В третий день поутру пришел ко мне мой родственник

и говорил мне, что французы вошли самым благовидным образом и что один французский офицер говорил со мной весьма ласково и потчевал арбузом, за который он заплатил столько, сколько потребовал лавочник. Поговоривши я с сим моим родственником, расстался и после него ничего не делал и не убирал, а только ходил взад и вперед по комнате и был в глубокой задумчивости. В половине дня пошел я к Арбатским воротам уведомить оного родственника и, пришедши в дом его, увидел, что у него 6 человек французов искали хлеба, а у соседа его и другие прихоти исполнять хотели: кто что хотел, тот то и брал. Увидя неприятелей в доме его, я пустился бежать в дом свой. Не прошло часа, как явились и ко мне четыре француза, начали искать всего, копали и брали все то, что им надобно, а именно: рубашки, платки, манишки. Сколько я им ни представлял бедность свою, но они, ни на что не взирая, брали все оное. За ними еще вслед другие пять человек пришли и тоже грабили, из коих один, будучи благосклоннее, вошел со мною в разговор чрез оную девицу, соболезновал об участи моей и советовал, чтоб я убрал оставшееся имущество и научал, как спастись от грабительства неприятелей; потом, вынув он бутылку дреймадеры, с ним бывшую, пил сам, также просил и меня неотступно выпить. Сколько я ни отговаривался, но принужден был пить, смешав со слезами моими. Многих приходивших сей француз отводил от моего дому, говоря, что я здесь от начальников приставлен для сохранения оного дому и имения, и тем самым сохранял от грабителей. Сие продолжалось до самых сумерек. Выходил оный неприятель к стучавшимся в сие время четырем французам и не мог уже их уговорить от грабежа; они выгнали и его и делались мне защитниками, причем уверяли, чтоб я ничего не опасался, а между тем спрашивали сахару, пива, водки и белых хлебов. Но как у меня сего не было, да и достать негде, то от сего они пришли в бешенство, начали мне угрожать опасностью и убеждениям моим не могли поверить до тех пор, пока не обыскали весь дом и погреба. Ничего не нашедши, несколько успокоились, стали обходиться ласковее, потом вышли двое куда-то, не знаю, и принесли чугун готовой живности, велели нам поставить на очаг. Покамест это готовилось, они между тем пили принесенные с собою напитки и, напившись пьяны, потребовали перин. Я тотчас велел постлать им постели; двое из них легли, а двое пошли к соседу моему в дом искать у него напитков. Возвратившись оттуда с одними вязаными перчатками, сели с нами, и казалось мне, что они старались за мною примечать. Я часто выходил на двор смотреть на пламя, пылающее в рядах, и на загорающиеся в других местах здания. Также и они, растворив окошко, смотрели и уверяли меня, что это не французы жгут, а русские. В сие время, т.е. часу в первом ночи, загорелся соседа моего дом, смежный с моим. Тогда я, оставя все, дом свой и имение, в нем находящееся, хотел бежать, сказав родительнице, чтобы и она за мною следовала. Лишь только за ворота вышел, как они выбегли на улицу и, схвативши меня, велели опять идти в дом мой. Сколько я их ни убеждал, прося у них со слезами увольнения об отпущении себя, но они сего не сдела-

ли. Нечаянно наехал на нас объездной их офицер, кой, будучи тронут моею просьбою и слезами, велел меня отпустить. И таким образом освободясь от них, пустился я бежать со всеми прочими, взявши под руку родительницу свою. В замешательстве и забвении не знали сами, куда шли. Приближаясь к Пречистинским воротам, увидели бегущих прямо на нас двоих французов с обнаженными мечами, кои, остановя меня, приставляли к груди моей обнаженный меч и угрожали мне смертью. Родительница, видя сие мое несчастие, поверглась к ногам сих неприятелей, и все вообще, со мною бывшие, просили их о помиловании меня. Они же, не внимая их прошениям, требовали денег. При таких угрозах и при таких опасностях, желая сохранить я жизнь свою, все их прошения дерзостные принужден был исполнять. Вынимал им денег, но не более 50 копеек, кои они брося, начали более мне угрожать смертью и требовали безотступно от меня серебра. Последние три рубля отдав им, велел им себя осмотреть всего, как им угодно. По обыскании, нашли у меня они ножик перочинный и, взявши оный, отпустили меня.

По претерпении сих ужасов, пустились мы бежать на каменный мост, стараясь всячески укрываться от неприятелей; косогором спускаясь к лесным рядам, находили препятствие от лаяния собак, не дающих нам тихо проходить. Между тем видели мы издали, как пламень пожирал огромные здания, как неприятели повсюду учиняли грабежи. В отчаянии и страхе прибежали на каменный мост и, поднявшись до половины оного, увидели на той стороне темноту страшную, возвратились и пошли по набережной. Прошед ее, несколько сошли по сходам вниз к Москве-реке, где увидели караульню и были долго в нерешимости, думая, что в оной будке находятся французы. Однако ж там никого не было. Потом смотрели на огонь, кой пожирал строения, проливали слезы, наполняли воздух стенаниями, вздыхали, но все было тщетно. Долгое время там мы сидели, не видав никого. Потом, обративши взоры вверх на набережную, увидели одного француза, идущего за водою. Поравнявшись с нами, начал он спрашивать, зачем мы здесь? Мы, обливая слезами лице наше, отвечали чрез ту же девицу, что мы лишились домов и от огня ищем спасения у реки. Неприятель сей, видя меня дрожащего от холода, дал мне водки, и я, выпивши несколько, благодарил его. По отшествии его, пришли еще четыре француза, не такую ласковость нам оказавшие, как прежний их товарищ. Они были дерзки и жестокосерды, требовали с ног моих сапог, и я, поспешно скинув, отдал им и получил от них худшие и еще жесточайший удар, лишившись узелка, в коем не знаю что было положено родительницею. После сей встречи мы решились идти дальше по набережной к мосту Москворецкому, думая, где их много, там их и начальники есть, кои не допустят больше нас грабить, в чем и не ошиблись. Пришедши к мосту, увидели наших русских, сидящих на бревнах, и говорили им, почему они здесь сидят? На сей вопрос они нам ответствовали, что нам неприятели не дают пропуску чрез мост на ту сторону, упомянув при том и то, что у мосту французов великое множество; решились и мы с ними сесть. Французы, видя нас, подходили

и расспрашивали нас о наших состояниях и о роде. Увидя несчастное наше состояние, пришли в жалость и отвели нас на свою квартиру, в коей была цирюльня, и предлагали нам, чтоб мы шли в верхний этаж оного дома. Но я, опасаясь, не пошел вверх, но начал просить, чтоб оставили нас здесь внизу, мы и сим довольны будем. Засветивши свечу, с нами разговаривали и ободряли нас, чтоб мы ничего не опасались. Не более посидели мы, как часа два, начинало рассветать. При наступлении дня, сошли сверху два француза высокого роста, собой весьма красивые, кои нам казались чувствительнее всех и умнее, да и самый разговор их показывал, что они сожалели о нас; притом дали нам несколько мяса, хлеба и сахару.

Вот уже наступил и день 4-го числа. Неприятели начали для себя готовить кушанье; изготовя, поели и нам делили по нескольку. Потом уходили, говоря нам, чтоб мы дому сего не оставляли. Находясь мы в сем доме, видели, что все приходили разные французы, пекли, варили для себя и опять отправлялись, а куда – нам совсем было неизвестно. Улицею же была езда беспрерывная в два ряда, по одной стороне мостовой – в гору, а по другой – вниз, т.е. на мост.

Сие продолжалось от утра до самой ночи. А пожар был так силен, что куда ни посмотришь, везде объято было пламенем; огонь пожирал здания и производил сильный ветер. Вьющиеся над зданиями клубы огненные представляли взору нашему ужасное и страшное зрелище; наши же несчастные русские ходили взад и вперед, не находя себе места к выходу; лишенные почти всех сил, падали от сего ужасного зрелища. Я, обращая взор свой на все сие, не в силах описывать; находясь в замешательстве, говорил только в сердце своем: «Господи, Боже наш! Ты, Владыка, един есть нам защитник! Под твоей всесильною десницей и пленники, окруженные отовсюду ужасами смерти, могут быть спасены и избавлены от смерти». Потом видели, что и у них смятение умножалось: говорили с величайшим жаром, спешили к выходу как будто б из Москвы, вздыхая сильно и взяв свои ружья, пошли в гору самым скорейшим образом, оставя нас одних в сем доме. Чрез две минуты пришел один поляк прямо в этот дом, где мы. Он почел меня хозяином сего дома, да и цирюльником, на что я ему отвечал, что я ни тот ни другой и что мы оставлены здесь французами укрыться от огня, бури и холода и что я лишился дому и имения. Он слушал слова мои со злобным видом и, чувствуя эту отраду, что он мог мстить за прошедшие свои разорения, от россиян учиненные, стращал меня и, ударя по уху, требовал серебра, вынимал саблю и показывал глупую свою храбрость над обезоруженным. Наконец, обличаемый товарищем своим в дерзких сих поступках, совсем переменился и сделался даже для меня удивительным: повергшись на колени предо мной, приставлял к своим губам саблю, хотел целоваться. Но я, схватя свою шляпу, ушел с поспешностью со всеми товарищами. Хотя же он пустился за мною бежать, но офицер их его остановил. Между тем как я удалился на набережную, вдруг сей офицер догнал меня и говорил мне, что он сего унтер-офицера накажет за его поступки. Унижаясь пред ним, и от него старался я удалиться, потому

что и у него лицо было показываемо исполненным сладострастия; он делал из себя как бы вид сострадательности, а между тем дарил оной девице штуку канифасу[1], большой кусок сахару и бутылку вина, потом предлагал идти нам на свою квартиру. Я просил его, чтобы он нас оставил. Тронут будучи и убежден моими словами, он не показал никакого насилия, и мы тотчас решились идти опять к набережной, к Москве же реке, где наших сидящих было уже множество. Лишь только начали мы сходить на сход, как вдруг увидели посланных от оного офицера двух солдат, кои насильно стали тащить девицу лет двенадцати. Мать ее громко закричала, и они оставили ее. Потом и к оной девице, со мною бывшей, приступали; я опять их усовещивал словами и тем обратил все их зверства на себя: приступивши ко мне, велели снять с себя капот, жилет, манишку и платок. Покорствуясь власти неприятельской, яко пленник, снял я с себя все сие и отдал им, причем взяли у меня бумажник и портрет миниатюрный, обделанный в золоте, оставя меня в одном кафтане и ударив двумя ударами саблей плашмя, со мной расстались. После сего случившегося со мною несчастия сошел я вниз и, севши подле матушки, обернулся ее салопа полами и тем несколько сохранялся от стужи. Спустя несколько времени ходили уже к нам неприятели для грабежа артелью. Видя нас собравшихся великое множество, обирали все и платки, и шубы. Дошел и опять черед до меня: обыскивали и ничего не нашли, только нашли у родительницы моей обручальное мое кольцо золотое, а у девицы оной – денег 25 руб. и черный платок на голове. Все сие взяли и пошли. Ночь сия для нас была самая жестокая: поминутно приходили, обирали нас и все разные неприятели. Приходили еще несколько человек и звали меня с женщинами моими для того, чтоб им растворить хлебы. Хотя несчастные женщины отговаривались от сих трудов, однако ж послушали меня. Пришедши к ним, увидели мы, что вся их комната застлана была перинами. Хотя сие мне казалось подозрением насчет девиц, однако ж решился остаться и дожидаться, что будет от них. Дали нам есть. Я не знаю, ели ли они, а я ничего не мог есть; и так предлагали, чтоб они принялись за квашни, но женщины мои всячески старались отговариваться пожаром, потому что и сей дом начал загораться. Видя они женщин упорство, отпустили, и мы опять на то же место пришли и усадились по-прежнему. Часа чрез два другие пришли грабить, но мы были так уже бедны, что нечего уже более у нас брать. При сем несчастном состоянии снимали они с меня и с прочих даже и рубашки. По отходе их я принужден был надеть женскую рубашку работницы моей. Потом видел на той стороне Москвы-реки мальчика в одной рубашке, не более 6 лет. Ходя он около огня один, громко кричал: «Прогневался Господь на нас», повторяя беспрестанно напевом плачевным. Я, показывая своим сего мальчика, обливал лице свое горестными слезами, стонал, мучился, держа в мыслях своих слова сии: «Господи! Ты

[1] Канифас (от *нидерл.* kanefas – канва) – хорошая парусина, устаревшее название льняной прочной рельефной полосатой ткани .

встречаем был младенцами, поющими: «Осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!» Сей же, напротив, отрок вместо сей радости, оглашает воздух горестными слезами и укоряет нас во грехах наших». При сем случае пришли к нам еще французы и велели за собою следовать. Пришедши в Зарядье, загнали нас, как овец, на двор и заперли за нами ворота. Здесь мы, видя премного предлинных скамей, думали, что с нами хотели делать? Я мыслил, не хотят ли нас заставить крошить хлеб для сухарей, а другие, что нас для того в сем месте заперли, чтоб мы вместе с сим домом сгорели. Но мы все ошиблись. Видели, как выносил один француз мешок, ставил у ворот, потом пошел за другим и так вынес их до 30 или больше. Неприятели приказывали нам взять сии мешки и нести за собой. Мы, взявшись за сии ноши, любопытствовали и узнали, что это были сухари; несли за ними в другой дом, кой был в довольном расстоянии от сего дому. Пришедшим нам сюда, неприятели дали нам саломаты[2]; я только отведал, и если б есть хотел, то и тогда бы не стал есть. Потом поставили пива самого дурного и спустя немного времени опять велели нам нести сии ноши из этого дома. Мне уже не досталось несть мешка, а дали нам двоим несть что-то в ведре жидкое. В оное время видели мы своих бродящих, ищущих места, где бы укрыться; ходили они точно сонные, непонимающие один другого. Наполнен будучи сим, вдруг увидел я не сходствующего лицом на прочих человека, который походил на евреянина: волосы у него были темно-русые, несколько завиты, росту среднего, нос с горбиною, глазами своими смотрел на меня удивительно, дал он нам дорогу, делая знак, будто и он, как и прочие, опасается. Я же, заметя его, шел тихо и дал ему пройти. Потом тихо сказал своему товарищу, поставил ведро под тем предлогом, якобы мне не привольно нести, а сам обратил лицо свое назад и смотрел на него, равно и он на меня. Когда же отвратил лицо, тогда он перестал смотреть и пошел прямо. В сие-то время сказал я громко: «О Боже! Доколе будут с нами встречаться несчастия? Доколе будешь Ты наказывать нас рукою вероломного неприятеля». Принесши на двор, увидели, что мои женщины сидели здесь у стены и слушали худо болтающего по-русски французского какого-то чиновника, кой закрывал свои знаки коротенькой шубейкой, чего я и слушать не хотел. Будучи сжат холодом, сел с родительницею дальше от всех и закрыл себя полами ее салопа и тем несколько согрелся. Спустя немного опять приказывали нам нести сухари. Мы брали и выносили оные мешки уже на набережную, где, поставя, спрашивал я их о своих женщинах, и они мне говорили, якобы они пошли вперед, из чего ясно узнал их ложь, что они меня хотели от них отклонить. В сем случае предался я воле провидения Божия и просил их, чтоб они меня отпустили посмотреть на мой дом, и они мне дали на волю выбирать любое из двух: или остаться с ними, или идти в дом. Отнес я им с набережной вниз к Москве-реке свой мешок, в

[2] Саламата (также саламат, соломат, саламаха) – блюдо из муки с солью и маслом. Жидкая каша из ржаной, ячменной или пшеничной прожаренной муки.

награду получа от них три кренделя. Идя набережной, обращал взор свой на все стороны, не познавал мест и дороги, куда мне идти, наконец узнал, что я у мосту Москворецкого, кой уже весь сгорел. Далее продолжая путь свой, встретился со мною злодей и заставил меня нести за собою свечи сальные. Пришедши в часовню, неприятель сей говорил мне по-русски, мешая французские слова, показывая пальцем на образа, чтоб с них содрать ризы, от чего и будут деньги. Я ему ничего в сем не прекословил, но только от него отвернулся; потом он вышел оттуда и пошел куда ему надобно; следуя за ним с поспешностью, уронил я две свечи и кричал ему, чтоб он остановился; поднимающего свечи ударил он меня дважды палкою, потом, ощупывая меня, нашел крест, сорвал и бросил. От сего я пришел во рвение и великий гнев и едва из себя не вышел: хотел было наступить на него. Но вдруг мне пришли на мысль малолетние дети мои, привел я на память опасность жизни и сиротство их, имеющее произойти от непокорности. Неприятель из сего моего поступка увидел, что я ему не надежный раб, остановился и спрашивал: «Ты наш?» Я сказал ему, что русский, и он, ощупав меня, сказал: «О, ты голый!» Толкнув рукой и ударя один раз палкой, сказал: «Поди!» Отошедши несколько, думал я: «Ну, ежели попадусь к такому же злодею». Наконец, решился идти туда же, где я сухари носил. Не более я отошел, как шагов десять, вдруг часовой наезжал на меня и ударил прикладом так, что с ноги моей соскочил туфель; я поднимал его и получил от него вторичные удары. Хотя я ему ничего противного не говорил, кроме слов: «Дай же мне поднять туфель!» Но он думал, что я ему противлюсь, оборотя ружье, хотел заколоть меня штыком; другой, подскочив, с великою скоростью вынул саблю и ударил меня по левой руке и по боку так жестоко, что я думал, будто он меня пересек пополам. Снявши с другой ноги туфель, бросил к ним, а сам пошел по тракту, ведущему в мой дом, беспрестанно читая молитву «Господи, Иисусе Христе, Боже наш!» и проч., и с сею молитвою дошел благополучно до самого моего дому, не видав ни одного француза. Одно лишь эхо в ушах моих было слышно: «Наполеон»; мечталось мне, будто он везде ходил и мучил народ христианский. Сия мысль происходила от бессонницы. Наконец, пришед в свою улицу, смотрел на все стороны, заливаясь слезами; не узнавал, где чей дом был. Самые трубы мне казались за людей или больших гигантов, будто нарочно поставленных для караула. В каком виде мне все сие представлялось, в таком и описываю. В страхе человеку может мечтаться все удивительным и чудным. Пришед к своему местопребыванию, увидел, что один только пепел тлился над ним. Тогда-то я сказал со слезами: «И вот мое имение! Вот моя и пища! Вот, все в этом пепле заключается!» Легши на него, начал горько плакать; потом встал и пошел посмотреть, нет ли кого? И увидел вдали человека, идущего прямо ко мне, кой пришедши, проливал со мною вместе слезы. В сие время я был вне себя и, по долгом испытании, едва я мог узнать его: оный человек был господина Нестерова. Я звал его в подвал в дом Новосильцева, чтоб несколько успокоиться; пришед туда, уснули мы крепко.

Поутру 5 сентября встал я очень рано, но товарища моего уже не было. Потом видел влезающего ко мне неприятеля, коего я сам, да и из ответов его, узнал, что он был поляк, и потому ударил его так сильно, что он, не могши стоять на ногах, упал; потом, поднявши за ворот и ударивши его вторично, выбросил из подвала. По учинении сего поступка, ясно увидел, что худо сделал. Размышлял, как бы спастись, и вышел в то же время в другой подвал, скрывшись в вырытой яме. И здесь меня неприятели увидели и сыпали мелким кирпичом на голову мою; потом два половинчатые кирпича бросили на меня. Сии удары едва мог я вытерпеть, однако ж не вставал. Они, видя меня не встающего, начали ворочать штыком, потом сами влезли ко мне в яму, ощупывали меня, ударили и ругали, однако ж оставили. После их спустя несколько вышел я вон посмотреть, куда бы мне удалиться, и увидел близ церкви Покрова Левшина многих наших русских, стремглав пустился к ним и, прибежавши, старался подле них сесть. Увидев золу, еще не простывшую, сел на нее, но и здесь неприятели нас беспокоили и тревожили; даже ни одной не проходило минуты, чтобы они нас не обирали. Потом, по приглашению некоторых, пошли мы в дом какого-то князя, где жила мне неизвестная немка, знакомая сим. У ней несколько обогрелись и вдруг увидели, что и этот дом зажгли, от чего я поспешно вышел один и пошел к своему дому, где постоял, как сумасшедший. Потом, пришедши в свое положение, обратился к церкви Священномученика Власия, пошел поклониться ему; но дошед к церкви, увидел множество прихожан других церквей, диаконов и священников, квартального поручика с женою и детьми, коего при мне также ограбили и раздевали, оставя в одних портах. В горячности хотел было он бежать и жаловаться их генералу, но злодеи, остервенившись, приставили издали прямо на него ружье и тем самым его отвратили от бегства и не лишили жизни. Я с ужасом и трепетом взирал на сие страшное позорище, дрожал от холода и стужи. В сих горестных обстоятельствах предал себя совершенно промыслу Божию, потом увидел идущую ко мне родительницу, коя чрезвычайно обрадовалась мне, равно и я ей; давала мне, будучи сама томима голодом, засохлые корочки. Я брал оные и делил с нею пополам, видя, что и ей себя нужно было подкрепить. Посторонние, видя наше прение, дали нам хлеба небольшой ломтик, кой мы принявши, благодарили их. После сего я расспрашивал, где она оставила мать с дочерью. Она рассказывала мне таким образом: «Когда вы несли сухари на набережную, то воспрепятствовал нам следовать за вами тот самый неприятель, кой врал нам по-русски, и велел нам за собой идти. Приведши в дом, запер нас. Чрез несколько минут явился в таком же одеянии неприятель – не тот уже, а другой; старался всячески обольщать сию девицу, но не имел успеха, обратил мысли свои на служанку, оставя девицу, взял ее и делал удовлетворение своим прихотям. Потом приходил оный же француз к нам, стращал нас, кричал: “Подпаливай!” Из чего мы заключили, что нас хотели сжечь. Опять приходил первый, сюда нас приведший, и сего пьяного выгнал, а нас отвел в Воспитательный дом. И сей делал предложение оной девице,

однако ж при мне ничего с ней не последовало. Оставил нас одних в темных покоях, где мы, сидя, думали, что нам делать? Наконец я решилася идти и искать тебя, и она за мною вслед. На тот час, по счастию моему, часовой их спал, и мы беспрепятственно прошли ворота. Обрадовавшись сему, пустилась я бежать, а они останавливали меня для отдохновения; тогда решительно я им сказала: "Пусть вы здесь отдыхаете, а я пойду искать зятя моего!"» Оставя их, пошла с рабочей девкой, и тем она окончила сию повесть.

При наступлении ночи квартальный предлагал нам всем, чтоб мы оставили сие место и шли б с ним в сад Корсаков. На что многие согласились, и я с родительницею за ними следовал. Пришедши в оный сад, нарвал для себя рябины и употреблял ее в пищу. Прочие имели здесь кое-что сокрыто и тем самым питались, а у меня ничего не было, кроме упомянутой рябины. Начал сожалеть о том, что ушел от церкви, и опять решился идти к оной. Со мной же пошел неизвестный мне мужчина с женой и малым грудным ребенком. На пути встретился с нами злодей, имеющий на голове шапку архимандричью; я от него с поспешностью старался убежать. Оставив меня неприятель без внимания, приступил к оной женщине, с ребенком бывшей, снял с нее салоп, а с мужа ее рубашку. Спасшись бегством от неприятеля, пришли мы опять к церкви, легли на траве, сжавшись все в кучу, чтоб тем согреть самих себя. При наступлении ночи видели мы одного молодого человека, подходящего к нам, ищущего своих родственников и не нашедшего в нашей куче. Мы, остановя его, спрашивали, что у него в подоле, и узнали из слов его, что говядина. Я первый начал просить его, чтоб он уделил мне немного. Получивши от него, делил пополам с родительницею и, употребляя в пищу, горестно восклицал сими словами: «О, Боже мой! При всем моем голоде, чувствую омерзение и запах отвратительный, худший самой падали», и заглушал оный заразительный дух рябиною. Всю сию ночь проводили мы на траве.

6 сентября поутру пришел к нам будочник, чухонец, и садился подле меня; дал мне для сбережения в мешочке горох сухой и велел мне есть. Сие меня обрадовало, и я почитал его посланным от Бога. Здесь видел я соседа моего учеников, приходивших ко мне и приносивших мне корейки и изюму. Получа от них сие, берег и давал малым детям, а матери их и отцы, в замену сего, старались мне давать кто корочку хлеба, а кто картофелю. Злодеи же наши не переставали нас беспокоить: сперва вошли в церковь, а потом к нам, обыскивали нас и, ничего не найдя, ругали нас; потом другие, третьи, и так беспрестанно они нас посещали. По прошествии сего дня хлеб уже у нас весь изошел, только что и был у одного будочника горох. Он хотя и не хотел делить нашим товарищам, однако ж, по увещании, дал мне волю быть раздаятелем.

7 сентября решились мы жить в церкви. Нас было числом 18 человек, и малых и больших. В сем священном месте мы как бы уже готовили себя на жертву сим бесчеловечным грабителям и условились между собою все вместе есть кто что ни имеет. Приуготовляли для себя пищу самую небогатую и ели с умеренностью. Но недолго сие продолжалось. Очень скоро прекрати-

лось наше сие дружелюбие: нашло к нам народу такого, который нашу связь всю расстроил, а именно: пьяницы один другому прекословили, друг у друга чинили грабежи, ругались и кричали и друг на друга упрекали, словом сказать... Я сколько ни старался уговаривать, но мои слова ни малого действия и влияния не имели на сердца их. Тихими и скромными они учинялись тогда, когда видели неприятелей. В сие священное место стекаясь, злодеи обыскивали нас так, как и прежде, искали денег, серебра и бумажек. Если же у кого находили ключи, то к тому привязывались и требовали, чтоб показали им сундучки и ящички. После сего тотчас все бывшие у нас ключи мы отобрали и покидали. Видели еще приходящих, но уже не с таким страхом взирали мы на них, как прежде, потому что не к чему уже было привязаться; входили и, несколько посмотрев, опять уходили.

8-го числа поутру приходили к нам наши русские и говорили, что выйти из Москвы никак нельзя; кто и пошел, тот едва ли спасется от смерти. Потом услышали мы, якобы наш Августейший Император Александр Павлович скончался. Сия весть привела нас в великое возмущение и беспокойство и навлекла на нас еще больший страх.

9-го числа поутру начал я читать Канон Пресвятой Богородице. Читая оный со слезами, увидел вдруг входящих разных наций грабителей, воспрепятствовавших мне более читать и наполнить душу мою сим усердным молением; смотрел на их мерзкие насмешки, подобные дьявольским искушениям; видел, как они наругались над святынею; просил Бога, чтоб их не допустил кончать дни жизни моей и чтоб не лишил видеть малых детей моих. Сия мысль не только в этот, но и во все дни была у меня.

10-го числа пошла одна старушка готовить для нас пищу; нечаянно труба упала на нее; едва только успели ее исповедать, она умерла. Совершив над нею службу по долгу христианскому, положили в погреб. Французы, видя нас зарывающих ее близ церкви, бежали к нам с великим стремлением, думая, что мы имущество зарываем. Прибежав, засмеялись громко и пошли от нас прочь.

11 сентября, всегда поутру, уведомляли нас разные наши российские новостями, возмущающими столько нас, что мы отчаивались выйти когда-нибудь из Москвы. В сей день пришло к нам шесть зверообразных неприятелей, имеющих у себя предлинный нож. Стали они приставать к священнику, думая, не спрятал ли он что-нибудь церковного? Но сей священник был сельский и неученый, не понимал их слов; став у царских врат, ожидал себе смерти. Оные враги устрашали его и окровенили пред вратами царскими пол, поранив ему руку. От всех сих страхов страдали мы болезнью желудочною; да и нечем было укрепиться нашему желудку: в пищу обыкновенно мы употребляли редьку и картофель, да и тот трудно было приобретать; когда за ним ходили, то попадались французам, одному снесешь, другой заставлял. И так опять приходили уже обессиленными и голодом томимыми. Мой же чухонец меня не оставлял: он всегда приносил картофель и спасал меня и

родительницу от голода, а я и других снабжал. При всем же том случалось, что мы были дня по три и более без пищи.

12 сентября приходили к нам некоторые люди иностранные, только не солдаты, кои умели говорить по-русски, и делали выговоры нам, для чего мы не приняли с честью Бонапарта? Если бы вы его встретили со славою и почестями, то не претерпели бы такого разорения. Но я говорил им, что таковому завоевателю, каков Бонапарт, не должно б совсем иметь в мыслях честолюбия и думать об этом, чтоб его принял с какою-нибудь честью простой и бедный народ, ничего у себя не имеющий, кроме одного только усердия к Богу и своему Государю. Видели мы нашедшую тучу, покрывшую небо пасмурными облаками, был великий гром; мы все пали на колени, повергшись пред престолом величества Божия. Диакон здешней церкви стал у престола Божия с распростертыми руками; словом, все мы молились и, кажется, тогда просили об одном том, чтоб Всевышний показал чудо над нашими врагами и рассыпал бы сих жестокосердых врагов. По прошествии сей грозной тучи приходили неприятели, из коих один, войдя в алтарь, увидел написанную плащаницу, начал лобызать ноги тела Христова, от всего своего сердца припадал к сему образу и делал поклонение. При наступлении ночи мы видели на небе два знамения, подобные ракетам, стоящим очень долгое время без всякого изменения, и также тонкие и светлые, как пускают ракеты. Сему явлению я не могу надивиться: пожар ли был сего причиною или другое какое-нибудь предзнаменование? Оставя сие писать, обращаюсь паки к собственной своей истории.

13-го числа пришли наши российские купцы, священники и разные чиновники. Все они были изранены: у кого голова проломлена, у кого рука, кто одет рогожкой, словом, на всех ничего не было. Если тело их покрыто было чем, то именно ободранными рубищами. Пришел сюда и тот самый, кой носил со мной сухари и ведро. Увидевши его, я заплакал, и он также. Потом я спрашивал, где он был в продолжении сего времени, и я узнал из ответов его, что он был в работе у французов; надеялся, говорил он мне, что в доме господина моего сокрытая мука будет цела, но, к несчастью, все разграблено так, что я ничего не нашел. Потом пришел другой мой сосед, столяр, увидел меня в одном кафтане и говорил: «У меня есть тулуп калмыцкого меха, возьмите его, хотя от него и есть смердящий запах». Чему я чрезвычайно обрадовался. Какое же мое удивление! Видел, что оный тулуп был мой; спрашивал, как он к нему попал; он отвечал, что подняли его ученики на улице; надевая его на себя, чувствовал запах весьма тяжелый, от коего чуть меня не вырвало, и самые французы, слыша сей запах, не отняли у меня сего тулупа.

14-го числа обирали от нас неприятели свечи, как сальные, так и церковные, и с оными иногда приходили в церковь в ночное время, стращали и били нас.

15-го числа пришли к нам ночью двое утомленные силами и хотели у некоторых отнимать одежду для постилки под себя, но, видя на нас худые

рубища, брали ризы ободранные и ложились на них; также клали иконы на пол, содранными же с престолов и жертвенников одеяниями облекали себя и препровождали сию ночь с нами. Поутру, очень рано, один француз, вставши, увидел еще товарища своего крепко спящего и унес у него сумку. Чрез несколько времени вставшему сему неприятелю сказывали мы, что его товарищ давно уже ушел и взял его сумку и ружье, от чего он начал плакать, и видно по всему, что он сожалел о сей потере.

16 сентября начали мы с собою размышлять, как бы удалиться из Москвы, ибо опасались, чтоб не заразиться от наполненного худыми испарениями мертвых тел воздуха. Но как мы ни думали, но не находили случая выйти из Москвы. Посылал я родительницу справиться в Университете, не остался ли кто из наших родственников в оном; также еще посылал к Петру и Павлу в Басманную, в дом нашего же родственника, купца Нечаева, в коем она нашла родную свою сестру и племянницу, с четверыми живущую в подвале оного дома, и уведомляла меня об оных.

17-го числа, приходя, наши российские уверяли нас, что можно выйти из Москвы в ночное время; днем же идти чрез Лазарево кладбище под предлогом будто за картофелем. Расспросивши подробно о сем, я решился, как можно выйти из Москвы.

18-го числа опять приходил к нам Спаса-Песков дьячок и удостоверивал нас, что он трижды из Москвы выходил и опять в оную столько ж раз возвращался, чем нас всех вывел из сомнения и подал некоторый луч надежды душе нашей к освобождению из плена. По просьбам и убеждениям нашим, взялся он нас выпроводить из Москвы, с тем только условием, чтоб не было с нами женщин, так как не могущих сносить труды великие и чрез коих бы мы не учинились жертвою врагов наших. Услыша сие, родительница моя решилась остаться, в том намерении, чтоб вслед за нами идти.

19-го я и надворный советник Шарапов, еще из Чудова монастыря молодой детина, приуготовлялись к выходу из Москвы, и лишь только начали употреблять изготовленную нами пищу, вдруг увидел я идущую сестру моей родительницы, увидел и, заливаясь слезами, говорил ей, что я сегодняшний день намерен выйти из Москвы. И так простившись в расстроенном положении с моими родными, пошел в настоящую церковь, падал пред Спасителем, Божиею Матерью и пред иконою священномученика Власия. Подходя к улице Арбатской, увидели мы множество французов, ехавших с фурами, и со страха укрывались за трубы, дав им проехать. Наконец пришедши в приход Спаса-Песков, нашли мы своего путеводителя в подвале сгоревшего одного большого дома. Пошли в путь пожарищами, стараясь смотреть во все стороны и укрываться от злодеев наших. Однако ж мы, как ни старались укрываться от них, но повсюду встречали их, и от взора их приходили в великий страх. Далее продолжая путь свой, вышли мы на бульвар, наполненный мертвыми лошадьми. После сего опять попадались нам навстречу подле Страстного монастыря французы, едущие с фурами, коих лошади едва тащили бремена сии. При сей

встрече крайне мы опасались, чтоб не заставили нас вместо оных лошадей тащить фуры. Бежали как наивозможно скорее к канаве и видели, что там наши российские строили на своих сгоревших местах для жилища своего шалаши. Продолжая путь наш неудобными местами, наконец пришли в поле, где была насеяна репа; делали вид, что мы ее собираем; между тем мало по малу приближались к Лазареву кладбищу. Пришедши сюда, в страхе и трепете обходили оную церковь и, лишь только хотели перейти чрез вал, здесь имевшийся, вдруг услышали голос часового француза и от оного в такой ужас и робость пришли, что едва не пали на землю. Чувствуя во всех наших членах сильное потрясение, едва могли прибежать в лес за сими нашими провожатыми, такие даже случались места, что принуждены были иногда ползти шагов 50 и более. Версты четыре отбежав, увидели вдали везущих наших неприятелей снопы; сели у пней, чтобы неприятелям не попасться в руки. После сего, хотя мы и достигли большого леса, однако ж часто случалось, что принуждены были идти краем оного леса, где видели не более от нас расстоянием полуверсты огни и неприятельское войско, и всячески старались укрываться, заходя в чащину леса. Когда же ночь покрылась совершенным мраком, тогда безопаснее мы шли, хотя еще и не без страха. Прошедши 7 верст расстоянием от Москвы, сопроводники поздравили нас, что на пути уже почти никаких нет опасностей, но мы еще все опасались. Пришли к речке, чрез которую надобно нам перейти, и нашли такое место, где лежали чрез речку перекладины. По ним проходили сперва наши провожатые, потом я, при вспомоществовании, данной мне от них палки, за мною и надворный советник, кой, при всей моей помощи, упал в реку, потому что у него не владела одна рука. Встащивши его на крутой берег, устремлялись далее в путь, между тем сопроводники говорили нам, чтоб мы как можно скорее шли и не говорили ни слова. Совратившись с пути, вели они нас болотами и кочками, где нередко случалось стремглав падать. Наконец с великим трудом вышли на большую дорогу, и провожатые уже здесь совершенно нас поздравили безопасностью и намеревались утомленному духу своему дать покой. Они здесь рассказывали нам, что в сем месте наши казаки отбили обоз и многих побили. Слышав я от них сие, уговаривал, чтоб они поскорей от оного места удалились; ибо мне все казалось, что мы еще не ушли от наших варваров. По совету моему они пошли далее. Отошедши 20 верст, так я изнемог в силах своих, что едва уже мог идти. Назначенное же нами место для долгого отдохновения еще было расстоянием в 5 верстах. В сем случае я их упрашивал нередко отдыхать, и сии 5 верст мы шли нога за ногу. Пришли чрез великую силу в деревню, где дьячок не намеревался еще остаться, но полагал свое намерение дойти до села Медведкова, в коем он всегда имел свое местопребывание. Но я, Шарапов и еще третий мужчина остались в сей деревне и едва могли себе найти для успокоения нашего квартиру в 5-м доме. Вошедши в дом хозяина, увидели здесь наших солдат раненных, ушедших же из плена. Сии добрые хозяева, видя нас изнемогших от голода, натирали редьки, дали хлеба, потом молока, и, сею пищею укрепясь, мы успокоились. На другой день поутру опять нас

снабжали они хлебом, и мы, укрепивши себя оным, пошли в село Пушкино. Но как из нас никто не знал дороги, то и нередко мы сшибались с пути своего. Дошедши же к воротам, увидел я лающих на меня собак, от которых я ушел к оранжереям. Встретясь со мною один человек, побежал от меня, думая, что я француз. Я начал просить его, чтоб он меня оборонил от собак. Услыша меня, говорящего по-русски, остановился, потом я спрашивал его о моем родственнике, о жене и малолетних детях, и он мне ответствовал, что жены моей нет. Сие слово поразило меня точно громовой удар. Далее продолжал он речь, что была здесь какая-то женщина с малолетними детьми и уехала, не знаю куда. Потом я его просил, чтоб он проводил меня к моему родственнику; нашедшему мне местопребывание его, сказывали мне хозяева, что он пошел в баню. И так опять я просил сего человека, чтоб проводил он меня до того места. Увидевши меня родственник, едва идущего, заплакал. По долгом моем с ним разговоре товарищи ко мне пришли и говорили мне, что время отправиться из сего места. Но я уже далее не пошел. Простившись с ними, остался здесь с моим родственником, пришел на его квартиру и, легши отдыхать, так крепко спал, что проснулся на другой уже день; в половине дня пошли мы в село Пушкино и, купя там баранины, возвратились опять в Кудрино. На другой день звал он меня в деревню Новую расстоянием в 4 верстах. В сем хотя я и отказывался, чувствуя расслабление в ногах, однако ж пошел, и пришел с ним в самый тот дом, где моя была жена с малолетними детьми. Расспрашивал я здешних жителей о своей жене, и они мне с великою жалостью говорили, что ваша жена от страха, каковой был в то время, едва ли не растеряла детей своих. От сих слов почувствовал я в себе великий удар и некоторую перемену; однако ж скоро опять пришел в прежнее спокойствие, скидывал свои кеньги[3] весом в 10 фунтов, отдал сим хозяевам и просил у них на обмен лаптей, и после сего лег спать. Проснувшись поутру рано, пошли мы с родственником в путь, и как слабость моего здоровья не позволяла идти мне с великою скоростью, то и нередко сетовал на меня мой родственник. Пришли мы в Троицкую Лавру накануне празднования Чудотворца Сергия. Отдохнувши здесь несколько, пошли опять в путь и, отойдя 10 верст, ночевали. На другой день едва мог я продолжать путь от чрезмерного изнурения, однако ж вознамерился идти до самого Переяславля. В сем городе попались нам попутчики, едущие за хлебом в Ростов, которые взяли с нас по рублю довезти до Ростова. От сего я в себе чувствовал легкость и получил слабым моим силам некоторую бодрость, сходил в монастырь поклониться мощам Святителя Димитрия. Пробывши здесь несколько времени, опять пошли в путь и, отойдя 20 верст, ночевали. На ночлеге здесь ночевали с нами вместе и рекруты, из коих я приметил одного с неумеренностью пьющего вино. Напившись, он кричал, бродил повсюду, из уст его извергались сквернословия даже и на нас. Поутру, вставши рано, беспрестанно он требовал от отдатчика вина, и вдруг выпил за один раз три стакана. Видя его такую алч-

[3] Высокие кожаные, меховые или валяные, галоши, надевавшиеся поверх сапог.

ность и пристрастие к вину, говорил я отдатчику, чтобы он как можно его старался сберечь и удалить от излишнего употребления вина, в противном случае обопьется, если ему будет дана воля, что в самом деле и случилось: услышали мы на дороге о смерти сего молодого человека и крайне сожалели о нем. В 25 верстах от Ярославля наняли мы попутчика. Доехав благополучно до сего города, были мы в крестном ходу, где видели покойного принца и великую княгиню Екатерину Павловну. После сей церковной церемонии сошли мы на берег реки Волги, где увидели многих, садящихся в лодку и едущих, иных в Нижний город, других в Кострому. Сему случаю крайне я радовался и говорил хозяину лодки, чтобы он нас посадил до Костромы. По привету его мы тотчас решились сесть в его лодку и ехали всю ночь. Стужа и страх, от волн происходящий, крайне нас беспокоили. Правители были самые неискусные: они не знали ни мели, ни способа управлять хорошо лодкою; часто наезжали на пески, стояли на одном месте иногда часа по два и более, беспокоились, изнуряли свои силы, сворачивая лодку в глубину воды. Не думал я, находившись в страхе с товарищами своими, доехать до Костромы. Но при помощи Божией приехали мы в оный город и крайне радовались, благодаря Бога за спасение нашей жизни. Потом, взошедши в гору, выпили несколько сбитню для отогрения себя, и хотя искали в сем городе общего нашего благодетеля, сказывая его имя и фамилию, но не могли узнать от встречавшегося с нами народа, где его находится местопребывание. Часто останавливаемы были здешними жителями и расспрашиваемы были от них о роде нашем, и состоянии, и известности. И мы, отвечая им краткими словами, бегали из улицы в улицу и старались сыскать того, кто нам нужен был. Наконец попался нам такой человек, который знал дом нашего благодетеля и привел нас в оный. Боже мой! Какое зрелище! Увидел я жену мою, коя, смотря на меня, изнуренного от снедаемой печали, совершенно переменившегося, спрашивала меня о своей родительнице, о доме и имении. Я ж на вопросы ее никакого не дая ответа, спрашивал: живы ли малолетние мои дети? И вдруг она побежала в комнаты и, не допуская меня по причине скорости своей, войти в оные, вынесла мне моего сына. О! Да умолкнет здесь язык мой! Не в состоянии я теперь описать ту радость, кою я чувствовал от чрезвычайной радости! Увидя моего малолетнего сына, держа на руках его в беспамятстве, забыл уже и о других моих. Слышал голос, поражавший меня жалостною речью неоднократно: «Тятя!» От сих повторяемых им слов весь я потрясался и заливался необычайно слезами, ласкал его, проливая слезы от радости; между тем мать принесла мне маленькую дочь мою, и та уже меня утешила своею нежною улыбкою.

Боже Всемогущий! Твоя всесильная десница сохранила меня, жену и детей моих от угрожавшей нам погибели. Надеюсь, Владыко мой, что не допустишь нас скитаться и терпеть нужду. Ты Сердцеведец, Ты дашь нам от рук благотворителей пищу и продовольствие! Вот, читатель мой, какою я был тогда наполнен мыслию: чрез два дня желания мои и мысли во благих исполнились, нашел я благотворителя, кой, меня не видавши, прислал мне

25 рублей. Вот какое Господь попечение прилагает о несчастных, лишенных всего и насущного хлеба! Нет ни одного несчастного пленника, которого бы Он попрал торжествующею своею ногою; от самых опасностей, влекущих за собою смерть, силен Он изъять. Примером сего я могу представить себя. Сколько со мною встречалось опасностей, сколько видел я от неприятелей страхов и ужасов, но Господь не попустил мне погибнуть вечно! Прославляю теперь Господа моего, повергаюсь пред Ним, воссылая теплые молитвы! Любезные читатели! Прославьте вкупе и вы со мною Бога, живущего на небесах! Любезные соотчичи! Не щадите интереса своего, если видите к тому удобный случай помочь ближнему; чрез что сами избегнете бедности и никогда не будете упрекать совесть свою, которая нас часто толкает при встрече с несчастным. Прошу вас, не отлагайте делать добро до утра и, если можно, тотчас помогайте! Тогда узрите лицом к лицу Бога и истину.

Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских
при Московском университете. Кн. 2. 1859



РАССКАЗ МЕЩАНИНА ПЕТРА КОНДРАТЬЕВА

Отец мой был казанский уроженец, и я любил свою сторонку, да пришлось ему переселиться в Москву волей-неволей. Мы жили с ним во время француза у моего двоюродного брата, у купца Шемякина, около Петровского монастыря. Я тогда был по шестнадцатому году.

Как прошли слухи о Бонапарте, что он на нас идет, все куражились и посмеивались да обещались неприятелей шапками закидать. Картинки тоже разные выходили – народу для потехи, и после француза их много было. Одну я и теперь помню: нарисованы два молодца: ратник Гвоздило да Иван Молотило. Подымают они француза на вилу и приговаривают: «Легче ржаного снопа». Опять же генерал-губернатор всех ободрял, что не сдадут, мол, Москвы, бояться нечего.

Да недолго покуражились. Как стали после Бородинского дела привозить сюда раненых и начали поговаривать, что неприятель идет прямо на Москву, так догадались, что шутка-то плоха, и стали все собираться в путь. Кабы загодя хватились, так совсем не то бы было; а как все-то вдруг поднялись, приступа ни к чему нет: которая лошадь стоит сто рублей, давай за нее триста. За дрянную телегу до пятидесяти рублей платили. Что добра-то погибло даром, да и народу немало погибло. Было бы знато вперед, так лысого беса, кажется, в Москве бы не осталось. Нечто кому любо было свое доброе на разграбление отдавать и французам прислуживать. Сильно тогда все серчали на графа Растопчина.

В последние-то дни, перед тем как им придти, страсть что на улицах закипело. Иной раз куда пойдешь, так не продерешься сквозь толпу: тут и пешие, и экипажи, и телеги доверху навьюченные. А около застав просто света преставление! Вывозили тоже все казенное добро, и из присутственных мест все вывозили. Казенное приказано было вперед пропускать, а прочие-то иные ждали часов по пяти, чтобы дошел до них черед.

Сперва-то народ роптал, что господа выезжают, а его выдают без защиты неприятелю. Которые барыни выбирались, Бог с ними, потому женское дело, беде-то не помогут, да еще, пожалуй, себя на поругание нехристям отдадут,

а мужчинам не след бежать. Так-то в народе поговаривали. Начальство даже боялось, как бы от своих каких бед не произошло. Иные дворяне от страха наряжались в женское платье, а бакенбарды подвязывали, будто зубы болят, да так и выезжали из города. А уж тут, как очень-то опустела Москва, стал и народ из нее выбираться, потому один и в поле не воин. Только те остались, кому некуда было идти.

Пришлось и мне с отцом здесь оставаться. А Шемякин забрал, что у него было, денег да вещей ценных, и уехал со своим семейством. Он экипажами торговал и много карет и колясок оставил в своих сараях. Заведение у него было большое. Заготовленную провизию в погребах предоставил он в нашу пользу.

Как проводили мы наших хозяев, говорит мне отец: «Соберем-ка и наше добро, Петруша, да припрячем его». И решили мы разобрать крыльцо и под него все попрятать. Так и сделали, и все наше добро уцелело.

Первого сентября наша армия через Москву проходила. Все расспрашивали солдат: кто говорил, что француз идет, а кто говорил, что придут к нам на помощь англичане да шведы. На другой же день пробежало мимо нас несколько человек и кричат: «Идут!» Пошли и мы посмотреть. Отец говорит: «Сейчас узнаем, коли наши злодеи». Смотрим: они валят в разных мундирах по Страстному бульвару. Народу сбежалось человек двести, и смотрят на них. Вдруг несколько солдат бросились на наших и давай их обыскивать. Женщины подняли крик: с них стаскивали платки и салопчики, с мужчин – платья и сапоги, обобрали человек двадцать. Толпа мигом разбежалась; ушли и мы.

Я через силу добрел домой: со страха ли, с чего ли другого, а словно я весь ослабел. Лежала у нас перина на полу, я на нее повалился и заснул. Вдруг слышу – хлопнула дверь, и загремели саблями и шпорами. Так и замерло во мне сердце; открыл я глаза, лежу – не шелохнусь, и вижу, – входят двое и что-то по-своему лепечут. Комнату осмотрели, а в комнате, кроме стульев да пустых столов, нет ничего, да иконы без риз. Висели только в углу стенные часы в медной оправе. Молодцы их сейчас сняли со стены, вынули свои сабли, обобрали медь и ушли.

Мы заперли ворота и легли спать. Еще с вечеру занялся пожар, да мы сначала-то не испугались: мало ли мы пожаров видали! И в голову почти не приходило, что он всю почти Москву охватил. А как проснулись на рассвете, так всплеснули руками, видим, – огонь уж очень разгулялся. Горько нам стало: и враги пришли на Москву горемычную, и пожар ее истребляет. Неужели совсем от нас Господь отступился?

Сидим это мы с отцом и горюем. Стучатся; делать нечего – отперли. Пришли к нам трое, один весь в орденах, видно, командир, и прямо пошли они к каретному сараю. Это они, верно, видели, что на вывеске экипажи нарисованы. И сарай мы им отперли. Они осмотрели экипажи и выбрали карету, только дышла не было к ней еще приделано. А командир по-русски

говорил и спрашивает, можно ли ему в исправность карету привести? Лежало тут старое дышло; я его сейчас обстрогал, где следовало, и приделал к карете. Командир и говорит отцу: «Я за ней пришлю, а ты, старик, не горюй, что я ее беру, не я бы взял, так огонь бы взял. Вишь, что вы затеяли! Своего добра, видно, не жалеете! А чтобы наши солдаты вас не беспокоили, я велю прибить записку к воротам!» А меня он потрепал по плечу, вынул кошелек и дал мне талер. «На, говорит, хлопец».

Как они ушли, отец говорит: «Это, говорит, поляк, потому у них такой обычай: все хлопец, да хлопец».

Через часик этак, не больше, молодцы, что с ним приходили, привели лошадей и увезли карету, а к воротам прибили большую бумагу исписанную.

Остались мы одни с отцом, и страх нас пробрал: заглянешь на улицу, – все пусто, хоть шаром покати, а пожар все разгорается да разгорается. На другой день слышим – крик и в ворота стучатся. Побежали мы отпирать, и повалили к нам на двор человек двести. Ничего они нам не сказали, а прямо вошли и поселились у нас – которые в доме, которые в сараях. А нас они не стесняли: мы в своей комнатке и остались.

Живут у нас денька два, либо три, как стал пожар к нам приближаться. За нашим домом все горело. Отец говорит: «Уйдем, Петруша, здесь нельзя оставаться».

Жил на Самотеке его земляк, Иван Васильевич Баулин, и думал отец к нему пробраться. Ушли мы с пустыми руками, только я сунул свой талер в карман. Лишь мы за ворота – нагрянули на нас два неприятельских солдата. Один меня мигом обыскал и отнял у меня талер. Другой хотел сапоги с отца стащить. Отец, было, за них заступился – злодей и замахнулся на него саблей. Бросился отец на колени и поднял руки кверху, стал и я за него молить. Тогда солдат, что меня обшарил, схватил за руку товарища, сказал ему что-то и махнул нам рукой, чтобы мы шли. Как добрались мы до переулка, что за Каретным рядом, нас словно варом обдало: кипит ад кромешный. Слева горит Каретный ряд, а справа – фабрика Карташева. Надвинули мы шапки на головы да прикрыли лицо руками, чтобы глаз не спалило, и идем. От дыма да от жары дух у нас захватывало. Пред нами, шагах в двадцати, шла женщина; вдруг она зашаталась и упала, что сноп, на землю: видно, у нее от дыма, в глазах помутилось. Не успели мы к ней подойти, – уж ее головни засыпали, а мы побрели дальше и молитвы про себя творим.

Приходим на Самотеку, прямо к Ивану Васильевичу. Обрадовался он нам: «Милости просим, говорит, да тесненько вам у меня будет; мой домишко пока уцелел, да ведь у меня семейство; живем не широко, а как есть в свином хлеву, ну и вас как-нибудь приютим». Отец говорит: «Спасибо, земляк, а утруждать мы вас не хотим: будем ночевать у тебя в саду, благо, погода стоит красная. Такое времечко пришло, что не до жиру, а быть бы живу». – «Ладно, говорит Баулин, у меня в саду уж и так гостей немало – человек двадцать будет, тоже скитальцы бесприютные».

В саду мы спали все вповалку на сырой земле. С утра разойдемся, бывало, за съестными запасами. В то время не разбирали, что твое, что мое, а кому что Бог пошлет, значит, на всю братию. В огородах ли капустки, либо картофеля достанем, в соседних ли погребах чего, – жена Баулина приготовит, вот мы и сыты.

Прожили мы у него денька три. Тем временем в этой стороне пожар затих, и пошли мы с отцом поглядеть, что у нас делается. Приходим, – все кругом обгорело, а дом наш цел. Перекрестились мы: слава Тебе, Господи! Входим во двор – пуст, и покои обошли – везде пусто. Знать, наши гости тоже пожара испугались, да убрались подобру-поздорову. На другой день глядим – опять пожаловали. Смеются и с нами раскланялись, точно мы век вместе свековали. И мы им обрадовались: обижать они нас не обижали, и мы за ними покойно жили, потому – где были начальники, солдаты шалить не смели.

Как вернулись они к нам, отец и говорит: «Приглашу я, говорит, Баулина, чтоб он к нам со своими перешел. Он нас приютил, а теперь мы его: долг платежом красен. Живет он один, и всякий его обидеть может, а нас никто не тронет». Пошел он к Баулину и привел его к нам со всем семейством. Да еще привел он старушку, свою землячку. Скиталась ли она без пристанища, да он ее встретил, или из дома ее взял – уж того я не припомню.

Наши французы, что ни день, ходили на добычу и приносили разных вещей и съестного приносили. А наших запасов они не видали, потому много было у нас погребов и мы свое добро припрятали. Около нашей комнатки была кухня, и мы, бывало, затопим печь ранехонько поутру и приготовим себе поесть дня на два либо на три. А где французы готовили себе обед, я не помню, или, может, они готовые запасы приносили. Сначала-то им всего было вволю, и даже нас, бывало, угощали, а там уж и сами нуждаться стали. Увидят, что едим, – отымут: ведь голод-то не тетка. Помню я, раз отец ел яйцо крутое, так, чтоб они не видали. Вдруг приходит француз и приступает: «Дай яйцо». Кое-что они выучились по-русски-то лепетать, все съестное называть умели: хлеб, масло, вино, яйца, вода – все знали, а уж мы привыкли и понимали. Отец говорит: «Нет у меня яиц, мусье. Откуда я про тебя возьму?» – Француз подвел его в угол и показывает ему скорлупы: это, мол, что? Как отец ел, так их побросал. Уличил его мусье, делать нечего, принесли мы ему пяток яиц.

Шутники такие были! Принесли они раз бочонок спирта, налили в стакан и отца угощают, а сами переглядываются. Отец поднес к губам и не стал пить: «Это, говорит, не добре!» Расхохотались они, что русский-то догадался.

А уж под конец очень они приуныли: и запасов-то самая малость осталась в городе, да и холода настали. Угрюмые такие ходят, и станут, бывало, бранить Бонапарта. Из их разговора-то мы это понимаем, что они ругаются и все его поминают.

До самой последней минуты, как им из Москвы выходить, они у нас оставались. А ушли они, – собрались вдруг – и нам ничего не сказали. Видим мы

только, что они все увязывают и укладывают, – и были таковы. Тут глядим, – через полчасика, не больше, один вернулся за кулем муки, что они же принесли. А я схватил куль, ему не отдаю. Он, было, на меня, да я его пихнул, и он упал. Встал и ушел – хорошо, что за ум взялся, я б ему этого куля ни за что не выдал. Будет и того, что они нас пять недель с лишком грабили; сколько тогда наших по миру скитались да голод терпели.

А ведь и им не пошло впрок наше добро. Мы не видали, как они от нас уходили, а которые видели, так сказывали, что другой нищий не в такой крайности. А богатство, что они из церквей вывезли да из домов, – все на дороге побросали. И сам-то Бонапарт, я чай, не рад был своей прыти: сидел бы дома, так верней бы было.

Федоров-Давыдов А.А. Отечественная война. 1812 год.
Исторические очерки и рассказы очевидцев. 1910



РАССКАЗ ДВОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ О ДВЕНАДЦАТОМ ГОДЕ[1]

Уж давно толковали в народе, что идет на нас Наполеон и как бы в Москву не забрался, а господа все не верили – пусть, мол, народ болтает! да и не позаботились, чтоб на досуге-то добро свое от француза спасти. А как прошли Госпожинки[2], стали больше поговаривать; потом господа, знать, смекнули дело, да уже не до того было, чтоб добро спасать, а скорее самим выбираться пришлось. Барин[3] отправил во Владимир старую барыню[4] да молодую жену[5] с ребенком, да еще кто при них в доме был, в двух каретах да в двух повозках с кухнею да постелями. Сколько лошадей было в доме, всех запрягли; барин себе только одну лошадь оставил на всякий случай; а имение вывозить было не на чем, а добра-то было много: и что годами накоплено, и приданое молодой барыни!

Жили мы тогда в своем доме, на Вшивой Горке, и кладовая была у нас большая, отдельным строением стояла, и придумали кладовую разделить каменною стеною, благо печники свои, да кирпич на перестройку лежит на дворе. И заложили стену, да и перетащили туда все барские сундуки, ящики с посудой, белье, вещи разные – чего, чего там не было! Посверх и наше имущество все поклали, а стена все выше да выше поднимается. Стали туда бросать, уже сверху, перины, пуховики, подушки со всего дома. На аршин стена была не доложена; вдруг из соседнего двора знакомый человек заглянул в кладовую и стал упрашивать, чтоб мы и его добро туда запрятали. Натаскали всякого хламу; не стоило бы прятать, да ведь всякому своего жалко, как не помочь в беде, ведь и нам самим добрые люди помогали; мы на него понадеялись, что он останется благодарен. Стену заложили доверху, немного

[1] Рассказчица, из дома кн. Лобанова, была женою крепостного человека Александра Николаевича Соймонова. Рассказ был записан его дочерью.

[2] Госпожинки – бытовое название Успенского поста, который приходится на 15 августа.

[3] Александр Николаевич Соймонов.

[4] Сусанну Даниловну Соймонову, мать Александра Николаевича.

[5] Марью Александровну Соймонову, урождённую Левашеву.

позамазали, а то всякому в глаза бросится, что новая; в переднюю кладовую натаскали всего, что было похуже и набили битком – пожалуй, мол, ломай да таскай; немного разживешься, француз окаянный!

Ну вот господа наши уехали подобру-поздорову во Владимир – там у них была какая-то родня, и они там барина поджидали. А ему-то ехать нельзя было; оставался он по делам, что ли, или по службе, уже этого не умею сказать – только помню, что он всякий день с утра надевал мундир и ездил, куда все господа другие сбирались, думу вместе подумать, как лучше французу насолить да в Москву не допустить.

Да, видно, они ничего не придумали. Прошел Александров день – вдруг барин приезжает домой, велит запрячь дрожки в одну лошадь; видит, лошадь одна не свезет, скорее другую лошаденку купили, где-то отыскали, да и припрягли веревками. Барин, как был в мундире поутру, так и сел в дрожки один с кучером. Я помню, как он с нами прощался, вынул последние деньги, велел купить лошадь да выезжать в Тверскую заставу к нашей подмосковной, а кто не боится оставаться при доме, пожалуй, оставайся. Мы с ним тут распростились, и он поехал. Наши все стали думать, куда кто пойдет; человек с шесть остались при доме, другие отправились в подмосковную за 80 верст. Меня матушка-свекровь с ними в такую даль не пустила и в Москве не оставила. Сестра ее родная за Москвой-рекой у господ Арсеньевых жила, и они сбирались в орловскую деревню; а туда говорили, что француз не дойдет. Матушка-свекровь за меня боялась – я была молоденькая да хорошенькая. Она меня поскорее собрала, навязала узелки и благословила: «Ступай, Дуняша, к тетушке да поклонись ей в ножки, чтоб она тебя с собой захватила, а то долго ли до греха». Потом снарядила в дорогу меньшого моего деверя Андрея; я было его и брать не хотела: «Он меня, мол, матушка, свяжет, я сама еще глупая, он еще глупее меня»; а ему был только восьмой годок. А что я там ни говорила, матушка-свекровь собрала нас и отправила за Москву-реку, к Арсеньевым.

Приходим к ним на двор, а уже у них лошадей запрягают в повозку. Господа только что сами уехали, и кого нужно из людей с собой взяли, а другие собираются в подмосковную. Повозка битком набита – вестимо дело, и то жаль оставить, и другое бросить не хочется. Тетушку больную кое-как в повозку уложили, а всем-то уж и места нет. Кто помоложе, пешком за повозкой побрел, тут же и я с Андрюшей.

У них подмосковная, Щербинки, в 25 верстах от заставы: мы кое-как туда доплелись благополучно. По дороге, кабы не такая беда, было бы весело, просто гулянье! Кто едет в карете, кто верхом, кто ребятишек в тележке за собою тащит. Тут корову ведут, тут козел рвется из рук, клетки с курами привязаны на повозках. Везут большой чан на тройке, и в чану-то народ сидит, оттуда выглядывает; кто один пробирается, кто целой семьей идет, ребятишки за мать держатся, сами ревут, что не поспевают, али проголодались и есть просят. Крики, шум, перекличка, просто веселье! Только мы доехали до Щербинок, остались там отдыхать в своем имении, а другие пошли мимо. Нас тут

домашние встретили, угостили. Не успели мы отдохнуть, как вдруг «бух» из большой пушки – так и раздалось, что земля под нами задрожала. Ну, пропали наши головушки, пропала наша матушка-Москва, ахнули, испужались. Да что же делать, аханьем беде не поможешь! И теперь как вспомнишь, так словно опять вздрогнешь...

В Щербинках все барское добро было зарыто в землю около прудов: вода стояла невысоко, около воды к берегам и подкопали да и попрятали все труды, а сверху признаков нет, трава растет, и крапива и кусточки; мы ходили смотреть – просто диковинка, как ухитрились. Тут были зарыты и сундуки с добром, и ящики с провизией, чаю одного что было! Целые цибики, зашитые в кожу, головы сахару в ящиках; и где рыли к воде, тут дерном обложили, и от сырости и дерн-то оброс – зато хватились вовремя. Коли бы свои не доказали, никогда бы французы не догадались. Эки окаянные! Хватило у них духу барское добро французам даром отдать!!! Вытаскали бы да сами бы взяли себе, а после бы на французов сказали, вот и концы в воду... А то сами руками отдали, и кому? Точно на них креста не было – лучше бы своих угостили.

Почти везде в землю зарывали и деньги, и всякое имущество, зарывали в оврагах да на пашне. Так ухитрились, что кто зарывал, сам места признать не мог. Уж вот на какую хитрость поднялись: пойдут поутру да поглядывают – где увидят, что легкий пар подымается, тут и копают, потому что земля взрыта была да еще с другой землей не сравнялась, а все как будто бы пар от нее легенький идет; а днем ни за что уже не приметишь.

Вот и живем мы в Щербинках, да сгрустнулась я по муже, думаю: куда мой Иван Федорович девался, успел ли он, сердечный, куда уйти либо при нашем доме остался? А спросить не у кого. Думала, думала, да и придумала – пойду его отыскивать; коли в московском доме нет его, проберусь в деревню в подмосковную. Меня уговаривали остаться, да уж я и слышать не хотела, очень об нем стосковалась. Распростилась я со всеми, кое-что собрала, положила в котомочку и привязала за плеча – мне хотелось добраться до нашего дома и узнать, живы ли все и здоровы; а одной идти с парнишкою страшно: всякий день разъезжали французы за фуражом. Щербинки только 25 верст от Москвы, близко; бывало, так опрометью и скачут всякий день, да еще по нескольку раз.

И взяла я с собой своего парня Андрея, да еще подговорила двух мужичков, таких старепьких. Они было не брались меня провожать, да я им поклонилась в ноги: «Батюшки-кормильцы, не покидайте меня горькую, не давайте меня, молоденькую, в обиду вражьим детям, нехристям окаянным. В Москве всего много, пойдете с одной палочкой, а принесете домой всякого добра, лишь бы силы хватило до двора дотащить». – «Ладно, – говорят мужички, – собирайся, молодая». Легли мы, отдохнули, а лишь только стала заря заниматься, мы и поднялись в дорогу. Не помню, сколько верст мы отошли; вдруг целый отряд скачет нам навстречу – видим, что французы. Сперва было мы испугались; да я говорю: «Пойдем сторонкой, дадим им дорогу, авось, не тронут». Французы

настоящие добрые, ведь их по мундиру и по разговору узнаешь, редко кого обидят; зато уж эти новобранцы всякие у них да немчура никуда не годились. И не нужно им, да они грабят да крещеный народ обижают.

Ну вот, они скачут верхами, за ними подвод таково много; они проскакали, и подвод с десять проехало мимо, мы и радехоньки. Вдруг, отъехавши с версту, мы видим, один лошадь свою отпрягает и садится на нее. Один из мужичков, что со мной шли, и говорит: «Петровна, ведь это за тобою он гонится, увидал у тебя за плечами котомочку». Я так и ахнула. Скачет за нами, я скорее котомочку отвязала и бросила наземь. «Сама пойду, – думаю, – с парнем своим да с старичком, авось, за мною не погонятся», а другого старичка попросила: «Ты, батюшка, поглядывай на котомочку, коли он ее бросит, то захвати ее с собой, а мы тебя подождем». Соскочил солдат с лошади, схватил котомочку, пошарил в ней и потом бросил и опять ускакал. Старичок поднял котомочку и догнал нас.

– Что, батюшка, скажи, не взял ли он чего из нее?

– Вынул он кусок пирога, да лепешки, да еще крошечный мешочек, развязал его да сунул в карман, сказал «добре», да и поскакал.

– Ах, я дура этакая! Ведь мешочек-то дорого стоит; ах, я недогадливая! Мне бы его сунуть за пазуху или на крест привязать... Шут меня дернул его в котомочку сунуть; а в мешочке-то у меня были серьги да три кольца золотых. Что делать? Поговорила, поплакала да себя сама поругала – да не воротишь, сама сглуповала.

Пошли мы опять помаленьку, дошли до Арсеньевского загородного двора, что был недалече от Данилова монастыря. Тут я распростилась со своими старичками; они пошли в Москву на добычу, а я взошла на загородный двор. Глядь – и тут стоят французы. Я было испугалась, да тут оставалась работница Настасья, да еще кое-кто из дворовых людей. Настасья мне сказала, что тут стоит сам начальник или генерал, что ли, и что солдаты не смеют никого обидеть, даже словом.

Вижу, что все спокойно; я тут с Андреем отдохнула двое суток, меня унимали и дольше пожить, да я спешила в Москву – так у меня сердце не терпит, хочется мне зайти в свой дом да разведать, там ли все мой Иван Федорович да матушка-свекровь. А Андрея-то я уж боялась с собою брать, благо, было на кого оставить, а одна все-таки как-нибудь проберусь. «Ты, матушка Настасья, побереги моего парня, а я схожу про мужа проведаю».

Встала ранехонько, помолилась и пустилась в путь. Как я вошла в Москву, такой ужас! По улицам валяются мертвые тела, такие уже черные, что просто страшно на них глядеть, да тут же валяются мертвые лошади, не прибирают их, смрад такой распустили по улице.

До своего дома добралась я хорошохонько, прошла набережной да Каменным мостом, вхожу на двор... вижу, ни живой души: дом обгорел, наших там никого нет. Должно быть, все уже перебрались в подмосковную. Вспомнила я про кладовую в подвале, хотелось мне посмотреть, цело ли наше

добро – дверь выломана; думаю: «Ничего, у нас стена там выложена да замазана, хоть и взошли – авось, не догадались». Как я спустилась по ступенькам, мне пух в лицо!.. Ничего не видать, утерлась; вижу – вся в пуху и попала в пух по колени, а стена новая, вижу, разломана. Они, должно быть, пух и перья высыпали, а в пустые наволочки набили всякого добра, да и вытаскали. Не осталось ничего, ни барского, ни нашего. Я всплеснула руками, да как взвою: стала припоминать, что я туда сама запрятала и французов-то принялась честить по-своему.

А как я после узнала, вытаскали не французы, а наши русские. Пока наш дом не горел, в нем стоял какой-то начальник; наши домашние там оставались и рассказывали, что с французами жить было очень хорошо; они жили тихо, смирно, никого не обижали, только иногда пошлют что-нибудь им принести, и мальчишки наши тоже были у них на посылках. А коли добудут чего много, сами поделятся и ребятишек чем-нибудь приласкают за то, что в посылки ходят.

Да еще кто украл-то! Наш знакомый сосед, про кого я рассказывала, что он просил к нам его добро спрятать. Он был от Шульгиных, его Федотом звали. Так приставал, что мы его пожалели; кирпичей двадцать скинули, потому что стена была почти докладена, а его сундук не проходил. Он-то нам за наше доброе дело и заплатил злом. А что он украл, это верно, потому что после разорения видели у него и наши платья, и наши одеяла, и кое-что другое. Матушка-свекровь пыталась с ним ругаться, кое-что из рук сама вырвала, а всего не воротишь. Постояла я тут, погоревала. Как быть – ночевать одной страшно, и спешила выйти, пока еще не смеркалось. Дни-то уж коротки были, того и гляди, что будет смеркаться, а мне надобно было пробираться к загородному двору. Мы жили долго в подмосковной, и когда приедешь в Москву, никуда не выходишь, дворня большая, не скучно, да и заведенья-то не было, чтобы мы по улицам таскались. Теперь всякая девочка в учении живет, и куда хочешь пошла, все дороги знает, хоть ночью пошли ее, такие бесстрашные – а в наше время мы и дорог-то не знали, пойдешь либо с мужем, либо со свекровью, дороги не примечаешь, знаешь, что доведут. Я только и знала, что где тетушка живет, от того и дошла одна, когда меня матушка-свекровь к ней отправила. Из загородного двора не дошла бы одна, мне старушка дорогу указала, и я приметила, чтоб не сбиться с дороги. Прошла я хорошо по Каменному мосту да по набережной; по той же дороге назад пошла, нельзя: на Каменном мосту стоит бикет[6] – все французы, и никого не пропускают ни взад, ни вперед. Утром ходи сколько хочешь, а около вечерен расставляли везде бикеты. Я поторопилась дойти до Москворецкого моста. Москворецкий мост был снесен. Я пошла плутать по улицам; я улиц и так не знала, а тут

[6] Пикет (фр. piquet – буквально «кол»), название небольшого отряда, заставы или полевого караула в сторожевом охранении, существовавшее во французской и некоторых др. армиях, а с XIX в. и в русской армии.

уж их никак не узнаешь и примет не найдешь. Везде все голо, везде все черно, только торчат трубы да печи обгорелые, да виднеются своды да подвалы, а жилье все сгорело.

Плутала я долго и зашла, сама не знаю куда; поутру и к мосту дороги не найду. Опять целый день ходила, все дороги не найду, и устала, и проголодалась, другие сутки не емши, насилу ноги таскаю; опять смерклось, ночлега себе не придумаю – стоит пень обгорелый, я на него села; думаю, вот тебе, Дуняша, и ночлег – воздушным плетнем обнесу да небом покроюсь. Мне кажется, я весь этот пенушек облила своими слезами.

Стало уже совсем темно; слышу, идут двое; я испугалась и прижалась – авось, меня не разглядят. Идут прямо ко мне и увидали. Один спрашивает: «Кто ты?» – «Я, батюшка». – «Да кто ты такая?» – «Соймоновых господ, говорю, батюшка, вот другие сутки плутаю не емши: макового зерна в рот не пропустила». – «Поди за мною». Я встала и пошла; их не знала, хорошие ли они люди или нет; да ведь голод не тетка, много толковать не станешь.

Повели меня они каким-то пустырем – все голо, все темно. Я думаю, куда это они меня ведут, и пикнуть не смею, сама вся дрожу – и холодно, и страшно.

Вдруг один из них топнул ногой и закричал: «Подымай!..» Я так и обмерла, не знаю, что со мною будет. Поднялась дверь, как западня – вижу лестница; мы по ней спустились, дверь за нами захлопнулась. Мы, я вижу, в просторном подвале, горит огонь; встречает нас старуха, за нею женщины и двое деток, и, видно, добра всякого накладено много. «Не бойся, моя милая, ты видишь, я старушка старая, со мною дочери да внучата дети малые, а тот, кто тебя привез, это мой сынок, купец».

Она меня чаем напоила, накормила такой славной рыбой да икрой, всем потчевала – да я уж ничего не видала, у меня глаза слипались. «Пора тебе отдохнуть, моя красавица, помолись, да и ложись скорее». Перина такая славная; помню, как я до нее дошла, а после уж ничего не помню, словно умерла; проспала долго, пока меня хозяйка сама не разбудила.

Проснулась, не знаю: день ли, ночь ли; у нас все огонь горит. Старуха подняла немного западню, сына выпустила и сама немного поглядела. «Готовьте самовар, заря занимается, чайку напьемся, а немного погодя позавтракаем, а то сыну пора будет по своим делам идти». У них славный был подвал, и печь топилась, и всякое кушанье тут стряпали; а сверху никто не догадывался, что печка топится, потому что кругом дымилось от погорелых домов.

Вдруг слышим опять, топнул кто-то ногой и закричал: «Подымай. Готов, что ли, самовар, матушка? А я добыл белого хлеба к чаю».

Хлеб такой был славный, мягкий. Они сами никуда не ходили, а только сын приносил им все, что было нужно. «Что у тебя, матушка, самовар еще не кипит?» – «Мы все тебя, батюшка, поджидали». – «Ну, ладно, сестры, поворачивайтесь скорее, напьемся чаю, да молодку-то накормите, мне надобно ее проводить домой».

Накормили меня опять, все кушанье у них было такое славное, а сами такие ласковые. Чего-чего они мне не навязали в платок! Потом он стал меня расспрашивать. «Что ты, девушка, что ли?» – «Нет, батюшка, я женщина». – «Да где же твой муж?» – «Не знаю, батюшка, видно, ушел из Москвы и меня не дождался». – «Тем лучше, я вдовец, ты мне по душе пришлась, выходи за меня замуж». – «А как же, батюшка, как Иван Федорович придет – ведь он меня у тебя отнимет, все-таки твоей не останусь». – «А может быть, его убили, и он не вернется. Так слушай же, голубушка, вот тебе записка, как меня зовут и где меня можно отыскать. Если муж твой не отыщется, приди в город и спроси меня; тебе всякий меня укажет, где я буду жить». Я его поблагодарила и записочку все-таки засунула за пазуху. Долго я ее берегла и после, а теперь не упомню, как его звали. Мы раз повздорили с Иваном Федоровичем, я ему и похвасталась, что вот какой хороший человек, почище его за меня сватался, да и показала записочку. А он ничего не сказал (он все, бывало, молчит), а записку-то разорвал в мелкие кусочки, да и выбросил. А то бы я теперь могла кому-нибудь показать, мне бы прочитали, как его звали, и я бы вспомнила.

Он меня проводил и довел до самой калитки загородного двора; мы с ним дорогой разговорились; он был купец богатый – у него один дом сгорел, а в другом доме стоял французский генерал; оттого-то он ничего не боялся.

Ну, пришла я на загородный двор, сказала Настасье, что своих никого не нашла, а про подвал ни гугу – зачем пустяки рассказывать, пошло бы все по дому: слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Я и промолчала про купца, ничего ей не сказала; погостила у ней немного, а потом и стала сбираться с Андреем в наше Теплое[7], всего 80 верст от Москвы. Дорогу-то я знала, и прежние-то мои господа по той же дороге, на Воскресенск, тоже ездили в свою подмосковную; да хоть и знала дорогу, а все-таки одной идти не хотелось. Тут была старушка старенькая-старенькая; вижу, она сбирается в дорогу – я к ней. «По какой дороге ты пойдешь?» – «В Тверскую заставу прямо на Воскресенск». – «Мне тоже в Воскресенск, и потом своротить в сторону, зайти к своим родным, узнать, все ли живы да здоровы. Хоть половину дороги пойду не одна, а оттуда меня родные к мужу проводят».

Только у меня не было ни гроша денег на дорогу, а у старухи было 25 рублей, все медными в мешке; где-то она их набрала. «Слушай, голубушка, – говорит мне старушка, – ты помоложе меня; пособи мне деньги нести, зато я тебя буду дорогой поить да кормить, да за ночлег платить». Мешок тяжелый такой, что делать, пришлось на себе нести.

Вышли мы раненько из Москвы в самый Покров день. Слышим, ударяют к заутрени. Перекрестились и пошли. Заутрени уже служили, и часы, и вечерни – а обедни еще нигде не служили, затем что антиминсов не было: все были отобраны и увезены, чтобы не хватали их нечистыми руками. Бонапарту хотелось, чтобы в церквах служба была, в тех, которые еще остались

[7] Имение Соймоновых около Воскресенска (ныне г. Истра Московской обл.).

чисты; а то в других стояли лошади, как в конюшнях. Ну, так и велел Бонапарт всех попов ловить, где ни попадутся: поймают дьякона на место попа – все равно и тот годится, и велят ему обедню служить. А ведь французу все равно, ничего не понимает! Так и начали служить в церквах где заутреню, где часы. Бонапарт был всем доволен, лишь бы только была служба, а нам как было отрадно, когда стали благовестить и по церквам службу справлять. Подошли мы к Каменному мосту еще рано, только что бикет сняли. (А бикет ставили только в вечерню на ночь, чтобы в Кремль никого не пропускать.) Идут к нам навстречу такие все молодцы, все французы, такие бравые, так одеты хорошо – на шапках у них хвосты из гривы, длинные, распредлинные!.. А из себя-то какие молодцы, весело смотреть, даром, что французы. А уж эти новобранцы их! Бывало, норовят ограбить да отколотить. Они спросили, куда мы. «Домой». – «Карашо, ален» – да еще и поклонились нам, такие славные, а «ален» по-ихнему значит: проходите домой (мы уже понимали). Дошли мы до Тверской заставы, старушка, я да Андрюша-деверь, да за нами еще шли человек 70 все по одной дороге. У заставы караул, французы спрашивают, куда мы. Мы опять говорим: домой. Пропустили было совсем, да солдат увидал у меня полхлеба, не то что белый, а просто ржаной (они и ржаному-то рады были). Он у меня хлеб отнимает; я ему показываю на Андрея и говорю, что это мальчику на дорогу и что мальчик мой. А он-то мне: «Ты нет мадам, а мамзель». А я спорю: «Мадам и мальчик мой». Эти французы такие добрые! Сам голоден, отломил себе только кусочек, а хлеб отдал Андрею.

Вышли мы из Тверской заставы – тут все рассыпались, кто пошел вправо, кто влево. Во всех деревнях все солдаты, уж мужиков нет, выбрались подобру-поздорову. Шли мы своей дорогой, нас не трогали; дошли до Нахабина, и тут избы брошенные, рамы выставлены, стоят солдаты, а мужиков тоже нет. Кое-где оставлена старушонка старая, чтобы за двором присмотреть насчет пожара.

Нам попалась одна старушка; мы проголодались дорогою, хлеб свой весь съели. «Бабушка, накорми нас чем-нибудь, меня да малое детище, у тебя, верно, есть какая-нибудь корочка в запасе». Она посмотрела на все стороны, чтобы никто не видал, а то отнимут, говорит. Дала нам по кусочку и послала нас в сарай ночевать.

Она нам рассказала, как незадолго перед нами мужичка зажиточного расстреляли, а мужик-то ей был сродни. Это было еще сперва-наперво – он не успел еще из амбара весь свой хлеб вывезти. Пришли солдаты с переводчиком, говорят: отпирай амбар. Он взял ключи и пошел с другим мужиком. Да вот беда, он был кос и не видал, что переводчик за ним вошел. Он и говорит другому мужику: погоди, мы их в амбар впустим да там с ними и расправимся; другой заметил переводчика и молчал. А переводчик перевел солдатам, что он говорит. Солдаты только спросили: «Который говорил?» – «Косой говорил, а тот все молчал». Они другого не тронули и выпустили, а косого-то взяли, привязали к столбу, да в него и выпалили из ружей. Всю головушку

насквозь прострелили, и в грудь-то и в бока, а из спины пули выскочили; просто, как решето, из него сделали.

Отдохнули мы, опять пустились в путь; по всем деревням солдаты. В Песочну пришли – слышен в Воскресенском за рекой шум, крик. «Что это такое?» – думаем. Подошли к строению, увидели женщину: «Скажи нам, голубушка, что это такое за шум?» – «Это наши мужички с французами воюют; что там у них делается, не знаю». А вот что вышло. Пришли в Воскресенск человек пятьсот неприятелей – жители все разбежались из домов. Французам хотелось собор ограбить; мужички воротились, кто с топором, кто с пикой, кто с вилой, да давай французов катать, а французы-то в них стреляют. Такая пошла война, но Господь помог: видно, Он не захотел, чтобы нехристи монастырь ограбили. Французов-то было пятьсот человек, а наших немного, да наших-то все прибавлялось, из разных деревень сбегались на шум. Одних убьют, другие готовы, колотят да катают французов, кто чем попал. Всех положили на месте, ни один не ушел.

Уж мы не пошли прямо на Воскресенск, страшно было, а перешли Истру в Сычах. За Воскресенском французов больше не было. Старушка моя пошла по Волоколамской дороге, а я захотела побывать к своим родным и своротила в сторону. Село Глебово-Лобановское, откуда я была взята, всего 9 верст от Воскресенска. Я в Зенькино наняла лошадь за двадцать пять копеек медью; у меня денег своих ничего не было, да мне старушка дала полтинник за труды, что я ей мешок с деньгами несла из Москвы. И приехала я в Глебово на лошади. Как все там удивились! «Откуда тебя Господь принес, Дуняша!» У меня в Глебове было два дяди; они меня так обласкали и сказали, что все наши пробрались в Теплое.

Пока я тут была, вдруг приходят двое солдат: не французы, а новобранцы какие-то, такие оборванные, общипанные, голодные, просят поесть. А деревня-то была не тронутая, все цело, ничего не вывезено. Мужики скорей за пики: говорят, коли мы этих выпустим, они сотню наведут, другим укажут дорогу. Стали со старостой спорить. Староста их взял в избу, посадил за стол, поставил молока, хлеба, а мужики-то с пиками под окошком шумят и пиками в окно солдатам чуть не в спину. Староста туда-сюда; не хотелось ему этих двух губить, да ведь он один, а мужиков-то много. Как он их накормил, тут мужики их, сытых-то, сердечных, и потащили в лес, да в лесу и убили.

Куда на такие страсти смотреть – мы подальше спрятались. А ведь какие они догадливые! Как их в лесу-то убили и раздели, у них чего-чего не было навьючено круг тела, сколько одних платков! Шинели были все в заплатах, мужики их и брать не хотели; да один мужичок увидал, что из заплатки что-то светится. Глядь, золотой! Пошарили: что ж! в каждой заплатке все золотые зашиты. Много их тогда вынули этих золотых.

А до меня что еще было в Глебове! Там жил управляющий, француз тоже, Егор Иванович, пожилых лет, и жил у них очень давно; покойница княгиня его очень любила, и мы тоже. Он смотрел за скопами, продавал скопы, еще

кой за чем присматривал, и весь дом был у него на руках. Вдруг мужики взвозились! Он француз, он нас продаст – давай его бить! Егор Иванович никому зла не делал, жил себе преспокойно и в голове не держал, что на него мужички замышляют. Мужики уже собрались, да у него была кухарка, Марья; она проведала да шепнула ему: спасайся, мол, Егор Иванович, тебя хотят убить. Он, было, не верил, да как увидал, что идет куча мужиков к нему, выпрыгнул на задний двор и пустился в бег. Тут был мой дядя Никита, такой добрый, царствие ему небесное – он не пошел с мужиками, а другой дядя был с ними вместе. Ну вот Егор Иванович пустился в бег. Да куда бежать? Мужики близко, он бросился в ригу[8] – соломы было много, он в солому. Мужики давай искать в соломе-то; рылись, рылись, а его не нашли. Куда это он пропал, точно сквозь землю провалился. Они обступили весь двор, не век же ему тут сидеть – как выйдет, мы его тут и схватим. Прождали они целый день, а он ни гугу. Соскучились молодцы: видно, мы его упустили; он, должно быть, теперь далеко убежал. Мой дядя Никита как увидал, что все по домам разошлись да улеглись, запряг лошадь да задворками и пробрался к риге. «Егор Иваныч! Где вы? Это я, Никита. Вылезайте скорей». Посадил его на телегу, ударил кнутом и проскакал прямо в Теплое. Никита сдал Егора Ивановича с рук на руки Василию Семеновичу[9] и воротился домой как ни в чем не бывало. Егор Иванович дал ему 25 рублев и обещал, что после никогда своего спасителя не забудет.

А кухарка Марья хотела Егора Ивановича имение собрать и привезти к нему в Теплое, да мужики ничего не выдавали. «Это все, говорят, господское, а не его, он у нас нажил». Она пошла в Теплое, рассказала ему, что ничего не отдают. Как быть? Василий Семенович нарядил кума Константина Ивановича садовника солдатом, а повара Мареича офицером, заложил тройку да посадил с ними Марью кухарку, чтобы она им показала все имение. Приехали в Глебово. Мареич такой бравый, шпорами постукивает, саблей помахивает, приказал сейчас всех мужиков собрать. Как он на них вскрикнет: «Гей вы, разбойники, душегубцы, сукины дети этакие, подавай скорее все имение приказчика! Французы грабят, и вы тоже вздумали сами расправляться!» Они было зашевелились, а он крикнул: «Молчать! Тащите все скорее сюда, поворачивайтесь! Ах вы, разбойники, вот я вас, сейчас первому голову снесу». Как он замахнулся саблею, мужики и струсили, имение принесли. Наши удальцы воз увязали, посадили Марью с собою и ускакали в Теплое. Они у нас долго жили. Егор Иваныч жил у Василия Семеновича, а для кухарки и сундуков он нанимал избушку у Лонгиновых на Марьине. Они тут жили, пока все утихло.

Я в Глебове погостила недолго. Потом собралась ехать к своим в Теплое. Меня дядя Никита не пустил пешком, заложил лошадь да повез сам. Подъезжаю к скотному двору; тут первая мне попалась старуха карелка, идет за

---

[8] Хозяйственная постройка для сушения хлеба перед молотьбой.
[9] Управляющий Соймонова.

водой. Как она всплеснет руками, бросила коромысло да ведро. «Откуда тебя Господь принес! Мы уже думали, что тебя и в живых-то нет». Гляжу, уж все меня обступили: расспросов-то, расспросов что было! И все об Москве горевали. А тут уж прослышали, что француз ее оставил. То-то уж обрадовались! И разорил, да оставил. Мы на радости молебен отслужили.

Каллаш В.В. (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. 1912



ПИСЬМО ПРИКАЗЧИКА МАКСИМА СОКОВА И.Р. БАТАШОВУ[1]

Милостивый государь Иван Родионович!

2 сентября в 5-м часу вечера вступили в Москву французские войска. Король Неапольский[2], ведя авангард на Коломенскую дорогу, остановился у Вашего дома, будучи верхом, уверял всех нас, чтоб мы ни малейших обид не страшились. Назначил своею квартирою Ваш дом, поставил большой караул и, проводя за заставу многочисленную кавалерию, составляющую страшный авангард, в 7-м часу вечера возвратился в дом Ваш с 30 генералами и множеством чиновников. Для всех приготовили мы ужин, нарочито сытный; только белого хлеба и калачей найти было не можно, ибо калашни и хлебни во всей Москве были разбиты и хозяевами оставлены, почему и был только черный ржаной хлеб. Королю же нашел четверть сайки у дворовых детей. Генералы сперва гневались и говорили, что свиньи только кушают такой хлеб, однако ж, быв голодны, принялись и за него. Король, войдя в дом, потребовал меня, как Вашего приказчика. Явясь я со свечой в руках, провожал его по парадному этажу через все покои; он пожимал плечами, и казалось, что все ему нравилось. Возвратясь в желтую гостиную, спросил: «Где ж твой господин и кто он таков?» Я объявил, что Вы заводчик и всегда на лето уезжали в свои заводы, уехали также и ныне с начала лета. Он чрез переводчика промолвил (ибо по-русски ни слова не говорит), чтоб я к Вам написал, дабы Вы возвратились в Москву с тем, что он возьмет Вас в свое покровительство; но я, благодаря за милостивый отзыв, промолвил, что этого сделать невозможно, ибо тракт армиями пресечен и писать к Вам не могу. И так отпустил меня, уверя, чтоб я с домашними ничего не опасался. Ему подали кушать в красную гостиную

[1] Московский заводчик.

[2] Росту он высокого, довольно стройный, волосы светло-русые, локонами по плечам, четверти на две разложенные, в зеленой коротенькой матеревой тунике; брусничные панталоны, синие чулки и коротенькие сапожки со шпорами, шляпа трехугольная с плюмажем, и тоненькое, белое в три четверти вышиною, перо; тих, и глаза ласковые; но, говорят, что он генерал неустрашимейший и первый всегда в огне. – *Прим. авт.*

одному, а генералам и прочим – в столовой и зале. Свита бесчисленная. Ужин кончился. Всякий генерал требовал пышной постели, всякий – особый покой; покоев много, но постелей набрать было негде, ибо на холопской постели спать никто не хотел, а потому с угрозами всякий требовал такой, какой кому хотелось. Всю ночь нас, как кошек за хвост, то туда, то сюда таскали. Свечи горели всю ночь и в люстрах, и в лампах. Оставить было опасно, а гасить не посмели, потому всю ночь бродили мы, как тени. Король спал в спальне, дежурные генералы – в диванных и гостиных, и верхний этаж был полон чиновников свиты королевской. В 9-м часу вечера загорелись скобяные и москательные ряды и новый Гостиный двор; за Рузским мостом дом Лапина и подле его другой, деревянный. К утру 3 сентября у нас на горе подле Кирпичова и вниз к Яузе деревянные домы занялись также, и Сикеринская фабрика близка была к пожару, Архидиаконские богадельни и поповские домы; но наши люди, защищая конюшни свои и магазины, не допустили загореться ни богадельням, ни поповским домам, и пожар 3-го числа поутру тем кончился. Домы до Яузы с горы все сгорели, а Гостиный двор все еще дышал пламенем. Мы вторник, то есть 3-е число, провели в величайших суетах, ибо как проснулись чиновники, то требовал всякий того, чего кто хотел: иной чаю, иной кофе, иной белого вина, шампанского, бургонского, водки, рейнвейна и белого хлеба. Словом, каждый с величайшими угрозами требовал, чтоб его прихоти и требования тотчас были выполнены; всех нас измучили и с ног сбили, так что пришло бежать и скрыться хотя в воду. Многие из служителей, утомясь, для отдыха скрылись; я и Николай Григорьев оставались, изнуренные усталостью, свидетелями непрерывной суматохи. Там кричат бабы, что солдаты отняли и печеный и сырой хлеб, в других покоях солдаты разбивают сундуки и грабят все что ни попало. Ко всем тем местам ограбленным приставлены караулы, а там опять грабят, где их нет. И так 3-е число прошло в такой суматохе. Пожар сильный свирепствовал на Покровке, опустошал Немецкую слободу и около Ильи Пророка. Ночь была тоже страшная от пожаров и войск французских. В среду 4 сентября король, пообедав, поехал в поле верхом к армии. Ветер подул с запада самый жесточайший, с сильными и необыкновенными порывами; загорелись дома за Москвой-рекой от Каменного моста, и пожар столь сделался ужасен, что никак описать невозможно. Все Замоскворечье без изъятия занялось, а потом и у нас Никитского попа и причетников дома, Безбородков, Кирпичов и все тут на горе деревянные и каменные дома были объяты, Сахарова и Соймонова дома тоже, потом попа архидиаконского с причетниками; наша конюшня и магазины. Искры, как град, сыпались на главный корпус и прочие части. Я, видя, что спасения нет ниоткуда, собрав свои оставшиеся бумаги, отнес под контору в чаянии, что пожар там не проникнет их, и прочее нужное туда убрав, где многих семейств были сундуки и крохи, прибежал к трепещущим моим сотоварищам дворовым, кои, собравшись в саду, как устрашенные агнцы, в кучке ожидали с сухарями на плечах моего прибытия; не знали, где мы можем не сгореть, реши-

лись и пошли все, кто был обременен детями, кто хлебами и сухарями, кто лоскутьями и одежонкою, ибо не могли знать, куда мы должны будем прибегнуть по разрушении дома. Пошли чрез Яузу на Хованскую гору; тут на переходах солдаты французские начали проходящих грабить, у кого что было, остановили и меня. Я рвался и думал броситься с переходов в воду, ибо у меня было в карманах 1200 руб. ассигнаций; но явился в реке верховой солдат, вынул пистолет, прицелился стрелять в меня; товарищи мои, глядя с другого берега на мое положение, трепетали. Стоящий солдат на переходах вынул из кармана моего сверток ассигнаций от 4 до 500, развернул, в то ж время сильный ветер вырвал из рук его ассигнации и рассеял в грязь и воду Яузы. Верховой кричал, чтобы с переходов сошел и, ему их собрав, подал. На переходах стоящий держал меня и не пускал, однако ж я вырвался, спрыгнул к рассыпанным ассигнациям и вместо, чтоб сбирать их, побежал с остальными чрез воду к кучке наших странников; солдаты за мною не погнались и, видно, потому, что не хотели один другому оставить рассеянных ассигнаций, а потому мы спокойно достигли на гору в кусты. Здесь к ужасу усмотрели беглых и раненых русских солдат или мародеров и после узнали, что они жили грабежом проходящих; однако ж как нас было много, то и не смели нас до ночи грабить. Быв в таком положении, смотрели мы с ужасом, как загорелся Шурлина дом, наш корпус против старого дома, флигель, где жил Иван Федорович, и старый дом весь занялся, потом и дом Осипа Яковлевича. К довершению нашего бедствия увидели и то, что и большого нашего дома главный корпус загорелся, церкви Симеоновская и Архидиаконская тоже горели, и все дома занялися, и так необозримое пламя все пожирало, и все Заяузье без остатка занялося, Замоскворечье тоже без остатку все горело, ряды остальные занялися; на той стороне Яузы, где мы укрывались, тоже все занялося, и пламя объяло всю Москву, слилось, клубилось и все пожирало без изъятия; воздух наполнился несносным смрадом, и атмосфера, как мутная вода, летающею золою, от чего у всех нас глаза налилися кровью, и мы едва друг друга узнавали, несмотря что ночь от пламени была светла, как мрачный день. Размысля и смотря на страшную картину бедствий человеческих, в таком положении прошла половина ночи, и жителей обгоревших на гору стеклося тысячи. Мы, отделясь от всех и посадя в гряды капусты детей и женщин, стояли вокруг их на карауле и чрез четверть часа услыхали стенящего человека за сто от нас шагов; ребят наших часть туда побежали и увидали, что русские раненые и беглые солдаты не только ограбили бедного обывателя, руки и ноги переломали, но и старались убить до смерти. Усмотря оное, отряд ко мне наших возвратился с сим известием и требовал позволения отомстить убийцам. Я, прибавя команды, с нею отправился с дубьем в руках к укрывшимся разбойникам, нашли 12 человек, лежащих по траве и кустам с подвязанными руками и связанными головами; тут же и те самые, кои только что ограбили и убили обывателя; ребята мои, озлобясь, ударили в дубье, и мнимо раненые, вскоча, хотели бежать, но были в атаке и прибиты жестоко. Подле

поля сражения нашли в воде, обросшей осокою, разного платья и прочих вещей, награбленных ранеными, воза два, из числа коей добычи капоты и сюртуки достались и нашим победителям. После сего начало светать, и пламя казалось утомленным. Дома наши и прочие жалкую изображали картину разрушения. 5-го числа утром в 5 часов прибрели мы все к своему дому, расположились все в саду, тут же несколько десятков посторонних столь же несчастных упросили со слезами принять их в наше бедное общество, что с общего согласия и было принято. И нас по саду и по беседкам собралось до 150 человек. С трудом можно было пробраться на большой двор, ибо нагорелые стены дышали несносным жаром, однако ж по улице в большие ворота достиг я большого двора. Тут увидел, что главного корпуса верхний и парадный этажи превращены в груды камней, нижний же этаж весь уцелел; мы сердечно тому были обрадованы в чаянии, что можем укрыться от стужи и непогоды; но войти в покои было невозможно, ибо каменные своды и на них кирпич и щебень наваленные составляли в покоях нижнего этажа смертельный жар. Главный магазин остался цел и не сгорел, покой же над ним сгорел[3], сгорела и под конторой кладовая с товарами, людским багажом и бумагами, и думаю потому, что подле дверей ее была большая деревянная ванна, наполненная лубками и бочками. Покои же над нею, как нижние, так и верхние, целы. Музыкантского флигеля нижний этаж сгорел, а верхний цел; погреба, конюшни, платные, хлебные и людская кухня сгорели. Под оранжереею осталась цела какими-то судьбами одна только господская кухня с приспешною; оранжереи, как верхние, так и все нижние, сгорели; осталась одна только на Яузе; ворота, кроме больших железных, все сгорели. Где дьякон Симеоновский и дьячок жили, тут строения и заборы все сгорели, а потому окружены мы стали полем. Королевская кухня не успела вся выбраться, потому осталось много кастрюль и котлов, и несколько повозок погорело. В нижнем каретном сарае все погорело, а из верхнего остальные две кареты были вывезены; но одну из них увезли французы. Хлеб весь сгорел, дрова тоже, осталось только в одном погребе часть огурцов; но мы хлебом кой-как перебивались. И так в сей же день 5 сентября начался всеобщий грабеж. С рассветом дня я первый, будучи у больших ворот, взят четверыми солдатами, кои сняли сапоги, камзол и штаны, и с ними остальных лишился ассигнаций. Потом на всю нашу бедную артель солдаты, как саранча, напали и каждого обнажили и грабили. В покоях тоже, что от пламени уцелело, грабили и били. Кладовые все и сундуки разбили и все пограбили, что ни было, укладывали иные в фуры и увозили. В магазине не только двери разбиты, но и стены в двух местах проломаны, и тут было некоторых знакомых обывателей, на случай пожарной, наставлено много сундуков, комод и шкафов; все они разбиты и разграблены; бочки с косами, серпами, проволокою и жестью все разбиты, и товары разбросаны, кои, стараясь спасти, много раз мы собирали и запирали для

[3] Прочие три придела деревянные с товарами сгорели.

того, чтоб обыватели не тащили; но французы новые, видя запертый амбар, всегда замки сбивали в чаянии найти добычу; но, не найдя, бросали распертой амбар, из коего жители тащили вязанками что ни попало. Караулить было не можно, ибо французы брали, кто ни попал, и накладывали свои добычи для отнесения в лагерь; а потому и оставался уцелелый от пожара амбар наш на расхищение. О барке нашей, где она, и слуху не имею, да и узнать не можно. В сей день 5 сентября непрестанно всех нас грабили и раздевали каждого по 10 и более раз. Я и многие к ночи остались без рубашек и босые; я провел ночь в одной худой шубенке, впрочем, наг и бос. 6 сентября день тоже начался грабежом одинаким, отнимали даже из рук куски хлеба, ибо уже одежды ни на ком, кроме лохмотьев и рогож, на нас не было. В сей день разбили погреб, заложенный белым камнем, в коем уложены были господские бронзы и лучшие фарфоры и людское лучшее платьище и деньжонки, все это разграбили и частью увезли или унесли. Амбар наш опять мы заперли, и опять французы замки сбили и проломы разваляли и дали способ опять тащить наброду. 7, 8, 9 и 10-го поступали с нами одинаково и раздевать лохмотья наши не переставали; и день, и ночь отдыху не было, одни только уходят, другие являются. 11-го пошел я к королю просить защиты, он от нас переехал квартировать в дом Разумовского, что на Гороховом поле у Вознесенья; по приказу его написан мне аттестат и рекомендация коменданту защищать дом Ваш, меня и людей при мне. Комендант на том же аттестате подписал, чтоб везде меня не обижали и дом и домашних наших не грабили. На офицеров билет сей действовал, но солдаты, не смотря, грабить продолжали с одинаковым зверством. Потом 13-го все Ваши дворы и сады наполнились обозами с больными и ранеными, всех нас почти вытеснили из наших убежищ, и мы переколачивались где день, где ночь, в ожидании к лучшему перемены. Сказали, что и полиция учреждена, но грабежи не переставались. Оставалась одна надежда на мир, но о нем и слуху нет. Хлеба нигде достать не можно, да и впредь надежды не видать, ибо иной пожжен, иной забран войсками, а с полей возят от всех сторон снопами для лошадей. Капуста, редька и картофель – все солдатами истреблено. В таком быв положении, я уговаривал как с детями, так и одиноких наших дворовых пробираться на фабрику бумажную с тем, чтоб дальше оттоле пробираться, то есть на заводы. Знаю и то, что в заводах Ваших хлеба мало, но что делать? Здесь же неизбежно голодная и холодная смерть должна всех нас истребить. В сих мыслях три четверти народу перевел на фабрику. А 23 сентября и сам решился и пришел на фабрику, спася остальные Ваши деньги, на кои купя лошадей с повозками и снабдя дорожных на расходы, остальные при сем в заводскую Вашу контору посылаю с Дмитрием Тимофеевым, предполагая, что и у Вас во всем величайший недостаток, и думаю, что и Вы, милостивый государь, в величайшем затруднении. Я же остался пока на фабрике, в ожидании, не будет ли какого от Вас повеления, а между тем и не случится ль какой к лучшему в войне перемены, и о важнейшем буду Вам доносить с нарочными. Буде же ни того, ни другого

дождаться не могу, то и сам принужден буду брести по стопам отправленной братии. Москва представляет жалостную картину превратности жребия: большие улицы наполнены солдатами, и на каждых десяти шагах лежит издохшая лошадь, да и людей валяется без погребения множество. Жители, страшась своих победителей, скрываются или в погребах, или в развалинах, а в некоторых садах построены многочисленные шалаши слободами, где жители питаются остальными крошками и зернами, но и то, видно, иссякает, ибо неисчетное множество бегут и Москву оставляют. На заставах не останавливают, а только остальные крошки и лоскутья грабят и отнимают.

Сейчас явились с Москвы ездоки, Тихон-кучер со товарищи, и всех нас отчаянных обрадовали несказанно, что Вы, милостивый государь, с Вашими родными здоровы. Иван Максимович Горностаев письмом, писанным по приказу Вашему, восхитил, извещая, что Вы, как отец о чадах своих, печетеся о нас и о спасении жизни нашей заботитесь больше, чем о погибших Ваших сокровищах. Да сохранит Создатель Вас, отца нашего! С чувством истинной признательности, есмь и до гроба пребуду, милостивый государь, Ваш всенижайший слуга Максим Соков.

Бумажная фабрика
Сентября дня 1812 года

Каллаш В.В. (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. 1912



МОСКВА В 1812 ГОДУ, ЗАНЯТАЯ ФРАНЦУЗАМИ

Воспоминание очевидца

В 1840-х годах был я в одной из средних губерний, там познакомился с помещиком Г.Я. Козловским. Это был веселый и добрый человек за 50 лет, постоянно живущий в деревне, любивший вспоминать свое прошлое, особенно некоторые события из 1812 года, которые он очень хорошо помнил, потому что в то время был он уже на возрасте. Это меня заинтересовало, и я спросил: не может ли он письменно изложить, в подробности, все, что сохранилось в его памяти. Он согласился охотно и через несколько времени привез тетрадку, которая залежалась в числе прочих бумаг и отыскалась уже много лет спустя. Наивность простодушного рассказа наводит на мысль, что он был написан Козловским еще юношей, вскоре после передаваемых в нем событий. Во всяком случае, так как это рассказ очевидца, то из него можно составить себе ясное понятие о том положении, в котором находилась тогда Москва.

П.А. Степанов

I

Передаю подробно все то, чему я был свидетелем, что я вынес, что врезалось неизгладимо в мою память. Мне было 17 лет, когда французы вторглись в Россию. Жил я в Москве, у моих родных в собственном их доме, по Калужской улице. Я был в таких годах, когда с любопытством слушаешь, что говорится кругом.

Когда французы вторглись в Россию, все надеялись, что их отразят; после Смоленска оробели, а после Бородина спешили уйти из Москвы. Мои родные забрали все, что могли второпях, и уехали в деревню. Я тогда был в частном пансионе, и мне велено остаться до роспуска заведения и поручено охранять дом с несколькими старыми слугами. Когда наша армия с Драгомиловской заставы перешла на Калужскую, я пошел наведаться о пансионе, но он исчез и я остался в Москве один, без всяких сношений с родными, предоставленный самому себе, с единственною надеждою на Бога. Видел я сон, что хотел броситься на какое-то чудовище, поразить его саблею, но какая-то сила удержала

мою руку, и я не в силах был нанести удара! – так и сбылось в самом деле; сон сказал правду: мне не удалось быть в кампании, чего я так желал. Я верю снам: они иногда посылаются свыше, и изъяснение причины их так же трудно, как и многое другое в природе.

Таким образом, Москва волновалась страхами от приближения неприятеля; притом частые пожары, поимки шпионов и ежедневные воззвания, в коих хотя ободряли народ, но ясно указывали, что заставы не заграждены и что всякий, кто хочет, может выехать; мало-помалу к сентябрю месяцу все выехали: и казенные и присутственные места, и гарнизон, и полиция – все оставило Москву в добычу неприятелю. Тут сброд людей, раненые солдаты, колодники, выпущенные изо всех тюрем, мастеровые и другие люди, оставшиеся в Москве, как искатели приключений, группами ходили по пустым улицам, разбивали кабаки, штофные лавки и все, что попало; еще не было настоящего неприятеля, а я уже видел собственными глазами плоды безначалия и своевольства, предтечи будущих зол. Наконец, наступил роковой день – понедельник 2 сентября 1812 г.

Тогда арсенал был открыт и всякий имел случай брать оружие, какое и сколько угодно; часу в 3-м после обеда приходит ко мне один немец, тоже живший в Москве и, не знаю почему, оставшийся, и зовет меня в арсенал за оружием; будучи молод, само собою разумеется, я с радостью принял его предложение и отправился. Вот мы в арсенале разбираем ящики с саблями, взяли по две; товарищ мой вздумал достать карабин, просил меня остаться на дворе, а сам пошел вверх; не прошло нескольких минут, как на дворе арсенальном, где я стоял со множеством народа, вдруг сделалась великая суматоха, шум и крик:

– Французы, французы! – все бросились к воротам, в которые, впрочем, кажется, никто не входил.

Тут вскоре раздался залп из нескольких орудий: иные говорят, что это выстрелы по нашим молодцам, которые, вооружившись из арсенала, думали защищать Москву; другие утверждали, что этот залп был сделан по случаю занятия крепостных или Кремлевских ворот. Неприятель уже приближался. Нельзя описать нашего страха; мы сидели на дворе, как в клетке, все потеряли головы, обезумели. Один казак спрашивает сквозь решетки, куда ему ехать и не находит дороги, которую ему указывают; какой-то гражданин проходит мимо раненый в щеку. Стали долетать пули и до нас. Товарищ мой и я не знали, что нам делать. Наконец, мое невольное движение было пасть на колена и ждать своей участи. В это время пуля влетела в окно и указала мне путь спасения; бросаюсь в окно, где она пролетела, и протискиваюсь сквозь железную решетку во внутренность арсенала, там пролезаю сквозь наставленные музыкальные пюпитры в противоположное окно, спускаюсь на стену, где теперь Александровский сад, и во весь опор бегу по стене к Иверским воротам; не добегая до них, натыкаюсь на подмостки, поставленные, вероятно, для починки или беления стены; по ним спускаюсь в ров и пробираюсь в

Тверскую улицу. Тут пошел шагом. Мне встречались некоторые французские кирасиры, но никто меня не остановил. Так я, благодаря Бога, благополучно выбрался из арсенала и достиг дома нашего. К несчастью, ворота заперты; я стучу, никто не является: беда ужасная. Наконец, выходит дворник; говорю, что слышал залп из пушек, что французы уже вступили; мне не верят, утверждают, что это наши войска, которых гонят. Однако я долго не мог успокоиться от испуга, и мне стыдно вспомнить, как малодушен и испуган я был. Скоро площадь наполнилась разными родами войск, одетых в городскую форму, в киверах и в полной амуниции. Составя ружья в козлы и установя пушки, солдаты тотчас же разбрелись в улицы и переулки и стали шнырять по домам за добычей. К нам в дом явились первыми музыканты: молодой унтер-офицер приветствовал по-французски: «Здравствуйте, господа! Ваше отечество погибло, мы приходим к вам победителями; а вы нам дадите поесть и попить». Все молчали; я как единственный, который говорил по-французски, поневоле сделался их дворецким и начал носить, угощать, кормить чем случилось, некоторые так накушались, что насилу сошли с лестницы, а двое даже упали и заснули на месте; между тем гости беспрестанно прибывали, и я, истощивши провизию и водку, уже не знал что мне делать, как являются офицеры – капитан Буасо, с ним еще двое и молодой юнкер знатной фамилии; тут я отдохнул: солдаты перестали ходить, и эти гости, казалось, будут поблагороднее обходиться; они спросили чаю, я велел приготовить; к несчастью, недостало сахару, опять беда! Капитан сердится серьезно, не верит, кричит: «Вы хотите обмануть старого воина, но если не дадите сахару, я велю вас разграбить»; я чуть не плачу, взял у своих денег и предлагаю ему 2 рубля серебром, уверяя, что мне не жаль, но нет сахару и достать его теперь негде. Он посылает меня купить, прошу проводника и вместе с вестовым иду в город; уже солнце село, когда мы пришли к Воскресенским воротам; здесь часовые не пустили нас; я просил моего провожатого засвидетельствовать пред капитаном, что нельзя проникнуть в лавки, которые были уже зажжены, и пожар распространялся по всему Гостиному двору. Таким образом мы возвратились; капитан перестал сердиться; они разговаривали со мной, расспрашивали о разных предметах и удивлялись нашим деньгам, что один рубль серебра ходил четыре рубля на ассигнацию, и проч.; потом улеглись спать, и я в пустой комнате, бросившись на софу после трудов и тревог дневных, так заснул крепко, что проснувшись поутру, на заре, насилу вспомнил о незваных гостях своих, которые еще спали спокойно.

Так прошел первый день; между тем пожар распространился по всем сторонам Москвы и туманные облака с дымом представляли мрачную картину.

На другой день гости встали, позавтракали и отправились; тут опять начали посещать солдаты; но я отыскал одного доброго капитана, старичка, по фамилии Ансар: он был столько сострадателен, что приказал их гонять вон и поставил к нам часовых; пожар, распространяясь более и более, достиг смежных с нами домов. Я, по любопытству, выскочил на площадь; вдруг

меня схватили два солдата и повели на гауптвахту; спрашиваю: зачем? Они ничего не отвечают. Право, не знаю, как мы пробрались сквозь этот огненный хаос; однако прошли и достигли назначенного нам небольшого домика позади того, где остановился капитан с ротою; нам дали солдата для защиты, это был добрый итальянец по имени Массара; мы ночевали спокойно, но на третий день не избегли некоторых покушений от мародеров, которых мы с Массара отгоняли. Массара пошел к себе в роту, а у нас остался другой на его место; я пошел с ним в мезонин, где расположено было их капральство: нахожу человек 20 или 30 солдат, сидящих и лежащих на полу; тут они занимались, кто чинил платье, кто чистил ружье, кто амуницию исправлял, и такие они мне показались добрые, веселые и ласковые, что я у них часа два проболтал, потом возвратился домой, где обо мне очень беспокоились. Ночевали еще ночь так же спокойно; на четвертый день я ходил к капитану, поблагодарил его за благодеяние и защиту, попросил людей проводить нас еще на новую квартиру. Тогда Москва была пуста и все дома были общие, можно было занять любой, какой хочешь; мы нашли дом, в котором внизу жили университетские прачки, мывшие белье на двор Наполеона, и для того в доме был караул, состоявший из одного капрала и 6 рядовых; в этом доме мы расположились. С самого прихода я упросил капрала, чтоб и нас также берегли и давали к нам рядового, который может быть без амуниции, но только бы защищал от нападений мародеров; капрал старой гвардии, заслуженный, добрый человек, исполнил нашу просьбу и на все время, до самого их выступления из Москвы, каждый день в 11 часов утра, после развода в Кремле, приходила смена, сдавала под сдачу хранить дом и живущих в нем. Тут мы жили спокойно, все солдаты, приходившие к нам старой гвардии, были люди добрые; ни от одного я и никто из наших не слыхали обидного слова; одно было тяжело: не было хлеба и доставать его было очень трудно и дорого; например, небольшой хлеб у одного немца-булочника, который теперь стоит 5 коп., продавался по 2 рубля, и мы его делили на маленькие кусочки как антидор[1], отчего и принуждены были есть пареную пшеницу, доставая из обгорелых барок на Москве-реке; но и та скоро протухла, и если бы не картофель на некоторых огородах, то просто можно было умереть с голода. Французы сами нуждались в хлебе, им раздавали его маленькими порциями. В это время, обеспечивши домашних, я пускался гулять по Москве, и тут мне удалось несколько раз видеть самого Наполеона.

II

В первый раз я вышел на улицу перед вечером; стою с нашими караульными солдатами, разговариваю, заставил одного делать ружьем, показывая

---

[1] *Греч.*, благословенный хлеб; раздаваемые в церкви после литургии остатки освященной просфоры.

ему сам наши приемы (я знал экзерцицию[2] в пансионе). Вдруг один из них кричит: император! император! Они сделали фронт; смотрю, он проехал в длинных дрожках старинных (верно в Москве найденных) наподобие лодочки, и я очень явственно рассмотрел его. Когда уже он скрылся из глаз, то сначала я не поверил солдату, сказавшему, что это император, полагая, что мы Наполеона хорошо знаем по портретам черного и худощавого, а этот более бел и полон, и я прибавил, что он или сам ошибся или меня хотел обмануть; но солдат этим ужасно обиделся и сказал, что нельзя же ему не знать своего императора и шутить этим он не намерен. Так я и затвердил черты и одежду Наполеона.

В другой раз я ходил за Калужские ворота узнать, цел ли наш дом; пришел и нашел его невредженным; в нем занимал тогда квартиру генерал Пажоль, командовавший кавалерийскою дивизиею и раненый в руку. Бывший при доме дворецкий еще прежде ему обо мне говорил, и он меня очень ласково принял, разговаривал со мною и оставил мне множество французских книг, которые были в кабинете (где он сидел в больших креслах), однако впоследствии я их уже не нашел. Вышедши от него и обойдя все комнаты, заметил, что многие из наших картин были вынуты из рам, свернуты в трубки и приготовлены к отправлению во Францию; мне очень жаль их было, а делать нечего, особенно досадно было видеть два пейзажа Сальвадора Розы, которые также хотели свернуть в трубки, но как они были очень налакированы и стары, то не только потрескались, даже и холстина лопнула, и потому совершенно были негодны; потом осмотрел я все строение в доме, лошадей генеральских и экипажи в сарае; нашел чужие кареты и нечаянно рассердил одного польского вахмистра, состоявшего при конюшнях генерала: слыша, что он говорит хорошо по-русски, я спросил его: «Ты литвин?» Он за это взбесился и после говорил дворецкому, что если бы я не был знаком с генералом, то он бы меня убил до смерти, а я думал – за что бы, кажется! Оказалось, что поляки и литвины не одно и то же.

Возвращаясь домой по Якиманке, я заметил едущих сзади человек тридцать кавалерийских фуражиров с трубачом. Вдруг слышу между ними шум и стук оружия; оглядываюсь, они построились во фронт около стены, вынули сабли, трубач приготовил трубу. Это меня заставило остановиться; вижу – навстречу едет кавалькада шагом, впереди – Наполеон в синем мундире с белыми отворотами, в белых панталонах, в ботфортах, в петлице – орден Почетного легиона, шляпа на манер Фридриха 2-го, сзади его свиты – мамлюк Рюстак, граф Тюрень, камергер его и человек более 50 конноегерей гвардейских в медвежьих высоких шапках с лопастями набок и мамлюками с перьями. Увидя его, я раздумался, снять ли мне шляпу, но потом рассудил: а ну если он велит ее снять вместе с головою, это хуже будет; нет, лучше снять одну шляпу, – я снял и рас-

---

[2] Экзерциция (жен.) – *лат.* упражненье, ученье, обученье, натореньe. Экзерциргаус (муж.) – *нем.* просторное здание, для обученья солдат; конный манеж.

сматривал его очень наблюдательно: он ехал опустя глаза вниз, очень мрачен и, казалось, был в великом размышлении. Рюстак, увидя меня, улыбался и кланялся мне, и я ему тоже; когда Наполеон подъехал к французам, те отдали ему честь и трубач проиграл поход, а я пошел домой рассказывать виденное мною.

В третий раз я опять ходил за Калужские ворота и, идя по Калужской улице, нечаянно попал на противолежащую сторону улицы от нашего дома; в это время в Калужскую заставу выходила гвардия вон из Москвы, в поход. Долго я соображал, как перебраться на ту сторону, но смелым Бог владеет, и я решился проскользнуть между взводов; они шли колоннами, интервалы были невелики, я пустился поперек бегом и перебежал, слыша смех за мною: «Посмотрите на этого маленького бегущего буржуа» – они все меня так величали; я продолжал идти далее. Между тем полки построились в порядок, музыка заиграла, барабаны забили, и по той же стороне, где я шел, опять увидел Наполеона, галопирующего на лошади; он одет был в сюртуке сером и в обыкновенной своей треуголке; тут я в последний раз рассматривал его. Еще я видел его прежде раза два, но то вскользь и не помню теперь где.

Во все это время со мной случались удивительные анекдоты: однажды я играл в шашки с одним старым заслуженным французским гвардейцем; моя игра была очень расстроена, потеря двух шашек и невыгодное их расположение все заставляли думать, что я проиграю; но я не терял надежды, стал с ним спорить, что еще, может быть, выиграю. Он, между прочим, сказал: «Хорошо, если выиграете, то это значит, что русские будут в Париже, как мы здесь в Москве, посмотрим, посмотрим», после этого слова, как нарочно, я у него беру три шашки вдруг, потом еще и, наконец, запираю его; смех и радость моя были так сильны, что он раздражился, вскочил, схватил стул и так сильно ударил его об пол, что стук раздался по всему дому. Меня бранили за это, говоря: охота мне с ними спорить и их сердить; но я отвечал, что он сам напророчил себе это и напрасно сердится. Иногда приходилось употреблять некоторые уловки для безопасности: один раз ходил я в аптеку на Тверской бульвар, меня задержали там до ночи; когда я вышел, уже было темно, на пожарищах встречались толпы разноплеменных солдат, – признаюсь, страшно показалось мне. Вдруг замечаю шедшего офицера, я к нему адресуюсь; он спрашивает, что мне надо, я просто признаюсь ему, что боюсь идти один, он очень обрадовался товарищу, и мы с ним превесело и преспокойно прошли до Кремля, отблагодарив друг друга за компанию.

В это время можно было бояться русских мужиков более, нежели французов. Однажды я шел по Якиманке, встречались мне французы, спрашивали о дороге в Смоленск, я им указывал и отделывался таким образом; наконец, вижу толпу мужиков, встретившихся мне; они идут, и у каждого на плече железо, которое они из Москвы с пожарища и разных мест таскали. Один говорит другому: «Смотри-ка, ведь это француз?» Поравнявшись с церковью, начинаю молиться; другой ему отвечает: «Нет, это наш здешний», – и молитва меня спасла, потому что наши мужики не спускали французам и втихомолку

их прибирали; пример этому был на Калужской улице: идет больной француз, навстречу ему несколько мужиков. Он подходит к ним и говорит: «Господа, где госпиталь?» Один из мужиков взглянул на него и, проворча: «Да долго ли нам мучиться!» – как хватит его железной полосой по лбу – тут и конец.

Привожу на память себе великодушие маршала Нея: он стоял на Маросейке, в угловом доме к Ильинским воротам. Один из наших учеников лет 16, но высокий ростом, вздумал служить во французской службе, явился с этим к маршалу, тот усмехнулся и сказал: сколь ни лестно слышать ему такое ревностное желание служить под его начальством, но видя, что это не что иное, как увлечение молодости, а между тем несчастье, которое он навлечет на себя, вступя на службу в неприятельское войско, и притом воображая горесть его родных, он не советует ему совершить такую неосторожность и лучше дождаться терпеливо, чем все кончится, – и отказал.

Меня заманивали в разные службы; в одно время явился один живший в Москве, не помню его фамилии, иностранец и уговаривал меня принять должность комиссара, рассказывая, что я буду получать жалованье, хлеб (который был в редкость), буду носить белую повязку на руке и исправлять полицейскую должность и проч.; но я ни за что не согласился служить неприятелю. Камергер двора Наполеона, граф Тюрень, уговаривал меня вступить в службу к какому-нибудь знатному господину, но я отвечал ему, что надеюсь иметь своих слуг, а не быть в услужении других, и между тем рассказал мое родство с одним из генералов[3].

«Знаю, знаю, – отвечал он, – мы в Тильзите с ним познакомились по заключении мира, он был в свите императора Александра, а я с Наполеоном» – и с тех пор Тюрень имел ко мне уважение и не зазывал в службу.

Впрочем, нельзя припомнить всего и всех ужасов. Одно скажу, что, несмотря на все опасения, страхи, голод, ибо у нас по несколько дней не бывало хлеба, несмотря на беспокойство, страдания душевные, безызвестность о будущем, отвратительное зрелище обгорелых домов, кучи смердящих трупов людей и лошадей убитых и тлеющих, и на все ужасы тогдашние, я нимало не сожалею, что был свидетелем их. Это славный урок, утверждающий в вере и уповании на всемогущество Божие, без Коего и влас главы нашей не погибнет. С теплою верою и надеждою на святую Его милость я, юный, беззащитный, между трупов и по развалинам домов, сквозь огонь прошел невредимо – и даже меня, беззащитного, никто ни словом, ни делом не оскорбил!

Г.Я. Козловский

Русская старина. 1890. Январь

[3] То был князь Волконский; есть известие, что автор рассказа, г. Козловский, был его побочный сын. Короткое время Козловский служил офицером, женился, вышел в отставку и поселился в небольшом поместье Калужской губернии. – *Прим. П.А. Степанова.*

ИЗ ЗАПИСОК Е.А. ХАРУЗИНА[1]

Осмелюсь представить Вашему превосходительству выпущенные из моей автобиографии некоторые случаи, по содержанию хотя ничего не значащие, но, как мелкие дроби, принадлежащие к своему числовому знаменателю из великой отечественной катастрофы, выпавшей на искупительный подвиг многострадальной матери русских городов – православной Москвы, дополняют несколько характеристику того времени.

2 сентября 1812 г. Пред вступлением неприятеля в Москву были распущены в массах среднего сословия жителей ни на чем не основанные нелепые слухи (вероятно, от гр. Растопчина в видах сдержанности населения и особенно распущенных фабричных), что якобы скоро должны прибыть к нам вспомогательные английские войска; чему простодушно тогда верили и неглупые люди. Но чтобы Москва была отдана без кровопролитной битвы, того – после мистификаций растопчинских афиш – никому и в голову не приходило.

Вследствие такой настроенности, вступающих французов многие приняли за англичан-союзников, и владелица дома (существующего и теперь на своем месте, против Рождественского монастыря), где жили наши родные и где мы с матушкой были захвачены, поспешили с такой радости отличиться гостеприимством, выславши со своим сыном и служанкою за ворота двора два горшка с маслом и с полдюжиною хлебов. Следовавшие мимо французы, видя такую любезность, спешились и начали хватать подаваемые им помазанные маслом ломти хлеба; к ним присоединились прочие их товарищи, и припасы угощенья мгновенно были вырваны из рук угощателей, которые едва успели убраться на свой двор и закрыть ворота. Но разлакомившиеся вояки, покончивши с горшками, не долго думая, перелезли через забор и покушались было войти в дом, чему, однако ж, воспрепятствовала наступившая темнота и обманчивая особенность дома, стоящего на крутом косогоре; с переднего фасада он двухэтажный, а пройдя боковой стороной к задней его

[1] Записки составлены по просьбе М.П. Погодина в 1872 г.

части, – вход во второй этаж без лестницы. Французы несколько раз входили в сени второго этажа, но, предполагая лестницу, забирались только на чердак. Итак, побродивши безуспешно, оставили нас на этот раз в покое.

В одно и то же время, когда у нас вздумали угощать французов хлебом и маслом, из противоположного через улицу угольного дома, рядом с Рождественским монастырем, выбежал расхрабрившийся под хмельком мастеровой с ружьем, как видно не разделявший с прочими обманчивых надежд на услужливость скаредного Джона-Буля, и начал им махать во фланг идущей конницы, причем одного задел штыком, за что этот несчастный патриот тут же получил несколько сабельных по голове ударов и дротиком другого кавалериста был приколот. Эта сцена произошла на наших глазах. Труп его долго лежал на месте убиения.

Началось в нашем углу – комически, а закончилось – трагически памятное 2-е число сентября!

Однако ж не попавшие в наш дом с вечера раздосадованные французы, утром 3-го числа пришло их трое. Мы заперлись, да и думали, что так от них отделаемся, – не тут-то было! Они стали ломиться в двери и, найдя потом в сенях топор, начали рубить двери. Старшие от страха все попрятались: кто в темный чуланчик, кто за печь, кто под печь, а меня одного оставили и приказали мне отпереть врагам двери, утешая меня, что они мне ничего не сделают. До сих пор в доме было молчание, как будто никого из живого существа в нем нет; принявши поручение отпереть двери, которые продолжали снаружи рубить и яростно браниться, я подал им свой детский голос и просил их обождать. Французы, конечно, русской речи не могли понять, но догадались, что им отопрут, перестали ломать двери. Я наскоро обрезал веревки, которыми двери были притянуты, и, найдя в шкафе белый хлеб, снял два крючка… в распахнувшиеся двери с бешеным азартом вбежал передовой из них с топором на плече, готовясь поразить свою жертву, но, увидя кроткого мальчика, подающего ему с покорным поклоном хлеб, он спустил с плеча топор и, посмотревши на меня испытательно, улыбнулся и принял от меня хлеб; в то же время вошли двое его товарищей, с которыми первый, переговорив, дал мне знак, чтоб я шел вперед – в комнаты. Они молча все осмотрели и, к общему удивлению, ничего не взявши, ушли мирно и даже не заглянули в стоявшие сундуки с добром. Явным чудом милосердия Божия я уцелел!

4-го числа проходил мимо нас на Сретенку и оттуда – в Кремль великолепный кортеж, которому предшествовала конная гвардия и несколько взводов кирасиров, в серебряных латах и сияющих касках, с конскими хвостами назади; музыканты играли торжественный марш. Кортеж этот состоял более нежели из двухсот всадников, украшенных орденами, в разнохарактерно-богатых мундирах, касках, шишаках[2] и шапках, в середине свиты

[2] Древнерусский шлем сфероконической формы с плавно вытянутым верхом (шишом), часто с наушниками и наносником. Форма шишака заимствована у восточных народов.

два знаменщика, одетые герольдами, сомкнувшись рядом, везли большой, потемневший в походах, штандарт, на древке его сидел одноглавый золотой орел: тут был и сам Наполеон, но, за множеством свиты и суеты, я его не мог рассмотреть, фланговые кричали «Vivat imperator»[3] и заставляли то же повторять собравшихся из любопытства жителей, которым свитские адъютанты бросали мелкую серебряную монету величиною несколько поболее нашего двугривенника. Легковерные зрители начали с удовольствием подбирать эту французскую манну, но по миновании главной кавалькады задние кавалеристы поотнимали у них эти подарки, да и все, что у кого нашли в карманах, очистили. Разочарованные и обобранные, зеваки разошлись, повесивши носы.

Так отрекомендовался москвичам Наполеон и его честная прислуга!

Рассказывали тогда очевидцы, пробравшиеся в Кремль при вступлении туда Наполеона, что один генерал из его свиты сошел с лошади, упал на колени и воздавал за что-то благодарение небу. После узнали, что это кн. Понятовский, питавший надежду быть королем польским, благодарил по-своему Бога за падение Московии. И Бог русский, Бог отмщений, не обинуясь, откликнулся на его хульную молитву: как известно, этот тристат[4] нового фараона по выходе из Москвы, преследуемый казаками, погряз в хладных волнах р. Березины.

Въезд Наполеона в Кремль, как известно, был приветствован достойным русских образом: в тот день загорелись на Москве-реке барки с хлебом и на ее набережной хлебные лабазы; в то же время занялся и Гостиный двор. На другой день мы, с моим старшим братом, ходили в город смотреть пожары, при нас загорелся Москательный ряд, и я в одной разоренной лавке, до которой еще не дошел огонь, подбирал себе для рисованья рассыпанные краски, обреченные гибели.

А в четверг, 5-го числа, запылали Покровка, Мясницкая, Сретенка, Труба, Петровка, Дмитровка, Тверская, Неглинная и другие смежные с ними улицы. Мы, с прочими местными жителями в числе, наглядно, до пяти тысяч, выгнанные повсюдным огнем, провели эту страшную ночь без сна, под открытым небом, расположившись табором невдалеке от Самотечного канала. Тут были все возрасты, от стариков до грудных младенцев. Сначала мы расселись было далеконько от канала, но вскоре загоревшаяся за ними передняя линия деревянных домов стала нас обдавать жаром, и мы все переместились уже к самой набережной канала. Занятая нами ложбинная местность представляла тогда поразительное зрелище сплошных пожаров, раскинутых панорамою по отдаленным возвышенностям. То там, то там происходят по временам взрывы хранившегося для охоты пороха, предшествуемые черными клубами дыма и сопровождаемые огненными столбами; там загоревшиеся склады

[3] Да здравствует император! (*фр.*).
[4] *Греч.* – церк. военачальник.

спирта озаряют окрестность газовым светом, падения с грохотом подгоревших крыш на больших зданиях разносят тучами, подобно дождю, огненные галки, там, на видимых за Самотекой окраинах столицы, в Ямской, горят красным огнем запасы дёгтя, картина неповторимая: страшная картина ада! Горят дома, горят церкви, колокольни. При нас загорелось в колокольне Высокопетровского монастыря, долго в ней горело, наконец среди полуночной тишины раздался громоподобный удар: оборвался и загремел в падении большой колокол... Время было уже за полночь. Вдруг, слышим, на конце народного сиденья поднялась тревога: явились два запоздалые пьяные поляка, вроде пана Капычинского, и начали шуметь и обирать кого попало. Женщины встревожились, поднялся плач испуганных детей. Соседние с ними мужчины поднялись, пошептались между собой, подошли к мародерам сзади, хватили их булыжником и тут же убитых затоптали в земляную канавку; управившись с недобрым делом, они, потряхивая оторванным капюшоном с шинели одного из этих несчастных, говорили, смеясь: «Вот только от буянов и осталось!»

Теперь страшно и вообразить эту сцену публичного убийства, а тогда всем казалось, что так и надо!

Наполеон, как администратор, на третий день своего вступления в Москву распорядился назначить своего губернатора, полицеймейстеров и прочих должностных чинов, да в том беда: нечем им было распоряжаться. Разгневавшись, что ожидаемая им депутация московских бояр не поднесла ему ключей столицы (но Москва, как по истории видно, городских ключей у себя не имела и никому не подносила. Ведь Москва не Берлин, не Вена, не Рим, разлакомившие баловня принятием ключей, а с ключами и свободы побежденных. Каких же он ожидал от Москвы ключей?..), а только почтила его неожиданным освещением, он дал позволение солдатам на одну неделю грабить обгорелых жителей в свою пользу, а церкви – обдирать: назначил особые команды под начальством офицеров, записывавших и приводивших в известность святотатственные добычи, вмененные им за контрибуцию.

Полицейский порядок ограничивался только дозором троекратных конных патрулей, имевших приказание подбирать шатавшихся не в указанные часы солдат: первый объезд – в девять часов вечера, второй – в одиннадцать, третий и последний – в час ночи. В каждый объезд трубачи трубили на трубах. Забранные солдаты в 9 час. – получали выговор, в 11 – штрафовались арестом, а в час ночи – подвергались наказанию.

Вскоре появились на перекрестках и углах домов печатные афиши на французском и, с грехом пополам, на русском языках, приглашавшие жителей открывать лавки и торговать, не опасаясь насилия, а подгородные крестьяне созывались на базары, с жизненными продуктами. Но русские овцы не послушали голоса чужого пастуха...

Нам сказывали тогда (только не приводилось мне проверить этого события), что в дни дозволенного грабежа жителей произошел следующий

страшный случай: священник церкви Св. Софии, что на Лубянке, узнавши в один день, что французы сбираются ограбить его церковь, поспешил туда, облачился, взял в руки крест, выйдя из церкви, запер ее и стал стражем на паперти. Действительно, вскоре явилась кучка польских мародеров и начала требовать от священника ключей церковных; он им сказал, что только через труп мой войдете в храм, а живой ключи не отдам. Поляки русскую отказную речь священника поняли и, поспешая на святотатство, совершили злодейство: обороняющегося крестом подвижника убили и по следам святой крови ворвались в церковь. Две возрастные дочери этого священномученика, известившись о своем несчастии, прибежали в отчаянии к убитому родителю и обратили тут на себя преступные взоры убийц, которые, схватив их, поволокли было в церковь; но девицы не с человеческою силою вырвались из рук извергов и, как легкие серны, побежали к Охотному ряду; поляки погнались за ними; увидя близкую за собой погоню, они удвоили быстроту и, успев добежать до Каменного моста, бросились обе в реку.

Французы, умывая, так сказать, руки в непричастности своей к московским пожарам, искали виновников и находили – всё русских, каковых без дальних справок расстреливали и вешали на фонарных столбах, с надписями по-русски: «Зажигатель». При этой шемякиной расправе много погибло невинных.

Во всей Москве в эти дни огненных ужасов и грабительства до 15 сентября ни в одной церкви не было службы; с одной стороны, потому, что все они были осквернены и поруганы, а с другой – не было при церквах священников. Первое и единственное богослужение началось в Рождественском монастыре. Достойный уважения и вечной памяти этого монастыря младший священник отец Алексей (другой, старший, о. Адриан, человек святой жизни, был и тогда уже дряхл) выхлопотал у французского экс-губернатора дозволение: освятить один престол и открыть службу. К освящению приготовлена теплая церковь на 15-е число, в воскресенье. Нельзя и выразить той радости, какую мы почувствовали, когда услышали в субботу первый монастырский благовест к вечерне. В воскресенье мы все были в церкви при освящении престола и за литургией. Молились мы и горько плакали, видя обнаженные от окладов св. иконы и самые сосуды: потир и дискос – хрустальные. Во время водосвятия вошли три гвардейца в медвежьих шапках и остановились сзади священника; потом, ради кощунства, начали подымать штыками кверху облачения на священнике. Отец Алексей побледнел, но не оглянулся на врагов и продолжал освящение воды. Далее Бог не попустил помешательства: освящение престола и литургия благополучно совершились.

Спустя неделю по входе в Москву французы начали хватать и ловить молодых людей; из них большого роста брали в плен, для пересылки во Францию, на потеху легкомысленных парижан, а малорослых перегоняли в Кремль – рыть подкопы под соборы, башни и другие здания, а то употребляли жителей на разноску тяжестей. В одно время брат мой, бывший тогда 21 года,

большой ростом, пошел на дальние огороды добывать картофелю и был там взят французами в заграничную отправку. Ждали мы его возвращения весь день; наступил вечер, а брата все нет. Матушка наша заплакала и сказала: «Помолимся царице небесной за пропадающего, а там пусть будет, что Богу угодно». Мы плакали и молились долго и, утомившись от скорби, легли, но спать не могли. Время было час второй ночи. Слышим, стучат в окно: побежали отпереть – и, к нашей радости, нежданный уже явился брат мой, запыхавшийся, усталый и по ногам обожженный.

Его стерегли трое французов, он помещался между их с другим пленным русским молодцом; спасения не предвиделось, утром угонят их далеко. К полночи караульные начали позевывать и подремывать. Брат, не в примету страже, успел сказать товарищу, чтоб, улуча момент общей их дремоты, удариться бежать в разные стороны. Так и сделали. Французы живо вскочили, взяли ружья и начали стрелять по беглецам; но они уже были далеко, темнота прикрыла их бегство, – причем брат, бежавший без памяти через недавние пожарища, пообжег на себе и сапоги, и нижнее платье. Так Господь помиловал по молитвам нашей матушки.

Несмотря на эту миновавшую беду, вскоре нужда заставила матушку вместе с братом идти набрать пшеницы на обгорелой барке, взявши мерки две, только поднялись на набережную, как навстречу им французский полковник с троими гренадерами, увидя брата, сказал «але» и велел его взять. Матушка, заметя добрые, благородные черты лица полковника, попыталась выпросить у него брата и сказала ему: «Г-н полковник! Я стара, снести моей ноши не могу: отпусти мне его только донести мешок, и я обратно к вам пришлю его». Полковник, не понимая ее речи, обратился к одному из своих гренадеров, вероятно, поляку, чтоб он объяснил ему. Солдат перевел полковнику ее слова по-французски; на это полковник сказал, что она обманет и не пришлет сына (как перевел поляк). Тогда матушка сняла с рук брата перчатки и, со слезами отдавая их, сказала: «Г-н полковник, пусть эти перчатки останутся у вас залогом верности слов моих». И, о чудо, благородного великодушия и младенческой простоты! Полковник, выслушавши от переводчика эти умоляющие слова печальной матери, взял перчатки и отпустил брата, подтвердивши, чтоб она не обманула его. Вероятно, во всей армии Наполеона это единственный был добросердечный офицер.

Охотник до даровых трофеев из чужих стран, Наполеон не упустил случая в Москве ими поживиться. Он слышал, что в Кремле на какой-то главе есть крест золотой, ему представилось, что такому кресту негде больше быть, как на Ивановской колокольне. Вследствие такого убеждения он заставлял своих французов снять этот крест, но таких смельчаков не нашлось, а нашлись двое русских предателей, вызвавшихся на это дело; им была обещана богатая награда. И Бог попустил им совершить это преступление, так же как попустил Иуде предать Иисуса Христа. Взобравшись с веревками в главу Ивана Великого и чрез форточки, нечестивцы отстегнули цепи, закинувши на крест петлю

и спустивши концы веревок на землю, тут уж им легко было раскачать его и стянуть вниз. Когда крест упал и в падении разбился, обнаружилась тогда медная позолоченная обложка на железе и дереве. Разочарованный Наполеон, тут присутствовавший, закипел гневом и приказал обоих предателей расстрелять. Но золотой крест действительно был и теперь есть: он находится на средней главе Благовещенского собора, давний подарок Англии. Еще кто-то Наполеону сказал, что на изображении Спасителя над Спасскими воротами риза якобы золотая; он приказал ее снять, но, когда двоих исполнителей с верхней ступеньки, приставленной к иконе лестницы, сбросило и обоих убило, он оставил это намерение. Но зато взял с купола Сената конную статую Петра Великого, орла с Сухаревской башни и большого почтамтского орла, да тем и заговелся; но едва ли из этих трофеев какой достиг до Парижа?

По выходе французов, когда вошли в Успенской собор, с удивлением увидели, что правая рука мощей св. митрополита Ионы поднята, с угрозительным жестом, и что – видно вследствие этой угрозы, – серебряная лампада и над мощами богатая синь чистого серебра остались нетронутыми.

Современник описанных случаев Егор Харузин
16 ноября 1872 г., Москва

1812 год в воспоминаниях современников. 1995



ВОСПОМИНАНИЯ Ф. БЕККЕРА О РАЗОРЕНИИ И ПОЖАРЕ МОСКВЫ

I

Нынешнее (т.е. в ноябре 1870 года) положение Франции, а особенно Парижа, мне напомнило мое детство. Пусть же и французы испытают, каково сидеть на диете, как мы сидели в Москве в 1812 году.

Шесть недель мы питались единственно картофелем, капустою и коренною соленою рыбою; хлеба же и кусочка в глаза не видали!

Так как теперь собирают старину, а с тех пор прошло более полувека, и, едва ли есть еще очевидцы того знаменитого времени, то я решаюсь пересказать некоторые черты мною испытанного и виденного в 1812 году.

Для этого я начну немного выше.

Отец мой, саксонский подданный (по фамилии Беккер), прибыл в Россию в царствование императора Павла через Петербург в Москву, где и поселился. Он сначала завел небольшую торговлю, но, не имея ни малейшего купеческого таланта или оборотливости и при совершенном незнании русского языка, в скором времени разорился и впал едва ли не в крайнюю бедность.

Для поддержания семейства мать моя обучилась акушерству и маленькою своею практикою содействовала нашему содержанию. В эпоху, о которой я хочу говорить, нас было четверо: сестра 11 лет, я – 8 лет, брат – 5 лет и еще брат – 1½ годовой.

Это было в конце августа 1812 года, около 25 и 26-го чисел. Погода стояла превосходная, сухая, теплая. Мать моя уехала в Рязанскую губернию к помещику, мы же с отцом оставались в Москве, жили в Бронной, в старом деревянном доме, да и вокруг нас в то время, кроме мелкого деревянного строения, никакого другого не было. Теперь все это переменилось.

Живо помню, что в это время в Москве уже стало чрезвычайно пусто. Случилось раза два идти с отцом с Бронной на Мясницкую, через Тверскую и Кузнецкий мост, то едва, там и сям, попадется человек, а всякий знает, что это самая живая и многолюдная сторона в Москве.

Однажды только нам попался около Тверского бульвара крестный ход и был слышен сильный колокольный звон, но провожатых за ходом было

очень немного, а экипажа решительно ни одного. Я спросил отца, для чего это, то он мне сказал, что празднуют победу. Должно быть, что это было за Бородинское дело. Прошел крестный ход, и водворилась тишина и пустота; как есть ни один человек ни вблизи, ни вдали. Меня это поразило, я опять спросил отца: «Отчего такая пустота?» На что он мне сказал: «Оттого, что скоро французы придут».

Таким образом прошло еще несколько дней. Вдруг отец, пришедши домой, приказал нам собираться, что мы переезжаем на другую квартиру. Когда я его спросил: «Для чего это?», то он мне сказал, что, бывши у своих знакомых немцев, ему сказали, что в нашей стороне оставаться опасно, по совершенной опустелости и по причине сплошных деревянных строений. И действительно, совершенно было пусто; последний человек, оставшийся в доме, был какой-то мастер, делавший балалайки. Я накануне того дня, видя, что он собирается и берет топор, спросил его, куда он идет? Он мне ответил, что идет на Воробьевы горы – бить французов.

Надобно сказать, что семейство наше состояло, как сказано выше, из четверых детей, отца, служанки (пожилой солдатки Василисы) и старой барышни, которая называла себя княжною и нанимала у нас со своею компаньонкою комнату. Недолги были наши сборы: взяли с собою только несколько подушек и белья; то же сделала и наша жилица; все это мы понесли на себе и отправились в дом, замыкающий Тверской бульвар, у Никитских ворот. Там мы поселились без всякого спроса в двух больших комнатах: в одной – мы, а в другой – княжна.

На следующий день отец мой принес саблю, а Василиса – полный фартук штофов и полуштофов с разными напитками, из них были и сладкие, которых нам отец дал попробовать. Когда я спросил его, откуда все это взялось, то он мне сказал, что из арсенала и кабака, которые отданы в пользу всем желающим. Можно себе представить пустоту, когда на долю бабы достался полный фартук напитков.

Следующий день было воскресенье, учиться меня не заставили, и я с самого утра вышел на крыльцо, которое выходило на улицу прямо против Большой Никитской. Тут я увидал сильный дым против себя, как бы в конце Никитской; я передал это отцу, и он отправился в ту сторону. В скором времени, возвратившись, он сказал нам, что город (так называется в Москве Гостиный двор или ряды) горит. Тотчас он поднял в комнате половицу и спрятал под пол саблю и все штофы и полуштофы с напитками. На мой вопрос – для чего это, он сказал, что так нужно, вероятно, и у нас будет пожар. Нас, детей, конечно, это очень мало обеспокоило, и я продолжал зевать на крыльце, против которого дым становился все больше и гуще.

Около обеда, когда я стоял с отцом на крыльце, против нас остановилась небольшая группа верховых, в фуражках и серых шинелях, – то были военные. От них отделился один пеший в партикулярном платье и, подошедши к нашему крыльцу, спросил, нет ли у нас квасу. Отец сказал, что нет. «Так дайте хотя воды – генералу хочется пить». Тогда отец мой вынес воды в ков-

ше (стакана не было у нас); он подал генералу, и, когда он напился, вся свита тронулась к Тверским воротам.

Я ясно помню лицо ехавшего впереди генерала: оно было белое, полное, круглое. Вернувшегося отца я спросил: «Кто это такие?» И он мне сказал, что это Кутузов со свитою. Отец ушел в комнату, а я остался на крыльце.

Прошло еще несколько пеших, не замечательных людей; наконец подошел ко мне солдат, хромой, в серой шинели с красным воротником, и попросил у меня пить. Я вошел в комнату и сказал, что русский солдат просит пить. Отец вышел опять с тем же ковшом, подал ему пить и приказал спросить его, не хочет ли он вина, но он отказался, сказав, что он ранен. Отец дал ему немного медных денег, и он также направился к Тверским воротам.

Тут настала мертвая тишина: во все направления, на три стороны, налево – по Тверскому бульвару, направо – по Арбатскому и вперед – по Большой Никитской, ни души живой, ни стуку, ни шуму, ни голосу; кажется, и галки, и вороны, и собаки все исчезли. Видя, что смотреть нечего, я ушел в комнату. Настало время вечерен, но обычный колокольный звон нигде не раздавался. Прошел вечер, и мы легли спокойно спать. Так кончилось воскресенье.

II

На другой день, в понедельник, все еще было тихо, и мертвая продолжалась тишина и пустота. Внезапно, в начале пятого часа, послышалась музыка; мы с отцом выбежали на крыльцо и увидали по левой стороне Арбатского бульвара идущую пехоту. «Это французы», – сказал отец. Когда они приблизились, я увидал, что они в синих мундирах, а не как наши русские – в зеленых. Шло их очень много; они повернули направо по Никитской, в направлении к Кремлю. Они меня нисколько не заинтересовали, не были ничем замечательны. Когда они прошли, то вдруг, в другом направлении – от Поварской, пошла кавалерия; эта меня изумила. Подобного войска я не видывал: огромные светло-гнедые лошади, на которых сидели огромные всадники в блестящих желтых металлических латах, с блестящими, также желтыми, шишаками на голове, с длинными конскими хвостами. Они ехали мирно, не имели никакого оружия в руках. Это были кирасиры, те самые, которых мы, мальчишки, впоследствии называли беспардонными. Почему так – не знаю.

За ними стали показываться отдельные всадники; так, к нашим воротам подъехал гусар, но как ворота были заперты, то он оставил лошадь у ворот, сам пролез в подворотню и отправился в дом. Через весьма короткое время он опять вышел, сел на коня и уехал. День уже клонился к вечеру, и мы легли спать. Но вдруг ночью мы слышим голос отца, приказывающего скорей вставать и одеваться. Мы тотчас это исполнили, а он, между тем, завязал в простыню две подушки и целую ковригу черного хлеба. Все мы были готовы. В эту минуту вошла к нам в комнату княжна со своею компаньонкою. Княжна мне подала так называемый погребец (ларчик с чашками и стаканами, обитый тюленьею шкурою) и сказала: «Неси». Я взял, и мы вышли на наше

крыльцо. Тут увидал у меня отец ларчик и сказал: «Брось!» Я поставил его на крыльцо и отправился с пустыми руками.

Когда мы вышли на средину улицы, я услышал позади себя сильный ветер и шум. Я оглянулся. И взору моему представилось ужасное зрелище. Вся правая сторона Арбатского бульвара в полном пламени. Противуположная сторона ярко освещена, а деревья на бульваре от сильного ветра качались из стороны в сторону. Все это ясно было видно, но где оканчивалось пламя, этого видеть было нельзя. Мы тотчас повернули налево, на Тверской бульвар. Перед нами ночь черная.

При выходе из дому к нам примкнуло еще несколько человек, немцев же. Мы шли вперед. Едва мы вступили на бульвар и прошли, может быть, шагов сто, как вдруг сзади нас поднялся крик и спор многих голосов. Я оглянулся и увидал, что в стороне на бульваре, около огня, сидит много людей и оттуда бежит на крик, на помощь. Конечно, и отец мой все это видел, слышал и понял. Он приказал нам идти как можно скорее и молчать. Таким образом, продолжая путь, в темную, безмолвную ночь, мы прошли все бульвары и, пройдя Красные ворота, остановились в Лесном ряду, чтобы перевести дух.

Тут я оглянулся в ту сторону, откуда мы шли. Во всю дорогу я этого сделать не мог, ибо отец беспрестанно торопил. Но какое представилось мне зрелище! Весь горизонт, как можно окинуть было глазом, представлял огненное, яркое море! Башни же ближайших церквей рисовались на огненном фоне, как бы какие-нибудь черные гиганты.

Отдохнувши немного, во время чего нам запрещено было разговаривать вслух, мы отправились дальше. Когда уже рассвело, мы вступили в какой-то лес; я спросил отца: «Где мы?» – и он сказал, что это Сокольники.

Здесь я нашел огромную брошенную редьку, которую поднял и взял с собою. Пройдя еще некоторое расстояние, мы остановились около порядочного дома, деревянного, с колоннами и крыльцом. Мы очень проголодались и стали просить отца дать нам хлеба. Он согласился остановиться, развязал свой узел, вынул хлеб и отломил нам каждому по куску, а так как у нас не было ножа, то мы разбивали найденную мною редьку об угол крыльца. И ломти редьки с черным хлебом до сих пор мне кажутся таким лакомством, которого я не вкушал с тех пор, хотя и бывал на многих парадных и дорогих обедах и ужинах.

После этого великолепного завтрака мы отправились далее; наконец подошли к маленькому домику в три окна. Мы вступили на двор – нет никого. Двери отворены, и мы вошли в комнату. Все пусто. Тихо как в могиле. Комната совершенно пустая. Только кругом лавки. В углу под иконами – стол, но икон нет; в другом углу – русская печь.

Дом, по-видимому, принадлежал или крестьянину, или мещанину. Отец тотчас отправился осмотреть окрестности. Вошедши в комнату, сказал, что мы здесь можем остановиться. Мы этому очень обрадовались, потому что смертельно устали.

Отец нарыл на огороде картофелю, развели огонь и сварили его. Вот в чем и состоял наш обед, даже без соли. Такой же и ужин. Легли мы спать на голых лавках, как в чем кто был одет, т.е. в курточках и панталонах, а сестра – в одном платье; в том же и наши спутницы – княжна с компаньонкою.

Следующий день провели точно так же, не выходя из дому. На третий день, в сумерках, въехали на двор три кавалериста, в медных шишаках, в плащах и с ружьями со штыками за спиною. Отец выбежал к ним навстречу и скоро вошел с ними в комнату, сказавши нам, что это драгуны. Они были очень большого роста, с черными усами и бакенбардами; вошли в комнату без всякого оружия. Один из них нес 4 курицы, небольшой мешок, штоф и белый хлеб. Все это поместил на столе.

Отец тотчас передал кур нашим женщинам, чтоб их ощипали. Когда это было сделано, развели огонь и поставили варить, а из мешка насыпали туда рису. Потом один из французов приказал мне налить в стакан из штофа, – то было красное вино, и обносить всех женщин, указывая на каждую и приговаривая по-немецки: an die Frau, an die Frau, an die Frau (этой женщине). Пока я всех их обнес, разговор их с отцом шел очень плохо, ибо они не свободно говорили по-немецки, а он не говорил по-французски.

Когда суп был готов, они с отцом поели. Остаток отдали нам прочим. После ужина они пошли в сарай, к лошадям. Отец их проводил и, вернувшись, приказал нам не говорить, что здесь есть французы, если неравно придут казаки.

На другой день утром рано они съехали со двора, подали отцу моему кусок черного сукна и жилеточной материи. Вскоре за ними отец отправился в город; засветло воротился и принес несколько сальных свеч. Таким образом он продолжал несколько дней.

Пища наша все это время состояла из вареного картофеля и черного хлеба. Наконец безлюдье в Сокольниках наскучило нашей княжне. Она уговорила отца отыскать более обитаемое место. Решено отправиться в Преображенское.

Это также очень отдаленная часть Москвы, застроенная большею частью разными фабриками.

Итак, мы отправились в путь со всеми пожитками. Погода была прекрасная. Пройдя довольно обширное поле, мы прибыли в Преображенское и вошли в небольшой деревянный дом. В нем мы застали довольно людей, порядочно одетых, и мы с ними сели. Чрез несколько времени я заметил, что отца нет в комнате. Я пошел его отыскивать и нашел его в отдаленном углу огорода. Когда я его спросил, зачем он удаляется от людей, он мне ответил, что ему сказала княжна, которая слышала от хозяйки, что здесь нам оставаться нельзя, что сторона наполнена грубыми фабричными, которые узнают по выговору, что он не русский, сочтут за француза и непременно убьют, почему лучше будет, если мы возвратимся в Сокольники. Когда в комнате бывшие разошлись, мы собрались в обратный путь, но княжна с компаньонкою остались в Преображенском. Василиса же последовала за нами.

В Сокольниках мы поселились в том же доме, где уже жили. На другой день отец пошел в Москву, я проводил его за ворота и увидел перед собою в Москве сильный пожар, простиравшийся на далекое расстояние. Отец сказал, что это, должно быть, горит Разгуляй и Немецкая слобода. Эти части Москвы большею частью состояли из деревянных строений, а потому и пожар был страшный.

Во время его отсутствия въехали к нам на двор два всадника: один остался на дворе с лошадьми, а другой вошел в комнату. Это был очень молодой человек высокого роста, едва 20 лет. Он одет был в зеленую куртку, в серых шароварах, с фуражкою на голове и с пистолетом в руке. Не говоря ни слова, он прошелся раза два по комнате, оглянулся на все стороны и, видя совершенную пустоту, молча вышел, сел на коня, и оба уехали.

Мы радостно вздохнули, ибо пистолет его приводил нас в ужас и трепет. Мы сидели все время по углам и едва переводили дух, опасаясь как-нибудь его разгневать и чтобы он нас не перестрелял.

К вечеру отец возвратился и рассказал нам, что он попался французам, которые его ободрали, но взяли только серебро, а ассигнации ему оставили. Прошла уже целая неделя со дня нашего ухода из Москвы. Коврига нашего хлеба почти истребилась, и потому, что ее оставалось очень немного, отец нас оделял самыми тоненькими ломтиками, а заставлял есть больше картофеля.

Собираясь опять в Москву, он, из предосторожности, чтоб не быть замеченным французами, надел Василисин овчинный нагольный тулуп. Уже стало вечереть, а его нет. Уже стало темно, а его все еще нет. Тогда Василиса нам сказала: «Ну, знать отца вашего убили; коли он завтра не вернется, я вас брошу!» Как мы ни были малы, но поняли весь ужас этого слова. Мы подняли плач и вой. Мы стали ее умолять этого не делать, но она стояла на своем: «Что мне с вами делать, куда я с вами пойду?»

Без ужаса и теперь не могу вспомнить этих минут. Но милосердый Бог не допустил нас до последней крайности! Почти в эту минуту вошел в комнату отец. С каким восторгом я и сестра, мы бросились к нему, но вдруг остановились, увидавши, что за ним лезет медведь. Очень скоро мы успокоились, когда рассмотрели, что это не медведь, а огромный солдат в медвежьей шапке, который согнулся в крюк, входя в низкую дверь.

Снявши тулуп, первое слово отца было по-немецки: «Дети, собирайтесь скорей, скорей!» Потом по-русски: «Василиса, возьми Карл чичас». Так назывался полуторагодовалый брат. Все было исполнено в одно мгновение. Отец связал узел. Василиса надела тулуп, завернула в него Карла, и мы отправились.

III

Было время темное, холодное, сырое, последние дни все шел дождь. Сокольниками мы прошли довольно покойно, но когда мы вступили в Москву,

то отец, для сокращения пути, повел нас не улицами, но по опустелым дворам, между погорелых домов, от которых торчали только печи и трубы.

Тут было идти очень плохо. Мы беспрестанно спотыкались на валяющиеся кирпичи и обгорелые бревна. Наконец наш гренадер сжалился над сестрой, взял ее на руки, а меня вел за руку, и я поспевал за ним только на рысях. Отец шел впереди с 5-летним братом на руках. Василиса с ребенком замыкала шествие.

Наконец мы пришли к какому-то большому каменному дому. Это тогда был дом князя Репнина на Маросейке. Вошли на двор, и провожавший нас солдат спустил с рук сестру и ушел, не сказавши ни слова.

Отец нас ввел по высокой широкой лестнице в большую комнату, потом прошли другую и остановились в третьей. В комнатах была совершенная темнота. Отец велел подождать, и сам скоро вернулся со свечой в руках. Тут мы увидели, что мы находимся в большой комнате, но совершенно пустой. Нет ни лавочки, ни скамеечки, ни стула, словом – ничего. Нас оделили по ломтику хлеба, последнему, что оставалось. Что завтра будем есть, мы не знали и не помышляли об этом. Маленького брата положили на подушки, а мы все прочие растянулись на голом полу в чем пришли.

На другое утро, вставши, отец нам принес немного картофелю и кусок черного хлеба. Когда мы спросили, откуда он это взял, то он сказал, что возле нас, в других комнатах, живут немцы и что это они ему дали. Вечером, когда мы все отдохнули, он нам рассказал, что с ним в тот день случилось. И вот что мы услышали.

Надевши, как было выше сказано, Василисин тулуп, он отправился в Москву. Везде шел без остановки, как вдруг на углу Старого университета, который уже сгорел, его остановили два француза: один верхом – гусар, а другой – пеший, имевший в руке толстую восковую церковную свечу. Гусар стал ему кричать: «Панталон, панталон». Отец мой отговаривался по-немецки, что не знает где их взять, чего тот не понимал или не хотел понимать, а пеший стоял и не пускал его. Уловивши, как ему казалось, удобный момент, отец хотел бежать, но в эту минуту пеший ударил его свечою по голове, так что он упал. Тогда солдат его втолкнул в подвальный этаж университета, где еще тлели и дымились остатки строения. От падения отец пришел в себя и выскочил в противоположную сторону на двор. Увидевши это, гусар заехал кругом и хотел воспрепятствовать ему вылезть. Но отец, увидавши на дворе солдат, начал кричать о помощи. К счастью, то случились немцы, виртембергцы. Они подскочили, отогнали гусара, взяли к себе отца, растерли вином шишку, которая у него вскочила на голове, дали выпить немного вина и отпустили. Тогда он отправился к знакомым немцам на Маросейку, в дом князя Репнина, и рассказал свое приключение. Ему присоветовали тотчас перебраться в Москву.

Они с ним пошли к генералу, который стоял в этом доме, и стали у него просить провожатого (sauve-garde); генерал не соглашался, говоря, что поздно, что солдаты должны быть все дома при перекличке, что завтра он ему

даст сколько угодно. Но по усиленной просьбе отца, что дети будут в отчаянии, если он не вернется на ночь, генерал согласился, с тем, чтоб отец вернулся к перекличке через час, а дело уже шло к вечеру.

Таким образом, отец пустился в Сокольники, не разбирая дороги, а гренадер за ним, и всю дорогу ужасно бранился, так что отец ежеминутно опасался, что он его убьет и уйдет. Однако они благополучно прибыли в Сокольники и нас перевели в Москву. Вот причина, почему он так торопился. На третий день, когда мы встали, отца уже не было дома. Около обеда он явился и принес с собою порядочный мешок картофеля, который он нарыл на огородах, что и составляло единственную нашу пищу в течение нескольких дней.

В это время отец мой нанялся работником к немцу-булочнику, но так как он в этом деле ничего не знал, то топил только печь и носил дрова, за что получал каждый день по одному ситному хлебу, какие бывают обыкновенно пятикопеечные, но в это время они продавались по два франка. Через неделю, однако, кончился этот доход, за недостатком муки, мы опять остались при одном картофеле. Между тем Василиса, не знаю откуда, добыла два кресла и большой стол, а отец принес три конские попоны и несколько опойков[1]. Это служило нам постелью и одеялом.

Тут познакомился с нами француз, или, вернее сказать, эльзасец, один из музыкантов, живших над нами в 3-м этаже.

Он был огромного роста, смуглый, с черными усами и бакенбардами, и бил в хоре в турецкий барабан. Так как ему недоставало получаемой порции, то он составил с нашим отцом компанию: ходить вместе за картофелем.

Они это делали следующим образом: поймают на улице пару лошадей, отправятся в огороды, нароют картофеля, наложат его в мешки и на этих лошадях привозят домой. Потом лошадей отпустят и на другой день, поймавши других, опять отправляются на тот же промысел. Таким образом отец мой навозил большой угол картофелю. Потом стал возить соленую, что называется, коренная, целую рыбу, не знаю белугу или осетрину. Он навозил ее также большой запас. Наконец стал возить капусту, свежую, прямо с огородов. Из этих припасов, т.е. картофеля, капусты и соленой рыбы, ежедневно варился какой-то соус. Хотя и без хлеба, но мы, были сыты.

Эльзасец ходил к нам ежедневно и обедать, и ужинать. Охотно я слушал его рассказы про походы и сражения, хотя он говорил очень ломаным языком.

Однажды в воскресенье он пришел к нам утром в необыкновенное время. Отец спросил его, почему он не на параде? На что он ответил, что отказался идти за неимением башмаков. Ему приказывали добыть себе башмаки, как и прочие, на что он отозвался тем, что служит императору и воровать и грабить не обязан.

---

[1] Опоек представляет один из сортов мягкого кожевенного (сапожного) товара, идущего главным образом на лёгкую обувь. Материалом для выделки опойков служат шкуры молодых телят, в возрасте меньше 1 года, питавшихся только молоком.

Вернулся ли он в Эльзас? Когда хозяйство наше поустроилось, отец мне сказал, чтоб я с ним шел на старую квартиру. Я этому чрезвычайно обрадовался. Погода опять стала прекрасная. Мы отправились.

Страшно было видеть опустошение Москвы. Где стояли дома деревянные с мезонинами, видны были только печи в три яруса стоящие одна на другой, как башни. Улицы, мне очень знакомые, – не узнаваемы; нет ни заборов, ни огородов. Можно было переходить из улицы в улицу, диагонально по дворам и садам, – так казалось близко.

При переходе переулком с Мясницкой на Кузнецкий мост нас настигла группа верховых. Отец мой остановился, снял шляпу и мне приказал снять картуз. Когда они проехали, я спросил, кто это такие? Он мне сказал, что это император Наполеон впереди. Я успел только заметить небольшого смуглого человека в сюртуке и маленькой треугольной шляпе. Вся свита тоже была в сюртуках и больших треугольных шляпах. Не было ни на одном такой шинели, как на наших офицерах.

Нам пришлось проходить через двор церкви, название которой я тогда не знал, но это было на Петровке, Рождество Столешники (что в Лечниках). Здесь услышал конский топот в церкви. Я остановился посмотреть и увидел около церкви француза, который из больших местных икон составил ширмы, а меньшие колол топором и подкладывал в огонь под котел, в котором он что-то варил. Я подбежал к отцу, отошедшему несколько вперед, и стал ему рассказывать мною виденное, но он, не останавливаясь, приказал мне идти далее.

Везде представлялось то же зрелище. На Тверской огромные дома стояли обгорелыми. За Тверскими воротами открывалось взору почти чистое, необозримое поле. Это впечатление так сильно меня поразило, что и теперь нередко вижу во сне, как я хожу в Москве по погорелым улицам, по запустелым дворам, заросшим репейником и крапивой, каких много оставалось еще очень долго и куда мы мальчиками собирались играть в казаки и французов. Подошедши к дому, откуда сначала вышли по вступлении французов, мы вошли в наши бывшие комнаты. Они были не заняты. Отец поднял известные ему половицы, но ничего не нашел, что спрятал – саблю и напитки. И так мы вернулись домой с пустыми руками.

В это время мы жили спокойно. Ели капусту с картофелем и соленой рыбой, и ничто нас не тревожило. Кроме того только, что у нас у всех расстроилось пищеварение, но на это не обращалось никакого внимания.

Около этого времени мы пошли с отцом навестить знакомое ему семейство Петерсон. У них были две дочери – 9 и 10 лет. Там нам подали прекрасный на вид ростбиф, но, когда сказали, что это лошадиное мясо, я не решился есть. Отец же ел и очень хвалил. Мы и после того были знакомы с этим семейством. Мать считалась вдовою, потому что отец их, во время пребывания французов, без вести пропал и никогда уже не возвращался.

Наконец, однако же, нам понадобились свечи. Тогда отец натопил лошадиного сала, положил палку через два кресла, навесил на нее каких-то бечевок

и обливал их по несколько раз натопленным салом. Свечи вышли, но кривые и бугроватые. Однако же они нам служили не хуже стеариновых. В это время я часто выбегал за ворота и смотрел парад.

Против ворот выстраивался длинный, по всей Маросейке, фронт солдат в синих шинелях и медвежьих шапках. После некоторых ружейных приемов они вдруг с силою опускали шомпола в ружья. Этот звук и гул меня очень занимали. Потом все поворачивали к Кремлю, через Ильинские ворота.

Я всегда видел нашего эльзасца, как он шел в хоре музыкантов со своим огромным барабаном, который он нес не так, как у нас, но поперек груди. Правой рукой бил в него колотушкой, а левой – какою-то расщепленною палочкою.

Сентябрь весь простоял сухой и теплый. Но с октября погода быстро переменилась. Стал идти дождь. Пошел холод и мороз, и показался снег, который и не таял. Уже я редко выходил на двор, но помню, что однажды, вышедши на крыльцо, увидел большого француза, шедшего по двору в лиловом атласном салопе, доходившем ему до колен. Это меня очень изумило.

Мороз становился все сильнее и сильнее. Наконец в один день пришел к нам эльзасец и стал прощаться с отцом, объявляя, что они завтра выходят. При этом он подарил отцу моему голубую штофную ризу, которую при мне отец зарыл под картофель. Эльзасец ушел, мы очень об нем сожалели, потому что успели его полюбить.

В ту же ночь мне понадобилось, по своей болезни, идти в третью комнату. Я прошел одну и другую. Но лишь только хотел отворить дверь в третью, как раздался страшный какой-то удар. Мне вообразилось, что надо мною обрушился дом. Я крикнул, присел и схватил себя за голову. Но чувствуя себя невредимым, я с криком побежал назад. Отец уже встал и опять приказывал собираться. Привыкнувши к подобным приказаниям, в одну минуту все было исполнено.

С узлом за спиной привел он нас на другую половину, где мы уже нашли несколько мужчин и женщин, также с узлами за спиною, сидящих в безмолвии.

В скором времени раздался еще удар, так что окна задрожали, все вздрогнули, но ни я и никто не вскрикнул. Потом третий удар, но слабее прежних. Очень долго еще все сидели и посматривали в окно, как бы в ожидании чего-то, но все было тихо. После некоторого времени все разошлись, и мы легли опять спать.

На другое утро нам сказал отец, что удары эти происходили от взрыва Ивана Великого и арсенала.

Я впоследствии видел много раз эти груды развалившихся зданий, с лежащими на них колоколами. Самая же башня Ивана Великого уцелела.

Вскоре, в то же утро, явился казак. Меня вызвали, чтоб с ним говорить, ибо все эти немцы очень плохо говорили по-русски, и я служил переводчиком. Мне приказывали, между прочим, спросить его: нет ли еще французов в Москве? Но казак сказал, что нет. Ему поднесли стакан водки, и он ушел. Как только я узнал, что французы вышли, я тотчас отправился наверх в их

комнаты посмотреть, не найду ли там чего-нибудь для себя. Но комнаты их оказались пустые, только два или три стула и одна лавка. На полу же разбросано множество книг, все новые, притом французские, чего я читать не умел.

Между ними я поднял книгу в черном кожаном переплете, с белыми листами, на последнем листе было что-то написано, также по-французски. Спустя уже несколько лет, когда я научился понимать по-французски, я разобрал письмо, и оказалось, что это пишет сын к матери во Францию и говорит: «Мы теперь в Москве, страна очень разорена, и нам жизнь очень трудная. Мы проведем зиму здесь, а весною пойдем в Константинополь». Всякий знает, как сбылись эти замыслы!

На третий день отец вдруг нам принес калачей, баранок, чаю, кофе и сахару. Восхищение наше было необычайное, когда нам дали всего этого сколько душе угодно. Мы едва верили своим глазам и, как голодные волки, бросились на эту прелесть. Все было забыто, но не все кончилось.

IV.

Спустя несколько дней, когда отца не было дома, входит к нам так называемый квартальный, и с ним будочник. «Смотри все, что есть», – приказывает квартальный будочнику, и тот начал развертывать наши попоны, в которых завернуты были опойки и подушка. «Что прикажете?» – спросил солдат. «Бери ковры и кожи, подушку оставь», – сказал квартальный. Будочник свернул и взял. Надобно сказать, что опойки ни на что, кажется, были негодны. Они представляли ландкарты[2], дурно нарисованные! Потом пошли через комнату, в углу которой лежала большая куча картофеля. «Не прикажете ли развалить картофель?» – спросил солдат. «Чего там искать», – ответил квартальный, и они ушли, взявши с собою попоны и кожи. Помню, что при словах «Не прикажете ли развалить картофель?» я чрезвычайно испугался, зная, что под ним зарыта риза. Я вообразил, что за церковную вещь отец может подвергнуться ответственности.

Подобные обыски делали во всех домах, и все отбирали с тем, чтобы отыскать настоящих хозяев.

Многим ли они были возвращены – я не знаю. Таким образом, мы приведены были в первобытное состояние, и опять пришлось ночевать на голом полу. Но на другой день отец накупил войлоков, которые нам служили постелью, также и шерстяные одеяла. Это была уже роскошь.

Вообще в это время мы ни в чем не нуждались, что касается пищи, питья и обуви: оставшиеся у отца ассигнации пригодились.

Вскоре возвратилась и мать наша. Можно себе представить радостное и вместе горестное свидание. Она приехала ночью и застала нас почти без белья. В течение шести недель мы его не переменяли, и потому первая ее забота состояла в том, чтобы нас им снабдить.

---

[2] *Устар.* – географическая карта.

По стечению некоторых обстоятельств случилось так, что мы перебрались из дома, в котором мы до сих пор жили, в те же комнаты, из которых вышли при вступлении французов, и стали ходить по тому же крыльцу.

Мы стали жить хотя в весьма стесненных обстоятельствах, но, по крайней мере, были сыты, одеты и обуты.

V

В начале лета, в 1813 году, открылось против нашего крыльца народное училище. Меня поместили туда для изучения русской грамоты.

По-немецки я уже умел читать и писать и продолжал с отцом читать Библию.

Пробывши первый день в классе, я возвратился и сказал, что в этом училище учат только священной истории и русскому катехизису, и то церковными буквами.

«Нужды нет», – сказал отец, – учись всему; все, что знаешь, полезно».

И так я продолжал целый год, хотя мы были и лютеране.

Впоследствии времени я имел случай научиться французскому и латинскому языкам. В 1824 году вступил в Московский университет по медицинскому факультету, или отделению, как тогда называлось, хотя в табели или матрикуле и писалось Studiosus facultatis medicae.

Лишь только я выдержал экзамен на студента, еще не побывавши ни на одной лекции, отец мой скончался, почти 60 лет. Вскоре, по выходе французов, он заболел совершенно расстроенным пищеварением. Болезнь его по временам уступала лечению, но здоровье не восстановлялось, и он умер от совершенного истощения, вследствие болезни печени, которая, без сомнения, произошла от душевных потрясений, трудов и дурной пищи.

Все, что он нам оставил, состояло в следующих 4 стихах, которые он нам часто повторял:

Und immer Treu und Redlichkeit,
Bis an dein kühles Grab;
Und weiche keinen Fingerbreit
Von Gottes Wegen ab.

Перевод:

«Твори всегда верность и справедливость,
До хладной своей могилы;
И не отступай ни на палец
От путей Господних».

Мир праху его!

В 1828 году я кончил курс по медицинскому факультету. Я был своекоштным[3] студентом. В это время я жил с матерью, хотя не в богатстве, но с порядочными средствами.

---

[3] *Офиц. устар.* – находящийся на собственном содержании.

Студенчество наше было самое приятное. Профессора обходились с нами дружелюбно и ласково. Мы их почитали и любили. Хотя и записывали ежегодно в табель или матрикулу известное число профессоров, но нас не заставляли насильственно слушать таких, которые нам не очень нравились, т.е. менее даровитых. Однако публично заявлять, что мы их слушать не хотим, – нам и в голову не приходило. Мы их, конечно, посещали не очень прилежно, но на это никто не обращал никакого внимания. Хоть вовсе не ходи и не слушай, а на экзамен подай, что слышал и чего не слыхал.

Не было ни обществ, ни студенческих касс. Всякий содержал себя как знал. И все шло мирно и тихо.

Только однажды вздумали отбирать у казенных студентов мундиры. Это между ними возбудило всеобщий ропот.

«Как, – говорили они, – через год нам доверяют и судьбу, и жизнь людей, а теперь не доверяют мундиров из толстого сукна». Они принесли жалобу ректору, и дело уладилось без всяких последствий, к общему удовольствию.

И не вышли мы все дураками. Укажу только на своих современников: Николая Ивановича Пирогова, которого знает вся Европа, г. Сокольского, г. Корнух-Троцкого, г. Шеховского, которые были профессорами. Не говорю о многих других, которые и на практическом поприще, и на служебном составили себе почетное имя и звание.

Почему же теперь (в 1870 г.) беспрестанно читаешь в газетах и журналах статьи, не делающие чести ни профессорам, ни студентам?

Это, говорят, дух времени; а по-моему, это не дух времени, а недуг времени. Но как его излечить? Это не мое дело.

Но буду продолжать свой рассказ. В 1831 году я поступил в губернском городе на службу. Медицинскою практикою приобрел безбедное состояние, а в сравнении с детством и молодостью – даже весьма хорошее.

Теперь (в 1870 г.) доживаю старость свою в кругу своего семейства, окруженный детьми, внучками и внуками. Благодаря Бога, всем доволен и счастлив. Но нашествия французов не могу ни забыть, ни простить, хотя в частности их люблю, потому что были между ними и добрые люди.

Ф. Беккер

Калуга. 30 ноября 1870 года

Русская старина. 1883. Июнь



Ф. Ж. ДЕ ИЗАРН
ВОСПОМИНАНИЯ МОСКОВСКОГО ЖИТЕЛЯ О ПРЕБЫВАНИИ ФРАНЦУЗОВ В МОСКВЕ В 1812 ГОДУ

Вскоре после сражения при Можайске (при Бородине) мы узнали, что армия (русская) отступает, но тем не менее продолжались уверения, что французы не войдут в Москву, – уверения, основанные на предположении (так часто повторявшемся) о вторичном сражении в 10 верстах от Москвы, в позиции, прикрывающей город. Говорили, что в случае отбития этой позиции остается еще защищать город, о чем было объявлено заранее и что подтверждалось раздачею оружия жителям и публичным выговором тем из них, которые покидали город безо всякой надежды на возвращение. По этим данным я должен был оставаться и ждать развязки, твердо решившись пожертвовать собою в случае нужды, тем более что на мне лежала обязанность охранять до последней возможности мой дом, который я предоставил моим кредиторам, в обеспечение долга. Горький опыт заставил меня убедиться, что кто оставляет игру, тот проигрывает. Не время было пугаться слухов или заботиться об удобствах: я должен был остаться и остался.

Весь день 1 сентября я провел в том, что несколько раз ходил пешком в Немецкую слободу. Вечером я рано вернулся домой, измученный усталостью и решившись на следующий день рано утром идти разузнать о приближении французов. 2-го, в восемь часов утра, я вышел из дому и, придя в эту часть города[1], увидал там множество уезжающих. Передо мной без перерыва тянулась целая вереница карет, дрожек, телег и пешеходов, несущих свои пожитки. Видны были женщины из простого народа, обремененные ношею сверх силы и со вздохами уносившие все до последней вещи своего хозяйства. Это стечение отъезжающих продолжалось от 8 часов почти до 12, и так как вследствие разных причин стало не совсем безопасно выходить на улицу, то жители по большей части сидели дома и со страхом ожидали, что будет дальше. Известно было, что князь Кутузов проехал по городу в 9 часов утра в сопровождении нескольких отрядов, но это была не армия. Тишина, которая настала после шумного утра, давала нам досуг обдумать свое положение. Все

[1] Вероятно, имеется в виду Немецкая слобода.

ждали прохода войск или начала враждебных действий. Из моих окон[2] видно было, как по валу[3] проезжали казаки, а за их лошадьми спокойно следовало несколько отрядов пехоты.

Наконец звуки труб заставили нас обратить внимание на эти отряды: то были французы. Какое смущение овладело нами! Они вошли в город по словесному договору, заключенному у Смоленской заставы одним казацким офицером и начальником французского авангарда, между которыми было условлено, что если французы не будут мешать русским войскам очистить город, то они выйдут оттуда без сопротивления. Во время этих переговоров авангард французской армии мирно подвигался в город, по мере выхода оттуда русской армии, и, если бы несколько выстрелов не дало нам знать, что произошла стычка, – мы попали бы в руки французов совершенно незаметно. Отряд французского авангарда под командою генерала Себастиани, принадлежавший к корпусу короля Неаполитанского, направился в Кремль. Проходя в ворота Кремля, выходящие к Никольской улице, генерал увидел около двухсот вооруженных граждан, которые собрались толпою в Кремле. Он обратился к какому-то любопытному, находившемуся вместе с ним под воротами, и сказал ему: «Вы говорите по-французски. Пойдите и скажите этим людям, чтобы они положили оружия, иначе я велю стрелять по ним». Любопытный, очень смутившись этим поручением (он очень мало знал по-русски), но побуждаемый чувством сострадания, которое его приглашали доказать на деле, отправился к русским с переговорами, чтобы предупредить слишком неравный бой. Несмотря на это, французы, все подвигаясь вперед, были встречены несколькими ружейными выстрелами, на которые они ответили двумя пушечными; но, благодаря переговорщику, сражение остановилось на этом. Русские побросали ружья и мирно разошлись.

Завладев Кремлем, генерал Себастиани не отпустил от себя своего переговорщика, а потребовал, чтоб тот провел его к заставе, в которую вышли русские. Этот, не желая компрометироваться этим новым поручением, хотел уклониться, но напрасно: генерал в очень вежливых выражениях объявил, что он должен вести его, и заставил его идти перед собою во главе отряда. Дойдя до вала, по которому проходили французские войска, проводник думал, что сделал все, чего от него требовали, и показал дорогу генералу.

– Нет, милостивый государь, этого недостаточно.

– Но, генерал, я устал.

– В таком случае вам дадут сейчас лошадь.

Таким образом, этот несчастный смертный принужден был довести колонну до Владимирской заставы, повинуясь приказаниям генерала, который, впрочем, очень хорошо видел, с кем имеет дело, и обращался с ним вежливо.

[2] Дом шевалье де Изарна находился в Мясницкой части, в Малом Трехсвятительском переулке, против реформаторской церкви.
[3] Ныне Покровский бульвар.

Этот случай и множество подобных в том же роде решили судьбу многих иностранцев, живших в Москве: они считали себя скомпрометированными, находясь в сношениях с французами, которых нельзя было избежать, и из-за этого побуждения безумно пристали к их стороне.

Между тем как французы занимали таким образом город, на улицах и в окнах показалось лишь несколько иностранцев; все остальные жители заперлись в домах и никому не отворяли дверей. Такая пустота Москвы действительно имела вид засады, тем более опасной, что все дома предполагались наполненными жителями. Таково было положение дел, когда Бонапарте находился у Смоленской заставы в предместье и ожидал прибытия властей или городского магистрата. Но с двенадцати до двух часов никто не являлся; тогда решили послать одного польского генерала вызвать эту депутацию. Генерал встретился с Виллерсом, и тот водил его в Губернское правление, в Думу, в полицию, к генерал-губернатору, словом всюду, где была малейшая надежда встретить какой-нибудь остаток чиновников. Эта-то прискорбная встреча доставила Виллерсу место полицеймейстера. После многих бесполезных поисков польский генерал вернулся к Бонапарте, чтоб донести ему, что в Москве не осталось никого из властей и что город был покинут всеми, исключая некоторых оставшихся там иностранцев. Вследствие этого Бонапарте отсрочил свой въезд: для его гордости было очень больно, что нельзя было составить газетной статьи о вступлении в столицу России. Может быть, и воспоминание о Смоленске внушало ему некоторые опасения; во всяком случае, он все еще рассчитывал, что к следующему дню жители соберут депутацию, или что, по крайней мере, его подданные французы, итальянцы, немцы явятся к нему от своего имени. Ничего подобного не исполнилось.

Бонапарте ночевал перед заставой, в доме трактирщика, а во вторник в 2 часа двинулся в Кремль, без барабанов и труб, рассерженный тем, что офицеры его свиты называли дерзостью, беспримерным позором.

В ночь с понедельника 2 сентября на вторник вспыхнул пожар – сначала на Солянке, у ворот Воспитательного дома, но был потушен через несколько часов. В то же время загорелось в городе, в особенности в домах правой стороны улицы, идущей по ту сторону каменного Яузского моста. Уже совсем рассвело, когда эти два пожара начали быстро разгораться; в городе не удалось затушить совсем; Яузский же пожар был окончательно прекращен по приказанию Неаполитанского короля, который поместился в доме Баташева и желал обезопасить себя там.

В среду утром опять вспыхнул огонь в городе, на Покровке, в доме князя Трубецкого, и на большой Арбатской улице, по всему пути, ведущему к Смоленской заставе[4]. Жители смотрели, как горят их дома, с полным хладнокровием, которое могло быть внушено только верой или фатализмом. Некоторые выносили из домов образа, ставили их перед дверью и уходили; другие,

[4] То есть по всей дороге, по которой Наполеон прошёл в Кремль.

когда их спрашивали, почему они не препятствуют распространению пожара, отговаривались страхом, что французы убьют их, если они будут тушить. Понятно, что при таком настроении жителей только благодаря тишине в воздухе и отсутствию ветра, не весь город сразу был охвачен огнем. Французы, со своей стороны, видя нежелание жителей спасать свои собственные дома, не давали себе труда положить этому конец; пожар все более и более разрастался, а в частях города, удаленных от пожарища, говорили о нем так, как в Петербурге стали бы говорить о пожаре в Стокгольме. Так прошел весь вторник и ночь под среду. Французских войск в городе было немного; они почти везде устроили биваки, в особенности около разных застав, где они расположились лагерем; жители, просившие караула для своих домов, получали его без замедления; пока беспорядков еще не было.

В среду утром, к девяти часам, поднялся со страшной силой северный ураган – вот когда начался большой пожар. Из моих окон видно было, как сперва огонь вспыхнул на той стороне реки, гораздо позади Комиссариата, и потом начал распространяться мало-помалу по направлению ветра; в один час огонь разнесся в десять различных мест, так что все огромное пространство по ту сторону реки, застроенное домами, превратилось в море пламени, волны которого бушевали в воздухе, разнося повсюду опустошение и ужас. В то же время пожар снова вспыхнул в городе, еще с большей силой, чем в первые дни. Особенно там, где были лавки, огонь нашел себе обильную пищу в товарах, которые были заперты там. Это обстоятельство, а также сильная буря, теснота места и множество горевших пунктов города делали всякое противодействие огню невозможным, так что несчастные хозяева спешили только захватить с собою самые ценные вещи и бежать. Вот когда начался грабеж, и все, что уцелело от пламени, попадало в руки солдат.

Пока пожар превращал в пепел город, остальные части Москвы также пылали: Пречистенка, Арбат, вся Тверская, затем по направлению вала через Красные ворота и Воронцово поле до самой Яузы, по ту сторону Яузы и Яузке – все было в пламени. Вся полоса воздуха над городом превратилась в огненную массу, которая изрыгала горящие головешки, а вследствие расширения воздуха от теплоты буря еще более усиливалась; никогда небо в своем гневе не являло людям зрелища ужаснее этого: огонь решительно всюду, грабители преследуют своих жертв, а бежать некуда!.. Тогда-то многие иностранцы искали убежища в различных лагерях французов, расположенных у городских ворот; как кажется, они были там приняты.

Бонапарте, который из окон Кремля мог следить за всем ходом пожара, узнав, что поджигателей хватали в самом Кремле, немедленно удалился в Петровский дворец, где и провел ночь. Очень вероятно, что он боялся попасть в ловушку, что могло быть очень опасно в таком огромном городе: только этим объясняется, почему он не воспользовался своими войсками для спасения хотя некоторых частей города, что конечно было возможно. Легко представить, каким печальным размышлениям должен он был предаваться в своем

Петровском дворце; по всей вероятности, он не смыкал глаз, как и все несчастные жертвы этой несчастной ночи, потому что около 6 часов утра один из его адъютантов отправился в ближайший лагерь и просил от его имени г-жу О[5] явиться к нему. В первые попавшиеся дрожки запрягли скверную лошадь, и адъютант провожал г-жу О, которая отправлялась как была в своем лагерном костюме. У ворот дворца встретил их маршал Мортье, подал ей руку и провел ее до большой залы, куда она вошла одна. Бонапарте ждал ее там, в амбразуре окна. Когда она вошла, он сказал ей: «Вы очень несчастливы, как я слышал?» Затем начался разговор наедине, состоявший из вопросов и ответов и продолжавшийся около часу, после чего г-жу О отпустили и отправили с такими же церемониями, с какими она была встречена.

Бонапарте сказал ей, что если у нее есть до него какая-нибудь просьба, то он готов исполнить, что видно из одного письма г-жи О, найденного в ее бумагах; она писала, что война заставила ее бросить в Москве состояние в 500 тысяч рублей, и просит поэтому избавить ее от преследований кредиторов, так как она задолжала в России и за границей 300 т. Что касается до разговора с Бонапарте, то не знаешь, что подумать о великом человеке, который спрашивает – и кого же, г-жу О – о предметах политики, администрации и ищет совета для своих действий у женщины! Не следует думать, что она одна удостоилась такой милости: к нему также приводили множество невежественных глупцов, и он у них искал истины. Люди более благоразумные избегали этого опасного человека и сказывались больными. Мне было также любопытно, как и вам, может быть, узнать наконец, что он спрашивал у этой дамы и как она отвечала ему; некоторые из этих ответов она сообщила мне; они показывают здравый смысл и большое беспристрастие. Так, например, Бонапарте спросил, что она думает об идее освободить крестьян? – Я думаю, Ваше Величество, что одна треть из них, может быть, оценит это благодеяние, а остальные две трети не поймут, пожалуй, что вы хотите сказать этим. При этом Бонапарте понюхал табаку, что он делал всегда, встречая какое-нибудь противоречие.

Теперь я расскажу вам, что было со мной в то время, как весь город горел. В среду, около пяти часов вечера, я стоял у окна в своем доме и следил за распространением пожара; я увидал, как пламя перекинулось через городскую стену со стороны Варварки, а менее чем через полчаса огонь уже приближался к забору моего дома, около церкви. Некоторые из моих соседей, вытесненные огнем из своих домов, собрались на моем дворе; они помогали мне разобрать дощатый забор около церкви; загорелся деревянный дом, под которым находились ледники; но я не обратил на это внимание и решил пожертвовать всеми деревянными постройками, чтобы спасти главное строение. К несчастью, все искавшие убежища на моем дворе испугались огня и обратились в бегство, и даже мои жильцы, актеры. Когда случилось это несчастье, я был

---

[5] Речь идёт о Мари-Роз Обер-Шальме, содержательнице гостиницы в Москве.

занят тем, что выносил из флигеля, где я жил, самые необходимые вещи. Ничего не подозревая, я еще долго оставался на дворе и подавал помощь всюду, где была в ней особенная нужда; наконец, совершенно успокоясь, вернулся в дом посмотреть, что делают там мои жильцы. Пришел в нижний этаж – там никого не оказывается; поднялся в бельэтаж – и там никого. Покинутый, таким образом, я пришел в такой ужас, что потерял всякую бодрость, необходимую в борьбе против распространения огня, особенно когда я увидал с лестницы, ведущей на чердак, что карниз дома загорелся. Однако я отправился еще в нижний этаж и тут увидал, что одно из окон начинает загораться; оставались еще спавшие в комнатах со сводами; но нужно было переносить туда мебель, а я был один. Решившись оставить дом в добычу огня, я из любопытства прошел еще в комнату, находившуюся около наружной двери, где я прежде не был; там я застаю г-на Трассена, слабого, глухого старика, который сказал мне: «Все ушли; я один остался здесь, чтоб жить или умереть вместе с вами!» Желая вывести его из опасности, я поспешно пошел с ним через комнаты, уже полные дыма, по маленькой лестнице, ведущей к колодцу, рассчитывая, что мы можем спрятаться в погребах, находящихся в этой стороне; я спустился первый, рискуя быть задавленным железными листами, валившимися со всех сторон; каков же был мой ужас, когда я увидал, что огонь охватывает уже дверь этого погреба. У меня достало только времени взойти поскорее опять наверх и увести моего товарища в несчастье через те же комнаты, где от дыма уже невозможно почти было дышать. Войдя в свое прежнее жилище, мы увидали, что долее оставаться там невозможно; но с другой стороны жар от строений, горевших на дворе, уничтожал всякую возможность бегства. Что нам было делать! Мы уже решились храбро ждать смерти, как вдруг г. Трассену пришла счастливая мысль посоветовать мне открыть заслонку в печи, чтоб иметь возможность в ее устье дышать свежим воздухом; и действительно, это несколько помогло против душившего нас дыма. К несчастью, огонь перешел с балкона на наружную дверь, дошел до нашей комнаты, и пламя готово уже было достигнуть до нас. Я бросился к окну, разбил его снизу, выбросил матрац на раскаленные докрасна листы железа и, взяв с г-на Трассена обещание следовать за мной, спрыгнул вниз, а потом принял своего товарища на руки. Но что делать в этом раскаленном жерле? Я побежал было к наружной двери дома, но не успел еще пройти и половины двери, как г-н Трассен закричал мне: «Это невозможно!» – «Но куда же нам идти?» – «Пойдемте в простенок» (thermolampe). Мы скоро достигли его (он находился между садом и деревянным флигелем, где я жил). Там целые полчаса, в углублении между двумя стенами, мы беспрестанно подпрыгивали, чтоб подышать откуда-нибудь свежим воздухом. С каждой минутой средства наши истощались. Наконец, убедившись, что нельзя долго продержаться в этом положении, я хотел идти искать убежища в саду; но пылающий забор сада привел в отчаяние моего товарища. Я перепрыгнул через него, осмотрел местность и убедился, что там мы будем в безопасности от пламени. Я тотчас

вернулся к моему товарищу и убедил его преодолеть страх и перелезть [через] забор. Мы легли здесь на траву около пруда, окруженные со всех сторон пылающими домами и заборами. Слава Богу, мы наконец спасены! Но вот еще новая беда: пошел проливной дождь; было всего четыре часа утра, а мы промокли до костей; холод заставил нас вернуться в наш простенок, и там мы провели остаток ночи.

Я думал, что совсем ослеп; глаза мои страдали от дыма, так что я мог открывать их только с сильной болью. Я погрузился в грустные размышления, из которых меня выводил только г. Трассен; он рассуждал об одном: какой большой опасности мы подвергались! «Скажите по правде, – говорил он, – неужели вы думаете, что в Можайском сражении мы рисковали бы собой больше, чем теперь?» – «О нет, – отвечал я ему. – Вы настоящий герой, особенно в этой шляпе, пробитой осколком пожара». Не стану рассказывать вам много других подробностей. На рассвете один из наших вчерашних товарищей пришел на мой двор и приближался к нам с беспокойством. Увидав его, мы вышли из своей берлоги и были приняты им в объятия. – «Ах! – вскричал он, – а мы уже думали, что вы с г. Трассеном погибли в пламени». Он повел нас на Мясницкую, в дом, где жил доктор Карас. Там собралось также все семейство д'Оррер (d'Horrer) и остальные жильцы моего дома. Пожар, приближавшийся к этому кварталу, принудил нас переехать как можно скорее и искать убежища в погребах и кухнях моего дома, которые уцелели от огня. Две лошади и телега, спасенные накануне от погибели, дали нам возможность перевезти кое-какую провизию; мы отправились, оставив до другого раза все, чего не могли захватить с собою, и приехали как раз вовремя. Я сел в телегу, чтоб повторить путешествие, но только что я выехал на Покровку, на меня напали конные мародеры и схватили моих лошадей; вся моя компания разбежалась при их приближении. Я вступил с ними в переговоры и получил обещание, что у меня возьмут только одну лошадь, которую тотчас отпрягли и оседлали; потом бросились на меня и обобрали всего: часы, деньги, сапоги, дав мне взамен их другую пару, которая влезла только до половины ноги, и то на босу ногу; при этом мне сказали, что я должен считать себя счастливым, так как мне оставили сюртук.

Я не знал, что грабежи были только что перед этим разрешены, но скоро убедился в этом собственными глазами. Все бежало на улицах. Тогда я вернулся в свое подземелье, но нашел уже там [не]многих. Я снял чулки, чтобы можно было надеть эти скверные сапоги; после некоторых усилий мне удалось это сделать. Затем опять пустился в путь, чтобы отыскать моих товарищей в несчастии, на Мясницкой, в том доме, где они провели ночь. Мой пожарный костюм и худые сапоги могли служить довольно надежным пропуском; но сюртук мог сыграть со мною плохую штуку. Придя на Мясницкую, я увидал отряд кавалерии у дверей того дома, в который я шел. Я поспешил отступить и вернулся в свой погреб, надеясь, что мои товарищи пришли туда же другой дорогой; но там никого не было. Принужденный искать другого

убежища, я опять отправился на Мясницкую. Мне пришла счастливая мысль поднять на дороге какую-то кожу и надеть ее на себя, чтобы также иметь вид мародера. О! сила талисмана! Под его прикрытием я мог ходить повсюду, не подвергаясь нападению. Я пробегал все утро, отыскивая повсюду мое общество, был на Басманной, на Лубянке и др. По дороге я кое-как пообедал. В улице старого почтамта я встретил какого-то слугу немца, который предлагал мне серебряный рубль, чтоб я провел его на квартиру его господина, о которой он рассказал мне как мог. Я прошел с ним до Мясницких ворот, где меня встретил генерал, ехавший верхом в сопровождении конвоя (я предполагаю, что это был генерал Себастиани). – «Вы говорите по-французски?» – «Да». – «Что же это ваши русские? Видано ли когда-нибудь, чтоб так жгли столицу?» – «Я не знаю, кто ее поджигает, но последствия этого для нас самые несчастные». – «Это, верно, ваши казаки?» – «Полноте, где вы теперь увидите казака?» – «Черт возьми! они у ворот города. Вчера только что на этой самой дороге (показывая по направлению к Петербургской заставе) мы их прогнали; могу вас в этом уверить, потому что я сам командовал; так не ведут войны!» – «Эти меры вынуждены отчаянием, – отвечал я. – Они нас всех сгубят; посмотрите на этого несчастного, которого ваши солдаты грабят и бьют; как же вы хотите, чтобы это не имело таких последствий!» – «Эй, солдаты! оставьте этого гражданина. Это все эти черти вюртембергцы так грабят»... Я покончил этот разговор и удалился.

Еще раз пошел я в свою берлогу, потому что мне сказали, что все наше общество вернулось туда. Придя туда, я увидал французских солдат, которые делили добычу на пороге двери. «Э, господа, – сказал я им, – это мой дом: зачем вы пришли грабить бедных людей, живущих здесь?» – «Мы не входили туда»...

Я вошел в дом и нашел там целое общество, состоящее из русских, которым я дал убежище, и из нескольких армян, и хоть бы кто-нибудь из них знал слово по-французски. Все встретили меня как спасителя; мне рассказывают о семействе д'Оррера, которое поместилось рядом; бедняги упрашивали меня не оставлять их, говоря, что иначе они считают себя погибшими, рассказали мне, что они до сих пор вытерпели, и я дал слово остаться с ними.

Гг. д'Орреры узнали, что в одной квартире с ними поселится какой-то голландский генерал и что, следовательно, с этого времени мы будем находиться под его покровительством. В таком-то положении я прожил целую неделю; мы были заперты в погребах, и я должен был беспрестанно выходить и днем и ночью, чтоб отвращать грозу грабителей, которые беспрестанно посещали нас. Некоторые из них принимали в уважение мои доводы и смягчались, но большинство хотели употреблять насилие, и я едва успевал призывать на помощь караул генерала.

«Какое мне дело, что вы французы!.. Что вы здесь делаете? Разве какой-нибудь (собака) француз не присоединится к нам! Вы эмигранты!» Вот чем меня угощали каждый день раз двадцать; а что могли они взять с нас? Послед-

нее платье этих бедняков, выхваченное из огня, да мой сюртук, который, подобно шелковым панталонам Стерна, возбуждал зависть всякого, кто его видел, – вот все, что мы имели. Правда, у нас был еще небольшой запас муки, из которой мы пекли ржаной хлеб, и, нужно сознаться, мы скрывали ее особенно тщательно и решились защищать до последней капли крови под страхом голодной смерти. Сколько раз раздевали и разували моих бедных товарищей, пока я ходил за помощью к солдатам генерала, заставлявшим возвращать нам награбленное. По всему сказанному мною можно судить, каково было положение остальных жителей Москвы, которые не имели даже возможности заставить понимать себя.

На улицах московских можно было встретить только военных, которые слонялись по тротуарам, разбивая окна, двери, погреба и магазины; все жители прятались по самым сокровенным местам и позволяли себя грабить первому нападавшему на них. Но что в этом грабеже было ужасно, – это систематический порядок, который наблюдали при дозволении грабить, давая его последовательно всем полкам армии. Первый день принадлежал старой императорской гвардии; следующий день – молодой гвардии; за нею следовал корпус генерала Даву и т.д. Все войска, стоявшие лагерем около города, по очереди, приходили обыскивать нас, и можете судить, как трудно было удовлетворить являвшихся последними. Этот порядок продолжался восемь дней, почти без перерыва; нельзя себе объяснить жадности этих негодяев иначе, как зная их собственное бедственное положение. Без панталон, без башмаков, в лохмотьях – вот каковы были солдаты армии, не принадлежавшие к императорской гвардии. Когда они возвращались в свой лагерь переодетые в самые разнообразные одежды, их можно было узнать разве только по оружию. Что было еще ужаснее, так это то, что офицеры, подобно солдатам, ходили из дома в дом и грабили; другие, менее бесстыдные, довольствовались грабежами в собственных квартирах. Даже генералы под предлогом розысков, по обязанностям службы, заставляли уносить всюду, где находили, вещи, которые для них годились, или переменяли квартиры, чтобы грабить в своих новых жилищах.

Думали также устроить полицию и муниципалитет; составить полицию было легко, во-первых, потому, что при этом не затруднялись в выборе, во-вторых, потому, что чиновники рассчитывали обеспечить себя от грабежа и, кроме того, иметь верный кусок хлеба, что заставило решиться поступить туда всех, кто не имел средств к существованию. Муниципалитет составить было труднее по причине постоянных отказов со стороны лиц, которым предлагали в нем участвовать. Но, наконец, постоянно повторяемые уверения в том, что все дело будет ограничиваться наблюдением за порядком в городе, а также и страх за последствия слишком упорных отказов заставили принять службу, большею частью купцов, которых туда назначали. Я расскажу по этому поводу поступок головы московского Находкина, очень храброго человека.

Явившись со всем муниципалитетом к г. Лессепсу, префекту провинции, чтобы получить от него утверждение в должности, он очень неожиданно сказал г. Лессепсу следующие слова истинно *Русского человека:* «Ваше превосходительство! Прежде всего, я, как благородный человек, должен сказать вам, что не намерен делать ничего, противного моей вере и моему государю». Г-н Лессепс, несколько удивленный такою речью, отвечал, что ссора между императором Наполеоном и императором Александром до них не касается; что единственною их обязанностью будет смотреть за благосостоянием города; после этого объяснения муниципалитет вступил в должность.

Но эти зачатки властей ничего не могли сделать для водворения порядка; грабеж все-таки продолжался и распространялся даже на самих новых чиновников, когда они исполняли свои обязанности. Бонапарте ясно понимал, что этот грабеж кончится не прежде, чем когда все части его армии воспользуются им. Вот причина этому. После взятия Смоленска Бонапарте объявил армии, что ведет ее в Москву, что там он даст ей зимние квартиры, позаботится о всех ее нуждах и хочет заключить мир с императором Александром. Потом, подходя к Москве, он показал на нее рукой и сказал: «Вот где конец войны». Пожар уничтожил всякую надежду на мир и на зимние квартиры; лишения, которым подвергались жители, оставшиеся в Москве, уничтожили всякую возможность достать платье и пищу. Таким образом, Бонапарте поставлен был в необходимость заглушить чем-нибудь ропот армии и отдал на разграбление ускользнувшую от него добычу.

Но, наконец, нужно было подумать о защите, а для этого необходимо было прекратить грабеж, *чтобы примириться* с населением города, без чего нельзя было рассчитывать на помощь с этой стороны. Тогда грабеж был запрещен, но тем не менее продолжался; запрещения повторялись, но только бесполезно; наконец, стали вывешивать объявления и расстреливать ослушников: это произвело свое действие. Жители перестали бояться и начали выходить из своих берлог. Как изменилась вся Москва! Она превратилась в огромные пространства развалин, между которыми едва можно было различить прежние улицы; везде – на улицах, на дворах – валялись трупы, большею частью бородатые[6]; мертвые лошади, коровы, собаки; далее встречались трупы повешенных: это были поджигатели, которых сначала расстреляли и потом повесили; мимо всего этого проходили с неестественным хладнокровием. Несчастье так изменило всех, что встречавшиеся не узнавали друг друга. Но что еще более надрывало сердце, это то, что беспрестанно встречались люди, которые, заливаясь слезами, говорили, что они и их семейства сидят без хлеба. Дошло до того, что прятались, чтобы съесть дурной обед, и что деликатность не позволяла принять что-либо. Голод породил еще новый род грабежа: заботясь о пище, все спешили рыть картофель и рвать капусту, но солдаты предупреждали всех: горе тому, кто пробовал собирать овощи вместе с ними или возвращаться с огорода один.

---

[6] То есть русских людей.

Дело шло о жизни и смерти, и всякий с охотою трудился, чтобы достать себе пищу. Тактика заставила Бонапарте уверять своих солдат, что он перезимует в Москве. Приготовления, делаемые солдатами, убеждали в том, и жители надеялись, что все эти меры ускорят переговоры о мире, которого ожидали с нетерпением. Чтобы вызвать какие-нибудь донесения, Бонапарте, взявший под свое покровительство Воспитательный дом, велел подать себе отчет за истекший месяц и сам отослал его ко вдовствующей императрице, с почтительным письмом; на письмо он ждал ответа, но не получил его. В то же время, частью чтоб польстить армии, частью для устрашения жителей, был пущен слух, что Рига взята приступом, что Макдональд вошел в Петербург в самый день взятия Москвы и сжег его, что вся дорога от Вильны до Смоленска занята обозами, которые везут зимнее платье в армию, что маршал Викто́р ведет значительные подкрепления, что к наступающей весне армия Бонапарте будет так же сильна и так же хорошо вооружена, как при вступлении в Россию, что можно положиться на предусмотрительность великого человека: он все обдумал, он всегда имеет в запасе неожиданные средства; что, словом, если русские не заключат мира в эту зиму, то весной Бонапарте назначит герцога Смоленского и Петербургского, а Россия останется только в Азии. А покамест армию русскую будут преследовать, бросят ее в Волгу, а потом дадут зимние квартиры.

Все эти нелепые предположения действовали на людей, веривших еще в прежнее счастье Наполеона. Судя по этому, оставалось только одно: искать спасения у французов, а только этого и нужно было последним. В то время как публика забавлялась этими баснями, Бонапарте, запертый в Кремле, как в тюрьме, выписал себе труппу итальянских певцов, чтобы они пели пред ним, и платил им за это фальшивыми ассигнациями. Кажется, в Польше их была заготовлена большая пария, которую старались пустить в обращение всяким способом, но при первом своем появлении эти деньги были оценены по их стоимости: никто их не принимал, и их разошлось очень мало.

Между тем предложений мира все еще не было. Русская армия передвигалась с места на место, казаки и крестьяне сильно затрудняли фуражировку; нужно было на что-нибудь решиться. Очень хорошо знали, что ничего не выиграешь, освободив крестьян; попытались заманить их хорошею платою, чтобы побудить везти в Москву съестные припасы. Но все было напрасно и не привело ни к чему; напротив, те же крестьяне вызвали против себя жестокие меры: в одной деревне стреляли по французам; виновные были расстреляны при входе в церковь; выслушав приговор, они перекрестились и встретили смерть, не моргнув глазом.

Тогда корсиканская тактика принялась за средства более серьезные; начали старательно разыскивать всевозможные сведения о Пугачевском бунте; особенно желали добыть одно из его последних воззваний, где рассчитывали найти указания о той фамилии или фамилиях, которые бы можно было возвести на престол. В этих розысках обращались за советом к кому попало; обращались даже к одному эмигранту, которого под разными пред-

логами вызывали к одной знатной особе; он с первого слова прямо объявил себя эмигрантом. «Этим не хвастаются и не обвиняют себя», – отвечали ему. Когда ему сказали, в чем дело, эмигрант, как и все другие, отвечал, что ничего не знает о воззваниях, про которые ему говорили. Увидав, что этим не возьмешь, учение Пугачева бросили и тотчас же схватились за великие начала санкюлотизма[7]. Татарам было предложено идти в Казань – призывать своих соотечественников к независимости, обещая им, что, как только они поднимутся, их тотчас поддержат. Но и здесь промахнулись. Оставался еще один путь – переговоры. Послали генерала Лористона к князю Кутузову под предлогом обмена пленных. Эта поездка была представлена как последствие предыдущих переговоров, на которые Бонапарте ответил самым умеренным ультиматумом: уступкой всех прежних польских провинций. Лористон вернулся назад с чем поехал. Между тем время шло, около Москвы становилось все опаснее, лошади мерли, как мухи, трупы их наполняли улицы, дворы, пруды и дороги; нужно было на что-нибудь решиться. Лористон еще раз был послан в русскую армию, но вернулся, как и в первый раз, без успеха. Начали поговаривать об отступлении; говорили, что нужно только оставить здесь корпус тысяч в пятнадцать; это как гром поразило всех тех, которые скомпрометировали себя, понадеявшись на счастье Наполеона. Эти люди и все слушавшиеся только своего страха, считали себя погибшими, если останутся в Москве, когда туда войдут казаки; они в своем безумии думали только о том, чтобы как-нибудь уйти вместе с французской армией. Люди последнего разряда, право, достойны сожаления, потому что они виновны только в том, что ложно судили о деле.

Слухи об отступлении не были настолько явны, чтобы их нельзя было искажать; с каждым днем являлись новые выдумки: то открывали магазины с запасом муки на целые шесть месяцев, то истребляли казачий отряд, препятствовавший сообщению с Можайском, то побивали главную армию, русским оставалось одно – просить мира. Бонапарте дает его на менее тяжких условиях, чтоб поскорей приступить к выполнению своего великого плана, а именно: даровать свободу грекам, взять Константинополь и тем обеспечить себе покорение Египта, а когда Египет подчинится его власти, он дарует мир всему миру. О, великий человек, гений всегда все обдумает! Кто осмелился бы противопоставить скромный свет своего ума обширным соображениям такого великого человека! Должно сознаться, что вера армии в его таланты и в его средства не имела границ; думали, что все, что бы он ни предпринял, неизбежно должно иметь успех. Даже те, которые его не любили (а в армии было много людей, которым надоело, по крайней мере, видеть себя постоянно орудиями его честолюбия), все-таки рассчитывали на его гений и счастье. За спиной у него ворчали, но первый звук барабана разгонял всех по местам; а в будущем воображали себя герцогами, графами, баронами, кавалерами

[7] От «санкюлоты» – патриоты, революционеры (*фр.*)

или ласкали себя надеждою попользоваться добычею от какой-нибудь новой победы. Вот какие побуждения двигали армию Бонапарте. Большинство же было задавлено силою; офицеров удерживали честолюбие и надежда на добычу. Последнее побуждение покажется не так удивительно, если рассмотрим состав офицеров. Все они – дети революции, у которых на языке только и есть, что м... Нравственные правила они заимствуют от своего полководца: все, что выгодно, то хорошо. Они не знают другого права на земле, кроме права сильного; они так привыкли пользоваться им, что не умеют действовать иначе. Если и можно сделать некоторые почтенные исключения, то они выпадают почти все на долю людей старого порядка или возвратившихся эмигрантов, которые, утомившись враждою, предпочли поклонение идолу – жизни в ничтожестве. Выиграли ли они хоть что-нибудь от этого? – Очень мало; они доказали только, что Бонапарте восторжествовал над всеми партиями, и возбуждали собою зависть в остальных, которые видят их быстрое повышение, хотя, впрочем, им даются всякие высокие должности, кроме таких, для которых нужно заслужить доверие. За этими исключениями все офицеры армии, высшие и низшие, отличаются грубоватою наружностью и имеют вид выскочек. Они рассуждают о политике как невежественные солдаты, ничего не знающие, кроме своей службы; жалуясь на московские пожары и плохо надеясь на мир, они говорят: «Это ваш сенат во всем виноват!» – «Нет, этого не может быть. Сенат у нас не имеет административной власти». – «Ну, так, это ваш император» – «О нет! Вы несправедливы к нему; он, бесспорно, самый лучший человек в своем государстве». – «Это правда, – говорил мне однажды какой-то гренадер, – раз имел я честь стоять на карауле при Его Величестве Императоре Александре в Тильзите и могу сказать, что он прекрасный человек и очень добрый. (Вы видите, что везде можно найти друзей.) Но как жаль, что сожгли такой прекрасный город! У нас были бы здесь хорошие зимние квартиры; мы все имеем деньги; мы тратили бы их, а жители вознаградили бы себя таким образом за военную контрибуцию, и всем нам было бы лучше». – Между ними встречались, впрочем, и более образованные, с которыми легче было толковать; они соглашались, что виною всех этих несчастий было честолюбие Бонапарте, и тогда изливали свое горе, сознаваясь, что Франция вконец разорена и что невозможно, чтобы такой порядок долго продолжался. Слушая такие речи от этих людей, которым счастье Бонапарте надоедало больше, чем нам, я радовался и пламенно желал окончания этой разорительной войны. – Они жаловались на судьбу, которая помогла им здесь найти большие запасы пороха в то самое время, когда их собственный приходил уже к концу. Они признавались, что в их госпиталях, начиная от Вильны, лежит более 50 000 человек, что кавалерия их лишилась 60 000 лошадей, что армия нуждалась в одежде и что, если им придется возвращаться опять по Смоленской дороге, то они погибли.

После этих неудачных попыток начались приготовления к походу: снарядили, как могли, обозы раненых и собрали принадлежности разных канцеля-

рий армии; наугад назначили день, в который Бонапарте выйдет. Чтобы удовлетворить гвардию, которая до сих пор ничего не получала, кроме нескольких фальшивых ассигнаций 100-рублевого достоинства, ей отдали значительную сумму медных денег, которые нашли в подвалах судебных мест. Эта медь годилась только на продажу, а купить ее могли разве крестьяне и люди низшего сословия; эта торговля послужила поводом ко многим сценам, жалким и смешным вместе. Народ (в полном смысле слова), не перестававший грабить на развалинах погоревших домов, с самых тех пор как начали грабить французы и делавший это часто с опасностью жизни, – тот самый народ, который большею частью прятался под мусором, так что можно было подумать, что его никогда и не было, собирался толпой точно стая ворон, всякий раз, как отыскивался погреб, магазин или какое-нибудь прежде скрытое место, где можно было поживиться. Тут он не обращал внимания ни на сабли, ни на штыки; один падал под ударами, но зато другие двадцать грабили; это придавало смелости мародерам; старики, дети, женщины, больные – все принимали участие в грабеже; трудно вообразить, сколько награбил этот народ. – Лишь только императорская гвардия начала продавать свои мешки в 25 рублей медью, тотчас же стая хищных птиц, как будто по инстинкту, понеслась на Никольскую улицу, где было главное место продажи; там, сначала по 10 коп., а потом по 50 к. и 1 рублю, можно было получить сколько угодно этих мешков с медью; труднее всего было уносить их, сначала только по причине их тяжести, а потом от тесноты. Можно было видеть, например, как жадные женщины взваливали себе на оба плеча мешки, но не успевали сделать и двух шагов, как какой-нибудь силач отнимал у них добычу и убегал с нею. Крики, брань, драка, – все это смешивалось; солдаты с обнаженными саблями и криками «ура», били направо и налево и в свою очередь похищали яблоко раздора. «Мусью, мусью! подарите!.. Алё, алё!.. Что даешь?.. Подарите, мусью», – и затем град ударов; но на это не обращали никакого внимания, так как, пользуясь беспорядком, можно было чем-нибудь поживиться; можете вообразить, какое зрелище представляла Никольская, переполошенная этими продавцами и покупателями. – Отправившись посмотреть на эту толкотню, я принужден был пробираться вдоль стен, боясь сделаться более чем зрителем. На следующий день – такая же толпа покупателей, но французы стали благоразумнее, прогнали толпу из *города* и вообще запретили входить туда простому народу. Тогда устроился рынок около Воскресенских ворот. Несколько солдат, поместившись под окнами присутственных мест, устроили разменную кассу; они получали деньги, следующие за мешок, и бросали его из окна. Толпа увеличилась появлением крестьян, которые дрались с мещанами, чтобы пробраться поближе к продавцам. Прекратить беспорядки можно было только ружейными выстрелами, которые хотя и направляли нарочно мимо народа, тем не менее заряды попадали иногда в толпу; ничто, однако, не могло удержать ее: она не переставала кидаться на мешки, которые бросали из окон; выстрелы ничего не значили там, где можно было получить какой-нибудь барыш.

Наконец, в воскресенье вечером, Бонапарте отправился в путь по Калужской дороге; остальной гарнизон отправился вслед за ним в течение ночи, исключая корпус в 7 или 8 тысяч, назначенный, как говорили, для охранения города, в ожидании остальных войск, которые должны были возвратиться после предполагаемого сражения. На следующий день посты растянулись до самого бульвара Белого города, а на ночь они даже заперлись за городской стеной; вот почему генерал Винцингероде и г. N[8] попали на Тверскую, где и были взяты в плен. Во вторник французы подожгли артиллерийский парк, находившийся на месте гулянья 1 мая[9]. Несколько бомб разорвало этого, что распространило страх между иностранцами, решившимися следовать за армией; им представилось, что это идут казаки; не думая более о сборах в путь, они поспешили отправиться. С другой стороны, остальные жители Москвы, ободренные надеждою на скорое возвращение русских, стали с большим доверием выходить на улицу, так что французы, для собственной безопасности, должны были усилить караулы и разослать во все стороны патрули.

Между тем крестьяне толпами бегали по улицам грабить соляные магазины, оставленные без прикрытия. Днем и ночью тянулись по улицам, кто пешком, кто в телегах, шайки в 10, 20 мужчин, женщин и детей. Для большей безопасности французы заперлись в стенах *города* и поставили только караульных у ворот, сообщавшихся с главными улицами. В четверг вечером маршал Мортье и г. Лессепс писали к г. Тутолмину, начальнику Воспитательного дома, поручая состраданию русских раненых французов, которые остались в доме под его управлением, причем они честным словом обещали не делать никакого зла городу, когда будут выходить из него. Около 8 часов начался пожар в Кремле, немного погодя – у Калужских ворот, затем – в Комиссариате: в этом видели презренную месть за обманутые надежды. Бонапарте велел также снять крест с Ивана Великого, орел с Никольских ворот и Св. Георгия в Сенате; новый пожар был достойным продолжением предшествовавшего. Тогда не знали причины, побудившей снять крест с Ивана Великого; вот она: один польский генерал, хорошо знавший все, что касалось русской истории, сказал Наполеону, что у русских существовало такое поверие, будто французы не войдут в Москву, пока будет висеть колокол Ивана Великого. Справедливо или ложно это поверие, во всяком случае, приказано было снять крест, чтоб подтвердить вступление французов в Москву.

Между тем огонь действовал в Кремле все разрушительнее: сгорел дворец, и огонь показался где-то в другом месте, но, так как он окружен был кремлевскою стеною, и, следовательно, можно было надеяться, что пожар не распространится далее, – страхи умолкли и все стали ложиться спать. С неделю перед этим один добрый хирург предупреждал меня, чтобы я не оставался в Москве, когда будут выходить войска. – «Вы сами были военным и должны

---

[8] Ротмистр [Л.А.] Нарышкин, адъютант Винцингероде.

[9] То есть в Сокольниках.

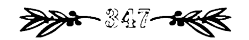
знать, что я не могу ничего сказать вам больше этого, но у вас хватит сообразительности, чтобы догадаться, на что я намекаю». – Я ожидал с некоторым беспокойством результата его предсказаний, разуверенный, впрочем, отчасти письмом, которое получил Тутолмин. Из предосторожности я не ложился в постель, а заснул в кресле подле окна, из которого был виден Кремль. Около четырех часов утра меня разбудил сильный толчок, и в то же мгновение вся Москва пришла в ужас от самого страшного взрыва, какой только можно себе представить. Разбитые окна, крики женщин, всеобщий испуг, невозможность найти убежище, страх быть раздавленным падающими домами – все это распространило повсюду ужас. Во мгновение ока я был окружен со всех сторон; я успокаивал людей, собравшихся вокруг меня, говоря им, что мы подвергаемся меньшей опасности в деревянном доме, который устоит при сотрясении, нежели в каменном, который может разрушиться. Я приготовил всех к новым взрывам; и действительно, почти через полчаса последовали два новые удара, но уже слабее первого; затем в меньшие промежутки было еще три взрыва, и этим все кончилось.

С рассветом самые любопытные уже были в городе; они нашли все кремлевские ворота загорожены, кроме выходящих на Каменный мост, по которому отступали французы; но развалины и жар от огня препятствовали войти туда. Скоро показались первые казаки в сопровождении большой толпы крестьян, которые искали французов, отставших от армии; они нашли многих из них на улицах, в домах; тотчас же убивали их всех без сострадания или бросали живых в отхожие места, как поступали французы с их собственными ранеными в Воспитательном доме, бросая их в колодцы, где они и умирали.

Наконец, в субботу утром, явился полицеймейстер г. Гельман; тогда все вздохнули свободнее, и порядок начал восстановляться.

Я забыл вам рассказать очень хороший поступок одного русского офицера, раненого и остававшегося здесь в плену. С удалением французов он сделался свободен и жил в Воспитательном доме, где находились и французские раненые. Чтобы обезопасить их, он вошел в зал с подвязанной рукой[10] и закричал им: «Солдаты, вы у меня в плену армия ушла, я приглашаю вас сдаться». – Как? Что? мы не сдадимся! К оружию! – И в самом деле некоторые из этих несчастных встали с постели, оделись, взяли свое оружие и хотели выйти из дому. Г. Кривцов (офицер гвардейских стрелков) удерживал их, показавши на улицу. Многих из этих несчастных нельзя было остановить; но только что они вышли на улицу, их тотчас убили. Это печальное зрелище заставило остальных образумиться, и они согласились сдаться в плен. Тогда их ангел-покровитель вышел на двор и пошел навстречу казакам и крестьянам; обращаясь к казацкому офицеру, он сказал: «Я вам объявляю, что раненые, находящиеся здесь, – мои пленники; никто не имеет права их трогать». Толпа упорно требует их выдачи; казацкий начальник хочет употребить силу.

[10] Офицер этот был Николай Иванович Кривцов; в действительности он был ранен в ногу.



Тогда г. Кривцов подошел к нему, сказал свое имя, объявил, кто он такой и потребовал от офицера того же, предупреждая его, что он ответит за все, если пойдет дальше. Такая настойчивость произвела свое действие: казаки и народ удалились, а пленные были спасены.

Взрыв, происшедший в Кремле, распространился и на колокольню рядом с Иваном Великим, которая взлетела на воздух; стены арсенала, выходящие к Никольской, также разрушились; башня, находящаяся на углу Кремля против Каменного моста, исчезла: на ее месте осталась глубокая яма, около которой разбросаны были обломки ее материала; на стене, идущей вдоль Москвы-реки, также взлетели две башни, вместо них в стене образовались два пролома.

Русский архив. 1869. Кн. 9





СВЯЩЕННЫЙ ПЕПЕЛ



ИЗ ПИСЕМ А.Я. БУЛГАКОВА

А.И. Тургеневу

23 сентября
В 10 верстах от Юрьева
по Владимирской дороге

С чего начать, любезный Тургенев! Не стало б трех суток все тебе пересказать, что было с нами и со мною. Довольно того, что жив. Надеясь слишком на свое счастье, попался я французам в руки 2 сентября, в самое то время, как занимали они отдаваемую им без боя Москву. На Сретенке был я взят и тут же и ускользнул от них чудом после долгого допроса. Дай бог таких времен и испытаний не видать никому. Ужасно!

Несчастная Москва в награду своей ревности, щедрости и привязанности к отечеству горит, пламя видно за 130 верст. Горе тому, кто отдал ее, велик его ответ перед Богом, перед отечеством и потомками. Сто тысяч солдат можно набрать, но что потеряно в Москве, того помещикам никакая сила земная возвратить не может, не говорю о пятне, о бесчестии, которое на нас падает и которое одним только совершенным разбитием, истреблением врагов загладиться может. Не оправдал Кутузов всеобщих ожиданий, но дело не потеряно, ежели ...[1] не потеряны. Ты можешь себе представить положение моего начальника[2]: потеря двух домов (оба сожжены), из коих, кроме портрета Павла I и шкатулки, ни булавка не была вывезена. Ты не можешь сделать себе понятие о страшных опустошениях и насилиях, делаемых каннибалами в несчастной Москве. Как можно было это предвидеть! Но горсть бродяг неужели мнит дать нам закон? Лучше удавиться, чем пережить этот стыд. Чичагов скоро очень должен соединиться с Кутузовым. Я говорил сейчас с квартальным офицером, который бежал из Москвы в последний вторник, его рассказы ужас наводят.

---

[1] Многоточие в оригинале.
[2] Ф.В. Растопчина.

К Наталье Васильевне Булгаковой

19 октября 1812 г. Владимир

[...] Граф[3] чувствует себя несравненно лучше; погода великолепная; он каждый день гуляет пешком. Вчера мы были у Барклая де Толли[4] [...].

День нашего отъезда еще не назначен, но, кажется, что мы не замедлим отправиться в Москву.

Благодаря неусыпным заботам Бенкендорфа, порядок там совершенно восстановлен и город снабжается припасами, которые крестьяне свозят во множестве со всех сторон. Обресков[5] [...] привез нам множество любопытных подробностей. Мы не можем объяснить себе поспешность, с которой французы оставили Москву.

Обресков жил в доме Шальме[6]: вся эта сволочь сидела за ужином, который остался нетронутым; на столе нашли вилки воткнутыми в котлеты, а возле лежали ножи, которые должны были разрезать их. Бездельница Шальме все оставила, даже все свои бумаги, которые теперь у нас и между которыми находится черновое письмо ее к Наполеону, где она, между прочим, говорит: «Я вас прошу об одном – поместить в лицей моих двух сыновей и возвратить из ссылки моего мужа, которого выслал гр. Растопчин, когда победы ваши встревожили этот город. Я разорена; я оставляю в Москве на 500 тысяч франков бронзовых и фарфоровых вещей» и проч. и проч. Кстати, граф намерен выместить наши потери. Так как мы лишились всего, то он объявил нам, что мы вправе взять из магазина Шальме все что только нам заблагорассудится. Он предлагает тебе и seconde maman[7] лучшие два чайные сервиза, для seconde maman – запас французского табаку, для тебя духов, помады и все что мне вздумается. Для самого себя граф возьмет столовый сервиз, так как его собственный сервиз похищен. Приложены печати, приставлен караул, опись составлена, так что Ивашкина[8] ошибется в своих расчетах: разве ее муж захватит другую какую-нибудь лавку.

53 лица, которые в разных должностях служили Наполеону, попались в сети и арестованы Бенкендорфом. Они уверяют, что их силой принудили к службе, но это их не спасет. Раскольники играют во всем этом важную роль. На досуге я пришлю тебе список этих изменников. Все их бумаги посланы Государю.

[...] Трупы почти все зарыты? осталось еще немного на Таганке. Китай-город с лавками весь сожжен, только уцелел греческий монастырь, дом Кусовникова и еще домов с 5. Ты не можешь себе представить, какое впечатление

[3] Ф.В. Растопчин.

[4] Генерал от инфантерии М.Б. Барклай де Толли после своего отъезда из армии 21 сентября 1812 г. некоторое время жил во Владимире, затем через Калугу отправился в своё лифляндское имение.

[5] Николай Васильевич, московский гражданский губернатор.

[6] Мари-Роз Обер-Шальме, содержательница гостиницы близ Большой Дмитровки.

[7] Так А.Я. Булгаков называет в письмах свою тещу.

[8] Очевидно, имеется в виду супруга московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина.

произвел на народ вид Ивана Великого и кремлевских соборов, оставшихся совершенно *не поврежденными* – все вокруг или сожжено или разрушено, а церкви стоят по-прежнему. Толстый Шаховской[9], который служит в тверском ополчении, прежде всего запер их на ключ, и теперь с нетерпением ожидают прибытия Августина, который первый войдет в них и затем распорядится и остальным. Посылаю тебе несколько печатных объявлений Иловайского, по моему мнению, очень хорошо написанных [...].

Загородный дом графа сожжен[10], городской – нет; одно только окно обвалилось от сотрясения во время большого кремлевского взрыва. Грабили без разбора и зря. Картины увезены, книги частью разбросаны по полу, частью оставлены в шкафах. Портрет графа работы Тончи, с которого у тебя есть гравированная копия, увезен, также и знаменитая статуя Сенеки; статуя Цесаря из красного порфира уцелела, большой ковер тоже оставлен; недорогая мебель разбита, а большие бронзовые канделябры и огромное зеркало – на своих местах. У графини повытаскали пропасть вещей, а оставили в углу великолепное распятие, которым благословил ее граф, и лампаду, которая перед ним горела. Экипажи изрублены саблями. Говорили, что под домом заложена мина, почему вошли в дом со всевозможными предосторожностями и раскапывают землю. Надо полагать, что не успели сжечь дома или что впопыхах забыли его; загородный же дом был сожжен в самую минуту выезда из Москвы[11]. Французы – т.е. Наполеон взбешен на графа. Ты увидишь это из разговора его с Тутолминым, который я передаю в своей записке. Кроме того, в одном перехваченном письме к Жозефине он называет графа русским Маратом, что глупо и неверно. Марат проповедовал возмущение против правительства, а граф возбуждает всех против врага, который оскверняет нашу родную землю. Впрочем, злоба не рассуждает и довольствуется бранными словами. Актеры последовали за французами; посылаю тебе одну из их афиш; числа обозначены по новому стилю [...].

[...] Обресков едет сегодня в Москву. [...] Бенкендорф захватил собственный обоз Наполеона. Он нам прислал две бутылки из наполеоновского погреба; на бутылках красуется N с императорской короной; вино, нам присланное, – Шато-Марго [...].

К Константину Яковлевичу Булгакову

20 октября 1812 г. Владимир

[...] Не мог я к тебе писать, ибо все в величайшем было расстройстве около нашей матушки Москвы. Мы дожили до пределов Божьего гнева: все нам

---

[9] Князь Александр Александрович, известный драматург.

[10] В Вороново.

[11] Эти слова А.Я. Булгакова доказывают, что граф Ф.В. Растопчин не посвятил его в обстоятельства сожжения своего вороновского дома – подробность, заслуживающая внимания для характеристики личности графа Ф.В. Растопчина.

начинает улыбаться и кровожаждущий злодей видит сам себя у самой гибели своей. Теснимый, поражаемый со всех сторон, терпя голод и холод, он должен был оставить Москву и искать бежать во Францию. [...] С 27 августа он без сообщения с Францией; все у него перехватывается: недавно взяты его погреб, кухня, берейтор, планы, канцелярия и даже печати [...].

[...] Я не могу пересказать, сколько я графом любим и дружеское его со мной обхождение. Вот, брат, человек души, правил, честности и ума, каких мало имеет Россия. Отдача Москвы, нашей матери, причинила ему болезнь, от которой я ждал худого конца; но Бог его сберег для блага Отечества, только осталась еще малая слабость. Мы завтра обедаем за 50 верст отсюда у почтенного Воронцова, в Андреевском. Вообрази, что у него там госпиталь: 43 офицера раненых и множество солдат. Он их покоит, кормит, лечит, смотрит за ними, как за братьями; какие нежные старания прилагает он о их скором выздоровлении!..

[...] Как ни много все пострадали, но никто и не подумает сожалеть о потерянном, лишь бы истребили мы злодея нашего и всего рода человеческого. Слава, которая на нас падет, заставит все забыть. Волков[12] в Вологде со всеми своими; я также за ним послал. Все разбежавшиеся начинают скопляться здесь; в Москву едет уже множество людей [...].

И.П. Оденталю

20 октября[13]. Москва

Я так был озабочен, что с первым нашим курьером не успел к Вам написать, любезный Иван Петрович. Этого не выпущу без подробного к Вам донесения. Я в Москве или, лучше сказать, среди развалин ее, гласно мщения требующих. Трудно было сюда въезжать. Мы оба с графом[14], сидя в дормезе[15], давали свободно течение горьким слезам. Из 9000 с лишком домов осталось только 2655, между коими треть – маленькие домики и избы, так что надобно полагать 9/10 сгоревшими. В Пречистенской части только восемь домов, а в Пятницкой – пять. Грустно смотреть! Теперь вижу я, что Москва не город был, а *мать,* которая нас кормила, тешила, покоила, обогащала. Всякий русский, всякий христианин имел в виду в старости Москву, а после смерти – царство небесное! Из оставшихся домов нет ни единого, который не был бы разграблен. Церкви осквернены, обруганы, обращены в конюшни. Из Чудова [монастыря] выгнали мы лошадей, в Благовещенском соборе навалена была бездна бумаги, на которой Вам пишу, были бутылки, стояла бочка с пробками, мощи

---

[12] А.А. Волков, один из тогдашних московских полицмейстеров. А.Я. Булгаков в 1833 г. написал его биографию, изданную в том же году.

[13] В дате письма очевидная ошибка – граф Ф.В. Растопчин вернулся в Москву только 24 октября 1812 г.

[14] Ф.В. Растопчиным.

[15] *Фр.* dormeuse, от dormir – спать. Дорожная карета, устроенная так, что в ней можно было лечь во весь рост и удобно спать.

изувечены частью, частью же расхищены. Дмитрию-царевичу отрубили руки и голову. Повторены здесь ужасные сцены Робеспьерова времени. Девочки десяти лет изнасильничены на улицах. У женщин, которые имели кольца на руках, обрубали пальцы со словами «cela va plus vite comme cela»![16] В Богородске по подозрению, что убиты там пять французов, взято пять мещан, двое расстреляны, двое повешены за ноги, а пятый погружен в масло, а потом сожжен живой на костре. Огнем сим изверги раскуривали трубки свои, певши песни. Ужасно рассказывать. Ярость еще более умножалась от злости, что не заключается мир, и от недостатка в хлебе и шубах. Офицеры были убиваемы, а генералы обруганы солдатами французскими, кои никого не слушали, что доказывается прокламацией самого Наполеона, где сулит жесточайшие наказания.

Покорность, храбрость, любовь к отечеству, к государю московских крестьян спасли Россию. Москва стоит Наполеону 25 тысяч человек; все козни, коварства злодея были тщетны. Россияне остались непреклонны. Его поморили в Москве с голоду, а как стал посылать в окружности фуражировать, то из 100 человек возвращалось едва 5 или 10. Есть анекдоты, коих грешно будет не передать потомству. Русские, сударь, герои. Гордиться должен тот государь, который имеет славу ими владычествовать. Вытеснен злодей из Москвы не армией, но бородами московскими и калужскими. Бежит Наполеон, в двое суток сделал он с гвардией 150 верст, но так не далеко уйдет – мужики бегут за утомленною его армиею. Ужасны и хладнокровны мщения наших крестьян, они тиранят жертвы свои, ловят их сами по дороге или покупают их за последние деньги у казаков на мучение. Я, право, сердце имею доброе, но не пожалею ни об одном. Нарышкин, мой приятель, служащий у графа П.А. Толстого, приехал из армии. Он говорит, что французов мрет по 1000 и 1500 в день. У всех мертвых лошадей вырезаны языки и пахи – этим только питаются. Бонапарте хотел уверить всех, что Москва зажигалась по приказанию Растопчина, что он же желал порядок, тогда как варвар подкапывал Кремль и взорвал его, отъезжая. Бог показал чудо: соборы все уцелели и Ивановская колокольня устояла, представляя образ России. Половина арсенала взорвана на воздух. Грановитая палата, Императорский дворец сожжены, также взорвана часть стены Кремлевской к Москве-реке. Что бы никому я не поверил, ежели бы не видел своими глазами, есть то, что, несмотря на страшное сие потрясение, от коего почти во всех домах в Москве полопались стекла и кое слышно было за 40 верст, чудотворные образа Спаса на Спасских и Николая Чудотворца на Никольских воротах не только остались невредимы, но фонари, пред ними висевшие, и теперь там, и *даже стекла, образа покрывавшие, не разбились* […].

Изменников было человек 40, не более, почти все – бродяги, мартинисты или известные якобинцы, яко Ключарева сын, некоторые купцы из раскольников

[16] Так будет быстрее, чем иначе! (*фр.*)

и тому подобные. Большая часть вытребована императором в Петербург. Они составляли муниципалитет Наполеона и имели для отличия перевязи – белые и красные ленты. Граф с сими лестными знаками отличия заставил их сгребать под караулом снег на улицах впредь до повеления. Бедный граф очень огорчен несчастьем Москвы. Грешно будет императору не сыпать деньгами, чтобы восстановить свой *верный* первопрестольный град. Неужели будет сказано, что пришел кровопийца Наполеон и уничтожил в месяц столицу, столько веков процветавшую? Как скоро присутственные места восстановятся, а они только разграблены, то народ валить станет со всех сторон. Почта восстановлена со вчерашнего дня. Пишите мне по-прежнему, любезнейший Иван Петрович. Умные Ваши и любопытные письма крайне будут меня радовать. Адресуйте на имя графское, с коим я живу. Получили ли Вы письма мои от 23 сентября и 11 октября из деревни графа Воронцова? О Вас давно не знаю я ничего. Августин во Владимире и будет сюда для освещения вновь оскверненных храмов Божьих.

Дубровин Н.Ф. Отечественная война
в письмах современников (1812–1815). 1882

Н.В. Булгаковой

21 октября 1812 г. Владимир

Это, мой друг, последнее письмо, которое я пишу тебе отсюда. Обресков уже поехал вперед, Ильин и Шнауберт едут сегодня вечером, Попов – послезавтра, а я выезжаю завтра утром с милым графом. Мы отправляемся к Воронцову, у которого пробудем, как я полагаю, один день, а потом догоним наших, которые будут ждать нас в Покрове [...].

Тотчас по приезде в Москву нас займут три вещи: 1) освящение церквей, 2) устройство почт и 3) восстановление издания «Московских ведомостей», ибо в городе еще есть негодяи, которые распускают слух, что французы в 10 верстах и скоро возвратятся [...].

По приказанию Государя, все те, которые были на службе у французов, посажены в кибитки и уже отправлены в Петербург. Мертвых тел стало очень мало; чтоб отвратить зловоние даже будущей весной, граф приказал жечь все лошадиные трупы: это потребует меньше времени. [...] Завтра приезжает сюда Августин с иконами Смоленской и Иверской Божией Матери. Балашов[17] не крепко держится: значение его быстро падает.

Богородск, 23 октября

Мы выехали из Владимира вчера утром, приехали к Воронцову к самому обеду и остались ночевать. Я оттуда не писал, мой друг, не имея ничего особенного тебе сообщить. Посещение графа крайне обрадовало почтенного Воронцова; день этот провели мы очень приятно; позавтракавши, остави-

[17] Александр Дмитриевич, министр полиции.

ли Андреевское. Переезд до Богородска показался мне приятной прогулкой, благодаря несравненной беседе графа: мы разговаривали без умолка. Кроме того, он останавливается в каждой деревне и расспрашивает крестьян о их нуждах и о неистовствах, произведенных французами. Везде принимают его с неподдельной радостью, и все выходят встречать с хлебом и солью. До Богородска все цело и невредимо, кроме Бунькова, где из 74 крестьянских дворов осталось только 10: остальное сожгли французы. Здесь ничего не сожжено, но в доме исправника, который мы занимаем, вся мебель исполосована сабельными ударами, а сафьян содран. Жители разбежались; оставалось только 7 человек: они убили нескольких французов, которые вошли в город прежде других; бедняги эти были схвачены вступившими войсками, и с ними учинили такие варварства, что страшно рассказывать. Одного из них окунули, в белье, в масло и сожгли живого на костре, около которого грелись эти изверги. Содрогаешься при одной мысли об этих ужасах. Как после того не ожесточиться против тех, которые помогали французам или служили им проводниками?! До сих пор нам удалось арестовать только двух подьячих, которых граф тотчас отдал в солдаты. Дорого бы мы дали, чтобы иметь в руках горенского медика гр. Разумовского: он провел сюда французов. Наша деревня отсюда в каких-нибудь 30 верстах. Французы уже навели мост через Клязьму, чтобы идти на Троицу, но им пришлось бежать отсюда, не осуществивши своего плана. Вот каким чудом спасено было наше милое именьице. Исправник был там четыре дня тому назад: все там, слава Богу, благополучно и спокойно. Дурасов[18] проехал здесь и уже теперь в Петровском. На дороге объехали мы много ополчения, идущего в Москву: становились во фронт и отдавали нам честь рогатинами своими. Кстати, поздравляю с победой. Граф на дороге получил курьера из Москвы. Витгенштейн разбил опять (уже 60 верст за Двиной) неприятеля: взял 22 знамени и 10 пушек, одного генерала польского с тремя тысячами пленных. Другие подробности дела сего не объяснены. В здешнем уезде, по рапорту исправника, сожжено французами до 450 дворов в разных деревнях. Много идет очень людей из Москвы и разных деревень во Владимир, навстречу к Августину, едущему с двумя иконами Иверской и Смоленской Божией Матери. Надо полагать, что иконы эти вступят в Москву в сопровождении многочисленной толпы богомольцев... Завтра в 11 часов мы будем в несчастной Москве; заранее ноет сердце...

Москва, 24 октября

Угодно Творцу Небесному, чтобы опять увидел я Москву. Первая моя мысль была ты, любезная Наташа. Сердце мое не так сжато, как я бы ожидал, но при въезде от слез нельзя было удержаться. Москва – не что иное, как обширная развалина; вот единственно, что могу пока сказать; в следующем письме опишу все подробно, а теперь должен работать как собака, чтобы

[18] Егор Александрович, московский полицмейстер.

отпустить двух курьеров, которых отправляет сию минуту граф. В двух словах скажу тебе, что мы приехали сюда сегодня, в 12 часов дня: все что было в Москве народа вышло к нам навстречу, многие плакали от радости. Графский дом цел (а загородный весь сожжен), и почти все пожитки в нем. Едва я сюда приехал, взял казацкую лошадь и поскакал верхом в слободу. Дома наши уцелели… У бедного Волкова и у Jeannot все разрушено до основания, и бутылки разбиты в подвале, в котором сильный запах венгерского вина, нашего лучшего. Как быть?!

Я изъездил верхом по городу верст 20. Данилищин дом цел и проч. Обо всем этом буду говорить подробно после… Надо побывать здесь, чтобы научиться постигать Бога: нет того непокорного, который бы не преклонился перед совершившимся воочию; безбожник, неверующий падет ниц и станет молиться. Я собственными глазами видел соборы, стоящие посреди развалин; я видел разрушенные стены Кремля и образ Спасителя, над Спасскими воротами, совершенно неповрежденным. Вообрази, что стекло тут цело перед образом, тогда как полопались стекла в домах за версту от игры мин и подкопов. Образ, что на Никольских воротах, у арсенала, цел со стеклом и фонарем, тогда как ворота все развалились; и я видел сам престрашную трещину, которая у самого образа остановилась и оставила его невредимым: одним словом, один образ цел – около него все подняло на воздух. Сии три чуда видел я сам своими глазами; мой ум их не постигает и видит тут одно величие Божие. Народ в радости, в изумлении молится образам сим. То, что я ощутил, не могу я тебе выразить. Даже здесь полопались стекла в некоторых комнатах от ужасного взрыва 11-го числа, а стекла и лампады перед двумя иконами, на самых стенах Кремля, остались целы!!! Иван Великий – без креста, но как ни в чем не бывало; соборы заперты до прибытия Августина. Жителей было здесь только 3000, но теперь очень съезжаются…

Москва, 25 октября

Я писал к тебе вчера, милая Наташа, и дал тебе отчет как о нашем путешествии, так и о печальном въезде в Москву. Исключая меня, все в доме спят, и я пользуюсь минутой общего покоя, чтобы побеседовать с тобой подольше.

От Богородска до Москвы мы заметили мало следов неприятельского шествия: сожжено несколько деревень; от времени до времени видны были на дороге мертвые тела; начиная со Зверинца[19] число мертвых тел увеличилось. Мы въехали через Рогожскую заставу в сопровождении драгун, казаков и гусар, начальники которых представляли свои рапорты по мере приближения к городу. Первый взгляд на Москву не произвел на меня того впечатления, которого я ожидал, ибо уцелевшие церкви со своими золотыми и серебряными главами придавали городу вид довольно игривый; но Боже! что я ощущал, при каждом шаге вперед! Мы проехали Рогожскую, Таганку, Солянку, Китай-

[19] Измайловского, под Москвой.

город, и не было ни одного дома, который бы не был сожжен или разрушен. Я почувствовал на сердце холод и не мог говорить: всякое попадавшееся лице, казалось, просило слез об участи несчастной нашей столицы. На заставе нашли мы Василия Обрескова. Все это место усеяно лошадиными трупами; но я не почувствовал никакого запаха, только пожалел наших бедных солдат, закапывавших эти трупы, которые, должно быть, вблизи издавали сильный запах. Это мне внушило мысль, которую граф тотчас же одобрил и которая заключалась в том, чтобы употреблять на эти работы, вместо своих, французских солдат, здесь оставшихся и выздоравливающих от ран. Пусть околевают эти негодяи или искупают свою жизнь тяжкой и нездоровой работой.

Около Баташова[20] дома явились Ивашкин и Дурасов, на Солянке встретили мы выехавшего к нам губернатора. Экипаж был отослан прямо домой, на Лубянку, а граф и я пересели в дрожки Ивашкина. Через Варварку, где тоже все сгорело, въехали мы в Яблочной ряд, у Спасских ворот поклонились образу Спасителя; многочисленная толпа, нас сопровождавшая, крестилась вместе с нами. Все глаза были обращены на икону – с таким почтением, такой верой, такой благодарностью, что хотя я и сам испытал эти чувства, но описывать отказываюсь. Никто не смел накрыться: граф надел шапку, когда уже не виден был образ Бога Спасителя наших храмов и нашего существования. Мы направились к Иверским воротам; лавки с обеих сторон все сожжены и уничтожены, а те, которые на левой стороне, разрушены выстрелами трех орудий, поставленных у Сената и теперь еще тут стоящих. У Никольских ворот я увидал другое чудо, о котором уже я писал. Арсенал взлетел на воздух, стена около Никольских ворот – тоже, самая башня разрушена – и среди этих развалин не только уцелел образ, но и стекло и фонарь, в котором находится лампада. Я был поражен и не мог оторваться от этого зрелища; понятно, что в городе только и толка, что про эти чудеса.

Спасские ворота заперты, а так как Никольские завалены обломками башни шпиля (я разглядел во рву, под мостом, двуглавого орла, который венчал башню) и арсенала, то нам нельзя было въехать в Кремль ни теми, ни другими воротами и мы принуждены были ехать по Моховой, мимо Пашкова дома, через Боровицкие ворота, где стоит пикет и не пропускает никого без особого позволения. Я увидел опять ту маленькую лесенку, на которой, помнишь, мы ждали с графом и Полиной приезда Государя. Но как все изменилось! Царское местопребывание стало местом ужаса: дворец сгорел, на большой лестнице валялась солома, капуста, картофель. Грановитая палата сожжена: я вошел вовнутрь, во многих местах еще дымилось. Мы спустились по Красному крыльцу: оба собора представились нашим глазам совершенно целыми, также и Иван Великий, у которого, впрочем, есть продольная трещина на стороне, обращенной к Красному крыльцу. Колокольни и все, что примыкало к Ивану Великому, взорвано и представляет страшную развалину: тут

[20] На Вшивой горке.

и кирпичи, и камни, и колокола, и балки, и кресты, перемешанные в грудах обломков, которыми завалена площадь на большое пространство. Часть стены, обращенная на Москву-реку, разрушена; это сделано было, вероятно, для того, чтобы проложить самый короткий путь к реке, куда французы, кажется, побросали пропасть пушек, ибо видны следы от самого верха до гранитной набережной, а железная решетка была в этом месте снята. Часть Кремля, где прежде стояла Царь-пушка, усеяна бумагами, рукописными книгами и пергаментами; некоторые из них я прочел: это сенатские и межевые дела; видно, они из этой бумаги делали патроны. Оттуда пошли мы на площадь, против Сената: арсенал взорвало, т.е. ту половину, которая к Никольским воротам; прочее только сожжено, но не взорвано. Новая Оружейная совершенно цела, Сенат – также, только в нем все переломано, оконницы и стекла все перебиты. Комендантский дом цел. Выехали мы из Кремля теми же воротами. От Пашкова дома до Апраксина все сожжено, и театр. С удивлением увидели мы дом князя Петра Алексеевича: вообрази, что между двух Везувиев он остался цел, даже деревянный забор, даже дрова, бывшие на дворе, и те не сгорели. На Пречистенке едва есть пять домов. Арбат, Поварская почти все сожжены. От Арбатских до Никитских ворот все сожжено, кроме домов Лунина, Лобанова и трактиров. От Никитских до Тверских ворот, по левую сторону все сожжено, а по правую – целы дома князя Щербатова, графини Строгановой и еще дома с два. Балабина дом, где вы жили, цел. Тверская, от Тверских ворот до дома главнокомандующего, по обеим сторонам вся цела, а потом, от Черткова вниз до Моховой, вся выгорела по обеим сторонам. Благородное собрание сгорело, статуя императрицы тут, но упала с пьедестала и отшиблись одна рука и орлиная голова[21]. Дом князя Сергея Ивановича сгорел, равно и Анненкова, а против него угольный дом, деревянный Хомякова, что прямо стоит к Кузнецкому мосту, целехонек, тогда как каменные службы сгорели. Весь ряд, где была лавка Гуа, сгорел, от моста вверх по обеим сторонам цело. Лубянка вся цела: Касаткина, графский, Соловова, Дмитрия Александровича, одним словом, все дома целы. Непонятно, как не сожгли графский дом; мы, однако же, во всех печах нашли порох и тотчас вынули его. На Мясницкой все дома – от Николушки Салтыкова[22] до Юшкова и от Тюфякина до почты – целы; угольный трактир у Мясницких ворот цел, а от него до дома бестии Ожье, по обеим сторонам, все выгорело. Запасный магазин[23], дома князя Степана Борисовича Куракина и Хлебникова – целы; все же прочие по обеим сторонам Басманной до Пушкина, коего дом также сожжен, на Разгуляе все сожжены, без изъятия одного. В Старой Басманной целы только

[21] Открытие памятника в честь Екатерины Великой, поставленного российским дворянством в залах собрания, было торжественно отпраздновано за 5 месяцев до вступления в Москву неприятеля, 21 апреля 1812 г.
[22] Где потом размещалась Чертковская библиотека.
[23] То есть дворец у Красных ворот.

дома Аникеева, князя А.Б. Куракина и купца Александрова. От дома Ив. Ив. Демидова, у коего только один флигель сгорел, все дома до самого Белавина целы, равно и по той стороне все целы; далее туда, к Денисовым баням, все сожжено. От церкви Вознесения правая сторона, где и наши дома, до Дворцового моста и до Салтыкова моста все цело; на противолежащей стороне сгорел только дом, где жила красавица Анна Петровна, против нас, все же прочие дома целы. Кроме сего, ни один дом не остался цел во всей слободе Немецкой: ни Jeannot, ни Фаст, ни Волков – никто. Образовалось обширное поле, покрытое обгоревшими трубами, и, когда выпадет снег, они будут казаться надгробными памятниками и весь квартал обратится в кладбище. От Ильинских ворот по обе стороны все цело до Покровских ворот. Дома Ив. Дм. Нарышкина, князя Фед. Николаевича Голицына и гр. Мих. Петр. Румянцева целы, все же прочие до Никиты Мученика сожжены; на противолежащей стороне – также, кроме Заборовского и двух-трех других. Нелединского дом цел. Вот что видел я собственными глазами, а потому как истинное тебе даю; буде станут у тебя справляться, то можешь на меня ссылаться смело.

Ужас и уныние наводит смотреть на опустошение. Вообрази себе, что я сегодня, шедши от своего дома сюда пешком, к графу, пришел в четверть часа, потому что от дома Белавина, у нас, до дома Юшкова[24], против почты, я шел прямою линией, потому что все выгорало на этом пространстве. Иногда не знаешь, где находишься: одни церкви дают возможность определить местность. Завтра отправляюсь осматривать остальные части города.

Графу нездоровится: его слишком поразила эта раздирающая картина. Он не решается выйти из дома, не спал всю ночь напролет и сегодня ходит в халате. Он думает, что Москва никогда не оправится, я утверждаю противное, но что потребуется много времени. Он спорил, что не осталось и 1000 домов, я спорил за 2000 и выиграл пари. Посылаю тебе копию с последнего рапорта Ивашкина: сгорело более 7000 домов. Никогда свет не был свидетелем подобного пожара, да и не было такого громадного города, как Москва. Жителей по сие время только 6000, но наезжают постоянно: уцелевшие соборы привлекут сюда всю Россию. Граф не может равнодушно произнести слова «Москва». Сегодня утром он говорил губернатору: «Теперь вижу я, что Москва не город, а мать наша, которая нас кормила, тешила, покоила; всякий русский желал на земле кончить Москвой, а умеревши – царством небесным».

Я бы хотел, чтобы он съездил в Петербург: это необходимо для блага Москвы, и, кроме того, это его рассеет. А между тем здесь попривыкнут; теперь же его беспрестанно тревожат нелепыми просьбами и жалобами: один требует своего зеркала, другой разыскивает свой горшок и проч. Ивашкин спит более чем когда либо; жду с нетерпением приезда Волкова. Вчера входит Ивашкин

[24] Дом Юшкова, построенный В.И. Баженовым, сохранился. Сейчас это д. 21 по Мясницкой улице.

с расстроенным лицом: «Что такое?» – «Французы идут в Москву». – «Кто вам это сказал?» – «Человек один проскакал в телеге и говорил это во все горло». Вероятно, какой-нибудь пьяница, а ему даже и в голову не пришло его тотчас остановить. Он верит всем подобным вздорам, тогда как везде разъезжают казацкие патрули.

Я здесь очень хорошо поместился и сплю рядом с графом; Обресков – наверху; Ильин – у Аллара, напротив; Шнауберт рядом, в доме Соловова. Губернатор живет в доме Шаховского, в Леонтьевском переулке; князь Борис Андреевич Голицын – у Познякова; Спиридов, который временно занимает должность коменданта – у Олсуфьева, на Тверской; Ивашкин – у Шальме и т.д. Хозяев, конечно, нет. Граф взял у бездельницы Шальме все, что нужно для стола; когда он выйдет, я тоже отправлюсь забрать свою долю.

Тутолмин, оставшийся в Воспитательном доме, был призван к Наполеону Делорном (другом милого господина Зотова), секретарем разбойника-императора и переводчиком его для русского языка. Бонапарт сказал ему, чтобы он написал императору Александру, что русские сожгли Москву (не они ли тоже взорвали Кремль и поставили в церквах лошадей?); маленький мясник был взбешен до крайности. «Напишите также, прибавил он, что от Смоленска до Москвы я видел лишь одни пепелища». Какое отсутствие всякой любезности? Да ведь мы варвары! Нам следовало осыпать путь французов цветами и везде заготовлять припасы для них и для их лошадей.

Свинья З...й уверяет, что Коленкур и Мортье – наши покорные слуги и что они не замедлят оставить Бонапарта и вступить в нашу службу. Пустят ли в стадо паршивых овец?!.. Они уверили его, что французы возвратятся в Москву через 7 дней, и просили хранить это в тайне – а болван поверил на слово!

Разговор этот тоже расстроил графа. Я так устрою, чтобы к нему больше не водили всех этих изменников и скотов.

Воспитательный дом цел, там околевает ежедневно человек по пятидесяти французов. Кабы это негодное отродье могло покончиться находящимся здесь!!.. Нельзя себе представить всю утонченность жестокостей их, для них нет ничего святого на земле! Бедный Приклонский много перестрадал. Он раз убежал, его поймали и побили. Они клеймили всех тех, которых брали на работы, и когда попадался им кто-либо с клеймом, то они били его без пощады. Второй раз попытка убежать была удачнее, но не без труда и опасности он добрался до нашей деревни, где прожил шесть дней. Он упрекает меня, что я его не захватил с собой: он, верно, не знает, каким опасностям я подвергался сам. Дома наши загажены: вообрази, что свиньи французы пакостили на полу, в мраморной зале, войти нельзя было. В доме Мавры Ивановны жили они с лошадьми вместе, просто ужас! Удивляюсь, как все не перебито. Картины оборваны и взяты, а рамы – на стенах. Не понимаю, какими судьбами уцелел только один портрет Людовика XVI, и кто поручится, что между ними не было бездельников, которые подавали свой голос за смерть добродетельного короля, а может быть, рукоплескали при казни своего доброго государя?

А теперь, хотя и с бранью, они умирают из-за каприза тирана, иноземца, искателя приключений, чудовища, изверженного адом...

P. S. 26 октября

Я говорил тебе о тех частях города, которые посетил сам; на Поварской, на Арбате я еще не был, но побываю везде.

Графу сегодня гораздо лучше... Я приготовил квартиру для Барклая[25]. Всякий занимает любой дом.

Я рад, что нашел бутылку рома: мешаю его с водой, которая может быть нездорова...

Русский архив. 1866. № 5



[25] Следовательно, в окружении графа Ф.В. Растопчина предполагалось, что М.Б. Барклай де Толли по выезде из Владимира может остановиться в Москве.

ДОНЕСЕНИЕ МОСКОВСКОГО ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕРА П.А. ИВАШКИНА ГРАФУ Ф.В. РАСТОПЧИНУ ОТ 14 НОЯБРЯ 1812 ГОДА

«От 16 октября рапортом за № 3226 имел я честь доносить Вашему сиятельству о прибытии моем, согласно предписанию мне данному, в столицу сию. Враги отечества оставили оную с 10-го на 11-е число. Соборы, храмы Божии и монастыри, оскверненные неистовствами их, в пяти местах подорванный Кремль, выжженные Грановитая палата и часть Дворца, некоторые казенные здания и 6496 обывательских, каменных и деревянных домов, множество мертвых трупов людей и лошадей, разбросанных по улицам, все сие вместе составляло ужасную истину варварства извергов сих. Обыватели Москвы, как остававшиеся в оной, так и укрывавшиеся в ближних селениях и лесах и собравшиеся в значительном количестве, при едином известии о выступлении врагов с сердечным умилением, на лицах каждого начертанным, встретили законное Правительство свое, и единодушный отзыв их был Благословение Всемогущего Бога и боготворимого ими Государя Императора. Осмотрев, ни мало не медля Кремль, многие казенные здания, госпитали и больницы, нашел я в сих последних, равно как и в Воспитательном доме множество больных и раненых, офицеров и нижних чинов как войска Всемилостивейшего Государя Нашего, так и неприятельских. Злодеи, не соблюдающие прав человечества, предоставили сих несчастных собственной судьбе их. Значительное количество страдальцев сих умирало от голода, а остававшиеся в живых, удушаемые гнилым воздухом, находились в совершенном изнеможении; избранному на сей случай подполковнику уланского полка корпуса генерал-адъютанта Кутузова, Курошу и прибывшему чрез два дня, после приезда моего, штата московской полиции квартальному надзирателю Урланову приказал я разместить их по удобным местам, довольствовать на собственные свои деньги пищею, лекарством и прочими потребностями, как в рапорте за № 3316 имел честь доносить Вашему сиятельству. Разведав, сколько по тогдашнему времени имел я способов об оставленном неприятелем разного рода провианте и фураже, увидел, что главнейшая крайность стекающихся обывателей была в жизненных припасах, старался я всеми мерами, лично

и чрез посланных от себя склонять из окружных мест крестьян доставлять сюда оные. Благодаря Бога старание мое не осталось без успеха и продовольствие, мало по малу умножаясь, соделалось наконец ненужным. Осмотрел банковую контору, соляный и винный дворы, приложил к казне печати и приставил к ним и ко всем тем местам, где требовала необходимость, караулы; описал и взял под присмотр оставленные неприятелем орудия и прочие снаряды. Истребовал от военного начальства часть бывших здесь войск, из которых для спокойствия жителей учредил ночные разъезды; по выступлении же отсюда корпуса, как оные, так и все посты содержала полицейская драгунская бессменно команда до прибытия из Володимира полицейской и пожарной команд; по размещении оных наиболее по домам, неприятелями оберегаемым, поставил на въездах караулы, из пожарных служителей состоящие. Вменив всем чиновникам сим в непременную и первейшую обязанность очистить храмы Господни от нечистоты, во множестве в них находившейся, приказал я с тем вместе убрать мертвые тела людей и трупы лошадей, кои потом, согласно воле Вашего сиятельства, сожигаются за городом или закапываются в глубокие ямы, перемешанные известью. Найденные мною в разных местах неприятельские бумаги и собранные достоверные сведения открыли мне тех людей, кои во время занятия Москвы врагами составляли здесь градское правление и полицию. Все те из них, кои не скрылись обще со злодеями, взяты под стражу и содержатся в нарочно избранном для того доме князя Шаховского, на Тверской улице состоящем, о других же, кои за болезнью находятся в домах своих, дал я повеление тех частей частным приставам иметь неослабный надзор, чтобы они не могли каким-либо образом из столицы выехать. Спокойствие, в городе водворившееся, и свободная промышленность собирают в оный купечество и других торговцев, которые, не имея более лавок, кои все сгорели, выстраивают для торговли временные на казенных площадях, и таковых лавок в разных местах выстроено более двух тысяч. Донося сие Вашему сиятельству, я имею честь почтеннейше представить особенному начальническому вниманию прибывших обще со мною штата канцелярии моей секретаря, коллежского секретаря Ложинского и полицейской драгунской команды поручика Кречетникова, кои, быв до прибытия полиции единственными моими помощниками, неусыпными трудами своими вспомоществовали мне точным исполнением повелений водворению порядка и устройства, и с тем вместе убедительнейше просить предстательством Вашего сиятельства у трона монаршего исходатайствовать им награду, коей по всей справедливости они достойны. Я прилагаю при сем именные списки содержащихся ныне под стражею разного звания людей, бывших во французской службе, с отметкою должности каждого, и оставшимся не сгорелым соборам, монастырям, церквам, казенным зданиям и обывательским домам по частям и кварталам».

СПИСОК СОДЕРЖАВШИМСЯ ПОД СТРАЖЕЮ КОЛОДНИКАМ, НАХОДИВШИМСЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ СЛУЖБЕ В РАЗНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ

(Приложение к донесению московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина графу Ф.В. Растопчину от 14 ноября 1812 г.)

№№	ИМЕНА И ПРОЗВАНИЯ	ОТПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ	ОТМЕТКИ
1.	ПЕТР НАХОДКИН, 1-Й ГИЛЬДИИ КУПЕЦ		
ПОМОЩНИКИ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ			
2.	ЯКОВ ДЮЛОН, МОСКОВСКИЙ КУПЕЦ	ИМЕЛ СМОТРЕНИЕ ЗА МОСТОВЫМИ	
3.	НИКОЛАЙ КРОК, МОСК. КУПЕЦКИЙ СЫН	ЗАВЕДЫВАЛ СПОКОЙСТВИЕ ТИШИНУ И ПРАВОСУДИЕ ЖИТЕЛЕЙ	
4.	ФЕДОР ФРАКМАН, МОСК. ИМЕНИТЫЙ ГРАЖДАНИН	ПО КВАРТИРМЕСТЕРСКОЙ ЧАСТИ	
5.	ЕГОР МЕНЬЕ, ВИРТЕНБЕРГСКИЙ УРОЖЕНЕЦ	НАДЗОР ЗА РЕМЕСЛЕННИКАМИ И ПОСОБИЕ БЕДНЫМ	
6.	ИВАН ИСАЕВ, МОСКОВ. КУПЕЦ	ИМЕЛИ СМОТРЕНИЕ ЗА МОСТОВЫМИ	
7.	ВАСИЛИЙ КОНЯЕВ, МОСК. КУПЕЦ		
8.	ХРИСТИАН ФЕ, ДЕРПТСКИЙ 1-Й ГИЛЬДИИ КУПЕЦ		
9.	ИВАН ДРОНОВ, МОСКОВСКИЙ КУПЕЦ	ЗАВЕДЫВАЛИ СПОКОЙСТВИЕМ ТИШИНОЮ И ПРАВОСУДИЕМ ЖИТЕЛЕЙ	
10.	ЕГОР МЕРМАН, ИНОСТРАНЕЦ		
11.	ВАСИЛИЙ БОРОДИН, МОСК. КУПЕЦ	ПО КВАРТИРМЕСТЕРСКОЙ ЧАСТИ	
12.	АНДРЕЙ КЕЛЛЕР, ИНОСТРАНЕЦ		
13.	ФЕРДИНАНД БРИОН, ОТСТАВ. КАПИТАН		
14.	ХРИСТОФОР ДАНАРОВИЧ, ТИТУЛ. СОВЕТНИК	НАДЗОР ИМЕЛИ ЗА РЕМЕСЛЕННИКАМИ И ПОСОБИЕ БЕДНЫМ ЖИТЕЛЯМ	
15.	ПАВЕЛ НАХОДКИН, КУПЕЦКИЙ СЫН		
16.	ВАСИЛИЙ ШЕМЕТОВ, МОСКОВ. КУПЕЦ		
17.	ГРИГОРИЙ КОЛЧУГИН, МОСК. КУПЕЦ	НАДЗОР ЗА БОГОСЛУЖЕНИЕМ, ЧТОБ ОНО БЫЛО УВАЖАЕМО И ПОПЕЧЕНИЕ ЗА БЕДНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ	
18.	ИВАН КОЗЛОВ, МОСКОВ. КУПЕЦ		
19.	ИВАН БУРЖУА, ШВЕЙЦАРСКОЙ СЛУЖБЫ КАПИТАН-ПОРУЧИК		
20.	ПЕТР ПЕЛЬ, ИНОСТРАНЕЦ	СЕКРЕТАРИ ГОРОДСКАГО ПРАВЛЕНИЯ	
21.	КАРЛ КУСТ, КОММЕРЦИИ ТОВАРИЩ		
22.	АЛЕКСАНДР КРУПИЦКИЙ, МОСК. КУПЕЦ	ПЕРЕВОДЧИК ОНОГО ПРАВЛЕНИЯ	

№№	ИМЕНА И ПРОЗВАНИЯ	ОТПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ	ОТМЕТКИ
ПО ПОЛИЦЕЙСКОЙ ЧАСТИ			
23.	АЛЕКСАНДР ПРЕВО, МОСК. КУПЕЦ	КОМИССАРЫ И ПОМОЩНИКИ	
24.	ПАВЕЛ КОРОБОВ, МОСК. КУПЕЦКИЙ СЫН		
25.	ДАНИЛО ФАБЕР, ХУДОЖНИК		
26.	МИХАЙЛО МАРК, УЧИТЕЛЬ 13-ГО КЛАССА		
27.	ФРАНЦ РЕМИ, УЧИТЕЛЬ 14-ГО КЛАССА		
28.	ИОСИФ ЧЕРНИЧ, ПРОФЕССОР ФИЗИКИ		
29.	ИВАН ВИЗАР, ИНОСТРАНЕЦ		
30.	ПЕТР МЕРСАН, КОЛЛЕЖСКИЙ РЕГИСТРАТОР		
31.	ЕГОР ЛАЛАНС, ИНОСТРАНЕЦ		
32.	ИОСИФ БУШОТ, ИНОСТРАНЕЦ		
33.	УМБЕРТ ДРО, ИНОСТРАНЕЦ		
34.	НИКОЛАЙ БОРН, ИНОСТРАНЕЦ		
35.	ПАВЕЛ НЕЧАЕВ, ТИЛУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК		
36.	КАРЛ ЛАСАН, ИНОСТРАНЕЦ		
37.	ВАСИЛИЙ ГАЛДАНОВ, КАПИТАН МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ КВАРТАЛЬНЫЙ ПОРУЧИК		
38.	ОСИП БЕККАДЕЛЛИ, ИНОСТРАНЕЦ		
39.	ИВАН ПОСПЕЛОВ, ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК		
40.	ВАСИЛИЙ ТЕРПУГИН, КОЛЛЕЖ. РЕГИСТРАТОР		
41.	ПЕТР БАСКОВ, ОТСТАВНОЙ РОТМИСТР		
42.	ЕГОР УШАКОВ, КНЯЗЯ СИБИРСКОГО ДВОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК		
43.	КАРЛ РУСЛО, ИНОСТРАНЕЦ	В СПАССКИХ КАЗАРМАХ ПЕРЕВОДЧИКОМ И СМОТРИТЕЛЕМ	
44.	ИВАН ПОЗНЯКОВ, МОСКОВСКИЙ КУПЕЦ	ИМЕЛ ОСОБОЕ ПРЕПОРУЧЕНИЕ ОТ ИНТЕНДАНТСТВА ФРАНЦУЗСКАГО ДЛЯ ЗАКУПКИ ХЛЕБА	
45.	ЕГОР РОМАДИН, СЕНАТСКИЙ РЕГИСТРАТОР	ПОМОЩНИКИ КОМИСАРОВ	ОТОСЛАН В ЕКАТЕРИНИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ
46.	ИВАН ЕРМОЛАЕВ, ВОЛЬНООТПУЩЕННЫЙ		
47.	ЕГОР НЕМЦАДЗЕ, ГУБЕРНСКИЙ СЕКРЕТАРЬ	ПЯТИДЕСЯТНИК	

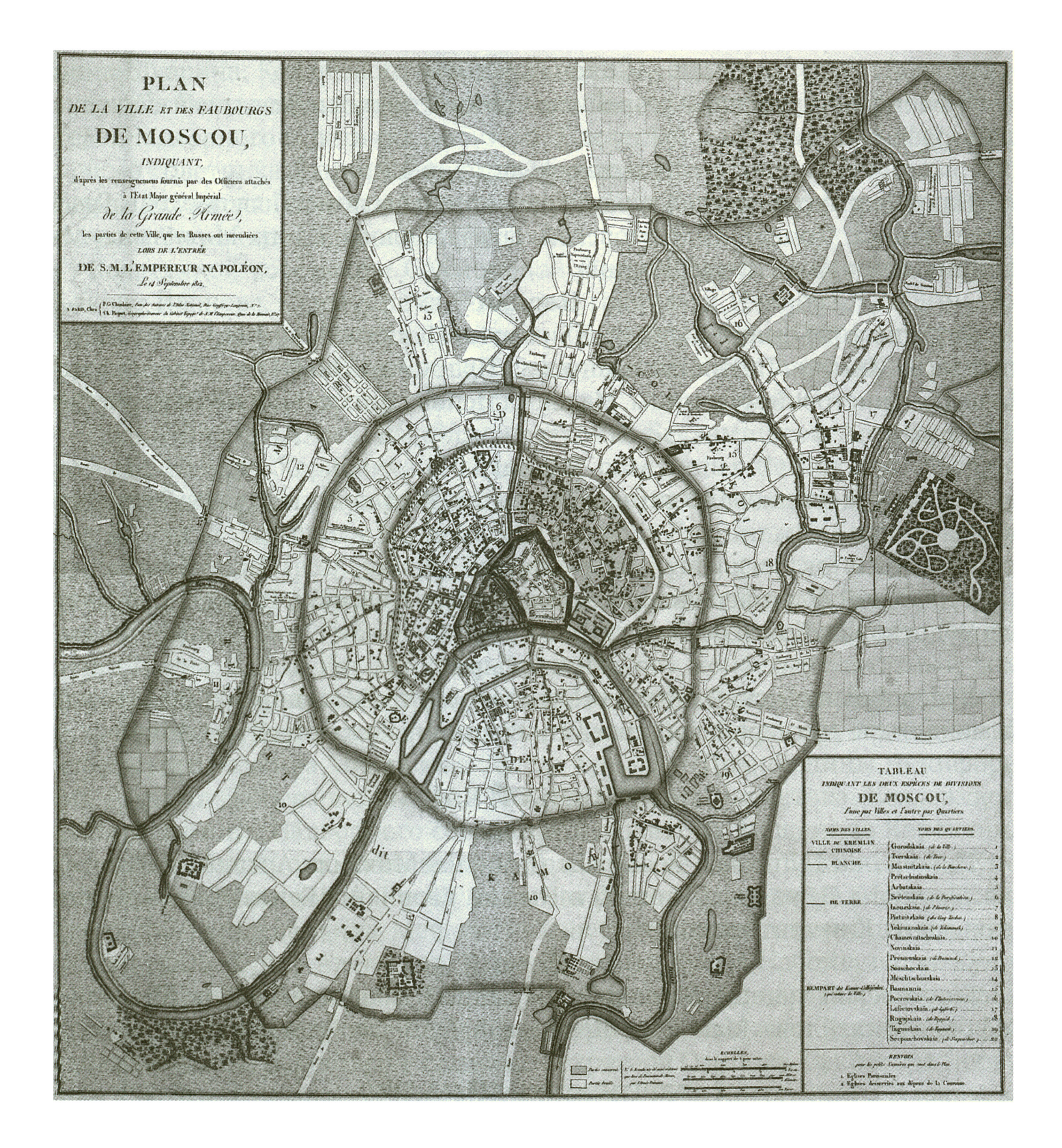
окончание таблицы

№№	ИМЕНА И ПРОЗВАНИЯ	ОТПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ	ОТМЕТКИ
48.	ИВАН ШТАННИКОВ, МОСК. МЕЩАНИН	БЫЛ УПОТРЕБЛЕН ОТ ВИШНЕВСКОГО ДЛЯ ЗАКУПКИ ПРОВИАНТА ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ	
49.	СЕРГЕЙ ЗАЛЕТОВ, ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК МЕДИЦИНСКОЙ КОНТОРЫ	ПОМОЩНИК КОМИССАРА	
50.	ВАСИЛИЙ ВИНОГРАДОВ, КОЛЛЕЖ. СЕКРЕТАРЬ	ПОМОЩНИКИ КОМИССАРА	
51.	АНДРЕЙ КОНАШЕВСКИЙ, УЧИТЕЛЬ		
52.	ИВАН НИКОЛАЕВ, КОЛЛЕЖС. РЕГИСТРАТОР		
53.	ФРАНЦ РЕБЕ, ИНОСТРАНЕЦ	КОМИССАР	
54.	АВГУСТ ГЕБЕЛЬ, ИНОСТРАНЕЦ	ПОМОЩНИК ЕГО	
55.	АНДРЕЙ КОНЮХОВ, НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК	ПО КВАРТИРМЕСТЕРСКОЙ ЧАСТИ	
56.	ИВАН ЩЕРБАЧЕВ, ГУБЕРНСКИЙ СЕКРЕТАРЬ	ИМЕЛ ОСОБОЕ ПРЕПОРУЧЕНИЕ ОТ НАПОЛЕОНА	
57.	МИХАЙЛО ЩЕКОТОВ, ГУБЕРНСКИЙ СЕКРЕТАРЬ	ПОМОЩНИКИ КОМИССАРОВ	
58.	ФИЛИПП ПУЗЫРЕВ, ПОДЛЕКАРЬ		
59.	ИВАН МИРОНОВ, ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА УНТЕР-ОФИЦЕР		
60.	НИКОЛАЙ РЕПНИКОВ, ВОЕННО-СИРОТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОСПИТАННИК	БЫЛ ДЕСЯТСКИМ	
61.	ЛЕВ ВИЗАР, ИНОСТРАНЕЦ	ПОМОЩНИК КОМИССАРА	
62.	АНДРЕЙ СУЩОВ, ТИТУЛЯРНЫЙ СОВЕТНИК И КАВАЛЕР	ИМЕЛ НАДЗОР ЗА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ БЕДНЫХ	
63.	ПАВЕЛ ЛАКРОА, КОЛ. РЕГИСТРАТР, КВАРТАЛЬНЫЙ ПОРУЧИК	ПО ОСОБЕННОМУ ПОРУЧЕНИЮ	СОДЕРЖИТСЯ В ГОРОДСКОЙ ТЮРЬМЕ
64.	ИВАН ПЕРОМ, ИНОСТРАНЕЦ	ПО СЕКРЕТНОМУ ДЕЛУ	
65.	ИВАН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ, МОСК. КУПЕЦ	ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, ИМЕЛ НАДЗОР ЗА РЕМЕСЛЕННИКАМИ И ПОСОБИЕМ БЕДНЫХ	
66.	ИВАН КУЛЬМАН, НАДВОРНЫЙ СОВЕТНИК, МОСКОВСКОЙ УПРАВЫ БЛАГОЧИНИЯ СТАРШИЙ ШТАБ-ЛЕКАРЬ	ПО ЧАСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ И БОЛЬНИЦ	
67.	ШТЕЛЬЦЕР, ПРОФЕССОР УНИВЕРСИТЕТА	ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ	

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО ИХ
1.
ПЕТР НАХОДКИН, ЯКИМАНСКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ЯКОВ ДЮЛОН, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ КУПЦА КЛЕМЕНЦА
НИКОЛАЙ КРОК, ГОРОДСКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ФЕДОР ФРАКМАН, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ И. ПОТЦИ
ЕГОР МЕНЬЕ, ТВЕРСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ КАНЦЕЛЯРИСТА НЕКРАСОВА
ИВАН ИСАЕВ, ПЯТНИЦКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ВАСИЛИЙ КОНЯЕВ, ЯКИМАНСКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ХРИСТИАН ФЕ, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ИВАН ДРОНОВ, АРБАТСКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
10.
ЕГОР МЕРМАН, ГОРОДСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ КУПЦА КРОКА
ВАСИЛИЙ БОРОДИН, МЕЩАНСКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
АНДРЕЙ КЕЛЛЕР, СРЕТЕНСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ПИРАЗО
ФЕРДИНАНД БРИОН, ЯУЗСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ БОБРИКОВА
ХРИСТОФОР ДАНАРОВИЧ, ПЯТНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ КУП. ИКОННИКОВА
ПАВЕЛ НАХОДКИН, ЯКИМАНСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ОТЦА ПЕТРА НАХОДКИНА
ВАСИЛИЙ ШЕМЕТОВ, ЛАФЕРТОВСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ЛУГИНИНА
ГРИГОРИЙ КОЛЧУГИН, ЯУЗСКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ИВАН КОЗЛОВ, ПЯТНИЦКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ИВАН БУРЖУА, ЛАФЕРТОВСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ЛУГИНИНА
20.
ПЕТР ПОЛЬ, ГОРОДСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ СОКОЛОВА
КАРЛ КУСТ, ЯУЗСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ МЕСОНА
АЛЕКСАНДР КРУПИЦКИЙ, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
АЛЕКСАНДР ПРЕВО, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ЧЕРКОВА
ПАВЕЛ КОРОБОВ, ПЯТНИЦКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ДАНИЛО ФАБЕР, СРЕТЕНСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ И. МИХАЙЛОВА
МИХАИЛ МАРК, БАСМАННОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ГЕНЕРАЛА БАЛК
ФРАНЦ РЕМИ
ИОСИФ ЧЕРНИЧ, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ДЕ-ПЕДРА
ИВАН ВИЗАР, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ЖИЛЕТ, БЫВШЕМ НАПРЕД СЕГО МИЛЮТИНА
30.
ПЕТР МЕРСАН
ЕГОР ЛАЛАНС, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ЖИЛЕТ, БЫВ. МИЛЮТИНА
ИОСИФ БУШОТ, СРЕТЕНСКОЙ ЧАСТИ, В ДОЛМЕ КУПЦА МШИХИНА
УМБЕРТ ДРО, БАСМАННОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ КНЯГИНИ КУРАКИНОЙ

НИКОЛАЙ БОРН, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ МИЛЮТИНА
ПАВЕЛ НЕЧАЕВ, ПРЕЧИСТИН. ЧАСТИ, В ПРИХОДЕ ПОКРОВА В ЛЕВШИНЕ, В ДОМЕ ДЬЯЧКА
КАРЛ ЛАСАН, ТВЕРСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ИНОСТР. ЛАМАРАЛЯ
ВАСИЛИЙ ГАЛДАНОВ
ОСИП БЕКАДЕЛЛИ, ТВЕРСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ КУПЦА УСАЧЕВА, У ПЕТРА
ИВАН ПОСПЕЛОВ
40.
ВАСИЛИЙ ТЕРПУГИН
ПЕТР БАСКОВ, ПОКРОВСКОЙ ЧАСТИ, В ПРИХОДЕ БОГОЯВЛЕНИЯ, В Д. ПРОСВИРНИ
ЕГОР УШАКОВ, ПРЕЧИСТИНСКОЙ ЧАСТИ, В Д. КН. СИБИРСКОГО
КАРЛ РУСЛО, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В Д. СЕМЕНОВА
ИВАН ПОЗНЯКОВ, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В Д. ЛАВРЕНТЬЕВА
ЕГОР РАМАДИН
ИВАН ЕРМОЛАЕВ, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ СОКОЛОВА
ЕГОР НЕМЦАДЗЕ
ИВАН ШТАННИКОВ, ЛЕФОРТОВСКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
СЕРГЕЙ ЗАЛЕТОВ
50.
ВАСИЛИЙ ВИНОГРАДОВ
АНДРЕЙ КОНАШЕВСКИЙ, ТВЕРСКОЙ ЧАСТИ, В Д. КН. ШЕХОНСКОГО
ИВАН НИКОЛАЕВ
ФРАНЦ РЕБЕ, ТВЕРСКОЙ ЧАСТИ, В Д. ДАВЫДОВА
АВГУСТ ГЕБЕЛЬ, ГОРОДСКОЙ ЧАСТИ, В Д. ШЕВАЛДЫШЕВА
АНДРЕЙ КОНЮХОВ
ИВАН ЩЕРБАЧЕВ
МИХАИЛ ЩОКОТОВ, АРБАТСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ ПУЧКОВА
ФИЛИПП ПУЗЫРЕВ
ИВАН МИРОНОВ, МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ МАЙОРА ЖИЛЕ
60.
НИКОАЛЙ РЕПИНКОВ, ПОКРОВСКОЙ ЧАСТИ, В СВОЕМ ДОМЕ
ЛЕВ ВИЗАР: МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ МИЛЮТИНА
АНДРЕЙ СУЩОВ
ПАВЕЛ ЛАКРОА
ИВАН ЖЕРОМ, ТВЕРСКОЙ ЧАСТИ, В Д. СТРЕШНЕВА
ИВАН ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ, ТВЕРСКОЙ ЧАСТИ, В ДОМЕ БЕКЕТОВА
ИВАН КУЛЬМАН
67.
ШТЕЛЬЦЕР

Щукин П.И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. Ч. 2. 1897



СПИСОК ОСТАВШИМСЯ НЕСГОРЕЛЫМ СОБОРАМ, МОНАСТЫРЯМ, ЦЕРКВАМ, КАЗЕННЫМ ЗДАНИЯМ И ОБЫВАТЕЛЬСКИМ ДОМАМ

(приложение к донесению московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина графу Ф.В. Растопчину от 14 ноября 1812 г.)

ГОРОДСКОЙ ЧАСТИ

Казанский собор. Богоявленский монастырь. Заиконоспасский монастырь. Греческий монастырь. Троицы в Полях. Иоанна Богослова. Владимирской Божией Матери. Николы Большого Креста. Козьмы и Дамиана.

Казенные дома

Губернское правление с прочими присутственными местами. Духовная типография.

Обывательские дома

Надворного советника Кусовникова и при нем домашняя церковь. Графа Шереметьева. Попадьи Абрамовской. Графа Орлова. Купца Милютина. Мещанина Ашмарина. Купца Шорина.

Церкви

Грузинской Божией Матери. Климанта. Николая Чудотворца, что Красный звон. Ипатия. Пятница, именуемая Прасковея. Знаменский монастырь. Варвары Христовой мученицы. Максима Исповедника. Георгия. Зачатия Святой Анны.

Дома

Купца Колесникова. Флигель, оставшийся от дома генерала Духовницкого.

Соборы

Успенский. Благовещенский. Архангельский. Василия Блаженного. Николая Чудотворца. Спаса на Бору.

Монастыри

Чудов. Вознесенский. Николая Чудотворца, что Москворецкий. При Чудове монастыре Архиерейский дом. При Вознесенском монастыре дом.

ПЯТНИЦКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Николы на Пупышах. Козьмы и Дамиана. Михаила Архангела. Пятницкая. Троица в Лужниках. Николы в Пыжах. Егория на Всполье. Воскресения Словущего. Климентовская.

Дома

Московской купецкой жены Белобравой. Господина Кожина. Мещанина Сафрона Михайлова. Мещанки Шераповой. Купчихи Четвериковой.

СЕРПУХОВСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

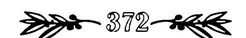
Вознесения Господня. Воскресения Словущего. Ризы Положения. Троицы на Шаболовке. Фрола и Лавра. На Даниловском кладбище. При Павловской больнице. При Андреевской Богадельне.

Казенные дома

Павловская больница. Голицынская больница. Провиантские магазины.

Обывательские дома

Купца Кирьякова. Мещанки Скосыревой. Мещанки Периной. Московского купца Рязанова. Купца Столярова. Купца Китайцова. Ротмистра Неронова. Купчихи Водопьяновой. Фабричного Бикарюкова. Крестьянина Антипова. Комиссионера Гусева. Девицы Тимофеевой. Съезжий двор. Купца Николаева.



Купца Шкарина. Комиссионера Воронецкого. Купца Игнатьева. Надворного советника Лохувикова. Купца Дорбышева. Девицы Лошаковой. Купца Григорьева. Надворного советника Арбузова. Масленый двор. Мытный двор. Надворного советника Ляпина. Генерала Мерлина. Мещанина Афонасьева. Господина Яковлева. Генерала Арсентьева. Вдовы тайной советницы Масловой. Генерала Загряцкого. Купца Шкарина.

Коллежской советницы Соймоновой. Вдовы Поповой. Дьячка Петрова. Дьякона Иванова. Священника Розонова. Пономаря Иванова. Графини Орловой. Надворной советницы Липиной. Купца Почекуева. Гвардии поручика Саковнина. Купца Кулькова. Купца Талаконникова. Действительного статского советника Ляпунова.

Девиц Никифоровых. Военного советника Беклемишева. Аптекаря Гофмана. Бригадира Карновича. Надворной советницы Семеновой. Гвардии прапорщика Карпова. Купца Подкатова. Секретаря Алексеева. Купца Кательникова. Купца Скворцова. Коллежского асессора Драницына. Капитанши Застровской. Купца Пашильникова. Купца Жукова. Купеческих детей Рыбинских. Бригадира Пашкова. Купца Карзинкина – сахарный завод. Купца Булгакова. Гвардии прапорщика Чебышева. Купцов Шестовых – сахарный завод. Мещанина Силина. Купца Извощикова. Даниловского монастыря штатный дом. Секретарши Плужниковой. Майора Ушакова. Купца Ремизова. Купца Бекетова. Фабричного Бикарюкова. Солдатки Тихоновой. Солдатки Шеланосовой. Коллежского асессора Михайлова. Купца Кулькова. Прапорщицы Никифоровой. Госпожи Люберацкой. Купца Шкарина. Купца Подкатова. Коллежского асессора Зимина. Надворного советника Луховикова. Мещанина Коровкина. Мещанина Молчанова. Мещанина Петрова. Секретарши Быховцовой. Купеческой жены Веневцовой. Купца Андреева. Купца Шепелькова. Мещанки Костромской. Купца Заикина. Мещанина Константинова. Титулярного советника Апонского. Купца Алексеева. Купца Заикина. Купца Набойщикова. Купца Ильина. Купца Хлебникова. Мещанки Антоновой. Купца Заварзина. Купца Жукова. Купца Рыбникова. Мещанина Сафонова. Мещанки Горшковой. Мещанина Лашина. Секретаря Никонова. Секретаря Осипова. Секретаря Первухина. Солдата Лукьянова. Прапорщика Стрекалова. Крестьянина Каравкова. Крестьянина Таличкова. Крестьянина Машнина. Крестьянина Новоселова. Крестьянина Калугина. Крестьянина Филимонова. Князя Барятинского – фабрика. Крестьянина Федорова. Крестьянина Иванова. Крестьянина Андреянова. Купеческой жены Сторожевой. Фабричной женки Цыбелиной. Вахтера Калягина. Священника Филипова. Диакона Алексеева. Дьячка Петрова. Пономаря Игнатьева. Просвирни Алексеевой. Господина Хотяйнцова. Иностранца Карлы Андреева. Купца Киселева. Казенный питейный дом на Щипке. Купца Попова. Солдата Родионова. Купчихи Ивановой. Княгини Юсуповой.

Статской советницы Полторацкой. Графини Орловой-Чесменской. Генерала Ртищева. Надворной советницы Прокудиной. Подпоручика Уварова. Генеральши Чечериной. Майора Козловского. Подпоручицы Агаревой. Статской

советницы Сабакиной. 8-го класса Лисовского. Отставного регистратора Первова. Подпоручика Уварова. Купца Бронзова. Титулярного советника Соловьева. Купца Прянишникова. Мещанина Филатова. Купца Шурупова. Купца Капылова. Купца Федотова. Коллежского асессора Прокофьева. Купца Малеева. Кригс-комиссарши Бриделевой. Генеральши Прянишниковой. Титулярного советника Зона. Бригадира Давыдова. Мещанки Давыдовой. Коллежского асессора Дубровина. Коллежской советницы Лихаревой. Корнетши Лавровой. Просвирни Ивановой. Пономаря Васильева. Диакона Величина. Дьячка Страхова. Купца Павлова. Мещанки Антоновой. Титулярной советницы Сергеевой. Майорской дочери Соловьевой. Статского советника Антонского. Коллежской советницы Мининой. Поручика Сомова. Коллежской советницы Ладыженской. Майорши Карабьиной. Надворного советника Жилина. Коллежского советника Жегулина. Прапорщицы Засецкой. Прапорщицы Беляевой. Мещанина Жирнова. Университетского студента Находкина. Коллежского секретаря Матавкина. Иностранца Демона. Мещанина Воробьева. Генерала Сарахтина. Статского советника Протопопова. Иностранца Штейцнера. Штаб-лекаря Вигоградского. Купца Коренева. Поручика Хрущова. Коллежского асессора Правикова. Надворного советника Головина. Дьячка Максимова. Прапорщика Пономарева. Вахтера Кидомова. Титулярной советницы Арсентьевой. Прапорщика Хозикова. Комиссарши Раковской. Бригадира Арсеньева. Коллежского асессора Розберга. Мещанки Сонцовой. Купца Широкова. Мещанина Лизгунова. Титулярной советницы Сергеевой. Купца Бронина. Купца Калинина. Надворного советника Сарычева. Казенный питейный дом.

Кузницы

Господина Навикова. Купца Бекетова. Купчихи Алексеевой. Часовня у Калужской заставы. Богадельня при церкви Риз Положения. Купца Титова. Графини Орловой-Чесменской. Ее же Орловой-Чесменской. Княгини Голицыной. Надворного советника Рихтера. Его же Рихтера. Генерала Ермолова. Тайного советника Левашева. Бригадира Волконского. Полковницы Кречетниковой. Титулярнаго советника Енгалычева. Надворной советницы Бахметьевой. Майорши Мазовасовой. Тайного советника Мясоедова. Его же Мясоедова. Масаловой. Мещанина Фетисова. Протоиерея Семенова. Купца Штиглица. Обер-провиантмейстерши Воронцовой. Надворной советницы Бахметьевой. Генерала Новицкого. Коллежского советника Ушакова. Коллежского асессора Дубровина. Мещанина Марщинина. Купца Кувшиникова. Коллежского комиссара Соина. Секретарши Шетериной. Цехового Петрова. Майора Малцова. Статской советницы Татищевой. Монастырская гостиница.

Монастырских служек

Ильи Иконникова. Екима Черновского. Якова Боршова. Ильи Егорова. Марфы Семеновой. Ивана Добычева. Григория Папулина. Тимофея Евдокимова. Федора Михайлова. Ильи Акинфиева. Сергея Никифорова. Ивана Рогожина. Петра Чернявскаго. Ивана Панкова. Александра Михайлова. Василия

Боршова. Трофима Степанова. Матвея Савинова. Купца Фецкина. Дворового человека Трофимова.

Мещанина Максимова. Мещанина Провоторова. Купца Погребщикова. Купца Сакалова. Крестьянина Изюмова. Мещанина Житкова. Мещанина Кабанова. Купца Ушакова. Мещанки Семеновой. Мещанки Андреевой. Купца Петрова. Мещанки Драгутиной. Мещанина Зуева. Мещанина Миронова. Секретаря Структорова. Мещанина Варфоломеева. Крестьянина Секина. Мещанина Воробьева. Мещанки Коровкиной. Мещанина Мамырева. Бригадира Волконского. Князя Юсупова. Мещанина Иванова. Мещанки Колесниковой.

ЯКИМАНСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Софии Премудрости, что на берегу Москвы-реки. Всех скорбящих, что на Ордынке. Николая Чудотворца, что в Толмачах. Воскресения Христова, что в Кадашеве (у трех последних крыши от пожара обвалились). Григория Неокесарийского, что на Полянке. Екатерины мученицы, что на Ордынке (в зимней церкви внутренность и крыша сгорели). Преображения Господня, что в Наливках (крыши сгорели).

Казанской Божией Матери, что у Калужских ворот. Иоанна Воина, что на Калужской улице. Благовещения Пресвятой Богородицы. Петра и Павла, что на Якиманке (часть крыши от жары развалилась). Николая Чудотворца, что в Галутвине. Козьмы и Домиана, что в Кадашеве (от жары крышка развалилась).

Казенные дома

Каменномостский винный двор (часть магазинов сгорела). Сенатский курьерский дом (верхний этаж выгорел, а нижний цел).

Обывательские дома

Московского купца Семена Михайлова. Княжен Барятинских. Умершего купца Болдина. Московского купца Петухова. Умершего надворного советника Петра Андреева. Московского купца Панова. Московской купеческой жены Белоусовой. Московского купца Бобылева. Московского купца Курносова. Московского купца Прозуменщикова. Московского купца Алексея Иванова. Московской мещанки Щипоковой. Вечно цехового Орлова. Московского мещанина Шабунина. Диакона церкви Иоанна Войственника Андреева. Московского купца Ливанцова. Московского мещанина Стариченкова. Священника церкви Иоанна Войственника Аверкиева. Купца Епанечникова. Купца Ванчукова. Церкви Иоанна Воина церковные покои. Генерал-майора и кавалера Сабурова. Майорши Давыдовой. Полковника Рахманова. Комиссионера Гусева. Московского купца Колычева. Диакона Галстунского собора Васильева. Оного же собора дьячка Андреева. Оного же попадьи Ивановой. Титулярного советника Богомолова. Купеческой жены Будылиной. Купца Засыпкина. Купца Протопопова. Пономаря церкви Иоанна Воина Иванова. Оной же церкви

дьячка Степанова. Оной же церкви просвирни Марины Ивановой. Оной же церковные покои. Бригадира и кавалера Рахманова. Московского мещанина Лашина. Покой церкви Казанской Божией Матери.

ТВЕРСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Успения, что на Вражке. Василия Неокесарийского. Елисея Пророка. Ржевской Божией Матери. Антипия Чудотворца. Николая Чудотворца, что на Стрелке. Похвалы Богородицы.

Дома

Статского советника Агарева. Регистраторши Цветковой. Дьячка Васильева. Иностранца Галицкого. Статского советника Татищева. Университетской типографии 4 флигеля. Ротмистрши Талызиной. Тайной советницы Дивовой. Ее же Дивовой. Священника Тимофея Петрова. Дьячка Ивана Васильева. Пономаря Александра Никитина. Дьякона Ивана Васильева. Князя Трубецкого. Титулярной советницы Долговой. Танцмейстера Ламираля. Майора Щукина. Прапорщика Кожина. Тайной советницы Мелесиной. Повивальной бабки Зельтман. Графа Салтыкова. Князя Шаховского. Пономаря Михайлы Денисова. Дьячка Никифора Иванова. Священника Никиты Дмитриева. Коллежского асессора Маслова. Статского советника Бенкендорфа. Московского купца Живова. Мещанина Марсова. Купца Тулупова. Статской советницы Казицкой. Купца Кожевникова. Бригадирши Лабковой. Купчихи Малютиной. Графа Салтыкова. Обер-провиантмейстера Походяшина. Графа Салтыкова. Его же Салтыкова. Дьячка Ивана Иванова. Пономаря Павла Матвеева. Священника Сергея Сергеева. Князя Голицына. Купчихи Обер-Шальме. Купца Смирнова. С.-Петербургского купца Усачева. Поручика Кожина. Купца Селивановского. Майорши Товаровой. Майорши Засецкой. Бригадира Толстого. Мещанки Решетниковой. Коллежской асессорши Карцовой. Московского купца Маркова. Князя Черкаского. Московского купца Шемякина. Московского купца Кирьякова. Прапорщицы Дурновой. Генерал-майора Рахманова. Майора Сабурова. Князя Касаткина. Поручика Титова. Надворной советницы Раевской. Подпоручика Хомякова. Графа Маркова. Регистратора Станкевича. Казенный главнокомандующих дом, главный корпус с одним флигелем. Подпоручицы Засецкой. Майора Челищева. Графа Кутайсова. Генерал-майора Познякова. Княгини Шаховской. Коллежской советницы Небольсиной. Дьякона Семенова. Священника Петра Афонасьева. Коллежского асессора Яковлева. Князя Шаховского. Действительной статской советницы Алсуфьевой. Коллежской асессорши Щербачевой. Статского советника Назарова. Господина генерала Прозоровского. Коллежского асессора князя Вамбульского. Поручицы Сабуровой. Купца Пирогова. Статс-дамы графини Салтыковой. Священника. Дьякона Васильева. Дьячка Николая Сергеева. Графини Строгоновой. Господина Петрова-Соловова. Генерала Щербачева. Училищный.

Малолетних господ Орловых. Купца Усачева. Купца Андреяна Иванова. Князя Лобанова-Ростовского. Генерал-лейтенанта Лунина. Княжен девиц Сибирских. Тайного советника Мусина-Пушкина. Московских купцов Якобиев. Генерал-майора Пашкова. Девиц Левашевых. Князя Хованского. Казанского собора священника. Полковницы Ланской. Княгини Голицыной. Графини Протасовой. Генерал-майора Тутолмина. Казенный колымажный двор. Вечно цехового Зимулина. Княжны Голицыной. Генерал-поручика Фаминцына. Господина Шатилова. Надворного советника Оболенского. Именитой гражданки Суховщиковой народные бани и два флигеля. Господина Пашкова. Надворного советника Семенова. Коллежского советника Бражникова. Действительного статского советника Глебова. Полковницы Бекетовой. Пономаря церкви Антипия Чудотворца. Оной же церкви просвирни.

ПРЕЧИСТЕНСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Иоанна Предтечи, что в Староконюшенной. Николая Чудотворца, что в Плотниках. Священномученика Власия. Сошествия Святого Духа. Покрова Пресвятой Богородицы в Левшине. Живоначальной Троицы в Зубове. Зачатьевский девичий монастырь, в коем кельи сгорели.

Обывательские дома, у коих только флигели сгорели

Купца Милюкова. Обер-провиантмейстера Аблязова. Генерал-лейтенанта графа Кексона. Майора Львова. Генерал-майора Тучкова. Капитана Исакова. Генерала князя Сибирского. Полковника Черевина. Господина Ушакова, весь цел. При церкви Покрова Пресвятой Богородицы три лавки мелочные.

АРБАТСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Рождества Богородицы, что в Кудрине. Иоанна Предтечи, что в Кречетниках. Спаса Преображения Господня, что на Песках. Бориса и Глеба, что на Поварской. Рождества Христова, что в Палашах. Иоанна Богослова, что в Бронной. Благовещения Пресвятой Богородицы. Священномученика Ермолая.

Казенные дома

Питейный дом, именуемый Новинский. Народное училище.

Обывательские дома

Действительного камергера Долгорукова. Московской купеческой жены Елены Кирьяновой-Ветровой. Девицы Каменской. Капитанши Назарьевой. Коллежского асессора Тверитинова. Бани деревянные купца Зарубина. Генерал-майорши вдовы Ляпуновой. Отставного подпоручика Алексея Иванова. Титулярного советника Челищева. Отставного подканцеляриста Пучкова. Отставного капрала Дьяконова. Коллежской секретарши Селезневой. Канцелярской жены Корбовской. Московского купца Фирсова. Титулярного советника Кулажникова. Генерал-аншефши вдовы Мусиной-Пушкиной главный корпус сгорел, а прочее цело. Московской купеческой жены Барадулиной. Московско-

го купца Еремеева. Московского мещанина Канатчикова. Московского купца Воробьева. Московского мещанина Векшина. Диакона церкви мученика Ермолая Егорова. С.-Петербургского купца Усачева. Канцеляриста Скороговорова. Генерал-майорши Кожиной. Фрейлины Дмитриевой-Мамоновой. Княгини Голицыной. Графа Разумовского. Московского купца Ладыгина. Графа Дмитриева-Мамонова. Московского купца Ерофеева. Обер-провиантмейстера Вельяминова-Зернова. Действительной тайной советницы Цициановой. Коллежского регистратора Коноплина. Бригадира Свиньина. Девицы Сытиной. Ее же Сытиной. Московской мещанки Серебряковой. Смотрительской жены Бугровской. Генерал-майора Поливанова. Аптекаря Рошке. Студента Фомина. Московского купца Чернышева. Надворного советника Сафонова. Церковнослужителей церкви Рождества Христова. Священника Николая Федорова. Диакона Федора Васильева. Пономаря Николая Дмитриева. Дьячка Ивана Иванова. Генерал-майора Петровского. Московского купца Козина. Князя Петра Волконского. Капитана Шереметьева. Московского купца Брюшкова. Мещанки Смирновой. Мещанки Наугольниковой. Канцеляриста Герасимова. Надворного советника Никифорова. Иностранца Нейбезера. Московского купца Гречухина. Коменданта Гессе. Московского купца Чернова. Московской мещанки Петровой. Регистратора Патрикеева. Гвардии прапорщика Зиновьева. Капитанши Салмыгиной. Цехового Бажанова. Господина Всеволодского. Князя Голицына. Мещанина Мушкина. Сенатора Алябьева. Московского купца Фирсова. Майора Зелова. Госпожи Бибиковой. Секретаря Васильева. Генерал-майора и кавалера Яковлева. Священнослужителей церкви мученика Ермолая. Священника Ивана Иванова. Пономаря. Дьячка. Просвирни. Графа Орлова. Церковнослужителей церкви Благовещения. Священника. Дьячка. Пономаря. Дьякона. Просвирни. Княжны Мещерской. Капитана Уварова. Мещанина Щеколдина. Мещанки Бегичевой. Девицы Сафоновой. Три кузницы купца Фалеева.

ХАМОВНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Неопалимой Купины. Благовещения Божией Матери, что на Бережках. Воздвижения Честного Креста, что на Вражке. Саввы Освященного. Знамения Божией Матери, что в Зубове. Николая Чудотворца, что в Хамовниках. Новодевичий монастырь. Тихвинской Божией Матери.

Подворья

Чудова монастыря. Новодевичьего монастыря. Вознесенского монастыря.

Казенные дома

Хамовнические казармы. Казенные бани, что на Вражке. Приходская богадельня церкви Николая Чудотворца, что в Хамовниках.

Обывательские дома

Генерала от инфантерии и кавалера Архарова. Полковника Щербачева. Московского купца Шишкина. Майорши Насокиной. Московского мещанина

Логинова. Титулярного советника Швецова. Коллежской советницы Васильевой. Его сиятельства графа Каменского. Надворного советника Римского-Корсакова. Коллежского асессора Балка. Надворного советника Хитрово. Майорши княгини Мещерской. Титулярного советника Пановского. Коллежской асессорши Новиковой. Коллежского секретаря Милюкова. Коллежского регистратора Каликова. Губернского секретаря Норбекова. Благовещенского дьячка Богословского. Благовещенского священника Симеона Степанова. 7-го класса комиссионера Хожнева. Коллежского секретаря Соловьева. Благовещенского дьячка Василия Степанова. Благовещенской просвирни Матрены Андреевой. Оружейной палаты мастеровой Ермолаевой. Коллежского регистратора Божедомского. Полковника Одинцова. Титулярного советника Порошина. Полковничей дочери Другонтовой. Титулярной советницы Соколовой. Бригадирши Мансуровой. Унтер-офицера Саврыгина. Титулярного советника Кузмина. Вечно цехового Сарапова. Московского мещанина Андрея Герасимова. Московского купца Шемшурина. Московского мещанина Орехова. Коллежской регистраторши Кедриной. Губернского секретаря Титова. Коллежского асессора Пояркова. Губернского секретаря Цветкова. 13-го класса комиссионера жены Хайловой. Господина Тимирязева. Секретаря Рудина. Секретарши Дворяшевой. Цеховой Залоторевой. Солдатской жены Елизаветы Андреевой. Мещанки Сомовой. Вечно цехового Леонова. Мещанина Силаева. Мещанина Пуговкина. Мещанина Васильева. Мещанки Авдеевой. Копейской жены Авдотьи Семеновой. Канцеляристской жены Луговской. Сенатского регистратора Орлова. Генерал-поручицы Рожевской. Гвардии прапорщика Хожнева. Титулярного советника Васильева. Унтер-офицерской жены Евстифеевой. Унтер-офицера Юркина. Мещанки Шумовой. Канцеляристской жены Ворониной. Секретаря Суходолова. Московского купца Мызина. Канцеляриста Луговского. Мещанина Овечкина. Флота лейтенанта Бешенцова. Статской советницы Долгоруковой. Графини Мусиной-Пушкиной. Московского купца Грачева. Тайного советника Грушецкого. Московского купца Грачева. Московских купцов Ушаковых. Купеческой жены Медведевой. Генерала от кавалерии Апраксина. Савинского священника Семенова. Пономаря Алексея Ильина. Дьячка Василия Васильева. Московского купца Милюкова. Полковника Щербатова. Девицы Нарышкиной. Надворного советника Савелова. Майорши Барзовой. Коллежской асессорши Рузиной. Мещанки Новиковой. Графа Шереметьева. Генерала от инфантерии и кавалера Архарова. Губернской секретарши Гладской. Надворной советницы Иларионовой. Губернской секретарши Долгополовой. Гвардии корнетши Безобразовой. Губернской секретарши Калашниковой. Мещанских детей Ломтевых. Губернского секретаря Андреевского. Губернского секретаря Пояркова. Коллежской асессорши Змиевой. Статской советницы Челищевой. Московского купца Карелина. Губернской секретарши Долгополовой. Вечно цеховой Лебедевой. Оружейной Палаты мастерового Емельянова. Секретарши Сахаровой. Титулярного советника Владиславлева. Московского купца Лебедева. Регистраторши Казачинской. Майорской дочери Франковской. Генерал-лейтенан-

та действительного камергера Всеволодского. Московской купеческой жены Фроловой. Статской советницы Юшковой. Майора Ахлеблева. Диакона церкви Николая Чудотворца, что в Хамовниках. Священника Доброхотова. Дьячка Никитина. Просвирни Яковлевой. Пономаря Александра Николаева. Поручика Белого. Купеческой жены Зуевой. Московского мещанина Игнатия Федорова. Московского купца Путоргина. Московского купца Бабкова. Боровского купца Познякова. Гвардии прапорщицы Изъединовой. Действительного камергера Маслова. Коллежского советника Грязнова. Надворной советницы Барковой. Действительной камергерши княгини Долгоруковой. Генерал-майора и кавалера Разумовского. Московского купца Живова. Надворной советницы Григорьевой. Надворного советника Григорьева. Мещанки Бубновой. Московского мещанина Фролова лавка. Московского купца Кузовкина. Соборной дьячихи Посниковой. Коллежской регистраторши Ситниковой. Губернского секретаря Сикалова. Титулярного советника Шлыкова. Московского купца Васильева. Титулярного советника Соковнина. Регистратора Мокроусова. Девицы Черевиной. Московской купчихи Клепиковой. Московского купца Пуговошникова. Умершего мещанина Фролова. Московской мещанки Яблошниковой. Московской купчихи Серебряковой. Московского купца Куманина. Титулярного советника и кавалера Хотьянова. Московского купца Живова. Провиантмейстера Сафонова. Действительного статского советника Лопухина. Бригадира Несвицкого. Иностранца Опица. Секретарши Алексеевой. Артиллерии капитана Волынкина. Секретаря Рогова. Графа Орлова. Графа Салтыкова. Госпожи Татищевой. Князя Трубецкого. Генерала Апраксина. Штабс-капитана Ешевского. Московского купца Пирожникова. Солдатки Семеновой. Госпожи Татищевой. Княгини Прозоровской. С.-Петербургского купца Усачева. Господина Бекетова. Его же Бекетова. Дьячка Девичьего монастыря. Дьякона Дмитрия Алексеева. Губернского секретаря Чернявского. Священника Алексея Сергеева. Фабричного Алексея Никитина. Титулярного советника Яковлева. Дьячка Ивана Алексеева. Купца Петрова. Фабричного Федора Иванова. Штаб-ротмистра Брока. Графа Салтыкова. Московского купца Осетрова. Господина Савелова. Иностранца Шрейдера. Прапорщика Беляева. Графа Шереметьева дворового человека Волкова. Генерала Маркловского. Графини Мусиной-Пушкиной. Московского купца Франца Куртинера. Коллежского регистратора Куняева. Московского купца Заикина. Московского купца Лопирева. Московской купчихи Белоусовой. Сенатского регистратора Рамантова. Священника Андрея Григорьева. Слобода графа Шереметьева. Московского купца Кирьякова. Придворного актера Плавильщикова. Иностранца Шульца Московского купца Маркова.

НОВИНСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Девяти мучеников. Смоленской Божией Матери. Тихвинской Божией Матери. Богоявления Господня. Кладбищенская Софийской Божией Матери.

Дома

Московского купца Пынова. Отставного фейерверкера Колесова. Священника церкви Введения Пресвятой Богородицы. Оной же церкви пономаря. Новинского фурманного двора большой корпус. Канцеляристской жены Рогозиной. Губернского регистратора Быкова. Московской мещанки Апариной. Фигурного мастера Козявкина. Московского мещанина Данилы Васильева. Московского мещанина Ивана Андреева. Коллежского регистратора Долгова. Канцеляриста Карнеева. Московского мещанина Сергеева. Канцеляриста Ивана Николаева. Солдатской жены Сесвятской. Коллежского секретаря Горчакова. Коллежского советника Аронова. Губернского секретаря Соколова. Девицы Виноградовой. Вечно цеховой Кичигиной. Девицы Крыловой. Титулярной советницы Васильевой. Вечно цехового Григорьева. Губернского секретаря Соколова. Губернской секретарши Скворцовой. Купеческой жены Андреевой. Унтер-офицера Агапеева. Московского мещанина Степанова. Казенный вице-губернаторский дом. Капитана Лассенгнефнера. Московского купца Павла Севрюгина. Московского купца Василия Григорьева. Московского купца Шишкина. Вечно цехового Иванова. Канцеляриста Беляева. Коллежского регистратора Рудакова. Московского мещанина Федотова. Умершей вдовы Шуруповой. Подпоручицы Синявиной. Сержанта Бакшиева. Вечно цехового Кичигина. Московской мещанки Масловой. Московского купца Кона. Купеческой жены Шишовой. Титулярного советника Ушакова. Генеральши Алсуфьевой. Коллежского секретаря Нечаева. Московского мещанина Чернявского. Губернского секретаря Балашова. Московского мещанина Кондратьева. Священника Смоленской церкви. Диакона Василия Матвеева. Пономаря Ивана Александрова. Просвирни Авдотьи Ивановой. Пономаря церкви Благовещения. Дорогомиловские бани. Майора Плахова. Князя Волконского крестьянина. Купца Абумова. Купца Мыльникова. Мещанки Агафьи Афанасьевой. Мещанки Сердиткиной. Мещанина Бочарова. Госпожи Титовой крестьянина. Мещанина Горшечникова. Мещанки Бочаровой. Мещанина Замулеева. Графа Орлова крестьянина. Купца Полякова. Мещанина Федора Петрова. Мещанина Коренева. Купца Лукичева. Мещанина Лукьянова. Мещанки Поляковой. Купца Миняева. Мещанина Замотаева. Купца Ивана Ильина. Цехового Завьялова. Купца Чеканова. Купца Мухина. Купца Василия Антонова. Купца Ильи Петрова. Мещанина Федора Дмитриева. Купца Рыженкова. Купца Маргорина. Купца Ускова. Купца Мурашёва. Купца Рыженкова. Купчихи Стыровой. Купца Ускова. Его же Ускова. Графа Шереметьева крестьянина. Купца Дмитрия Лепешкина. Мещанина Огурцова. Мещанина Мукосеева. Мещанки Марьи Федоровой. Мещанина Соцкова. Капелмейстера Сакулина. Суконного двора рабочего Чебунина. Купчихи Ануфриевой. Купца Забродина. Купца Ивана Ларионова. Мещанина Коренева. Коллежского регистратора Кремышенского. Мещанки Аксиньи Савельевой. Купца Мезина. Мещанской дочери Дарьи Федоровой. Губернского секретаря Зверева. Мещанина Василия Яковлева. Купца Рябцова. Ямщика Петра Устинова. Ямщи-

ка Андрея Вазюзина. Ямщика Сергея Гагулина. Ямщика Тимофея Ракитина. Ямщика Василия Хухрикова. Питейный дом ямщика Хухрикова. Церкви Тихвинской Божией Матери. Священника Яковлева. Дьякона Розонова. Пономаря Семена Никитина. Дьячка Василия Прокофьева. Просвирни Пелагеи Яковлевой. Церкви Благовещения. Священника Дмитрия Михайлова. Диакона Петра Алексеева. Дьячка Ивана Васильева. Пономаря Ивана Якимова. Просвирни Авдотьи Григорьевой.

За Камер-Коллежским валом

Священника Дмитрия Иванова. Дьячка Ефима Миронова. Пономаря Гаврилы Петрова. Просвирни Агафьи Ивановой. Майорши Харитоновой.

Сальные заводы

Купца Забродина. Купца Бродникова. Купца Кукина. Крестьянина Тюкина.

ПРЕСНЕНСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине. Пресненских прудов сторожка.

Дома

Гвардии поручика Рославлева. 6-го класса комиссионера Беклемишева. Действительного статского советника Толстого. Гвардии капитана Бутурлина. Девицы Марковой. Бригадира Какшина. Действительного статского советника Боборыкина. Девицы Шуваловой. Полковника Неболсина. Гвардии прапорщицы Плоховой. Титулярной советницы Соколовой. Тульского оружейного мастера Лотова. Полковника Кологривова. Титулярного советника Богданова. Девиц Кологривовых. Титулярной советницы Аславинской. Московского мещанина Якова Дмитриева. Московского купца Буренки. Обер-провиантмейстера Походяшева. Московского купца Ивана Степанова. Московского купца Голеничикова. Московского купца Крашенинникова. Московского купца Городилина. Московского купца Емельяна Якимова. Московского купца Никифора Степанова. Московского купца Голяничекова. Церковь Василия Неокесарийского.

Дома

Дом церковный. Московского купца Церкова. Московских купцов Федорова и Бродина. Купца Галямы. Купеческой жены Ереминой. Ямщиков Тропининых. Ямщика Карманова. Московского купца Заплатина. Ямщика Гладкова. Купца Михайлы Михайлова. Ямщика Гладкова. Купеческой жены Фецкиной. Купца Николая Ильина. Московского купца Елина. Ямщика Гладкова. Ямщика Тулупова. Ямщика Гладкова. Ямщика Маслова. Ямщика Карманова. Ямщика Макара Гладкова. Ямщика Каронина. Ямщика Чичерова. Ямщицкой жены Солдатской. Ямщика Сметанникова. Ямщика Маслова. Ямщика Гладкова. Ямщика Сахарцова. Ямщика Соколова. Ямщичихи Жильцовой. Московского купца Смыслова. Купеческой дочери Семеновой. Купца Долбилина. Купца

Шепелюгина. Купца Бровкина. Цехового Именинникова. Московского купца Рыбина. Г. Нарышкина дворового человека Туляка. Г. Грушецкого дворового человека. Московского купца Булатова. Московского купца Зызина. Мучной ряд, в коем 3 корпуса. При Тверском въезде 2 кордегардии. Армянская кирка. Церковь Георгия, что в Грузинах.

Дома

Ямщика Гладкова. Купца Медовщикова Большого. Купца Медовщикова Меньшого. Николая Щеметова. Ямщика Мезина. Ямщика Гладкова. Дворового человека Леонтьева. Ямщика Малявкина. Мещанина Василия Иванова. Прапорщицы Сафроновой. Мещанской дочери Корнеевой. Клинского мещанина Истомова. Ямщика Коскина. Его же Коскина. Мещанки Тухущихи. Мещанки Веренцовой. Ямщичихи Коскиной. Мещанина Митрофана Андреева. Ямщика Сечкина. Церкви Василия Неокесарийского. Священника. Диакона. Дьячка. Пономаря. Просвирни. Мещанина Игнатьева. Казенный питейный дом. Грузинки Макмуфовой. Купца Маркова. Московской мещанки Морозовой. Титулярной советницы Толченовой. Грузинки Заурашиловой. Коллежского асессора Парьеманова. Капитанши Миротворцовой. Губернского регистратора Желвакова. Губернского секретаря Марина. Действительного статского советника Цицианова. Его же Цицианова. Коллежского асессора Багратиона. Московского купца Менцова. Грузинской дочери Ушаковой. Армянской дочери Златоустовой. Господина Кванчехадзева. Его же. Титулярного советника Бемского. Прапорщика Турчанинова. Коллежской асессорши Мальгиной. Майорши Бояриновой. Грузинки Гошлевой. Турецкой нации Зумбулова. Подпоручицы Чириковой. Казенный дом Пресненских прудов. Купца Никифора Никифорова. Диакона Гаврилы Ильина. Священника Никиты Петрова. Дьячка Василия Афанасьева. Василия Дорофеева. Просвирни Прасковьи Ивановой. Коллежского советника Ушакова. Канцеляриста Катомова. Цехового мастера Затамова. Капитана поручика Касаткина Ростовского. Купца Коноплева. Сенатского регистратора Чубенского. Мещанина Бубнова. Губернской секретарши Захаровой. Губернского секретаря Егорова. Грузина Марьемулова. Губернского секретаря Неронова. Цехового мастера Соловьева. Прапорщика Кананадзева. Грузинки Ериловой. Московской мещанки Дуковой. Сержантской жены Смирновой. Титулярного советника Тулаева. Грузинки Цытлязевой. Грузинского князя Кахаберидзева. Московского мещанина Безсонова. Титулярной советницы Бибимировой. Сенатского регистратора Спиридонова. Капитана Янышева. Губернского секретаря Маршова. Московского мещанина Кафтарадзева. Княгини Шехедзевой. Гвардии капитана Смирнова. Губернского секретаря Канадзева. Московского купца Золотарева. Полковницы Короваевой. Коллежского секретаря Ильинского. Титулярного советника Протопопова. Московского мещанина Волкова. Крестьянина Ивана Федосеева. Студента Богородского. Армянского купца Гайсова. Корнета Баркова. Костоправши Ежиговой. Московской мещанки Тарбеевой. Секретаря Лаврова. Аптекаря

Зейферта. Мещанина Некрасова. Губернского секретаря Обитаева. Московской мещанки Похмелькиной. Мещанина Павлеева.

Церкви

Иоанна Предтечи, что за Пресней. Николая Чудотворца, что на Ваганькове. Домовая в доме грузинского царевича.

Кладбищенских

Ваганьковское. Армянская кирка.

Дома

Сенатского сторожа Круглова. Московского купца Гусева. Князя Грузинского служителя Абрама Иванова. Князя Голицына служителя Архипова. Московского мещанина Садовникова. Цеховой Матрены Козловой. Полковника князя Одоевского. Бригадира князя Трубецкого. Статского советника князя Грузинского. Надворной советницы Пеичевой. Коллежского асессора Высоцкого. Коллежского асессора Орлова. Княжны Таликовой. Надворной советницы Золотухиной. Коллежской секретарши Слободской. Канцеляристской жены Хохолкиной. Коллежского секретаря Рыбникова. Генерал-майора князя Урусова. Порутчичей дочери Канчехадзевой. Грузинского дворянина Пирана Огнева. Грузинского царевича Баграта Георгиевича. Поручика князя Пхсидзева. Полковницы Ворониной. Московского купца Рыбиченкова. Коллежской регистраторши Чоботовой. Купца Зайцова. Малолетних детей Личиновых. Действительной статской советницы Волковой. Вдовы мещанки Тихоновой. Полковницы Воейковой. Коллежского асессора Новосильцова. Коллежской асессорши Ольги Михайловой. Купеческой жены Горшковой. Сей части съезжий дом. Московской мещанки Касаткиной. Девицы Юматовой. Московского купца Абреберанова. Московской мещанки Елагиной. Московского купца Мазурина. Прапорщика Неронова. Титулярной советницы Гунзальдовой. Подпоручицы Докторовой. Статского советника Евреинова. Губернского секретаря Титова. Коллежской асессорши Дицевой. Прапорщика Мамонова. Княгини Несвицкой. Графа Толстого. Майорской дочери Верещагиной. Грека Вахлеева. Пономаря церкви Николая Чудотворца. Диакона Николая Никифорова. Священника Семена Семенова. Дьячка Григория Васильева. Просвирни Авдотьи Леонтьевой. Коллежского советника Кашкеда. Московского купца Козина. Солдатской жены Андреевой. Князя Гагарина. Московского купца Рязанова. Его же Рязанова. Купчихи Фецкиной. Купеческой дочери Меншовой. Цехового Ивана Андреева. Княгини Оболенской. Девицы Безсоновой. Купчихи Цейндлер. Соборного сторожа Петра Иванова. Полковницы Березниковой. Бригадирской дочери Лихаревой. Подполковника Воронина. Дворян Свечиных. Регистратора Вальмерсона. Цехового Павла Андреева. Регистраторши Благовещенской. Грузинки Немцадзевой. Купца Марковкина. Канцеляристской жены Пелагеи Алексеевой. Мещанина Ивашкина. Майора Карташева. Девицы Безсоновой. Графа Шереметьева. Статской советницы Волынской. Купца Смирнова. Купца Пынина. 14-го класса Хвостова. При Пресненском въезде две кордегардии да сверх оных домов состоят без номеров за въездами.

Тверским

Князя Барятинского. Иностранки Шутлефорт. Князя Волконского.

За Пресненским на Черногрязке

Действительного статского советника Акинфиева. Титулярной советницы Козловой. Коллежского регистратора Харитонова. Цехового Андреева. Купчихи Малошиной. Цеховых Гашиных. Мещанки Марьи Федоровой. Мещанина Арбенова.

МЯСНИЦКОЙ ЧАСТИ

Обер-провиантмейстерши Глебовой. Нарвского купца Гизетти. Императорский Воспитательный дом. Купца Лаврентьева. Английского купца Декенсона. Английского купца Шутлеворта. Князя Шаховского. Церкви Николая Чудотворца священника Львова. Оной же церкви просвирни Петровой. Церковная палатка. Подворье Николо-Угрешского монастыря. Графини Разумовской. Цехового Толкачева. Купца Гусятникова. Коммерции советника Кусова. Купца Лахтина. Полковницы баронессы Коленберховой. Купца Лузакова. Купца Усачева. Купца Гайдукова. Покойного действительного тайного советника Долгорукова. Купца Попова. Купца Сценкова. Купеческой жены Колосовой. Гвардии капитана Похвиснева. Флота капитана Колтавского. Коллежской асессорши Веревкиной. Купца Клаповского. Надворного советника Нейгарда. Троицкого, что на Грязях священника Дорофеева. Государственный иностранный архив. Частное народное училище. Церкви Троицы, что на Грязях пономаря Ильина. Оной же церкви диакона Васильева. Дьячка Иванова. Мещанина Елагина. Купеческой жены Щербаковой. Купца Батманова. Мещанина Лаврова. Аптекаря Шилдкнехта. Бригадира Дурасова. Подполковника Пашкова. Купца Авчинникова. Генерал-лейтенанта Дурасова. Поручика Фаминцына. Купца Миллера. Надворного советника Матвеева. Купца Кнауфа. Ревельского купца Швертнера. Прапорщика Фаминцына. Купца Фонбрина. Действительного статского советника Татищева. Московский Комитет. Купца Мушникова. Майора Головина. Успенского дьякона Ильина. Священника Ильина. Дьячка Ильина. Оной же церкви две палатки. Купца Почепина. Козмодемьянского священника. Секретаря Никитина. Статского советника Татищева. Купеческой жены Нахаловой. Тайного советника сенатора Левашова. Майора Тютчева. Дворянина Лаздева. Купца Мертена. Купца Герца. Англичанина Пекерзгеля. Купца Подкатова. Купца Кательникова. Архитектора Малютина. Графини Сантиевой. Купца Волкова. Умершего дворянина Лазарева. Столповского дьячка Егорова. Вдовы священнической жены Васильевой. Дом Златоустова монастыря. Купца Аракелова. Купеческой жены Фроловой. Столповского пономаря Васильева. Оной же церкви священника Алексеева. Графа Румянцева. Купца Капустина. Армянки Поливановой. Умершей баронессы Колемберховой. Купца Бубуки. Действительного статского советника Казакова. Купца Кожевникова. Вятское подворье. Тульское подворье. Прапорщика Веневитинова. Купчихи Соколовой. Евпловского диакона Алексеева. Пономаря Петрова. Священника Александрова. Действительного тайного советника сенатора Кольцова-Масальского. Ге-

нерал-лейтенанта Хомутова. Московский ассигнационный банк. Иностранки Роберти. Князя Есупова Черкасского. Архангельского диакона Петрова. Просвирни Ивановой. Пономаря Ильина. Дьячка Алексеева. Священника Петрова. Действительного статского советника Рихтера. Московский императорский почтамт. Флоровского дьячка Александрова. Пономаря Никифорова. Диакона Петрова. Священника Егорова. Купца Лопырева. Купца Шевелкина. Казенный старый почтамт. Надворной советницы Краснопольской. Девиц Петрово-Салововых. Купца Ковыляева. Купца Герасимова. Тайного советника Юшкова. Генерал-лейтенанта Измайлова. Генерал-фельдмаршала графа Салтыкова. Евпловского дьячка Иванова. Мещанина Васильева. Генеральши Глебовой. Коллежского асессора Милютина. Купцов Чороковых. Коллежского асессора Милютина. Ротмистрши Савеловой. Французской католической церкви. Переводчика Карестурия. Прапорщицы Голаковой. Девицы Лабковой. Предтечинского священника Васильева. Камер-юнкера Салтыкова. Иностранца Юрша. Иностранца Депедри. Предтечинского дьякона Васильева. Дьячка Матвеева. Просвирни Григорьевой. Пономаря Степанова. Покойного артиллерии капитана князя Дадьяна. Казенные Никольские казармы. Гребенской Божией Матери палатка. Оной же церкви пономаря Петрова. Священника Петрова. Дьячка Михайлова. Генеральши Дашковой. Действительного тайного советника князя Тюрякина. Тайного советника сенатора Нелединского-Мелецкого. Его же г-на Нелединского-Мелецкого. Купца Синицына. Купца Зайцева. Великомученика Георгия церковная палатка. Оной церкви дьякона Иванова. Подворье Николаевского Перервинского монастыря. Великомученика Георгия Священника Григорьева. Купца Пенеженикова. Секретаря Флиорова. Казанского собора дьякона Иванова. Мещанки Улановой. Грека Мелла. Действительного тайного советника князя Куракина. Казенный питейный дом. Кригс-цалмейстера Масалова. Введенского дьякона Николаева. Оной же церкви дьячка Иванова. Пономаря Васильева. Просвирни Матвеевой. Священника Платонова. Прапорщика Ляпунова. Коллежской асессорши Бородиной. Графа Растопчина. Подворье Макарьевского Желтоводского монастыря. Полковника Петрово-Солово. Грека Каралванова. Покойной полковницы Толстой. Купеческой жены Поций. Капитана Ртищева. Девицы Полуектовой. Купцов Калабашкиных. Мещанина Тютина. Мещанки Ефимовой. Госпожи Карамышевой. Действительного тайного советника Голохвастова. Подполковника фон Визина. Купца Рыткина. Купца Федорова. Бригадира князя Голицына. Грека Почетади. Коллежского советника Яниша. Купца Капустина. Иностранца Кинца. Английского купца Рованда. Статского советника Тельца. Купца Лухманова. Тайной советницы графини Головкиной. Арсонофьевского священника Маркова. Оной же церкви пономаря Васильева. Дьячка Васильева. Дьякона Гаврилова. Купца Трыкина. Статского советника князя Оболенского. Коллежского асессора Захарова. Купца Богатырева. Купеческой жены Кобелевой. Майора Михайлова. Губернского секретаря Скороспелова. Мещанина Орлова. Мещанина Меньшова. Иностранца Жали. Рождественского монастыря сторожа Елизарова.

Солдатки Шумиловой (или Шутиловой). Коллежского асессора Наумова. Канцеляриста Пупырникова. Бригадирши Евлашевой. Коллежского асессора Григорьева. Рождественского монастыря священника Васильева. Купца Андреева. Рождественского монастыря пономаря Сергеева. Оного же монастыря дьячка Афанасьева. Священника Николаева. Дьякона Григорьева. Тередорщиковой[1] дочери Кузиной. Прапорщика Шоха. Коллежского секретаря Петрова. Графини Орловой. Купца Иванова. Сторожа Федорова. Солдатки Одинцовой. Мещанина Шапошникова. Купца Осинина. Купца Трифонова. Майора Плещеева. Сторожа Иванова. Канцеляристской жены Бурминой. Доктора Щеголева. Купца Колобашкина. Звонарского священника Алексеева. Дьячка Устинова. Фейерверкера Жукова. Вдовы Смирновой. Купеческой жены Мясниковой. Солдатской жены Санаевой. Купца Кувакина. Сторожа Иванова. Вечно цехового Нечаева. Сторожа Богданова. Титулярной советницы Шаблиной. Звонарского дьякона Петрова. Звонарского пономаря Егорова. Купца Крупицкого. Мещанина Антонова. Актера Сандунова. Иностранки Мелвле. Генерал-майора Черткова. Капитана Вердеревского. Купца Коновалова. Купца Попова. Титулярного советника Плетенева. Купца Медведева. Капитанши Сасновской. Княжны Долгоруковой. Полковника. Майора Сабакина. Князя Голицына. Софийского священника Абрамова. Губернского секретаря Смирнова. Софийского дьячка Васильева. Пономаря Родионова. Девицы Аболдуевой. Иностранки Бекерши. Купца Гутта. Генерал-майора Бланк-Нагеля.

Казенные дома

Медико-хирургической академии. Артиллерийское депо.

Церкви

Рождества Богородицы на Стрелке. Троицы, что на Хохловке. Трех Святителей, что на Кулашках. Спаса Преображения на Глинищах. Николая Чудотворца на Покровке. Положения Честных Вериг Св. Апостола Петра. Троицы, что на Грязях. Успения Божией Матери на Покровке. Николая Чудотворца в Столпах. Архангела Гавриила, что Меншикова Башня. Фрола и Лавра. Мученика архидиакона Евпла. Иоанна Предтечи, что на Лубянке. Гребенской Божией Матери. Великомученика Георгия Победоносца. Софии Премудрой. Введение Божией Матери. Вознесения Господня, что был Аразнофьевский монастырь. Николая Чудотворца в Звонарях.

Монастыри

Сретенский. Златоустов (оба мужские). Рождественский. Ивановский (оба женские).

СРЕТЕНСКОЙ ЧАСТИ

Страстной монастырь. Госпожи Корсаковой. Купца Беляева. Господина Рахманова. Госпожи Пушкиной. Господина Ермолова. Господина Токарева. Церковь

[1] Тередорщик (от *итал.* tiratore – печатник), один из рабочих, обслуживавших ручной печатный станок.

Пимена Старого в Воротниках. Оной же церкви просвирни Ивановой. Князя Барятинского. Господина Васильчикова. Купцов Милютиных. Сенатора Валуева. Церковь Николы, что в Грачах. Мещанина Ковалева. Иностранца Соломония. Бани на Трубной. Цехового Алексеева. Церковь Николая Чудотворца в Дербенском. Князя Лобанова-Ростовского. Статского советника Соколова. Купца Колосова.

Церкви

Рождества Божией Матери, что в Путинках. Успения Божией Матери на Малой Дмитровке. Знамения Богородицы у Петровских ворот. Спаса на Песках в Каретном ряду. Сергия в Пушкарях. Живоначальной Троицы на Листах. Николая Чудотворца на Мясницкой. Спаса Преображения на Стретенке. Панкратия Чудотворца в Дербенском. Госпожи Бибиковой. Генеральши Горчаковой. Господина Беляева. Генеральши Рахмановой. Господина Шеффера. Господина Новосильцова. Госпожи Токаревой. Мещанина Филинова. Дом госпожи Валуевой. Цехового Кудрявцова. Иностранки Соломонии. Казенная Сухаревская башня.

ЯУЗСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Трех Святителей, что у Красных ворот. Харитония Исповедника в Огородниках. Иоанна Предтечи в Казенной. Введения Пресвятой Богородицы в Барышах. Якова Апостола в Казенной. Грузинской Божией Матери. Бригадирских дочерей Протасовых. Купца Грачевского. Артиллерии майора Барышникова. Купца Гусятникова. Купца Трокина. Надворной советницы Строевой. Асессорши Есауловой. Госпожи Техменевой. Купца Грачевского. Асессорши Алексеевой. Купчихи Калининой. Статского советника Орлова. Коллежского асессора Иванова. Войскового товарища жены Якубовичевой. Надворного советника Нефимонова. Коллежского асессора Шереметьева. Генерал-майора Крыжановского. Надворного советника Кастиевского. Яузский частный дом. Княгини Мавро-Кордато. Купца Вавилова. Обер-провиантмейстера Акулова. Генерал-лейтенанта Ступишина. Иностранки Лип. Господ Козловых. Действительного тайного советника Заборовского. Князя Голицына. Купца Алексеева. Штабс-капитана Голохвостова. Иностранца Дешена. Мещанина Ефимова. Действительного тайного советника Голенищева-Кутузова. Надворной советницы Поповой. Купца Мешековского. Купца Степанова. Купца Ушакова. Мещанина Купреянова. Купеческой жены Гусевой. Купцов Аверкиевых. Господина Нарышкина. Купца Андронова. Купца Калчугина.

СУЩЕВСКОЙ ЧАСТИ

Церкви Николая Чудотворца священника Алексеева. Просвирни Михайловой. Пономаря Иванова. Дьячка Алексеева. Диакона Васильева Господина Салавова. Канцеляриста Харламова. Статской советницы Небольсиной. Мещанина Свиньина. Штаб-лекаря Инглера. Обер-берхмейстера[2] Вихляева. Веч-

---

[2] Старший горный инженер.

но цехового Григорьева. Церкви Василия Блаженного священника Никитина. Купца Щипанова. Коллежского советника Розанова. Бригадирши Воейковой. Полковника Волкова. Мещанина Бокова. Секретаря Денисова. Купчихи Захаровой. Купца Трифонова. Мещанки Сергеевой. Секретарши Кательниковой. Купца Татаринкова. Купца Первова. Купца Вишнякова. Купца Козлова. Купца Лисина. Коллежского асессора Чечелева-Салицкого. Купеческой жены Балашовой. Купца Сорокина. Купеческой жены Дмитриевой. Графини Литто. Секретаря Никитина. Мещанина Макарова. Университетского учителя Брылкина. Купца Панова. Купца Капустина. Купца Васильева. Купца Герасимова. Графа Румянцева. Купца Большагова. Купеческого сына Дмитриева. Купца Беляева. Купца Дмитриева. Купца Козлина. Купца Федорова. Купца Еремина. Полковника Алябьева. Ямщика Гладкова. Мещанина Замошникова. Купца Зызина. Купца Коробова. Мещанки Афанасьевой. Графа Ягузинского. Его же Ягузинского. Графа Румянцева. Купеческой жены Капустиной. Мещанина Дмитриева. Купца Грамоздина. Цеховой Железниковой. Графа Остермана. Коллежского советника Кожина. Титулярного советника Желардия. Купца Ильина. Мещанина Петрова. Вахмистрши Кондратьевой. Полковницы Вадковской. Гвардии прапорщика Лепунова. Тередорщика Бутурлова. Регистраторши Крапивиной. Купца Халщевникова. Графа Шереметьева. Бригадира Новосильцова. Секретарши Щеголевой. Мещанина Иванова. Мещанки Зандеровой. Коллежского асессора Гладкова. Купца Юдина. Купца Федотова. Княгини Долгоруковой. Тайного советника Нелидова. Купца Александрова. Ставропигиального Воскресенского монастыря подворье. Купца Иевлева. Мещанских детей Блиновых. Купца Суравцова. Купеческой жены Александровой. Мещанки Блиновой. Умершего мещанина Филипова. Купеческой жены Петровой. Надворного советника Груздева. Губернского секретаря Екимова. Умершей солдатки Емельяновой. Вечно цехового Стреликова. Иностранца Гетца. Коллежского асессора Приклонского. Купеческой жены Серебряковой. Словолитца[3] Воинова. Регистратора Шепелева. Канцеляриста Белявского. Доктора философии Сиревича. Тередорщика Алексеева. Купца Двукраева. Наборщика Острикова. Титулярной советницы Шурыгиной. Регистратора Зверева. Пименовской церкви пономаря Иванова. Дьячка Никитина. Просвирни Ивановой. Дьякона Сергеева. Священника Александрова. Регистратора Смирнова. Экономического крестьянина Сергеева. Комиссарского помощника Негунева. Соборного священника Суботинского. Успенского собора звонаря Иванова. Купца Шетрова. Купца Никитина. Мещанки Машенкиной. Купеческой жены Дмитриевой. Мещанки Самойловой. Купца Карчагина. Секретаря Семенова. Унтер-офицерской жены Сендровой. Мещанина Прасалова. Секретаря Протопопова. Княгини Кантемировой. Словолитца Чередеева. Мещанина Федорова. Умершего генерал-лейтенанта Киселева. Коллежской регистраторши Степановой. Мещанина Владимирова. Секретарши Лисафьиной. Иностран-

[3] Словолитец, словолитчик – мастер, отливающий буквы для набора.

ца Бартеля. Малолетних мещан Запениных. Мещанки Малышевой. Казанская богадельня. Купца Тюшина. Секретарши Малиновской. Секретарши Ястребцовой. Вечно цеховой Петенкиной. Канцеляриста Дмитриева. Подъямщиковой жены Левшой. Секретарши Егоровой. Купца Кунина. Казанского священника Яковлева. Просвирни Яковлевой. Дьячка Николаева. Бригадира князя Голицына. Купца Левонтьева. Графини Литто. Вечно цехового Подрезова. Тихвинского священника Иванова. Пономаря Суворова. Титулярного советника Бедарева. Мещанина Казаринова. Подпоручика Осинина. Майора Клеопина. Купца Башерова. Купца Егорова. Тихвинского дьякона Алексеева. Купца Глинского. Купца Холина. Купца Долгова. Мещанки Богуславской. Купеческой жены Щипановой. Мещанина Сивова. Генерала от инфантерии Булгакова. Купца Полекова. Мещанина Кочегарова. Купца Столярова. Коллежской асессорши Сурнашевой. Надворного советника Нечаева. Секретарши Поповой. Девицы Писаревой. Купчихи Доброхотовой. Коллежской асессорши Сакольской. Надворной советницы Валберховой. Штаб-лекаря Граве. Переплетчика Львова. Наборщика Рычкова. Солдата Петрова. Наборщика Колоколова. Губернского секретаря Резвова. Словолитца Петрова. Титулярного советника Соколова. Наборщика Ерышева. Мещанина Левонова. Солдатской дочери Андреевой. Унтер-офицерской жены Масловой. Словолитца Шмурлова. Унтер-офицерской жены Зотовой. Тередорщика Глушкова. Пономаря Маршова. Священника Петрова. Унтер-офицерской жены Атековой. Вечно цехового Федорова. Наборщика Муравцова. Переплетчика Класьвова. Мещанина Полякова. Солдатской жены Алексеевой. Наборщиковой жены Душаткиной. Коллежского секретаря Фирсова. Иностранца Августейна. Батырщика[4] Зиновьева. Наборщика Тетерина. Коллежского регистратора Фролова. Генерал-майора Ватковского. Наборщика Абакумова. Подпоручика Кондырева. Солдата Кузнецова. Батырщика Харашевского. Коллежского регистратора Галдинова. Фигурного мастера Могилева. Диакона Арефьева. Экономического крестьянина Семенова. Титулярного советника Сигунеева. Дворового человека Никитина. Вдовы Тучковой. Мещанки Ивушкиной. Батырщика Доброхотова. Князя Долгорукова. Солдатки Петровой. Солдата Тимофеева. Мещанина Степанова. Губернского секретаря Прохорова. Отставного ездового Каменского. Унтер-офицерской жены Голубевой. Купца Сидорова. Поручика Бегичева. Воспитанника Серебрякова. Иностранца Августейна. Тередорщика Тихомирова. Унтер-офицерской жены Фроловой. Майорши Бужбецкой. Сальный завод купца Шевалдышева. Надворного советника Горяинова. Капитана Пушкина. Солдата Орлова. Секретаря Попкова. Регистратора Андреева. Унтер-офицера Левонова. Наборщика Колоколова. Мещанина Матусова. Канцеляристской жены Мартыновой. Тередорщиковой жены Семеновой. Батырщика Гаврилова. Солдатки Петровой. Секретарши Даниловой. Тередорщика Жаркова. Капитана Богомолова. Солдата Горшкова. Купца Бачарни-

[4] От *фр.* batteur – бьющий, накатывающий в типографии краску на набор.

кова. Регистратора Михайлова. Тередорщика Сакалова. Подпоручицы Шаниной. Тередорщиковой жены Колоколовой. Регистратора Сакалова. Мещанина Холщевникова. Купеческой жены Ликень. Секретаря Соловьева. Титулярного советника Красновского. Секретарши Алексеевой. Тередорщика Чернышева. Батырщика Меньшина. Наборщиковой жены Ильиной. Тередорщика Сакалова. Канцеляриста Николаева. Регистратора Розова. Батырщика Клачкова. Батырщика Егорова. Наборщика Якимова. Батырщика Шурышкина. Солдата Папского. Цехового Петрова. Мещанина Митрофанова. Капитанши Бестужевой. Подканцеляриста Анофриева. Наборщика Рышкова. Солдата Федорова. Князя Барятинского суконная фабрика. Иностранца Шелбаха. Секретаря Гадеинова. Иностранца Вендегамира. Секретаря Борисова. Секретаря Ляпина. Наборщика Клачкова. Придворного конюха Каткова. Солдата Полякова. Иностранца Штурфа. Подъемщика Манаева. Тередорщика Глазова. Словолитца Колотовкина. Наборщика Лагунова. Иностранца Келлера. Солдатки Матвеевой. Словолитца Мухина. Наборщика Чемичева. Наборщиковой жены Паковой. Регистраторши Макаровой. Солдатки Куликовой. Мещанина Алексеева. Солдатки Палкиной. Наборщика Грогина. Мещанина Федорова. Солдатки Кандратьевой. Канцеляриста Васильева. Тередорщиковой жены Аплавиной. Цехового Емельянова. Наборщика Рубцова. Капитана Лагунина. Миюжское кладбище и при оном церковь. Губернский замок и при оном церковь. Миюжская застава. Сущевские казенные бани.

МЕЩАНСКОЙ ЧАСТИ

Церкви

Иоанна Воина, что на Убогом дому. Живоначальной Троицы, что в Троицком. Трифона Мученика, что в Напрудной. Филиппа Митрополита. Адриана и Натальи. Живоначальной Троицы, что на Капельках. Знамения Божией Матери. Спаса Преображения Господня, что в Спасской, хотя на оной церкви кровля и сгорела, но литургия отправляется.

Казенные строения

Александровское училище. Екатерининский институт. Больница для бедных. Почтамтский лазарет. Екатерининская больница. Странноприимный дом графа Шереметева. Ботанический сад. Княгини Волконской. Вечно цехового Тихонова. Коллежского советника Малиновского. Мещанки Корабельщиковой. Купеческой жены Мешеховцевой. Купца Красноглазова. Коллежского секретаря Волнова. Коллежского асессора Шеталова. Коллежского советника Челищева. Девицы Былинской. Питомца Английского. Титулярного советника Степанова. Купца Ширяева. Мещанки Волковой. Канцеляриста Полякова. Купца Вощанкина. Мещанина Полякова. Коллежского секретаря Ворохобина. Губернского секретаря Никитина. Купца Селезнева. Мещанина Коровина. Сержанта Петрова. Солдатки Бычковой. Коллежского секретаря Воронина. Титулярного советника Сорокина. Церкви Иоанна Воина дьякона Григорьева. Священника Дмитриева. Просвирни Ильиной.

Дьячка Иванова. Князя Одоевского. Титулярной советницы Беляевой. Коллежского советника Горюшкова. Коллежского секретаря Иванова. Генерал-майорши Евреиновой. Огородная сторожка графа Орлова. Солдатки Никифоровой. Переплетчика Соловьева. Секретаря Дьячкова. Мещанина Олонцова. Девицы Бахметевой. Купца Соковнина. Тередорщика Устикова. Секретаря Тихонова. Секретаря Богданова. Секретарши Черновой. Мещанки Михайловой. Секретарши Алексеевой. Купчихи Гончаровой. Купца Теплова. Майора Новосильцова. Графа Генрикова, опальный (?). Надворного советника Пальчикова. Тайного советника Терского. Действительной статской советницы Апрелевой. Артиллерии полковника Вельяшева. Графини Толстой. Графа Салтыкова. Огородная сторожка графа Орлова. Штабс-лекарши Рефемповой. Мещанина Кудрявцова. Купца Неворова. Генерал-майора Струговщикова. Мещанина Дмитриева. Купца Смирнова. Мещанина Пушнина. Экономического крестьянина Тарабрина. Переплетчика Степанова. Регистратора Ильина. Коллежского асессора Карачарова. Подпоручицы Змиевой. Купца Полосатова. Надворной советницы Тихомировой. Коллежской регистраторши Дементьевой. Солдатки Андреевой. Мещанина Перешивалова. Коллежской асессорши Голушкиной. Коллежской асессорши Елатичевой. Огородная сторожка графа Орлова. Секретаря Георпевского. Регистратора Сахарова. Просвирни Афанасьевой. Пономаря Иванова. Дьячка Никитина. Дьякона Федорова. Священника Алексеева. Священника Васильева. Священника Иванова. Дьякона Михайлова. Дьячка Яковлева. Пономаря Петрова. Просвирни Васильевой. Купца Прошникова. Купца Четверикова. Госпожи Замыцкой. Коллежского секретаря Балашова. Титулярной советницы Чепыкиной. Надворной советницы Раевской. Князя Долгорукова. Мещанина Бастрыгина. Магазин вахтера Светлова. Грузинского дворянина Корганова. Купца Зверева. Купца Козакова. Купца Осинина. Мещанки Быстровой. Купца Кузнецова. Купца Курятникова. Купеческой жены Игнатьевой. Купца Савельева. Подполковника Пашкова. Ямщика Лепехина. Ямщика Матвея Ушакова. Ямщика Андрея Ушакова. Ямщика Кочетова. Ямщичихи Зарягиной. Купца Хабарова. Ямщика Исаева. Ямщика Лабзина. Ямщика Шкиркина. Купца Савельева. Его же Савельева. Купца Ивана Абрамова. Купца Семена Абрамова. Купца Зверева. Крестьянина Иванова. Ямщичихи Зарягиной. Ямщичихи Желтовой. Ямщичихи Беловой. Ямщичихи Летиной. Ямщика Нефедьева. Ямщика Исаева. Ямщичихи Оробенниковой. Ямщика Батурина. Ямщика Летина. Ямщика Феодора Цыбина. Ямщика Спиридона Карпова. Ямщичихи Ивняговой. Солдатки Железовой. Ямщичихи Зарягиной. Мещанина Хрящева. Дворовой женки Григорьевой. Унтерофицера Колпакова. Ямщика Клементьева. Ямщичихи Роговой. Мещанина Крашенинникова. Мещанина Григорьева. Графини Толстой. Мещанина Загнухина. Дьякона Петрова. Солдата Матвеева. Пономаря Федорова. Дьячка Еремеева. Генерал-майора Дурасова. Священника Ильина. Просвирни Соколовой. Солдатки Обуховой. Мещанина Дедова. Мещанина Назарова. Ме-

щанина Белоснегова. Мещанина Николаева. Ямщика Удальцова. Ямщика Ягодникова. Ямщика Рыбина. Ямщика Слепышова. Канцеляристской жены Мухиной. Фабричного Петрова. Ямщика Шкаркина. Мещанки Прохоровой. Придворного лакея Архипова. Мещанина Кириллова. Мещанина Трофимова. Купчихи Шапошниковой. Купчихи Олонцовой. Полковника Кобылина. Ямщика Рогова. Ямщика Шкиркина. Ямщика Ушакова. Ямщика Рогова. Цехового Леонтьева. Унтер-офицера Попова. Статской советницы Гурьевой. Купца Бурова. Крестьянина Бурова. Капитанши Пафнутьевой. Купца Федорова.

БАСМАННОЙ ЧАСТИ

Церкви

Церкви Никиты Мученика. Петра и Павла. При Куракинском богаделенном доме. Старая лютеранская.

Дома

Императорский запасной дворец. Спасские казармы. Генерал-майора Толя. Княгини Куракиной. Губернского секретаря Мухина. Госпожи Хлебниковой. Купца Мушникова. Надворного советника графа Салтыкова. Князя Куракина. Надворного советника Аникеева. Купца Колокольникова. Купца Анофриева. Купеческой жены Александровой. Графа Румянцева. Князя Урусова. Купца Зеркальникова. Коллежского асессора Лебедева. Купеческой жены Александровой фабрика. Мещанского сына Макарова. Бригадира Горчакова. Народное училище. Вечно цехового Полякова. Подполковницы Мичуриной. Титулярной советницы Древичевой. Подполковника Бланка. Басманный частный дом. Купца Кувшинникова. Его же Кувшинникова. Казенный питейный дом, называемый Гороховский. Иностранца Левана. Купца Бирюкова. Иностранца Ерке. Статской советницы Зверевой. Коллежского асессора Савина. Купца Суслова. Действительного статского советника Демидова. Купца Доброхотова. Губернского секретаря Добрынина. Генеральши Волковой. Купца Пустынина. Иностранца Прейса. Иностранца Бризурна. Надворной советницы Белавиной. Графа Мусина-Пушкина. Купца Шелапутина. Санкт-Петербургского купца Сиверса. Дворянина Мессона. Тайного советника Демидова. Коллежской асессорши Мальяно.

ТАГАНСКОЙ ЧАСТИ

Монастыри

Спаса Симонов. Покровский.

Церкви

Алексея Митрополита. Мартына Исповедника. Рождества Богородицы. На католическом кладбище. Сорока святых, что против монастыря Спаса Нового.

Казенные здания

Коломенская застава. Спасская застава. Казенные Прохоровские амбары. Казенный питейный дом, именуемый Покровский.

Обывательские дома

Секретарши Пименской. Купца Трегубова. Мещанки Холостовой. Мещанки Милеевой. Мещанина Морозова. Господина Бекетова. Купца Селивановского. Пономаря Петрова. Штатного служителя Дементьева. Сальный завод купца Балдакова. Старообрядческое Рогожское кладбище.

РОГОЖСКОЙ ЧАСТИ

Покойного тайного советника Булгакова. Графа Разумовского. Действительного камергера Демидова. Госпожи Загряжской. Купца Аверкиева. Купца Жирнова. Иностранца Германа. Фейерверкера Геранштетера. Подпоручицы Докучаевой. Коллежского асессора Карлыдзеева. Купца Пантелеева. Купца Маринцова. Церкви Вознесения Господня, что на Гороховом поле. Священника. Диакона. Дьячка. Пономаря. Просвирни. Графа Строганова. Княжны Репниной. Графа Разумовского. Господина Лопухина. Мещанина Степанова. Единоверческой церкви, называемой Введенский церковной дом. Новая деревня Андроновка, в которой состояло 23 дома. В селе Карачарове 15 домов.

ЛЕФОРТОВСКОЙ ЧАСТИ

Красные казармы. Княжны Кропоткиной. Полковницы Вишневской. Купца Турчанинова. Титулярного советника Шрейдера. Генерал-майора Бибикова. 5-го класса Ладыжинского. Графа Орлова. Церкви Николая Чудотворца. Живоначальной Троицы. Купца Водопьянова. Мещанина Петрова. Купчихи Ивановой. Купца Матвеева. Купца Салавьева. Мещанина Максимова. Мещанина Смольнякова. Мещанки Кузнецовой. Купца Штанникова. Мещанина Мухина Мещанки Володимировой. Церкви Петра и Павла. Дворцовая оранжерея. Московский военный госпиталь. Штаб-лекарши Алфонской. Мещанина Стрелкова. Университетского студента Сакалова. Штаб-лекарши Бенидиктовой. Господина Лопухина. Мещанки Медовиковой. Мещанина Иванова. Иностранки Фогалевой. Майорши Дмитриевой. Капитанши Рахвицевой. Графа Бутурлина. Коллежского асессора Беклемишева. Купеческой жены Бирюковой. Мещанина Яковлева. Надворного советника Вулфа. Отставного унтер-офицера Киселева. Придворного сада садового мастера дочери Прянишниковой. Казенного оконнишника Мекоткина. Коллежской регистраторша Родевиловой. Мещанки Никитиной. Купца Новикова. Титулярной советницы Самсоновой. Мещанина Устинова. Просвирни Дмитриевой. Купца Штанникова. Секретаря Иванова. Вечно цехового Маркова. Мещанки Орловой. Преторщика Ухина. Секретаря Киселева. Мещанской жены Ивановой. Отставного солдата Журкина. Купца Ильина. Надворного советника Правикова. Мещанина Елисеева. Сержанта Полякова. Коллежского регистратора Ухина. Придворного лакея Долбилина. Ее Императорского Величества Вдовий благородный дом. Бывший Екатерининский дворец, что ныне казармы. Умершего пастора Гендике. Унтер-офицера Иванова. Мещанина Артамонова. Слесарской жены Ушаковой. Мещанина Шахова. Купца

Кузнецова. Графини Орловой-Чесменской. Солдатской жены Селивановой. Купца Ломова. Придворной экспедиции служителя Петрова. Петропавловского священника Иванова. Дьякона Сергеева. Майора Путаева. Коллежской асессорши Слезиной. Купца Кабанова. Мещанки Яковлевой. Солдатки Лапиной. Купца Ломова. Гоф-интендантской команды плотниковой жены Стафуриной. Гвардии поручика Рогачева. Мещанки Пивоваровой. Титулярного советника Борисова. Поручицы Персианиновой. Гоф-интендантской команды мастерового Петрова. Коллежского секретаря Львова. Мещанина Путилова. Иностранца Леурера. Девицы Нагаевой. Мещанки Полетаевой, Унтер-офицерского сына Алексеева. Мещанина Зернова. Мещанина Никитина. Малолетнего из дворян Булыгина. Гоф-интендантской команды мастерового Летвиненкова. Коллежского регистратора Касаткина. Отставного унтер-офицера Канунникова. Отставного солдата Голубцова. Отставного унтер-офицера Ермолаева. Коллежского асессора Потороченкова. Титулярной советницы Буравовой. Мещанки Ерофеевой. Коллежского секретаря Поспелова. Коллежской асессорши Третьяковой. Коллежского асессора Орлова. Мещанина Сазонова. Цехового мастера Котельникова. Купеческой жены Бацевой. Статского советника Михайлова. Придворного нарядчика Камарского. Гоф-интендантской команды плотника Авчинникова. Солдатки Бородулиной. Кузнеца Андреева. Мещанина Кушашникова. Казенного слесаря Кононова. Отставного сержанта Метелкина. Цехового Петрова. Отставного 9-го класса Орлова. Кремлевской экспедиции паиника (?) Андреева.

ПОКРОВСКОЙ ЧАСТИ

Церкви Богоявления Господня, что в Елохове. Покрова Богородицы, что в Красном селе. Крестовоздвиженская, что в Красном селе.

Казенных зданий

Обер-егермейстерского ведомства Потешный двор. Питейный дом, называемый Тычок. Церковная богадельня в Красном селе.

Обывательских домов

Надворной советницы Ивановой. Статского советника Полякова. Бывший майора Мальцова, ныне Сербского общества. Графа Головкина. Майора Демидова. Купца Партнова. Капитанши Давыдовой. Купца Аксенова. Купца Ипатова. Умершего купца Ларионова. Сенатского регистратора Быховцова. Умершего купца Прозуменщикова. Купца Крашенинникова. Купца Прозуменщикова. Коллежского асессора Карлызеева. Ротмистра Соковнина. Иностранца Губинета. Действительного камергера князя Голицына. Покровской церкви пономаря Алексеева. Оной же церкви священника Прокофьева. Диакона Колоцкого. Дьячка Андреева. Батырщика Лапшина. Просвирни Степановой. Коллежского советника Рюмина. Унтер-офицера Репина. Цехового Зотова. Умершего дворового человека Васильева. Цехового мастера Пеше. Купца Ипатова. Князя Голицына. Крестовоздвиженской церкви просвирни Никитиной. Надворного советника Мещанинова. Диакона Розонова.

Дьячка Иванова. Священника Алексеева. Умершего купца Топленикова. Майора Чагина. Генерал-майора Закревского. Надворного советника Яковлева. Рисовального мастера Даева. Мещанки Скорняковой. Наборщика Федорова. Мещанина Куракина. Дворового человека Сергеева. Титулярного советника Николаева. Коллежского асессора Пашкевича. Коммерции советника Блюмера. Коллежского советника Шахматова. Солдата Степанова. Купца Пеше. Мелочная лавочка разломанная. Коллежского асессора Шахматова. Титулярного советника Васильева. Сокольника коллежского регистратора Юргенева. Сокольника Лапкина. Надворного советника Юргенева. Регистратора Макулина. Губернского секретаря Пегушева. Губернского секретаря Рыкунова. Фейерверкера Чемакова. Губернского секретаря Микулина. Отставного кречетника[5] Шахматова. Канцеляриста Иванова. Отставного кречетника Шахматова. Мещанина Нежевщикова. Губернского секретаря Большева. Титулярного советника Шахматова. Коллежской асессорши Былинской. Сокольника Кузина. Сокольника Рыкунова. Отставного ястребника Балашева. Титулярного советника Болшева. Сокольника Дмитриева. Иностранца Изенбека. Почетного дворянина Ковальского. Секретарши Смирновой. Коллежского секретаря Бонбородина. Коллежского асессора Шахматова. Губернского секретаря Казанцова. Собор Ружной Покрова Богородицы. Полковника Поздеева. Коллежского асессора Карлызеева. Купца Ардынова. Статской советницы Булыгиной. Купца Шошина. Майора Чурашева. Купца Живкина. Введения Божией Матери. Мещанина Хилкова. Мещанки Свешниковой. Губернского секретаря Калинина. Купца Кознова. Крестьянина Медведева. Генеральный госпиталь. Немецкое кладбище. Мещанина Парфенова. Купца Салогубова. Солдатки Горевой. Мещанки Митрофановой. Цехового Никифорова. Мещанина Струнникова. Мещанина Иванова. Купца Иванова. Мещанки Ивановой. Купца Сазонова. Мещанина Евдокимова. Купца Фёдорова. Мещанина Петрикова. Мещанина Бухлаева. Мещанки Никитиной. Кремлевской экспедиции служителя Лотохина. Купеческой дочери Ремесковой. Кремлевской экспедиции служителя Лутохина. Семеновская застава. Купца Матвеева. Мещанки Бутыриной. Купеческой жены Бутыриной. Дворового человека Петрова. Купца Мальчикова. Мещанина Мещакова. Купца Панфилова. Его же Панфилова. Коллежского секретаря Никулина. Купца Стукачева. Прапорщицы Лобовой. Мещанина Язынина. Купца Стукачева. Крестьянина Иванова. Цеховой Никитиной. Цеховой Семеновой. Мещанина Моисеева. Купца Савохина. Крестьянской девки Антипьевой. Солдатского сына Жулина. Мещанки Ивановой. Мещанина Андронова. Мещанина Калинина. Мещанина Никитина. Купца Рыкова.

Купца Сулеина. Мещанки Широкой. Мещанина Ефимова. Крестьянина Кузьмина. Купца Беляева. Мещанина Данилова. Купца Михайлова. Мещани-

---

[5] Кречетник – может быть и специалист по соколиной охоте, а кречеты использовались в таковой.

на Никитина. Купца Матвеева. Дворового человека Никифорова. Крестьянина Гаврилова. Мещанина Степанова. Купеческой жены Ивановой. Мещанки Потаповой. Мещанина Блохина. Дьячка Алексеева. Просвирни Гавриловой. Пономаря Федорова. Коллежской асессорши Китовиной. Купца Куликова. Священника Михайлова. Поручика Шмарова. Купца Смирнова. Коллежского асессора Иванова. Мещанина Зиновьева. Купца Шаболовского. Купеческой жены Брюхановой. Мещанина Маркова. Мещанки Языниной. Дьякона Иванова. Цеховой Каретниковой. Крестьянина Дементьева. Купца Сулейнова. Купца Петрова. Мещанина Егорова. Мещанина Шатова. Казенная Хапиловская мельница. Купца Стукачева. Преображенской богаделенный дом. Мещанки Венедиктовой. Купца Ракова. Мещанина Федорова. Экономического крестьянина Лазунова. Мещанина Алексеева. Мещанки Петровой. Мещанина Данилова. Вдовы Кандратьевой. Купца Сарокина. Цехового Андреева. Купца Федотова. Подпоручицы Лихониной. Мещанки Тимофеевой. Мещанина Гарнастаева. Крестьянина Купреянова. Мещанки Соколовой. Мещанки Максимовой. Крестьянской девки Алексеевой. Мещанки Петровой. Унтер-офицерской жены Степановой. Купца Лежнева. Мещанки Петровой. Цеховой Емельяновой. Крестьянки Ивановой. Цеховой Федотовой. Мещанки Артемьевой. Крестьянки Ефимовой. Мещанки Ивановой. Купца Мазурина. Купца Зенькова. Купца Асапова. Мещанина Катунина. Мещанина Петрова. Купеческой жены Гусевой. Купца Осипова. Купца Никифорова. Цеховой Пехтеревой. Крестьянина Иванова. Крестьянки Ларионовой. Крестьянки Григорьевой. Купца Михеева. Секретарши Потоцкой. Мещанина Евдокимова. Мещанина Лазарева. Дворового человека Салоникова. Мещанина Абрамова. Купца Абрамова. Дворового человека Шлыгина. Солдатки Родионовой. Мещанина Петрова. Купца Езынина. Цеховой Петровой. Мещанина Афонина. Мещанки Ивановой. Крестьянина Андреянова. Купца Калмыкова. Казенный питейный дом. Мещанина Лебедева. Преображенская застава. Церковь Петра и Павла. Купца Воинова. Доктора Потаци. Казенный цухт-хауз[6]. Статской советницы Анненковой. Крестьянина Керова. Купца Федотова. Цеховой Степановой. Цеховой Васильевой. Цеховой Пименовой. Мещанина Темкова. Мещанина Астафьева. Цеховой Денисовой. Купца Никитина. Крестьянина Петрова. Крестьянина Елисеева. Крестьянки Васильевой. Купца Афонасьева. Мещанки Кузминой. Крестьянина Савельева. Крестьянина Яковлева. Мещанина Денисова. Купца Григорьева. Крестьянина Филатова. Купца Никифорова. Мещанина Попова. Мещанина Кузмина. Мещанина Колесникова. Цехового Пехтерева. Купчихи Бибаевой. Мещанки Хитровой. Мещанки Ивановой. Мещанина Евтеева. Мещанки Ивановой. Мещанина Ярченкова. Купеческой жены Петровой. Крестьянки Константиновой. Мещанина Тулубеева. Мещанина Баженова. Мещанина Лукьянова. Солдатки Осиповой. Купеческой жены Агафоновой. Мещанина Павлова. Штатного служителя Зайцова. Мещанки Афанасьевой. Мещанина Суботина. Солдатки Кузминой. Цехового Баброва.

---

[6] Возможно, тюрьма.

Секретаря Казанцова. Петропавловского священника. Крестьянки Дмитриевой. Петропавловского дьячка. Мещанина Костекова. Мещанки Яковлевой. Мещанина Авчинникова. Ратнической жены Егоровой. Мещанки Степановой. Мещанина Бронина. Мещанки Алексеевой. Купца Ильина. Купца Климова. Мещанина Уткина. Мещанина Фарыкова. Князя Волконского. Торговые казенные Преображенские бани. Асессорши Павловской. Цеховой Степановой. Асессорши Шмаровой. Мещанина Иванова. Крестьянина Иванова. Малолетних девиц Щеголевых. Солдата Цыплякова. Мещанина Леонтьева. Унтер-офицера Лосева. Цеховой Васильевой. Мещанки Емельяновой. Солдата Каняхина. Солдаток Владимировой и Григорьевой. Солдатской дочери Григорьевой. Цеховой Естигнеевой. Крестьянина Петрова. Солдата Валяева. Вахмистра Лукина. Мещанина Григорьева. Крестьянина Ефимова. Солдатской дочери Ивановой. Крестьянина Леонтьева. Мещанина Андреева. Актуариуса Гогеля. Богаделенного дьячка Гаврилова. Солдата Борисова. Форштмейстера[7] Эгера. Иностранца Эдельмана. Иностранца Фру. Богаделенный дом. Дом умалишенных. Рабочий дом. Потешный Екатерининский богаделенный дом. Богаделенного священника. Купцов Чороковых. Их же сахарной завод. Действительного статского советника Глебова. Купца Устинова. Генерал-майора Папкова.

Московский обер-полицмейстер генерал-майор Ивашкин

Кузьминский К. Что осталось от Москвы после пожара 1812 года. 1910



[7] То же, что форстмейстер (от *нем.* Forstmeister – смотритель лесов), статский классный чин в Российской империи. Был введён в ходе реформы горного дела 1761 г.

ПОДРОБНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕОДОРОВНЕ, О СОСТОЯНИИ МОСКОВСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА В БЫТНОСТЬ НЕПРИЯТЕЛЯ В МОСКВЕ 1812 ГОДА НАЧАЛЬНИКА ОНОГО ИВАНА ТУТОЛМИНА

Вместо предисловия

Милостивый Государь Александр Михайлович!

Почтеннейшее письмо Ваше, от 18-го прошедшего месяца, с нарочным курьером честь имел получить; приношу Вашему Высокопревосходительству чувствительнейшую мою благодарность за изъявление милостивого Вашего участия обо мне во время нахождения неприятеля в Москве. Действительно, злодеяния и варварства, ими производимые, никаким пером описать невозможно. Сам Бог подкрепил, наставил и сохранил нас; не распространяюсь в подробности с нами случившегося по причине болезни моей; оная с 12 ноября меня мучит, по которой до выздоровления получил милостивый рескрипт. В оном Всемилостивейшая Государыня Императрица позволила до поправления здоровья препоручить мне должность моему помощнику, г-ну Янишу, что исполнил. Прилагаю при сем, собственно для Вас, не делая оное гласным, точную копию с моего донесения Государыне Императрице, из коего изволите усмотреть обо всех происходимых злодеяниях.

Прося о продолжении Ваших ко мне милостей, примите и уверение нелицемерного моего к Вам высокопочитания и совершенной преданности, с которою честь имею быть

Вашего Высокопревосходительства, Милостивый Государь,
всепокорнейший слуга

Иван Тутолмин

Декабря 5-го дня, 1812 года
Москва
Его Высокопревосходительству
Александру Михайловичу Лунину

* * *

Всемилостивейшая Государыня!

Соображаясь с точностью воле Вашего Императорского Величества, предписанной мне в Высочайшем рескрипте от 18-го минувшего октября, собрал я, сколько время, при нынешних беспрерывных трудах, мне позволило, все

данные происшествия, случившиеся в Доме и вне оного в бытность неприятеля в Москве, о которых и имею счастье Вашему Императорскому Величеству представить следующее подробное донесение.

После отправления из Москвы, по Высочайшему Императорского Величества повелению, взрослых воспитанников обоего пола и всех классических в Казань, что успел я сделать 31 августа, о чем имел я счастье подробно донести Вашему Императорскому Величеству, приказал я с 1 сентября начать немедленно переводить отдельную больницу из окружного строения в квадрат, но, по внезапному вступлению неприятельских войск в столицу, к крайнему несчастью, не успел того же числа перенести всех вещей, к оной принадлежащих, а принужден был их оставить там и хранить за замками.

31-го числа, вечером, получил я рапорт, что скотный двор нашими передовыми казачьими войсками разграблен, с которого тотчас приказал весь скот пригнать в дом, имея в виду, в случае нашествия неприятеля, употребить его на пищу детям, обратив в солонину, что по времени и сделал.

1 сентября наши войска, вошедши в город, разбили несколько питейных домов, из которых рабочие люди обоего пола и караульщики тащили вино ведрами, горшками и кувшинами и перепились так, что я на другой день вынужден был ходить по квартирам с обыском и, находя вино, выливать на землю и бить посуду. Подобная строгость помогла мне впоследствии во многих случаях; по приведении в порядок Дома, с тем же вместе встречал неприятеля.

2 сентября проходила Москву Российская армия; все присутственные места и большее число обывателей, имеющих состояние, выехали еще за несколько дней из города, а городские начальники и полиция – рано поутру того же числа.

Чиновники и служащие, оставленные в Доме под начальством моим, предварительно удержаны были мною при их местах с обнадеживанием, что за верную и усердную их службу, по материнскому милосердию Вашего Императорского Величества, они без награждения не останутся. Все они с твердостью духа и должным повиновением остались при своих местах, кроме некоторых, кои отпущены мною с семействами, как-то: акушер Танненберг, имеющий 9 человек детей, в числе коих взрослых дочерей три; старший аптекарь Буттер, архитекторский помощник Жилярди и старшая повивальная бабка Бергер, которая, по прошению ее, за слабостью здоровья, мною вовсе уволена от службы Дома; без спроса же моего уехали два священника и диакон.

По прохождении наших войск, того же числа, вслед за оными, в 4 часа пополудни, вступила в Москву французская армия, так что последние российские войска проходили набережною Воспитательного дома, а неприятельские были уже в Кремле. По вступлении их в Москву должен был я ожидать всех насилий и жестокостей неприятеля, и для того, дабы спасти вверенное от Вашего Императорского Величества моему сохранению Богоугодное заведение с невинными сиротами, я, по долгу моему, тотчас, без робости, с твердым ду-

хом, пошел в Кремль, взяв с собою экономского помощника Зейпеля и – для перевода – экономского сына, коллежского регистратора Петра Христиани, служащего в канцелярии московского военного губернатора переводчиком. Пришедши туда, по многому прохождению, доведен я был до определенного от Наполеона губернатора, графа Дюронеля, коему объяснив об оставленном на попечение мое Воспитательном доме с грудными и малолетними детьми, просил его принять из единочеловеколюбия оный Дом под свою защиту. По которой моей просьбе, граф Дюронель приказал мне дать 12 человек конных жандармов с одним офицером; пришед с караулом в Дом, я тотчас о сем приказал повестить всем находящимся в Доме служащим, которые возвращения моего ожидали со страхом и надеждою. Жандармы заняли наши конюшни и были на содержании Дома как в сей день, так и в следующие. Французские войска входили в город и выступали из оного; оставалось же их тогда в Москве до 50 000. С самого первого вечера начались пожары, кои день ото дня увеличены были разосланными по всему городу зажигателями, бросавшими во все дома и церкви зажигательные составы, в низкие места из рук, а в высокие – из пистолетов: с пожарами вместе начались грабежи, смертоубийства и всякого рода жестокости и поругания от неприятельских войск, по бесчеловечию своему не внимавших ни гласу совести, ни просьбам и слезам несчастных жителей. Грабежи сии продолжались до того времени, покуда у бедных жителей ничего уже не осталось, и они, будучи лишены домов, пищи и одежды, принуждены были искать себе насущного хлеба у самого неприятеля.

3-го числа получил я известие, что находящиеся российские больные и раненые в Екатерининском и Александровском училищах оставлены без пищи и находятся без присмотра и что мертвые тела даже не похоронены. Не имея никакой возможности, по смутным обстоятельствам, оказать сему заведению свое вспомоществование, предписал я главному лекарю больницы бедных, Оппелю, так как он поблизости тех училищ находится, не оставить больных по человеколюбию без призрения.

Того же дня приехал генерал-интендант Дюмас и, осматривая по наружности Дом, велел находящиеся по правую сторону корделожи[1] деревянные пристройки к лабазам[2] сломать, назначил в лабазах для печения хлебов складь печи и сделать в оные ход изнутри дома. На другой день откомандированные из полков рабочие солдаты, под присмотром офицеров, пришли и потребовали ломов и топоров, которые принужденно им отпущены были. Рабочие тотчас принялись за сломку оных строений, состоящих из конюшен и сараев директоров, обер-секретаря, 1-го надзирателя, 1-го бухгалтера и казначея, находившиеся в них экипажи все выкинуты были на двор, некоторые из них увезены, оставшиеся все ободраны; но напоследок учреждение пекарней оставлено и печей не было сложено, весь же лес, оставшийся от

[1] От *фр.* corps de logis – основная, главная часть здания.
[2] *Здесь*: крытый навес на стойках для разных надобностей (охотничьих, хозяйственных и т.п.).

сломки конюшен и сараев, даже и некоторые заборы, впоследствии времени были сожжены французскими солдатами, привозившими раненых и раскладывавшими на дворе огни для обогревания себя.

4 сентября был самый жесточайший пожар, коего ужасов не могу Вашему Императорскому Величеству достаточно описать: весь город был объят пламенем; горели храмы Божии, превращались в пепел великолепнейшие дворцы и здания; отцы и матери кидались в пламя, чтоб спасти погибающих детей, и делались жертвою их нежности. Жалостные вопли их заглушались только шумом ужаснейшего ветра и обрушением стен; все было жертвою сей неумолимой стихии, даже мосты и суда на воде против Дома были в огне. Воспитательный дом находился в величайшей опасности, будучи со всех сторон окружен пламенем; все окрестные строения в самой быстроте пожирались огнем, и еще более ужасал меня опасностью бывший тогда весьма сильный ветер, который метал искры со всех сторон к нам на все дворы, в которых поставлены были дрова. Для отвращения сей опасности расставил я по дворам воспитанников с их приставами, с шайками и вениками, и заставил их гасить искры, которая, как дождь, на оные сыпались. В квадрате, корделожи и окружном строении загорались оконные рамы и косяки, и я с подчиненными моими, бодрствуя уже несколько ночей, во все стороны бросался для спасения от погибели Дома, употребляя к тому свои пожарные трубы, разламывая с подчиненными своими соседственные заборы, раскидывая строения и заливая загоревшиеся места. В самых опасных местах с боку окружного строения находился я сам, для наблюдения строгого порядка, а от городовой стены у конюшен был употреблен экономский помощник Зейпель, которого неусыпным трудам я должен отдать всю справедливость; а оставляя сию опасность, должен был я несколько раз возвращаться к детям и приставницам для увещания и ободрения их, которые от страха и предстоящей гибели в сию ночь не могли быть в отделениях, а находились на квадратном дворе, и, наконец, при очевидной опасности, вывел всех детей на корделожский двор. Таким образом, с помощью Всевышнего зиждителя всех благ, неослабными трудами и рвением подчиненных моих я успел спасти вверенный Вашим Императорским Величеством попечению моему Дом со всеми детьми, служащими с их семействами и пришельцами; но при сем ужасном пожаре невозможно было спасти нашей аптеки со всем строением и медикаментами, чего также нельзя отнести к нерадению оставшегося здесь, вместо отца, сыну, аптекарю же Буттеру; ибо когда я с подчиненными моими с помощью пожарных труб старался загашать огонь, тогда французские зажигатели поджигали с других сторон вновь; наконец некоторые из стоявших в доме жандармов, сберегавших меня, сжалившись на наши труды, сказали мне: «Оставьте, приказано сжечь». После чего все обратилось в синее пламя, и не было возможности спасти аптеку: нижний этаж каменный выгорел, и остались только стены; дом, где жил акушер Таннберг, сгорел весь, а в инвалидном доме один угол от пожара поврежден, с той стороны, где находилось необходимое место, которое сгорело вместе с конюшнею, сараем, погребом, заборами

и воротами. Бывшие же в инвалидном доме казенные вещи все расхищены, кроме оставшихся некоторых, кои взяты были живущими в доме жандармами, но по выходе ими оставлены, о которых реестр при рапорте подан ко мне того дома смотрителем Ивановым. При сих ужасных обстоятельствах прибегнули ко мне в Дом в великом числе несчастные жители города и просили пристанища и покрова; всех их успокаивал я, сколько возможно было; раненых же наших, припалзывающих, так сказать, в Дом, принимал я: рядовых – в свои больницы, а офицеров трех – к себе, о которых Ваше Императорское Величество в суточных рапортах усмотреть соизволите. Между прочими бедными приведена была также престарелая, лишенная зрения и отягченная болезнями, княгиня Екатерина Михайловна Голицына, с поручицею Бауер, лишенные всего имущества и бывшие несколько дней без пищи, коих я поместил со вдовами.

После того ужасного пожара я все еще оставался в величайшей опасности, ибо не преставали ходить французские зажигатели около Дома, и для того учредил я из своих подчиненных беспрестанные днем и ночью около Дома обходы, и во всех сторонах приготовил воду; таковыми мерами избавил я Дом от огня. При сих обстоятельствах, сильно угнетавших дух мой, еще другие не менее требовали моей осторожности. Беспрестанно приезжали и приходили к Дому толпы французских мародеров, кои искали пищу для злобных и развращенных их сердец грабительством и всякого рода буйствами, несмотря на имеющийся в Доме караул жандармов, который и сам не слишком мог во всей силе выполнять свою обязанность, потому что от начальства им позволено было грабительство; почему, дабы сим людям изъяснить, какое заведение есть Воспитательный дом, и дабы убеждать их к жалости к невинным сиротам, я поставил у ворот переводчиков, собрав их из служащих в Доме и посторонних, во время пожара прибегнувших к моему покрову, знающих французский язык; а еще до вступления злодеев у всех ворот выставил доски с французскими надписями, что «Сие заведение есть дом несчастных и сирых детей». Хотя и при таковых распоряжениях моих не могли мы совсем избежать частых беспокойств, но, по крайней мере, во внутренности Дома сохранялась тишина. Из Дома же нельзя было выйти за ворота без того, чтобы не быть ограбленным. В первые дни и в течение всего времени я неоднократно должен был посещать определенных в городе французских начальников, кои были: первый губернатор граф Дюронель, на место которого поступил после герцог Тревизский, маршал Мортье, комендант граф де Милльо, генерал-интендант армии Дюмас и интендант города Лессепс.

5-го числа, пополудни в два часа, Наполеон, прогуливаясь по городу, смотря на свои злодеяния, ехал по набережной мимо Воспитательного дома; против оного остановясь, спросил, что это за здание, которое от пожару сохранено? Ему отвечали, что это Воспитательный дом, спасенный от престоящей ему гибели начальником оного со своими подчиненными. Император тотчас приказал генерал-интенданту Дюмасу ехать в Дом, найти меня и объявить мне свое приветствие. Генерал Дюмас, прискакав в Дом, спросил: «Где

ваш генерал?» Как я всегда был бессменным стражем, то тотчас, подходя к нему, спросил: «Что вам угодно?» – «Я прислан к Вашему превосходительству от Императора, который приказал благодарить Вас за труд и за спасение от огня Вашего Дома. Его Величеству угодно с Вами лично познакомиться». Я никогда не имел ни малейшего страха и равнодушно принял оное, но утешился тем, что весь Дом от оного был приведен во окуражирование.

6-го числа прислал за мной Наполеон статс-секретаря своего, Делорна; в 12 часов пополудни я немедленно отправился к нему в Кремлевский дворец, как уже о том имел счастье доносить Вашему Императорскому Величеству. Каким образом я Наполеоном принят был и о чем имел разговор, известно уже Вашему Величеству из донесения моего к Государю Императору, с которого еще копию у сего представляю, а сверх того доношу, что Наполеон, входя в расположение Дома, делал мне следующие вопросы: «Велико ли число детей в Доме? На какое время я имею продовольствие и откуда полагаю снабдить себя провиантом на зиму?» Подав Наполеону Ведомость о числе детей, точно такую, какую я от 7-го числа сентября к Вашему Императорскому Величеству препроводил, сказал он, рассмотревши оную с улыбкою: «Вы увели в Казань донынешних девиц». Потом отвечал я, что имел продовольствия только на месяц, хоть обыкновенно Дом делает подряд на целый год, но, по неимении места, запасается только на один месяц; подрядчик же теперь уехал из Москвы, следовательно, я лишен всех способов к получению запасов. Вдобавок спросил Наполеон: «Откуда город получает съестные припасы?» Я отвечал: «Хлеб из Украинских, скотину из Малороссийских, а мелкую живность из ближайших губерний, и хлеб доставляется по большей части на барках весною, а часть оного привозится и сухим путем зимою». Еще спросил Наполеон: «Какой шар англичанин Шмит делал на пагубу его армии и его самого?», прибавив, что такое варварство просвещенному народу непростительно. – «Я о том ничего не знаю». На сие возразил Наполеон, что ему известно, что шар делался в 7 верстах от Москвы, но за неприведением в действие сожжен; оставшиеся же горючие материалы употреблены на сожжение Москвы. Наконец сказал он: «Как бесчеловечно поступали русские, оставив 10 тысяч раненых солдат без пищи и призрения! Повторяю Вам еще: напишите о всех происшествиях Москвы к своему Императору Александру и отправьте с донесением своего чиновника: я дам ему пропуск чрез свои форпосты».

В этот же день приехали в Дом для помещения 300 человек жандармов с полковником и офицерами, которые и поместились в корделожи во все комнаты, и к тому еще заняли квартиру доктора Саблера, полковник же их занял мою квартиру; лошадей своих поставили они в наших казенных конюшнях, сараях и даже на погребицах; сено и весь фураж у нас обобрали, также из лучших рослых лошадей взяли несколько для строевой службы, а небольших – в обозы; экипажи выбросили, а другие партикулярные и казенные, принадлежащие конюшне, и те, в которых кормилицы развозились по деревням, употребляли

для фуражирования. Некоторые же, прежде выступления их, взяли под свой багаж и отправили с обозом, отчего мы в повозках летних весьма нуждаемся. При сих стеснениях и нужде я принужден был еще довольствовать их своими и от всех служащих съестными припасами, до того времени, покуда они сами уже увидали, что не остается, чем питать нам себя и детей: о каковом расходе Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше подношу у сего счет.

8-го числа смотритель Вдовьего дома надворный советник Мирицкий рапортом мне донес, что Кудринский Вдовий дом со всем строением, оставшимся имуществом и письменными делами сгорел, и остальные казенные деньги все разграблены, с коим вместе сделались жертвою пламени до 700 человек российских раненых; оные по слабости сил не могли избежать своей гибели; другие же во время пожара спаслись; при сем случае сам он, Мирицкий, с семейством от пожара и грабительства лишился всего своего имущества и пришел ко мне в самом худом рубище, которого, по возможности, снабдив одеждою, поместил в Доме. Того же дня генерал-интендант Дюмас приехал в Дом и объявил повеление Императора, чтоб ему осмотреть внутренность всего Воспитательного дома. Я тотчас повел его по всему квадрату корделожи и окружному строению; по окончании осмотра потребовал он от меня всему оному строению план, который получив, взял с собою и на другой день прислал обратно с архитектором Жилярди, к нему посланным. Разделив в плане карандашом квадрат на ровные половины, велено мне было сказать чрез Жилярди, что половина квадрата, по окружное строение, вся займется французскими ранеными и больными и чтоб я ее непременно очистил; а как оные больные большею частью одержимы были поносом, то, содрогаясь о таковом бедственном положении и воображая себе, что чрез то нарушен будет весь порядок и чистота в Доме и некоторые казенные вещи должны будем потерять, я решился об отменении сего намерения просить Наполеона.

10-го числа сентября, чрез статс-секретаря, подал я Наполеону письмо об отменении намерения учредить гошпиталь в квадрате, с которого письма имею счастье Вашему Императорскому Величеству представить копию; но на оное я не получил никакого письменного решения.

12 сентября император Наполеон, чрез статс-секретаря своего, прислал ко мне двух сирот для помещения оных в Дом, которые после того, по повелению его, два раза были свидетельствованы, как оные содержатся. Сироты и в бедности находящихся родителей дети, присылаемы были от городских начальников, как-то: от генерал-губернатора герцога Тревизского – 9, от коменданта графа Демиллю – 9 и от французского начальства – 2; всех – 22 человека, которых всех, дабы яснее Вашему Величеству можно было видеть в дневных рапортах и приложенном при сем списке, осмелился означить фамилиями приславших оных. Посему осмеливаюсь испросить Высочайшего Вашего повеления: оставить ли при них те фамилии или уничтожить оные? Сверх того поступило в Дом подкидышей, оказывавшихся близ дверей Крестовой, близ церкви, по коридорам и другим местам.

13-го числа начали французских раненых и больных привозить в окружное строение.

14-го числа прислан был инженерный офицер с рабочими солдатами, который начал половину квадрата отделять и требовал от меня очищения; оный тотчас, по сделанному мною предварительно расписанию, стал я перемещать с мужской половины на женскую всех воспитанников обоего пола, кормиличные отделения, кладовые и магазины, оставив там только те вещи, которые сами французские комиссары от меня требовали, как-то: кровати с соломенниками, шкафы, столы, стулья и стульчики; а библиотеку не успел перенести, ибо оную, по тесноте на своей половине, негде было поместить, в сохранности коей удостоверил меня и генерал-интендант Дюмас; в оной находилось премножество старых Воспитательного дома планов, не употребляемых классических книг и учебных вещей; заперевши и запечатавши оную, спросил я комиссаров о сбережении ее взять попечение, но впоследствии оказалось, что многие из классических вещей были расхищены и попорчены; книги разодраны, шкафы, столы, стулья и стульчики, находившиеся в отделениях, употреблены ими на отопление печей, печи же, как в половине квадрата, так и в окружном строении, от неумения закрывать их и от частой топки много повреждены; почему я предписал архитектору Жилярди их осмотреть, для лучшего же порядка при входе на свою половину я поставил караульных и дал предписание своим переводчикам из служащих и посторонних, имевших пристанище в Доме, чтобы они очередовались безотлучно у ворот и приходящим и привозимым раненым показывали дорогу на их половину, но учтиво бы удерживали всех тех, кои будут входить на нашу; желающих же видеть сие заведение провожали бы ко мне. Сверх того, для безопасности от пожара, соблюдения спокойствия и удаления злоумышленников я учредил ночные обходы, употребив к тому своих чиновников с переводчиками, кои поочередно всякую ночь три раза обходили все места квадрата. При сделанном мною перемещении дети помещены в длину фаса, по правую сторону, который окошками к детским садам, в отделениях следующим порядком: в 1-м этаже, на половине женской, в 5-м номере – столовая обоего пола воспитанников; в № 6 – домовая больница воспитанниц; в № 9 – домовая больница воспитанников. Во 2-м этаже: в № 11 – 2-й и 3-й возраста воспитанников; в № 14 – 4-й возраст выздоровевших от старших возрастов и сверхкомплектные воспитанники; в 3-м этаже, в № 8 – 3-й возраст от старших возрастов выздоровевших и сверхкомплектные воспитанницы; в № 11 – 2-й возраст воспитанниц. В 4-м этаже – кормиличные отделения; в № 10 – главная надзирательница Ликерст со многими помещена. В № 12 – столовая кормилиц; в № 15 – кормилицы с детьми; в № 16 – тоже; в № 17 – 1-й возраст; в 18 – кормилицы с детьми; в № 20, 21, 22 и 23 – тоже; в № 24 – тоже, хотя не просторно, но покойно размещены; в прочих же отделениях оного фаса находятся кладовые и помещены посторонние, во время несчастия под покров прибегнувшие, коих я соглашаю выезжать; а отделения во 2-м этаже № 13 и в 3-м № 8 приготовлены для де-

ревенских детей, коих разоренные крестьяне великое число приводят в Дом, каковые номера значатся на генеральном плане, имеющемся у Вашего Императорского Величества.

При сем случае я осмеливаюсь заметить, что как после отправления взрослых детей в Казань многие отделения сделались пустыми, то сие и подало французскому начальству повод и мысль поместить в Доме лазарет; по сему самому и убедительнейшие просьбы мои о нестеснении детей и об отменении сего намерения остались безуспешными. Сказали мне, будто бы Наполеон, получа от меня письмо, отозвался: «Что он хочет, когда у него много пустых комнат? Следовательно, он не стеснится». А в отраду мне приказал в квадрат одних только раненых помещать, а больных – в окружное строение, разделить нас забором и особые въезды сделать, что того же числа и начали исполнять.

С 15-го числа сентября начался в квадрат привоз раненых, коих содержали они от себя, и оных в обеих гошпиталях, то есть в квадрате и окружном строении, по наполнении было ежедневно до 3000, а во все время – более 8000 человек. Умирало их ежедневно в квадрате от 20 до 50, итого 1500 человек, которые тела похороняемы были за квадратом, на пустыре, к городовой стене города Китая, в черте Воспитательного дома; в окружном же строении умирало оных ежедневно от 15 до 30, итого до 1000 тел, которые положены близ оного строения за чертою Воспитательного дома. Хотя, для предосторожности, на тела и сыпана была известь, но за недостатком – небольшое количество; почему и могут весною от дурных испарений произойти заразительные болезни, для чего и почел я необходимо нужным о таковых предстоящих опасных следствиях отнестись рапортом к главнокомандующему Москвой тотчас по прибытии его; дошедшие же до Вашего Императорского Величества сведения, о которых Ваше Величество изволите упоминать в рескрипте своем ко мне, будто бы мертвых хоронили на дворе Воспитательного дома, суть несправедливые; ибо, брав всегда предосторожность об отвращении заразительных болезней, своими людьми хоронил умерших в гошпиталях, без чего они по неделе валялись бы по коридорам и площадкам, ибо приставники больниц весьма часто сменялись, от чего совсем не было порядка. В жестокие морозы настоятельно буду просить графа Федора Васильевича, чтобы оные тела были вывезены за город.

По учреждении французских госпиталей в Доме начальство их прислало для оных караул, который, несмотря ни на какие невозможности, с моей стороны им изъясняемые, занял крестовую и докторские комнаты; по сей необходимости я не имел более куда перевести крестовую, как в комнату швейцара родильного гошпиталя; родильный же гошпиталь во все время имел течение своим порядком, только, по стеснении Дома, я принужден был на иждивении Вашего Императорского Величества соединить домашний с секретным гошпиталем, а в комнаты первого поместить отделенную больницу,

в акушерские же – людскую больницу; лекарства, в коих я имел недостаток по причине сгоревшей домовой аптеки, предписал я штаб-лекарю Масленникову брать с большою бережливостью из оставшихся в городе аптек, коими больные до сего времени и пользуются без нужды; а какое распоряжение, по Высочайшему повелению, ныне мною о лекарствах сделано, особо чрез Григория Ивановича Вилламова Вашему Императорскому Величеству донес, а наконец чрез нарочного достаточные лекарства от Вашего Императорского Величества имел счастье получить.

Спустя несколько времени начал я относиться французскому начальству о недостатках в съестных припасах, для того, чтобы оно не покусилось отобрать у меня мою провизию или принуждать меня довольствовать их команды пищею, хотя в запасах еще большой нужды не претерпевали, а единственно для того, чтобы, получив позволение послать по деревням своих чиновников для закупки хлеба, при сем случае уведомить наши войска о неприятеле и настоящем его положении.

К несчастью, дали мне по требованию моему пшеницы 100 центнеров да круп гречневых 20 центнеров, предоставив мне сыскать, для смолотия пшеницы, мельницы и об оных донесть; почему я отправил эконома близ города осмотреть, и довольно найдено, но крепкие заняты французским меливом, а порченные праздны, о чем и относился, но получил ассигнование на порченные, из которых одну исправя, и смолол от них полученную пшеницу. По прошествии десяти дней вторично возобновил я свое требование, по которому позволили мне покупать хлеб внутри своих форпостов. А как в близлежащих деревнях французами все уже было обобрано, то и не мог я успеть воспользоваться сим позволением, а приступил еще с новою просьбою к генерал-интенданту, который отозвался, что сие принадлежит до интенданта города, Лессепса. Я адресовался к интенданту города, который отвечал мне, что не имеет на сие приказания, и хотел доложить о том герцогу Тревизскому, маршалу Мортье. Но и сей, отозвавшись сначала невозможностью, наконец, по убеждению, позволил мне послать своих чиновников по деревням для отыскания хлеба, снабдив их письменным видом, каковой и я от себя им должен дать. Причем г. Лессепс предварял меня, чтобы я взял от начальства их денег ассигнациями для моих расходов, но я не имел в них надобности, будучи, по Высочайшему Вашему Императорского Величества повелению, снабжен от Опекунского совета достаточною суммою денег. А их зловредность, чтобы ссужать меня своими фальшивыми ассигнациями, коих привезли с собою весьма большое число, и ими даже, по повелению Наполеона, выдавали своим войскам жалованье. По просьбе стоявшего в Доме с жандармами полковника, который ко мне принес кучу сторублевых фальшивых ассигнаций, просил разменять на двадцатипятирублевые, но я выбожился, что у меня нет, а такие же сотенные, но принужден одну разменять на мелкие двадцатипяти и намерен был поднести оную Вашему Императорскому Величеству, но в бытность генерал-адъютанта Его

Императорского Величества Павла Васильевича Кутузова, сказывая ему об оной, принужден был, по просьбе его, отдать ему для отправления к Государю Императору.

2-го числа октября отправил я своих чиновников для отыскания по деревням хлеба, имея, однако же, более в виду, чрез таковой случай дать известие нашим вой-скам, что французские войска из Москвы значительным числом стали выходить и обозы отпускать, равным образом повестить обо всех в ней происшествиях. Вследствие чего отправлен был от меня для сего надворный советник Данилевский с тремя чиновниками: переводчиком, двумя унтер-офицерами и тремя работниками, которые, выехав на Петербургскую дорогу, в 12 верстах от Москвы встретились с казачьим отрядом под командою генерал-майора Иловайского, который в то время имел с неприятелем перестрелку и в оной под казаком убита была лошадь. Взамен оной казаки взяли одну у посланных моих: лошадь сия принадлежала титулярному советнику Александру Кочергину, у которого, за неимением казенных, выпрошена была, почему и вынужден я за оную заплатить сто рублей.

Потом посланные препровождены были к командующему их корпусом генералу Винцингероде, который расспрашивал их подробно обо всех происшествиях московских, опасаясь же, чтобы каким-нибудь образом не дошло до неприятеля сведение о нахождении так близко российских войск, не решался он сначала отпустить их в Москву, но, напоследок, в уважение недостатка в хлебе для Воспитательного дома, оставя в залог у себя четырех, остальных с Данилевским пять человек отпустил, с таким подтверждением, чтобы, по доставлении хлеба в Воспитательный дом, паки с верным известием о неприятеле вскоре возвратились к нему. Оные чиновники, купив ржи пять четвертей с половиною, прибыли благополучно в Дом с таким объявлением, что оставшиеся остались по деревням скупать провизию.

10-го числа рано поутру отправил я тех же чиновников к генералу Винцингероде, где на пути встретились со своими казаками от Москвы в 12 верстах, в селе Никольском, от которых узнав, что корпусной начальник, Винцингероде взят неприятелем в Москве в плен, на другой день и с остальными возвратились прежде в Москву.

По истинному недостатку провизии интендант Москвы Лессепс доставил в Дом 8 коров и 4 баранов; сверх того посылал я в поле за картофелем, которого, за выбранием французскими солдатами, не находили, а приносили капусту, и за той не иначе можно было посылать, как с французскими провожатыми, которых с трудом мог выпрашивать; по недостатку муки я должен был довольствовать Дом умеренным образом, но не имел, однако же, голоду, так как многие из жителей в городе, кои принуждены были питаться одною мокрою пшеницею, насыпанной в барке, которая во время пожара сгорела и села на дно. С 1 октября я решился убавить число рабочих, прачек и нянек, а кормилиц, которые пожелают с детьми идти в свои деревни, отпускать с награждением по 10 руб., коих отправились в деревни 37.

Между тем французское начальство, видя себя и жителей угнетенных и нуждающихся во всем, стало выдавать разные прокламации, кои всеподданнейше у сего подношу Вашему Императорскому Величеству.

Рабочие люди в Доме неоднократно хотели оставить свои должности, но, дабы удержать их при смутных обстоятельствах и наградить за многие труды их, понесенные во время пожара, хоронение неприятельских тел и при очистке отделений для французских лазаретов, выдал им двойное жалованье за сентябрь месяц. 5 октября присланные от французского начальства комиссары заняли у меня хлебни для печения хлебов на их армию. С сего числа поспешным образом начальство их начало из наших гошпиталей вывозить своих легкораненых и выздоравливающих из Москвы по Можайскому тракту, а на место оных из других гошпиталей наполняли в Доме наши лазареты.

6 октября большая часть французской армии стала готовиться к отбытию из Москвы, а 7-го числа оная выступила из города, с коею отправился и сам Наполеон в 5 часов утра по Калужской дороге, а тяжелые обозы по Смоленской отправлены. Того же числа все жандармы вышли в поход; в Москве же осталось французских войск не более 3000 под начальством маршала Мортье, к которому, пред выходом жандармов, я относился чрез письмо с просьбою, чтобы он благоволил приказать стоящему офицеру на карауле при лазаретах охранять и Воспитательный дом.

8-го числа, не получая ответа от маршала Мортье на мое письмо о карауле, я повторил к нему мою просьбу, чрез письмо к интенданту города Лессепсу.

9-го числа он прислал ко мне с письмом своего адъютанта для устройства порядка в карауле. Письмом сим, между прочим, он просил меня принять французских раненых и больных, в Воспитательном доме находящихся, в свое попечение, равномерно и жителей в Москве французской нации, коих он прислал ко мне для помещения в Дом, и я не имел возможности их не принять; но теперь уже им от меня объявлено, чтобы они из дома выезжали, как равно и прочим жителям, после пожара имевшим у меня пристанище. Того же числа объявил мне служивший при Доме из иностранцев лекарь Науман, что он принят во французскую службу в штат Наполеона по медицинской части, коего я и не имел возможности удержать.

10-го числа, по наступлении ночи, в Воспитательном доме снят французский караул и все французское войско, по совершении своего варварского намерения с Кремлем, очистили весь город; о каковых ужасах Вашему Императорскому Величеству от 12 сентября доносил.

11 октября вступил в Москву с казаками генерал-майор Иловайский 4-й, коему я письменно сообщил о нахождении в Доме французских раненых и больных и просил его об охранительном карауле. Между тем вскакали в Дом казаки, сопровождаемые толпою крестьян, коих накануне того дня французы заманили в Москву, обещая отпустить им соли, с тем намерением, чтобы при сем случае воспользоваться их лошадьми, и, ворвавшись в окружное строе-

ние, вооружили крестьян отнятым у больных и раненых французов оружием, ограбили оных французов и расхитили все имущество живших в том строении служителей, также пограбили принадлежащие к отделенной больнице вещи, кроме платья и белья, преж сего успели унести, чему свидетелем был живший во все время у нас тайный советник Повалишин. Спустя четыре дня г. генерал-майор Иловайский приехал ко мне; я не преминул сказать ему, что войскам российским, прибывшим сюда для установления порядка и спокойствия, неприлично поступать так, как поступали его казаки, которые сделали в Доме великое беспокойствие и беспорядки. Причем свидетели были генерал-майоры Бенкендорф и Чернышев. Он отозвался, что ему сие очень неприятно, а потом приличным образом передо мною извинился.

Ввечеру того ж 11 октября вошел в Москву с гусарским полком генерал-майор Бенкендорф, который снабдил Воспитательный дом караулом и оказывал мне всевозможное свое пособие, по принятой им на себя в городе должности коменданта. Я просил его также об охранении всех прочих заведений Вашего Императорского Величества и вручил ему об них записку.

22-го числа генерал-майор Бенкендорф выступил со своим отрядом в поход, и с того времени гусарский караул снят в Доме, а на место оного получил я полицейский, который и ныне находится в Доме.

По приезде в Москву обер-полицмейстера Ивашкина, у которого бывши, неотступно просил его о выводе из Дома оставленных у меня французских раненых и больных, дабы я мог немедленно приступить к очищению Дома.

Того же числа, по приезде в Москву полиции, был я обрадован началом вывода их из квадрата.

25-го числа вывезли из квадрата и окружного строения всех рядовых раненых и больных, а остались одни французские раненые офицеры, числом 10, да при них служителей, о которых докладывал графу Федору Васильевичу Растопчину, как угодно ему приказать, оставить ли их в Воспитательном доме или перевести? Его сиятельство, за неимением для них места, приказал их оставить в Доме; касательно же пищи для них, о которой также докладывал ему, отозвался, что писал в С.-Петербург, и коль скоро получит ответ, то не оставит меня уведомлением. И потому оные раненые офицеры пищей довольствуются от Дома. Теперь, освободясь от лазаретов сих, наполненных величайшею всякого рода неопрятностью и несносным воздухом, я занимаюсь очищением оных и приведением, сколько возможность позволит, в порядок; но жить в сих помещениях еще долгое время нельзя будет, ибо вкоренившиеся язвительные мокроты, протекшие в отделениях сквозь полы, а в коридорах не прошедшей нечистоты и вони никак невозможно скоро вывести и всех оных мест вычистить и осушить. Нужно иметь время. Для чего я намерен всю зиму оставить окна и двери открытыми и в надлежащее время производить различного рода курения; сверх того, все комнаты, кои занимались французскими лазаретами, требуют больших поправок, ибо полы, двери, окна, печи и стены весьма много попорчены, перегородки почти во всех выломаны и вы-

киданы; разная мебель и другие вещи, как казенные, так и служащих, переломаны и сожжены. От печей все вьюшки и тарелки выкинули, топку производили беспрерывно, никогда не закрывая оных, от того много истребили дров; что же именно по сим местам, как равно и по всем прочим в Доме, из казенных вещей пропало, всеподданнейше Вашему Императорскому Величеству у сего подношу описи.

По прибытии в Москву гражданский губернатор тайный советник Обресков со многими чиновниками был в Доме и, обойдя со мною, удивлялся толикому содержанию детей в порядке.

А 24-го числа прибыл главнокомандующий граф Феодор Васильевич Растопчин, коему я не преминул подать рапорт с объявлением о всех заведениях Вашего Императорского Величества и с подробным донесением, какое число в Воспитательном доме было французских раненых и больных, сколько оных умерло; равным образом объяснял, что тела их хоронились около Дома, числом до 2500, и что от вредного воздуха весною предстоит Дому опасность. Теперь, по приезде в город начальства, приняты надлежащие меры к очищению оного. Лошади, коих по улицам валялось несколько тысяч, и всякая нечистота вывозятся за город; жители приезжают в Москву узнать о своих домах и с печальным, скорбным сердцем видят их или обращенными в пепел, или хотя от пожара уцелевшими, каковых очень немного, но совершенно разграбленными. Ищут своих имуществ, кои многие для сохранения зарывали в землю или закладывали в стены и подвалы, но видят, что от хищной руки неприятеля ничего не укрылось. Даже в храмах Божиих сокрытые в землю церковные достояния не пощажены от расхищения, и самые храмы обращены были, по безбожию врага, в конюшни, кухни и скотские бойни. Чувствуя во всей мере, сколь прискорбно Вашему человеколюбивому и благоговеющему к Святыне сердцу слышать таковое описание, я не дерзаю далее распространять оного; но обращусь всеподданнейшим донесением моим к части вверенной Вами, Всемилостивейшая Государыня, моему попечению. Дети, в Доме находящиеся, как малолетние, так возрастные, оставленные за болезнями и по времени выздоровевшие, также из воспитанниц учительницы и помощницы, по желанию их, не отправленные в Казань, и все посторонние благородные молодые женщины, девицы и мужчины, имевшие у меня во все время прибежище, благодарение Всевышнему, пребыли благополучны, так что на невинность их не было сделано никаких покушений. Хотя же многие французские чиновники приезжали в Дом, чтобы видеть заведение оного, но все они просили на то моего позволения и были мною допускаемы, коих я или сам водил, или поручал моим подчиненным. Таковых посетителей из французских чиновников у нас было довольное число, и все они, при расстроенном положении Дома, весьма хвалили заведенный порядок и чистоту и отдавали преимущество во всем нашему заведению противу Венского. Для такого спокойствия домашнего я имел все предосторожности, как уже Ваше Императорское Величество выше сего видеть соизволили. Во все время, ког-

да только безмятежность позволяла, воспитанники обоего пола были заняты классическим учением, вязанием чулок и некоторыми рукоделиями, по сделанному мною расписанию, с коего копию при сем Вашему Величеству имею счастье представить. Какое же число детей состояло в Доме с того времени, как я не имел возможности Вашему Императорскому Величеству доставлять всеподданнейших отчетов, и какое в течение оного времени убыло, я уже имел счастье от 31 октября Вашему Императорскому Величеству представить ведомость; сколько же ныне оных состоит налицо как в Доме, так и об отправленных в Казань, всеподданнейше представлял ведомости по летам их. Детей в городе у родителей сколько ныне состоит налицо, нельзя иначе узнать, как по приходе родителей их за месячною платою, которых, при нынешней выдаче, явилось меньше половины, и жилища их записаны. Детей, воспитывающихся по деревням, в сентябре и октябре месяцах, как равно и в нынешнем, не было возможности осмотреть по смутным обстоятельствам. А как помощник мой Яниш из отпуска 7-го числа сего месяца явился, и потому стараться буду в половине оного как его, так и объезжих надзирателей отправить по деревням.

В богадельне воспитанники обоего пола мною осмотрены, кои все состоят налицо, кроме двух, неизвестно куда, по вступлении неприятеля, удалившихся, и 6 в разное время умерших, как я уже о том и доносил Вашему Императорскому Величеству.

Теперь, благодарение Богу, Зиждителю всех благ, по избавлении столицы от неприятеля время от времени мы будем иметь менее затруднения в получении продовольствия. Что касается до денежных расходов, я употребил все возможные старания делать издержки только необходимо нужные и помышляя о сохранении суммы от похищения неприятельского. Две же тысячи рублей, кои употребил я на экстраординарные расходы, в подарки некоторым французским чиновникам, принесли Дому немалую пользу. Но сверх сего употребил я, хотя беден, из своих денег немалую сумму на вспомоществование своим нуждающимся собратьям, из христианского сострадания, и некоторых снабжал платьем и обувью, по возможности своей, а из казенных денег никак не смел на сие поползновения сделать, боясь расхищения казны от неприятеля; от того единственно отпустил я с первым бухгалтером Шредером на проезд и содержание детей, толь большую сумму 40 000. Но, по милосердию Божию, я успел сохранить в целости как сумму, так и здание и всех детей со служащими.

О расходах же и убытках, понесенных по пребывании в Москве неприятельских войск, как по Дому, так и скотному двору, при сем имею счастье Вашему Императорскому Величеству представить подробный счет. Скотный двор пожаром не тронут, но строение частью попорчено и заборы растащены и сожжены, также и роща местами вырублена, а огородное все истреблено. Что касается до аптеки домовой, то, по данному ко мне от сына аптекаря Буттера рапорту, который, за отъездом отца, хозяином в ней оставался, пожа-

ром убытку им причинено до 69 000 руб. После же пожара собрана только им оставшаяся некоторая медная посуда, стоящая ценою на 850 руб. Прочие же заведения Вашего Императорского Величества находятся в следующем положении: Александровский институт занят российскими ранеными, 337 человек; Екатерининский институт, Вдовий Лефортовский дом и Инвалидный г-жи Шереметевой никем не заняты; какие же в них остались вещи после расхищения неприятельскими войсками, при сем имею счастье Вашему Императорскому Величеству представить описи. Вдовий Кудринский дом, как я уже всеподданнейше доносил Вашему Императорскому Величеству, совершенно сгорел. Во всех оных домах поставлен от меня нанятый караул, а во Вдовий Лефортовский дом перешел для жительства смотритель Мирицкий. Больница бедных от французских раненых очищена. Павловская больница от пожара сохранена, но потерпела некоторым образом от расхищения и была занимаема французскими ранеными, коих ныне в ней нет; подробные же донесения о сих двух заведениях имел счастье Вашему Императорскому Величеству представить от имеющих за оными особливый присмотр главного лекаря Оппеля и смотрителя Носкова.

Все оные заведения, как равно Воспитательный дом и принадлежащие к нему части, поручил я осмотреть архитектору Жилярди и подать подробное описание о состоянии и приведении их в порядок.

Во всех поступках моих при сношениях моих по Дому с французским начальством, как по долгу присяги моей, так и по собственной, свойственной всякому русскому дворянину приверженности к законному своему Государю, старался я всегда показать твердость духа и неустрашимость и во всем сохранить пользу государственную, полагая, что лучше умереть с честью за свое отечество, нежели быть предателем своего Государя.

Не могу я также Вашему Императорскому Величеству умолчать о трудах бывших при мне во все смутное время Коллегии иностранных дел коллежского советника Михаила Шульца, родного брата служащего в Доме бухгалтера Карла Шульца, и московского купца Горна, лишившихся в несчастное время всего своего имения и снискавших у меня пристанище, которых употреблял я с большою пользою для письменных и словесных сношений с французским начальством, равно и нашего эконома Христиани двух сыновей, коллежских регистраторов Франца и Петра Христиани, и 14-го класса Николая Бушуева, знающих также французский язык, показавших свое усердие при каждом случае, способствовавших переводом мне во французском языке, коих поручаю я в Высокомонаршую Вашего Императорского Величества милость.

В заключение, подношу у сего на рассмотрение Вашему Императорскому Величеству при реестре все выше означенные в сем донесении моем бумаги, а также копии со всех сношений моих с французским начальством, ответы оных и прокламации, ласкаю я себя лестною надеждою, что Ваше Императорское Величество примите сие мое донесение, писанное пером некрасноречивым, но исполненное духом ревности и усердия шестидесятилетнего

старца, к Престолу Царскому, со свойственным высокой особе Вашей снисхождением и простите меня в простодушии. Осмеливаюсь также всеподданнейше просить Ваше Императорское Величество принять со всемилостивейшим благоволением рекомендацию, мною подносимую, в прилагаемом списке подчиненных моих.

Всемилостивейшая Государыня,
Вашего Императорского Величества
На подлинном подписано:
Всеподданнейший

Иван Тутолмин
Ноября 11-го дня,
1812 года

Приложение

Ведомость, представленная И.А. Тутолминым Наполеону 6 сентября 1812 г.

Число детей	Муж.	Жен.	Итого
Грудных	123	152	**275**
От 1 года до 12 лет здоровых	93	114	**207**
От 1 года до 18 лет больных	49	55	**104**
Итого детей	265	321	**586**
В Родильных госпиталях:	**Муж.**	**Жен.**	**Итого**
Беременных	–	9	**20**
Родильниц	–	11	
Вдов с сиротами	–	10	**10**
Итого		30	**30**
Служащих	42	36	**78**
Кормилиц	–	214	**214**
Нянек	–	85	**85**
Рабочих людей	88	44	**132**
Итого служащих	130	379	**509**
Всего в Доме	395	730	**1125**

Тутолмин И.А. Подробное донесение ее императорскому величеству, государыне императрице Марии Феодоровне, о состоянии Московского Воспитательного дома, в бытность неприятеля в Москве 1812 года, начальника оного Ивана Тутолмина. 1860

ВСЕПОДДАННЕЙШЕЕ ДОНЕСЕНИЕ МОСКОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДЛЯ БЕДНЫХ ОТ ГЛАВНОГО ЛЕКАРЯ ХРИСТОФОРА ОППЕЛЯ

15 октября, уведомлен будучи от главного надзирателя Воспитательного дома Ивана Акинфиевича Тутолмина, что по благополучном вступлении в Москву российских войск есть возможность доставить Вашему Императорскому Величеству донесение о больнице бедных, Высочайше мне вверенной, принял я смелость Вашему Величеству всеподданнейше сим изобразить положение оного заведения. По Высочайшему Вашего Императорского Величества начертанию, больница бедных действие свое продолжать могла только до 4-го числа сентября, ибо с сего времени начали уже поступать в оную разные из французских войск больные, число коих ежедневно умножалось до того, что, наконец, оставшиеся бедные больные, мужеского пола 57, женского 75, всего 132 человека, французским правительством отправлены в Екатерининскую больницу, оставя их там без всякого пропитания и призрения; почему все, кои только могли, вышли мало-помалу из оной, и что с ними потом случилось, мне неизвестно. После чего больница бедных, яко организированное и всеми чинами снабденное место, к общему прискорбию нашему, вся обращена была во французскую военную гошпиталь, в коей более 300 человек всегда находилось, пользование коих нам же предоставлено было, и всякий из служащих остался на своем месте, выключая доктора Бема, который до вступления еще французских войск в Москву, по необходимой своей нужде, с позволения моего отправился из оной, но уже возвратиться не мог, и консультанта Гильдебрандта, который с прочими чиновниками Императорского университета выехал. Хотя, благодарение Богу, заведение оное общим нашим старанием и неусыпным бдением осталось в целости, но при всем том от потери некоторого количества казенного имущества избежать было невозможно; при том 3-го числа сентября старший лекарь Цировский, штаб-лекарь Рожалин и аптекарь Шрендер потерпели некоторую в их имении потерю от хищения французов, всех в больнице живущих, в крайнюю тревогу приводящего, и тем более меня, по причине приключившейся тогда мне сильной крапивной лихорадки, 4 дня в постели меня державшей. Бесчисленному в то время стечению народа в больницу дал я в ограде оной убежище, от пожара, грабежа и насилия спасения искавшего, хотя и не без страха, кото-

рый я тем более еще ощутить мог, когда среди пламени искал способа найти французскую охранительную для больницы стражу, в чем мне и удалось успеть. Оставлен будучи и при обращении больницы нашей в военную французскую гошпиталь главноуправляющим по медико-хирургической части, я до определения французского гошпитального директора весьма много претерпел досады и ропота от французских больных, ничем на свете не довольных и только к разрушению доброго порядка стремящихся, хотя, для избежания вреда и опасности, я и многие из чиновников жертвовали своею собственностью, когда малый наш казенный запас весь быль истрачен, и мы, сходясь вместе, способствовали, сверх сего, к содержанию охранительного караула, из 8 и 10 человек состоящего, чем мы пришли в крайнюю скудость, не будучи запасены и не имея чего-либо в виду достать. Французский директор после сие отменил и определил только для больных весьма посредственную пищу, а потом, по общему в том недостатку, уменьшил выдачу хлеба до того, что едва только жизнь поддержать больных было возможно; нашим же высшим и нижним чинам выдавал малое количество печеного хлеба, и то на одно только лицо каждого служащего, и понемногу испорченной говядины. Все это, однако же, всеми получаемо было, по одной только невозможности достать что-либо съестное. Утомлен трудами и снедаем печалью, каждый добросовестный служащий уповал только на Бога, не предвидя себе спасения, а имея везде пред глазами одни только буйства и следы грубого безначалия. Казенные лошади были уведены драгунами итальянскими с телегами и сбруею, и, вопреки приказанию французского коменданта больницу бедных, яко военную их гошпиталь иметь в уважении и неприкосновенности, и, не взирая также на охранительные билеты и бумаги, делали всякого рода насилия. О казенном белье и другом иного рода имуществе, что ими похищено, и что осталось налицо, смотритель больницы не преминет доставить подробную ведомость. Благоустройство и чистота больницы, и главными французскими медиками и хирургами выхваляемая, к горести нашей, совсем были испровергнуты. От множества больных и многих в коридорах валявшихся и изнурительными поносами одержимых, от их неопрятности и самовольства, воздух сделался испорченным и заразительным, от чего, кроме других, штаб-лекарь Рожалин и лекарь Стрелецкий сильно занемогли и теперь еще не выздоровели. Помогать же больным должным образом, по причине великого недостатка и в пище и лекарствах, нечем было, ибо французское правительство оным скудно снабжало.

С 4-го числа октября начали они больных своих, вероятно, по причине приближения казаков, выводить в Воспитательный дом; а 6-го занимались этим чрез всю ночь, покинув у нас до 40 человек, из числа коих теперь еще в больнице находятся вообще 35. По выходе больных наша опасность и страх тем более еще увеличились, что остались без военной защиты в поле; почему многие из больницы начали было уходить, не надеясь на собственный караул наш, ибо везде видимы были только пьяные и самовольные люди и вокруг беспрерывная стрельба. Поутру 8-го числа увидали мы, благодаря Всевышнего, первого казака, чрез больницу проскакавшего; но французский пехотный отряд,

нечаянно появившийся, усмотрев его, начал по нем стрелять. Казак ускакал, но, к общему нашему сожалению, штаб-лекарь Девитте, идя в больницу, в то самое время был подстрелен от них сквозь оба бедра пулею на вылет и повержен на землю. В это время и другие из чиновников на дворе были и старались от страха кой-куда укрыться. Раны, однако же, больного не совсем опасны, и надежда к выздоровлению предвидится; кроме сего, у старшего лекаря Щировского пролетевшая в окно пуля попала в шкаф, в комнате стоящий. Робость и недоумение тогда объяло души всех и каждого, доброго и трезвого, и единое только мое присутствие могло остановить разрыва домашнего нашего состава. Кратко сказать, дни смятения, ужаса и отчаяния во все время, как от пламени, всю почти Москву в глазах наших пожиравшего, так и от прочих многочисленных, словами не изобразимых, бедствий, останутся в душах наших вечно неизгладимы. 9-го числа казаки, приехавшие в больницу, начали обирать французских больных, и когда начали мы просить о снисхождении к больным, то они мне и прочим не только пиками и саблями угрожали, но и взяли меня с собою. За мною последовал смотритель больницы; привезли нас в пикет к г. майору Победнову, который, узнав обо всем и увидя из Высочайшего указа, по коему мы тут остались, превежливо со мною поступил и, приказав нас с конвоем без вреда и обиды проводить обратно, советовал нам, однако, выехать немедля из города, поелику защитить нас и заведение он теперь еще не в силах. Таковой совет, по мнению общему, стоит всякого уважения, и я уже не отваживался более останавливать кого-либо, хотящего спасаться выездом, почему все наши чины, истратив последнее, к тому устремились. К сему наипаче понудил слышимый и видимый, в ночи с 10-го на 11-е число, страшный и необыкновенный треск и гром с огненными и дымящимися столбами в стороне Кремля города. Потом я словесно и письменно советовался с главным надзирателем Иваном Акинфиевичем Тутолминым, который полагал, что, как, по-видимому, наша опасность минуется, лучше оставаться на своих местах. Впрочем, письменно предоставлял на мою и прочих желающих волю выехать или нет, выключая смотрителя Корышева и надзирательницы Щировской; но как он при том меня уведомил, что г. генерал-майор Бенкендорф с гусарским полком уже в Москве в должность коменданта вступил и Воспитательному дому дан уже караул, то на место горести и отчаяния нашего заступила общая радость. Мы все остались на своих местах, и те, кои на сих днях в близости от Москвы укрылись было, опять явились и являются. Потом сам я был у коменданта, который со своей стороны всевозможное пособие для сего заведения мне обещал. Хотя у нас ни медикаментов, ни припасов никаких нет, но при всем том, колико возможно, учредил я паки перевязку российским раненым, в Александровском институте оставшимся; а что впредь случиться может, не премину о сем доносить, равно о трудах, достоинстве и поведении всех и каждого в свое время, по Высочайшем востребовании, буду иметь счастье доставить подробное донесение.

Повергая себя к священным стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше осмеливаюсь только просить о всемилостивейшем отпуске

некоторых чиновников, как для отыскания их семейств, от бедствия и ужаса из Москвы бежавших, так и ради необходимых их нужд, наипаче смотрителя Корышева, отпустившего жену свою нездоровую, в числе коих и я, по объясненной причине, а особливо по расстроенному моему здоровью, считать себя нахожусь принужденным.

28 сентября французское правительство, видя больницу бедных благоустроенною, особенно ее назначило для 4-го корпуса, и потому крайне напрягалось, колико только можно более положить больных в оную, против чего я всеми силами противостоял, представляя ему от того вред, как собственно для самых больных, так и для врачей и всех, в доме живущих, то комиссары их, о умножении более мест, приговаривали занять для сего даже и наши квартиры, что крайне нас опечалило, но граф Дюма, генерал-интендант французской армии, был у нас и, крайне будучи доволен, видно, к сему не допустил, ибо более о сем не только не было речи, но даже приказано было впредь в коридорах больных не класть, а только на убылые в палатах места принимать, что, однако же, не было строго исполняемо. При всем том, не удовлетворясь числом наших 220 кроватей, взяли они еще из Екатерининского института, распределив оные по палатам. Сверх сего на полу еще положили больных, дабы более поместить можно было. Генерал Нарбон осматривал также нашу больницу и, выхваляя нас и труды наши, объявил нам, что он не преминет тот же вечер о нас и о нашем о французских больных попечении донести императору Наполеону и что нам непременно жалованье определено будет; но всякий из медицинских чиновников верноподданническим усердием исполнен, помня долг чести и присяги, гнушался оным, почему я, именем всех благодаря его за то, от оного отрицался, представляя, что мы, по нашему месту и настоящей службе, жалованье имеем и другого ни от кого не желаем, а просим только, по невозможности чего-либо съестного достать, о нашем содержании, о защите заведения самого и безопасности всех и каждого, в доме живущего, в чем он удостоверил. По приближении войск российских напоминали они, что, по крайней мере, 4 из медицинских наших чиновников возьмут они в Кремль, где неприятель вознамеривался было учредить гошпиталь, и для того все ему нужное из больницы бедных ночью на 5-е число октября велел взять, но сие чрез час опять отменено, при каком случае 28 наших байковых одеял пропали. Потерю сию разыскать никакой не было возможности. Если бы российские войска не так сильно и поспешно их потеснили, то едва ли бы они избегли горестной участи быть с ними в Кремле. Тогда они скоропоспешно отправили своих больных в больницу бедных, а в Екатерининском институте находившихся – в Воспитательный дом.

Шереметевский Странноприимный дом и Голицынская публичная больница исключительно были определены: 1-я – для гвардии, 2-я – для офицеров, из коих некоторых от нас, вначале к нам вступивших, туда отвезли. По порядку больничному, ежедневно я должен главному французской армии доктору барону Деженету посылать ведомости о числе внутренними болезнями одержимых больных, но о раненых или вообще наружными болезнями

одержимых французский генерал-хирург барон Лярет[1] того не требовал. Страх наш в течение нашего несчастия тем более усугублялся, что французы, вокруг нас стоящие, как и везде, без разбору места раскладывали огонь, со свечами без всякой осторожности ходили по конюшням, повсюду поступали в сем случае не только самовольно, но по-злодейски. Единое милосердое Провидение нас от пожара охранило, ибо вся бдительность наша не была бы достаточна.

Во время бытности в больнице французов привезено ими было несколько половинок неваляного сукна и несколько аршин толстого холста, для хранения, что у нас и осталось.

Как оба института[2] остались без начальства в начале и к концу несчастия, по прерванному между ними и Воспитательным домом сообщению, то, что я для пользы обоих сих заведений с моей стороны делать мог, не упустил, оставленный же в Екатерининском институте 14-го класса Яков Перфильев, за неимением начальства, всегда относился ко мне и приказанное с усердием исполнял, когда только сие ему было возможно, почему он и заслуживает полное мое одобрение. Равным образом не могу не упомянуть с особенною похвалою о московском уроженце, часовом мастере Иване Рингеле, после пожара и грабежа с женою и детьми убежавшем в Александровский институт, российскими ранеными наполненный, которых мы множество, до вступления еще французов, в больнице с утра до ночи перевязывали и иным операции делали, и те, кои ходить к нам не могли, были особенно мною препоручены штаб-лекарю Строкову, на то охотно готовность оказавшему, дав ему надлежащую и зависящую от меня в людях и медикаментах подмогу; сверх сего, оных раненых содержали мы, сколько нам было можно, на собственном нашем хлебе, пока со двора выходить нам можно было. В это время штаб-лекарь Строков, видя доброе упомянутого Рингеля расположение к раненым и хорошее его свойство вообще, определил его от себя вроде смотрителя, но непослушание и неповиновение к нам и к нему и совершенный недостаток в людях и многих необходимых способах, для наблюдения даже чистоты и порядка, не допустили его и нас самих успеть по желанию и усердию нашему. Впрочем, показанный Рингель, приняв оставленный французами малый съестной припас, с 5 по 20 сего октября месяца продолжал раздавать больным ежедневно, по соразмерности оных, пока весь вышел. Притом сохранение некоторого церковного и казенного имущества от французов единственно великому его усердию приписать должно. При сем случае я особенным долгом почитаю упомянуть об отличном усердии штаб-лекаря Строкова, оказанном им российским раненым в институте, и его старании, сколько только было возможно, преодолеть неудобности, при перевязке встречающиеся. В сем общем деле с усердием способствовал

[1] Правильнее – Ларрей.

[2] Имеются в виду Александровский и Екатерининский институты, эвакуированные накануне вторжения в Москву неприятеля.

нам отставной штаб-лекарь, коллежский асессор Иван Оберлинг, лишившийся от пожару почти всего и убежавший от бедствия к зятю своему, провизору Штейтеру. По выступлении французов, как скоро только безопасно выходить было можно, он, Строков, с тем же усердием, паки больными занимался, купно с волонтером, Медико-хирургической академии лекарем Шитцом, получая к сему делу ежедневно поутру и ввечеру по пяти фельдшеров; но только вышеупомянутый, чувствительный в нужнейших потребностях, недостаток и неимение над больными законного начальства препятствовали премного в успехе нашего и Рингеля об них попечения, хотя оное при всем том без явственной пользы не могло остаться.

Мраморный бюст Ее Императорского Величества, Всемилостивейшей нашей Государыни, перенесли мы из Александровского института в больницу бедных, и таковой же в Екатерининском бывший, в саду того института найденный, отдан на сохранение тут определенного упомянутого Перфильева, много в течение сего времени потерпевшего.

Французский в больнице бедных директор, взяв из Александровского института портрет, вероятно, покойного г. Бецкого, мне оный отдал, который тот же час мною был в зале собрания спрятан, где все, что есть и было, осталось в целости, ибо мы всячески скрывали от них эту комнату, и не открывали, и они, принимая дверь оной, вероятно, за фальшивую, никогда того и не требовали. Кроме сего, спасена из Екатерининского института испорченная, но прекрасной работы электрическая машина и из Александровского – несколько мебели. За два дня до выступления французов выдал их директор всем рабочим людям и сидельницам каждому 2 руб. 50 коп. медными деньгами. Описав таким образом главнейшие оной больницы происшествия во время бедствия и опустошения Москвы, имеем мы долг возблагодарить Всевышнего, миловавшего столь явственно заведение, благонамеренностью Милостивейшей Государыни для призрения страждущего человечества устроенное, и молить, да продлит Он благоденствие Высокой оной Покровительницы, в материнское коей попечение и милость я, со всеми мне подчиненными, с глубочайшим благоговением себя препоручаю.

Всемилостивейшая Государыня, Вашего Императорского Величества

На подлинном подписано:

всеподданнейший Христофор Оппель

Москва

Октября дня,

1812 года

Тутолмин И.А. Подробное донесение ее императорскому величеству, государыне императрице Марии Феодоровне, о состоянии Московского Воспитательного дома, в бытность неприятеля в Москве 1812 года, начальника оного Ивана Тутолмина. 1860

ПИСЬМО СМОТРИТЕЛЯ ПАВЛОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПАВЛА НОСКОВА Г.И. ВИЛЛАМОВУ

28 октября 1812 года, Москва

Милостивый государь Григорий Иванович.

Два Высочайшие Ее Императорского Величества повеления, первое от 26 августа по случаю отбытия главного директора, Его высокопревосходительства Александра Михайловича Лунина, из Москвы с утверждением приказа во всех статьях и исключением, чтобы платеж требовался за больных вперед только за один месяц не бо лее, а за достальное время, если пролежат долее, взыскивать по излечении больного, как и прибавление платежа с оных не делать, и 2-е, от 18 сего месяца, требующее подробного донесения о нынешнем положении Павловской больницы во всех отношениях со времени пресечения сношений, удостоился я получить 25 сего месяца. По содержанию которых Вашему превосходительству всепокорнейше объясню, что о получении и исполнении Высочайшего от 26 августа повеления, приготовился я 2 сентября с приложением по Павловской больнице за август месяц ведомости моим, милостивый государь, к Вам отношением, но по выбытии того числа в 5 часов утра из города почтамта в отправлении остановлен, почему ныне за август и сентябрь месяцы две ведомости включаю. Присовокупляя и о происшедшем по Павловской больнице со времени вступления неприятеля в город мое донесение.

К 1 сентября больных находилось 55, но сего числа и 2-го поутру в доме господами взятых 32 человека, а затем 13 мужчин и 10 женщин, в числе 23 остались при занятии неприятелем Москвы в больнице, при коей все принадлежащие чины были, кроме священника, выпросившегося у меня последними днями проводить в деревню свою жену, и чаятельно по опасности возвратиться в город не успел, да 2 старшего и младшего фельдшеров, самовольно отлучившихся и в больницу доныне не прибывших.

2 сентября, в 5 часов пополудни, неприятель из польских войск, в авангарде бывших, расположился в предместии города не далее 200 шагов от больницы, и окончание того дня было тихо и спокойно, а в ночи во 2-м часу пришли в больницу 3 польские офицера и 15 рядовых с большими восковы-

ми церковными свечами и, пришед в оную с дежурным фельдшером, спрашивали, где живет аптекарь, к которому тот их и проводил; они, разбудя его, требовали, чтобы их накормить и дал чего-нибудь выпить; когда все сие для них приготовлялось, рядовые начали повсюду бегать и что находили укладывать в мешки ими принесенные, но как аптекарь просил офицеров, чтобы они до того не допускали, они приглася их с собою пить, от наглости поудержали, а пробывши времени до $1^1/_2$ часа, пошли обратно в лагерь.

3-го числа поутру, в 11 часов, отряд польских войск, из 200 человек состоявший и потом более умножившийся, стремительно вбежал на двор больницы и, ворвавшись в дома служащих, начал уносить вещи и ломать мебель, а другие у кладовых, сараев и магазейнов – сбивать замки; все съестные казенные и у служащих хранящиеся в домах припасы, лошади, упряжь, экипажи, фураж, дворовый скот и птица были забраны, и я остался по разграблении в одном платье на мне бывшем; в сие время ни увещания, ни угрозы, что будет принесена их начальству жалоба, не могли удержать неистовства сих грабителей; они при малейшем упорстве обнажали сабли и грозили изрубить всякого. Неизвестность, у кого сии войска находятся в команде, а более повсюду скитавшиеся по улицам солдаты, обкравшие с проходящих платье и обувь, угрожали опасностью искать их начальника. Предвидимое же от буйства сего народа всему расхищение заставило презреть угрожавшее бедствие, а узнав наконец от их офицера, что генерал Фишер, ими командующий, не в дальнем живет от больницы расстоянии, пошел я с доктором просить его о защищении, который по неотступной просьбе нашей и дал охранительное письмо, а после – одного рядового в обеспечение; но сие делало весьма слабое пособие, ибо часовой, имея притин[1] свой при больнице, не мог в прочих местах воспрепятствовать многолюдству, грабительством занимавшемуся, да и войска, ежедневно переменявшиеся, состояли под начальством других генералов, а пользуясь позволением от оных похищать все ими найденное, не имели к таковым запрещениям и уважения. По счастью приехавший маршала Лефевра герцога Данцигского адъютант Бойе с обозом, имевший при оном из гвардейских гренадер караул, занял для ночлега маршала в больнице комнаты, который, не заезжая однако же, проехал прямо в Петровский дворец, а 8 его адъютантов ночевали в том покое. Ночь сия при защите квартировавших и караула могла бы дать несколько отдыха, но при сильном ветре пламенем объятая Москва и приближавшийся по ветру огонь наполнял всех ужасом, чтобы и сие заведение не обращено было в пепел; все служащие провели ночь в страхе и отчаянии. Спасавшиеся же от пожара люди бродили по улицам и садам толпами, где последнее от оных платье и кусок хлеба, служивший для одного дня пропитанием, злодеями были отбираемы; многие семейства прибегнули с малыми детьми просить в несчастном жребии их покрова, в чем и не отказано, да и возможно ли в бедственном таком положении не дать помощи погибающим. Они не забудут никогда

[1] Устар. 1) Караульный пост. 2) Место, где находится такой пост.

сего священного пристанища и, пролив слезы, возблагодарят Богу и премилосердной матери их сохранившей.

В 5 ч., когда адъютанты маршала Лефевра намерены были переехать в Петровский дворец, просил я о защите больницы, на что они отвечали, что мне непременно должно явиться к самому маршалу, который в пособии таковом верно не откажет, и если я намерен сие сделать, то могу вместе с ними туда отправиться. В самое время со двора выезда их обоза вбежали из поляков шесть человек в хлебопекарную, из коих один с ножом кинулся на ключника, а другой, имевший в руках 10 патронов с порохом, начал зажигать строение; на шум от того, во всем доме происшедший, взял я одного из гренадер, который, догнав убегавшего зажигателя, одним ударом опрокинул его на землю, обыскал патроны при нем бывшие и, связав руки назад, повел с обозом в лагерь, куда и мы с доктором пошли вместе. По прибытии в квартиру маршала Лефевра, сказано нам было чрез его адъютанта, чтобы мы именем его просили обер-гофмаршала Дюрока, имевшего жительство в Петровском дворце, до которого гвардейским солдатом и были провожаемы и дожидались до 11 часов вечера. Наконец он вышедши спросил, чего мы хотим; и на просьбу, чтоб не оставил больницу без защиты, презрительно отвечал, что до него сие не принадлежит, велел нам тотчас выйти, приказывая часовым более к нему нас не допускать; после чего в толь позднее время и должны мы были одни, без провожатого, с большою опасностью до квартиры маршала Лефевра проходить весь лагерь. Маршал принял нас благосклонно, приказал адъютанту, чтоб при нем же написал к маршалу Мортье герцогу Тревизскому письмо, и когда тот занялся писать, он, оборотясь ко мне, говорил, что он удивляется, что при всех строгостях, употребляемых им с зажигателями, оные могут укрываться и продолжать сии гибельные действия, упомянув притом, что приведенный при обозе его поляк, в зажигании больницы пойманный, завтра же расстрелян будет; потом, подписав и запечатав письмо, отпустил нас. Опасаясь поздним временем возвратиться в город, ночевали при обозе его на поле, и поутру на другой день пошли отыскивать дом маршала Мортье, который еще в город не приехал, а возвратясь в больницу, нашли с обозом его адъютанта Пиньятелли; он, приняв письмо, взялся доставить сам к маршалу и оставил из бывшего гвардейского караула капрала и семь рядовых, бессменно целый месяц при больнице после того находившихся.

С 8 сентября больница начала замещаться ранеными французскими офицерами, числом 23 сперва положенными, а потом и 71 человеком рядовых; сии последние находились не более недели, ибо, по осмотре больницы приехавшим главным по медицинской части бароном Ларреем и после генерал-интендантом графом Дюмасом, все солдаты были переведены в учрежденную при университете больницу, как и русские больные приготовлены уже были к переводу в Екатерининскую госпиталь, но, по убедительной просьбе моей к военному комиссару, остались на месте. Назначение же приема впредь последовало одних только офицеров, которых в продолжение 5 дней

и помещено сверх имевшихся 23 офицеров до ста человек, в числе коих положен был и раненный в правую ногу контузиею 1-й артиллерийской бригады роты полковника Глухова поручик Греч, захваченный французами по занятии Москвы в плен и оставленный по вывезении всех больных в сей больнице, который от последовавшей гнилой горячки 22-го числа сего месяца умер.

Пища на больных выдавалась, по назначению военных комиссаров из передовых частей, худой говядины по фунту и хлеба из ржаной муки просеянного столько же весом; огородная овощь для варения супа: картофель, репа, морковь и капуста собирались рабочими в больнице по соседним огородам; питье больных состояло из декохта[2], а с 23 сентября по 10 октября на каждого отпускаемо было по полубутылке виноградного вина. Неудовольствие сих больных получением худого содержания, к начальству их доходившее, всегда принимаемо было без внимания и с единственным ответом: что лучшего иметь невозможно и им должно посему быть довольными.

Из всех бывших в пользовании французов раненых и другими болезнями положенных, с 8 сентября по 10 октября умерших было один офицер и двое рядовых. Отправление из госпиталя остальных в Польшу по Смоленской дороге начато: первой половины – 9 октября, а последней – 10 октября поутру, из них в больнице оставлен один больной из немцев лекарь Бортман. С отправленными больными взяты тюфяки, одеяла и разного белья, в приложенной ведомости означенные.

За бывшими при больнице французскими медицинскими чинами и аптекарями доктор, аптекарь и надзирательница были употребляемы по их должностям безотлучно, и еще сверх того находился directeur surveillant[3], записывавший входящих и выздоравливающих больных, внутренность же управления домом, довольствованием пищею и употреблением при больнице служителей предоставлено было мне. Беспорядок, нечистота и своевольство, больным офицерам позволенное, заставляли переносить много беспокойства, и нужно было скрыть терпимое нами состояние, в отвращение опасности, от мщения возродиться могущей, ибо до выхода гарнизона из Москвы больные французские офицеры беспрестанно нам твердили, что все оставшее еще в городе предастся сожжению и разорению, но милосердием Божиим от того избавилось, и мы спасены.

Кроме упомянутого лекаря Бортмана, больных русских ныне находится 23 человека; из бывших в сентябре месяце 23 умер один и 4 выздоровели; в октябре прибыльных шестеро; в пребывание здесь неприятеля, они получали суп из картофеля со снетками и по два фунта ржаного хлеба, нами им уделяемого. С 12 же сего месяца порция начала производиться по-прежнему из покупаемой вольными ценами провизии, которая по выступлении неприятеля для жителей Москвы с того числа из деревень и ближайших городов в

[2] Декокт (*мед. устар.*) – отвар из лекарственных трав.
[3] *Фр.* главный надзиратель.

продажу привозится, и есть надежда, что подрядчики в скором времени прибудут и условленными ценами провизия доставляться будет. Медикаментов, за многим употреблением, может служить с малым прибавлением на пользование 50 человек до января месяца. Недостаток дров, которые излишнею топкою покоев употреблены и в разные места солдатами неприятельскими растаскиваемы были, можно будет по наступающему зимнему пути сделать заготовление.

Все больничное деревянное строение, как служащим принадлежащие покои, сараи и амбары, которые проходящими беспрерывно войсками были занимаемы и небрежительно поступавшими, много повреждено, и заборы стоявшими на биваках солдатами во многих местах на раскладывание огней разломаны.

Больничный каменный корпус, церковь со всею утварью и денежная сумма находятся в сохранности.

13-го сего месяца приглашенным из Данилова монастыря священником отправлена в больничной церкви литургия и молебен с коленопреклонением и принесением со слезами благодарения Богу, спасшему нас от врага, гибелью на все угрожавшего. 14-го совершено было также богослужение с прошением о здравии Ее Императорского Величества и милосердия Бога, дабы даровал нам под высочайшим и благотворным Ее Величества покровом, от преисполненных благоговения и приверженности сердец приносить ему всегдашние благодарения.

Заботливость, попечение и прилежное исправление должностей доктора, аптекаря и надзирательницы подает мне смелость отдать должную в сохранении порядка и старания их справедливость и покорнейше просить Ваше превосходительство таковое усердие их принять в милостивое внимание. С совершеннейшим почтением и преданностью пребыть честь имею.

Милостивый государь,
Вашего превосходительства
всепокорнейший слуга
Павел Носков

Щукин П.И. Бумаги, относящиеся
до Отечественной войны 1812 года. Ч. 8. 1904



ДОНЕСЕНИЕ СВ. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СИНОДУ ДИРЕКТОРСКОГО ТОВАРИЩА МОСКОВСКОЙ СИНОДАЛЬНОЙ ТИПОГРАФИИ ТИТУЛЯРНОГО СОВЕТНИКА ПАВЛА ЛЕВАШЕВА

24 октября 1812 г.

В посланном мною сего 1812 года октября от 10-го дня из Михайлова города чрез почтовую экспедицию рапорте Святейшему Правительствующему Синоду представлено было о состоянии типографии по 27 сентября, но неизвестен будучи, означенный рапорт дошел ли до своего назначения, честь имею за казенною печатью вновь оный представить с известием о состоянии типографского дома по 24 октября.

Находя в Москве повсеместную из присутственных мест уборку дел и отправку их из Москвы и не видя ниоткуда предписания о типографской книжной казне и материалах, дал типографской конторе предложение в той силе, чтобы она благоволила представить конторе Святейшего Синода о том, в каком виде благоволено будет оставаться типографии. Ежели назначено будет отправлять оную из Москвы, то по замечанию потребно на подъем конторских бумаг, книжной казны, материалов и станов более 2000 подвод и десяти тысяч рублей. Типографская контора с прописанием сего предложения представила в тот же день конторе Святейшего Синода. Член оной конторы, Его высокопреосвященство, епископ Дмитровский и викарий Московский и кавалер Августин, возвращая лично господину директору и мне означенное представление, объявил, что контора Святейшего Синода не может дать из подвод того числа, ни денег на подъем типографии, присовокупя при том, что в сие время нет никаких бумажных сношений.

При возвращении из конторы Святейшего Синода господина директора и моем в типографию, объявлено было секретарю типографской конторы Пармену Яковлеву о учинении по сему предмету и о закрытии присутствия журнала, но сей не был предложен к подписанию, а почему – неизвестно.

31 августа я, видя в Москве необыкновенное движение и остановку продажею как съестных припасов, так и других вещей, предполагая из сего неприятные следствия, оставивши свой дом без всякого призора, перешел на житье в типографию для сохранения вверенных мне кладовых. Первого

числа сентября, укрепя, сколько возможно, двери в кладовых, приказал заклasть кирпичами частью окна и двери. Второго числа, видя, что караулы в городе на гауптвахтах, притинах и у будок везде сняты, чернь в буйстве своем таскает по улицам мертвое тело (Верещагина?) и чинит разные беспорядки, начал принимать последние меры для сохранения вверенного мне. Но вместо сего должен был обратить особенное внимание на конторские нужнейшие бумаги, прихо́до-расходные книги, зерцало и казенную печать, которые без всякого призора оставлены секретарем Парменом Яковлевым, который, как видно, занявшись собственною безопасностью, оставил вверенную ему часть без всякого внимания. По уборке бумаг и прочего, сколько я мог найти, должен был употребить все внимание и всю осторожность с некоторыми из мастеровых, пришедших из своих домов и квартир в дом типографский с имением и семействами. Они, как видно, вместе с чернью, разбивая питейные дома, приходили в нетрезвом состоянии и приносили из арсенала ружья и сабли. Дерзость некоторых из сих до того доходила, что они бегали по двору типографскому с обнаженными саблями и заряженными ружьями и изрыгали непристойные слова. Но ласкою, при помощи конторы типографской чиновников, оставшихся со мною в типографии, Дмитрия Синицына, Сергея Яхонтова, Ивана Николаева и фактора[1] Ивана Свиньина, успел я их успокоить. Вслед за сим последовало вступление войска неприятельского в Москву.

К вечеру французские солдаты, приходя к типографским воротам и прося хлеба, старались отбивать оные, но не успели. Четвертого числа вечером, ворвавшись несколько польских солдат в типографию, разграбили имущество мое и фактора Ивана Свиньина, которого ранили саблею в спину весьма сильно. В сие число ночью пожары, которых описать невозможно, достигали, при ужасном вихре, с трех сторон почти до самой типографии. Она находилась в величайшей опасности, ибо все почти окружающие ее здания горели; но при возможных мерах, принятых мною, расторопностью означенных выше конторских чиновников, фактора Ивана Свиньина, также пришедших и крывшихся от пожара оной же конторы чиновников Аверкия Сергеева, Николая Протопопова и помощью мастеровых, она спасена от огня.

Пятого числа я, известясь, что французским правительством издана прокламация, в коей сказано, чтобы из всех казенных мест, для безопасности их, подаваемы были известия управляющему городом о состоянии тех мест. Видя и слыша повсеместный грабеж лавок и домов и надеясь взять билет и караул для безопасности дома, утром в сие число пошел я к Кремлю с известием, в коем просил караула. Но в Кремль никто, кроме гвардии, не был впущаем. Сколько ни употреблял просьб караульному офицеру, зная несколько французский язык, сколько ни объяснял силу прокламации, но вместо всякого ответа оборачиваем был противу меня штык.

[1] В типографии: распорядитель всеми работами.

В четыре часа пополудни в сие же число большая партия солдат, из двухсот и более человек состоящая, отбивши ворота, ворвалась в типографию, разбила архив, книжные лавки, библиотеку, все кладовые, как с книгами, так и материалами, ограбила совершенно всех живущих в доме и отняла все припасы.

Шестого, седьмого и восьмого чисел большие партии солдат и черни входили беспрестанно в кладовые и мастерские покои[2], везде обыскивали и грабили. Остановить грабеж и вход в дом не было возможности, ибо входили с обнаженным оружием или с ломами и молотами.

Мертвые тела, лежащие на улицах, – доказательство буйства солдат и позволения данного им бить беззащитных граждан, которые хотели стать за свою собственность.

На 9-е число в полночь, с опасностью жизни своей, решился я осмотреть кладовые и, видя у всех дверей замки и задвижки сбитыми, призвавши типографского слесаря, сколько можно было, укрепил двери, запер и запечатал; двух же книжных лавок и бумажных кладовых, находящихся в доме графа Шереметева, ни осмотреть, ни запереть не мог. Ибо в первых жили солдаты, во вторых же поставлены лошади.

10-го числа, сделавши словесное отношение французскому коменданту городской части, вновь учрежденному, испрашивал позволения запереть означенные лавки и кладовые; но он, не сказавши мне ничего решительного и приказывая мне начать продажу книг в оных, снабдил меня билетом для безопасности моего лица и имущества, назвавши меня типографщиком. Сей билет ни к чему другому не послужил, как только к тому, что я, будучи обнадежен на субординацию военную французскую, показывая сей билет солдатам, входящим для грабежа, был бит несколько раз за сие.

С 11 по 27 сентября видел я ежедневно мучительные оскорбления от неприятельских солдат, которые или приводили с собою смердящих своих больных, или приходили и выгоняли меня из покоев, занимаемых мною, в коих располагались, или печь хлебы, или мыть и шить белье. Нередко случалось, что я принужден был ночевать с мастеровыми при станах или на чердаке. С 17 сентября не имел как я, так и живущие в доме почти хлеба. Картофель, которым из человеколюбия меня снабжали мастеровые, была единственная моя и их пища, но и сей, по недостатку хлеба у французских солдат, почти везде на дорогах был отнимаем у несчастных жителей Москвы. Чувствуя большое расстройство в здоровье, видя, что предстоит мне и им голодная смерть, слыша также, что остальные жители бегут из Москвы, и не находя средств, чем бы мог себя пропитать, ибо дом мой сгорел, имение разграблено, сверх того в типографии с 24-го числа даже не стали давать и дров, к коим приставлен караул французский и кои возили для отопления Кремлевского дворца. Почему для сохранения жизни и дабы иметь удобный случай довести до сведения

[2] То есть покои мастеров.

начальства положение типографии, 27 сентября вышел я из Москвы, дабы Христовым именем на дороге испросить хлеба. Наконец, отошедши от города сто девять верст, за Каширою в семи верстах, нашел человеколюбивого помещика Якова Михайловича Маслова, живущего в своем селе Кокине. Он снабдил меня необходимым платьем, дал мне покой и хлеб. Без сей помощи стужа и голод лишили бы меня жизни.

О состоянии типографии по 27 сентября честь имею донести: 1) На сколько суммою расхищено в книжных и материальных кладовых, библиотеке, книжных лавках и бумажных магазинах, неизвестно. 2) При станах и на чердаках находящиеся листы неоконченных книг, связанные в кипы и висящие на шестах, при обыске неприятельскими солдатами весьма много перемешаны, частью истоптаны, частью сожжены. Поляки и, по замечанию, жиды, входя ночью со свечами в сии мастерские, поджигали листы, висящие на шестах, но старанием мастеровых, живущих в тех покоях, тотчас были потушаемы. Видя таковое злонамеренное ухищрение врагов человечества и имени Христова, каждую ночь расставлял я караул из мастеровых, которые рапортовали мне, что иногда находили порох на лесах вновь строящегося корпуса типографии, иногда в дровах, иногда видели, как неприятельские солдаты стреляли в оные; 15 же сентября рапортовано мне было, что жена мастерового, мывшая белье на больных солдат, лежавших в покоях типографской конторы, нашла ночью в сенях оной небольшой бурак, наполненный порохом и залитый смолою, который тотчас ею брошен был в приличное место. 3) В наборных, как церковной, так гражданской печати, многие кассы рассыпаны, а реалы опрокинуты; в кладовой же лежащие вновь отлитые литеры, свернутые в картонах, весьма многие рассыпаны и раскиданы. 4) В рисовальной палате инструменты многие переломаны; в находящейся же при оной кладовой венчики всех видов весьма перемешаны, частью истоптаны, частью передраны, но все ли они, неизвестно. 5) В библиотеке из многих шкафов книги скиданы на пол. Учинить разбор как венчикам, так и книгам в библиотеке невозможно, ибо беспрестанно и везде ходят солдаты. 6) Матрицы и медные доски, хотя и вырыты из земли, куда они были спрятаны, но по замечанию не расхищены, разве малая часть матриц разнесена на ногах. 7) При оставлении мною типографии 27 сентября вверил я ключи от кладовых, запечатавши своею печатью, фактору Ивану Свиньину, доказавшему свое усердие, ревность и верность к службе в сие несчастное время, и снабдил его инструкциею, по коей он без крайней нужды не должен входить в кладовые. Ежели же необходимость заставит его отворить оные, должен иметь вход с шестью или семью свидетелями. 8) С 22-го числа комнаты, в коих помещена типографская контора, заняты постоем гвардейским капитаном и тремя французскими офицерами с шестью солдатами. 9) Получил я рапорт 2 октября на письме от фактора Ивана Свиньина с выходящими из Москвы, что по означенное число в типографии особенного ничего но происходило.

13 октября, известясь, что неприятель выступил из Москвы, чувствуя некоторое облегчение в своем здоровье, 18-го числа отправился в Москву. По приезде в оную, благодарение Богу, нашел типографию в том же виде, в каком ее оставил; кроме того: 1) что некоторые служащие и рабочий народ, живущие в доме, претерпевают крайний недостаток в хлебе, отчего нашел многих больных, а некоторые уже и умерли; 2) во время подорвания арсенала и части Кремлевских стен во всем доме в рамах стекла переломались, а в некоторых окнах разбиты и самые рамы; стены же и кровли все целы, кроме того, что в некоторых местах железная кровля пробита железными связями, летевшими из Кремля.

В отвращение голодной смерти я роздал рабочему народу хлеба и припасов, сколько мог его привезти с собою и сколько снабдил оными меня человеколюбивый помещик, у которого я имел жительство. Сверх того, купил еще семнадцать пудов муки, которой, надеюсь, станет на продовольствие несчастных дней на двенадцать, и ожидаю от человеколюбивого помещика Якова Михайловича Маслова пятидесяти пудов, за которую должен буду отдать деньги, когда начальство благоволит прислать оные. Видя при настоящем осеннем времени, сколько может переменная погода вредить книгам, материалам и самым станам, а также и живущие в доме типографском канцелярские чиновники и рабочий народ, лишившиеся своих домов, должны терпеть стужу, в отвращение того счел за необходимое вставить стекла в рамах в самых нужнейших кладовых и комнатах. Не имея в виду денег, ни казенных, ни своих, и узнавши, что имеет оные живущая в типографском доме госпожа надворная советница Марья Яковлевна Протопопова, испросил у ней под расписку триста пятьдесят рублей и послал из типографского дома нарочного для сыскания и покупки на первый раз в Коломну и прилежащие к сему городу двух или трех ящиков стекол, одного алмаза и мелу, которых материалов в Москве совершенно в продаже нет, да и не слышно, чтобы вскоре привезены оные были в Москву. Рапортовано мною было Святейшему Правительствующему Синоду, что в книжных лавках и бумажных магазинах, находящихся в доме графа Шереметева, при общем грабеже, двери были разбиты и поставлены в одних солдаты, во вторых лошади. Несмотря на отношение мое французскому коменданту по 12-е число магазины заняты были лошадьми.

По выходе неприятеля из города фактор Иван Свиньин и чиновник типографской конторы Николай Протопопов при помощи казацкой команды заперли как лавки, так и магазины, ибо русская чернь начала было грабить лавки и наклала несколько возов книг, но командою казацкою была остановлена.

Представляя все сие Святейшему Правительствующему Синоду, осмеливаюсь испрашивать присылки денег на вставку стекол и починку рам и печей во всем доме, на что потребно необходимо до тысячи рублей. Осмеливаюсь также донести, что денежное пособие канцелярским служителям и рабочему народу необходимо потому, что как те, так и другие, лишась всего имения,

претерпевают крайний недостаток в хлебе и, не видя помощи, должны будут для своего пропитания, оставя типографию, удалиться в другие города, что многие уже и сделали. От сего могут выйти последствия те, что типографский дом останется пуст; материалы, которые требуют скорой уборки, могут погнить и повредиться. Сего денежного пособия, надеюсь, довольно будет канцелярским служителям и рабочему народу третного жалованья без вычету впредь. Испрашиваю позволения у Святейшего Правительствующего Синода: 1) Мне, лишившемуся дома и почти всего имения, с семейством поместиться в типографском доме и в покой, занимаемый фактором. 2) Канцелярским служителям и рабочему народу, не имеющим средств отыскать и нанять квартир, также поместиться в оном же доме в мастерских и других покоях. 3) Поелику из типографского дома вывезены почти все дрова для отопления Кремлевского дворца, испрашиваю позволения вместо дров употреблять лес, заготовленный Кремлевскою экспедициею на постройку нового корпуса и лежащий на типографском дворе. Ежели же сего недостанет при имеемой быть дороговизне дров, нахожу выгоднейшим для типографии снять леса от нового корпуса и употреблять оные для отопления печей, тем нужнее сие учинить, что по неимению почти нигде дров в Москве, могут быть ночным временем с улицы расхищены сии леса и подвязи. 4) Осмеливаюсь представить о канцелярских типографской конторы служителях и факторе, находящихся в нашествие неприятеля в Москву в типографском доме и много пособствовавших мне в сбережении как капитала типографии, так и в сохранении при окружавшем оную ужаснейшем пожаре от огня, оказали особенное рвение и усердие к службе: коллежский секретарь Аверкий Сергеев, губернские секретари Дмитрий Синицын и Василий Попов, коллежский регистратор Иван Николаев, канцелярист Сергей Яхонтов, подканцелярист Аркадий Протопопов и чтец Николай Дмитров; отличное же усердие оказали служащий в означенной типографской конторе, коллежский регистратор Николай Протопопов и фактор Иван Свиньин, который подвергал жизнь свою величайшей опасности в сохранении капитала и дома, что доказывается тем, что он весьма сильно был ранен саблею неприятельским солдатом. Сим осмеливаюсь испрашивать особенного награждения. Что принадлежит до убытку, понесенного типографиею, надеюсь, что сей в сравнении капитала типографии не так велик, и не более простирается, по моему мнению, десяти тысяч рублей.

Дубровин Н.Ф. Отечественная война
в письмах современников (1812–1815). 1882





ПАМЯТЬ

ПИСЬМО А.И. ТУРГЕНЕВА КН. П.А. ВЯЗЕМСКОМУ

С.-Петербург. 27 октября 1812 г.

[...] Зная твое сердце, я уверен, что ты не о том, что потерял в Москве, но о самой Москве тужишь и о славе имени русского: но Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщения найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического, и зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит нам путь к Парижу. Это не пустые слова, но я в этом совершенно уверен, и события оправдают мою надежду. Война, сделавшись национальною, приняла теперь такой оборот, который должен кончиться торжеством севера и блистательным отмщением за бесполезные злодейства и преступления южных варваров. Ошибки генералов наших и неопытность наша вести войну в недрах России, без истощения средств ее, могут более или менее отдалить минуту избавления и отражения удара на главу виновного; но постоянство и решительность правительства, готовность и благоразумие народа и патриотизм его, в котором он превзошел самих испанцев, ибо там многие покорялись Наполеону и составились партии в пользу его, а наши гибнут, гибнут часто в безызвестности, для чего нужно более геройства, нежели на самом поле сражения; наконец, пример народов, уже покоренных, которые, покрывшись стыдом и бесславием, не только не отразили удара, но даже и не отсрочили бедствий своих (ибо конскрипции съедают их, и они, участвуя во всех ужасах войны, не разделяют с французами славы завоевателей-разбойников). Все сие успокаивает нас насчет будущего, и если мы совершенно откажемся от эгоизма и решимся действовать для младших братьев и детей наших и в собственных настоящих делах видеть только одно отдаленное счастье грядущего поколения, то частные неудачи не остановят нас на нашем поприще. Беспрестанные лишения и несчастия милых близких не погрузят нас в совершенное отчаяние, и мы преднасладимся будущим и, по моему уверению, весьма близким воскресением нашего отечества. Близким почитаю я его потому, что нам досталось играть последний акт в европейской трагедии, после которой автор ее должен быть

непременно освистан. Он лопнет или с досады, или от бешенства зрителей, а за ним последует и вся труппа его. Сильное сие потрясение России освежит и подкрепит силы наши и принесет нам такую пользу, которой мы при начале войны совсем не ожидали. Напротив, мы страшились последствий от сей войны, совершенно противных тем, какие мы теперь видим. Отношения помещиков и крестьян (необходимое условие нашего теперешнего гражданского благоустройства) не только не разорваны, но еще более утвердились. Покушение с сей стороны наших врагов совершенно не удалось им, и мы должны неудачу их понимать блистательнейшею победою, не войсками нашими, но самим народом одержанною. Последствия сей победы невозможно исчислить. Они обратятся в пользу обоих состояний. Связи их утвердятся благодарностью и уважением, с одной стороны, и уверенностью в собственной пользе – с другой. Политическая система наша должна принять после сей войны также постоянный характер, и мы будем осторожнее в перемене оной. Мы избежали еще другого зла, которым нам угрожали, но об этом я и намекать не хочу. Будет время, мы свидимся, любезный друг, и на развалинах Москвы будем беседовать и вспоминать прошедшее; но, конечно, прежде должно приучить себя к мысли, что Москвы у нас почти нет, что сия святыня наша обругана, что она богата теперь одними историческими воспоминаниями. Но есть еще остатки древнего ее величия: мы будем с благоговением хранить их. Я также потерял много с Москвою; потерял невозвратное, напр. все акты, грамоты, библиотеку[1]; но еще, право, ни разу не жалел об этом, еще менее – о другом движимом имуществе и о большой подмосковной. Нажитое опять нажить можно. Лишь бы омыть стыд нашествия иноплеменников в крови их [...].

Какой народ! Какой патриотизм и какое благоразумие! Сколько примеров высокого чувства своего достоинства и неограниченной преданности и любви к отечеству [...].

Каллаш В.В. (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. 1912



[1] У Тургенева было большое собрание материалов по русской истории.

М. ЕВРЕИНОВ. ПАМЯТЬ О 1812 ГОДЕ

Немного осталось людей, которые бы лично помнили о происшествиях 1812 года. По сему случаю многие из настоящих моих приятелей убеждали меня, как бывшего того времени свидетеля, написать то, что я мог видеть или слышать о происходившем тогда. Отговаривался я от того тем, что дабы описывать теперь о происшествиях, которым минуло 62 года, надобно быть одарену хорошею памятью, которой я похвастаться не могу, писать же непоследовательно одно за другим не будет интересно; притом мне ли писать на 86-м году возраста, тогда как в сии годы и способные люди перестают уже заниматься какою бы то ни было работою? Казалось бы, должно с сими справедливыми отговорками согласиться, но многие возражали мне: что за беда в том, если вы напишете некрасноречиво и непоследовательно, – все-таки найдется много любопытного. В юности моей мне всегда внушали, что послушание спасительно, а упрямство не только бесполезно, но и вредно; то, вспомнив сие правило, повинуюсь требованию желающих и стану писать как умею.

Начинаю с 1811 года. Не помню, чтобы когда-нибудь так много было увеселений в Москве, как в сие время. Кроме назначенных дней в неделю, как-то по четвергам у графа Льва Кирилловича Разумовского, по пятницам у Степана Степановича Апраксина, по воскресеньям у Ивана Петровича Архарова, остальные дни не оставлялись праздными: или у Марьи Ивановны Корсаковой, или у князя Федора Сергеевича Голицына, или у Нелединских, или у графа Федора Андреевича Толстого, или у Прасковьи Николаевны Бутурлиной были балы. Сверх того, сколько давалось представлений на театре прибывшими лучшими французскими актерами и знаменитыми артистами, танцовщиками и танцовщицами! Давались балеты; словом сказать, Москва вскружилась и нисколько не подозревала, что все это было предшествием тех туч, которые скоплялись над Россиею, подобно тому, как после светлого и знойного дня разражается сильная гроза. Никогда не был я страстным охотником до подобных увеселений, но, живя в том обществе, никогда не отказывался принимать в них участие, по известной пословице: «Нарекшись груздем, полезай в кузов».

[...] Тем временем буря на Западе начинала разыгрываться не на шутку. В сие время Наполеон с сильною армиею, со всеми почти европейскими народами, приближался уже к границам России, а наш Государь находился при лагере близ Полоцка, где июля 6-го издан им был манифест, в коем, между прочим, находились сии слова: «Неприятель идет разорять любезное Отечество наше. Не можем мы оставить без предварения о сей угрожающей опасности, да не возникнет из неосторожности нашей преимущества врагу. Первее обращаемся мы к древней столице предков наших, Москве. Она всегда была главою прочих городов Российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ее, из всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества для защищения оного. Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в древних государства нашего местах, для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устрояемыми на поражение оного везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую мнит он низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России».

По получении такового манифеста, как можно было не думать о своем вооружении? Обещание Государя стать посреди своего народа исполнилось 11 июля. Это был день именин матушкиных, и по сему случаю собралось у нас несколько гостей, в числе которых была и Мавра Ивановна Приклонская (сестра Якова Ивановича Булгакова). Брат мой откуда-то возвратился домой и сказал, что французы через неделю будут в Москву[1]. С Приклонскою от этих слов сделалась истерика, и она могла только кричать: воды, воды поскорее, и только вымолвить, что ее душит. Она развязала свой чепец и говорит, что ее душит и что брат мой ее уморил. Брат начал перед нею извиняться в том, что он так неосторожно поступил, прибавя к тому, что сказал только то, что говорят в Москве и что не можно верить всему, что говорят. Не знаю от чего, от держимого ли в одной руке ею стакана с водою, а в другой своего чепца или от успокоительных слов моего брата, только истерика миновалась и она, приблизясь к именинной трапезе, кушала не с меньшим аппетитом, как и прочие.

На другой день, то есть 12-го числа, назначен был выход Государя в Успенский собор. С раннего утра Кремль наполнился бесчисленным множеством народа, так что крыши покрыты были людьми, как говорится, что яблоку негде было упасть. Я не побоялся тесноты и довольно искусно пробрался к самым южным дверям собора, в которые должен был вступить Государь для слушания благодарственного молебствия по случаю только что заключенно-

---

[1] Источником слуха, надо полагать, были прокламации Наполеона, опубликованные в немецких газетах, откуда их позаимствовал и перевёл М. Верещагин (к этому времени уже арестованный графом Ф.В. Растопчиным). Списки этих прокламаций распространились вплоть до Саратова.

го мира с Турциею, столь благоприятного для сего времени. Во время шествия Государя из дворца в собор не умолкали крики, смешанные со звоном всех колоколов. Мне посчастливилось как-то поместиться близко Государя у дверей. За семь месяцев до сего видел я его совершенным красавцем, теперь же увидел его совершенно загоревшим, исхудавшим и с физиономиею печальною. Когда он приблизился к дверям собора, преосвященный Августин с крестом встретил его красноречивым приветствием. Государь вошел в собор с наполненными слез глазами. Преосвященный тогда же украшен был Александровскою лентою.

По окончании молебствия Государь изволил отправиться в Слободской дворец, куда за ним последовали представители всех сословий, где и начались пожертвования: дворянство предложило десятого человека со ста душ, купцы крупными суммами – и потекли миллионы рублей[2]. Демидов Николай Никитич и граф Мамонов обязались на свой кошт собрать и содержать два полка. Над Московским ополчением назначен был начальником граф Ираклий Иванович Марков, и все быстро потекло и закипело. Тогда и я по поданному прошению из прежней службы вместе с графом Николаем Алексеевичем Шереметевым были уволены и поступили в Демидовской полк, быв переименованы поручиками с ношением общего армейского мундира с золотыми эполетами. Мне велено было находиться при Демидове, полковником же при полку назначен был Александр Васильевич Аргамаков, а майорами – Петр Иванович Нейдгард и Петр Львович Демидов. Начался прием ратников, которых скоро обмундировали в казакины из простого сукна с шапками, украшенными крестами медными, и поместили их в Спасских казармах, обучали маршировать с оборотами и разным порядкам.

В таких приготовлениях прошел целый месяц. Известия из армии получались не совсем благоприятные: наши войска постоянно отступали, а французские – во внутренность России все далее углублялись с мечом и огнем, все сожигая и опустошая, что приводило всех в уныние и ужас. Некоторые на отступление наше начинали уже и роптать, а не ведали и не понимали того, с какою мудрою целью главнокомандующий Барклай де Толли действовал. Он заманивал неприятеля все далее, избегая генеральных сражений, потому что французские силы были гораздо многочисленнее наших; следовательно, мы, проиграв одно или два сражения, должны бы были им покориться, тогда как мы отступали и у нас еще оставалось в надежде, что вновь формирующиеся резервы во Владимирской губернии могли подкрепить наши силы.

Наконец, услыхали мы, что 6 августа и Смоленск после довольно сильного сопротивления был уступлен неприятелю. В сем сражении был убит двоюродный мой брат Александр Иванович Евреинов, служивший в лейб-гвардии, о котором, любя его, я горевал.

---

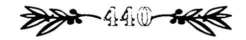
[2] Встреча Государя в Слободском дворце с представителями московского дворянства и купечества состоялась 15 июля 1812 г.

Жители же Москвы, по крайней мере, большая часть из них, полагаясь на успокоительные афиши, издававшиеся главнокомандующим в Москве графом Растопчиным, не спешили еще выезжать, а только, съезжаясь друг к другу, совещались, выезжать или ждать еще чего-нибудь, что последует, и куда ехать в случае крайности. Если бы подумали о сем ранее, то, конечно, могли все с собою вывезти; но когда подходило уже дело к концу, то не находили и лошадей для сего. Замечено мною было, что во все ночи, которые в то время были светлые, тянулись большие обозы, на которых начали вывозить сокровища, ризницы и царские драгоценности, также достопамятные бумаги из Архива иностранных дел. Одни отправлены были в Вологду, другие – в Нижний Новгород. Между тем не было заметно, чтобы Москва пустела, как будто ничего не было особенно опасного, близкого. Приметна только была какая-то суета на улицах.

Приблизилась и половина августа. Тогда Московскому ополчению повелено было выступить из Москвы. Все мы собраны были на улице против Спасских казарм и должны были дожидаться прибытия к нам преосвященного Августина, который, по прибытии к нам, отправился в близ находящуюся тут церковь, именуемую Спаса что во Спасской, взял оттуда хоругвь, возвратился к нам, отслужил молебствие с водоосвящением, обошел все ряды, окроплял всех святою водою, произнося: «Благодать святаго Духа да будет с вами»; вручил ополчению сию хоругвь и в напутствие сказал речь, каковые он говорить имел особенный дар. Народу было, нас провожавшего, несчетное множество, и мы, переменяясь, несли хоругвь сию чрез всю Москву до Драгомиловской заставы (хоругвь сия, простреленная, до сих пор сохраняется в московском Успенском соборе). Пройдя несколько верст за заставу, мы остановились лагерем в палатках. Со мною вместе находились молодой очень офицер Флегонт Николаевич Жеребцов и находившийся при мне человек Николай Федоров. Не помню, сколько мы тут простояли, но знаю, что вскоре велено нам приближаться к селу Бородину, в котором ожидала всех кровавая битва. Позиция сия была избрана новоприбывшим главнокомандующим графом[3] Михаилом Илларионовичем Кутузовым.

23 августа приблизили и нас к тому месту, где должна была разыгрываться страшная сцена. Встретив в небольшом леску какого-то полкового протоиерея по имени Василий, просил я его меня исповедать, что он немедленно и исполнил. 24 и 25-го числа происходила по местам большая перестрелка, как будто служившая приуготовлением к великому сражению. 26 же августа, с рассветом дня, открылся как бы самый ад с его ужасами. День сей можно назвать днем ужаса и смерти. С самого начала его до конца ни на секунду не умолкали и беспрестанно усиливались громы. Подробности сего сражения описывать трудно. Желающие знать о том могут обратиться к военным историям Михайловского-Данилевского или г. Богдановича, но и там встретят

[3] М.И. Кутузов к этому времени был уже светлейшим князем.



противоречия некоторые, по не совсем верным показаниям от находившихся в разных местностях. О дне сем можно только сказать, что он представлял какой-то смешанный хаос: кроме дыма, все затемнявшего, шума от командования и стона раненых, при не престававших ударах, мудрено было что-нибудь понять. Только и известным делалось, что о переходящих батареях из рук в руки. Дрались все насмерть, как разъяренные львы. Только и слышно было о смертельно раненных генералах или убитых. Из числа знакомых мне офицеров были убиты князь Грузинский, Римский-Корсаков, а о прочих уже не помню. Беспрестанно встречались ведомые или везомые, кто без руки, кто без ноги, или обезображенные, покрытые кровью, стонущие от боли и изнеможения. Ополчение в сей день принесло немалую пользу, заменяя много настоящих солдат, которые без того были бы отвлекаемы от своего дела. Поле все было усыпано ядрами и убитыми.

Лишь при наступлении благодетельной ночи начали удары ослабевать, и наконец все умолкло. Потеря людей с обеих сторон была ужасная, о каковой сделалось известно впоследствии: не досчитывалось у нас 60 тысяч человек, у неприятелей не меньше, если не более. Кто в сем деле остался победителем, сказать трудно. Одно только то, что за нами осталось место, на котором происходило сражение, а французы должны были отступить, доказывает, что не мы были побеждены.

По кратком отдыхе войска Наполеона двинулись к Москве, а наши войска к ней же начали отступать, к которой 31 августа и приблизились, остановясь недалеко от самой заставы. Тут было сделано новое распоряжение, по случаю множества убитых армейских офицеров, пополнять сии полки служившими в ополчении офицерами, и я прикомандирован был в 27-ю дивизию храбрейшего дивизионного начальника Неверовского, в 49-й егерский полк; товарищ же мой Жеребцов поступил в 5-й егерский полк (его я после уже не видал: вероятно, он впоследствии был убит). По прибытии нашем к Москве просил я дозволения у командующего полком полковника Кологривого отлучиться на одни сутки в Москву, чтобы узнать о матушке и о всех своих, где они находятся, и был отпущен 1 сентября. Проходя пешком через Москву, я ничего более не встречал кроме беспорядка и безобразия. Кабаки уже начали разбивать. Помню одного человека, выносившего из кабака несколько штофов, и чтобы их более захватить, он ими унизал себе все пальцы; другой, встретившийся с ним, начал их отнимать; первый, желая защититься и не отдать своей добычи, штофами размахнулся по его лицу: тогда вино, смешанное с кровью, полилось. Чем эта сцена кончилась, мне неизвестно, потому что я спешил к своей цели. Прибыв в дом, который мы занимали близ Сухаревой башни, я его нашел совершенно пустым, но узнал, что хозяин дома, тайный советник Николай Симонович Лаптев, который занимал другой этаж этого дома, еще тут находится. Я тотчас к нему отправился, чтобы узнать о матушке, когда и куда она выехала, и Лаптев сказал мне, что матушка еще 24-го числа выехала и пребывает до сих пор на Пехре, на 16 верст от Москвы (по Владимирской

дороге), в доме, принадлежавшем князю Михаилу Петровичу Голицыну, прибавив к тому: «Не знаю, зачем матушка поторопилась так уезжать; мы в одно время успели бы выехать, когда бы это понадобилось». При сем сказал я ему, что мне бы очень желалось повидаться с матушкою, но нахожусь в большом затруднении, потому что в настоящее время ни за что нельзя найти лошади, чтобы к ней съездить, что если бы он мог дать свою лошадь, то много бы меня одолжил, на что он и изъявил свое согласие. И так я отправился в ту же минуту на Пехру. Не нужно сказывать, сколь много приездом моим доставил я радости матушке и всем своим, потому что, не слыхав ничего обо мне, почитали меня убитым. Ночь вся прошла в расспросах и разговорах; а как на другой день рано надобно мне было обратно возвращаться к своему полку, то, не успев отдохнуть, отправился я в Москву. Матушку уверил я, что она преспокойно может оставаться тут, что все уверены, что Москву не отдадут, а если бы это и случилось, то и тогда можно успеть выехать. На возвратном моем пути я встретил множество экипажей выезжающих и не представлял себе ничего худого. Проехав далее, встретил я и всю пожарную команду с инструментами, выезжавшую из Москвы. И тут мне не пришло в голову, что ее вывозят для того, что решено отдать неприятелю Москву, каковое решение последовало уже после выезда моего из полка.

И так возвратился я в Москву и приехал в тот дом, который мы занимали, где увидел я старого нашего кучера Илью. По усердию своему он вздумал замазывать свежею глиною подвал, в который сложены были разные вещи. Тогда сказал я ежу: «Можно ли что глупее выдумать, что ты вздумал? Всякий поймет, что тут наверно что-нибудь спрятано: эта-то свежая глина и укажет на то». Но на деле оказалось, что иногда счастье бывает лучше рассудка; ведь подвал-то уцелел и все в нем оказалось невредимым, и вот отчего: нижний этаж дома, в котором наши люди помещались, был со сводами, и когда дом загорелся, то внутренность вся повалилась и засыпала свод, и подвал сохранился со всем в нем находившимся. После разговора с кучером зашел я к Николаю Симоновичу, чтобы поблагодарить его за одолжение, которое он мне сделал, и просил его вновь меня одолжить, дозволив на его же лошади доехать до места, где полк наш стоял. И в сем случае он мне не отказал. Простясь с ним, я мог только доехать до Драгомиловского моста, чрез который проезд был уже прекращен: он весь был загроможден пушками и пороховыми ящиками, так что и пешему с трудом надобно было пробираться. И так пошел я пешком до заставы, возле которой встретил коротко знакомого мне генерала Александра Ивановича Грессера, который, увидя меня, спросил меня, куда я отправляюсь, и когда я ему сказал, что иду к тому полку, из которого вчера был отпущен, то сказал он мне, что не советует мне туда идти, потому что я его там не найду. Я просил его объяснить мне, что все сие значит? Он только пожал плечами и отвечал мне, что он сам ничего не понимает, что такое делается. И как я никакого удовлетворения от него не получил и пожелал узнать что-нибудь подробнее, то решился пойти за заставу и встретил там кого-то, который еще сказал: «Вы,

может, думаете, что это наши войска? Нет, это французские колонны, которые сюда приближаются». Тогда надобно было уже возвращаться в Москву, в которой приметно было одно смятение.

Преосвященный Августин за несколько только часов до вступления неприятелей успел выехать из Москвы; взяв с собою иконы Божией Матери Владимирской, находящейся в московском Успенском соборе, и Иверскую из часовни, отправился он в Муром, в котором и пробыл до изгнания неприятеля из Москвы.

Мне же не оставалось более ничего делать, как усталому и голодному идти обратно, не зная куда. К сему присоединилась новая беда, как говорится: придет беда, так отворяй ворота. Она заключалась в том, что человек, бывший у меня со всем моим имуществом, у него сохранявшимся, пропал, так что я, оставшись безо всего, вынужден от заставы идти опять через всю Москву со всею армиею ко Владимирскому тракту, непрестанно спрашивая у солдат, не знают ли они, где находится 49-й егерский полк. На все мои вопросы я не получил другого, как: «Не могим знать». Делать было нечего, кроме того как продолжать путь с разных полков солдатами. И скорбь, происходившая от мысли об уступлении столицы, и усталость от пройденных в этот день столько верст, и голод, который я чувствовал, не вкусивши ровно ничего, – все это меня чрезвычайно утомляло. Пройдя еще несколько верст, увидел я на пригорке отдыхающих солдат, которые, захватив где-то несколько картофелю, подкрепляли свои силы, а как голод забывает и о стыде, то не посовестился я у них выпросить одну картофелинку, и они мне в том не отказали. В сем и заключился в сей день мой обед. Уверен, что милостыня их помянется перед Богом и вознаградит их. Отдохнув несколько, я продолжал свой путь, несмотря на большую усталость, опасаясь отстать от армии, и наконец, когда уже совсем смерклось, когда надобно было уже всем взять отдых, я неожиданным образом наткнулся на свой полк и мне указали на 49-й полк. Хотя я тому и обрадовался, но радость моя была не очень большая, потому что я, при увольнении моем за день тому назад, не успел еще ни с одним служащим познакомиться. Отыскав только полкового адъютанта, объявил я ему, что я к полку явился, на что он мне только и сказал: «Ну так что же? С нами и оставайтесь!» Не имея с собою чем одеться и была ли тут солома, не помню, но я как-то улегся. На другое утро объявлен был поход идти далее. В сей день, по крайней мере, роздана была порция вина и хлеба и варилась в котлах кашица, которою мы и подкрепились, а вели нас по разным дорогам, сворачивая часто с одной на другую, для того чтобы препятствовать неприятелю пробираться на Калужскую дорогу, к которой он стремился. Случалось часто, что придешь по сделанному назначению и думаешь, где бы остановиться и начать варить пищу, как вдруг получается приказ, чтобы с того места как можно скорее подвигаться в противоположную сторону: варившуюся пищу начинают выливать, котлы укладывать как можно поспешнее, и мы уходим со всем в другую сторону, а

вторично назначенной на сей день порции не выдают уже: питайся одними сухарями и водою. А случалось, что и воды иногда негде найти. Помню один раз, что пил воду с глиною, которая оставалась в колеях, потому что жажда утомляла. Хотя и много мы проходили земли в беспрестанных переходах, но все еще недалеко находились от Москвы, а потому могли видеть ежедневно зарево пылающей столицы. Погода несколько начала изменяться, а грунт земли, по которому мы проходили, по большей части был глинистый. Глина прилипала к сапогам, делала их тяжелыми и неудобными к ходьбе, а случалось часто делать эти переходы и в ночное время. Поскользнешься и упадешь в это густое тесто, весь перепачкаешься, а перемениться нечем. Так как я выше сказал, что человек мой пропал с имевшимся при нем моим чемоданом, в котором находилось мое белье и платье, то делать было нечего: надобно было все переносить и продолжать путь далее.

17 сентября мы очутились близко деревеньки Чириковой, где, подойдя к лесу (что было уже ночью), столкнулись в том лесу с неприятелями. Началась с ними перестрелка ружьями, которая, впрочем, не так долго продолжалась. Нами взят был в плен польский генерал князь Понятовский. На другой день пошли мы далее, и не помню, в какой местности проходил наш полк. Чувствуя себя слабым, я решился присесть на телегу, ехавшую за полком. Сидя на ней, я задремал и сквозь сон слышу, что меня зовут; просыпаясь, вижу, что передо мною на лошади стоит драгун и говорит мне: «Пожалуйте поскорее к фельдмаршалу, который вас дожидается на дороге». Вижу его сидящего с кем-то в огромных дрожках, окруженного большою свитою, адъютантами, драгунами и казаками, и когда я к нему приблизился, он тотчас сказал мне: «Я приказал, чтобы не было подвод при полках». Не зная, что отвечать, сказал я ему, что «подвода, которую Ваша светлость изволите видеть, только одна оставлена для больных». На сие он мне ничего не сказал, а кучеру своему приказал продолжать путь, я же возвратился к полку, не ожидав, чтобы так легко и благополучно мог от того отделаться, что меня порадовало.

Многими издавна уже замечено, что как беда не приходит одна, а всегда со свитою, так и радость, когда явится, то сопровождается другою. Человек мой наконец меня отыскал и объявил мне, что мое все имущество цело, что он, не зная, где я, и не надеясь меня отыскать, потому что не знал или забыл название полка, решился отдать мой чемодан на сбережение в обоз Николая Никитича Демидова. Когда я спросил его, где же находится Николай Никитич, он отвечал мне: близ Главной квартиры при генерале Беннигсене. Мне пришло тогда на мысль повидаться с Демидовым и просить его меня, измученного от всего того, что я претерпел, избавить, и не окажет ли он мне милости попросить барона Беннигсена вытребовать меня из полка к себе на ординарцы, что и было к моей радости тогда же исполнено. Тут я совершенно ожил, начал ночевать уже не в поле, а под крышею, хотя и в черных избах, которые, когда начинали топить, то мы ложились на постланную на пол солому, чтобы не плакать от дыму. Начали показываться и пирожки, и разные

закуски, о которых я забыл и думать, и когда появлялся Демидова столовый дворецкий с большим подносом, наполненным разными разностями, то бросались к нему, величая его вашею светлостью. Но главное, что меня радовало, это было то, что я очутился в самом приятном обществе, с образованными и прекрасно воспитанными людьми. В свите графа Беннигсена находились два брата князья Голицыны, Сергей и Александр Сергеевичи, два брата Алексей и Михаил Павловичи Ланские, сыновья Павла Сергеевича[4], Милорадович Владимир Николаевич, двоюродный брат знаменитого графа Милорадовича, граф Ираклий де Полиньяк[5], Андрейкович, зять барона Беннигсена (на сестре которого барон был женат), Дурнов Николай Дмитриевич, родной племянник Демидова, с которым я очень сблизился (впоследствии, в 1828 году он был генерал-майором и во время войны с турками был убит в Варне). Еще находились при Беннигсене Степан Алексеевич Вердеревский и князь Козловский, имени которого я не упомню.

Наступило 1 октября. С самого сего дня генерал Беннигсен не переставал каждый день ездить к фельдмаршалу, чтобы склонить его напасть на неприятеля, находившегося близ села Тарутина, под начальством Неаполитанского короля Мюрата, но фельдмаршал долго удерживался на разрешение сего и не прежде как только 4-го числа согласился. Из сего было видно, что Беннигсен успел убедить его представлением ему составленного им плана и что наступило самое удобное к тому время: тогда и фельдмаршал изъявил согласие, чтобы под главным начальством Беннигсена с несколькими корпусами приступить к атаке. Итак, возвратясь от фельдмаршала, Беннигсен объявил нам, чтобы мы к 7-му часу вечера готовы были сопровождать его, причем приказано было, чтобы как можно более соблюдалась тишина, дабы никак не могло быть слышно неприятелю, что мы приближаемся. И только что начало рассветать, открылась с нашей стороны атака. Первым неприятельским ядром унесло у нас храброго и достойного начальника 2-го корпуса генерала Багговута, которого не более как за четверть часа назад видел я разговаривающим с Беннигсеном. Что делать! Потужили и начали продолжать свое дело; а место Багговута, как старший по нем, заступил генерал-лейтенант Олсуфьев. С сим вместе отрадно было видеть, в каком беспорядке и смятении находился неприятель, вовсе не ожидавший такого внезапного нападения; они расположились в сие время, на разостланных по траве коврах, пить чай, при некоторых находившихся с ними женщинах; и как только они нас увидели, то опрометью начали бежать, сами не зная куда и не успевая ничего с

[4] Примечательно было то, что мать их, любя их горячо, везде за ними следовала и старалась как можно останавливаться близко от Главной квартиры.

[5] Вывезенный ребёнком из Парижа во время революции, воспитанный в России и служивший в Преображенском полку, нисколько не похож был на француза и в душе был русский человек, премилый и прелюбезный и притом был большой остряк. Брата его, почти вдвое старшего, дюка де Полиньяка, знал я уже в Петербурге, не имевшего с ним ни малейшего сходства: этот был совершенный француз. По окончании войны, кажется, они оба уехали во Францию.

собою захватить, так что и мне пришлось взять чашку с горячим еще чаем. Я вылил из нее чай и положил к себе на память в карман, как первую военную добычу; еще завладел я в богатом красного сафьяна с золотым обрезом переплете французскою библиею, с эстампами, вероятно, похищенною французами в Москве, может быть, из библиотеки графа Бутурлина, судя по богатому переплету. И как было не радоваться, когда в первый только раз во время всей войны в таком беспорядке неприятели бежали и беспрестанно были преследуемы со всех сторон, что продолжалось до самой ночи. Видимым образом сохранил меня в сей день Господь. Ехал со мною в то время Бестужев Сергей Иванович, как вдруг был поражен ядром; у него оторвало правую ногу, и он упал с лошади. Он и не был обязан даже быть в сражении, потому что служил аудитором, а поехал из одного любопытства. Как во время войны равнодушно смотрят на подобные случаи! Все только обернулись и сказали: «Это аудитор!» – и продолжали ехать далее; но мне стало жаль оставить его лежащего на земле и я поспешил доехать до близ находящихся казаков и приказал им отвезти его в ближайшую деревню, а сам догнал своих. Во время продолжения сего дела принц Ольденбургский, деверь великой княгини Екатерины Павловны, желая показать свои услуги, подъехал к генералу Беннигсену, подле которого и я в то время находился, и спросил его, не угодно ли будет ему приказать подвинуть близ стоявшую батарею против имевшейся невдалеке неприятельской пехоты? Генерал изъявил на то свое согласие, и принц тотчас отправился к батарее. Зная, что Его высочество не совсем свободно мог объясняться на русском языке, счел я не лишним за ним последовать; и действительно, когда он подъехал к батарее и скомандовал так: «Артиллерия *впруд!»,* – тогда я после него повторил: «Артиллерия вперед!», после чего принц возвратился к генералу, а я еще несколько минут тут оставался, желая видеть, что из того произойдет. Но когда я заметил, что вся пехота на меня прицелилась и начала пускать пули, то я счел тоже нужным к генералу Беннигсену возвратиться. В сем же деле получил контузию в ногу и сам Беннигсен, но оставался до конца сражения на лошади. Неприятеля преследовали в сей день далее 15 верст, и когда день уже начинал склоняться к вечеру, то Беннигсен со всею своею свитою поехал к фельдмаршалу, не в дальнем расстоянии находившемуся. Мы застали его в поле, сидящего на табурете, окруженного своею свитою и многими генералами. Тут Беннигсен словесно доносил ему о происшествиях того дня, о том, сколько было убито у неприятеля, сколько взято было в плен, о числе взятых пушек и о множестве захваченных экипажей короля Неаполитанского, обещая на другой день представить подробный рапорт обо всем. После сего мы возвратились в свою квартиру, в деревню Леташёвку, чрезвычайно усталые, потому что не сходили целые сутки с лошадей. Примечено было мною, что не все могут быть равнодушны к летающим ядрам; один, которого не назову по имени, никак не мог прямо держаться на лошади, а всегда наклонял свою голову, когда видел летящее ядро, тогда как он сам должен был знать, что ядро, которое видишь,

не убивает, а того, которое убивает, не приметишь; но при всем том невольным образом не в силах был он себя преодолеть, и с ним делались тошнота и рвота.

Через два дня я навещал бедного Бестужева, у которого нога уже была отнята, и в то время снимали с него портрет, который просил он препроводить к своей жене и детям. Он очень благодарил меня за то, что я посетил его. Чрез несколько дней он окончил жизнь.

На другой день Тарутинского дела генерал Беннигсен препроводил свой подробный рапорт к фельдмаршалу. [...]

В скором времени принц Ольденбургский пожалован был орденом Св. Георгия 2-й степени, а генерал Беннигсен – графским достоинством.

Можно смело сказать, что Тарутинское дело положило начало всех наших будущих побед и причинило совершенную гибель Наполеона и всей его армии. На другой же день Неаполитанский король известил его о проигранном сражении, вследствие чего Наполеон повелел тотчас своему войску выступать из Москвы, и 11 октября она была уже очищена. Злоба его простерлась до того, что он, желая отмстить за свою неудачу, приказал при выходе взорвать Кремль, для чего были проведены мины; но ему удалось взорвать только одну пристройку к Ивану Великому, как будто для обличения его злобы, и дабы он не мог после сказать, что не отдавал сего варварского повеления. Соборы же все остались невредимыми, исключая внутреннего их ограбления. Все остававшиеся в Москве пересказывали, что во время этого взрыва пролился такой дождь, каковым никто не запомнит, как будто, по сказанию о всемирном потопе, все небесные хляби отверзлись, что и воспрепятствовало минам исполнить свое действие. Еще часть арсенала была взорвана и целая половина соприкосновенных к нему Никольских ворот, но и тут оказалось новое чудо: не только находящаяся на воротах икона святителя Николая, но и стекло, покрывающее лик его, и фонарь, висевший перед образом, остались в целости. Свидетельством сего служит доска с подписью, помещенная под образом по повелению Государя Императора; а кто пожелает видеть, в каком виде оставались ворота по взрыве, то может увидеть таковое изображение в сенях Троицкого подворья, у митрополита Московского, как только взойдешь на его лестницу.

Время мне возвратиться к прерванной нити моего рассказа и о последствиях, бывших после Тарутинского дела. Началось дальнейшее преследование неприятеля. Весь план сего преследования заключался в том, чтобы как можно не допускать его удаляться из России по вновь избранной им дороге, а всячески обращать его на ту же, по которой приблизился к России. Пробрались они как-то к Малоярославцу, но так как и тут встретили их не с хлебом и солью, а с пушками, то опять вынуждены они были обратиться на назначаемую нами Смоленскую дорогу.

22 октября под Вязьмою им не совсем понравилось, потому что порядочно их угощали теми же пушками. Погода стояла прекрасная; так было жарко, что я

принужден был расстегнуть мундир. Не помню подобной погоды в толь позднее время года. Английский генерал Вильсон не отставал от Беннигсена и все уговаривал его подвигаться вперед, уверяя, что неприятель уже выгнан из Вязьмы, и чтобы нам ехать ночевать туда, но генерал наш не решался исполнить его желания, потому что еще оставалась там некоторая часть французов. На другой же день начали опять преследовать неприятеля и приближаться к городу Красному, и тут уже очень приметно стало, в каком расстроенном положении находилось неприятельское войско. По проходимому нами пути множество лежало убитых или изнемогающих людей. Тут же случилось мне встретить огромную французскую пушку, к нам везомую. Вы, может, подумаете лошадьми? Нет, под нее заложены были 40 человек пленных французов, которых погонял один только казак, держа нагайку и покрикивая: «Маршир вперед», и эти 40 человек должны были повиноваться одному казаку, изнуренные, кто в лохмотьях, кто без сапог, и, судя по человечеству, достойны были сожаления.

5 и 6 ноября под Красным были немалые и продолжительные сражения, в которых немалое число положено неприятельского войска. Иные добровольно отдавались в плен от претерпеваемого голода и начавшей усиливаться стужи. Пленных гнали к нам большими партиями, но 8 ноября сделалась большая оттепель и когда мы выехали в поле, то совершенно все распустилось и порядочная сделалась грязь. Тела убитых, которыми тут усыпано было поле, замерзли, но когда сделалась оттепель, то все оттаяли и производили нестерпимое зловоние. По счастью, при мне находился флакон с уксусом, что помогало мне хоть на минуту освежать себя. Здесь же я видел раздирающую картину. Приказано было рыть ямы, в которые крючьями таскали убитых, а вместе с ними и едва уже дышащих, но еще живых, и валили в яму, так что приметно было, как засыпаемая земля от их движения поднималась. Торопились скорее кончить сию работу, чтобы не произошло заразы. Чего не насмотришься на войне и как сердцу не ожесточиться?

При осаде неприятелями города Смоленска чудотворная икона Смоленской Божией Матери, весьма большого размера, находившаяся на воротах города, была снята и передана для сохранения в нашу армию, которую и сопровождала она с августа месяца по ноябрь, изо дня в день три месяца; когда же Смоленская губерния была очищена, то икона сия была возвращена в Смоленск и поставлена на обычное свое место. Отправлено было благодарственное молебствие, и при чтении евангельских слов: *Пребысть же Мариам с нею яко три месяца и возвратися в дом Свой,* всеми молившимися слова сии отнесены были к настоящему событию.

Когда мы приблизились к Березине, Государю Императору угодно было уволить от службы Московское ополчение как принесшее в то время немалую уже пользу, так и потому, что Московская губерния была разорена. Офицерам предоставлено было на волю: кто пожелает продолжать службу, те могут поступать в разные полки... (Автор по разным причинам вынужден был отказаться от продолжения службы.)

С каким радостным и вместе грустным чувством въехал я в Москву, трудно то объяснить. Сколь ни коротко я знал сей город, но улицы были неузнаваемы. На некоторых, где находились деревянные дома, представлялись одни обгорелые трубы. У каменных же оставались обгорелые закопченные стены. Грустно все было видеть. Матушка остановилась в 3-й Мещанской, в доме генеральши Апрелевой. Дом очень хороший, и не знаю, как он мог уцелеть: зеркала и шелковые материи со стен и мебели остались не ободранными, что составляло редкость, потому что почти во всех домах было все обобрано и разбито. Жителей собралось еще не много. Чрез несколько времени начинали съезжаться, особливо те, у которых дома уцелели. На другой день моего приезда освящали церковь в Чудове монастыре, и понемногу все начинало приходить в какой-нибудь порядок. Стали привозить лес и разные материалы, и топоры заговорили свое; все начало оживать.

Не будучи свидетелем того, что со 2 сентября делалось в Москве, расскажу только то, о чем я слышал, а потом, что видел.

Напрасно некоторые люди обвиняли графа Растопчина в том, что он своими афишами всех успокаивал и тем лишил многих возможности вывести свои имущества. Он знал, что делал. Если бы Москва не была сожжена, то Наполеон не так бы поспешно из нее выбрался. Он за сие бешенствовал и вынужден был, как только она запылала, выехать из Кремля в Петровский дворец. Не ожидал он такой встречи, какая ему была сделана в Москве. Ни в одной столице, в какую он вступал, не было подобной. Он ожидал, что при вступлении его к нему явятся и поднесут ключи города, но обошлось както без того. Вечером только показалось похожее на торжество, как будто для него устроенное, когда начали город иллюминовать в разных частях города, и всюду светлее бенгальских огней запылала Москва. Московский главнокомандующий при выезде своем, желая угостить незваных гостей, так распорядился: накануне того дня приказал вывести всю пожарную команду с их инструментами и выпустить острожников, которым внушено было везде поджигать; а им, как не имеющим своих домов, жалеть было нечего, и Москва запылала. И такая торжественная иллюминация не могла доставить большого удовольствия мнимому победителю, который, говорили тогда, по взятии столицы намеревался выбить медаль с таковою надписью: *le Ciel à Toi, la terre à moi*[6]*;* но эта дележка с Богом, видимо, не состоялась, так что он тогда прозрел, что дело это может кончиться не совсем в его пользу. Тогда он начал подсылать к нам, что время бы окончить войну, но фельдмаршал говорил на сие, что с нашей стороны война еще не начиналась. Не привык он получать подобные ответы, но делать было нечего: оставалось только проглатывать подобные невкусные пилюли.

Преосвященный Августин, как скоро узнал, что Москва очищена, тотчас поспешил в оную возвратиться. Тогда же и главнокомандующий в Москве

[6] Небо – Тебе, земля – мне (фр.).

граф Растопчин прибыл. Не считаю лишним сказать о том, в каком положении найдены преосвященным московские соборы. При входе в Успенской с большим трудом мог он в него вступить: все было завалено досками, лесами и всяким хламом и нечистотами. Посреди самого собора повешены были огромные весы – для взвешивания ограбленного серебра, а на столбах собора записывался вес серебра. Огромное великолепное паникадило, устроенное boярином Морозовым, свояком царя Алексея Михайловича, иностранной работы, также попало в вес с прочим серебром. Иконостас, обитый весь серебром, старинной работы, равно и все иконы, обложенные серебряными ризами, – все были обнажены, кроме одного образа во 2-м ярусе, находящегося над ракою святителя Филиппа: вероятно, по темноте не усмотренный врагами, этот образ остался цел, с находящеюся на нем ризою, как будто для того, чтобы он мог послужить образцом при возобновлении иконостаса в том виде, в каком он находился до ограбления. Мощи святителя Петра, бывшие запечатанными до того, найдены открытыми. Святитель Иона вовсе не допустил до себя врагов, ибо около его гробницы осталось все в целости, также и образ его, обложенный серебром. Мощи святителя Филиппа, хотя и вынуты были из гробницы, но остались целыми; гроб же, находящийся в том же соборе сверх земли, обитый бархатом, патриарха Германа, уморенного голодом поляками в 1612 году, был открыт, и найдено тело его нетленным, но оставлено на том же месте, где было и снова закрыто. Преосвященный, осмотрев все тщательно и приведя в некоторый порядок, запретил посторонним вход в Кремль до тех пор, как все приведено будет в настоящий порядок; между тем донес Св. Синоду о всем им найденном, с представлением мнения своего о разрешении оставить мощи святителя Петра навсегда открытыми: так как они уже были открыты врагами, то за что же лишать такого сокровища овец бывшей его паствы? Св. Синод изъявил согласие, и мощи открывали при мне 2 июня 1813 года, в день сошествия Св. Духа, причем произнесена преосвященным речь, в которой упоминалось, что неприятель, желая нас лишить святыни, невольным образом умножил оную.

Мощи благоверного царевича Димитрия, почивающие в Архангельском соборе, одним из благочестивых священников Вознесенского монастыря унесены были в тот монастырь и там сохранялись за церковным иконостасом. В Благовещенском соборе иконостас, обитый серебром, тоже и ризы на иконах, все были ограблены; одна только рама вокруг образа Донской Божией Матери, сделанная из червонного золота, довольно тяжелая, была оставлена, вероятно потому, что сочли ее за медную. В Чудове же мощи святителя Алексия из церкви вынесены были в трапезу, а церковь обращена маршалом Даву в его спальную. Вот все, о чем я достоверно тогда слышал.

1813 года 15 августа графом Ираклием Ивановичем Морковым возвращена была в Кремль преосвященному Августину хоругвь, бывшая при Московском ополчении. Принимая оную, преосвященный Августин сказал следующую речь:

«Совершилось лето, как святая церковь в сем первопрестольном граде благословением и молениями напутствовала вас, православные воины, при шествии вашем на брань... Военная наука была вам неизвестна; но ревность по вере и верность к Царю *научила руце ваши на брань;* а пламенная любовь к Отечеству соделала *яко лук медян мышцы ваши.* В предшествии сея святыя хоругви вы устремлялись на все опасности, уничтожали все усилия врага и, низлагая его, истребили до конца. – Поля ваши, опустошенные хищною его рукою, сделались могилою для него самого. – Сын и внук твой, влача плуг по наследственной ниве, откроет кости злодеев; он скажет: "Отец мой поразил их и спас для мена достояние свое. Дед мой сокрушил нечестие и тиранство и сохранил для мена веру отец моих и свободу. Да будет во веки благословенна память их!"

Православные воины! Вы возвращаете дому Пресвятыя Богородицы сию святую хоругвь, которую прияли от Нея, шествуя на брань. Мы видим, что удары безбожных касались и ея; но Бог для того попустил сему быть, дабы показать, что вы всегда были против вражеских ополчений и тем засвидетельствовать вашу неустрашимость и мужество.

И так приемлем от вас хоругвь сию, яко священный памятник достохвальных подвигов ваших. Водруженная пред очами соплеменных, она будет возвещать о вас из рода в род. – Идите отселе с миром в праотеческие домы. Мечи и копия ваши раскуйте на орала и серпы, и под благодетельным покровительством господ ваших, среди любезных семейств, наслаждайтесь покоем и тишиною!

Сиятельнейший граф и вы, благородные сподвижники почтеннейшего вождя своего! Предводительствуя воинами сими, вы всегда предшествовали им примером собственных доблестей и доказали, что вера в Бога, верность к Царю, любовь к Отечеству и без сильного вооружения могут торжествовать над всеми усилиями гордыни, над всеми ухищрениями адской злобы! Отечество никогда не забудет заслуг ваших. Оно облобызает язвы ваши лобзанием нежной признательности. Оно увенчает труды ваши вечною хвалою. Святая церковь не престанет молить Господа, да благословит вас всеми благами и небесными и земными!»

Того же 1813 года августа 30 был освящен большой Успенский собор, приведенный в прежнее благолепие, вокруг него обнесены были мощи святителя Петра, и по вступлении в собор, по распоряжению преосвященного, были петы: Христос Воскресе и другие воскресные стихи, что всех радовало и представляло день Светлого Воскресенья; а после литургии сказано было им слово, в котором изочтены были все чудеса, бывшие во время пребывания неприятеля в Москве, упоминаемо было также и о видимом всеми кресте в небе.

Преосвященный по возвращении своем из Мурома имел пребывание в Сретенском монастыре, потому что Саввинское подворье, обыкновенное его местопребывание, сгорело, даже и ворота оного; но находящийся на

них образ Св. Саввы остался невредим. – По приведении в устройство всех соборов много еще предстояло ему забот и трудов для приведения прочего в порядок. Большая часть церквей была разорена, священнослужители не только лишились своего имущества, но и домов; прихожане, иные еще не возвращались, другие также были разорены, а потому надобно было и помогать им и все устраивать как можно поспешнее, и притом не в одной столице, а и в разоренных селах. Труды его были выше сил человеческих, а потому неоценимы. Покойный митрополит Филарет воздавал особенную честь преосвященному Августину и говаривал, что не всякий бы нашелся в его тогдашнем положении.

В следующем году я поступил на службу в канцелярию нового главнокомандующего графа Тормасова, что, впрочем, уже не принадлежит к настоящему моему рассказу.

Русский архив. 1874. № 4; № 6



ДВЕНАДЦАТЫЙ ГОД.
ВОСПОМИНАНИЯ КНЯЗЯ А.А. ШАХОВСКОГО

Эти воспоминания писаны в 1836 году, в то время, когда готовился памятник на Бородинском поле, уже воздвигнута была перед Зимним дворцом Александровская колонна и в одной из зал царского жилища собрана портретная галерея славных участников великой борьбы. Молодость Государя Николая Павловича протекла под обаянием «грозы двенадцатого года», ее предварительных раскатов и последующей славы. Воцарившись, он деятельно озаботился увековечением этой всемирно-исторической эпохи, притом не одним воздвижением вещественных памятников, но и собиранием всякого рода повествований. По его воле приступлено было А.И. Данилевским к написанию Истории Отечественной войны, для которой и доставлялись со всех сторон даровитому, трудолюбивому, хотя и не беспристрастному историку памятные записки. К числу их принадлежат и нижеследующие воспоминания, изложенные в виде письма к Данилевскому.

Автор, известный драматический писатель Александр Александрович Шаховской (1777—1846), в это время уже окончил свое писательское поприще, успев вывести на русскую сцену «своих комедий шумный рой», и спокойно доживал век в Москве. Тетрадь его в современном списке сохранилась в замке Фалле, между бумагами графа А.Х. Бенкендорфа, которому, как старому товарищу (молодые годы обоих протекали за театральными кулисами, и Бенкендорф привез из Парижа славную мамзель Жорж), она, вероятно, была доставлена самим автором, передающим живые и любопытные подробности и об его участии в событиях 1812 года. Приносим благодарность нашу внучатному племяннику автора г-ну ревельскому губернатору князю Сергею Владимировичу Шаховскому и внуку графа Бенкендорфа князю П.Г. Волконскому за дозволение вновь обнародовать эти любопытные воспоминания.

П.И. Бартенев

***

Ваше превосходительство желали знать, что я видел, слышал, думал и чувствовал во время вступления нашего в очищенную от неприятеля Москву,

и я всею душою рад исполнить желание Ваше. Хотя давность, лета и скорби одряхлили мою память, но чувствую, что священный огонь, запаливший в 1812 году русские сердца, не вовсе потух, и авось вспыхи его, пробуждая давнишние ощущения и проясняя прошедшее, помогут мне удовлетворить любопытство Ваше.

Я случился в Твери при возвращении чрез нее покойного Государя Императора из армии и Москвы в Петербург и имел счастье первый из принадлежавших ко двору вступить с высочайшего соизволения в Тверские дружины. 15 августа начался поуездно набор ополчения: а перед вечером 30 августа полк мой первый выступил из Твери к Москве. Когда он построился четвероугольником для принесения с коленопреклонением молебствия Богу браней, хлебные амбары за гостиным двором загорелись и пожар быстро распространился, однако не прервал нашего священного обряда. Молебствие кончилось. Соборный протоиерей окропил новых воинов святою водою; весь полк довольно порядочно зашел повзводно; два барабанщика, взятые из пересыльных пленных немцев, ударили поход. Тут, с твердою верою, но не без тщеславного воспоминания, я повторил воинский крик предка моего Мстислава Храброго: «*С нами Бог!*»[1] Его громогласно подхватили все дружины, и мы, с Богом, выступили из пылавшей за нами Твери навстречу ужаснейшему пожару, очистившему и осиявшему заревом вечной славы нашу Святую Русь.

Остановясь для осмотра на походе дружин, я не успел пропустить мимо себя двух батальонов, как Приволжские песельники впереди первого (Кашинского), с кларнетом и двумя гобоями отданных в ополчение господских музыкантов, грянули дружно: *«Вниз по матушке по Волге»*. Песня мигом оживила не одних холостых ребят, но и отцов семейств, с которыми они только успели слезно проститься, и недавно понурые крестьяне бодро зашагали храбрыми воинами за Царя и Отечество. Каждый из молодцев готов был поднять на зубки товарища своего, горемычно повесившего голову, и заушить всякого чужеземца. Этот скорый переход из уныния в храбрование не удивит Вас: Вы, верно, видали, как плаксивого рекрута одна солдатская шапка превращает в удальца, часто начинающего военную службу побоями своего отдатчика. Таков русский обычай, и это внезапное действие перемены платья, кажется, оправдывает наружное преобразование Петра Первого, сохранившего, впрочем, самобытное свойство своего народа.

Остановясь на дневку в Клину, мы услышали от выездцов из Москвы, что неприятель в нее вступает. Ополченное молодечество не хотело верить этим несбыточным, особливо после Бородинского сражения, вестям, и вестовщики, разруганные лгунами и трусами, едва не были отпотчиваны нашими ратниками, как отдатчики рекрут. Но в ночи дальнее зарево широко зарделось с прямого направления от Москвы: Русские вещие сердца замерли, и вскоре прискакавший к нам с приказанием остановить нас, где застанет, уверил в

---

[1] Князья Шаховские прямо происходят от Рюрика. – *Прим. П.И. Бартенева.*

ужасной истине. Она, как крещенский мороз, леденила наши члены; мы от стыда за нашу родину не смели взглянуть друг на друга и, кажется, лучше бы желали провалиться сквозь землю, чем носить на ней позор Русского имени. Но благовест к обедне заставил всех перекреститься и молча войти в церковь. Я никогда не забуду этой минуты, в которую жизнь моя казалась мне нестерпимым поношением, но как начальник, обязанный не показывать робкого уныния моим подчиненным, я, стараясь придумывать, чем бы их ободрить, сам ободрился: вспомнил о Пожарском и, при выходе из церкви, воскликнул: «Россия не в Москве!» Это слово произвело сильное действие уже не на театральной сцене, а в настоящем быте, повторенное, ровно чрез 200 лет, на попираемой врагами Русской земле. Мрачные думы прояснились, воображение оживилось, каждый из ополченных дворян начал по-своему предугадывать, рассуждать, соображать бывшее с настоящим, и, наконец, неизменная надежда на Бога, Государя и русскую непотдатливость быстро одушевила все дружины, и чрез час, при московском зареве, раздались песни тверских воинов и клинских ямщиков; а старые солдаты, приданные к дружине для обучения ратников, сидя на завалинах изб, с досады на новобранцев, не отстоявших первопрестольного города, пустились рассказывать о славных походах Суворова, при котором они этих же французов, как кур, душили в чужой, дальней земле.

Отставной корнет Постельников, бывший за батальонного адъютанта, хватски отрапортовал мне, что кручина спала с удалых голов, как с гуся вода, и между помещиков-офицеров по-прежнему составились бостонцы и банчики[2], в ожидании, что прикажут делать, куда поведут и где Господь приведет подраться со злодеями.

Вы знаете, что по взятии неприятелем Москвы Тверское ополчение поступило под начальство генерал-адъютанта барона Винцингероде, отрезанного со своим отрядом от армии и оставшегося на Петербургской дороге. Я получил от него приказ явиться к нему в Подсолнечное, где был встречен моими молодыми приятелями, нынешним графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом и Львом Александровичем Нарышкиным. Их бодрая веселость разбудила и мою, а рассказы о действиях и намерениях фельдмаршала, сколько можно было, меня успокоили. После обеда, к которому было прислано с изобилием всякого съестного запаса, садовых и оранжерейных плодов из разных подмосковных, я вышел на улицу, где увидел ямскую сходку, столпившуюся около старика, который, уткнув седую бороду о длинную палку, что-то толковал молодежи; а на мой вопрос, о чем у них идут поговорки, отвечал: «Да все о матушке Москве». – «Что же вы думаете?» – «Да вот пока ее матушку супостаты не взяли, так думалось и то и се, а теперь думать нечего. Уж хуже чему быть?.. И только б батюшка наш Государь милосердый, дай Бог ему много лет царствовать, не смирился со злодеем, то ему у нас не

[2] Имеется в виду карточная игра.

сдобровать. Святая Русь велика, народу многое множество; укажи поголовщину, и мы все шапками замечем, аль своими телами задавим супостата». В это время барон Винцингероде подошел к нам. Я ему перевел крестьянские речи, и он, схватив меня с привычным ему судорожным движением за руку, сказал: «Я только одного желаю, чтоб вельможи наши думали как эти крестьяне. Сегодня же напишу к Императору их слова. О! я уверен, что он никак не помирится с Бонапарте, и Россия будет гробом его». Я тогда вспомнил говоренное мне, за несколько дней пред тем, покойным инженерным генералом Л.Д. Карбонье, что наполеоново торжество продолжится, пока он будет воевать с армиями, а не с народом. Гишпания и Россия оправдали нынче очень древнюю истину, что народы покоряются не руками, а словами.

Мне поручено было начальство над авангардом ополчения, расположенным между Клином и Тверью, и надзор за провождением пленных, которых один отряд барона Винцингероде, состоявший едва ли из 2500 человек, переслал до 6000 захваченных около Москвы и даже в самых московских огородах (куда они, за недостатком хлеба, ходили вырывать картофель). Не знаю, от кого вышел переданный мне приказ: иметь особое попечение о гишпанцах, почему в Завидове я зашел в избу, отведенную для них[3]. Хозяйка ее, стоя на коленях, омывала раненую ногу пожилого полоненника; увидя меня, она испугалась, вскочила и стала извиняться, что взмилилась над супостатом, который чай не по охоте оставил жену и деток. Разумеется, что я не побранил ее. Однажды (это было в воскресенье и в самый час обедни) привели в Городню кучу нахватанных в плен разнородцев. Случившиеся между ними кроаты[4] нашего исповедания остановились и стали креститься на церковь по-нашему. Их окружили крестьяне и, поняв из славянского наречия, что они захватом взяты на войну против России, тотчас нанесли им папушников[5], пирогов, и ямщики просили позволения на своих лошадях подвезти их в Тверь. Вот природное свойство русских и действие нашей всетерпящей церкви, основанной на христианской любви, а не на страхе, внушаемом папским душевластием.

Но те же сердца, которые радушно готовы помогать страждущим, закипали яростью при виде вражеской силы и поругания церквей. Тогда уже иноземец, идущий против Бога и Святой Руси, переставал казаться им человеком. Граф Бенкендорф рассказывал, что он, отправясь в Волоколамск для захвата там французских фуражиров, уже не нашел в городе ни неприятелей, ни русских: одни врасплох перерезаны или сожжены в домах, а другие, т.е. собравшиеся на удальство крестьяне, скрылись. Он, однако ж, узнал от явившегося к нему, что, между прочих разделок со злодеями, служанка казначея заколола поварским ножом двух французских подлипал, ворвавшихся один

[3] Летом 1812 г. в Великих Луках Россия заключила оборонительный союз с Испанией. – *Прим. П.И. Бартенева.*

[4] То же, что хорваты.

[5] *Местн.*, хлеб из пшеничной муки.

после другого в чулан, где она спряталась. Помнится, он же или брат его Константин Христофорович Бенкендорф (новый наш партизан, променявший перо на саблю для защиты отечества), узнав в Волоколамской отчине княгини Голицыной, что крестьяне спасли из ее дома все богатое имущество и французы не могли допытаться, куда они его спрятали, спрашивал их: «Верно вам хорошо было жить за княгинею?» – «Нет, – отвечали они, – насланные ею всякие иноземцы для науки и экономии разорили нас вконец; да отец и дед покойного князя жаловали наших отцов и дедов, так нам грешно отдать супостату наследство его деток». Вот такова преданность к господам тех, кого надеялся Наполеон взбунтовать своими прокламациями. Храбрые сычевские крестьяне, отчины графа Панина и других немелкопоместных дворян, вооружились чем попало и, составя местное ополчение, вроде гишпанских гверильясов[6], под начальством уездного предводителя Богуславского, не давали по своей округе прохода мелким неприятельским отрядам, дрались беспощадно пешие и на конях, и я слышал ужасные действия их народной мести. Но не это ли (пусть и варварство) помогло Русскому Царю сорвать поносные цепи слишком своекорыстного просвещения? У нас встречали наполеонцев не с хлебом и солью, а с топором и рогатиной; однако же наши войска, артиллерия, флот и учебные заведения не уступят в благообразии, устройстве и военном деле ничьим в свете; наши столицы красивее всех других, и в них большие общества блестят роскошью просвещения если не больше, то, верно, не меньше прочих. А со всем тем наши чужелюбцы хлопочут о каком-то европействе – неужели об умствованиях и перемудрениях, вовлекших Европу в порабощение, из которого мы же выручили ее нашей кровью? Извините это отступление от обещанного Вам рассказа. Вы знаете, что от избытка сердца уста глаголют, а старость болтлива. Но возвратимся к опозоренной и сожженной Москве.

Скача беспрестанно взад и вперед на праздных тогда почтовых по Тверской дороге, я приехал в Чашниково, где остановилась главная квартира барона Винцингероде, в тот самый день, как французы, чтоб скрыть от его отряда (который они, как я узнал из перехваченных бумаг, считали сильным корпусом) выступление свое из Москвы, выслали против нашего авангарда, находившегося тогда во Всесвятском, несколько эскадронов из разных полков, тотчас прогнанных казаками под начальством молодца Иловайского и спасенных от совершенного истребления действием пушек, поставленных на пригородном остроге. Въехав в Чашниково, я встретил несколько немецких фигур в изорванных сюртуках, очень важно несших духовые инструменты, и еще не успел спросить, откуда взялись эти чудаки, как остановивший меня граф Бенкендорф рассказал, что они приведены были к нему как неприятельские музыканты, но оказались очень приятельскими, а именно – барона Фитингофа. Он себя и их из Риги переселил в Москву, сам уехал от неприятеля, а их оставил на

[6] Испанские народные партизаны.

произвол судьбы, которая сделала из них оркестр французского театра, оставшегося в Москве; а когда оголодавшим французам пришло не до музыки, то их с хлеба долой выслали из Москвы, и теперь они, из кушанья, составляют столовую гармонию при биваках генеральской квартиры и исполняют свою должность с большим усердием. Войдя в избу, где пристал барон Винцингероде, я услышал вдруг от всех бывших в ней о победах Витгенштейна и о Тарутинском сражении, которого подробности, не имея прямого сообщения с армией, никто не мог знать; но все довольно верно угадывали его следствия, т.е. скорый выход Наполеона из Москвы, а если фельдмаршал успеет его погнать по той же дороге, по которой он пришел, то конечную гибель его войска, и звали ему навстречу нашу слишком запоздалую осень.

Перед обедом наши партизаны привели пленного неприятельского комиссара. Барон Винцингероде, скрепя сердце, пригласил еще первого француза к своему столу. Мы с графом Бенкендорфом посадили его между собою и подливали ему с обеих сторон вина, посланного из Парижа для Наполеона и отбитого отрядом майора Пренделя (напоминавшего вахмистра Бранта, которого живо представил в своем лучшем романе Пиго-Лебрень). Пленный комиссар, из национальной гордости или чтобы нам пустить, как говорят французы, пыль в глаза, превозносил великие доблести воинственного императора, спасшего свое отечество от ужасов безначалия; но после многих осушенных бокалов начал пробалтываться и, наконец, развеселенный родным вином, расхрабренный своим республиканским Марсельезом (который, помнится, по приказанию Л.А. Нарышкина, заиграли наши немцы) и разодолженный нашей радушной беседой, захохотал и сказал: «Я вижу, господа, что вы люди благовоспитанные и умные, так от вас не утаишь, что император Бонапарте, конечно, славен и полезен, но только для себя, а не для Франции, в которой скоро, от преждевременных конскрипций[7], не будет ни одного молодого человека, и ему придется населять ее своими корсиканцами и итальянцами». In vino veritas![8] – вскричал граф Бенкендорф; мы засмеялись, а француз еще больше расхохотался. Кто-то вошел и сказал, что казаки привезли коляску с хорошенькой женщиной и дитятею. Мы бросились посмотреть эту необыкновенную добычу и только сошли с крыльца, как услышали за собою визгливый крик: «Ah! Ma femme!» – а из коляски: «Ah! Mon mari!» – и тотчас увидели мужа и жену, обнимающих очень миленького ребенка. Комиссар был схвачен при выезде из Москвы навстречу жене, которую ожидал из Польши, а жена попалась в полон вместе с провожатыми своими на Смоленской дороге. Известно, что Наполеон тащил за своею армиею другую армию – разного рода ремесленников, маркитантов[9], женщин, детей, которыми, как почти все они были уверены, хо-

---

[7] От *лат.* conscriptio – внесение в списки, набор; способ комплектования войск.
[8] Истина в вине! (*лат.*)
[9] От *итал.* mercatante – торговец; исторический термин, означающий мелкого торговца съестными припасами и напитками, сопровождавшего армию в походе.

тел населить и просветить Россию. По крайней мере, множество французского сброда обоего пола нахватано нашими казаками. Однако ж, надобно отдать справедливость донцам: они не обирали женщин, из уважения ли к прекрасному полу или оттого что уже тогда довольно нажились и чужим, и русским добром, которого лучше таможенной стражи не пропускали за границу, и почти все, что захватили неприятели в Москве, отправилось на Дон.

Некоторые чиновники полиции, вышедшие из Москвы, переряженные ходили в нее и приносили разные известия барону Винцингероде. На другой день приезда моего в Чашниково они его уведомили, что Наполеон намерен взорвать Кремль. Оставшись после ужина один с бароном, я с ужасом сказал ему, что взрыв Кремля, где покоятся мощи угодников, поразит отчаянием всю Россию, привыкшую почитать святыню Кремля своим Палладиумом. Сердце генерала, быстро воспаляемое благородным ощущением, вспыхнуло; он изменился в лице и, вскоча со стула, вскрикнул: «Нет, Бонапарте не взорвет Кремля. Я завтра дам ему знать, что если хотя одна церковь взлетит на воздух, то все попавшиеся к нам французы будут повешены». На другой день, как Вы подробно знаете из письма Л.А. Нарышкина, наш отрядной начальник сам въехал с ним в оставленную Наполеоном Москву, был схвачен и потом избавлен от смерти удальством нынешнего графа Чернышёва. Кажется, я не обманываюсь, полагая причиною, пусть и безрассудного, смельства барона Винцингероде наследственную запальчивость его рыцарского характера, которая затушила в уме его все, кроме мысли, что спасением Кремля от взрыва он спасет русских от уныния и сохранит им их святыню. Любовь и благодарность к нашему Государю и Отечеству почти равнялись в нем с ненавистью к Наполеону и французам, разорившим его родину и лишившим его самого родовых прав и достояния. Непримиримый враг революции и ее приверженцев, он, как я слышал от Л.А. Нарышкина, сказал в глаза называемому им Бонапарте: «Я служил всегда тем государям, которые объявлялись вашими врагами, и искал везде французских пуль». Признаюсь, я долго винил себя, что, может быть, моим ужасом возбудил пагубную для него мысль, но почти неимоверное спасение ревностного поборника нашей святыни успокоило мою совесть, и я больше прежнего уверился, что порыв души, восторженной усердием к Церкви, Царю и Отечеству, не может и нечаянно произвести зла и что доколе сохранится в русских сердцах вера к небесной и усердие к сей земной Троице, то ничто в мире не одолеет могущества России.

Еще раз прошу извинить мое отступление; но, с лишком 40 лет драматический писатель, говоря языком страстей, я на 60-м году не могу отстать от долгой привычки. Впрочем, мне невозможно обойтись без отступлений, наводящих меня на прямой путь. Начиная письмо мое, я отчаивался удовлетворить, как желал, Ваше любопытство: в голове моей мелькали отрывками некоторые воспоминания; но когда они отозвались в душе и закипятили в ней родимые чувства, пылавшие в дни тяжкого испытания нашего, тогда туман, подернувший давно прошедшее, начал рассеиваться. Нередко забывая виденное мною вчера и вдруг воспоминая некогда сильно чувствуемое,

я убедился, что человек имеет две памяти: одну телесную, или органическую, какую мы замечаем во всех животных, а другую – свышевдохновенную, которую богословы называют силою души, и она-то помогает мне в изображении пробужденного ею же времени.

Мы ожидали в Чашникове к обеду возвращения барона Винцингероде и Нарышкина; замедление их очень нас беспокоило; смерклось, но их еще нет. Я задремал один в светелке, где приютился к Нарышкину, как граф Бенкендорф вбежал и от горести едва мог рассказать о беззаконном захвате нашего душевно любимого начальника, а вместе с ним и милого товарища. Потом он приказал бригаде своей, состоявшей из эскадронов лейб-казаков и изюмских гусар, выступить к Москве; мы же сами поехали вперед. Увидя издали прежнее сияние золотых глав русской святыни, уцелевшей от пожара и взрыва, я перекрестился и воскликнул: «Дивен Бог во святых Его!» И этим душевным возгласом начато известное Вам обнародование от имени генерала Иловайского, который, как старший, вступил в начальство нашего отряда.

При въезде на погорелище царской столицы мы увидели подле Каретного ряда, первозажженного бескорыстною доблестью русских, старуху, выходившую из новых развалин; она, взглянув на нас, вскрикнула: «А!.. Русские!..» и в исступлении радости, перекрестясь, она поклонилась нам в землю. Это полоумное изъявление сильного радушия заставило нас улыбнуться, хотя слезы сверкали на глазах наших, увидя с Тверского вала чрез пепелище, уставленное печными трубами и немногими остовами каменных домов и церквей, даже Калужские ворота! Но по Тверской улице уцелело несколько палат, и мы нашли в комнатах одного купца, которого имени не помню, нашего внезапного начальника.

Граф Бенкендорф и я тотчас принялись за дело. Он поехал к Воспитательному дому, где нужна была скорая помощь оставленным в нем без пищи воспитанникам и русским раненым офицерам; а я – в Китай-город и Кремль, где еще продолжались пожары зажженных неприятелем зданий. Из находящихся у Вас деловых бумаг Вы знаете главные обстоятельства занятия Москвы и важнейшие следствия варварского мщения «просвещенного» повелителя почти всей чуждой нам Европы. Итак, мне остается только рассказать Вам виденные мною подробности.

С небольшим конвоем казаков и двумя вестовыми Изюмского полка я подъехал к Иверским воротам и вошел в них мимо опустелой часовни, в которой за два месяца пред тем я слышал слезные молитвы о избавлении России от вражеского вторжения. (В самых воротах я почти споткнулся на тело, судя по мундиру, испанца, убитого, по словам полицейского чиновника, его драгунами, за что я не похвалил его невидимых драгун.) За воротами зажженная от близкого взрыва стены или неприятелем казенная палата еще горела[10]. Торо-

[10] Вероятно, то прекрасное допетровское здание, которое допустили разрушить в прошлое царствование и на месте которого высится ныне Исторический музей. – *Прим. П.И. Бартенева.*

пясь войти в Кремль и найдя Спасские ворота заваленными изнутри замка, а Никольские – загроможденными от взрыва ближней стены, я принужден был вкарабкаться, с помощью двух гусар, по грудам развалин и закричал на казаков, остановленных мыслью, что, может быть, еще могут вспыхнуть взрывы, из которых последний они не очень давно слышали; но, увидя меня сходящего в Кремль, они бросились и мигом очутились, уже прежде меня, пред догоравшим дворцом и Грановитой палатой. При сходе моем в Кремль уже совсем смерклось, и древнее здание, где я праздновал при священном венчании двух императоров наших, как потухающая свеча, еще ярко вспыхивало и, повременно освещая мрачную окрестность, показало мне чудесное спасение храмов Божиих, вкруг которых и даже прикосновенное к ним строение сгорело или догорало. Огромная пристройка к Ивану Великому, оторванная взрывом, обрушилась подле него и на его подножии; а он, стоя также величественно (как только что воздвигнутый Борисом Годуновым в голодное время), будто насмехался над бесплодною яростью варварства XIX века.

Занявшись распоряжением к прерванию, сколько можно было, пожара, я просил явившегося ко мне, Бог знает откуда и как, инженерного офицера[11] осмотреть, нет ли еще где огнепроводов, не задавленных взрывами; поставил часовых к главным соборам, послал привести караул и в хлопотах не заметил тогда, что крест с Ивана Великого был снят, также как и деревянный Московский герб с крыши Сената, на трофеи взятия Москвы; но, хвала Всевышнему, ни одна из добыч кремлевских не перенеслась за проделы России, а памятник ее чистой славы, воздвигнутый христолюбивым императором, в общий всем христианским церквам день Пасхи, в Париже, на лобном месте богоотступления и цареубийства, не изгладится веками из скрижалей бытия.

Возвратясь из Кремля в квартиру генерала Иловайского, я уже нашел в ней графа Бенкендорфа, успевшего осмотреть весь квартал Воспитательного дома, привести в устройство госпиталь, найти пищу три дня голодавшим воспитанникам и не только нашим, но и неприятельским раненым, заставить тотчас убрать тела их товарищей, валявшиеся по коридорам и лестницам[12]; отрядить своих офицеров с явившимися уже в мундирах московскими полицейскими для осмотра и вспоможения, в других больницах для запечатания

---

[11] Надобно заметить, что во время нашей народной войны всё кипело усердием, как будто само собою отыскивалось, двигалось, переносилось и поспевало, где было нужно. Везде царствовали какой-то самодельный порядок, повиновение и исправность. В 1812 г. у нас недоставало войска, чтоб удержать вторжение соединённых сил почти всей Европы; а в 1813 г., приведя кадры набранной в Риге дивизии в запасную армию, я слышал от её главного начальника, что ему некуда помещать излишних для военных действий 150 000 человек пехоты, кроме конницы и артиллерии, совершенно всем снабжённых и готовых к сражению. И это сотворилось в то самое время, когда неприятель проник в сердце нашей империи и открыл, едва ли ей самой известные, силы и средства её.

[12] Мне показывали в комнатах, где лежали раненые французы, трупы умерших, между ними приставленные к печкам и нарумяненные кирпичом: вот до чего дошло циническое кощунство, порождённое богоотступной революцией!

разных зданий, сохраненных стоявшими в них, и для учреждения караулов на заставах из полков, расположенных по бывшим некогда городским валам. Москва, освещенная тогда вокруг бивачными огнями, представляла чудное, несообразное ни с чем зрелище. Мертвую тишину ее прерывали охриплый крик часовых, ржание лошадей и топот разъездов, никак не напоминавших той столичной суеты и жизни, которые еще недавно в ней повсеместно слышались. Я, как начальник пешего казачьего полка, командуя точно пешими казаками, написал с общего совета, как член Русской академии, рапорт к Государю; а как восторженный милосердием Божиим поэт и учредитель зрелищ, сделал распоряжение торжественного благодарения Господу браней, долженствовавшего произвести сильное действие в душах всех оставшихся, вступивших и уже собиравшихся в Москву.

Изнуренные самым деятельным днем, мы с графом Бенкендорфом бросились в заднем покое на покрытое коврами сено, оставя старшего генерала в гостиной комнате у освещенного догаром пожара и биваками окна. Надежда наша заснуть непробудным сном была разрушена неожиданными вопросами начальника сторожевых казаков. Отделенный от нас только деревянной стеною, генерал Иловайский громко спросил сперва меня, как я думаю, не возвратятся ли опять французы в Москву. Я ему отвечал отрицательно. Потом он повторил тот же вопрос, только в других словах, моему засыпавшему соседу; тот отвечал почти так же, как и я. Немного погодя возобновились подобные же расспросы, по прежней очереди; но, видя, что односложные ответы наши не удовлетворяют вопросителя, мы наконец решились не слышать и не отвечать и, закутавши головы, заснули до возвращения разосланных по разным местам для осмотра и приведения в действо нужных распоряжений. Тогда, вскоча полуодетые и накинув поскорее мундиры, мы пустились по-вчерашнему каждый в свою сторону. Подъехав к Лобному месту, я удивился, увидя на нем казака, стоявшего с пикой подле плачущей и довольно порядочно одетой, хотя и босой, девушки (французы обоего пола, нуждаясь в обуви, разули всех оставшихся в Москве). Я спросил, что это значит? и узнал от плачущей девушки, что она дочь немца-профессора, который, не говоря чисто по-русски, не смел выйти из Москвы, чтоб его не приняли, как и случалось, за неприятельского шпиона[13], и пришла просить хлеба для больного отца у русских; какой-то начальник тотчас дал ей папушник, но, услыша топот наших лошадей, побежал в Кремль и приказал своему казаку ее не пускать. Я догадался, что это должна быть любезность татарина Ельмурзина, командовавшего кремлевскими караулами, велел отпустить девушку, обещав прислать все нужное ее семейству, пошел в очищенные Спасские ворота, но, увидя на них незамеченный мною ввечеру образ в позолоченной ризе с висящею

[13] Этот же страх удержал в Москве многих немецких ремесленников; они принуждены были работать на неприятелей из хлеба и добродушно делились им с немощными русскими, скрывавшимися в их жилищах.

перед ним серебряною лампадой в совершенной целости, не вдруг поверил глазам моим, и от какой-то безотчетной радости у меня сорвалось с языка приказание, не знаю кому, чтоб тотчас затеплили лампаду. По выходе моем из Кремля я увидел, что сказанное мною наобум было кем-то в точности исполнено и лампада по-прежнему теплилась; но я уж Вам заметил, что в это время сильного напряжения русского толка, сметливости и досужества все как будто само собою делалось, а собравшимся после меня на площади народом распущен слух, будто лампада Спасских ворот не угасла во все пребывание неприятеля в Москве и что он, пораженный этим чудом, не смел дотронуться до иконы. Хотя мне и очень известно, что лампада угасла; а все-таки не знаю, каким образом икона и прочие найденные мною в Кремле священные предметы нашего верования уцелели от самого безбожного грабительства. Не постигая этой чудесности, но убежденный невидимо во всем и везде ощущаемым мною Вышним Промыслом, я принужден сказать, как мудрец Сократ: *знаю, что ничего не знаю,* и, чувствуя свыше положенный предел умственному, так же как и вещественному зрению, не ищу проникать за него, чтобы вовсе не ослепнуть и не дать себя видеть слепцам, о которых говорил Божественный Просветитель всего человека. Благоговейное сознание в невежестве моем пред Спасскими воротами еще сильнее повторилось, когда я нашел на Никольских уцелевший образ под стеклом и висящую пред ним на тонкой цепочке лампадку, хотя большое пространство стены и самых ворот, почти вплоть до образа, было взорвано. Но возвратимся в Кремль. В нем первый встретил меня любезник Ельмурзин, и на вопрос, зачем он отдал под караул профессорскую дочь? он отвечал: «Я из жалости хотел напоить ее сбитнем!» Посоветовав ему не быть впредь так жалостливу, я поручил вошедшим за мною монаху и священнику, не помню какого полка, осмотрев главные соборы, привести сколько можно в порядок, что в них еще сохранилось священного, и, запретя часовым впускать народ в церкви, пошел осмотреть следствия взрыва и пожара, который, как вам известно, истребя все жилище людей, не прикоснулся храмов Божиих, хотя старая церковь Спаса на Бору была заметана опламененными выбросками горевшего над ней здания, а внешние двери Благовещенского собора зауглились. Словом, все посвященное Богу не истребилось ничем, кроме прямого святотатства рук человеческих; но и они, кажется, отшиблись нетленными мощами св. митрополита Ионы. По входе моем в Успенский собор я нашел в нем посланного моего монаха (патриаршего ризничего). Он покрывал пеленою тело святителя и, указав на его обитую серебром раку, с которой только было взодрано четверть аршина верхней личинки, на большой подсвечник и саблю, лежавшие на земле, сказал: «Вы видите, что все это цело, когда в соборе не осталось не только лоскутка серебра, но и латуни; я нашел святые мощи выброшенными на помост, они так же невредимы, как в день успения чудотворца, кроме вражеского разруба святительской выи, кажется, этой саблей. Без сомнения, чудотворец поразил ужасом безбожников, и они не дерзнули ни к чему прикоснуться».

Я точно видел все мне сказанное: открытое лицо и руки святого были совершенно целы, и я с благоговением к ним приложился. В продолжение войны, расспрашивая многих пленных офицеров и солдат наполеоновой гвардии, я не мог, однако ж, ничего узнать о причине сего единственного во всех соборах уцеления: все прочее было ограблено и разрушено. Рака св. митрополита Филиппа не существовала, и мы, собрав обнаженные от одежды и самого тела останки его, положили на голый престол предела. Гробница над бывшими еще под спудом мощами митр. Петра была совершенно ободрана, крыша сорвана, могила раскопана. Я не имел ни досуга, ни дерзновения спуститься вниз, но после узнал, что с того времени мощи открылись, согласно предсказаниям, слышанным задолго до нашествия Наполеона, от митрополита Платона, *что мощи святителя Петра должны открыться только тогда, когда враги возьмут Москву*. В Успенском соборе от самого купола, кроме принадлежащего к раке св. Ионы, не осталось ни лоскута метала, ни ткани. Дощатые надгробия могил московских архипастырей были обнажены, но одно только из них изрублено, и именно патриарха Гермогена, и это заставляет меня думать, что в Успенском храме помещались наполеоновы гвардейские уланы и что то же буйство, которое подняло руку убийц на служителя Божия, благословлявшего восстание Русской земли на ее губителей, чрез двести лет посрамилось храброванием над утлыми досками, прикрывающими его могилу. Сие видимое сближение 1612 с 1812 же годом проблеснуло в памяти моей всегдашнюю судьбу нашего отечества. Небесный Царь, укоренивший в нем православную церковь и во все времена ущедрявший его мудрыми единовластителями[14], неоднократно наказуя, явно миловал верный ему народ. Не Всевышний ли Промысел, наложа татарское иго на раздробленную Русскую землю, соединил ее в целое государство? Не Он ли, попустя коварный захват Москвы и измену призванных на помощь против нас же самих соседей наших, примирил внутренние вражды? Не Его ли благим наитием съединодушилось избрание царя Михаила Феодоровича, и все государство его слилось в краеугольный камень, о который разбились и военная доблесть Карла XII, и великость властолюбия Наполеона, отвергшего и опыт шведского героя, и благоразумную политику татар, оказывавших уважение к нашей святыне. Каждый шаг наполеоновых европейцев в России был ознаменован грабительством и святотатством; однако должно сказать, что в Кремле, кроме сплошного ободрания церквей, я могу только представить одно явно умышленное богохульство: в алтарь Казанского собора втащена была мертвая ло-

[14] По хронологическому сравнению прочих европейских государей с нашими самодержцами, вы увидите чрезвычайное преимущество наших. Во Франции с Карла Великого до Наполеона начтётся пять мудрых государей, в том числе и поруганный нынче всеми писателями Людовик XI. А у нас с Рюрика до нашего времени не сыщется больше пяти таких, которых владычество всею Россиею можно почесть, по их неспособности, несчастным временем. История Германии, Англии, Италии, Испании и прочие гораздо скуднее нашей благотворительными венценосцами.

шадь и положена на место выброшенного престола. Правда, что в Архангельском соборе грязнилось вытекшее из разбитых бочек вино[15], была набросана рухлядь, выкинутая из дворцов и Оружейной палаты, между прочим две обнаженные чучелы, представлявшие старинных латников, а большая часть прочих соборов, монастырей и церквей были превращены в гвардейские казармы, ибо, кроме гвардии, никто не был впускаем при Наполеоне в Кремль. В Чудовом монастыре не оставалось раки св. Алексия: она была вынесена и спрятана русским благочестием, также как и мощи св. царевича Димитрия, и я нашел в гробнице его только одну хлопчатую бумагу.

По очищении церквей Божиих от хлама я запечатал их моей печатью до возвращения духовенства и, вышед из Кремля, был удивлен уже не небесным, а земным промыслом: наваленных в Кремлевском рву и валявшихся по улицам человеческих тел и конской падали не стало. Подмосковные крестьяне, конечно самые досужие и сметливые, но зато самые развратные и корыстолюбивые во всей России, уверясь в выходе неприятеля из Москвы и полагаясь на суматоху нашего вступления, приехали на возах, чтобы захватить недограбленное. Но граф Бенкендорф расчел иначе: он приказал взвалить на их возы тела и падаль и вывезти за город, на удобные для похорон или истребления места, чем избавил Москву от заразы, жителей ее – от крестьянского грабежа, а крестьян – от греха. Но если подмосковная промышленность встретила неудачу в дурном намерении, то она успела в добром. Я нашел на площади против дома главнокомандующего целую ярмарку. Она была уставлена телегами с мукой, овсом, сеном, печеными хлебами, папушниками, сайками, калачами, самоварами со сбитнем, даже разной обувью, и ясно показывала, что около Москвы не было пропитания только неприятелям. И к народной чести надобно заметить, что цена на съестные припасы нимало не возвысилась против прежней, а изобилие беспрерывно умножалось по мере наполнения опустелой Москвы. Объезжая правую сторону обширного пепелища, я заехал в уцелевший дом Познякова[16], где жил вице-король Италии и давались оставшимися в Москве французскими актерами спектакли. При въезде моем на большой двор обоняние мое было поражено ужасным запахом, а глаза – отвратительным видом нескольких уже давно издохших лошадей и всякой мерзостной нечистоты. Во внутренности дома не только все уцелело, но еще было нанесено множество фортепьян и не принадлежащих к

[15] В Архангельском соборе, а именно в алтаре его, г-жа Обер-Шальме, бывшая долгое время поставщицей французских мод для московского барства, снабжавшая наших щеголей и щеголих всякими заморскими товарами из огромного магазина своего (ныне дом Обидина в Глинищенском переулке, между Тверской и Большой Дмитровкой), в правление старика графа Гудовича игравшая большую роль в Москве и сделавшаяся по вступлении Наполеона в Москву приближённым к нему лицом, придумала устроить кухню для великого императора! – *Прим. П.И. Бартенева.*

[16] На Большой Никитской, на углу Леонтьевского переулка, ныне дом Ю.А. Воейковой. – *Прим. П.И. Бартенева.*

нему зеркал и мебелей, а за сценою домашнего театра брошены остатки священнических риз, из которых выкроены кафтаны и костюмы для комедий, разгонявших тоску жертв наполеонова властолюбия.

Проездя почти до вечера по городской пустыне, я приехал к Иловайскому, где уже шумело многолюдное собрание вступивших, приехавших и отыскавшихся в Москве. Первый поздоровался со мною Павел Дмитриевич Киселев, бывший тогда адъютантом всегда близкого к неприятелю графа Милорадовича. Он, посланный им пробраться к Москве, чтоб узнать в ней о действиях неприятеля, прямо въехал к друзьям и обрадовал нас известиями о торжествующей уже армии. Несколько раненых офицеров, в том числе бывший потом камергером и губернатором Кривцов, рассказывали нам, что могли знать о Наполеоне, т.е. что он остановился сперва в доме главнокомандующего, перебрался от пожара в Петровской дворец и потом плотно загородился со своей старой гвардией в Кремле от шумного ропота голодающих французов. Он им издалека еще показывал Москву, как венец их трудов, обещал в ней довольствие, обогащение и самый прибыльный мир, которого они давно требовали и который он, в тогдашнее время, столько же должен был полюбить, сколько наш Император и русские возненавидеть. Я помню, что барон Винцингероде показывал мне письмо, где он называл мир с Наполеоном политическим рабством и внутренней враждой. Рассказ старика Тутолмина, оставшегося начальником Воспитательного дома с малолетней частью его питомцев, ограничивался представлением его к Наполеону, стоявшему пред камином, и переводным с ним разговором, который заключался в вопросах. «Кто остался в Воспитательном доме?» – Малолетние. – «Нет ли в нем помещения для лазарета?» – Найдется довольно. – И еще несколько слов, удовлетворивших старика Тутолмина[17]. Он хотя рассказывал одно и то же особо всякому, кто входил в комнату, однако не могу точно всего припомнить; но уверен, что из 1001 старикова рассказа несколько до Вас дошло. Движущийся остов престарелого генерал-поручика Сипягина, схваченного французами при запоздалом выезде его из Москвы, по обыкновению их, разутого и принужденного несколько времени в тележке возить землю для укрепления Кремля, разжалобил всех собеседников. Но отставной шталмейстер Загряжский никого не умилил: хотя он и не был, как разнесся слух, в наполеоновой службе, но по прежней будто приязни с Коленкуром, в добром здоровье оставался под его покровительством в чужой Москве, для сохранения своего имущества, а может быть, и для благоприобретения к нему, в случае мира, им одним из русских желаемого.

Я забыл сообщить Вам нечто достойное наблюдения. При нашем въезде в Москву к нам явился книгопродавец Рис и рассказывал, что, принужденный

[17] Старик Тутолмин, кажется, представлял себе Наполеона таким же страшилищем, как французы победоносного Суворова. Так его улыбка и довольно ласковый вид произвели над ним то же действие, как роза, посланная Суворовым с выпущенным из плена генералом Викто́ром молодой жене его, произвела над парижанами.

остаться при своей лавке и вдруг услыша издали трубы и барабаны, вышел на улицу; его схватили, представили Наполеону, помнится у Дорогомиловского моста, и вот их разговор: «Кто ты?» – Французский книгопродавец. – «А!... стало мой подданный». – Да, но давнишний житель Москвы. – «Где Растопчин?..» – Выехал. – «Где Московское городское правительство?» (Magistrat) – Также выехало. – «Кто же остался в Москве?» – Никого из русских. – «Быть не может!» Рис, кажется, поклялся в истине своих показаний. Тогда Наполеон нахмурил брови и, простояв довольно долго в глубокой думе, наконец, как бы решась на очень опасное дело, вскрикнул: марш! вперед! Но этот марш, как я потом слышал от пленного племянника и адъютанта маршала Бертье, походил не на торжественное вшествие победителей, а на погребальный ход за покойником.

После обеда мы перебрались, с корпусной канцелярией, вверенной моему надзору, в дом князя Белосельского[18], где жил маршал Бессьер и в котором величественная зала и библиотека, вероятно, маршальскою свитою превратились в безымянное между порядочными людьми место. Нам очистили на другом конце дома княгинины комнаты; там, сидя у камина и разговорясь о чем тогда только и говорилось, пустились мы в предузнание следствий оканчиваемой Наполеоном, а начинаемой нами войны. Надобно Вам знать, что дорогобужский дворянин Богданович, служивший капитаном в Смоленских командах, некогда охотою составленных против Пугачева, вышедший с той поры в отставку и сохранивший тогдашний мундир свой, т.е. синюю куртку с алой выпушкой, при вступлении неприятеля в Великоросские границы, сел на коня со своими двумя слугами, пристал к отряду барона Винцингероде, прилепился к графу Бенкендорфу и, перейдя с нами на новоселье, сидел в круговинке у камина. Он долго ничего не выпускал из своего рта, кроме табачного дыма; наконец, оторвав от него огромную трубку и ударив по сабле, гордо сказал: «Я эту дуру сниму только в Париже. Мы улыбнулись такому неожиданному пророчеству; однако ж пророк точно снял свою непраздную дуру в Париже. Я думаю, что он оттого вернее нас предузнал волю Небесного Промысла, что мы судили по земным расчетам и по понятиям иноземных воспитателей наших, а он просто по Русской вере, уповая на святость нашей православной церкви, на всемогущество Русского царя и твердую грудь Русского народа.

Вы, конечно, не подумаете, чтобы я, пожертвовав всеми выгодами, представлявшимися мне в жизни моей, любви к отечественному просвещению и страсти к свободным художествам, захотел быть проповедником невежества; нет, я очень знаю, что не телесная, а умственная сила человека покоряет ему не только свирепых животных, но разнородные произведения природы и самые стихии. Я твердо уверен, что одно только просвещение укрепляет государства и возводит людей к высокой цели их земного бытия; но я хочу прочного про-

[18] Ныне Малькиеля, на углу Тверской и Козицкого переулка. – *Прим. П.И. Бартенева.*

свещения, сообразного народному самобыту, образования, не искажающего его природных красот, и знаний, не сбивающих нас с Русского толка; требую от наставников нашего юношества наук полезных общему делу, а не траты свежей памяти его на повторение пустословных умствований, ни к чему, ни нам и никому не служащих; добиваюсь от писателей наших творения, вдохновенного собственно их Русским гением, или сочинений, извлеченных из коренного свойства их родины, но не буквального перевода, часто непонятого ими чужемыслия, вредящего нашим искони благочестивым нравам и искажающего на чужой лад наш пока еще богатый, сильный, благоразумный язык. Молю Бога, чтоб здравопросвещенная Россия ни в словесности, ни в каких изящных искусствах, знаниях, полезных ремеслах, промышленности и досужестве не уступала никому в мире и оставалась все-таки Россиею, которая отдельным самобытом, огромностью своих сил и пространством земли уже не только европейское государство, но значительная часть всего света. Итак, она, чтобы сплотить себя в одно целое тело, обязана соединять со своим самобытством все ее разнообразные приобретения, укоренить прочное и свое образование, внушающее единомыслие и единодушие. Сверх того, Россия должна быть единственною и прямою просветительницею полудиких орд, обладаемых ею, до чего никогда не достигнет, довольствуясь только подражанием и переимчивостью: ей необходимо нужно основать и укоренить на своей вере, на своих законах, на своей народности и на своем языке политическое и нравственное достояние свое; о чем, слава Богу, ныне, видимо, печется правительство наше, сосредоточенное в священной власти сильного волею и народолюбивого Государя. Вот опять отступление от рассказа моего; но воспоминание о том, что я готовился Вам сообщить, увлекло меня.

К третьему дню нашего пребывания в Москве уже все было приискано, приноровлено и готово для благодарственного молебствия. Одна только большая церковь в Страстном монастыре нашлась удобною к совершению Божественной литургии. Французы, из всегдашнего уважения к прекрасному полу, исполнили просьбу оставшихся в монастыре, хотя только престарелых, монахинь и учтиво не осквернили в нем храма Божия. Несколько священников отыскались; но серебряные сосуды были вывезены; и кто-то, сохранивший древний стеклянный, явился с ним к досужему земляку моему подполковнику Кедрину, которому я поручил хлопотать об исполнении придуманного мною сильного действия, несколько в сценическом роде. Этот радушный человек был, если его уже нет на свете, из числа тех проворных людей, которых, как говаривал граф П.А. Пален, не встретишь нигде, кроме России. Вся жизнь их – беспрестанная скачка верхом или в тележке; единственное желание их – все отыскать, всем услужить и везде поспеть. Я только намекнул досужему земляку моему, как оживить для торжественного молебствия замерлую Москву, и все было сделано. На всех уцелевших колокольнях явились звонари, церковники, мещане, посадские мальчики и ожидали условленной повести. Прежде 9 часов ударил большой колокол Страстного монастыря, и

вдруг широко раздался благовест по всей погорелой обширности Москвы. Верно, тогда не было никого, чье бы сердце не вздрогнуло, на чьих глазах не навернулись слезы и кто бы перекрестился не только по одной привычке. Москва будто ожила, когда повсеместно загудели милые ей колокола, которыми она искони тешилась и славилась[19]. Перед входом нашим в монастырь двор его, переходы, паперть и церковь были уже наполнены богомольцами, а вся тогдашняя столица Всероссийских царей втеснилась в одно не очень обширное здание. Сильный трезвон, заколебавший московское поднебесье, усилил ожиданное мною действие; все как будто встрепенулись, и конечно с победы Пожарского и всенародного избрания царя Михаила Феодоровича не было ни одной обедни, петой в Москве с таким умилением и слушанной с таким благочестием; но когда, по ее окончании, священный клир возгласил перед царскими дверями: «Царю Небесный, Утешителю!» – все наполнявшие монастырское здание начальники, воины, дворяне, купцы, народ, русские и иностранцы, православные и разноверные, даже башкирцы и калмыки, пали на колени и хор рыданий смешался со священным пением, всеместным трезвоном колоколов и, помнится, пальбою каких-то пушек. Бог привел меня, ровно за 12 лет пред тем, быть свидетелем в Ахене очень умилительного действия первой обедни, петой после Французской революции в древнем соборе, где короновался Карл Великий. Я, хотя иностранец и другого исповедания, не мог без слез видеть усердного моления старых католиков и женщин, сохранивших в сердцах своих Господа Бога и веру, во время беспримерного богоотступления, превратившего Божии храмы в магазины и воспрещавшего исполнять христианский долг. Но я тогда соучаствовал, как человек и христианин, в чужой радости, а в Москве, очищенной от неприятелей, дух мой был выше всего, что может постигнуть и чувствовать еще телесный человек. Мне случалось иногда в пиитическом исступлении отторгаться от земли, не видать, не слыхать, не понимать, что вокруг меня происходило, и даже в дни грусти и оскорбления наслаждаться минутами невещественной жизни поэта. Но тогда, в уединенном покое, одинокая душа моя отделялась от людства, восторг мой отчуждал меня от моих ближних; а тут, в светлом велелепии русского святилища, душа моя, слиянная в отечественный лик, торжественно возносилась к Источнику общего спасения, общей радости; она как бы осязала соприсущное ей Божество Спасителя, Чьим милосердием к нашей родине, исторгая из плена первопрестольный град моих государей, уцелела в пламени наша святыня и воссияла из пепла Русская слава. Я только в эту минуту почувствовал всю силу благодарности к произведшему меня на свет человеком, христианином и Русским. В сей истинно Божий час не только умиленные просвещением, но и закаленные в неприятельской крови или очерствленные староверством сердца вспыхнули священным огнем богодохновения, так же

[19] Огромный колокол Вестминстерского собора вылит в Москве, что доказывает его русская надпись.

пламенно, как сердце стихотворца, которому, однако ж, 40-летняя привычка говорить, и не совсем без успеха, языком страстей не помогает вполне изъяснить то, что в нем тогда происходило, хотя чрез 24 года тогдашние ощущения еще сильно отзываются в его душевной памяти.

Усилие оживотворить торжественный день нашего спасения так взволновало и животную, и духовную память мою, что я пропустил рассказанное нам на другой день вступления графом Бенкендорфом. Он рано поутру поехал в Спасские казармы, служившие больницею русских и французов, из которых, по его распоряжению, уже начали вывозить больных в полусожженный Петровский дворец. При входе в казармы он был поражен убийственным зловонием и нашел между страждущих и умирающих полусгнившие трупы, коих съеденные смертностью мышцы уже не скрепляли распадающихся членов, и они, при усилии подымавших тела, от них отрывались. Ужас и омерзение, произведенные этим, более чем варварским презрением к человеку, преследовали целый день добродушного сострадальца полумертвецам, просящим жизни почти на всех европейских языках, и он только тогда отдохнул, когда после полудни удостоверился, что все больные были перенесены и перевезены по его назначению и им подавали возможную тогда помощь под бдительным надзором полковника Орловского и подполковника Оленина.

На другой день запах французского пребывания в зале и библиотеке, проходя в наши комнаты, выгнал нас из палат князя Белосельского в дом моих родственников, который напоминал нам вечера, в нем радостно проведенные во время коронации покойного императора. У меня также вышло из головы, в этой или прежней квартире остановился у нас прежний наш сослуживец генерал-адъютант граф Сен-При, присланный фельдмаршалом для начальства нашим отрядом; однако же не истратилась из сердца тогдашняя утеха моего самолюбия. Граф сказывал, и при всех, что фельдмаршал, прочтя присланное к нему обнародование от имени генерала Иловайского и зная уже, что я вошел в Тверское ополчение, сказал: «А! Шаховской в Москве», – и этот лестный отзыв бессмертного мудростью полководца очень обрадовал мое авторство. К слову об авторстве, я не могу утерпеть, чтобы не сообщить Вам, как меня вскоре после того поддело авторство, только не мое. Фельдъегерь, присланный от военного министра, подал мне толстый пакет. Судя по письму А.С. Шишкова и по Высочайшему благоволению к нашим действиям, я ожидал найти в нем звездное или, по крайней мере, крестное одобрение моей, отдельной от ополчения, службы; но, развернув пакет не без сердечного трепета, я увидел в нем... что Вы думаете?.. кипу печатных стихов графа Хвостова, который был, к моему несчастью, зятем министра и нашим сочленом в Русской академии, а потому прислал мне 120 экземпляров радостной оды своей на освобождение Москвы. Вы можете себе представить, как обрадовала меня эта радостная ода, и только то утешило, что никого не было в комнате; стало быть, никто не видал забавного для других изменения лица моего.

Прибытие из Твери, по Высочайшему повелению, нынешнего графа Голенищева-Кутузова[20] для принятия в команду отряда переменило еще начальника, и я по вступлении его остался в Москве, где должен был дождаться графа Растопчина, чтоб изустно объяснить ему все найденное и сделанное с выступления неприятеля.

Явившийся обер-полицеймейстер Ивашкин со своими подчиненными снял печати и часовых, охранявших строения, в которых были склады разных уцелевших вещей и запасов. Я не помню, чем французы наполнили палаты графа Растопчина, князя Куракина и некоторые другие, но не забыл, что обер-церемониймейстера Валуева были превращены в свечной магазин, а магазин Шальме пополнился многими сносами с Кузнецкого моста. По снятии печати и осмотре этого дома, в котором жил Лейт[21] (родившийся в Архангельске, путешествовавший с Лаперузом, бывший французским консулом в Петербурге и наполеоновым префектом в Москве), обер-полицеймейстер нашел в комнатах г-жи Шальме все в большом беспорядке: накрытый стол и на нем полуразрезанный кусок говядины, с воткнутою в него вилкою. Эти явные признаки торопливого выезда жильцов, в том числе и начальника города, доказывают, что Наполеона вовсе неожиданно выпугнуло из Москвы Тарутинское дело и что надежда на позорный для России мир длилася в нем хитростью «старой лисицы», как, говорят, он называл нашего мудрого полководца. – В тот же день объезжая Москву с г. Ивашкиным, мы взобрались кое-как в развалины сгоревшей залы Благородного собрания. Вздыхая о прошедшем ее великолепии и не воображая еще нынешнего, я почувствовал, что нога моя уткнулась в нечто твердое, высунувшееся концом из груды щебня, и, наклонясь, увидел палец медной руки. Тотчас полицейские, привыкшие вырывать всякие поклажи, открыли бронзовую статую Екатерины II. Вы можете себе представить, как я восхитился, видя, что этот памятник благодарности русского дворянства, за дополнение благодеяния Петра III, не достался Наполеону. Бог его не допустил никакой явной добычей ознаменовать в Париже пленение Москвы, опалившей своим собственным пожаром крылья его Фортуны, которых уже не мог отрастить и уцелевший гений его. – Поехав от собрания по тогдашней топи, а нынешней прекрасной площади, мы между обломков, заваливших двор Университета, увидели белый, будто мраморный, бюст; но прикосновение к нему открыло, что это верхняя часть человеческого тела, вероятно выброшенная в известной смеси кремлевским взрывом.

---

[20] Идя с нами к обедне в Страстной монастырь, он заметил на углу ограды, из приваленного к ней дрязга, высунувшуюся ногу человеческую, и открылось, что тут были заметаны чем попало тела шести московских мещан, схваченных, обвинённых в зажигательстве и повешенных на фонарях подле Тверских ворот.

[21] Правильнее – Лессепс, «интендант или управляющий городом и провинцией Московскою» во время наполеоновской оккупации Москвы. – *Ред.*

Меня обрадовал приезд московского гражданского губернатора Николая Васильевича Обрезкова, очень умного и любезного человека, который, по хорошему знакомству нашему, захотел остановиться в одном доме со мною. Я от него узнал многие обстоятельства и происшествия, предварившие вход неприятеля; между прочим – о горючем шаре, который долго и тайно приготовляли в подмосковной князя Репнина. Несколько оставшихся от него начиненных горючим веществом бумажных трубок были выставлены уликою в зажигательстве Москвы несчастных, схваченных и повешенных по военному наполеонову суду, давно известному на Руси под именем Шемякина[22]. Нам принесли сторублевые ассигнации французской работы, которые от настоящих мы могли только отличить по выгравированной подписи. Я слышал, что фабрика или завод этого бездельства находился в Кёнигштейне, куда до самого освобождения Саксонии от наполеоновского ига никого не впускали; но я уверен совершенно только в том, что повелитель почти всего западного материка Европы промышлял фальшивыми ассигнациями[23].

Наконец, граф Растопчин въехал в колясочных дрожках на пепелище оставленной им, хотя и опустелой, но еще прекрасной Москвы. Я встретил его у церкви Василия Блаженного, как прежний его знакомец, стихами Крюковского:

«И пепл родимых стен потомству возвестит,
Что славу Росс свою всех выше благ ценит».

Он, кажется, отнеся эти стихи, и не напрасно, к себе, обнял меня, как обнимаются единокровные на прародительском кладбище. Мы обходили сперва Кремль, где он приказал оставить мои печати до возвращения преосвященного Августина, потом объехали часть города и уже вечером мы вошли в уцелевший дом его и пробеседовали втроем с Н.В. Обрезковым всю ночь. Я донес главнокомандующему в Москве обо всем, что он желал знать; но как тогдашнее сочувствие всех русских сближало и дальнейшие чиновные расстояния, то разговор наш сделался почти приятельским. Граф Растопчин с самодовольствием говорил и о том истинно славном деле (от которого чрез несколько лет печатно отрекся в Париже), почти с таким же самодовольствием прочел мне черновое письмо свое к фельдмаршалу и старался дать почувствовать игру слов или каламбур, в упрек фельдмаршалу, что он *своим покоем очень беспокоит всю Россию*. Лицо мое, болтливое не меньше языка и пера, не скрыло от него, чего б, из учтивости, словами я ему не сказал. Большие глаза графа Растопчина, искавшие, может быть, моей улыбки, опустились вдруг на

---

[22] Шемякин суд – нарицательное выражение, обозначающее несправедливый суд. Связано с одноимённым названием русской сатирической повести 2-й половины 17 в.

[23] Сам Тьер не отрицает, что Наполеон прибегал к этой мере. Он не оправдывает её, но старается облегчить вину своего героя тем, что ведь англичане же, воюя с Францией, наводняли её фальшивыми бумажками. Наш учёный историк войны 1812 года, в тупости своей и угодничестве, совсем отрицал существование русских фальшивых ассигнаций, изготовленных Наполеоном! – *Прим. П.И. Бартенева*.

недочитанное письмо, и сочинитель его захотел объяснить мне, что он неоднократно ездил в лагерь и, как главнокомандующий в Москве, требовал видеть главнокомандующего армиею; но ему отвечали каждый раз, что Его сиятельство только изволил успокоиться и не приказал никого к себе принимать, а потому он был вынужден хотя письменно объяснить не только названному им князем Невидимкой, но и всей России, как он чувствовал и думал. Зная, что списки этого письма ходили по армии и графский каламбур повторялся шепотом в ее Главной квартире, я сам нашелся вынужденным объяснить языком болтовню моего лица, т.е. что упрек фельдмаршалу, так остроумно выраженный знаменитым государственным человеком, мог вредить доверенности подчиненных к начальнику, от которого зависела судьба России. «Но этот начальник, – возразил граф, – должен был иметь доверенность к другому начальнику, удостоенному доверенности самого Государя». Я представил Его сиятельству, что фельдмаршал, как известно, держался правил великого полководца, не хотевшего, чтоб и подушка, на которой он спал, знала его намерения. Граф нашел это правило Аннибала совсем неуместным с человеком, на которого фельдмаршал мог и должен был полагаться. И потому-то, мне кажется, отвечал я, уже улыбнувшись, ему не было нужды с вами видеться. Удивленный моим ответом и улыбкой, он спросил: «А это почему?» – «Потому же, почему Суворов пред Измаильским приступом, приказывая дежурному генералу обойти начальников колонн, одному растолковать, другому рассказать, Рибасу намекнуть, примолвил: а генерал Кутузов и Рибаса обманет. Так, стало, и говорить ему не было нужды».

Пример подействовал, и я спросил более развеселившегося однодомца моего Николая Васильевича: «Если б фельдмаршал и целые сутки протолковал с графом, то могло ли от того что-нибудь сделаться лучше и удивительнее бывшего? Москва преспокойно и без всякой суматохи опустела, никто в дороге не умер с голода, никого не ограбили, все доехали благополучно, куда кто хотел, и из 180 000 московских жителей насилу отыскали одного, да и то француза, чтоб объявить Наполеону, перебравшему большую часть европейских столиц, неимоверную для него новость, за что московский главнокомандующий удостоился от него ругательств, которые он, верно, не променяет на оды и не графа Хвостова». Тут не вовсе беспристрастные слушатели мои рассмеялись, а старший прибавил, что Наполеон не только удостоил его своих ругательств, но и пронырств, приказав непременно отстаивать дом его, чтоб внушить против него подозрение в предосторожностях, взятых им для сохранения своей собственности будто от распоряженного им же пожара; но хозяин сохраненного дома доказал целому свету свою бескорыстность, сожегши сам принадлежащую ему прекрасную подмосковную.

Это воспоминание истинно бескорыстного и прямо русского подвига совершенно развеселило графа, и он, с его обыкновенною любезностью, пустился, по-своему, в рассказы слышанных или виденных им проказных случаев по выезде из Москвы, откуда, как он мне заметил, благополучно доехали

кто куда хотел, все совершенно русские; а с иностранцами и полурусскими случались маленькие неприятности, и к нему представляли связанных, а иных и растрепанных знакомых ему учителей и даже чиновников, и будто привели на веревочке одного сентиментального поэта и московского бального щеголя, говоривших между собою о бледной луне и о Кузнецком мосте по-французски. Николай Васильевич к этому прибавил, что и в армии казаки подстрелили одного адъютанта, приняв по французскому разговору его с товарищем за неприятеля. «Знаете ли, – прервал граф, – что слухи о подобных неприятностях с иноязычниками едва не уморили вывезенного с моею канцелярией из Москвы общего приятеля нашего, славного итальянского живописца, но не очень угомонного русского помещика философа Тончи?[24] Ужас быть убитым крестьянами, а может быть и слугами своими, распалил пламенное воображение и загнал его в лес. Вся канцелярия моя, не зная куда он девался, пустилась с казаками и крестьянами отыскивать его по дороге и в лесу; начали аукать, кричать, кликать. Он, слыша со всех сторон свое имя, совершенно рехнулся и, уже отысканный и приведенный в дом, от страха, чтоб его не убили, сам чуть не зарезался бритвою; к счастью, успели ему помочь, успокоить, наконец совсем образумили, и он, в память своего спасения и уцеления, обещался написать запрестольный образ для соборной Владимирской церкви». Потом граф Растопчин рассказал между прочего русского своеделья, что он встретил кучу неприятельских мародеров, веденных вооруженными в их же оружие мужиками под предводительством дородной бабы, гордо выступавшей с длинной саблей, повешенной чрез плечо сверх французской шинели. Граф узнал от провожатых, что она их старостиха Василиса, и хотя ее женское дело, а она на свою руку охулки не положила[25]. На вопрос, много ли они перевели басурманской саранчи, Василиса за всех отвечала: «Таки их посильно место передушила наша вотчина; да та беда, что сперва наши сглупа боялись их убивать, чтоб не попасть за окаянных в ответ, и только что от них хоронились; а как узнали, что нет запрета изводить злое семя, то и пошли всех душить, на кого нападут врасплох; только, видишь, начальники не верили мужицким рассказам и дали такую повестку, чтобы де мы видели ваше усердие и промысл, то берите больше в полон супостатов и

---

[24] Вот как сам Тончи объясняет причину его сумасшествия. Отослав задолго по совету графа Растопчина жену свою, урожденную княжну Гагарину, в Рязань, он остался в доме графа, который обещал его, когда нужно будет, отправить к ней. Неприятель близко, Москва пустеет. Тончи в страхе приходит к графу и напоминает его обещание. Графу было не до Тончи; он отвечает: «Вы будете отправлены куда надо», – и при сем грозно приказывает своему правителю канцелярии г. Руничу взять его с собою. Эта необыкновенная суровость поражает итальянца; встревоженное воображение представляет ему, что его хотят отправить в Сибирь, и когда Рунич повёз его не по Рязанской дороге, ужас ссылки довёл его до исступления. Он бежал в лес и проч.

[25] Только в выражении: охулки на руку не класть или не положить (*разг. фам.*) – не упускать своей выгоды, интереса, не зевать, не ошибаться в чём-нибудь.

кого нам живого представите, за того будет награда, а за мертвых награды не будет[26]. Вот тут наши и взялись за ум. Как заслышали этих супостатов, притаилися по задворью. В моем домишке осталось-таки довольно винца и пивца; вот они, как голодные волки, вбежали в деревню да, позарясь на белую избу, взошли в нее гурьбой, отыскали хмельное, ружья к стороне и ну бражничать, да и ошалели. Тут, выждя ночи, наши нагрянули, и ну работать; кто забарахтался, тому карачун[27], а кто не ерошился, тех живьем привели к вашей милости, чтоб товар лицом продать».

Николай Васильевич прибавил к графскому рассказу донесенное ему исправником. Вечером взошла в деревню шайка французов; а как, вследствие приказа земского начальства, по всем селениям были учреждены отводные караулы, то они дали весть крестьянам, те спрятались куда знали. Усталые мародёры забрались в избу на ночлег, мужики обещались выстроить хозяину новую, да около полуночи подослали в подклеть мальчика прислушать, что делают незваные гости? Храпят! Крестьяне, благословясь, потихоньку подкрались, приперли бревенцом дверь, привалили хворосту к сенцам, зажгли и потешили свою душеньку криком и воем горящих с избою злодеев Святой Руси.

Эта крестьянская потеха, от которой, как говорится, меня по коже подернул мороз, перебросила разговор к тогдашним, единственным сподвижникам нашим, испанцам. Мы, сравнивая их народную войну с нашею, были поражены чудесным сходством судьбы и свойства двух народов, живущих совершенно в различных климатах и на противоположных концах Европы[28]. Разговорясь о русском быте, граф с улыбкою спросил меня, что я думаю о его обнародованиях? Не хотя оскорбить самолюбие сочинителя или согрешить против моей совести, я объяснил, что нахожу в них хорошего, то есть, что они, писанные точно простонародным слогом, должны были действовать в нижних сословиях сильнее и вернее высокопарного ораторства; что, читая их, русские сердца запалялись молодечеством; но умолчал, что площадной

---

[26] Фельдмаршал, чтоб унять крестьян от ужасных убийств попадавших к ним в руки неприятелей, приказал это обвестить по отчинам и за безвредный привод пленных давать награды.

[27] В народе понятие «карачун» используется в смысле погибели, смерти.

[28] Испанцы, покорённые маврами, как мы татарами, сохранили свой самобыт, уничтожили также покорителей и усилием против них соединили разделённое отечество своё. Они так же, как и мы, всячески истребляли общих нам и всей Европе врагов. Они отличались такою же, как и мы, привязанностью к церкви и родине. После нас никто меньше их не служит и не подданствует чужим государям. В Гамбурге жена американского консула, родившаяся в Лиссабоне, зная некоторые голоса малороссийских думок, уверяла, что они напоминают испанские и португальские народные песни. После того в Неаполе, на вечере у французского посла, природная испанка, вышедшая за итальянского маркиза, которого имени я не мог затвердить, пением своих отечественных романсов удостоверила меня в удивительном сходстве напева их с нашим украинским; пантомимный танец важной фанданки очень сближается выразительностью и телодвижением с русской степной пляской. Нельзя не согласиться, что Испания была и тогда во многом похожа на Россию, но только как прибодрившаяся старуха на здоровую и свежую молодицу. Испания уже заблекла, а Россия ещё процветает.

язык черни казался мне не вовсе приличным в обнародованиях от имени главнокомандующего столицей, который должен говорить всем сословиям. Хотя граф Растопчин в этом мог бы оправдаться предположением, что просвещенные люди не имели надобности в его побуждениях на подвиг, внушаемый им честью и любовью к отечеству; может быть, он так и думал, но, кажется, хотел своими площадными обнародованиями возбудить старорусский дух московской черни против новомыслия полупросвещенной молодежи. Это я заметил из объяснения его поступка с купецким сыном Верещагиным, обучавшимся иностранным языкам в Московском университете, «где давно уже мартинист Шварц и недавно немецкий философ Буле трудились заводить русский ум за чужой разум и не взмилить наш православный быт. Угоревший от чада новопросвещения, купчик Верещагин пустился переводить, толковать и распускать в народе Наполеоновы прокламации, когда он сам уже был под Москвою, где начали проявляться другие Верещагины и верещать по-заморскому; то должно было, чтоб узнать своих и показать чужим русскую ненависть к их соблазнам, предать одного народной казни и ее ужасом, если не образумить, то хотя устрашить прочих сумасбродов». Я не стал возражать против жестокости казни, к которой иногда принуждают и очень сострадательных народоправителей время, обстоятельства и необходимость примера, хотя не нахожу разъярение черни средством, свойственным законному правительству.

Проведя всю ночь в неумолчной беседе, я уже при дневном свете простился, и навсегда, с графом Растопчиным, за которым беспристрастное потомство, надеюсь, утвердит почетное место в Истории 1812 года, как современники отдают справедливость его замысловатому, хотя и не всегда добродушному острословию, из которого во Франции сделали бы целую Растопчиану. Между прочих его замысловатостей замечательна едва ли не последняя его шутка: в одном из парижских театров, где все освистывали дурного дебютанта, он один аплодировал и отвечал спросившим его, что это значит: «Боюсь, как сгонят его с театра, то он к нам отправится в учители». Но, слава Богу, нынче трудно этому случиться.

Чтоб Вам не показалось несколько неестественным такое подробное припомнение моего разговора с графом Растопчиным, я должен объяснить, что он недавно возобновился в моей памяти попавшимся мне между старыми бумагами началом письма моего к покойному графу В.В. Мусину-Пушкину Брюсу. Этот самый незлобивый, доброхотный, честный и русолюбивый человек любил иногда особливо со мною спорить, и, вследствие противоречия моей давнишней уверенности, что Наполеон может ворваться в Россию, но целый не вырвется из нее, и моего же мнения о графе Растопчине, я по возвращении в полк принялся было писать к нему, но за хлопотами и скорым походом не дописал и не послал письма, которого уцелевший листок мне теперь пригодился. Но пора кончить мой утомительный рассказ выездом из Москвы.

Держась буквально Корнелиева изречения: «Faites votre devoir et laissez faire les dieux»[29], я почел моею обязанностью не оставлять ополчение, в которое судьба меня привела, и возвратился в полк, которым начальствовал по избранию моих тогдашних сослуживцев; но не могу утаить, что гонка неприятеля из Москвы произвела нравственную перемену в некоторых избирателях моих. Они, как оказалось на деле, разделялись на природных дворян в старинном смысле этого слова[30] и на помещиков, схвативших кое-как офицерские чины или добравшихся по приказам даже до 9-го класса и купивших на промышленные деньги деревни. Первые, припомня в ополчении прежнюю воинскую службу и внушенные ею чувства народной чести, охотно шли в поход и рады были подраться с неприятелем, а некоторые из вторых, вступя ретиво в ополчение, служили усердно, пока отдавался в их русских сердцах воспалительный крик: «Наших бьют!»; когда же наши стали бить, то, смекнув, что незваным гостям у нас не вод, и почтя военное служение свое на защиту отечества уже конченным, старались отлынить под разными предлогами от дальнейших беспокойств и на зиму убраться в теплые хоромы свои. Кроме сих главных разделений на ополченных дворян и помещиков, были еще два разряда. Один – отставных офицеров, проживавших в губернии; услышав, что неприятель сильно идет на Россию, они по старой привычке тотчас прямо явились на службу царю и отечеству и не думали покидать ее, пока война совсем не кончилась. Второй – молодых канцелярских чиновников, воспитанных в губернских училищах и не успевших еще ободъячиться. Они рады были случаю вырваться из-за приказных столов и сделаться, как говорится в нижних сословиях, людьми. Офицерские мундиры их тотчас омолодечили, но, не имея денег и не зная благородных игр в карты, они, отчужденные помещиками, прильнули к дворянам, сдружились с бывшими военнослужащими и потом с ними вместе вступили в кадры дивизии, набранной из жалких остзейских рекрут, которых под моим начальством довели в порядке, исправности и целости в Варшаву.

При выезде моем из Москвы, уже в самом конце октября, показался первый снег и, по выступлении ополчения вслед за армией, начался запоздавший холод; но еще при переправе нашей в Зубцове через Волгу я принужден был пропускать мимо себя весь полк по одному человеку чрез наложенные по полыньям доски и не находил нигде недостатка в жизненных припасах: стало быть, неприятель, вопреки иностранным писателям, погиб не от холода и голода; ибо там, где побежденные сыты, победитель не может быть без хлеба, и во всех покоренных Наполеоном землях не войска его, а жители их мерли голодной смертью. Он должен был знать, что русская зима начинается в средине французской осени, и по крайней мере противу нее запастись

[29] Делай что должно, и будь что будет (*лат.*).

[30] В старину звание родового дворянина означало не только принадлежащих к княжеским и царским дворам, но и простых воинов, служивших из рода в род в их полках.

шубами, что легко было сделать завоевателю там, где нищие без них зимою не ходят. Но чтобы, невзирая на эти ощутительные доказательства истинной причины гибели наших врагов, они не могли всклепать на морозы дело пламенной любви к вере, царю и отечеству, Богу угодно было продлить в России теплоту до того, что в этот год и в тех местах, где был неприятель, два раза косили луга[31].

Вот, кажется, все, что я мог припомнить к исполнению Вашего желания. Чувствую и признаюсь, что мое письмо слишком многословно, но, право, я по возможности хотел очистить и окоротить, да не мог. Торопясь сообщить Вам все, что большею частью чрез сердце проходило мне в голову, я боялся, чтоб какое-нибудь новое горе не помешало мне навсегда кончить начатое. Но, слава Богу, я успел кое-как удовлетворить Ваше любопытство, не бесполезное даже и для самого меня. Я Вам благодарен за часы, которые воспоминанием хотя тяжкого, но славного времени извлекали меня из одурения, нагнанного на воображение мое горестями и каверзами вцепившейся в меня ябеды[32]. Если я наскучил Вам собою, то, право, не от самолюбия. Я только желал и желаю одного, чтоб опытность моя не пропала даром, и уверен, что извлеченное Вами из моего многословия послужит хотя несколько к указанию истинных причин прочного возвышения нашего отечества.

Русский архив. 1886. № 11



[31] Показание очень важное и не принятое до сих пор к соображению ни русскими, ни иностранными историками, продолжающими верить Наполеону, который на выступление своё из России приказал выбить медаль с изображением воина, гонимого Эолом. – *Прим. П.И. Бартенева.*

[32] Что за обстоятельства, на которые намекает здесь князь А.А. Шаховской, нам неизвестно. Не разумел ли он тут своей тяжбы с Пассеками по наследству князя Кантемира? Тяжба эта тянулась целые десятки лет и, сколько знаем, кончилась мировой, по которой часть громадного наследства досталась и князьям Шаховским. – *Прим. П.И Бартенева.*

И.И. ЛАЖЕЧНИКОВ. НОВОБРАНЕЦ 1812 ГОДА

(Из моих памятных записок)

В роковые двадцатые числа[1] рокового 12-го года находился я в Москве. Вышедши только что из-под опеки гувернеров, Messieurs Beaulieu[2] и маркизов Жюльекуров, еще недавно архивный юноша, проглотивший с двенадцатилетнего возраста немало пыли при разборе полусгнивших столбцов, перешедши потом в канцелярию московского гражданского губернатора Обрескова, по приглашению его, для узнания службы, я, однако ж, оставался в Москве не по служебным обязанностям. В то время дана была каждому воля идти на все четыре стороны. Паспортов не выдавалось, потому что все дела канцелярии были выпровождены на Владимирскую дорогу. В Москве же задерживало меня ожидание письма от моего отца, который жил в деревне, за восемьдесят верст от Москвы, к стороне Коломны. Я рвался в ряды военные и ждал на это разрешения. Сердце мое радостно билось при одной мысли, что я скоро опояшусь мечом и крупно поговорю с неприятелем за обиды моему отечеству. В войну 12-го года, истинно народную, патриотизм воспламенял и старцев, и юношей. Порою рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, к которому ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка, отважная выручка. Не скрою, что порой прельщали меня и красный ментик с золотым украшением, и лихой конь, на котором буду гарцевать перед окнами девушки, любимой мною страстно... до первой новой любви. Но, увы! мои надежды недолго тешили меня. Вместо ожидаемого разрешения получаю от отца приказ немедленно к нему явиться. Я плакал как ребенок, но скоро одумался. «Чего б ни стоило, – сказал я сам себе, – я буду военным, хоть бы солдатом». Мыслию уже ослушник воле родительской, я тотчас сделался ослушником и на деле и не очень спешил выехать из Москвы.

Уже дошла до нас весть о Бородинской битве: все, что делалось в армии, было через несколько часов известно в Москве; каждое биение пульса в рус-

[1] Двадцатые числа августа.
[2] Господ Болье (*фр.*).

ском войске отзывалось в сердце ее. Многие купцы содержали по пути к месту военных действий конных гонцов, которые беспрестанно сновали взад и вперед.

Два исполина дрались с ожесточением: француз шел очертя голову в Белокаменную и хвалился перед миром победой; русский, истекая кровью, но готовый лучше умереть, чем покориться, сильный еще силою крестного знамения, любви и преданности к государю и отечеству, шел отстаивать святые сорок сороков матушки белокаменной, пока не положит в виду ее костей своих: мертвые бо срама не имут.

Но – в военном совете Кутузова решено было сдать Москву без боя. Настали дни скорбные и вместе великие. Москвичи, не помышляя более о спасении своих домов, думали только честно покинуть их. Кажется, в одно время в сердце народа и в голову великого полководца пала мысль: для блага России принесть на алтарь ее в жертву первопрестольный город. Один, для исполнения своих высших планов, замышлял отдать Москву; другой замышлял сжечь ее в случае сдачи неприятелю и тем очистить ее от поругания нашествия. Так Божий избранник и его народ понимают друг друга и действуют согласно, не поверяя друг другу своих намерений. В эти дни я слышал нередко от купцов, извозчиков и моего дядьки, что в случае сдачи Москвы наши готовятся спалить ее дотла. «Не доставайся ж, матушка, неприятелям». И потому, если мое свидетельство может что-нибудь прибавить к показаниям историков 12-го года, считаю долгом засвидетельствовать, что пожар московский был просто следствием народного побуждения. Тогдашний градоначальник Растопчин, отгадав это побуждение, не только не мешал, но даже содействовал ему, – вот что надобно еще прибавить. Кому принадлежит честь этого подвига – судите сами.

Высокое и трудное бремя нес тогда Растопчин. Надо было в одно время поддерживать пламенное усердие к делу общему, ослаблять уныние, возбуждаемое вестями о скором нашествии неприятеля, и усмирять народные порывы. Редки, однако ж, были случаи вмешательства черни. Видны были коегде грязные лица, которые заглядывали в повозки, отъезжавшие из Москвы, и провожали удалявшихся именем изменников... В то же время оставшиеся в столице, большею частью отцы семейств, старики, женщины и дети и торгующий класс, покидали стены ее, хотя не без тревоги, однако ж, безопасно.

Для исполнения своих благоразумных видов градоначальник бросал каждый день в пищу народу свои животрепещущие послания, столько известные, и народ, с жадностью хватая их, не только успокаивался, но и обращал свои помыслы к благому – защите города. Вскоре, однако ж, представилась жертва сама собою. Безрассудный В[ерещагин], сын купца, отмеченный молвою как изменник, был обхвачен буйством толпы и заплатил жизнью за свой поступок. Накануне видел я В[ерещагина] в кофейной на Никольской, тогдашнем фойе всех политических и не политических новостей. Можно вообразить, что я чувствовал, узнав на другой день об его участи.

Между тем как дядька мой устраивал дорожные сборы, поехал я за город, к Филям и на Поклонную гору, куда народ стекался смотреть на пленных французов, взятых в деле Бородинском. Солнце уж западало, но, далеко не доходя до земной черты, скрывалось в туманном горизонте, который образовали жар и пыль, поднятые тревожною жизнью города и еще более тревожною жизнью между городом и отступающим войском. В Филях нашел я действительно много пленных разнородных наций. В речах и поступках своих французы казались в это время не пленниками нашими, а передовыми великой армии, посланными занять для нее квартиры в Москве. На Поклонной горе особенное мое внимание привлек к себе многочисленный кружок, составленный большею частью из купцов, мещан и крестьян. В средине толпы стоял мужчина, довольно высокий, плечистый; лицо его казалось вдохновенным, голос звучал знойно, энергически. За толпою, тесно окружившей его, я не мог слышать его речи, обращенной к народу, но до меня долетали по временам слова его, глубоко западавшие в грудь. Толпа, творя крестное знамение, повторяла с жаром его последние слова: «За батюшку царя и Русь православную, под покров Царицы небесной!» Я узнал, что это был Сергей Николаевич Глинка, ревностный сподружник московского градоначальника в тогдашних его подвигах на служении отечеству. С каким благоговением смотрел я на него! Он известен мне был заочно как издатель «Русского вестника», поощривший мой первый литературный лепет: поместив в своем журнале мою военную песнь и напечатав под нею мое имя, он сделал меня на несколько дней счастливым. Мое восторженное сердце поклонялось тогда всем современным знаменитостям. Увидеть Карамзина было одним из самых пламенных желаний: сколько раз собирался я идти к нему, чтобы положить перед ним мой сердечный поклон! Раз в театре мне указали его; он был с женой в креслах. Во все представление я не видал ничего, кроме Карамзина; когда во время антракта он вставал, я устремлял на него так пристально глаза, что он раз улыбнулся и, перешептываясь с женой, указал ей осторожно на меня. В последовавшую затем ночь я не спал от блаженства, что видел великого человека и был им замечен. С Сергеем Николаевичем Глинкою знаком я был впоследствии. Дивная была эта личность! Он содержал пансион, в котором воспитывались дети богатых донцов, в том числе и сын Платова. Золото обильно лилось в его карманы, между тем не было у него часто копейки за душою. Выходя из дому с деньгами или из книжной лавки, куда он являлся для получения денег на крайние домашние нужды, он возвращался бедный, как Ир, и всегда довольный. Часто, когда нечего ему было дать просящему у него бедняку, он отдавал ему что попадалось под руки – носовой платок, шейный, жилет, пустой кошелек, книжку... Он почти всегда ходил пешком, если же брал извозчика, то самого худого, которого, вероятно, нанимал для того, чтобы ему помочь. Заметен он очень был тем, что ходил в самые жестокие морозы в сюртуке на вате. Весь московский люд знал его; я видел часто, как извозчики на биржах кланялись ему в пояс, а многие проезжавшие мимо снимали перед ним шапки.

Когда я выехал из Филей, по Смоленской дороге показался в клубах пыли обоз, которому не видно было конца. Везли раненых. Поезд тянулся в несколько рядов и затруднился у Драгомиловского моста. Сделалась остановка. Надо было видеть в это время усердие москвичей к воинам, пролившим кровь за отечество. Калачи летели в повозки, сыпались деньги пригоршнями, то и дело опорожнялись стаканы и кувшины с квасом и медами; продавцы распоряжались добром своих хозяев как своею собственностью, не только не боясь взыскания, но еще уверенные в крепком спасибо; восклицаниям сердечного участия, благословениям, предложениям услуг не было конца. Облако пыли большею частию заслоняло это зрелище, и только изредка, когда ветерок смахивал ее или густой луч прорезывал, видно было то добродушное лицо бородача, который подавал свою лепту, то лицо воина, истомленное, загорелое, покрытое пылью, то печальные черты старушки, которая, облокотясь на телегу, расспрашивала о своем сыне-служивом. В один из этих просветов пал на меня болезненно-унылый взор раненого офицера. Ему могло быть лет двадцать пять с небольшим; смертная бледность покрывала прекрасное и благородное лицо его; одна рука была у него в перевязи, другою опирался он за задок телеги, где лежало несколько солдат. Невольное чувство увлекало меня к нему. «Неужели не сыскалось для вас повозки?» – спросил я его. «Была, – отвечал он, – но случились раненые тяжелее меня... Слава богу, я могу еще дойти». При этих словах с трудом приподнялся из телеги один из солдат, лежавших в ней, и сказал со слезами на глазах: «Его благородие – наш ротный командир; нам четверым раненым было тесно в одной телеге... он уступил нам свою». Тут он не мог продолжать и опустился на повозку.

Возвратившись домой, я стал собираться в путь, к отцу в деревню. Квартира моя была на Сретенском бульваре (помнится, в доме профессора Горюшкина), подле узорочного дома с садом, где хозяин, старый инвалид, причудливо устроил гауптвахту, поставил деревянную батарею и солдат, не сменявшихся со стражи. Он и на покое, в городе, не хотел расстаться с военною жизнью. Старожилы, конечно, запомнят этот дом, которого ни один проезжий не миновал, не полюбовавшись на игрушечный лагерь. После моего отъезда с квартиры, где я жил, занял ее раненый офицер Франк с рядовым Ишутиным. Выписываю страничку об этих лицах из моих походных записок: «По окончании Бородинской битвы, когда смерть утомилась над бесчисленными жертвами своими, раненый рядовой 2-й роты сводного гренадерского батальона Никифор Ишутин, присоединяясь к роте своей, шел отдаленно за нею с поля сражения. Вдруг слышит он за собою слабые стоны, которые, казалось ему, звали его на помощь. Пренебрегая страхом попасться в плен к неприятелю, расставлявшему в виду его свои пикеты, он возвратился на то место, откуда доносились звуки замирающего голоса. Там нашел он роты своей прапорщика Франка, плавающего в крови от полученной им тяжелой раны пулею в ногу. «Бог принес меня к вашему благородию, – сказал он, – дам ли я неприятелю ругаться над вами?» Несмотря на собственную боль,

он втащил офицера на плечи свои и готовился один нести его из опасного места, как другой солдат той же роты, видевший издали его усилия, присоединился к нему и помог ему донести драгоценную ношу в цепь, где перевязывали раненых. С этого времени Ишутин не отходил от больного Франка; в продолжение отступления достал ему повозку с лошадью, перевязывал раны и смотрел за ним, как нежный отец. При выходе русских войск из Москвы он не расстался с умирающим офицером. Все, что они претерпели в пребывание неприятелей в древней столице нашей, не может быть описано. Довольно сказать, что дом, в котором нашли они себе покойный уголок, предан был пламени. Верный Ишутин вынес Франка из огня на плечах своих, как новый Эней отца своего Анхиза»[3].

Я простился с Москвой, как прощаемся с родною, которую опускаем в землю. При выезде из заставы я приобрел себе дорожных товарищей, шесть или семь дюжих мужичков. Они не преминули упрекнуть меня за оставление первопрестольной столицы, и если б не быстрота лошадей в моей повозке, мне пришлось бы плохо. Мой геройский дух снова был озадачен в Волчьих воротах жалобными криками умирающего... На заре, под Островцами, я сошел с повозки и мимоходом взглянул в часовню, которая стояла у большой дороги. Вообразите мой ужас: я увидел в часовне обнаженный труп убитого человека... Еще теперь, через сорок лет, мерещится мне белый труп, бледное молодое лицо, кровавые, широкие полосы на шее, и над трупом распятие...

На берегу Москвы-реки, в виду сельского крова, под которым провел я лучшие лета моего детства, встретили меня родные со слезами радости. В ожидании меня – сколько страху испытали они: не попался ли я в плен французам, не убили ли меня недобрые люди!

Через несколько дней узнали мы, что Москва занята неприятелями. Ожидали этого известия, а между тем оно судорожно пронеслось по всем классам народа. Таков уж русский народ: он так уверен в своей силе и всякий неуспех приписывает или фатализму, или измене. Много нелепых слухов распускали по святой Руси люди несведущие! А говорили это именно тогда, когда знали, что к концу Бородинской битвы капитаны командовали полками, когда каждый из наших генералов творил в ней чудеса храбрости и кровью платил любовь свою к отечеству. Недаром Бородинская битва названа битвой генералов.

В первый вечер, следовавший за печальной вестью, в северной стороне от нашей деревни разостлалось по небу багровое зарево: то горел, за восемьдесят верст от нас, первопрестольный город, и всем нам казалось, что горит наше родное пепелище. Несколько дней сряду, каждый вечер, Москва развертывала для нас эту огненную хоругвь. При свете ее сельские жители собирались

[3] При падении Трои Эней вынес на плечах своих из горящего города своего старого отца Анхиза.

толпою перед господским домом или перед церковью, молились и вздыхали о потерянном Сионе. Тяжким свинцом пало уныние на душу нашу; казалось, все ждали последнего часа. Поплакав несколько дней над пеплом Москвы, стали, однако ж, думать о спасении своем. Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том, чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом. Ожидали его только с тем, чтобы в виду его спалить свои жилища. Имущество поценнее хоронили в погребах, под овинами и подклетями, в лесах, но топоры и косы приберегали на случай под рукою. Стали к нам приближаться переселенцы с тех мест, которые занял уже неприятель. Толпы, большею частию дети, женщины, старики, переходили с места на место, нередко по ночам освещаемое кострами, воздвигаемыми из собственных домов. Где могло остановиться это переселение? Никто не ведал; знали только, что к восходу солнечному, к Сибири, шел народ. В эту тяжкую годину все делились между собою, как братья; каждый, кто бы он ни был, садился за чужой стол, как семьянин; многие богачи сравнялись с бедняками, и часто бедняк из сумы своей одолжал вчерашнего богача. Все это казалось в годину общего бедствия делом очень обыкновенным.

В это время стал я проситься вновь у родителей своих вступить в ряды военные, и опять напрасно.

Казаки прискакали с вестью, что французы скоро появятся. В казенном селении Новлянском, на противоположном от нас берегу Москвы-реки, ударил роковой набат: это был народный сигнал зажигать свои дома. К счастию, тревога тотчас оказалась ложною и селение уцелело. Но как неприятель действительно перешел уже Бронницы (в 27 верстах от нас), то мы и решились подобру-поздорову выбраться из своего гнезда. Меня повезли как пленника; по крайней мере, я считал себя таким. Я помышлял уже освободиться из этого плена, но покуда не видел к тому возможности. Перед Коломной присоединился к нам огромный караван помещиков с их домочадцами. В числе последних была стая собак, с которыми владелец их, чудак и охотник страстный, не хотел расстаться.

Мы приехали в Коломну. Это моя родина. Горжусь ею, потому что в ней родился один из знаменитейших духовных сановников и проповедников нашего

времени (Филарет, митрополит Московский и Коломенский). Сколько воспоминаний о моем детстве толпилось в голове моей, когда мы въехали в Запрудье! Предстали передо мною, как на чудной фантасмагорической сцене, и вечерние росистые зори, когда я загонял влюбленного перепела на обманчивый зов подруги, и лунные ночи на обломке башенного зубца при шуме вод смиренной Коломенки, лениво движущих мельничные колеса; ночи, когда я воображал себя на месте грустного изгнанника, переселенного Грозным из Великого Новгорода в Коломну. Вспомнил я прогулку на козле и доброго француза-гувернера с длинною косою за плечами, которую вместе с головою своею вынес он из-под гильотины. Явились предо мною и ты, maitre

corbeau[4], и вы, пламенные страницы Руссо, – которыми душа моя страстно упивалась, как дикий конь, выпущенный из загона на широкую степь, – и вы, великие мужи Плутарха!.. Все это и многое, многое, что глубоко бросило семена в сердце моем, прошло теперь мимо меня во всех радужных цветах очарования. «Кто идет?» – закричал караульный громовым голосом у ворот нашего дома, и очарование, спугнутое голосом часового, исчезло. Дом этот славился некогда роскошью своего убранства: везде паркеты из красного, черного и пальмового дерева, мрамор, штоф... В нем отец мой угощал великолепных сынов кончавшегося 18 века из стаи славной Екатерининых орлов.

Теперь помещалась в нем артиллерийская рота (впоследствии он был продан под трактир), и мы с трудом, в собственном нашем доме, могли найти уголок, где бы преклонить на ночь голову.

С рассветом были мы уже на дороге к Рязани. Близ почтовой станции (не помню названия деревни) расположили мы свой табор для полдневания. Раскинутые по лугу бесчисленные палатки, табун коней, оглашающих воздух ржанием своим, зажженные костры, многолюдство, пестрота возрастов и одежд, немолчное движение – все это представляло зрелище прекрасное, но могло ли это зрелище восхитить нас? Я пошел с несколькими помещиками и купцами прогуляться по деревне. Когда мы подходили к станционному дому, возле него остановилась колясочка: она была откинута. В ней сидел – Барклай де Толли. Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти все, что было в деревне, составило тесный и многочисленный круг и обступило экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе... Немудрено... Отступление к Москве расположило еще более умы против него; кроме государя и некоторых избранников, никто не понимал тогда великого полководца, который с начала войны до Бородинской отчаянной схватки сберег на плечах своих судьбу России, охваченную со всех сторон еще неслыханною от века силою военного гения и столь же громадною вещественною силою. Но ропот тотчас замолк: его мигом сдержал величавый, спокойный, холодный взор полководца. Ни малейшая тень смущения или опасения не пробежала по лицу его. В этом взоре не было ни угрозы, ни гнева, ни укоризны, но в нем было то волшебное, не разгадываемое простыми смертными могущество, которым наделяет провидение своего избранника и которому невольно покоряются толпы, будучи сами не в состоянии дать отчета, чему они покоряются. Мне случалось видеть, как этот холодный, спокойный, самоуверенный взгляд водил войска к победе, как он одушевлял их при отступлении (из-под Бауцена и окрестностей Парижа, когда мы в первый раз подходили к нему). Русский солдат, всегда недовольный ретирадами, не роптал тогда, потому что, смотря на своего предводителя, уверен был, что не побежден, а отступает ради будущей победы.

День был ясный, коляска стояла под тенью липы, урвавшей на улицу несколько густых сучьев из-за плетня деревенского сада. Барклай де Толли скинул

[4] Господин ворон (*фр.*), персонаж из басни Лафонтена.

фуражку, и засиял голый, как ладонь, череп, обессмертенный кистью Доу и пером Пушкина[5]. При этом движении разнородная толпа обнажила свои головы. Вскоре лошади были готовы и экипаж исчез в клубах пыли. Но долго еще стояла толпа на прежнем месте, смущенная и огромленная видением великого человека.

Не знаю, куда ехал тогда Барклай де Толли, но знаю, что 25 сентября он был в Калуге. Оттуда писал он, именно этого числа, к графу Остерману-Толстому (у которого впоследствии был я адъютантом) письмо, чрезвычайно замечательное по тогдашнему положению бывшего начальника армии. В нем изъяснял он грусть свою, что расстался с русским войском, и приятную уверенность, что в нем остаются полководцы, которые поддержат честь русского имени.

Богатое село Дедново, в котором мы остановились на два дня, расположено на берегу Оки. Оно известно сколько промышленностью крестьян, столько и оригинальностью своего помещика Л.Д. Измайлова, осуществившего в себе тип феодального владельца средних веков. Такого рода дворяне ныне уже в России не существуют. Особенно было оживленно в Дедново в наш приезд, потому что в нем собиралось рязанское ополчение, которого начальником был владелец этого имения. Лев Дмитриевич угостил нас по-боярски.

В Рязани пробыли мы недолго. Здесь вскоре узнали, что французам непоздоровилось в Москве и что они, как журавли к осени, начали потягивать на теплые места, и потому мы возвратились в Коломну.

Здесь я стал вновь проситься у родителей моих позволить мне идти в военную службу и получил опять тот же отказ. Тогда я дал себе клятву исполнить мое намерение во что бы ни стало, бежать из дому родительского и, как я не имел служебного свидетельства, идти хоть в солдаты. Намерению моему нашел я скоро живое поощрение. В городе явился отставной (помнится, штаб-офицер) кавалерист Беклемишев, поседелый в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию. С этим молодым человеком ехал туда же гусарский юнкер Ардал., сын богатого армянина. Я открыл им свое намерение; старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в Главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собою. За душой не было у меня ни копейки: коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подозревая, что я продаю ее тайно... С этим богатством и дедовскою меховою курткой, покрытой зеленым рытым бархатом, шел я на службу боевую. Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне. Роковой день наступал – сердце было у меня не на месте. В одиннадцатом часу вечера простился я с матерью, расточая ей самые нежные ласки; с трудом удерживал я слезы, готовые упасть на ее руку; я сказал ей, что хочу ранее лечь спать, потому что у меня очень разболелась голова. И она, будто

[5] Имеется в виду стихотворение А.С. Пушкина «Полководец».

по предчувствию, необыкновенно ласкала меня и два раза принималась меня благословлять. В своей спальне я усердно молился, прося Господа простить мой самовольный поступок и облегчить горесть и страх моих родных, когда они узнают, что я их ослушался и бежал от них. Меньшему брату, который спал со мною в одной комнате, сказал я, что пойду прогуляться по саду и чтобы он не беспокоился, если я долго не приду. Помолившись еще раз, я вышел в сени. Условный колокольчик зазвенел за воротами; я видел, как ямщик на лихой тройке промчался мимо их, давая мне знать, что все готово к отъезду. Еще несколько шагов в кремль, где жил Беклемишев, – и я на свободе. Но в сенях встретил меня дядька мой Ларивон. «Худое, барин, затеяли вы, – сказал он мне с неудовольствием, – я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома да ложитесь спать, не то я сейчас доложу папеньке и вам будет нехорошо». Точно громовым ударом ошибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтиться по городу. Но Ларивон был неумолим. «Воля ваша, – продолжал он, – задние сени в сад у меня заперты на замок; я стану на карауле в нижних сенях, что на двор, и не пропущу вас, а если вздумаете бежать силою, так я тотчас подниму тревогу по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он то же сделает в случае удачи вашей вырваться от меня». Тут я переменил упрек на моления; я слезно просил его выпустить меня и нежно целовал его. Но дядька был неумолим. Делать было нечего; надо было оставаться в заключении. Отчаяние мое было ужасно; можно сравнить это положение только с состоянием узника, который подпилил свои цепи и решетку у тюрьмы, готов был бежать, и вдруг пойман… Дядька мой преспокойно сошел вниз. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдал, как ребенок. Вся эта сцена происходила в верхнем этаже очень высокого дома. Из дверей сеней виден был, сквозь пролом древнего кремля, огонь в квартире старого гусара, который собирался посвятить меня в рыцари. Я вышел на балкон, чтобы взглянуть последний раз на этот заветный огонек и проститься навсегда с прекрасными мечтами, которые так долго тешили меня. Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нем и упираюсь ногами в другой, более твердый сучок. Тут, как векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена, становлюсь на земле и пробегаю минуты в три довольно обширный сад, бывший за домом, на углу двух переулков. От переулка, ближайшего к моей цели, был забор сажени в полторы вышины: никакая преграда меня не останавливает. Перелезаю через него, как искусный волтижер[6]. Если бы заставили меня это сделать в другое время, у меня недостало бы на это ни довольно искусства, ни

[6] *Здесь*: в значении ловкий эквилибрист.

довольно силы. Но таково могущество воли, что оно удесятеряет все способности душевные и телесные. Перебежать переулок и площадь, разделявшую дом наш от Кремля, и влететь в дом, где ожидали меня, было тоже делом нескольких минут. Я пробежал задыхаясь, готовый упасть на пол; на голове у меня ничего не было, волосы от поту липли к разгоревшимся щекам. Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опасаясь, не случилось ли со мной какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом, перед которым только что отслужили напутственный молебен; на меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз, мы сели в повозки и промчались, как вихрь, через город, берегом Коломенки и через Запрудье. Кормили лошадей за 40 верст, потом в Островцах. Несколько раз дорогою, казалось мне, нас догоняют; в ушах отзывался топот лошадиный, нас преследующий; в темноте за мной гнались какие-то видения. Сердце трепетало в груди, как голубь. В Москву въехали мы поздно вечером. Неприятель уже оставил город: у заставы на карауле были изюмские гусары; они грелись около зажженных костров. Русские солдаты, русский стан были для нас отрадными явлениями. Мы благоговейно перекрестились, въезжая в заставу, и готовы были броситься целовать караульных, точно в заутреню светлого христова воскресения. И было чему радоваться, было с чем братьям поздравлять друг друга: Россия была спасена!

Москва представляла совершенное разрушение; почти все дома были обгорелые, без крыш; некоторые еще дымились; одни трубы безобразно высились над ними; оторванные железные листы жалобно стонали; кое-где в подвалах мелькали огоньки. Мы проехали весь город до Калужской заставы, не встретив ни одного живого существа. Только видели два-три трупа французских солдат, валявшихся на берегу Яузы. «Великолепная гробница! – сказал я, обратившись к московским развалинам. – В тебе похоронены величие и сила небывалого от века военного гения! Но из тебя восстанет новая могущественная жизнь, тебя оградит новая нравственная твердыня, чрез которую ни один враг не посмеет отныне перейти; да уверится он, что для русского нет невозможной жертвы, когда ему нужно спасать честь и независимость родины».

Мы остановились в селении Троицком (имении моего товарища Ардал.), помнится, верстах в трех от Москвы. В доме нашли мы величайший беспорядок: казалось, неприятель только что его оставил. Зеркала были разбиты, фортепиано разломано, уцелевшее платье, в том числе и мальтийский мундир покойного помещика, которое не годилось в дело, валялось на полу. В Троицком прожили несколько дней; здесь, казалось, укрывался я в совершенной безопасности от поисков. Мы ездили раз в Москву, посмотреть, что там делается. Народ с каждым днем прибывал в нее; строились против Гостиного двора и на разных рынках балаганы и дощатые лавочки; торговля зашевелилась. Дымились на улицах кучи навоза, зажженные для ограждения от заразы мертвых тел.

Нам с товарищами надо было еще объехать деревни Ардал., которые находились в Московской губернии, в ближайших уездах, помнится, Зве-

нигородском и Дмитровском, и собрать оброки, потому что молодой помещик, отправлявшийся в армию, был совершенно без денег. Казалось, время для такого сбора, по случаю военной невзгоды, тяжело налегшей на эти края, было самое неблагоприятное. Напротив того, крестьяне этих уездов собрали богатую дань с неприятелей, взявших ее с Москвы: почти у каждого мужичка были деньги, серебряные или золотые часы, богатые материи, сукна, головы сахару и пр. Крестьяне везде встречали молодого господина с хлебом и солью и немедленно вносили ему оброк, даже часть вперед. Только в одной деревне они немного заупрямились, но мы, трое юношей (и на меня надели гусарский ментик, и меня опоясали саблею), на сходке загремели саблями, и буйные головы немедленно с повинною преклонились перед грозными воинами, у которых еще ус не пробивался. Морозы уже наступали; раз в дороге, желая согреться, я пошел пешком и, отставши от товарищей, едва не замерз в виду какой-то господской великолепной дачи, совершенно опустелой. Только что возвратились мы в Троицкое и собирались уже на другой день отправиться в Главную квартиру армии (это было поздно вечером), как вбежал ко мне в комнату хозяин и объявил, что приехал мой отец. Не зная, что делать, я спрятался в людскую. Тут, подле меня, лежала на смертном одре какая-то старушка: я слышал предсмертный колоколец; первый раз в жизни видел я, как человек умирает. Лихорадка трясла меня, но не от этого зрелища, а от страху, что отец узнал мое убежище и приехал исторгнуть меня из него, чтобы вновь теснее связать мою волю. Но вскоре я услышал его голос, нежный, выходящий из любящей души: «Пускай покажется Ваня, – говорил он, – пускай придет; я его прощаю, я сам благословляю его на службу». Тут, не колеблясь ни минуты, бросился я в его объятия, целовал его руки, обливал их слезами. С груди моей свалился камень. Это была одна из счастливейших минут моей жизни.

На другой день отец повез меня в Москву и представил беглеца московскому гражданскому губернатору Обрескову, который возвратился в столицу с должностными чинами. (Он стоял тогда в Леонтьевском переулке.) Губернатор в присутствии многих лиц сделал мне строгий выговор, что я огорчил родителей своим побегом, но приказал, однако ж, тотчас выдать мне служебное свидетельство и вручил мне рекомендательное письмо к главному начальнику Московского ополчения. Вскоре приехал я в Московское ополчение офицером и через несколько дней был переведен в Московский гренадерский полк. Счастие мне улыбнулось: начальник 2-й гренадерской дивизии, принц Мекленбургский Карл, взял меня к себе в адъютанты.

Вот как 12-й великий год завербовал меня в свои новобранцы.

Лажечников И.И. Собрание сочинений в 8 т. Т. 7. 1858

П.А. ВЯЗЕМСКИЙ. ВОСПОМИНАНИЕ О 1812 ГОДЕ

Написанное мною стихотворение «Поминки по Бородинской битве» дало мне мысль перебрать в голове моей все, что сохранилось в ней из воспоминаний о том времени. 1812 год останется навсегда знаменательною эпохою в нашей народной жизни. Равно знаменательна она и в частной жизни того, кто прошел сквозь нее и ее пережил. Предлагаю здесь скромные и старые пожитки памяти моей.

I

Приезд императора Александра I в Москву из армии 12 июля 1812 года был событием незабвенным и принадлежит истории. До сего война, хотя и ворвавшаяся в недра России, казалась вообще войною обыкновенною, похожею на прежние войны, к которым вынуждало нас честолюбие Наполеона. Никто в московском обществе порядочно не изъяснял себе причины и необходимости этой войны, тем более никто не мог предвидеть ее исхода. Только позднее мысль о мире сделалась недоступной Русскому народному чувству. В начале войны встречались в обществе ее сторонники, но встречались и противники. Можно сказать вообще, что мнение большинства не было ни сильно потрясено, ни напугано этою войною, которая таинственно скрывала в себе и те события, и те исторические судьбы, которыми после ознаменовала она себя. В обществах и в Английском клубе (говорю только о Москве, в которой я жил) были, разумеется, рассуждения, прения, толки, споры о том, что происходило, о наших стычках с неприятелем, о постоянном отступлении наших войск вовнутрь России. Но все это не выходило из круга обыкновенных разговоров, ввиду подобных же обстоятельств. Встречались даже и такие люди, которые не хотели или не умели признавать важность того, что совершалось почти в их глазах. Помнится мне, что на успокоительные речи таких господ один молодой человек – кажется, Мацнев – забавно отвечал обыкновенно стихом Дмитриева:

«Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там»[1].

---

[1] Из стихотворения И.И. Дмитриева «Модная жена».

Но никто, и вероятно сам Мацнев, не предвидел, что этот Миловзор-Наполеон скоро будет *тут,* то есть в Москве. Мысль о сдаче Москвы не входила тогда никому в голову, никому в сердце. Ясное понятие о настоящем редко бывает уделом нашим: тут ясновидению много препятствуют чувства, привычки, то излишние опасения, то непомерная самонадеянность. Не один русский, но вообще и каждый человек крепок задним умом. Пора действия и волнений не есть пора суда. В то время равно могли быть правы и те, которые желали войны, и те, которые ее опасались. Окончательный исход и опыт утвердили торжество за первыми. Но можно ли было, по здравому рассудку и по строгому исчислению вероятностей, положительно предвидеть подобное торжество? – это другой вопрос.

С приезда государя в Москву война приняла характер войны народной. Все колебания, все недоумения исчезли; все, так сказать, отвердело, закалилось и одушевилось в одном убеждении, в одном святом чувстве, что надобно защищать Россию и спасти ее от вторжения неприятеля. Уже до появления государя в собрании дворянства и купечества, созванном в Слободском дворце, все было решено, все было готово, чтобы на деле оправдать веру царя в великодушное и неограниченное самопожертвование народа в день опасности. На вызов его единогласным и единодушным ответом было – принести на пользу Отечества поголовно имущество свое и себя. Настала торжественная минута. Государь явился в Слободской дворец пред собранием. Наружность его была всегда обаятельна. Тут он был величаво спокоен, но видимо озабочен. В выражении лица его обыкновенно было заметно, и при улыбке, что-то задумчивое на челе. Это отличительное выражение метко схвачено Торвальдсеном в известном бюсте государя. Но на сей раз сочувственная и всегда приветливая улыбка не озаряла лица его; только на челе его темнелось привычное облачко. В кратких и ясных словах государь определил положение России, опасность, ей угрожающую, и надежду на содействие и бодрое мужество своего народа. Последствия и приведение в действие мер, утвержденных в этот день, достаточно известны, и мы на них не остановимся. Главное внимание наше обращается на духовную и народную сторону этого события, а не на вещественную. Оно было не мимолетной вспышкой возбужденного патриотизма, не всеподданнейшим угождением воле и требованиям государя. Нет, это было проявление сознательного сочувствия между государем и народом. Оно во всей своей силе и развитости продолжалось не только до изгнания неприятеля из России, но и до самого окончания войны, уже перенесенной далеко за родной рубеж. С каждым шагом вперед яснее обозначалась необходимость расчесться и покончить с Наполеоном не только в России, но и где бы он ни был. Первый шаг на этом пути было вступление Александра [I] в Слободской дворец. Тут невидимо, неведомо для самих действующих провидение начертало свой план: начало его было в Слободском дворце, а окончание в Тюильерийском.

Самое назначение пред тем графа Растопчина главнокомандующим в Москву на место фельдмаршала графа Гудовича, который был изнурен годами и,

следовательно, недостаточно бдителен и деятелен, было уже предвестником нового настроения, нового порядка. Растопчин мог быть иногда увлекаем страстною натурою своею, но на ту пору он был именно человек, соответствующий обстоятельствам. Наполеон это понял и почтил его личною ненавистью. Карамзин, поздравляя графа Растопчина с назначением его, говорил, что едва ли не поздравляет он калифа *на час:* потому что он один из немногих предвидел падение Москвы, если война продолжится. Как бы то ни было, но на этот *час* лучшего калифа избрать было невозможно. Так называемые «афиши» графа Растопчина были новым и довольно знаменательным явлением в нашей гражданской жизни и гражданской литературе. Знакомый нам «Сила Андреевич» 1807 года ныне повышен чином. В 1812 году он уже не часто и не с Красного крыльца, а словом властным и воеводским разглашает свои *Мысли вслух*[2] из своего генерал-губернаторского дома на Лубянке. Карамзину, который в предсмертные дни Москвы жил у графа, не могли нравиться ни слог, ни некоторые приемы этих летучих листков. Под прикрытием оговорки, что Растопчину, уже и так обремененному делами и заботами первой важности, нет времени заниматься еще сочинениями, он предлагал ему писать эти листки за него, говоря в шутку, что тем заплатит ему за его гостеприимство и хлеб-соль. Разумеется, Растопчин, по авторскому самолюбию, тоже вежливо отклонил это предложение. И признаюсь, по мне, поступил очень хорошо. Нечего и говорить, что под пером Карамзина эти листки, эти беседы с народом были бы лучше писаны, сдержаннее, и вообще имели бы более правительственного достоинства. Но зато лишились бы они этой электрической, скажу, грубой, воспламенительной силы, которая в это время именно возбуждала и потрясала народ. Русский народ – не афиняне: он, вероятно, мало был бы чувствителен к плавной и звучной речи Демосфена и даже худо понял бы его.

II

В романе, или истории «Война и мир», знаменательные дни 12–18 июля 1812 года представлены с другой точки зрения и расцвечены другими красками. Отдавая полную справедливость живости рассказа в художественном отношении, смею думать, что и мои впечатления, как очевидца этого события, могут быть приняты в соображение: едва ли они не вернее и ближе к истине, хотя с лишком полустолетнее расстояние могло, разумеется, ослабить и притупить эти впечатления! Мимоходом наткнувшись на упоминаемую книгу, не могу воздержаться от некоторых заметок на содержание ее особенно же по тому предмету, которого я коснулся выше. Впрочем, и в этом случае остаюсь в 1812 году: следовательно, не выхожу из круга, который я себе предначертал. Книга «Война и мир», за исключением романической части, не подлежащей ныне моему разбору, есть, по крайнему разумению моему, протест против 1812 года; есть апелляция на мнение, установившееся о нем в народной памяти и по изустным преданиям и на авторитете русских исто-

---

[2] Под «Мыслями вслух» подразумеваются «афиши» графа Растопчина.

риков этой эпохи: школа отрицания и унижения истории под видом новой оценки ее, разуверения в народных верованиях, – все это не ново. Эта школа имеет своих преподавателей и, к сожалению, довольно много слушателей. Это уже не скептицизм, а чисто нравственно-литературный материализм. Безбожие опустошает небо и будущую жизнь. Историческое вольнодумство и неверие опустошают землю и жизнь настоящего отрицанием событий минувшего и отрешением народных личностей. Лет 30 тому и более видел я в Саратовском остроге раскольника, принадлежавшего толку *Нетовщины*. Сектаторы убивали друг друга. Обрекающий себя на смерть клал голову свою на деревянный чурбан, и очередной отрубал ее. Виденный мною уцелел один от побиения более 30 человек в одну ночь на деревенском гумне. В числе убитых были мужчины, женщины, старики, дети. Пред кончиной своей каждый говорил: *Прекрати меня, ради Христа*. Не знаю, ради чего или кого действуют исторические *прекращатели;* но не мешало бы и этому толку присвоить себе прозвание: *Нетовщина*.

Возвратимся к нашему предмету.

Сей протест против 1812 года под заглавием «Война и мир» обратил на себя общее внимание и, судя по некоторым отзывам, возбудил довольно живое сочувствие. В этом изъявлении, вероятно, уплачивается заслуженная дань таланту писателя. Но чем выше талант, тем более должен он быть осмотрителен. К тому же признание дарования не всегда влечет за собой, не всегда застраховывает и признание истины того, что воспроизводит дарование. Таланту сочувствуешь и поклоняешься, но вместе с тем можешь дозволить себе и оспаривать сущность и правду рассказов, когда они кажутся сомнительными и положительно неверными. Тут даже, может быть, возлагается и обязанность оспаривать их. Я именно нахожусь в этом положении. Так мало осталось в живых не только из действовавших лиц в этой народной эпической драме, громко и незабвенно озаглавленной «1812 год»; так мало осталось в живых и зрителей ее, что на долю каждого из них выпадает долг подавать голос свой для восстановления истины, когда она нарушена. Новые поколения забывчивы; а читатели легковерны, особенно же когда увлекаются талантом автора.

Вот почему я, один из немногих, переживших это время, считаю долгом своим изложить, по воспоминаниям моим, то, что было и как оно было.

III

Начнем с того, что в упомянутой книге трудно решить и даже догадываться, где кончается история и где начинается роман, и обратно. Это переплетение, или, скорее, перепутывание истории и романа, без сомнения, вредит первой и окончательно, перед судом здравой и беспристрастной критики, не возвышает истинного достоинства последнего, то есть романа. Встреча исторических имен или имен известных, но отчасти искаженных и как будто указывающих на действительные лица, с именами неизвестными и вымышленными, может быть, неожиданно и приятно озадачивает некоторых читателей,

мало знакомых с эпохою, маловзыскательных и простодушно поддающихся всякой приманке. Но истинному таланту не должно было бы выгадывать подобные успехи и подстрекать любопытство читателей подобными театральными и маскарадными проделками. Вальтер Скотт, создатель исторического романа, мог *поэтизировать и романизировать* исторические события и лица: он брал их из дальней старины. К тому же и в вымыслах он всегда оставался верен исторической истине, т.е. ее нравственной силе. Пушкин в исторической своей драме многое выдумал: например, сцену Дмитрия с Мариной в саду. Но эта сцена *могла быть* и, во всяком случае, именно так и *могла быть*. Когда знаешь историю, то убеждаешься, что поэт остался верен ей в изображении характеров пылкого самозванца и честолюбивой полячки[3]. События же и лица исторические, нам современные, или почти современные, так сказать, не остывшие еще на почве настоящего, требуют в воссоздании своем гораздо большей осмотрительности и точнейшего соблюдения сходства.

Если нельзя всегда быть фотографом, то должно, по крайней мере, быть строгим историческим живописцем (peintre d'histoire), а не живописцем фантастическим и юмористическим.

С историей надлежит обращаться добросовестно, почтительно и с любовью. Не святотатственно ли, да и не противно ли всем условиям литературного благоприличия и вкуса низводить историческую картину до карикатуры и до пошлости? Есть доля пошлости в натуре человека – не спорим. Нет великого человека для камердинера его, говорят французы – и это правда. Но писатель не камердинер. Он может и должен быть живописцем и судьею исторического лица, если оно подвертывается под его кисть. Он должен смотреть ему прямо в глаза и проникать в ум и душу его, а не довольствоваться одним улавливанием каких-нибудь внешних его слабостей и промахов, вдоволь шпыняя над ними. Презрение есть часто лживый признак силы. Оно иногда просто доказывает одно непонимание того, что выше и чище нас. Новейшая литература наша, по следам французской, т.е. по следам ее второстепенных писателей, любит *опошлять* жизнь, действия, события, самые страсти общества. Она все низводит, все сплющивает, суживает. Пора людям с талантом несколько возвысить общий уровень умозрения и творчества. Некоторые повествователи и драматурги любят выводить напоказ личности посредственные, слабоумные, слабодушные или производить таких чудаков, которых образа и подобия в обществе не встречается. В последнем случае нет на авторе никакой нравственной и логической ответственности. Это не живые лица, а какие-то привидения прихотливого или больного воображения. С ними много церемониться нечего. Относительно же первых, с высоты авторства своего, повествователи до пресыщения трунят над своими находками и добивают

[3] В «Капитанской дочке» есть также соприкосновение истории с романом; но соприкосновение естественное и вместе с тем мастерское. Тут история не вредит роману; роман не дурачит и не позорит историю. – *Прим. авт.*

их до окончательного ничтожества. Во-первых, лежачего не бьют: людей, уже избитых природою, незачем добивать пером. Нет, попробуйте силы свои – а в некоторых из вас этих сил довольно, – попробуйте справиться с личностями умными, с характерами возвышенными и благородными, хотя и волнуемыми страстью, – одним словом, с личностями, выходящими из среды дюжинных: а, воля ваша, в наших рядах отыщутся и такие личности. Не оставайтесь на лощинах, на плоскостях, где, разумеется, действовать легче и вольнее и где разгулу более простора. Потрудитесь всходить на пригорки и нас самих взводите на них. Там воздух чище, благорастворение; там более света; там небосклон обширнее; там яснее и дальше смотришь; там и вы и лица, вами выводимые, будут более на виду. Пред вами жизнь со всеми своими таинствами, глубокими пропастями, светлыми высотами, со своими назидательными уроками; пред вами история со своими драматическими событиями и также со своими уроками, еще более наставительными, чем первая. А вы из всего этого выкраиваете одних Добчинских, Бобчинских и Тяпкиных-Ляпкиных. К чему такое недоверие к себе, к своим силам, к своему дарованию? К чему такое презрение к читателям, как будто им не по глазам и не по росту картины более величавые, более исполненные внутреннего и нравственного достоинства? К тому же, не забывайте, что Гоголь уже гениально разработал и истощил до самой сердцевины поле нашей пошлости. Как после Гомера нечего писать новую Илиаду, так после «Ревизора» и «Мертвых душ» нечего гоняться за *Ильями Андреичами,* за *Безухими* и за *старичками-вельможами,* у которых в такую минуту, когда дело, или, по крайней мере, слово шло о спасении отечества, одно выражалось в них – что *им очень жарко.* Не спорю, может быть, были тут и такие, но не на них должно было остановиться внимание писателя, имеющего несомненное дарование. К чему в порыве юмора, впрочем, довольно сомнительного, населять собрание 15-го числа, которое все-таки останется историческим числом, *стариками подслеповатыми, беззубыми, плешивыми, оплывшими желтым жиром,* или *сморщенными, худыми?* Конечно, очень приятно сохранить в целости свои зубы и волоса: нам, старикам, даже и завидно на это смотреть. Но чем же виноваты эти старики, из коих некоторые, может статься, были – да и, наверное, были – сподвижниками Екатерины; чем же виноваты и смешны они, что Бог велел им дожить до 1812 г. и до нашествия Наполеона? Можно, пожалуй, если есть недостаток в сочувствии, не преклоняться пред ними, не помнить их заслуг и блестящего времени, но, во всяком случае, можно и должно, по крайней мере из благоприличия, оставлять их в покое.

Воля ваша, нельзя описывать исторические дни Москвы, как Грибоедов описывал в комедии своей ее ежедневную жизнь. Да и в самой комедии есть уже замашки карикатуры. Могли быть Фамусовы и в Москве 1812 года, но были и не одни Фамусовы. А в книге «Война и мир» все это собрание состоит из лиц подобного калибра. Это лица вымышленные: автор волен в вымыслах своих – пожалуй, но зачем тогда выводить тут же, например, Ст. Ст. Апрак-

сина, лицо очень действительное и в то время известное в московском обществе? К чему выводить en toutes lettres[4] гр. Растопчина, лицо еще более известное и в Москве и в истории 1812 года? И, выводя эту энергическую и резко выдающуюся личность, можно ли ограничиться некоторыми внешними приметами, как в виде выданном от полиции или отметкою, что он был в генеральском мундире и с лентой чрез плечо? Да, он и был генерал и, следовательно, не мог быть иначе как в генеральском мундире. В чрезвычайном собрании и в присутствии Государя должен был он быть неминуемо и с лентой чрез плечо, как и все прочие, имевшие орденские знаки.

Что это за характеристика? А между тем тут обнаруживается притязание или поползновение придать картине исторический оттенок. Вот что должно сбивать легковерного читателя и что, по моему мнению, нехорошо и непростительно.

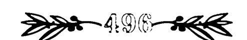
А в каком виде представлен Император Александр в те дни, когда Он появился среди народа Своего и вызывал его ополчиться на смертную борьбу с могущественным и счастливым неприятелем? Автор выводит Его перед народом – глазам своим не веришь, читая это – с «бисквитом, который Он доедал». – «Обломок бисквита, довольно большой, который держал Государь в руке, отломившись, упал на землю. Кучер в поддевке (заметьте, какая точность во всех подробностях) поднял его. Толпа бросилась к кучеру отбивать у него бисквит. Государь подметил это и (вероятно, желая позабавиться?) велел подать Себе тарелку с бисквитами и стал кидать их с балкона...»

Если отнести эту сцену к истории, то можно сказать утвердительно, что это басня, если отнести ее к вымыслам, то можно сказать, что тут еще более исторической неверности и несообразности. Этот рассказ изобличает совершенное незнание личности Александра I. Он был так размерен, расчетлив во всех Своих действиях и малейших движениях, так опасался всего, что могло показаться смешным или неловким, так был во всем обдуман, чинен, представителен, оглядлив до мелочи и щепетильности, что, вероятно, Он скорее бросился бы в воду, нежели бы решился показаться пред народом, и еще в такие торжественные и знаменательные дни, *доедающим бисквит*. Мало того, Он еще забавляется киданьем с балкона Кремлевского дворца бисквитов в народ – точь в точь как в праздничный день старосветский помещик кидает на драку пряники деревенским мальчишкам! Это опять карикатура, во всяком случае, совершенно неуместная и несогласная с истиной. А и сама карикатура – остроумная и художественная – должна быть правдоподобна. Достоинство истории и достоинство народного чувства, в самом пылу сильнейшего его возбуждения и напряжения, ничего подобного допускать не могут. История и разумные условия вымысла тут равно нарушены...

Не идем далее: довольно и этой выписки, чтобы вполне выразить мнение наше.

---

[4] *Перен*. откровенно, напрямик.



IV

Теперь, спускаясь с общих соображений о событиях, смиренно обращаюсь к самому себе. Постараюсь припомнить частные случаи и личные впечатления, собственно до меня касающиеся. Граф Канкрин говорил мне однажды, что в обществе гражданском и в совокупности государственного устройства все люди песчинки, из коих образуется и возвышается гора: разница только в том, что одна песчинка выше, другая ниже. Вот и я, незаметная и очень нижняя песчинка, заявляю существование свое в эпохе 1812 года.

В самый день состоявшегося собрания и когда положено было образовать народное ополчение, граф Мамонов подал чрез графа Растопчина государю письмо, в котором он всеподданнейше предлагал вносить, во все продолжение войны, на военные издержки весь свой доход, оставляя себе 10 000 руб. ежегодно на прожитие. Мамонов был богатый помещик нескольких тысяч крестьян. Государь, приказав поблагодарить графа за усердие его и значительное пожертвование, признал полезнее предложить ему составить конный полк. Так и было сделано. Дело закипело. Вызвал он из деревень своих несколько сот крестьян, начал вербовать за деньги охотников, всех их обмундировал, посадил на коней, вооружил: исправно и скоро полк начал приходить в надлежащее устройство. Были и другие от частных лиц предложения и попытки ставить полки на собственные издержки; но, кажется, один полк Мамонова окончательно достиг предназначенной цели. Мамонов, хотя и в молодых летах, был тогда обер-прокурором в одном из московских департаментов Сената. Военное дело было ему совершенно неизвестно. Он надел генеральский мундир, но, чувствуя, что одного мундира недовольно для устройства дела, предложил место полкового командира князю Четвертинскому – тогда в отставке, но известному блестящему кавалерийскому офицеру в прежних войнах. За ним последовали многие молодые люди, в том числе и я. Я уже однажды говорил[5], что никогда не готовился к военной службе? Ни здоровье мое, ни воспитание, ни наклонности мои не располагали меня к этому званию. Я был посредственным ездоком на лошади, никогда не брал в руки огнестрельного оружия. В пансионе учился я фехтованью, но после того раззнакомился и с рапирою. Одним словом, ничего не было во мне воинственного. Смолоду был я довольно старообразен, и казацкий мундир и военная выправка были, вероятно, очень мне не к лицу. Когда граф Лев Кириллович Разумовский, приятель отца моего и после всегда оказывавший мне дружеское расположение, в первый раз встретил меня в моем новом наряде, он говорил, что я напоминаю ему старых казаков, которых он у гетмана, отца своего, видел в Батурине. К тому же я только что пред тем женился и только что начинал оправляться от болезни в легких, которая угрожала мне чахоткою. Но все это было отложено в сторону пред общим движением и важностью обстоятельств. Полк наш, или зародыши нашего полка, стоял тогда

[5] Русский архив. 1866. С. 231. – *Прим. авт.*

около Петровского дворца. Туда был наряжаем и я на дежурства, делал смотры, переклички и сам себе не верил, глядя на себя.

Между тем Милорадович был проездом в Москве и обедал у приятеля своего и моего свояка князя Четвертинского. Я также был на этом обеде. Милорадович предложил мне принять меня к себе в должности адъютанта. Разумеется, с охотою и признательностью принял я это предложение. Он тогда должен еще был ехать в Калугу для устройства войск, но вскоре затем, приехав в действующую армию, вызвал меня из Москвы[6]. Первые мои военные впечатления встретили меня в Можайске. Там был я свидетелем зрелища печального и совершенно для меня нового. Я застал тут многих из своих знакомых по московским балам и собраниям, и все они, более или менее, были изувечены после битвы, предшествовавшей Бородинской, 24 августа[7]. Между прочими был граф Андрей Иванович Гудович, коего полк в этот день мужественно и блистательно дрался и крепко пострадал.

По приезде своем на место, где расположена была армия, долго искал я Милорадовича. В этом искании проходил я мимо избы, которая, кажется, была занята Кутузовым. Много военных и много движения было около нее. Я расслышал, что некоторые из офицеров давали кому-то разные поручения, вероятно, для закупки у маркитанта. Когда я поравнялся с ними, один из них громко сказал: «Да не забудь принести вяземских пряников!» На мое ли имя отпущено было это поручение, может быть, шуткою кем-нибудь из знавших меня, или было оно сказано случайно – не знаю. Но помню еще и теперь, что это меня – новичка в военном звании – несколько смутило и озадачило. Благоразумие, однако, взяло верх, и, не доискиваясь прямого объяснения этих слов, пошел я далее. Наконец нашел я Милорадовича и застал его на бивуаке, пред разведенным огнем. Принял он меня очень благосклонно и ласково: много расспрашивал о Москве, о нравственном и духовном расположении ее жителей и о графе Растопчине, который, хотя и заочно, распоряжениями своими и воинственным пером, воюющим против Наполеона, так сказать, принадлежал действующей армии. Поздравив меня с приездом совершенно кстати, потому что битва на другой день была почти несомненна, он отпустил меня и предложил мне для отдыха переночевать в его избе, ему ненужной, потому что он всю ночь намеревался оставаться в своей палатке. На другое утро, с рассветом, разбудила меня вестовая пушка, или, говоря правдивее, разбудила она не меня, заснувшего богатырским сном, а верного камердинера моего, более меня чуткого. Наскоро оделся я и пошел к Милорадовичу. Все

---

[6] Вот это письмо: «Князь! Для меня очень лестно, что вы желаете оказать мне честь – служить вместе со мною, и я тотчас же пишу о том к графу Растопчину, чтобы испросить его согласия. Сделайте милость, поезжайте в армию, через Можайск и Вязьму, и там вступите в должность моего адъютанта. С отличным почтением имею честь быть Вашим покорнейшим и послушным слугою *Милорадович*. Калуга, 14 августа 1812». (Русский архив. 1866. С. 221.)

[7] Речь идёт о Шевардинском сражении.

были уже на конях. Но, на беду мою, верховая лошадь моя, которую отправил я из Москвы, не дошла еще до меня. Все отправились к назначенным местам. Я остался один. Минута была ужасная. Меня обдало холодом и унынием. Мне живо представились вся несообразность, вся комическо-тратическая неловкость моего положения. Приехать в армию, как нарочно, ко дню сражения – и в нем не участвовать! Мысль об ожидавших меня насмешках, подозрениях, толках меня преследовала и удручала. Невольно говорил я себе: «К чему было выскочкой из ополчения кидаться в воинственные, действующие ряды?» Мне тогда казалось, что если до конца сражения не добуду себе лошадь, то непременно застрелюсь. Не знаю, исполнил ли бы я свое намерение, но, по крайней мере, на ту пору крепко засело оно у меня в голове. По счастью, незнакомый мне адъютант Милорадовича, Юнкер, случайно подъехал и, видя мое отчаяние, предложил мне свою запасную лошадь. Обрадовавшись и как будто спасенный от смерти, выехал я в поле и присоединился к свите Милорадовича. Я так был неопытен в деле военном и такой мирный московский барич, что свист первой пули, пролетевшей надо мной, принял я за свист хлыстика. Обернулся назад и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном значении этого свиста.

Вскоре потом ядро упало к ногам лошади Милорадовича. Он сказал: «Бог мой! видите, неприятель отдает нам честь». Но, для сохранения исторической истины, должен я признаться, что это было сказано на французском языке, на котором говорил он охотно, хотя часто весьма забавно неправильно.

На поле сражения встречался я также со многими своими городскими знакомыми и, между прочим, с генералом Капцевичем, который так же, как Милорадович, враждебно, но охотно обращался с французскою фразою, от которой я невольно и внутренне улыбнулся.

Хотя здесь и не у места, но не могу не заметить нашим непреклонным *языколюбцам,* что привычка говорить по-французски не мешала генералам нашим драться совершенно по-русски. Не думаю, чтобы они были храбрее, более любили Россию, вернее и пламеннее ей служили, если б не причастны были этой маленькой слабости.

Странны были мне эти встречи на поле сражения. Впрочем, все эти господа были, более или менее, как у себя или в знакомом доме. Я один был тут новичком и неловким провинциалом в блестящем и многолюдном столичном обществе. К сожалению, не встретился я на поле сражения с Жуковским, который так же, как и я, был на скорую руку посвящен в воины. Он с московскою дружиною стоял в резерве, несколько поодаль. Но был и он под ядрами, потому что бородинские ядра всюду долетали. Кажется, вскоре после сдачи Москвы он причислен был к штабу Кутузова, по приглашению приятеля своего, дежурного генерала Кайсарова. Едва даже не написано было им несколько приказов и реляций. В Вильне схватил он тифозную горячку и долго пролежал в больнице. Но лучшим и незабвенным участием его в отечественной войне остался «Певец во стане русских воинов».

Мой казацкий мундир Мамоновского полка, впрочем, не совсем казацкий, был неизвестен в армии. Он состоял из синего чекменя с голубыми обшлагами. На голове был большой кивер с высоким султаном, обтянутый медвежьим мехом. Не умею сказать, на какой, но были мы с Милорадовичем на батарее, действовавшей в полном разгаре. Тут подъехал ко мне незнакомый офицер и сказал, что кивер мой может сыграть надо мной плохую шутку. «Сейчас, – продолжал он, – оставил я летевшего на вас казака, который говорил мне: «Посмотрите, ваше благородие, куда врезался проклятый француз!» Поблагодарил я незнакомца за доброе предостережение, но сказал, что нельзя же мне бросить кивер и разъезжать с обнаженной головой. Тут вмешался в наш разговор молодой Петр Петрович Валуев, блестящий кавалергардский офицер, и, узнав, в чем дело, любезно предложил мне фуражку, которая была у него в запасе. Кивер мой был сброшен и остался на поле сражения. Может быть, после попал он в число принадлежностей убитых и в общий их итог внес свою единицу. Но бедный Валуев вскоре потом был в самом деле убит. Видно, в Бородинском деле суждено мне было быть принятым за француза. Во время сражения разнесся слух у нас, что взят был в плен Мюрат, но после оказалось, что принят был за него генерал Бонами. Не помню, с кем ехал я рядом: мой спутник спросил ехавшего к нам навстречу офицера, знает ли он, что Мюрат взят в плен? «Знаю», – отвечал тот. «А это кого ты ведешь?» – спросил он про меня.

Данная мне адъютантом Юнкером лошадь была пулею прострелена в ногу и так захромала, что не могла уже мне служить. И вот я опять стал в тупик, по образу пешего хождения. А за Милорадовичем на поле сражения пешком угнаться было невозможно: он так и летал во все стороны. Когда ранили лошадь подо мною, неизъяснимое чувство то радости, то самодовольствия пробудилось во мне и меня воодушевило. Мне в эту минуту сдалось, что я недаром облачился в казацкий чекмень. Я понял значение французского выражения: «le baptême de feu»[8]. Хотя, собственно, был ранен не я, а только неповинная моя лошадь, но все же был я в опасности и также мог быть ранен. Я даже жалел, что эта пуля не попала мне в руку или ногу, хотя – каюсь – и не желал бы глубокой раны, а только чтоб закалилась на мне память о Бородинской битве. Когда был я в недоумении, что делать, опять явился ко мне добрый человек и выручил меня из беды. Адъютант Милорадовича Д.Г. Бибиков сжалился надо мной и дал мне свою запасную лошадь. Но и ему за оказанное одолжение не посчастливилось: вскоре затем ядром оторвало у него руку. Спустя немного времени после сделанной ему операции видел я его: он был спокоен духом и даже шутил.

Милорадович ввел в дело дивизию Алексея Николаевича Бахметева, находившуюся под его командою. Под Бахметевым была убита лошадь. Он сел на другую. Спустя несколько времени ядро раздробило ногу ему. Мы остано-

[8] Крещение огнём *(фр.)*.

вились. Ядро, упав на землю, зашипело, завертелось, взвилось и разорвало мою лошадь. Я остался при Бахметеве. С трудом уложили мы его на мой плащ и с несколькими рядовыми понесли его подалее от огня. Но и тут, путем, сопровождали нас ядра, которые падали направо и налево, пред нами и позади нас. Жестоко страдая от раны, генерал изъявил желание, чтобы меткое ядро окончательно добило его. Но мы благополучно донесли его до места перевязки. Это тот самый Бахметев, при котором позднее Батюшков находился адъютантом. Но, кажется, Бахметев, лишившись ноги, уже не возвращался в армию: он из Нижнего Новгорода, где лежал больной, отправил его к генералу Раевскому, при котором Батюшков был в походе до самого Парижа.

Не помню, по какому случаю, уже поздним вечером попал я в избу, где лежал тяжело раненный князь Багратион. Шурин мой, князь Ф. Гагарин, был при нем адъютантом. Он меня, голодного и усталого, накормил, напоил и уложил спать. Не только мое честное, неопытное впечатление, но и общее между военными, тут находившимися, мнение было, что Бородинское дело нами не проиграно. Все еще были в таком восторженном настроении духа, все были такими живыми свидетелями отчаянной храбрости наших войск, что мысль о неудаче или даже полуудаче не могла никому приходить в голову. К утру эта приятная самоуверенность несколько ослабела и остыла. Мы узнали, что дано было приказание к отступлению. Помню, какая была тут давка; кажется, даже и не обошлось без некоторого беспорядка. Артиллерия, пехота, кавалерия, обозы – все это стеснилось на узкой дороге. Начальники кричали и распоряжались; кажется, действовали и нагайки. Между рядовыми и офицерами отступление никому не было по вкусу.

Когда мы пришли в Можайск, город казался уже опустевшим. Некоторые дома были разорены, выбиты и вынесены были окна и двери. Милорадович увидел солдата, выходящего из одного дома с разными пожитками. Он его остановил и дал приказание его расстрелять. Но, кажется, это было более для острастки и казнь не была совершена. Мы расположились в каком-то доме, оказавшемся несколько более удобным. Генерал продиктовал мне приказы по отделению войск, находившихся под его начальством и остававшихся еще в Подольске. Тут же пригласил он меня с ним отобедать, извиняясь, что худо меня накормит, когда могли бы мы хорошо пообедать у графа Маркова, начальника московских дружин, который звал его и перенес на поле сражения свое московское хлебосольство и гостеприимство. Милорадович был обыкновенно невзыскателен в своих житейских потребностях. Да к тому же, щедрый и расточительный на деньги, иногда оставался он без гроша в кармане. Рассказывали, что во время походов, бывало, воротится он в свою палатку после сражения и говорит своему слуге: «Дай-ка мне пообедать!» – «Да у нас ничего нет», – отвечает тот. «Ну, так дай чаю!» – «И чаю нет». – «Так трубку дай!» – «Табак весь вышел». – «Ну, так дай мне бурку!» – скажет он, завернется в нее и тут же заснет богатырским сном. Он был весьма приятного и пленительного обхождения, внимателен и приветлив к своим подчиненным.

Многим уже известно было на другой день, что я лишился двух лошадей, и меня поздравляли с этим почином. Дело в том, что Милорадович сам рассказывал об этом в Главной квартире Кутузова. После этого минутного знакомства мы всегда с ним оставались в хороших отношениях.

Вот и вся моя Илиада! Разумеется, мог бы я, не хуже других справляясь с реляциями и описаниями войны, войти в более подробный рассказ о положении разных отрядов войска и о движении их на Бородинском поле. Но я никогда и ни в чем не любил шарлатанить. Да, кажется, если б и захотел, не сумел бы. Во время сражения я был, как в темном или, пожалуй, воспламененном лесу. По природной близорукости своей худо видел я, что было пред глазами моими. По отсутствии не только всех военных способностей, но и простого навыка, ничего не мог я понять из того, что делалось. Рассказывали про какого-то воеводу, что при докладе ему служебных бумаг он иногда спрашивал своего секретаря: «А это мы пишем или к нам пишут?» Так и я мог бы спрашивать в сражении: «А это мы бьем или нас бьют?» Благодаря генералу Богдановичу узнал я из книги его, что «генерал Бахметев потерял ногу (а следовательно, я лошадь свою) в 2 часа пополудни, когда Коленкур повел в атаку дивизию Ватье, между тем как продолжалась усиленная канонада, что заставило нашу пехоту перестроиться в каре под жесточайшим огнем неприятельских батарей»[9].

V

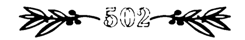
Жуковский вынес из Бородинской битвы «Певца во стане русских воинов». Какой же будет мой итог за этот день? Самый прозаический. На поверку выходит, что поплатился я одною кошкою и двумя лошадьми. В избе, которую уступил мне Милорадович, нашел я кошку. Я к этому животному имею неодолимое отвращение. Пред тем чтобы лечь спать, загнал я ее в печь и крепко-накрепко закрыл заслонку. Не знаю, что с нею после было: выскочила ли она в трубу или тут скончалась. Нередко после совесть моя напоминала мне это зверское малодушие. Тогда еще не был я членом Общества покровительства животных, и об этом покровительстве мало кто думал. Что касается до лошадей, то расскажу следующее. Однажды приехал ко мне из внутренней губернии сосед мой по деревне. Я не знал, о чем вести с ним разговор. Благо, была пред тем холера в этой стороне и я спросил его, не много ли пострадала деревня его? «Нет, – отвечал он мне, – благодаря Бога, пожертвовал я только одной старухой». А мне нельзя даже похвалиться и таким пожертвованием, потому что павшие подо мной лошади не мне принадлежали. Стало быть, в эти достопамятные дни самоотвержения, частных и общих жертв я ни собою, ни крепостною собственностью моею не пожертвовал.

VI

В дополнение ко всему сказанному считаю не лишним прибавить несколько слов о графе Растопчине.

---

[9] *Богданович М.И.* История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам : В 3 т. Т. 2. – СПб., 1859. – С. 210.



В исторической или гражданской жизни его есть одна темная страница: темная и по печальному событию, которым ознаменована; темная и по сбивчивым сведениям, сохранившимся о ходе и подробностях сего события. Каждому ясно, что мы говорим о смерти Верещагина.

Вот что сохранилось в памяти моей из этого эпизода 1812 года и что рассказывалось о нем в Москве. Купеческий сын Верещагин знаком был с сыном московского почт-директора Ключарева. Вследствие этого знакомства имел он возможность читать запрещенные цензурою нумера иностранных газет. Он переводил из них на русский язык то, что касалось до России и до намерений Наполеона. Может быть, иное и сам сочинял в этом смысле, но положительно известно то, что предосудительные, особенно по важности и смутности тогдашних обстоятельств, листки были перехвачены полицией. Граф Растопчин не мог не обратить на это дело бдительного и строгого внимания. По легкомыслию ли поступал Верещагин, по злому ли умыслу – он все же был виновен перед законом. Граф Растопчин приказал задержать его и предал суду. Соучастие в этом сына Ключарева также легкомысленное или задуманное было, во всяком случае, не менее предосудительно, особенно же не должно терять это из виду – в тогдашних обстоятельствах. Подозрения, павшие на Почтовое ведомство, должны были быть разъяснены, ибо тайные и неблагонамеренные действия его могли иметь вредные последствия для безопасности государства. Москва не находилась действительно и законно в осадном и на военном положении, но нравственно не была она в мирных условиях обыкновенного порядка. Почт-директор Ключарев, допустивший, по малой мере, недостаточной бдительностью нарушение закона, по которому запрещенные номера газет должны оставаться тайными, был удален от своего места и отправлен в Воронеж. Некоторые полагали, что принадлежность его к масонству была одной из причин неблаговоления к нему Растопчина. Едва ли можно согласиться с этим предположением. Тут дело шло не о масонстве. К тому же другие масоны не были потревожены. Для пылкого и властолюбивого графа Растопчина достаточно было, что Ключарев, ведомо или неведомо, допустил злоупотребление в своем ведомстве, и к тому же совершенное *сыном его; а* еще более, что присланный для производства первоначального следствия полицеймейстер Дурасов встретил сопротивление в Почтамте и был допущен не иначе, как с особого разрешения почт-директора. В то же время выражение Растопчина в одной из его афиш, что у него болел глаз, а теперь смотрит он в *оба,* относилось, по общему отзыву, к удалению Ключарева. В книге «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете, за октябрь – декабрь 1866 г.» напечатаны довольно обстоятельные и любопытные сведения и описания всего этого происшествия. Не имея пред глазами подлинных документов, на которые ссылается автор описания, не могу ни убедиться в достоверности всех сведений, ни оспаривать их. Известно, что производимые следствия содержат в себе вообще нередко много сбивчивых и даже неверных показаний. В одном из этих известий автор, оспаривая суждения Фарнгагена

и М.А. Дмитриева о смерти Верещагина, говорит, что *эта жертва принесена графом Растопчиным единственно для личного спасения, в самый решительный момент, от этой буйной, стоявшей лицом к лицу черни и пр.* (стр. 253). Тут же несчастный Верещагин назван *юным мучеником и прибавлено, что настает пора, когда беспристрастный суд истории, произнося свой приговор о личности и бывших сильных мира и братий малых, воздаст коемуждо по делам его*[10].

Начнем с того, что мучеником обыкновенно называем мы человека, который претерпевает и погибает за правое дело. Какова ни была бы участь Верещагина, нельзя признать, что пострадал он за правое дело, и, следовательно, беспристрастному суду истории нечего входить здесь в личности сильных мира и братий малых. К тому же не должно позабывать, что *юный мученик* и один из *братий малых,* о коем идет речь, был впоследствии законно признан государственным изменником и приговорен к тому, чтобы, «заклепав в кандалы, сослать его в Нерчинск, вечно на каторжную работу».

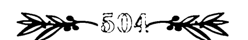
Нельзя так вольно и пронзительно обращаться с историей и вносить свои догадки в число положительных указаний или истин. Самая смерть Верещагина могла пасть скорбным и тягостным воспоминанием на Растопчина. Не нужно еще от себя прибавлять к тому малодушное, позорное и даже преступное побуждение. Многие в то время и – откровенно сознаюсь – в числе не последних и я, осуждали сей поступок Растопчина. Но никому из нас не приходило в мысль отнести сей поступок к его трусости или чувству самохранения. Мы все знали, что московский главнокомандующий мог 20 раз в день выехать из города, не подвергая себя нареканию или насильственным нападениям черни, которая, впрочем, никогда и не помыслила бы напасть на него. Растопчин в афишах своих уверял народ, что *злодей в Москву не будет,* но он тут только подтверждал заверения самого Кутузова. Во всяком случае, ни тот, ни другой не обманывали народ умышленно, а разве обманывали они сами себя.

Позднее мне самому случалось нередко слышать от *очевидцев,* или причислявшихся к очевидцам, подробные рассказы о смерти Верещагина. Но разноречивые и нередко противоречивые рассказы о том не оставили во мне убеждения о достоверности подробностей всего происшествия. Очные ставки и свидетельства, деланные под присягою, в законных следствиях, доказывают нам, различием указаний, что и сами очевидцы нередко смотрят совершенно различно на одно и то же дело.

По моим личным воспоминаниям и внутреннему убеждению, прихожу к следующему заключению: граф Растопчин виновен тем, что он превысил и во зло употребил власть свою и поступил вне закона, предав Верещагина расправе черни, а не окончательному приговору законного суда. Законность такое святое дело, что ни в каком случае нарушать ее не следует. Закон должен

---

[10] *Шереметевский П.В.* Дело о Верещагине и Мешкове // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских : Кн. 4. – М., 1866. – С. 258.



быть охраной частной личности и общества – равно в мирное, как и в смутное время. Чрезвычайные обстоятельства могут вынудить потребность временных и чрезвычайных законов, провозглашаемых государственною властью. В настоящем случае этого не было. Но в поступке Растопчина ничего не было преднамеренного, обдуманного и – тем более – не было удовлетворения личных выгод. Нисколько не сравнивая одного поступка с другим, скажу, что Растопчин в минуту великой скорби, великого раздражения предал Верещагина на жертву народу, как после предал он огню дом в селе Воронове. Ни в том, ни в другом случае он не приносил никакой пользы общественному делу. Существенного вреда неприятелю он также этим не наносил. Но в нравственном или политическом отношении могло побудить его желание тем и другим действием озадачить и напугать неприятеля. В этом соображении можно согласиться с Фарнгагеном, что граф Растопчин принес Верещагина в жертву для *усиления народного негодования;* а вместе с тем он давал Наполеону и французам как будто предчувствие того ожесточения, с которым будут встречены они в *гостеприимной* Москве. Когда одно подозрение в измене законному государю и Отечеству и в сочувствии к неприятелю могли побудить народ на такое дело, то неприятель мог ясно постигнуть народное чувство и дальнейшие последствия его. Такое предположение подкрепляется и тем, что Растопчин избавил от казни француза Mouton, который мог ожидать той же участи. Если предполагать, что Растопчин приготовил эту трагическую сцену *ради личного спасения своего,* то, разумеется, для выигрывания времени и большого развлечения народа он должен был бы и другую жертву предать черни. Но вместо того он отпустил его, говоря ему: «Поди, расскажи твоему царю, как наказывают у нас изменников».

В этих словах едва ли не заключается разгадка и объяснение поступка Растопчина.

Русский архив. 1869. Кн. 1



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И.М. СНЕГИРЁВА

[...] После Бородинской битвы наполеоновские полчища ближе приближались к древней столице, а наши войска отступали. Под стенами ее, в Филях, на военном совете решено главнокомандующим [М.И.] Кутузовым сдать Москву самонадеянному и тщеславному врагу. Между тем в Москве одни готовились к отпору, другие выезжали и выходили из нее, так что она только начинала пустеть; по улицам ее тянулись обозы с ранеными и умиравшими от тяжких ран; проходили и наши полки. Разные слухи и толки, одни другим противоречащие, и растопчинские афиши приводили москвичей в недоумение: колебались между страхом и надеждою, не знали, где спасаться от угрожавшей опасности. Уже днем с Поклонной горы была слышна под самою Москвой в неприятельском лагере музыка, а ночью виднелись огни. Попечитель московского университета П.И. Кутузов дал было предписание чиновникам не отлучаться от своих мест; но потом присланы от Растопчина телеги для вывоза казенных вещей в Нижний и Казань, под надзором некоторых профессоров. Занимая должность архивариуса совета, я успел сохранить протоколы первых годов университета. Трудно описать суматоху и тревогу в Москве, которая представляла из себя позорище какого-то переселения: все суетились, хлопотали, одни зарывали в землю или опускали в колодцы свои драгоценности или прятали их в потаенные места в домах; другие сбирались выехать из Москвы, не зная еще куда безопаснее укрыться от врагов, искали лошадей и ямщиков; иные оставались на своих местах, запасались в арсенале оружием или, в уповании на Божию помощь, молились. Многие даже готовились к грозившей напасти исповедью и причащением Св. Тайн. Разнеслась молва, что неприятели не будут касаться казенных мест. Батюшка все свое, для него дорогое, имущество, в сундуках свез в кладовую бывшего на Тверской Университетского Благородного пансиона, а ключи взял с собою. У нас была кибитка и парочка пегих лошадок. Вот весь дорожный экипаж, в котором должно было выехать ему с матушкою, со мною и с племянницей, недавно вышедшей в замужество. Кучер был крепостной, свой. Надобно кое-что и с собою взять для дороги. Двух лошаденок было недостаточно; батюшка не

знал, что делать, и крайне беспокоился, как вдруг подъехал казак к окошку и, показывая на свою лошадь, сказал: «Купи, барин, будешь доволен! Право, конь добрый!» В этом неожиданном случае батюшка увидел помощь Божию! Он скоро сторговался с казаком и, помолясь Богу и простясь с теплым гнездом своим, отправился в дорогу со слезами, как будто заранее оплакивая свой домик, обреченный на сожжение! Но куда и к кому ехать? «Поедем в Измайлово к дедушке Ивану Савичу», – сказала плакавшая матушка. В таком смущении уже настало и воскресенье, канун того рокового понедельника, когда вошли неприятели в Москву. Я оставался еще дома для исправления некоторых распоряжений батюшки: вместе с нашими домашними зарыл в саду шкаф с книгами, в футляре свою скрипку и еще кое-что; но не догадался, что с каланчи смежного с нами съезжего двора виден был наш сад и все мои действия. Конечно, съезженские подумали, что я зарываю какое-нибудь сокровище и, после нас, тотчас разрыли. Раздав медные деньги оставшейся прислуге, в понедельник, после обеда, я побрел в Измайлово. По дороге встречались мне разнохарактерные толпы московских переселенцев: одни шли с семействами грустные и плакавшие, другие пьяные куролесили и пели песни. Прошедши Красный пруд, я видел, как с Полевого двора бросали в него артиллерийские снаряды. На Красной горке (где при Петре I была построена крепостца под названием Азова, которую он брал приступом) толпа народа осаждала кабак: хватали, вырывали друг у друга штофы и полуштофы сладкой и французской водки; вино из разбитых бочек ручьями текло вокруг кабака; мужики, припав к земле, глотали из лужи вино с грязью; иные, напившись, лежали без чувств, в безобразном виде. В Преображенском, близ заставы, у кабака представилось мне столь же отвратительное позорище. На заставе уже не кому было окликать и шлагбаум оставался поднятым. В Измайлове я застал у прадедушки Ивана Саввича напутственный молебен и своих родителей; всем собором молились и прощались со слезами. Каково же было нашему старцу оставить теплое отцовское гнездо, свою колыбель! Около его домика собрались провожать измайловские жители. Трогательно было их расставание: они целовали его, говоря: «Прощай, наш отец и милостивец! Возвращайся к нам скорее, жив и здоров!» Выпив и закусив, тронулся весь семейный поезд в то самое время, как неприятель входил в Кремль и когда эхо донесло до Измайлова выстрел вестовой пушки. Иван Саввич, простясь на сельском кладбище с родными и знакомыми, облобызал угол родительского дома, потом, перекрестившись, сел с правнучатами и внуком в старомодную коляску, запряженную парой здоровых коней; за ним кибитка с родственниками, телега с бочонком пива, с бутылями наливок и съестными припасами: там были домашнего приготовления окорока копченой ветчины, палатки провесной рыбы, кадка меду. Прадедушка наш держался пословицы: «Едешь на день, бери хлеба на три дни». Кто же знал, что надобно было брать хлеба на сорок дней? Тогда-то мне пришли на память пророческие слова старой моей няни, что «Москва будет взята на сорок часов». В этом поезде

тянулась и кибитка моего батюшки; к нему и я присел на облучок. Ехали мы по Остромынке к Берлюковской пустыни, в которую Иван Саввич был усердным вкладчиком. Остановясь на часок в селе Ивановском, где он возобновил и украсил церковь, успели в напутствие напиться чаю, потом следовали далее. Дорога полна была пешими и конными; все спешили, но не знали еще, наверное, где найдут себе безопасное пристанище. Между московскими беглецами попадались и матери с грудными младенцами на руках и с другими вокруг них малютками. Как я должен был дорогою более идти пешком, чем ехать, по тесноте нашего экипажа, то и мне случалось нести на руках усталых малюток. Не могу забыть простодушного соседа в Троицкой улице: он вез на себе, в тележке, своего старого и хворого отца, ухаживая за ним, как за младенцем со всем радушием и нежностью сына, никак не воображая, что его подвиг равнялся подвигу детей верховной жрицы Юноны в Аргосе, Витона и Клеовиса, которые, за недостатком волов, привезли свою мать в храм к назначенному времени: если б она не поспела в храм, то была бы казнена. Древние прославили такой подвиг детской любви мраморными изваяниями; этот пример выставляли напоказ и Геродот, и Цицерон, и Павсаний; почему же нам умолчать о подобном подвиге Василия, разве только потому, что он портной и русский? Не думайте, чтоб отец Василия требовал или желал от сына такой жертвы, нет! Он даже упрашивал его, как говорил мне, со слезами «оставить его в Москве на волю Божию, а самому спасаться от неприятелей». Сколько тогда можно было встретить москвичей, которые за плечами несли все свое имущество, какое только успели и смогли захватить! Дорогой мы слышали патриотические нам упреки крестьян. «Что, продали Москву!» – кричали нам во встречу и вслед, иные даже замахивались на нас дубинами и грозили кулаками. Если случалось купить в деревне молока и яиц для себя или взять овса и сена для лошадей, за все брали втрое и вчетверо. На возражение наше отвечали: «Да ведь мы долго ждали такого времени, скоро ли дождемся?» В деревнях, по дороге, набитых постояльцами и ранеными, трудно было найти ночлег; многие ночевали в лесу и у стогов сена в поле. Бегство наше из Москвы удостоверило нас, что общее бедствие сближает людей, пробуждая в них сочувствие. Дорогой беглецы оказывали друг другу родственное участие, радушно помогали один другому, делились чем кто богат был, так что казалось, будто все были дети одной семьи, все родные. Наконец мы добрались до Берлюковской пустыни, стоящей посреди дремучих лесов, и приютились в ее гостинице. Иван Саввич, как вкладчик, был приветливо принят строителем. Эта пустынь на реке Воре, впадающей в Клязьму, в 40 верстах от Москвы, славится чудотворным образом святителя Николая. Бывшая долго в запустении, она возобновлена в 1778 году митрополитом Платоном. Но недолго мы гостили в этой уединенной обители; неприятельские мародеры, или, как называл их народ, *миродеры,* стали появляться в ее окрестностях, и послышались ружейные выстрелы. Под предводительством Ивана Саввича мы поспешили к Махрищскому монастырю, стоящему на устье реки Махри-

ща, от которой он заимствовал свое название. Расстоянием от Троицкой лавры он в 30, а от Александрова в 10 верстах; основатель его – современник преподобному Сергию, киевлянин Стефан, которого св. мощи опочивают под спудом в церкви, посвященной его имени. Ревнитель иноческого жития, царь Иван Васильевич любил, жаловал эту св. обитель и нередко посещал ее; разграбленная и разоренная Литвою и русскими изменниками, она возобновлена по указу царя Михаила Федоровича св. архимандритом Дионисием и келарем Авраамием Палицыным и с того времени приписана к Троицкому монастырю.

Там мы застали митрополита Платона, привезенного на Махру из Вифании, когда неприятели появились уже на Троицкой дороге и угрожали самой лавре, где было только несколько десятков казаков для летучей почты. С Платоном находились архимандрит Евгений, ныне архиепископ, и племянник его Иван Платонов Шумилин. Мы приютились в монастырской слободке. Когда мы сидели грустные в избе, вдруг отворилась дверь и двое послушников вошли к нам с блюдами кушанья. «Его святейшество, – сказали они, обращаясь к батюшке, – узнав о вашем сюда приезде, изволил прислать вам три блюда своего кушанья: пирог, похлебку и жареную рыбу». Такое участие и милость митрополита тронули до слез моего батюшку и матушку; не помню только, плакал ли я. После узнали, что митрополиту дали знать о приезде моего отца перед самым обедом; стол был накрыт, и кушанье поставлено. «Несите все к Михайле Матвеевичу». Батюшка после обеда ходил со мною благодарить его за такое родственное участие. Первое его слово было: «Куда делся злодей?» Батюшка, думая, что это относится к Наполеону, отвечал: «В Москве». – «Нет, нет, я спрашиваю о твоем злодее-кучере». Надобно сказать, что наш крепостной кучер, обокравши нас, убежал; в то время уже разнеслась в простом народе пущенная Наполеоном молва, ко вреду России, что он даст крепостным волю. «А Бонапарту с ватагою своей», – продолжал Платон с расстановкою, не сдобровать и в Сергиевой обители не бывать. Слышь, я ведь не велел убирать там мощей и драгоценностей. Бонапарт восстанет на святыню, а святыня против него. Куда ему устоять!» Потом, как бы обращаясь на самого себя, сказал: «Каков же стал теперь Платон, хуже богаделенного старика»...

[...] Как теперь помню, мимо Александрова проходил разрозненный полк, искавший своей дивизии; у солдат ружья были без кремней. В то время не один был такой пример.

Ночью мы с жителями Александрова выходили на улицу смотреть на ужасное зарево с московской стороны; небо все пламенело; казалось, пламень волновался. Такое поразительное зрелище наполняло нашу душу страхом и унынием. «Видно, горит наша матушка Москва!» – повторяли многие. А там были наши родительские дома, и в них наше достояние, заветные святыни, что называется у русского народа, Божие милосердие; библиотечка довольно порядочная. Но нас не покидала надежда, что если и сгорел наш дом в Троицкой, то, вероятно, уцелели сундуки с имуществом в кладовой казенного

дома. Пред рассветом 11 октября, спросонья, нам показалось, будто что-то грянуло не один раз и будто весь покой, где мы спали, поколебался. Сперва мы приняли это за тревожный сон; но сон был в руку. Через несколько времени в Александрове получено известие, что наш священный Кремль взорван, зажженная Москва догорает, а французы из нее вышли и Бог знает куда идут.

Через несколько дней, с ключами от сундуков, батюшка отправился со мною в Москву, а матушка осталась в Александрове. Приехав в Троицкую лавру около полудни, мы услышали в ней 12 ударов в большой колокол. На вопрос наш, что значит этот необыкновенный звон и в необыкновенное время, на постоялом дворе нам отвечали: «Митрополита Платона не стало: он скончался в Вифании». Весь монастырь и посад были в каком-то смятении; казалось, дети лишились своего отца и благодетеля. Утешенный вестью об изгнании врагов из Москвы, Платон мирно почил в основанной им обители веры, благочестия и наук, где ожидал его заранее приготовленный им себе гроб и могила в приделе Воскресения Лазаря. Батюшка мой ездил в Вифанию поклониться мощам преосвященного. Покойный уже положен был в гроб, осененный херувимами на рипидах и покрытый святительскою мантиею. На величавом его челе выступил пот, румянец играл у него на левой щеке; потом лицо закрыто было пеленою. Это самое подтвердил мне бывший при отпевании тела майор Павел Васильевич Головин, известный ревнитель веры и благочестия, усердный почитатель иерарха. Из лавры монахи, посадские и москвичи стеклись в Вифанию; гроб усопшего окружали плакавшие духовные особы, родственники и столько посторонних, сколько могли вместиться в уютных покоях Платона. Батюшка, не дождавшись отпевания и похорон святителя, поспешил со мною в Москву, в надежде найти свои сундуки целыми. По дороге, от Пушкина до древней столицы, мы видели разрушительные следы врагов; они порывались было в Сергиеву обитель, но, как гласит народное предание, не допущены были невидимою силой. При самом въезде в Москву, через Крестовскую заставу, мы встретили целый обоз мертвых тел; все почти были нагие, окостеневшие в разных положениях: кто лежал скорченным, кто с распростертыми руками, кто облитый запекшеюся кровью, кто с размозженною головой; в числе их там находились русские, поляки, французы, немцы и итальянцы; их везли в Марьину рощу, где сжигали на кострах. По самому пожарищу, где еще курился навоз на дворах, от Креста мы доехали до своей Троицкой улицы и едва узнали свое родное пепелище. От двух красивеньких наших домиков остались только обгорелые каменные фундаменты и печи, а в кучах пепла попался нам прародительский образ Рождества Спасителя и Богоматери в серебряном окладе, картина несения креста Иисусом Христом на Голгофу и обожженная чайная чашка, которые и до сих пор храню на память 1812 года. В саду нашем попался нам раскрытый шкаф с книгами и байковая шинель, которая мне пригодилась. В каменной палатке у соседа приютилась старая служанка наша Василиса, которая встретила нас со слезами. В подвале обгоревшего Троицкого подворья мы отыскали нашего при-

ходского священника Георгия Семеновича Легонина, который при французах не боялся служить в церкви, сохраненной им от пожара, даже исправлять все требы в окрестностях, за отсутствием священников. При неожиданном свидании старец и отец бросились один другому в объятия и заплакали, как будто восставшие из мертвых. В трапезной церкви нашли себе приют несколько семейств, лишенных своего крова. По вступлении неприятелей в Москву долго не горела наша мирная и скромная улица. И кто бы подумал, что капуста могла быть причиной немаловажных последствий в 1612 и 1812 годах! Назад тому два века, по сказанию Маскевича, голодные поляки отняли у русских кадки кочанной капусты и принялись ее пожирать. Москвичи, узнав об этом, нагрянули на оплошных врагов и побили их[1]. То же почти самое случилось и с польскими и с французскими мародерами в нашем приходе. На огороде они отняли воз капусты; наши прихожане, собравшись, поколотили их и отбили у них капусту. Неприятели на другой день пришли в большом количестве и в отмщение сожгли Троицкую улицу. Загоралась было от просвирнина дома даже и самая церковь, но священник с сыном ее загасили.

С ключами от наших сундуков мы поехали в сгоревший на Тверской Университетский пансион, но там в подвалах нашли только свои пустые, разломанные сундуки; пришлось оставить у себя на память одни ключи.

Москва наполнена была смрадом, на улицах еще валялась конская падаль; везде был проезд между обгоревших печей, которые торчали на пожарищах; в подвалах домов гнездились московские жители, лишенные своего крова. Не повторяю того, что было уже описано в разных и книгах и книжках, в газетах и журналах о положении Москвы по выходе из нее неприятелей, но замечу, что из этих отрывочных сведений могло бы быть составлено довольно полное описание незабвенной годины...

[...] Пробыв несколько дней в разоренной и обгорелой Москве, мы со своими ключами и с пустыми руками отправились в Александров за матушкою, которая нетерпеливо нас ждала, боясь, чтобы дорогой с нами чего не сделалось в тогдашней суматохе. Целыми обозами мужики приезжали в Москву обирать то, чего не успели или не могли ограбить неприятели: они увозили зеркала, люстры, картины, книги, богатые мебели, фортепьяно, словом, все тащили, что только попадалось им на глаза и в руки, и все почти дорогой везли расколотое, разбитое, испорченное от неуменья сберегать. От многих мне привелось слышать, что награбившие большею частью оканчивали жизнь свою в нищете и пьянстве.

Вскоре из Александрова батюшка с матушкою и со мною переехал в Москву; начальство отвело ему квартиру в старом доме университетского ботанического сада... У нас не было в квартире ни мебели, ни посуды. Добрый Петр Михайлович Дружинин, директор 1-й Московской гимназии, радушно

---

[1] Записки Маскевича // Сказания современников о Димитрии Самозванце : В 5 ч. Ч. 5. – СПб., 1834. – С. 115.

снабдил нас тем и другим. Он первый возобновил издание Московских Ведомостей, в котором и я был участником. Появление их в московском мире имело отрадное влияние на его жителей; печаталось все, что тогда особенно интересовало: реляции о военных действиях, описания торжеств, патриотические слова Августина. Все это читалось с жадным любопытством и живым участием. Московские Ведомости служили органом правительства и публики.

Русский архив. 1866. № 4



Ф.В. РАСТОПЧИН. ПРАВДА О ПОЖАРЕ МОСКВЫ

Десять лет прошло со времени пожара Москвы, и я всегда был представляем потомству и Истории как виновник такого происшествия, которое, по принятому мнению, было главнейшею причиною истребления неприятельских армий, падения Наполеона, спасения России и освобождения Европы. Без сомнения, есть чем возгордиться от таких прекрасных названий; но, никогда не присваивая себе прав другого и соскучась слышать одну и ту же басню, я решаюсь говорить правду, которая одна должна руководить Историею.

Когда пожар разрушил в три дни шесть восьмых частей Москвы, Наполеон почувствовал всю важность сего происшествия и предвидел следствие, могущее произойти от того над русской нацией, имеющей полное право приписать ему сие разрушение, по причине бытности его самого и под его начальством ста тридцати тысяч солдат. Он полагал найти верное средство отклонить от себя весь позор сего дела в глазах русских и Европы и обратить его на начальника русского правления в Москве: тогда бюллетени Наполеоновы провозгласили меня зажигателем; журналы и брошюры наперерыв один перед другим повторили это обвинение и некоторым образом заставили авторов, писавших после о войне 1812 г., представлять достоверным такое дело, которое совершенно было ложно.

Я располагаю по статьям главнейшие доказательства, утвердившие мнение, что пожар Москвы есть мое дело; я буду отвечать на них происшествиями, известными всем русским. Было бы несправедливо этому не верить, ибо я отказываюсь от прекраснейшей роли эпохи и сам разрушаю здание моей знаменитости.

1. *Наполеон в своих бюллетенях 19, 20, 21, 22, 23 и 24-м утвердительно говорит, что пожар Москвы был выдуман и приготовлен Растопчиным.*

Столь ужасное предприятие, чтобы выдумать и исполнить, каково есть сожжение столичного города империи, надлежало иметь причину гораздо важнейшую, чем уверенность во зле, могущем от того произойти для неприятеля. Хотя шесть восьмых частей города были истреблены огнем, однако оставалось еще довольно зданий для помещения всей армии Наполеоновой.

Совершенно было невозможно, чтобы пожар мог распространиться по всем частям города, и если б не случилось жестокого ветра, огонь сам бы по себе остановился по причине садов, пустых мест и бульваров. Таким образом, истребление жизненных припасов, находящихся в домах, которые мог бы истребить пламень, было бы единственным злом для неприятеля и горестным плодом меры, сколь жестокой, столько же и неблагоразумной.

Но жизненные припасы, оставшиеся в Москве, были весьма незначительны, ибо Москва снабжается во время зимнего пути и весенней навигации до сентября месяца, а после – на плотах до зимы; но война началась в июне месяце, и неприятель обладателем Смоленска был уже в начале августа, а потому все подвозы остановились и нисколько уже не заботились о снабжении жизненными припасами города без защиты и угрожаемого неприятельским вторжением. Впоследствии большая часть муки, находившейся в казенных магазинах и в лавках хлебных торговцев, была обращена в хлебы и сухари, и в продолжение тринадцати дней пред вступлением Наполеона в Москву шестьсот телег, нагружаемых сухарями, крупой и овсом, отправлялись каждое утро к армии, а поэтому и намерение лишить неприятеля жизненных припасов не могло иметь своего существования. Другое дело, гораздо важнейшее, должно было бы остановить исполнение предприятия пожара (если когда-либо было оно предположено), а именно, дабы тем не заставить Наполеона принудить кн. Кутузова, по выходе своем из Москвы, к сражению, которого все выгоды были на стороне французской армии, имеющей двойное число сражающихся, чем русская армия, обремененная ранеными и некоторою частью народа, вышедшего из Москвы.

2. *Зажигательные вещества, приготовленные каким-то Шмидтом, имеющим препоручение устроить воздушный шар.*

Поскольку пожар Москвы не был никогда никем ни приготовлен, ни устроен, то зажигательные вещества Шмидта сами по себе были не нужны. Этот человек будто бы нашел способ управлять воздушным шаром, занимался тогда устроением оного и, следуя шарлатанству, просил о сохранении тайны насчет его работы. Между тем слишком уже увеличили историю этого шара, дабы сделать из оной посмеяние для русских; но простаки очень редки между ними, и никогда бы не могли уверить ни одного жителя Москвы, что этот Шмидт истребит французскую армию посредством своего шара, подобного тому, который французы употребили во время Флерюсского сражения; и какую имели нужду устраивать фабрику зажигательных веществ? Солома и сено были бы гораздо способнее для зажигателей, чем фейерверки, требующие предосторожности и столь же трудные к сокрытию, как и к управлению для людей, совсем к тому непривычных.

3. *Петарды, найденные в печах моею дома в Москве.*

Для чего мне было класть петарды в моем доме? Принимаясь топить печи, их легко бы нашли, и даже в случае взорвания было бы токмо несколько жертв, а не пожар.

Один французский медик, стоявший в моем доме, сказывал мне, что нашли в одной печи несколько ружейных патронов; если по прошествии некоторого времени сделались они петардами, то для чего ж сказать после, что это были *сферы сжатия* (globes de compression)? Что касается до меня, то я оставляю изобретение петард бюллетеню; или, если действительно нашли несколько патронов в печах моего дома, то они могли быть положены после моего выезда, чтобы чрез то подать еще более повода думать, что я имел намерение сжечь Москву. Равномерно и ракеты, будто бы найденные у зажигателей, могли быть взяты в частных заведениях, в которых приготовляются фейерверки для праздников, даваемых в Москве и за городом.

4. *Показания зажигателей, взятых, судимых и потом расстрелянных.*

Вот еще доказательство, представленное как несомненное и убедительное, облеченное формою суда, показанием осужденных и смертью зажигателей. Наполеон объявляет в двадцатом своем бюллетене, что схватили, предали суду и расстреляли зажигателей, что все сии несчастные были взяты на месте, снабженные зажигательными веществами и бросающие огонь по моему приказанию.

Двадцатый бюллетень объявляет, что эти зажигатели были колодники, бросившие огонь в пятистах местах в один раз, что никоим образом невозможно. Впрочем, можно ли полагать, чтоб я дал свободу колодникам, содержавшимся в тюрьмах, с условием жечь город, и что сии люди могли исполнить мои приказания во время моего отсутствия, пред целой неприятельской армией? Но я хочу убедить всех тех, кои единственно судят, по-видимому, что колодники никогда не были к тому употреблены.

По мере приближения Наполеоновой армии к какому-либо губернскому городу гражданские губернаторы всегда отправляли колодников в Москву под прикрытием нескольких солдат. Вышло из того, что в конце месяца августа московские тюрьмы наполнены были колодниками губерний Витебской, Могилевской, Минской и Смоленской. Число оных, со включением также и колодников московских, состояло из восьмисот десяти человек, которые под прикрытием одного батальона, взятого из гарнизонного полку, были отосланы в Нижний Новгород двумя днями прежде входа неприятеля в Москву. Они прибыли к месту своего назначения, и в начале 1813 г., во избежание затруднения насчет рассылки их по прежним губерниям, предписано было Судебным местам Нижнего Новгорода учинить и кончить их процесс там.

Но процесс, учиненный зажигателям (который напечатан и которого я имею у себя еще один экземпляр), объявляет, что были представлены тридцать человек, из коих каждый поименован и между которыми тринадцать, будучи уличены в зажигательстве города по моему приказанию, приговорены к смерти. Между тем по двадцатому и двадцать первому бюллетеню расстреляно их сначала сто, а потом еще триста. По моем возвращении в Москву я нашел и говорил с тремя несчастными из числа тридцати, обозначенных в

процессе: один был служитель кн. Сибирского, оставленный при доме, другой, старый подметальщик в Кремле, третий, магазинный сторож.

Все трое, допрашиваемые порознь, мне сказали одно и то же в 1812 г., что и два года после того, то есть что они взяты были в первые дни сентября месяца (старого стиля), один во время ночи на улице, двое других в Кремле днем. Они оставались некоторое время в кордегардии в самом Кремле; наконец одним утром препроводили их с десятью другими русскими в Хамовнические казармы; к ним присоединили еще семнадцать других человек и отвели их под сильным прикрытием к Петровскому монастырю, находящемуся на бульваре. Там они простояли почти целый час, после чего множество офицеров приехало верхами и сошли на землю. Тридцать русских были поставлены в одну линию, из коих, отсчитавши тринадцать справа, поставили к монастырской стене и расстреляли. Тела их были повешены на фонарные столбы с французскою и русскою надписью, что это были зажигатели. Другие семнадцать были отпущены и впредь уже не тревожимы.

Объявление сих людей (если оно справедливо) заставляет думать, что никто их не допрашивал и что тринадцать были расстреляны по повелению высшего начальства.

5. *Показание одного человека, будто бы полицейского солдата, найденного в кремлевских погребах и изрубленного на части солдатами Наполеоновой гвардии.*

Этот несчастный полицейский солдат, или как он таким себя называл, найденный в одном погребе, мог ли сказать, что он оставался по приказанию своего начальника? Между тем кто был этот начальник? – Я ли? Полицмейстер ли? Офицер ли? Сержант ли? Какое препоручение дано ему было? Но ему не сделали чести им заняться; он был изрублен гвардейскими солдатами.

6. *Вывезенные пожарные трубы.*

Я велел выпроводить из города две тысячи сто человек пожарной команды и девяносто шесть труб (ибо их было по три в каждой части) накануне входа неприятеля в Москву. Был также корпус офицеров, определенный на службу при пожарных трубах, и я не рассудил за благо оставить его для услуг Наполеона, выведши уже из города все гражданские и военные чины.

Между тем очень естественно желать знать подлинно, кто бросал огонь и производил пожар Москвы. Итак, вот подробности, которые я могу доставить о сем происшествии, которое Наполеон складывает на меня, которое русские складывают на Наполеона и которое не могу я приписать ни русским, ни неприятелям исключительно. Половина русских людей, оставшихся в Москве, состояла из одних токмо бродяг, и легко статься может, что они старались о распространении пожаров, дабы с большею удобностью грабить в беспорядке. Но это еще не может быть убедительным доказательством, что существовал план для сожжения города и что этот план и его исполнение были моим делом.

Главная черта русского характера есть некорыстолюбие и готовность скорее уничтожить, чем уступить, оканчивая ссору сими словами: *не доставайся*

же никому. В частых разговорах с купцами, мастеровыми и людьми из простого народа я слыхал следующее выражение, когда они с горестью изъявляли свой страх, чтоб Москва не досталась в руки неприятеля: *лучше ее сжечь.* Во время моего пребывания в Главной квартире кн. Кутузова я видел многих людей, спасшихся из Москвы после пожара, которые хвалились тем, что сами зажигали свои дома.

Вот подробности, собранные мною по моем возвращении в Москву; я их представлю здесь точно в таком виде, в каком они ко мне пришли. Я не был свидетелем оных, ибо находился в отсутствии.

В Москве есть целая улица с каретными лавками, в которой живут одни только каретники. Когда армия Наполеона вошла в город, то многие генералы и офицеры бросились в этот квартал и, обошедши все заведения оного, выбрали себе кареты и заметили их своими именами. Хозяева, по общему между собою согласию, не желая снабдить каретами неприятеля, зажгли все свои лавки.

Один купец, ушедший со своим семейством в Ярославль, оставил одного своего племянника иметь попечение о его доме. Сей последний по возвращении полиции в Москву пришел объявить ей, что семнадцать мертвых тел находятся в погребе его дяди, и вот как он рассказывал о сем происшествии. На другой день входа неприятеля в город четыре солдата пришли к нему; осмотря дом и не нашедши ничего с собой унести, сошли в погреб, находящийся под оным, нашли там сотню бутылок вина и, давши разуметь знаками племяннику купца, чтоб он поберег оные, возвратились опять ввечеру в сопровождении тринадцати других солдат, зажгли свечи, принялись пить, петь и потом спать. Молодой русский купец, видя их погруженных в пьяный сон, вздумал их умертвить. Он запер погреб, завалил его каменьями и убежал на улицу. По прошествии нескольких часов, размысливши хорошенько, что эти семнадцать человек могли бы каким-нибудь образом освободиться из своего заточения, встретиться с ним и его умертвить, он решился зажечь дом, что и исполнил посредством соломы.

Вероятно, что эти несчастные семнадцать человек задох[ну]лись от дыму. Два человека, один дворник г-на Муравьева, а другой купец, были схвачены при зажигании своих домов и расстреляны.

С другой стороны, Москва, будучи целью и предметом похода Наполеона в Россию, разграбление сего города было обещано армии. После взятия Смоленска солдаты нуждались в жизненных припасах и питались иногда рожью в зернах и лошадиным мясом; очень естественно, что сии войска, пришедши в обширный город, оставленный жителями, рассыпались по домам для снискания себе пищи и для грабежа. Уже в первую ночь по занятии Москвы большой корпус лавок, находящийся против Кремля, был весь в пламени. Впоследствии, и даже беспрерывно, были пожары во многих частях города; но в пятый день ужасный вихрь разнес пламень повсюду, и в три дня огонь пожрал семь тысяч шестьсот тридцать два дома. Нельзя ожидать большой

предосторожности со стороны солдат, которые ходили ночью по домам со свечными огарками, лучиною и факелами; многие даже раскладывали огонь посредине дворов, дабы греться. Денной приказ[1], дававший право каждому полку, расположенному на биваках близ города, посылать назначенное число солдат для разграбления домов *уже сожженных,* был, так сказать, приглашением или позволением умножить число оных. Но то, что более всего утверждает русских во мнении, что Москва была сожжена неприятелем, есть весьма бесполезное взорвание Кремля.

Вот все, что я могу сказать о великом происшествии Московского пожара, которое тем еще более показалось удивительным, что нет ему примера в Истории.

Наполеон оставил на три дня Кремль и возвратился ожидать мира посреди дымящихся развалин; но судьба его решилась, и перст Провидения назначил Москву быть началом его падения, так как остров Св. Елены концом его подвигов.

Теперь сделаю некоторые замечания на книгу, недавно изданную в свет М. М.[2], под заглавием «О походе в Россию». Я в ней нашел много правды и беспристрастия, за исключением токмо исторической части о занятии Москвы. Ничего не буду говорить о пожаре, но открою некоторые ошибки М. М. насчет многих происшествий, которые он описывает, повторяя уверения многих писателей, мало заботившихся о исправности. Это не касается военных операций, которых автор был свидетелем и которые описывает он как опытный офицер. Его критика благоразумна; он не превращает историю в роман и нимало не похож на тех авторов, которым нравится говорить глупости не только о частных людях, но даже о целых нациях, как, например, издатель журнала Le Miroire, который объявляет, что «русский не боится смерти в сражениях, единственно страшась кнута»; газеты, которым угодно называть русские армии дикими, казацкими и прочий набор бессмысленных злословий и лжи, равномерно как и следующие книги: De la Russie et de l'esclavage, du Desastre de Moscou и пр. Что ж касается именно до меня, то и конца бы не было, если бы я хотел говорить о всех глупостях, сказанных на мой счет: то иногда я безызвестного происхождения; то из подлого звания, употребленный к низким должностям при Дворе; то шут императора Павла; то назначенный в духовное состояние, воспитанник митрополита Платона, обучавшийся во всех городах Европы; толст и худощав, высок и мал, любезен и груб. Нимало не огорчаясь вздорами, столь щедро на счет мой расточенными кропателями историй, я представлю здесь мою службу. Я был офицером гвардии и камер-юнкером в царствование императрицы Екатерины II; генерал-адъютантом, министром иностранных дел и главным директором почт в царствование императора Павла 1-го; обер-камергером и главнокоманду-

---

[1] Имеется в виду дневной приказ.

[2] Автора книги установить не удалось.

ющим Москвы и ее губернии при нынешнем императоре. Что ж касается до моего происхождения, то, не во гнев господам, рассуждающим под красным колпаком, я скажу, что родоначальник нашей фамилии, поселившийся в России назад тому более трех столетий, происходил по прямой линии от одного из сыновей Чингисхана.

В книге, на которую я делаю замечания, М. М. представляет меня человеком с запальчивым характером. Первый, который сказал это как попало (ибо прочие уже вслед за ним повторили), очень бы затруднился в доказательствах им сказуемого. Прежде, нежели произнести свой приговор о поступках и поведении человека государственного, надобно, если не хотят учинить несправедливости, обратить свое внимание на время, место, обстоятельства и узнать хорошенько причины, заставляющие его таким или другим образом действовать. Выбросите из 1812 г. зажигательный факел, которым угодно было Наполеону для собственных своих выгод вооружить мою руку, то найдут план, от которого я никогда не отступал и который исполнял я со спокойствием и терпением. Другой на моем месте не употребил бы, может быть, столько деятельности, но были три причины, которые воспламеняли беспрестанно мое рвение в сию губительную эпоху: это была слава моего отечества, важность поста, препорученного мне государем, и благодарность к милостям императора Павла 1-го. Столько было дел, что не доставало времени сделаться больным, и я не понимаю, как мог я перенести столько трудов. От взятия Смоленска до моего выезда из Москвы, то есть в продолжение двадцати трех дней я не спал на постели; я ложился, нимало не раздеваясь, на канапе, будучи беспрестанно пробуждаем то для чтения депешей, приходящих тогда ко мне со всех сторон, то для переговоров с курьерами и немедленного отправления оных. Я приобрел уверенность, что есть всегда способ быть полезным своему отечеству, когда слышишь его взывающий голос: «Жертвуй собою для моего спасения». Тогда пренебрегаешь опасностями, не уважаешь препятствия, закрываешь глаза свои насчет будущего; но в ту минуту, когда займешься собою и станешь рассчитывать, то ничего не сделаешь порядочного и входишь в общую толпу народа.

Я имел в виду два предмета весьма важные, от которых, полагал, зависит истребление французской армии, а именно: чтоб сохранить спокойствие в Москве и вывести из оной жителей. Я успел свыше моих надежд. Тишина продолжалась даже до самой минуты вступления неприятеля, и из двухсот сорока тысяч жителей осталось только от двенадцати до пятнадцати тысяч человек, которые были или мещане или иностранцы, или люди из простого звания народа, но ни один значительный человек ни из дворянства, ни из духовенства или купечества. Сенат, Судебные места, все чиновники оставили город несколькими днями прежде его занятия неприятелем. Я хотел лишить Наполеона всей возможности составить сношение Москвы со внутренностью империи и употребить в свою пользу влияние, которое француз приобрел себе в Европе своею литературою, своими модами, своею кухнею и своим

языком. Сими средствами неприятели могли бы сблизиться с русскими, получить доверенность, а наконец и самые услуги; но посреди людей, оставшихся в Москве, обольщение было без всякого действия, как посреди глухих и немых.

Нарушенное спокойствие в Москве могло бы произвести весьма дурные впечатления на дух русских, которые обращали тогда на нее свои взоры и ей подражали и следовали. Из нее-то распространился этот пламенный патриотизм, эта потребность пожертвований, этот воинский жар и это желание мщения против врагов, дерзнувших проникнуть столь далеко. По мере, как известие о занятии Москвы делалось известным в провинциях, народ приходил в ярость; и действительно, подобное происшествие должно было казаться весьма чрезвычайным такой нации, на землю которой не ступал неприятель более целого века, считая от вторжения Карла XII, короля Шведского. Наполеон имел равную с ним участь: оба потеряли свою армию, оба были беглецы, один у турков, другой у французов.

Небольшое сочинение, изданное мною в 1807 г., имело своим назначением предупредить жителей городов против французов, живущих в России, которые старались уже приучить умы к тому мнению, что должно будет некогда нам пасть пред армиями Наполеона. Я не говорил о них доброго: но мы были в войне, а потому и позволительно русским не любить их в сию эпоху. Но война кончилась, и русский, забыв злобу, возвращался к симпатии, существующей всегда между двумя великодушными народами. Он не сохранил сего зложелательства, которое французы оказывают даже до сего времени чужеземцам и не прощают им двойное занятие Парижа, как и трехлетнее их пребывание во Франции. Впрочем, я спрашиваю: где та земля, в которой три тысячи шестьсот тридцать французов, живущих в одном токмо столичном городе, готовом уже быть занятым их соотечественниками, могли бы жить не только спокойно, но даже заниматься своей коммерцией и отправлять свои работы? Ни один человек не был оскорблен, и кабаки, во время мнимого беспорядка при вшествии Наполеона в Москву, не могли быть разграблены, ибо вследствие моего приказания не находилось в них ни одной капли вина.

Московский почт-директор никогда не был послан в Сибирь, но удален в Воронеж совсем по другим причинам, какие объявляет одна немецкая газета.

Прокламации, мною публикованные, имели единственно в предмете утишение беспокойства; между тем все знали очень хорошо о происходившем: военные известия с величайшею скоростью приходили одни за другими от Смоленска к Москве. Основанием моих бюллетеней служили получаемые мною уведомления, сначала от ген. Барклая, а потом от кн. Кутузова. Что касается до выражений, то они не могли быть оскорбительнее для неприятеля французских прокламаций 1814 г., в которых говорили, что русские любят есть мясо младенцев.

Никогда не существовала ненависть между мною и князем Кутузовым, да и время не было заниматься оной. Мы не имели никаких выгод обманы-

вать друг друга и не могли трактовать вместе о сожжении Москвы, ибо никто о том и не думал. Правда, что во время моего с ним свидания у заставы он уверял меня о намерении дать сражение, а вечером, после военного совета, державного на скорую руку, он прислал ко мне письмо, в котором уведомлял, что вследствие движения неприятеля он видит, к сожалению, себя принужденным оставить Москву и что идет расположиться со своей армией на Большой Рязанской дороге.

Из всего вышесказанного мною видно, что М. М. впал в противоречие, ибо, полагая вражду между кн. Кутузовым и мною, он разрушил всякую возможность взаимной доверенности. Если бы делаться врагами всех тех, коих мы осуждаем, то труд М. М. доставил бы ему значительное количество оных.

До 1806 г. я не имел против Наполеона ненависти более как и последний из русских; я избегал говорить о нем сколько мог, ибо находил, что писали на его счет слишком и слишком рано. Народы Европы будут долго помнить то зло, которое причинил он им войною, и в классе просвещенном два существующие поколения разделятся между энтузиазмом к завоевателю и ненавистью к похитителю. Я даже объявлю здесь откровенно мое верование в отношении к нему: Наполеон был в глазах моих великим генералом после Итальянского и Египетского походов; благодетелем Франции, когда прекратил он революцию во время своего консульства; опасным деспотом для Европы, когда сделался Императором; ненасытным завоевателем до 1812 г.; человеком, упоенным славою и ослепленным счастьем, когда предпринял завоевание России; униженным гением в Фонтенебло и после Ватерлоского сражения, а на острове Св. Елены плачущим прорицателем. Наконец, я думаю, что умер он с печали, не имея уже возможности возмущать более свет и видя себя заточенным на голых скалах, чтобы быть терзаем воспоминанием прошедшего и мучениями настоящего, не имея права обвинять никого другого, кроме самого себя, будучи сам причиною и своего возвышения, и своего падения. Я очень часто сожалел, что генерал Тамара́, имевший препоручение в 1789 г., во время войны с турками, устроить флотилию в Средиземном море, не принял предложения Наполеона о приеме его в русскую службу; но чин майора, которого он требовал как подполковник корсиканской национальной гвардии, был причиною отказа. Я имел это письмо много раз в своих руках.

Что касается до французских революционеров и их учеников в других землях, то я возгнушался их намерением, как только оно сделалось известным по своему успеху. Все, что произошло в Европе в продолжение тридцати лет, утвердило меня в моем мнении насчет тех, которых предприятия касались к ниспровержению правительств. Какое дело до того, под каким названием эти люди скрываются, или известны; эгоизм ими предводит, корыстолюбие их ослепляет.

К несчастью, в сем веке, в котором столько происшествий приучили два поколения избавлять себя от правил, внушающих должное уважение к Вере

и Престолу, горсть крамольников и честолюбцев довольно свободно достигает до обольщения народа, говоря, смотря по обстоятельствам, о благополучии, богатстве, свободе, славе, завоевании и мщении; его возмущают, ведут и низвергают в ужасную пропасть бедствий. Дошли даже до того, что стали почитать революцию какою-то потребностью духа времени, и чтоб умножить лавину бунта (avalanche de la révolte), то представляют в блистательной перспективе выгоды конституции, не заботясь нимало, прилична ли она стране, жителям и соседям. Вот болезнь нынешнего века! Эта горячка опаснее всех горячек, даже и самой моровой язвы; ибо не только что повальная и заразительная, но сообщается чрез чтение и разговор. Ее признаки очень заметны: она начинается набором пышных слов, которые, кажется, выходят из уст какого-нибудь законодавца, друга человечества, пророка или могущественного владетеля; потом является тысяча оскорблений против всякой власти, жажда обладания, неумеренный аппетит богатства, наконец, бред, в продолжение которого больной карабкается как можно выше, опрокидывая все пред собою.

Несмотря на все усилия возмутителей, народы, приведенные в заблуждение на некоторое время, окончат впоследствии тем, что возвратятся опять к прежнему порядку вещей или от действия размышления, или от усталости, или даже от самых излишностей; ибо очень скоро узнается, что весь свет не может быть богатым и что нет довольно места на троне для многих тысяч подданных, желающих превратиться в государей, чтобы царствовать над нацией, которая нимало о том и не заботится. Уже доказано историей, что каждый народ, бунтующий против своего государя, делает худшим свое состояние и дорого платит за свое заблуждение: ибо, если в борьбе законный владетель восторжествует над крамольниками, то никогда не захочет он согласиться на то, чего они желают; в противном же случае, если законный владетель падает, защищая свои права против возмутившихся подданных, то тогда сии мгновенно переходят под власть военного деспотизма, ибо, за недостатком какого-нибудь Наполеона, везде найдется много Итурбидов[3].

Депутация города Москвы, о которой говорит М. М., состояла из дюжины простых людей, очень худо одетых. Представлявший в сем торжественном случае и дворянство, и духовенство, и чиновников, и купеческое сословие был не что иное, как типографской фактор. Наполеон, видя всю странность такой комедии, обратился к нему спиною.

Отряд полицейских драгунов, о которых говорит М. М., состоял из десяти человек для препровождения повозки, в которой находились государственные бумаги. Что касается до меня, то я был верхом, и не прежде оставил город, как в ту минуту, когда стали палить из пушек в Кремле.

---

[3] Итурбиде, Августин (1783–1824) – государственный и военный деятель Мексики; возглавил вооружённое выступление за отделение Мексики от Испании и в 1822 г. объявил себя императором.

Прежде, нежели окончу сие небольшое сочинение, я сделаю некоторые замечания на бюллетени Наполеона, изданные в Москве. Читатели сами увидят, могут ли сии официальные бумаги служить материалом для истории.

№ 19 от 16 сентября:

«Совершеннейшее безначалие царствовало в городе; пьяные колодники бегали по улицам и бросали огонь повсюду».

Замечания:

Малое число жителей, оставшихся в городе, сидели запершись дома, удержанные страхом и неизвестностью. Если во время вшествия Наполеона в Москву колодники бросали уже огонь, то для чего их не остановили?

№ 19 от 16 сентября:

«Губернатор Растопчин велел выслать всех купцов и торгующих, посредством которых можно бы было восстановить порядок».

Замечания:

Все эти люди уехали сами по себе прежде несколькими днями. Впрочем, какой порядок могли восстановить купцы в Главной квартире и во всей армии?

№ 19 от 16 сентября:

«Более четырехсот французов и немцев задержаны по его приказанию».

Замечания:

Ни один.

№ 19 от 16 сентября:

«Наконец, он велел выслать пожарную команду и трубы».

Замечания:

Я о том уже говорил: девяносто шесть труб со всей прислугой и запряжкой были отосланы во внутренность империи.

№ 19 от 16 сентября:

«Тридцать тысяч раненых или больных русских находятся в госпиталях, оставленные без помощи и пищи».

Замечания:

От шестнадцати до семнадцати тысяч были отправлены на четырех тысячах подводах накануне занятия Москвы в Коломну, откуда они поплыли Окою на больших крытых барках в Рязанскую губернию, где были учреждены госпитали. Две тысячи раненых оставалось в Москве.

№ 19 от 16 сентября:

«Русские потеряли пятьдесят тысяч человек в сражении при Москве-реке (bataille de la Moskowa). Число убитых и раненых генералов, поднятых на месте сражения, простирается до сорока пяти или пятидесяти».

Замечания:

Мы потеряли только убитыми и ранеными от тридцати пяти до тридцати шести тысяч человек, тысячу семьсот тридцать два офицера и восемнадцать генералов. Наполеон потерял убитыми и ранеными более пятидесяти тысяч человек, тысячу двести офицеров и сорок девять генералов. Мне достались

все рапорты от одного офицера, которому они были препоручены и кои находились в канцелярии князя Невшательского. Этот офицер, раненный в сражении при Бородине, находился в Голицынской больнице.

20-й бюллетень от 17 сентября:

«Нашли в доме этого негодного Растопчина (miserable Rostopschine) некоторые бумаги и одно письмо недоконченное».

Замечания:

Все эти бумаги, по большей части ничего не значащие, были отбиты казаками и не стоили труда быть ко мне опять доставленными. Я не был захвачен врасплох, еще менее удивлен вшествием неприятеля, а потому и имел бы время окончить письмо. Я выехал, не торопясь, верхом через Серпуховскую заставу и не прежде оставил городской вал, как уведомили меня, что французский авангард вошел уже в город.

20-й бюллетень от 17 сентября:

«16-го числа восстал жестокий вихрь; от трех до четырехсот мошенников бросили огонь по городу в пятистах местах в один раз по приказанию губернатора Растопчина».

Замечания:

Таким образом, сии «от трех до четырехсот мошенников», в ожидании жестокого вихря, оставались четыре дня посреди французской армии. Надобно, чтобы они были весьма искусны, чтобы бросить огонь в пятистах местах в один раз, будучи только в числе от трех до четырехсот человек. Что же касается до моего имени, то оно служит припевом к пожару, как припев Мальбрука[4] в песне.

20-й бюллетень от 17 сентября:

«Церквей, их было тысяча шестьсот».

Замечания:

Их было не более двухсот шестидесяти семи.

20-й бюллетень от 17 сентября:

«Эта потеря неисчислима для России; если оценить то в несколько тысяч миллионов, то еще не велика будет оценка».

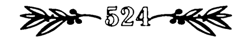
Замечания:

По исчислению, сделанному Комиссией[5], убытки, произведенные пожаром и войною как в самом городе, так и в Московской губернии, не превы-

---

[4] Мальбрук – офранцуженное имя английского полководца герцога Мальборо (1650–1722), успешно воевавшего с Францией. Французы отомстили ему насмешливой песней, которую сложили в 1709 г., получив ложное известие о его смерти. Песня стала популярной в России в период Отечественной войны 1812 г., когда образ Мальбрука, «собравшегося в поход», стал ассоциироваться с Наполеоном, проигравшим свой поход в Россию. Поэтому упоминание о Мальбруке здесь совсем не случайно.

[5] Речь, очевидно, идёт о Комиссии для рассмотрения прошений обывателей Московской столицы и губернии, потерпевших разорение от нашествия неприятельского; учреждена 18 февраля 1813 г.



шали 321 миллиона рублей; таким образом, это еще слишком далеко от нескольких тысяч миллионов.

20-й бюллетень от 17 сентября:

«Тридцать тысяч русских раненых и больных сгорели».

Замечания:

Я уже сказал, что их не более было двух тысяч, и два госпиталя, в которых они находились, также не сгорели.

20-й бюллетень от 17 сентября:

«И привели двести тысяч честных жителей в бедность; это злодеяние Растопчина, исполненное преступниками, освобожденными из тюрем».

Замечания:

По возвращении моем в Москву, после выхода неприятеля, я нашел в ней от тысячи двухсот до тысячи пятисот человек из бедного состояния народа в величайшей нужде: они были помещены по квартирам, одеты и кормлены в продолжение целого года на счет казны. Что же касается до преступников, употребленных для зажигательства, как говорит бюллетень, то они находились тогда, по крайней мере, на расстоянии пятидесяти миль от Москвы, оставивши ее за четыре дня прежде того.

20-й бюллетень от 17 сентября:

«Солдаты находили и находят множество шуб для зимы. Москва магазин оных».

Замечания:

Так, но меха привозятся по первому зимнему пути, оставалось же их очень мало, ибо ополчение Московское, Тверское, Ярославское и Владимирское купило оных на семьдесят одну тысячу рублей.

21-й бюллетень от 20 сентября:

«Триста зажигателей были схвачены и расстреляны».

Замечания:

Таким образом, это ошибка в двухстах восьмидесяти семи человеках, ибо я уже сказал, что их расстреляно было только тринадцать.

21-й бюллетень от 20 сентября:

«Прекрасный дворец Екатерины, вновь меблированный».

Замечания:

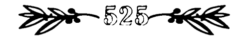
Он никогда не был меблирован: построенный на конце города, он обращен был во время императора Павла в казармы, а я поместил в нем госпиталь для раненых.

21-й бюллетень от 20 сентября:

«В то время как Растопчин вывозил пожарные трубы из города, он оставлял шестьдесят тысяч ружей, сто пятьдесят пушек и один миллион пятьсот патронов и проч.».

Замечания:

Тысяча шестьсот починенных ружей в Арсенале были отданы Московскому ополчению; что же касается до пушек, то их было девяносто четыре



шестифунтового калибра с лафетами и пороховыми ящиками. Они были отправлены в Нижний Новгород до входа неприятеля в Москву, который нашел в Арсенале только шесть разорванных пушек без лафетов и две огромнейшие гаубицы. Поелику Наполеон принужден был сам оставить в Кремле более тысячи повозок разного разбора, то и не мог он увезти русских пушек, и мы бы нашли их на прежнем месте. Большая часть сей артиллерии была в походе 1813 г. с ополчением, устроенным генералом гр. Толстым; оставался один только пороховой магазин, тот самый, в котором делали патроны для русской армии, даже в последнюю ночь перехода ее чрез Москву. Он сожжен не по такой неосторожности, по какой сожжен слишком рано мост в Лейпциге.

21-й бюллетень от 20 сентября:

«Пожар сей столицы отталкивает Россию целым веком назад».

Замечания:

Столица вновь выстроилась – доказательство, что ее жители не разорились. Она заключает в себе столько же жителей, как и прежде пожара, с тою только разницей, что все выстроено из камня. Великолепные дворцы, улицы совершенно новые и превосходные публичные площади делают ее прекраснейшим городом в Европе, благодаря попечению и отеческим заботам императора Александра; и Россия, вместо того чтоб отстать целым веком назад, узнала свои силы, свое богатство и чрезвычайные свои пособия.

21-й бюллетень от 20 сентября:

«В Кремле нашли многие украшения, употребляемые при короновании императоров, и все знамена, взятые у турков в продолжение целого столетия».

Замечания:

Украшения, употребляемые при короновании и которые составляют часть сокровищ, равномерно и Патриаршеские, ценимые в 21 миллион рублей, были отправлены прежде неприятеля в Нижний Новгород и в Вологду. Что же касается до знамен, взятых во время войн у врагов России, то они все находятся в Петербургском арсенале.

23-й бюллетень от 9 октября:

«Нашли икону, украшенную бриллиантами, ее отослали также в Париж».

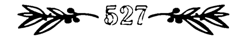
Замечания:

Обыкновенно в России украшают драгоценными каменьями иконы, содержимые в особенном почитании. Кажется, что сей трофей не достиг до Франции, равномерно как и тот огромный крест, который находился на высокой колокольне, называемой Иван Великий. Он был железный позолоченный; но немецкий путешественник Адам Олеарий, бывший в Москве во время царя Алексея Михайловича, сказывал (не знаю почему), что сей крест был весь из серебра, позолоченный. Таким образом, как лишь только увидели, что он был железный, то и оставили его.

23-й бюллетень от 9 октября:

«Кажется, что Растопчин сошел с ума».

Замечания:
Не знаю, почему Наполеон делает меня сумасшедшим.
23-й бюллетень от 9 октября:
«В Воронове он зажег свой замок».
Замечания:
Я зажег мой замок по той самой причине, которую объявил в надписи, приклеенной к церковной двери, и сделал это единственно для предупреждения приказания [Наполеона], данного одному офицеру, посланному в Вороново, который нашел один только пепел. Он рассказал это одному русскому полковнику, поднявшему его во время ретирады по переходе чрез Березину. Наполеон любил жечь; доказательством тому служит приказ, данный маршалу Мортье, чтобы позаботиться зажечь оба мои дома в Москве (Expedition de Russie, tome II, page 244). Тот, который находится близ заставы, был сожжен, но московский остался цел, ибо на другой день по выходе большой армии, Москва была уже наполнена казаками и вооруженными поселянами, пробегающими по всем ее улицам.
23-й бюллетень от 9 октября:
«Русская армия отрекается от московского пожара; производители сего покушения ненавидимы в России. Растопчина считают заодно с Маратом. Он мог утешиться в беседе с английским комиссаром Вильсоном».
Замечания:
Русская армия была уверена, что Москва сожжена неприятелем и не могла считать меня заодно с Маратом, не ведая даже, существовала ли эта великая особа революции. Мне не нужны были утешения; я страдал о потерях моих соотечественников, не думая нимало о своих собственных, и только в Главной квартире [русской армии] встретил господина Вильсона.
23-й бюллетень от 9 октября:
«Большого стоило труда вытащить из загоревшихся домов и госпиталей некоторую часть больных русских; осталось еще четыре тысячи сих несчастных. Число погибших во время пожара чрезвычайно значительно».
Замечания:
Никакого не стоило труда вытаскивать из госпиталей раненых и больных: они оставались умирать с голода, ибо раненые и больные наполеоновой армии сами голодали. Я нашел из них тысячу триста шестьдесят живых, собранных в Шереметевской больнице и ослабших от недостатка в пище; большого стоило труда спасти и вылечить из них половину.
26-й бюллетень от 23 октября:
«Жители, состоящие из двухсот тысяч душ, блуждая по лесам, умирая с голода, приходят на развалины искать каких-нибудь остатков и садовых овощей для своего пропитания».
Замечания:
Так как нечего было есть, то солдаты наполеоновой армии шатались по деревням для снискания чем утолить свой голод. И так надлежало, чтобы эти



двести тысяч русских людей могли существовать более месяца без всякой пищи.

26-й бюллетень от 23 октября:

«Император приказал сделать подкопы под Кремль. Герцог Тревизский велел оный взорвать 23-го числа в 2 часа утра. Все было разрушено: древняя крепость, первый дворец царей были...»

Замечания:

Одна колокольня, два места в стенах, две башни и четвертая часть Арсенала были взорваны. Царский дворец остался невредим, даже огонь не мог в него проникнуть. Починки стоили всего-навсего 500 000 руб. Кремль существует с древними своими воспоминаниями и еще с новым, которое Наполеон оставил, оказывая гнев свой над кирпичами при прощании с Москвой.

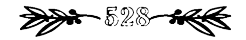
Наполеон был ослеплен предшествующими своими успехами; он думал, что Россия будет покорена вся, как лишь только сделается он обладателем столицы, и что Император Александр предложит ему мир.

Но, со всем гением, который имел до 1812 г., он сугубо обманулся и увидел все свои предприятия уничтоженными. Он не знал твердости русского императора и не имел ни малейшего понятия о русском человеке, который показал себя в сию эпоху во всем своем блеске. Надлежало быть великой опасности, чтоб сей последний раскрыл великий свой характер. Неразумение нашего языка причиною тому, что иностранцы знают из всего русского народа одну только его одежду и его вид. Борода была в презрении, и считали за диких носивших оную; но народ русский доказал, что он выше многих других народов, будучи непричастен страха и неспособен к измене; он имеет в моральной своей энергии и в физической силе уверенность в успехе. Он совсем не знает ни препятствий, ни опасности; он говорит: «Все возможно; для чего ж не так? дважды не умирают», и с сими словами он предпринимает все, падает или успевает.

Часто он делается героем, совсем не думая о том, и нимало не тщеславясь своими делами.

Когда расточают ему похвалы, то он отвечает вам: «Бог мне помог. Это не диво; я такой же человек, как и всякой другой».

В 1812 г. император Александр сказал: «Умереть сражаясь!» Русские отвечали ему: «Мы готовы». Нет никакой нужды возбуждать их обещаниями и наградами, только стоит сказать: «пойдем» – и они вам последуют. Жители Москвы были раздражены первые, узнавши еще до взятия Смоленска, что ничего не было пощажено неприятелем, что дома были разграблены, женщины поруганы, храмы Божии обращены в конюшни. Они поклялись отмщением на гробах отцов своих и истребили все, что могли. Более десяти тысяч вооруженных солдат побито крестьянами в окрестностях Москвы; сколько еще мародеров и людей безоружных пало под их ударами! Они зажигали свои дома для погубления солдат, запершихся в оных.

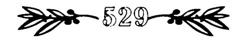


По возвращении моем в Москву я видел многих крестьян, даже из-за полтораста миль прибывших, на хороших лошадях, вооруженных каждого саблею и копьем, и которые вместе с крестьянами Московской губернии сражались против неприятеля. Вместо всякого ответа на вопрос мой, они отвечали: «Наши были в беде». Всем известна история смоленского крестьянина, который отрубил себе топором руку, заклейменную французами. Одна старая женщина из подмосковной деревни привела ко мне двух своих внуков для отправления их в армию и, положа им руки на голову, с глазами, возведенными к небу, произнесла сии слова: «Ступайте, друзья мои! возвратитесь ко мне тогда только, когда не будет неприятеля на земле Русской; в противном случае, проклятие мое вас ожидает».

Один солдат, изувеченный в Итальянскую войну и возвратившийся в свою деревню, приказывал привязывать себя к седлу своей лошади, чтоб предводительствовать крестьянами в сражениях. Один молодой крестьянин, взятый своим господином в Москву, потерял аппетит и сон по взятии Смоленска; он просил позволения сражаться с неприятелем. Я отослал его в армию, и он погиб в сражении при Бородине. Храбрость русского солдата слишком уже известна, чтоб прибегать к похвалам: его не надобно возбуждать повышениями или пенсионами; он повинуется и сражается, нимало не заботясь, представляют ли его в сражениях бюллетени, биографии, литографии и куплеты наподобие грома, лавины или головы Медузы разящим, повергающим, разметающим и в камень претворяющим при своем появлении.

Наконец, в сей краткой, но жестокой борьбе России против целой матерой земли Европы, имеющей Наполеона своим предводителем, все русские наперерыв один перед другим старались оказать свою преданность и верность. Московское дворянство предложило императору от девяти десятого человека с провиантом на три месяца, что составило тридцать две тысячи человек, губернии Тульская, Калужская, Владимирская и Рязанская – каждая по пятнадцати тысяч человек, а Тверская и Ярославская – по двенадцати тысяч, всего сто шестнадцать тысяч. Я тот самый, которому препоручено было императором устроить эти армии, и шесть недель спустя после Указа они уже находились каждая на границе своей губернии. Видели единородных детей ген. Апраксина, гр. Строгонова и моего, из которых старшему едва было семнадцать лет, находящихся на службе в продолжение сей войны. Сын гр. Строгонова, молодой человек, подававший о себе великую надежду, был убит пушечным ядром в Краонском деле. Владельцы, потерявшие наиболее при вторжении неприятеля в Москву, даже не представили от себя сведения в Комиссию вспоможения; и нимало не подвержено сомнению, что оба гр. Разумовские, ген. Апраксин, гр. Бутурлин и я, мы потеряли, как в городских и сельских домах, так и в движимости, более нежели на пять миллионов рублей. Из библиотеки гр. Бутурлина, которую ценили в миллион рублей, не осталось ни одного тома.

Воспоминание о сих потерях перейдет по наследству к детям.



Таков был 1812 год! Хотя Россия сделала большие потери в людях, но вместе с тем приобрела уверенность, что никогда не может быть покорена и скорее будет гробом для врагов, чем послужит завоеванием. Ее обитатели, слишком мало образованные для эгоистов, будут уметь защищать свое Отечество, нимало не тщеславясь своею храбростью. Наполеон в сем походе, успех которого сделал бы его обладателем всей Европы, пожертвовал отборными воинами союзных армий и храбрыми французами, сражавшимися в продолжение двенадцати лет для честолюбия того, которого вознесли они даже на трон. Триста тысяч пало в сражениях, от переходов и болезней, и сто тысяч погибло от голода, стужи и недостатка.

Я сказал правду, и одну только правду.

Париж, 5 марта 1823 г.





ПРИЛОЖЕНИЯ

СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦ ЭПОХИ 1812 ГОДА

А

Августин (Алексей Васильевич Виноградский) (1766–1819), в 1812 г. викарий Московский и епископ Дмитровский.

Акинфов, Фёдор Владимирович (1791–1848), в 1806 г. вступил в лейб-гвардии гусарский полк, в его составе участвовал в Отечественной войне 1812 г., впоследствии генерал-майор, в 1837 г. сенатор.

Александр I (1777–1825), русский император (1801–1825), внук императрицы Екатерины II, старший сын императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны.

Альмера (Alméras), Луи (1768–1828), французский дивизионный генерал, взят в плен русскими войсками в начале ноября 1812 г.

Амвросий (Андрей Иванович Подобедов) (1742–1818), с 1801 г. митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский.

Апраксин, Степан Степанович (1747–1827), генерал от кавалерии, с 1809 г. в отставке, в 1812 г. член 1-го Комитета по формированию Московской военной силы.

Аракчеев, Алексей Андреевич (1769–1834), граф, генерал от артиллерии, в 1812 г. был докладчиком Александра I по военным вопросам и одновременно членом Комитета по делам ополчений; с декабря 1812 г. находился в Главной квартире русской армии при Александре I.

Аргамаков, Александр Васильевич (1776–1833), в 1812 г. полковник, командир 1-го егерского полка Московской военной силы.

Армфельт (Армфельд, Armfelt), Густав Мориц (1757–1814), барон, генерал-лейтенант; в 1812 г. генерал-майор, финляндский генерал-губернатор.

Арсеньев, Алексей Иванович (1765–1820), в 1812 г. московский вице-губернатор, член 2-го Комитета по формированию Московской военной силы.

Арсеньев, Василий Дмитриевич (1755–1826), генерал-майор; в 1812 г. московский губернский предводитель дворянства, член 1-го Комитета по формированию Московской военной силы.

Арсеньев, Николай Михайлович (1764–1830), генерал-майор, в 1812 г. командир 7-го пехотного полка Московской военной силы.

Архаров, Иван Петрович (1744–1815), генерал от инфантерии; при императоре Павле I был московским военным губернатором; в 1812 г. член 1-го Комитета по формированию Московской военной силы.

Аршеневский, Илья Яковлевич (1755–1820), тайный советник, сенатор, казначей российских орденов, президент Мануфактур-коллегии.

Б

Багговут (Баггевут, Baggohufvudt), Карл Фёдорович (Карл Густав) (1761–1812), генерал-лейтенант, в 1812 г. командовал 2-м пехотным корпусом в составе 1-й Западной армии; убит в сражении при Тарутине 6 октября 1812 г.

Багратион, Пётр Иванович (1765–1812), князь, генерал от инфантерии; в 1812 г. главнокомандующий 2-й Западной армией; умер от раны, полученной в Бородинском сражении.

Базилевич, Антон, московский купец, в 1812 г. пожалован в коммерции советники за пожертвование в пользу государства «значущих сумм».

Балабин 2-й, Степан Фёдорович (1763–1818), в 1812 г. полковник, командир Донского казачьего полка.

Балашов (Балашёв), Александр Дмитриевич (1770–1837), генерал от инфантерии, генерал-адъютант, член Государственного совета; с 1810 по 1812 г. министр полиции; во время Отечественной войны 1812 г. член Комитета по делам ополчений, находился при Александре I и поэтому заведывание Министерством полиции было возложено на С.К. Вязмитинова.

Балк, Михаил Дмитриевич (1764–1818), генерал-лейтенант, в 1812 г. генерал-майор, командир драгунской бригады (Рижский и Санкт-Петербургский полки) в составе корпуса графа П.Х. Витгенштейна.

Бантыш-Каменский, Николай Николаевич (1737–1814), управляющий Московским архивом Государственной коллегии иностранных дел (1800–1814).

Баранов, Николай Иванович (1757–1826), тайный советник, сенатор, почётный опекун Московского опекунского совета, управляющий Московским училищем ордена Святой Екатерины.

Барклай де Толли (Барклай-де-Толли), Михаил Богданович (1761–1818), князь, генерал-фельдмаршал; в 1810–1812 гг. военный министр; в 1812 г. одновременно с 16 марта главнокомандующий 1-й Западной армией; 24 августа отстранён от должности военного министра, в сентябре по болезни отстранён от всех должностей, покинул армию и вернулся лишь в феврале 1813 г.

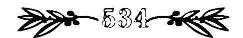
Бедряга, Егор Иванович (1773–1813), полковник; в 1812 г. майор, с августа подполковник, командир сводного гусарского полка в составе корпуса П.Х. Витгенштейна.

Беккер, Фёдор Васильевич (1804–1881), врач.

Беклешов, Николай Андреевич (1741–1822), тайный советник, сенатор.

Бельгард (Белгард), Александр Александрович (1770–1816), генерал-майор, в сентябре 1812 г. в составе Финляндского корпуса Ф.Ф. Штейнгеля действовал под Ригой, командуя отрядом из Азовского и Низовского пехотных полков.

Бенкендорф (Benckendorff), Александр Христофорович (Константин Александр Карл Вильгельм) (1783–1844), граф, генерал от кавалерии, генерал-



адъютант, шеф жандармов и начальник собственной Его Императорского Величества канцелярии; в 1812 г. полковник; в этом же году произведён в генерал-майоры; командовал арьергардом в отряде Ф.Ф. Винцингероде; после бегства наполеоновской армии из Москвы некоторое время выполнял обязанности коменданта столицы; во время контрнаступления русской армии находился в отряде П.В. Голенищева-Кутузова.

Беннигсен (Бениксон, von Bennigsen), Леонтий Леонтьевич (Левин Августин Теофил) (1745–1826), барон, позднее граф, уроженец Ганновера; в 1773–1818 гг. на русской службе; генерал от кавалерии; в 1812 г. исполняющий обязанности начальника главного штаба армий; в ноябре 1812 г. выслан из армии.

Берг, Григорий Максимович (1765–1833), генерал-лейтенант; в начале кампании 1812 г. генерал-майор, командир 5-й пехотной дивизии в составе корпуса П.Х. Витгенштейна; в 1813 г. командир 1-го пехотного корпуса.

Бернадот (Bernadotte), Жан Батист Жюль (1763–1844), маршал Франции; с 1810 г. наследный принц Швеции, с 1818 г. король Швеции и Норвегии под именем Карла XIV Иоанна.

Бертье (Berthier), Александр (1753–1815), князь Ваграмский, князь Невшательский, маршал Франции; начальник главного штаба наполеоновской армии.

Бестужев-Рюмин, Алексей Дмитриевич, надворный советник, второй член Вотчинного департамента; в 1812 г. был назначен французами помощником мэра г. Москвы в период её оккупации; после освобождения Москвы обвинялся в сотрудничестве с французами и в утрате денежной суммы Вотчинного департамента; освобождён от ответственности и взыскания утраченной суммы постановлением Государственного совета от 20 мая 1815 г.

Богарне (Beauharnais), Евгений (Эжен Роз) (1781–1824), сын первой жены Наполеона Жозефины Богарне, вице-король Итальянский, ландграф Лейхтенбергский, французский генерал; в 1812 г. командовал 4-м французским корпусом; после отъезда Наполеона из России, а вслед за ним и Мюрата, которому Наполеон передал командование, в начале января 1813 г. принял командование над остатками армии, которые и отвёл в Магдебург; после реставрации Бурбонов, будучи зятем Баварского короля, жил в Баварии.

Болотников, Алексей Ульянович (1753–1828), действительный тайный советник, гофмаршал, сенатор, член Государственного совета, управляющий Министерством юстиции; член Комиссии для суждения лиц, служивших неприятелю в 1812 г.

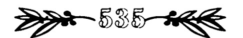
Бонами (Боннами, Bonnamy), Шарль Август (ум. в 1830 г.), французский генерал; взят в плен русскими войсками в сражении при Бородине.

Бонапарт – см. Наполеон I Бонапарт.

Бородин, Федосей, московский купец; в 1812 г. пожалован в коммерции советники за пожертвование в пользу государства «значущих сумм».

Бороздин, Николай Михайлович (1777–1830), генерал от кавалерии, генерал-адъютант; в 1812 г. генерал-майор, шеф Астраханского кирасирского полка, командир бригады 1-й кирасирской дивизии; в начале ноября назначен командиром летучего отряда, бывшего в команде В.В. Орлова-Денисова; в Вильне, заболев, сдал свой отряд генерал-майору И.И. Дибичу.

Брозин, Василий Иванович (1762–1823), генерал-лейтенант, сенатор; в 1812 г. генерал-майор, шеф Московского гарнизонного полка; после занятия Мос-



квы французами находился при Д.И. Лобанове-Ростовском для формирования новых полков.

Брокер, Адам Фомич (ок. 1762–1848), московский полицеймейстер (1812–1817), пользовался особенной доверенностью графа Ф.В. Растопчина; оставил его биографию (1826).

Брониковский (Bronikowski), Миколай (Никола) (1767–1817), граф, польский генерал, в 1812 г. командир 2-й бригады Легиона Вислы наполеоновской армии; в июне был назначен французами губернатором Минской провинции, откуда в ноябре был вытеснен русскими войсками.

Булгаков, Александр Яковлевич (1781–1863), московский почт-директор (1832–1856), сенатор; состоял при главнокомандующем в Москве графе Ф.В. Растопчине для дипломатической переписки по секретной части; исполнял эту обязанность и при преемнике графа до 1832 г.

Булгакова, Наталья Васильевна (урожд. княжна Хованская) (1785–1841), жена А.Я. Булгакова.

Быковские, Андрей и Иван, московские купцы; в июле 1812 г. вызвались на собственные средства построить (вместе с купцом Василием Назаровым) 84 артиллерийских лафета.

В

Вадбольский (Водболский), Иван Михайлович (1781–1861), князь, генерал-лейтенант; в 1812 г. полковник, командир Мариупольского гусарского полка, начальник партизанского отряда.

Вадковский, Яков Егорович (1774–1820), генерал-майор; в 1812 г. командовал бригадой 17-й пехотной дивизии (Белозерский и Вильманстрандский полки); с 1814 г. в отставке.

Валуев, Пётр Степанович (1743–1814), действительный тайный советник, сенатор, главноначальствующий экспедицией Кремлёвского строения и мастерской Оружейной палаты.

Вандам (Vandamme), Доминик Рене (1771–1830), граф, французский дивизионный генерал, в 1813 г. командир 1-го корпуса армии Наполеона, взят в плен под Кульмом.

Васильчиков, Илларион Васильевич (1777–1847), князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант; в начале Отечественной войны 1812 г. находился в арьергарде 2-й Западной армии; за сражение при Бородине, где командовал 12-й пехотной дивизией, произведён в генерал-лейтенанты; в сентябре 1812 г. назначен командиром 4-го резервного кавалерийского корпуса; в ноябре – декабре 1812 г. командовал авангардом Главной армии; привёз в Москву манифест о мире с Францией.

Верещагин, Михаил Николаевич (1789–1812), сын московского купца 2-й гильдии; летом 1812 г. был обвинён в сочинительстве двух прокламаций Наполеона, в которых возвещалось о намерении французского императора занять Москву. В момент оставления Москвы был отдан графом Ф.В. Растопчиным возбуждённой толпе для расправы.

Викто́р (Виктор-Перрен, Victor-Perrin), Клод (1764–1841), герцог Беллюнский, маршал Франции, в 1812 г. командовал 9-м корпусом, который вместе с не-

которыми другими корпусами имел назначение обеспечить сообщения армии Наполеона; позднее (1821–1823) военный министр Франции.

Вилламов, Григорий Иванович (1771–1842), действительный статский советник, статс-секретарь, член Государственного совета; с 1801 г. управляющий делами императрицы Марии Фёдоровны.

Виллерс (Willers), Фридрих, магистр философии и гуманитарных наук, секретарь Императорского общества испытателей природы, лектор французского языка и словесности при Московском университете; в период оккупации Москвы наполеоновской армией был назначен полицеймейстером города.

Виллие (Вилье, Wylie, Willie), Яков (Джеймс) Васильевич (1768–1854), баронет, действительный тайный советник; в 1812 г. главный военно-медицинский инспектор русских армий.

Винцингероде (Винценгероде), Фердинанд Фёдорович (1761–1818), барон, генерал от кавалерии, генерал-адъютант; в 1812 г. генерал-майор, в этом же году произведён в генерал-лейтенанты; командовал отдельным отрядом, прикрывавшим дорогу на Санкт-Петербург; в октябре 1812 г. захвачен французами в плен и отправлен во Францию, но по дороге отбит отрядом полковника А.И. Чернышёва.

Вистицкий 2-й, Михаил Степанович (1768–1832), генерал-майор; в 1812 г. сначала генерал-квартирмейстер 2-й Западной армии, а потом, после назначения М.И. Кутузова главнокомандующим, генерал-квартирмейстер 1-й и 2-й Западных армий; впоследствии был заменён полковником К.Ф. Толем.

Витгенштейн, Пётр Христианович (1768–1842), граф, впоследствии князь, генерал-фельдмаршал; в 1812 г. генерал-лейтенант; в октябре этого же года произведён в генералы от кавалерии; командующий 1-м отдельным корпусом, имевшим назначение прикрыть стратегическое направление на Санкт-Петербург от линии реки Западная Двина.

Вишневский, Гаврила Фёдорович, в 1812 г. надворный советник, служащий в Кремлёвской экспедиции, обвинялся в сношениях с французами; освобождён следственной комиссией.

Волкова, Мария Аполлоновна (1786–1859), фрейлина императрицы Марии Фёдоровны; являет собой яркий пример русской женщины 1812 года, о которой А.С. Пушкин сказал: «Женщины, русские женщины были тогда бесподобны» («Метель»). Её письма к В.И. Ланской – настоящий нравственный памятник эпохи 1812 г. Женщина, выдающаяся по своему уму и образованности, она так и не вышла замуж и умерла в девицах. Московский полицмейстер Александр Александрович Волков, исполнявший свою должность на протяжении 28 лет и любимый всей Москвой, приходился ей дядей.

Волконский, Сергей Григорьевич (1788–1865), князь, генерал-майор (1813), участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничного похода 1813–1814 гг., декабрист.

Волконский, Пётр Михайлович (1776–1852), князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, член Государственного совета, начальник Главного штаба Его Императорского Величества (1815–1823); в 1812 г. в чине генерал-майора находился при Александре I и после оставления русскими войсками Москвы был послан к М.И. Кутузову для выяснения обстоятельств, побудивших его «к столь несчастной решимости»; в октябре 1812 г. сформировал отряд в Витебской губернии, с кото-

рым присоединился к корпусу П.Х. Витгенштейна; с 28 декабря 1812 г. начальник Главного штаба при М.И. Кутузове.

Вольцоген (Wolzogen), Людвиг фон (1774–1845), барон, генерал-майор; в 1812 г. полковник, находился при М.Б. Барклае де Толли, неся обязанности по квартирмейстерской части.

Вороненко, Прокофий Иванович, следственный пристав московской полиции, титулярный советник и кавалер; в 1812 г. квартальный надзиратель московской полиции; в конце июля 1812 г. был откомандирован графом Ф.В. Растопчиным в штаб М.Б. Барклая де Толли, откуда доставлял в Москву сведения о положении армии; 9 сентября 1812 г. им же был послан в Санкт-Петербург для доклада императору Александру I об обстоятельствах оставления Москвы; в ноябре того же года за ревностную службу повышен в должности до следственного пристава.

Воронов, Фёдор Никитич, в 1812 г. генерал-майор артиллерии, начальник Тульского оружейного завода.

Вреде (Wrede), Карл Филипп (1767–1839), князь, фельдмаршал и генералиссимус баварских войск; в 1812 г. генерал, командующий баварским корпусом в армии Наполеона.

Вюртембергский (Виртембергский), Евгений Карл Павел Людвиг (1788–1858), принц, генерал от инфантерии; в начале Отечественной войны генерал-майор, начальник 4-й пехотной дивизии, временно командовал 3-м пехотным корпусом, в этом же году произведён в генерал-лейтенанты и в октябре 1812 г. назначен командиром 2-го пехотного корпуса.

Вяземский, Пётр Андреевич (1792–1878), князь, поэт, прозаик, литературный критик, теоретик романтического направления в русской литературе, мемуарист, переводчик, журналист, общественный и государственный деятель. Во время Отечественной войны 1812 г. вступил в ополчение. Участник Бородинского сражения.

Вязмитинов (Вязьмитинов), Сергей Козмич (Космич, Кузьмич) (1749–1819), граф, генерал от инфантерии, министр военно-сухопутных сил; в 1812 г. главнокомандующий в Санкт-Петербурге и одновременно управляющий Министерством полиции; в сентябре 1812 г. назначен председателем Комитета министров.

Г

Гагарин, Николай Сергеевич (1784–1842), князь, офицер Белорусского гусарского полка; летом 1812 г. сформировал на свои средства 1-й пехотный полк Московского ополчения, с которым участвовал в Бородинском сражении.

Гельман, в 1812 г. майор, командир Московской драгунской команды.

Гессе, Иван Христианович (1757–1816), генерал-лейтенант; в 1812 г. московский комендант; после оставления Москвы по указанию М.И. Кутузова выполнял ряд работ в тылу армии.

Гесте (Гёсте, Hastie), Вильям (Василий Иванович) (1763–1832), русский инженер и архитектор шотландского происхождения; в 1813 г. составил первый генеральный план восстановления Москвы после пожара 1812 г., который, однако, был отклонён как не соответствующий духу города.

Глинка, Сергей Николаевич (1776–1847), драматург и журналист, издатель журнала «Русский вестник».

Глинка, Фёдор Николаевич (1786–1880), поэт, писатель, публицист, автор широко известных «Писем русского офицера»; в 1812 г. адъютант М.А. Милорадовича.

Голенищев-Кутузов, Павел Васильевич (1772–1843), генерал от кавалерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, санкт-петербургский генерал-губернатор (1825–1830); в 1812 г. генерал-майор, с октября начальник отдельного отряда; за отличие в кампании 1812 г. произведён в генерал-лейтенанты.

Голицын, Александр Борисович (1792–1865), князь, в 1812 г. ординарец М.И. Кутузова, корнет лейб-гвардии Конного полка.

Голицын, Александр Николаевич (1773–1844), князь, министр духовных дел и народного просвещения, сенатор; в 1812 г. обер-прокурор Синода.

Голицын, Борис Андреевич (1766–1822), князь, генерал-лейтенант; в 1812 г. начальник Владимирского ополчения.

Голицын, Сергей Михайлович (1774–1859), князь, камергер, действительный тайный советник 1-го класса, член Государственного совета, кавалер всех российских орденов; в 1812 г. член 2-го Комитета по формированию Московской военной силы.

Головин, Николай Николаевич (1759–1821), граф, обер-шенк, сенатор, член Государственного совета, член попечительского совета «Сословия призрения разоренных от неприятеля», учреждённого в ноябре 1812 г.

Горчаков 1-й, Алексей Иванович (1769–1817), князь, генерал от инфантерии; в 1812 г. генерал-лейтенант, с 22 марта управляющий департаментами Военного министерства, с 24 августа военный министр.

Граббе, Павел Христофорович (1789–1875), граф, генерал от кавалерии, участник войн против Франции 1805–1807 и 1812–1814 гг., Кавказской войны (1817–1864), военный дипломат в Мюнхене (1810) и в Берлине (1812). В 1812 г. адъютант генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли.

Груши (Grouchy), Эммануэль де (1768–1848), маркиз, маршал Франции; в 1812 г. дивизионный генерал, командующий 3-м кавалерийским корпусом; ранен в сражении при Бородине.

Губин, Михаил Павлович (1740–1818), московский купец 1-й гильдии, именитый гражданин, коммерции советник, первостатейный купец; в его доме на улице Петровка, 25, в настоящее время размещается Московский музей современного искусства.

Гудович, Иван Васильевич (1741–1820), граф, генерал-фельдмаршал; с 1809 по май 1812 г. главнокомандующий в Москве, позднее в отставке.

Гурьев, Дмитрий Александрович (1751–1825), граф, в 1810–1823 гг. министр финансов.

Д

Даву (Davout), Луи Никола (1770–1823), князь Экмюльский, маршал Франции; в 1812 г. командующий 1-м пехотным корпусом; ранен в сражении при Бородине;

при отступлении наполеоновской армии из Москвы командовал арьергардом, но после сражения под Вязьмой был заменён Неем.

Давыдов, Денис Васильевич (1784–1839), генерал-лейтенант; знаменитый партизан, поэт и военный писатель; к началу Отечественной войны подполковник Ахтырского гусарского полка; в этом же году произведён в полковники; организатор и командир партизанского отряда.

Демидов, Николай Никитич (1773–1828), тайный советник, русский промышленник, меценат; в 1812 г. сформировал на свои средства 1-й егерский полк Московского ополчения, шефом которого был тогда же назначен.

Дери (Dery), Пьер Сезар (1768–1812), барон, французский бригадный генерал, убит в сражении при Тарутине.

Дибич 2-й, Иван Иванович (1785–1831), граф Забалканский, генерал-фельдмаршал; в 1812 г. полковник, за отличие в сражении под Полоцком произведён в генерал-майоры; командир отряда в корпусе П.Х. Витгенштейна, одновременно генерал-квартирмейстер корпуса; подписал Таурогенскую конвенцию с российской стороны.

Дмитриев, Иван Иванович (1760–1837), государственный деятель и известный поэт; член Государственного совета; в 1810–1814 гг. министр юстиции.

Дмитриев-Мамонов, Матвей Александрович (1788–1863), граф, обер-прокурор 6-го департамента Правительствующего сената; в 1812 г. на собственные средства сформировал Московский казачий полк, шефом которого был назначен с производством в генерал-майоры; принял участие в Заграничном походе русской армии 1813–1814 гг.

Дорохов, Иван Семёнович (1762–1815), генерал-лейтенант; в 1812 г. генерал-майор, за отличие в сражении при Бородине произведён в генерал-лейтенанты; после оставления Москвы был отправлен с отрядом для действий на сообщениях неприятеля сначала по Московской дороге, а затем по Калужской и Смоленской дорогам; 29 сентября руководил освобождением Вереи; тяжело раненный в сражении при Малоярославце, покинул армию.

Джорж Доу (1784–1829), английский портретист; в 1819–1828 гг. вместе с русскими помощниками А.В. Поляковым и В.А. Голике написал 332 портрета военачальников русской армии – участников кампаний 1812–1814 гг., составивших знаменитую Военную галерею Зимнего дворца.

Дохтуров (Докторов), Дмитрий Сергеевич (1756–1816), генерал от инфантерии; в 1812 г. командовал 6-м пехотным корпусом; после отступления наполеоновских войск из Москвы был послан М.И. Кутузовым из Тарутина к Малоярославцу, где преградил своим корпусом продвижение неприятеля по Калужской дороге; за успешные действия под Малоярославцем награждён орденом Святого Георгия 2-го класса.

Дружинин, надворный советник, экзекутор (то есть чиновник, ведавший хозяйственными делами учреждения, наблюдавший за порядком в канцелярии) Московского почтамта; привлекался графом Ф.В. Растопчиным по делу Верещагина.

Дружинин, Пётр Михайлович (1762–1827), адъюнкт Московского университета, директор училищ Московской губернии.

Дюронель (Durosnel), Антуан Жан Огюст Анри (1771–1849), граф, французский дивизионный генерал, комендант Москвы во время её оккупации наполеоновской армией.

Е

Евреинов, Михаил Михайлович (1788–1878), чиновник Московского архива Коллегии иностранных дел, в 1812 г. вступил поручиком в 1-й егерский полк Московского ополчения. После войны поступил на штатскую службу в Коллегию иностранных дел. Автор воспоминаний о митрополите Филарете (Дроздове).

Екатерина Павловна (1788–1819), великая княгиня, сестра Александра I, герцогиня Ольденбургская (в первом браке), королева Вюртембергская (во втором браке).

Елизавета Алексеевна (урождённая принцесса Луиза Мария Августа Баденская) (1779–1826), российская императрица, супруга императора Александра I.

Емануель (Эммануэль), Георгий Арсеньевич (1775–1837), генерал от кавалерии; в 1812 г. полковник, в этом же году произведён в чин генерал-майора, шеф Киевского драгунского полка.

Ермолов, Алексей Петрович (1772–1861), генерал от инфантерии, командир отдельного грузинского корпуса (1816–1827); в 1812 г. артиллерии генерал-майор, начальник штаба 1-й Западной армии, а после её объединения со 2-й армией – начальник штаба Главной армии; в декабре назначен начальником артиллерии всех действующих армий.

Ефремов, Иван Ефремович (1774–1843), генерал-майор; в 1812 г. полковник лейб-гвардии Казачьего полка; с конца августа командовал бригадой Донских казачьих полков, в октябре отрядом из пяти казачьих полков.

Ж

Желябужский (Желабужский), Фёдор Михайлович (1765–?), московский губернский прокурор в 1811–1814 гг.

Жером (Иероним) Бонапарт (Jérôme Bonaparte) (1784-1860), король Вестфальский, младший брат Наполеона; в 1812 г. командир 8-го вестфальского корпуса; при вторжении в Россию командовал правофланговой группировкой «великой армии», но уже в июле был отстранён от командования за неумелое руководство и, обиженный, уехал в Кассель (Германия).

Жильцов, Михаил, московский купец; в 1812 г. пожалован в коммерции советники за пожертвование в пользу государства «значущих сумм».

Жирар (Girard), Жан Батист (1775–1815), барон, французский дивизионный генерал, в 1812 г. командир 28-й дивизии в корпусе Викто́ра.

Жуковский, Василий Андреевич (1783–1852), известный русский поэт; в 1812 г. добровольцем вступил в 1-й пехотный полк Московского ополчения в звании поручика.

З

Завалишин, Дмитрий Иринархович (1804–1892), лейтенант, декабрист, член Северного общества. В 1822–1824 гг. участник кругосветного плавания М.П. Лазарева. Приговорён к вечной каторге.

И

Ивашкин, Пётр Алексеевич (1762/65–1823), генерал-майор; с 1808 по 1813 г. московский обер-полицеймейстер.

Изарн, Франсуа Жозеф де (1763–1840), французский эмигрант, поселившийся в Москве после Французской революции; принадлежал к старинному дворянскому роду; в Москве торговал разными товарами и одновременно управлял имением одного аристократического семейства; данные воспоминания были опубликованы уже после его смерти.

Измайлов, Лев Дмитриевич (1764–1834), генерал-лейтенант; в 1812 г. генерал-майор, рязанский губернский предводитель дворянства, начальник Рязанского ополчения.

Иловайский 4-й, Иван Дмитриевич (1767–1826), генерал-майор, командир Донского казачьего полка.

Иловайский 9-й, Григорий Дмитриевич (1780–1847), в 1812 г. командир ополченского Донского казачьего полка; в 1813 г. генерал-майор.

Иловайский 11-й, Тимофей Дмитриевич (1786–1812), генерал от кавалерии, командир Донского казачьего полка; смертельно ранен под Вильной в конце ноября 1812 г.

Иловайский 12-й, Василий Дмитриевич (1785 – после 1840), генерал-лейтенант; в 1812 г. полковник в отряде Ф.Ф. Винцингероде; за успешные действия в районе Москвы в сентябре 1812 г. произведён в генерал-майоры.

Ильин, Василий Фёдорович (1771–1821), генерал-майор артиллерии, в 1812 г. командующий артиллерийскими рекрутскими резервами, управляющий Московским артиллерийским депо; в 1813 г. командующий артиллерией резервной армии.

К

Каверин, Павел Никитич (ум. после 1827), сенатор; в 1812 г. калужский гражданский губернатор; 1 декабря 1812 г. ему одновременно было поручено управление Смоленской губернией, член учреждённой в Смоленске в марте 1813 г. Комиссии для суждения лиц, служивших в 1812 г. неприятелю.

Кайсаров, Паисий Сергеевич (1783–1844), генерал от инфантерии; в 1812 г. полковник, исполнял обязанности дежурного генерала при М.И. Кутузове в период командования Нарвским корпусом и Санкт-Петербургским ополчением; до сентября 1812 г. исполнял должность дежурного генерала 1-й и 2-й армий; при преследовании наполеоновской армии был командирован в распоряжение М.И. Платова.

Карпов 2-й, Аким Акимович (1763–1838), генерал-лейтенант; в 1812 г. генерал-майор Войска Донского; командовал казачьими войсками 2-й Западной армии, находясь в её арьергарде, а позднее в главном авангарде соединённых 1-й и 2-й Западных армий.

Кикин, Пётр Андреевич (1755–1834), действительный статский советник, сенатор; в 1812 г. полковник, флигель-адъютант, в этом же году произведён в генерал-майоры; исполнял обязанности дежурного генерала 1-й Западной армии.

Клапаред (Claparède), Мишель Мари (1770–1842), граф, французский дивизионный генерал, командовал Легионом Вислы в составе «молодой гвардии».

Клейнмихель, Андрей Андреевич (1758–1815), генерал-лейтенант, директор 2-го кадетского корпуса; в июне 1812 г. получил предписание сформировать резервные пехотные полки, часть которых вошла в состав русской армии уже после Бородинского сражения, другие – в Тарутинском лагере.

Ключарёв, Фёдор Петрович (1751–1822), московский почт-директор, действительный тайный советник, сенатор; видный деятель русского масонства, автор мистико-религиозных стихов.

Кнобель, Виллим Христианович (1753–?), генерал-майор артиллерии; в 1798 г. назначен управляющим Шостенским пороховым заводом, в 1812 г. руководил эвакуацией артиллерийского имущества из Москвы, до 1817 г. значился по спискам Московского артиллерийского управления.

Козодавлев, Осип Петрович (1754–1819), с 1811 г. министр внутренних дел.

Кологривов, Андрей Семёнович (1775–1825), генерал от кавалерии; с октября 1812 г. ведал формированием кавалерийских резервных частей.

Комаровский, Евграф Федотович (1769–1843), граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, с 1811 г. инспектор Внутренней стражи; в 1812 г. ему было поручено заняться сбором лошадей и рекрут в юго-западных губерниях России.

Корбелецкий, Фёдор Иванович (1775 или 1776–1837), чиновник Министерства финансов; 19 августа 1812 г. был послан из Петербурга в Москву и Калугу для устранения замешательств в управлении финансами; 29 августа на возвратном пути попал в руки французов, которые, сочтя его важной особой, представили в главную квартиру Наполеона, где он был удержан «под крепчайшим караулом». 23 сентября был освобождён из-под стражи и 2 октября вернулся в Санкт-Петербург.

Корф, Фёдор Карлович (1774–1823), барон, генерал-лейтенант, генерал-адъютант; в 1812 г. генерал-майор, командующий 2-м резервным кавалерийским корпусом в составе 1-й Западной армии; за отличие в сражении при Бородине произведён в генерал-лейтенанты.

Кочубей, Виктор Павлович (1768–1834), граф, позднее князь, в 1812 г. председатель департамента экономии Государственного совета, член попечительского совета «Сословия призрения разоренных от неприятеля», учреждённого в ноябре 1812 г.

Крестовников, Козьма, переяславский купец; в 1812 г. пожалован в коммерции советники за пожертвование в пользу государства «значущих сумм».

Кудашев, Николай Данилович (1784–1813), князь, генерал-майор; в 1812 г. адъютант великого князя Константина Павловича, полковник, начальник партизанского отряда; в этом же году произведён в генерал-майоры; зять М.И. Кутузова; погиб в сражении под Лейпцигом.

Кульнев, Яков Петрович (1763–1812), генерал-майор; прославился в Русско-шведскую войну 1808–1809 гг.; в 1812 г. шеф Гродненского гусарского полка, командир авангарда 1-го корпуса П.Х. Витгенштейна. После сражения при Клястицах увлёкся преследованием противника и наткнулся на его превосходящие силы; в произошедшем при Боярщине бою получил смертельное ранение.

Куманин, Алексей Алексеевич (1752–1818), коммерции советник; московский городской голова; в 1812 г. член 1-го Комитета по формированию Московской военной силы.

Куракин, Алексей Борисович (1759–1829), князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса, занимал ряд важных

государственных постов при Павле I и Александре I, член Государственного совета, канцлер российских орденов.

Курин, Герасим Матвеевич, крестьянин села Павлово, Богородского уезда, Московской губернии; руководитель одного из крупнейших партизанских отрядов, созданного им после занятия Москвы наполеоновскими войсками; за подвиги в Отечественной войне был награждён знаком отличия Военного Ордена.

Кутайсов, Александр Иванович (1784–1812), граф, генерал-майор, начальник артиллерии 1-й Западной армии; убит в Бородинском сражении.

Кутейников, Дмитрий Ефимович (1766/69–1844/45), генерал от кавалерии; в 1812 г. генерал-майор, командир бригады в корпусе атамана М.И. Платова.

Кутузов (Голенищев-Кутузов-Смоленский), Михаил Илларионович (1745–1813), светлейший князь, генерал-фельдмаршал, великий русский полководец; в 1812 г. возглавил русскую армию в самый критический момент Отечественной войны; дал генеральное сражение Наполеону при Бородине, в котором в значительной степени обессилил противника; уступкой Москвы и скрытным переводом русской армии на Калужскую дорогу овладел стратегической инициативой; затем тактикой «малой войны», рядом успешных сражений (Тарутино, Малоярославец, Вязьма, Красный, Березина) и, наконец, неутомимым преследованием убегающего противника до самых границ России совершенно истребил наполеоновскую армию; удостоился звания Спасителя России.

Кутузов (Голенищев-Кутузов), Павел Иванович (1767–1829), тайный советник, сенатор, куратор, а затем попечитель Московского университета.

Кутузова (Голенищева-Кутузова), Екатерина Ильинична (1743–1824), урождённая Бибикова, жена М.И. Кутузова.

Л

Лажечников, Иван Иванович (1792–1869), писатель, автор исторических повестей и романов. В Отечественную войну 1812 г. поступил в Московское ополчение и через несколько дней был переведён в Московский гренадерский полк, участвовал в деле при Бриене и взятии Парижа. Выпустил книгу «Походные записки русского офицера» и «Новобранец 1812 года».

Ламберт, Карл Осипович (1772–1843), граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант; в 1812 г. генерал-майор, командир кавалерийского корпуса в составе 3-й армии А.П. Тормасова; в начале ноября 1812 г. разбил корпус польского генерала Домбровского.

Ланская, Варвара Ивановна (1794–1845), урождённая княжна Одоевская, в 1825 г. вышла замуж за графа С.С. Ланского, впоследствии члена Государственного совета и министра внутренних дел (1855–1861).

Ланской, Василий Сергеевич (1754–1831), министр внутренних дел, сенатор, действительный тайный советник; в 1812 г. главноуправляющий по части продовольствия армий; в 1813 г. президент временного правительства в губерниях, составляющих Варшавское герцогство.

Лаптев, Василий Данилович (1758–1825), генерал-лейтенант; в 1812 г. генерал-майор, командир 8-го пехотного полка Московской военной силы; после Боро-

динского сражения командир 13-й пехотной дивизии; в 1813 г. командовал 21-й и 24-й пехотными дивизиями.

Лауэр (Lauer), Жан (1758–1816), граф, французский бригадный генерал; в 1812 г. генерал-аудитор наполеоновской армии, в период оккупации Москвы главный судья, председатель военной комиссии, судившей «поджигателей».

Левашев, Павел Дмитриевич (†1835), директор Синодальной типографии. Высочайшим указом от 20 ноября 1812 г. «за сбережение казённого интереса во время вторжения неприятеля в Москву» Всемилостивейше пожалован в коллежские асессоры.

Лёвенштерн, Владимир Иванович (1777–1858), барон, генерал-майор; в 1812 г. майор, адъютант М.Б. Барклая де Толли, позже состоял при Главной квартире М.И. Кутузова.

Левицкий, Михаил Иванович (1764–1841), генерал-лейтенант; в 1812 г. генерал-майор, шеф 36-го егерского полка, генерал-полицеймейстер 1-й и 2-й Западных армий.

Ледрю (Ledru), Франсуа (1765–1844), барон, французский дивизионный генерал, в 1812 г. начальник 10-й дивизии в составе 3-го корпуса маршала Нея.

Леппих, Франц, известен также под псевдонимом Генрих Шмит (род. в 1775 в Людесгейме), выдавал себя за изобретателя аэростата, то есть управляемого воздушного шара; в марте 1812 г. через русского посланника при Вюртембергском дворе Д.М. Алопеуса предложил своё «изобретение» Александру I и был вызван в Россию.

Лессепс (Lesseps), Жан Батист Бартелеми (1766–1834), французский дипломат; в 1812 г. после оставления русской армией Москвы был назначен «интендантом или управляющим городом и провинцией Московскою»; покинул Москву вместе с наполеоновской армией.

Лефевр (Lefebvre), Мари Ксавье Жозеф (1785–1812), французский бригадный генерал, сын маршала Лефевра; взят в плен русскими войсками при занятии Вильны.

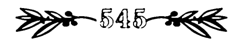
Лефевр-Денуэтт (Lefebvre-Desnouettes), Шарль (1773–1822), граф, французский дивизионный генерал, участник похода в Россию.

Лобанов-Ростовский (Лобанов), Дмитрий Иванович (1758–1838), князь, генерал от инфантерии, министр юстиции; в 1812 г. ведал формированием резервных частей; сформировал 12 пехотных полков.

Лодер, Христиан Иванович (1753–1832), доктор медицины, профессор анатомии и хирургии Московского университета, тайный советник, лейб-медик Его Императорского Величества. В 1812 г. ему было поручено устроить военные госпитали на 6000 офицеров и 31 тыс. нижних чинов. В 1813 г. Лодер производил следствие против комиссариатского и медицинского отделения большого военного госпиталя в Москве и по окончании его заведовал госпиталем до 1817 г. По плану Лодера был выстроен в Москве анатомический театр, где он ежедневно читал лекции по анатомии.

Лопухин, Пётр Андреевич (1767 – после 1814), генерал-майор, генерал-адъютант; в 1812 г. шеф 6-го пехотного полка Московской военной силы.

Лопухин, Пётр Васильевич (1775–1827), князь, действительный тайный советник, председатель Государственного совета и Комитета министров (с 1814); в 1803–1810 гг. министр юстиции; в 1812 г. председатель Департамента законов Государственного совета.



Лористон (Lauriston), Жак Александр Бернар (1768–1828), маршал Франции; в 1811–1812 гг. французский посол в России; в начале августа 1812 г. присоединился к французской армии; после занятия французами Москвы ему было поручено вести с М.И. Кутузовым переговоры о мире.

Лунин, Александр Михайлович (1745–1816), действительный тайный советник, сенатор, почётный опекун и председательствующий в Московском опекунском совете.

Лухшанов, Дмитрий, московский купец; в 1812 г. пожалован в коммерции советники за пожертвование в пользу государства «значущих сумм».

М

Макдональд (Магдональд, Macdonald), Этьен Жак Жозеф Александр (1765–1840), маршал и пэр Франции; в 1812 г. командовал 10-м корпусом, пытался овладеть Ригой, но не решился на атаку города и всю кампанию пробыл в его окрестностях; присоединился к главной французской армии во время её отступления из России.

Маре (Maret), Юг Бернар (1763–1839), герцог Боссано, министр иностранных дел Франции (1811–1813), госсекретарь, принимал участие в кампании 1812 г.

Мария Фёдоровна (урождённая София Доротея Августа Луиза, принцесса Вюртембергская) (1759–1828), супруга великого князя Павла Петровича (с 1776), императрица (с 1796), с 1801 г. вдовствующая императрица; мать императора Александра I.

Меллер-Закомельский (Меллер), Пётр Иванович (1755–1823), барон, генерал от артиллерии, военный министр (с 1819); в 1807–1819 гг. инспектор всей артиллерии; в 1812 г. генерал-лейтенант, в августе 1812 г. назначен начальником ополчения 2-го округа, в состав которого вошли Санкт-Петербургское и Новгородское ополчения.

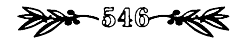
Меттерних (Меттерних-Виннебург, Metternich-Winneburg), Клеменс Венцель Лотар (1773–1859), князь, австрийский государственный деятель и дипломат; в 1809–1821 гг. министр иностранных дел Австрии, в 1821–1848 гг. канцлер, один из организаторов Священного союза. В период Венского конгресса 1814–1815 гг. подписал в январе 1815 г. секретный договор с представителями Великобритании и Франции против России.

Мешков, губернский секретарь, обвинялся в том, что переписал и передал другим «речь Наполеона князьям Рейнского союза» и «Письмо королю Прусскому»; прощён.

Мийо (Мильо, Milhaud), Эдуар Жан Батист (1766–1833), граф, французский дивизионный генерал; в 1812 г. состоял при главном штабе наполеоновской армии; 5 (17) сентября сменил генерала Дюронеля на посту коменданта Москвы.

Миклашевский, Михаил Павлович (1756–1847), сенатор, осенью 1812 г. исполнял повеление императора Александра I по вывозу из Твери собранных там значительных запасов продовольствия.

Миллер, Андрей Логгинович (род. в 1744), генерал-майор; в 1812 г. начальник внутренней стражи 1-го округа; в августе 1812 г. сформировал в Москве 12-й и 13-й и в Подольске 14-й пехотные полки; в сентябре продолжал формирование полков в Ярославле.



Милорадович, Михаил Андреевич (1771–1825), граф, генерал от инфантерии, петербургский военный губернатор; летом 1812 г. формировал резервные полки в районе Калуги, с которыми 18 августа присоединился к армии; был назначен М.И. Кутузовым командующим 2-м и 4-м корпусами 1-й Западной армии; при Бородине командовал правым крылом соединённых армий; 28 августа был назначен командующим 2-й Западной армии и одновременно начальником арьергарда армий, который при отступлении французов превратился в авангард.

Мишо, Александр Францевич (1774–1841), **граф де Боретур (de Beauretour)**, генерал-лейтенант, генерал-адъютант; в 1812 г. полковник; был послан М.И. Кутузовым к Александру I с вестью о сдаче Москвы, а потом с донесением о победе при Тарутине.

Модерах, Карл Фёдорович (1747–1819), сенатор, член Комиссии для суждения лиц, служивших неприятелю в 1812 г. в Москве и Смоленске.

Монбрен (Монбрюн, Montbrun), Луи Пьер (1770–1812), граф, французский генерал; командовал 2-м резервным кавалерийским корпусом, убит в Бородинском сражении.

Морков (Марков), Ираклий Иванович (1750–1829), граф, генерал-лейтенант; в 1812 г. начальник Московского ополчения.

Моро (Moreau), Жан Виктор (1763–1813), французский дивизионный генерал; в 1804 г. был обвинён Наполеоном в заговоре против правительства и подвергнут остракизму; проживал в Северной Америке, откуда в 1813 г. был приглашён императором Александром I в качестве военного советника; смертельно ранен в сражении при Дрездене.

Мортье (Mortier), Эдуард (Эдуар) Адольф Казимир (1768–1835), герцог Тревизский, маршал Франции; в 1812 г. командир «молодой гвардии». При занятии Москвы Наполеон назначил его генерал-губернатором города. После ухода наполеоновских войск из Москвы взорвал Кремль. Погиб от взрыва бомбы при покушении на короля Луи Филиппа.

Мюрат (Murat), Иоахим Наполеон (1771–1815), король Неаполитанский, маршал Франции; в 1812 г. командующий 28-тысячным резервным кавалерийским корпусом; после бегства Наполеона из России принял командование над французской армией и довёл её до Эльбинга.

Н

Назарьев, Егор Николаевич, надворный советник, старший преподаватель Московской губернской гимназии.

Наполеон I Бонапарт (Napoléon Bonaparte) (1769–1821), в 1804–1815 гг. император Франции.

Нарышкин, Александр Львович (1760–1826), директор императорских театров, обер-гофмаршал.

Нарышкин, Лев Александрович (1787–1846), ротмистр Изюмского гусарского полка, адъютант Ф.Ф. Винцингероде, с которым вместе был взят в плен в Москве 10 октября 1812 г. и с которым вместе был освобождён полковником А.И. Чернышёвым. Участвовал в кампании 1813 г., после Лейпцигского сражения генерал-майор.

Нарышкина, Анна Никитична (1730–1820), помещица, владелица села Тарутино, Боровского уезда, Калужской губернии, близ которого произошло знаменитое сражение, завершившееся разгромом авангарда наполеоновской армии.

Находкин (Нахотин), Пётр Иванович, московский купец 1-й гильдии, возглавил так называемый «московский муниципалитет» в период оккупации Москвы наполеоновской армией; освобождён от суда и следствия в силу Манифеста от 30 августа 1814 г.

Неверовский, Дмитрий Петрович (1771–1813), генерал-лейтенант; в 1812 г. в чине генерал-майора сформировал 27-ю пехотную дивизию, которой командовал в продолжение всей Отечественной войны; смертельно ранен в Битве народов под Лейпцигом.

Ней (Ney), Мишель (1769–1815), герцог Эльхингенский, маршал Франции; в 1812 г. командующий 3-м пехотным корпусом.

Новосильский, Григорий, коллежский секретарь, состоял при Московском митрополите Платоне, автор «Путешествия митрополита Платона в Киев»; за сбережение сокровищ Троице-Сергиевой лавры в 1812 г. награждён орденом Св. Владимира 4-й степени.

Нордберий, Иван, коллежский советник, аптекарь, финляндский уроженец.

Норов, Авраам Сергеевич (1795–1869), литератор, министр народного просвещения (1853–1856), член Государственного совета (1854). Учился в Благородном пансионе при Московском университете. С началом Отечественной войны 1812 г. оставил учёбу и поступил юнкером в гвардейскую артиллерию; участвовал в сражении при Бородине, где был ранен и потерял ногу.

О

Обольянинов, Пётр Хрисанфович (1752–1841), генерал от инфантерии, генерал-прокурор (1800–1801), московский предводитель дворянства (1816–1832); в 1812 г. член 1-го Комитета по формированию Московской военной силы.

Обресков (Обрезков), Николай Васильевич (1764–1821), генерал-майор, тайный советник, сенатор; московский гражданский губернатор (1810–1813); в 1812 г. член 1-го Комитета по формированию Московской военной силы, командир 4-го пехотного полка Московского ополчения.

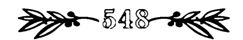
Оденталь, Иван Петрович (1776 – ок. 1813), чиновник Петербургского почтамта.

Одоевский, Иван Сергеевич (1769–1839), князь, генерал-майор, в 1812 г. шеф 2-го пехотного полка Московской военной силы.

Ожаровский, Адам Петрович (1776–1855), граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант; член Государственного совета Царства Польского; в 1812 г. генерал-майор; в октябре был назначен начальником отдельного партизанского отряда.

Ольденбургский, Георгий Петрович (1784–1812), принц, генерал-губернатор тверской, ярославский и новгородский, главный директор путей сообщения; супруг великой княгини Екатерины Павловны.

Оппель, Христофор Фёдорович (†1835), действительный статский советник, доктор медицины, с 1803 г. главный врач Мариинской больницы для бедных. В Отечественную войну 1812 г. главный лекарь Воспитательного дома.



Орлов-Денисов, Василий Васильевич (1775–1843), граф, генерал от кавалерии, генерал-адъютант; в 1812 г. генерал-майор, командир лейб-гвардии Казачьего полка.

Орлов, Михаил Фёдорович (1788–1842), генерал-майор; в 1812 г. поручик Кавалергардского полка; в сентябре 1812 г. произведён в чин флигель-адъютанта и назначен в отряд И.С. Дорохова, в котором выполнял должность квартирмейстерского офицера; в ноябре 1812 г. за установление связи Главной квартиры с армией П.В. Чичагова произведён в ротмистры; в 1814 г. заключил капитуляцию о сдаче Парижа.

Остерман-Толстой (Остерман, Толстой), Александр Иванович (1770–1857), граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант; в 1812 г. генерал-лейтенант, командир 4-го пехотного корпуса.

П

Пален 3-й, Пётр Петрович фон дер (1778–1864), граф, генерал-адъютант и генерал от кавалерии; в 1812 г. командир 3-го резервного кавалерийского корпуса в составе 1-й Западной армии. После Смоленского сражения по болезни оставил армию и присоединился к ней только к концу года.

Панин, Никита Петрович (1770–1837), граф, действительный тайный советник, дипломат, вице-канцлер и министр иностранных дел при Павле I и в начале царствования Александра I.

Партуно (Partouneaux, Partounaud), Луи (1769–1833), граф, французский генерал, в 1812 г. командовал дивизией в корпусе маршала Викто́ра; взят в плен русскими войсками при Борисове.

Пеллетье (Pelletier), Жан Батист (1777–1862), французский бригадный генерал, взят в плен в сражении при Вязьме.

Пестель, Иван Борисович (1765–1843), тайный советник, сенатор, член Государственного совета, в царствование Александра I генерал-губернатор Восточной Сибири.

Пичугин, Пётр Михайлович (1763/64 –?), генерал-майор артиллерии, состоял при Московском артиллерийском депо и ещё управлял им в 1830 г.

Платов, Матвей Иванович (1751–1818), граф, генерал от кавалерии, войсковой атаман Войска Донского; в 1812 г. командир казачьего корпуса.

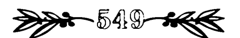
Платон (Лёвшин, Пётр Егорович) (1732–1812), митрополит Московский.

Поздеев, Осип Алексеевич (1742–1820), отставной полковник, известный масон, проживал в селе Чистяково в 50 верстах от Москвы, откуда уехал при нашествии французов.

Позняков (Рожков), Иван Гаврилович, московский купец, находившийся на службе у оккупантов в 1812 г.; после освобождения Москвы обвинялся в присвоении чужих товаров из Гостиного двора и в сотрудничестве с неприятелем; прощён в силу Манифеста от 30 августа 1814 г.

Позняков, Пётр Андреевич (Андреянович), отставной генерал-майор, кавалер; в его доме на углу Никитской улицы и Леонтьевского переулка был устроен театр в период оккупации Москвы и после её освобождения.

Поливанов, Иван Петрович (1773–1848), тайный советник, сенатор, почётный член Оружейной палаты, директор Строительной комиссии в Москве; в 1812 г.



непременный член Оружейной палаты, руководил вывозом её сокровищ в Нижний Новгород.

Понятовский (Poniatowski), Иосиф (Юзеф) Антон (Антоний) (1762–1813), князь, военный министр герцогства Варшавского; в 1812 г. командующий 5-м (польским) корпусом в составе армии Наполеона; погиб в 1813 г. в сражении под Лейпцигом.

Поспелов, Иван, титулярный советник, в период оккупации Москвы наполеоновской армией был назначен помощником комиссара полиции.

Прендель, Виктор Антонович (1766–1852), в 1812 г. подполковник, находился в составе Харьковского драгунского полка.

Пущин, Николай Николаевич (1792–1848), прапорщик лейб-гвардии Семёновского полка.

Р

Разумовский, Алексей Кириллович (1748–1820), граф, министр народного просвещения (1810–1816).

Растопчин (Ростопчин), Фёдор Васильевич (1763–1826), граф, генерал от инфантерии; военный губернатор и главнокомандующий в Москве в 1812–1814 гг.; с июля 1812 г. одновременно командующий 1-м округом ополчения.

Рожнецкий (Роснецкий, Rożniecki), Александр, польский генерал; в 1812 г. командир дивизии в составе 5-го корпуса Понятовского; разбит казаками М.И. Платова при местечке Мир 28 июня 1812 г.; взят в плен под Лейпцигом.

Румянцев, Николай Петрович (1754–1826), граф, русский государственный деятель, дипломат; в 1807–1814 гг. министр иностранных дел; в 1810–1812 гг. председатель Государственного совета. Меценат, коллекционер, основатель Румянцевского музея.

Рунич, Аркадий Павлович (1785 – после 1841), коллежский советник; в 1809–1815 гг. правитель Канцелярии у графа Ф.В. Растопчина.

Рунич, Дмитрий Павлович (1778–1860), действительный статский советник, попечитель Санкт-Петербургского учебного округа; в 1812 г. статский советник, помощник Московского почт-директора.

Рунич, Павел Степанович (1747–1825), тайный советник, сенатор.

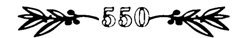
Руновский, Андрей Максимович (1761–1813), действительный статский советник; в 1803–1813 гг. нижегородский гражданский губернатор.

С

Салтыков, Александр Николаевич (1775–1837), князь, член Государственного совета; в 1812 г. управлял Коллегией и Министерством иностранных дел в связи с болезнью графа Н.П. Румянцева.

Салтыков, Николай Иванович (1736–1816), граф, позднее князь, генерал-фельдмаршал, с 1812 г. председатель Комитета министров и Государственного совета.

Салтыков, Пётр Иванович (1784–1813), граф, в 1812 г. отставной гвардии ротмистр, затем полковник, сформировал на свои средства Московский гусарский полк.



Сансон (Sanson), Никола Антуан (1756–1824), граф, французский генерал, помощник Бертье и начальник топографического депо французского Генерального штаба; в 1812 г. исполнял обязанности начальника штаба 4-го корпуса под командованием Евгения Богарне, взят в плен русскими войсками при Духовщине 23 октября 1812 г.

Санти, Александр Францевич (1757–1831), граф, обер-прокурор; в 1812 г. шеф 5-го пехотного полка Московской военной силы.

Свечин, Михаил Михайлович, в 1812 г. генерал-майор, шеф 3-го пехотного полка Московской военной силы.

Себастиани де ла Порта (Sebastiani de la Porta), Орас (1775–1851), граф, маршал Франции; в 1806–1809 гг. французский посол в Турции; в 1812 г. командовал 2-й кирасирской дивизией.

Сен-Женьес (Сен-Женье, Сен-Жени, Saint-Geniès), Жан Мари Ноэль (1776–1836), барон, французский бригадный генерал, взят в плен отрядом генерал-майора Я.П. Кульнева в бою при Друе – первый плененный французский генерал в Отечественной войне 1812 г.

Сен-При (Сент-Приест, Saint-Priest), Эммануил Францевич (1776–1814), граф, генерал-лейтенант, генерал-адъютант; в 1812 г. генерал-майор, начальник штаба 2-й Западной армии; в Бородинском сражении был сильно контужен и вернулся в армию только в октябре 1812 г.; вместе с отрядом П.В. Голенищева-Кутузова в конце октября присоединился к корпусу П.Х. Витгенштейна.

Сен-Сир (Гувьон Сен-Сир, Gouvion Saint-Cyr), Лоран (1764–1830), маршал Франции; в 1812 г. командовал 6-м корпусом (из баварских войск); после ранения маршала Удино вступил также в командование 2-м корпусом.

Сеславин, Александр Никитич (1780–1858), генерал-лейтенант, знаменитый партизан Отечественной войны; в 1812 г. капитан лейб-гвардии конной артиллерии, начальник партизанского отряда; за победу под Ляховом 28 октября 1812 г. произведён в полковники.

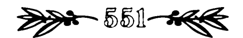
Скобеев, Иоанн Никифорович, священник Рождественского собора г. Вереи; 28 сентября 1812 г., мобилизовав горожан, оказал активное содействие генералу И.С. Дорохову в освобождении города от французских оккупантов; награждён наперсным крестом.

Снегирёв, Иван Михайлович (1792/3–1868), профессор и сын профессора Московского университета, известный этнограф и археолог, знаток московских древностей; составитель подробнейшего описания монастырей и церквей Москвы, автор работ по истории московского быта, исследований русской народной словесности. Член-корреспондент РАН (1854).

Сперанский, Михаил Михайлович (1772–1839), граф, государственный секретарь; с 1808 г. ближайший советник императора Александра I, автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного совета (1810); в марте 1812 г. в результате интриг его противников сослан в Нижний Новгород, затем в Пермь.

Спиридов, Григорий Григорьевич (1758–1822), в 1812 г., после ухода наполеоновской армии из Москвы, сначала комендант города, а затем, после отставки по состоянию здоровья Н.В. Обрескова, московский гражданский губернатор; оставил службу после отставки графа Ф.В. Растопчина.

Стакельберг (Штакельберг), Густав Оттонович (1766–1850), граф, посланник России в Австрии в 1810–1818 гг.



Сталь (Staël, по мужу Сталь-Гольштейн, Staël-Holstein), Анна Луиза Жермена де (1766–1817), баронесса, французская писательница; в 1812 г. проездом была в Москве, «спасаясь от преследования Наполеона».

Строганов, Павел Александрович (1774–1817), граф, в 1812 г. генерал-майор, командир 1-й гренадерской дивизии в составе 3-го пехотного корпуса, за отличие в сражении при Бородине произведён в генерал-лейтенанты; позднее командовал 3-м пехотным корпусом; после боёв под Красным по болезни уехал из армии и вернулся к войскам в 1813 г.

Супонев, Авдей Николаевич (1770–1819), генерал-майор, действительный статский советник; в 1812–1817 гг. владимирский гражданский губернатор.

Т

Талызин 1-й, Фёдор Иванович (1764–1848), генерал-лейтенант; в 1812 г. генерал-майор, командир 3-го егерского полка Московской военной силы.

Талызин 2-й, Александр Иванович (1777–1847), в 1812 г. генерал-майор, командир 2-го егерского полка Московской военной силы.

Тархов, Алексей Семёнович, надворный советник, комиссар Московского архива Государственной коллегии иностранных дел.

Татищев, Александр Иванович (1762–1833), граф, генерал от инфантерии, военный министр (1823–1827), председатель следственной комиссии по делу декабристов; в 1808–1823 гг. генерал-кригс-комиссар; в 1812 г. генерал-лейтенант.

Толстая, Прасковья Михайловна (1774–1844), дочь М.И. Кутузова.

Толстой, Николай Александрович (1765–1816), граф, действительный тайный советник, обер-гофмаршал, президент Придворной конторы, член попечительского совета «Сословия призрения разоренных от неприятеля», учреждённого в ноябре 1812 г.

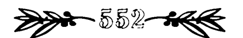
Толстой, Матвей Фёдорович (1772–1815), тайный советник, сенатор; зять М.И. Кутузова.

Толстой, Пётр Андреевич (1761–1844), граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант; в 1812 г. генерал-лейтенант, командующий резервными войсками в приволжских губерниях, начальник Нижегородского ополчения.

Толь, Карл Фёдорович (1777–1842), граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант; в 1812 г. полковник, в начале кампании 1812 г. исполнял должность генерал-квартирмейстера 1-й Западной армии; после назначения М.И. Кутузова главнокомандующим всеми армиями находился при его штабе, позднее генерал-квартирмейстер Главной армии; 29 ноября 1812 г. произведён в генерал-майоры.

Тормасов, Александр Петрович (1752–1819), граф, генерал от кавалерии, главнокомандующий в Грузии и войсками на Кавказской линии (1808–1812); в 1812 г. назначен главнокомандующим 3-й резервной армией; в сентябре вызван в Главную квартиру, где ему было поручено внутреннее устройство и организация войсковых частей.

Торубаев (младший), Иван Викулич, купец 1-й гильдии, с 1810 по 1814 г. калужский городской голова.



Трубецкой, Василий Сергеевич (1776–1841), князь, генерал от кавалерии, член Государственного совета, сенатор; в 1812 г. генерал-адъютант, находился при императоре Александре I.

Тургенев, Александр Иванович (1785–1846), тайный советник, директор Департамента духовных дел, секретарь комитета Санкт-Петербургского библейского общества, помощник статс-секретаря, археограф, историк, писатель; друг В.А. Жуковского.

Тутолмин, Иван Акинфиевич (1752–1815), генерал-майор, действительный тайный советник, в 1812 г. статский советник, начальник (главный надзиратель) Воспитательного дома в Москве.

У

Удино (Одино, Oudinot), Никола Шарль (1767–1847), маршал Франции; в 1812 г. командовал 2-м пехотным корпусом, действовавшим на Санкт-Петербургском направлении против корпуса П.Х. Витгенштейна; прикрывал переправу Наполеона через Березину.

Усачёвы, Василий и Пётр, московские купцы 2-й гильдии, пожертвовавшие 40 тысяч рублей на военные нужды ещё прежде обращения императора Александра I к Москве.

Ф

Ферстер, Егор Христианович (1756–1826), инженер-генерал-лейтенант; в 1812 г. инженер-генерал-майор, начальник инженеров 2-й Западной армии; в ноябре 1812 г. ему были поручены минёрные и пионерные роты.

Ферье (Фериер, Ferrière), Грасьен (1771–1848), французский бригадный генерал, начальник штаба маршала Мюрата, взят в плен русскими войсками в сентябре 1812 г.

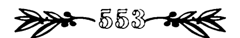
Фигнер, Александр Самойлович (1787–1813), знаменитый партизан Отечественной войны 1812 г., полковник; в 1812 г. штабс-капитан, командир 3-й лёгкой роты 11-й артиллерийской бригады; в сентябре 1812 г. возглавил партизанский отряд; за успешные действия в ноябре 1812 г. произведён в подполковники; погиб в Саксонии в 1813 г.

Х

Харузин, Егор Андреевич (1802 – не ранее 1875), выходец из богатой купеческой семьи, предок которой – астраханский князь Мурза Абдрахман Хорудза – обосновался на Руси ещё во времена Ивана Грозного.

Хитрово, Елизавета Михайловна (1783–1839), дочь М.И. Кутузова; в первом браке Тизенгаузен.

Хитрово, Николай Фёдорович (1771–1819), генерал-майор; с 1815 г. русский поверенный в делах во Флоренции; зять М.И. Кутузова (муж Елизаветы Михайловны).



Ц

Цицианов, Михаил Дмитриевич (1765/67–1841), князь, тайный советник, сенатор; в 1813 г. назначен директором Комиссии для строений в Москве.

Ч

Чеботарёв, Харитон Андреевич (1746–1815), ординарный профессор истории, нравоучения и красноречия, первый ректор Московского университета, статский советник; второй великий надзиратель в Московской масонской ложе.

Чекалевский, Яков Михайлович, в 1812 г. полковник, командир Московского гарнизонного полка.

Чернозубов 4-й, Илья Фёдорович (1763–1821), генерал-майор; в 1812 г. полковник, командир Донского казачьего полка.

Чернозубов 8-й, Михаил Григорьевич (1777–1815), в 1812 г. подполковник, командир Донского казачьего полка в отряде Ф.Ф. Винцингероде, с декабря в отряде генерал-майора И.И. Дибича 2-го.

Чернышёв, Александр Иванович (1785–1857), князь, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, военный министр; в начале Отечественной войны 1812 г. полковник, флигель-адъютант; в конце ноября произведён в генерал-майоры с назначением генерал-адъютантом; с сентября 1812 г. командовал легкоконным отрядом в армии П.В. Чичагова.

Чесменский, Александр Алексеевич (1763–?), генерал-майор, почётный член Филотехнического общества; в 1812 г. сопровождал обоз с принадлежностями для аэростата Леппиха из Москвы в Нижний Новгород.

Четвертаков, или Четвертак, Ермолай Васильевич (1781–?), крестьянин села Нефёдовка, Новгород-Северского уезда; с 1804 г. служил рядовым в Киевском драгунском полку; участвовал в кампаниях 1805–1807 и 1809 гг.; в августе 1812 г. находился в арьергарде П.П. Коновницына; взят в плен при Царёво Займище, но вскоре бежал из плена и организовал крестьянский партизанский отряд, который успешно действовал против наполеоновских войск; в конце 1812 г. был направлен к генералу А.С. Кологривову и в 1813 г. в числе вновь сформированных резервных войск направлен в действующую армию.

Четвертинский, Борис Антонович (ок. 1784–1865), князь, шталмейстер двора Его Величества, действительный тайный советник; в 1812 г. полковник, командир 1-го конного казачьего полка Московской военной силы.

Чичагов, Павел Васильевич (1767–1849), адмирал; в 1812 г. главнокомандующий Дунайской армией, с сентября (после отозвания А.П. Тормасова в Главную квартиру) объединённой под его начальством с 3-й Западной армией.

Чичерин, Василий Николаевич (1754–1825), генерал-майор, директор Тульского оружейного завода (1804–1809); в 1812 г. участвовал в формировании Московского ополчения и командовал им до приезда начальника ополчения И.И. Моркова, командовал егерскими полками ополчения, участвовал в Бородинском сражении.

Ш

Шалопутин (Шелапутин), Прокофий Дмитриевич, московский купец 1-й гильдии; в 1812 г. пожалован в коммерции советники за пожертвование в пользу государства «значущих сумм».

Шампаньи (Champagny), Жан Батист Номпер де (1756–1834), французский политический деятель, министр иностранных дел (9 августа 1807 г. – 17 апреля 1811 г.).

Шапилов, в 1812 г. дворянский заседатель Подольского Земского Суда.

Шаховской, Александр Александрович (1777–1846), князь, драматург, режиссёр, театральный педагог; в 1812 г. принял начальство над одним из полков Тверского ополчения, поступившего вскоре под команду Ф.Ф. Винцингероде; первый со своим отрядом вошёл в Кремль после оставления Москвы французами и до приезда графа Ф.В. Растопчина занимался приведением разрушенной столицы в возможный порядок.

Шаховской, Пётр Иванович (?–1827), князь, действительный тайный советник, камергер, псковский гражданский губернатор (1812–1816).

Шварценберг (Schwarzenberg), Карл Филипп фон (1771–1820), князь, австрийский фельдмаршал; в 1812 г. командовал 12-м корпусом армии Наполеона, действовавшим сначала против 3-й, а затем и Дунайской армий.

Шепелев, Василий Фёдорович (1768–1813), в 1812 г. генерал-лейтенант, начальник Калужского ополчения.

Шишков, Александр Семёнович (1754–1841), писатель, вице-адмирал; в 1812 г. сменил М.М. Сперанского на посту Государственного секретаря; во время Отечественной войны и Заграничного похода 1813–1814 гг. находился при императоре Александре I, автор издававшихся тогда от имени царя манифестов и других законодательных актов.

Штейнгель (Штейнгейль), Фаддей Фёдорович (1762–1831), граф, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Финляндии, командир отдельного Финляндского корпуса; в 1812 г. генерал-лейтенант, во главе 15-тысячного корпуса двинулся из Финляндии на помощь войскам, окружённым в Риге; действовал из Риги в направлении на Митаву и Полоцк; в октябре 1812 г. присоединён к корпусу П.Х. Витгенштейна.

Шувалов, Павел Андреевич (1774–1823), граф, генерал-лейтенант, генерал-адъютант; в начале войны 1812 г. командовал 4-м пехотным корпусом, затем по болезни временно оставил армию.

Щ

Щербачёв, Иван, губернский секретарь, проходил по делу о лицах, служивших в период оккупации Москвы неприятелю.

Э

Эртель, Фёдор Фёдорович (1767–1825), генерал от инфантерии; в 1812 г. генерал-лейтенант, командир 2-го резервного корпуса, собранного при Мозыре;

в сентябре 1812 г. был подчинён П.В. Чичагову, который вскоре отстранил его от должности; в декабре 1812 г. назначен военным генерал-полицеймейстером действующей армии.

Эссен (Ессен) 1-й, Иван Николаевич (1759–1813), генерал-лейтенант; с 1810 до октября 1812 г. рижский военный губернатор, командующий войсками, расположенными в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии.

Ю

Юсупов, Николай Борисович (1750–1831), князь, действительный тайный советник, член Государственного совета, сенатор; в 1812 г. член 2-го Комитета по формированию Московской военной силы.



ИСТОЧНИКИ

I. Война

1. Ростопчин Ф.В. Записки о 1812 годе // Ростопчин Ф.В. Ох, французы! – М., 1992. – С. 242–314.
2. Из Записок декабриста Д.И. Завалишина // Завалишин Д. И. Записки декабриста. – СПб., 1906. – С. 14–15.
3. Из Записок графа Е.Ф. Комаровского // Комаровский Е.Ф. Записки графа Е.Ф. Комаровского. – М., 1990. – С. 118–120.
4. Из Записки о войне 1812 года князя А.Б. Голицына // Военский К.А. Отечественная война 1812 года в записках современников. – СПб., 1911. – С. 69–71.
5. Из Памятных записок графа Павла Христофоровича Граббе // России двинулись сыны : Записки об Отечественной войне 1812 года её участников и очевидцев. – М.,1988. – С. 410, 412–417, 419–421.
6. Записки неизвестного о сдаче Москвы // Военский К.А. Отечественная война 1812 года в записках современников. – СПб., 1911. – С. 81–87.
7. Акинфов Ф.В. Разговор с Мюратом //Харкевич В.И. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников : Материалы Воен.-учён. архива Глав. штаба. Вып. 1. – Вильна, 1900. – С. 205–212.
8. Письмо графа А.Ф. Мишо к флигель-адъютанту А.И. Михайловскому-Данилевскому о разговоре с Императором Александром в 1812 году // Россия и Наполеон. – М., 1913. – С. 216–219.
9. Из Записок А.Я. Булгакова // Москвитянин. – 1843. – № 2. – С. 499–520.
10. Из Записок С.Г. Волконского // Волконский С.Г. Записки Сергия Григорьевича Волконского (декабриста). – СПб., 1902. – С. 179–207.
11. Письма М.А. Волковой к В.И. Ланской // Каллаш В.В. (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников : Сб. – М., 1912. – С. 244–279.

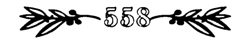
II. Жертва

12. Корбелецкий Ф.И. Французы в Москве : (Рассказ Ф.И. Корбелецкого, чиновника, бывшего в плену и на невольной службе у неприятеля) // Пожар

Москвы : По воспоминаниям и переписке современников. – М., 1911. – С. 145–150.
13. Бестужев-Рюмин А.Д. Краткое описание происшествиям в столице Москве в 1812 году // Русский архив. – 1896. – Кн. 2 : № 7. – С. 365–381.
14. Дневник, ведённый в Москве в сентябре – октябре 1812 года // Библиографические записки. – 1858. – № 18. – Стлб. 557–576.
15. Божанов И.С. 1812 год : Рассказ священника Успенского собора (Московского Кремля) // Русский архив. – 1899. – Кн. 3: № 10. – С. 256–267.
16. Из воспоминаний А.С. Норова // Русский архив. – 1881. – Кн. 3 : № 6. – С. 173–214.
17. Несчастия Гаврилы Иванова, комиссара Московской сенатской типографии во время злодеяний французов в Москве // Русский вестник. – 1813. – Ч. 4 : № 12. – С. 68–79.
18. Записка иеромонаха Ионы о пребывании французов в Москве в 1812 году // Старина и новизна : Кн. 10. – М., 1905. – С. 268–273.
19. Письмо москвича, очевидца событий 1812 года // Щукин П.И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года : Ч. 1. – М., 1897. – С. 1–6.
20. Мосолов С.И. Отрывок из рукописи «История моей жизни» отставного генерал-майора Сергея Ивановича Мосолова // Щукин П.И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года : Ч. 8. – М., 1904. – С. 335–345.
21. Рассказ москвича о Москве во время пребывания в ней французов в первые три недели сентября 1812 года // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете : Кн. 2 : Смесь. – М., 1859. – С. 93–114.
22. Рассказ мещанина Петра Кондратьева // Федоров-Давыдов А.А. Отечественная война. 1812 год : Исторические очерки и рассказы очевидцев. – М., 1910. – С. 79–88.
23. Рассказ дворовой женщины о двенадцатом годе // Каллаш В.В. (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников : Сб. – М., 1912. – С. 185–196.
24. Письмо приказчика Максима Сокова И.Р. Баташову // Каллаш В.В. (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников : Сб. – М., 1912. – С. 196–202.
25. Козловский Г.Я. Москва в 1812 году, занятая французами : Воспоминание очевидца // Русская старина. – 1890. – Т. 65 : Январь. – С. 105–114.
26. Из Записок Е.А. Харузина // 1812 год в воспоминаниях современников. – М., 1995. – С. 164–170.
27. Беккер Ф.В. Воспоминания о разорении и пожаре Москвы в 1812 г. // Русская старина. – 1883. – Т. 38 : Июнь. – С. 507–524.
28. Изарн Ф.Ж. де. Воспоминания московского жителя о пребывании французов в Москве в 1812 году // Русский архив. – 1869. – Кн. 9. – Стлб. 1405–1441.

III. Священный пепел

29. Из писем А.Я. Булгакова // Русский архив. – 1866. – № 5. – Стлб. 703–731.
30. Донесение московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина графу



Ф.В. Растопчину от 14 ноября 1812 г. // Щукин П.И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года : Ч. 2. – М., 1897. – С. 10–16; Список оставшимся несгорелым соборам, монастырям, церквам, казенным зданиям и обывательским домам // Кузьминский К. Что осталось от Москвы после пожара 1812 года. – М., 1910. – С. 7–31.
31. Тутолмин И.А. Подробное донесение ее императорскому величеству, государыне императрице Марии Феодоровне, о состоянии Московского Воспитательного дома, в бытность неприятеля в Москве 1812 года, начальника оного Ивана Тутолмина. – М., 1860. – С. 1–24.
32. Оппель Х. Всеподданнейшее донесение московской больницы для бедных от главного лекаря Христофора Оппеля // Тутолмин И.А. Подробное донесение ее императорскому величеству, государыне императрице Марии Феодоровне, о состоянии Московского Воспитательного дома, в бытность неприятеля в Москве 1812 года, начальника оного Ивана Тутолмина. – М., 1860. – С. 25–32.
33. Письмо смотрителя Павловской больницы Носкова Вилламову от 28 октября 1812 г. // Щукин П.И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года : Ч. 8. – М., 1904. – С. 407–412.
34. Донесение Св. Правительствующему Синоду директорского товарища Московской синодальной типографии титулярного советника Павла Левашева // Дубровин Н.Ф. Отечественная война в письма современников : (1812–1815 гг.). – СПб., 1882. – С. 279–287.

IV. Память

35. Письмо А.И. Тургенева кн. П.А. Вяземскому // Каллаш В.В. (сост.). Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников : Сб. – М., 1912. – С. 225–240.
36. Евреинов М.М. Память о 1812 годе // Русский архив. – 1874. – Кн. 1 : № 4. – Стлб. 95–110, Кн. 2 : № 6. – С. 451–466.
37. Шаховской А.А. Двенадцатый год : Воспоминания князя А.А. Шаховского // Русский архив. – 1886. – Кн. 3 : № 11. – С. 372–402.
38. Лажечников И.И. Новобранец 1812 года : (Из моих памятных записок) // Лажечников И.И. Собрание сочинений : В 8 т. Т. 7. – СПб., 1858. – С. 263–293.
39. Вяземский П.А. Воспоминание о 1812 годе // Русский архив. – 1869. – Кн. 1. – Стлб. 181–216.
40. Из воспоминаний И.М. Снегирёва // Русский архив. – 1866. – № 4. – Стлб. 540–554.
41. Ростопчин Ф.В. Правда о пожаре Москвы // Ростопчин. Ф.В. Сочинения. – СПб., 1853. – С. 199–254.



Москва в 1812 году
Письма, дневники, записки,
воспоминания современников

Хрестоматия

Scan - nau; Processing, ocr - waleriy, 2016

Составитель
В.М. Хлёсткин

Редакторы
Л.С. Ванян
О.А. Гришина

Корректор
Л.С. Ванян

Художественный редактор
Е.В. Горшкова

Компьютерная вёрстка
Е.В. Горшкова

Разработка электронной версии
А.В. Рудаков

Ответственный за выпуск
Л.Г. Костарева

Подписано в печать 02.11.2012. Формат 70x100/16.
Гарнитура «Сериф». Бумага офсетная. Печ. л. 35.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3769-12.

Главное архивное управление города Москвы
117393, Москва, Профсоюзная ул., 80

Отпечатано в ООО «Альтаир»

